



Оскар  
УАЙЛЪД



Оскар  
УАЙЛЪД  
*Избранное*

Оскар  
УАЙЛЪД  
*Избранное*



*Переводы с английского*



МОСКВА  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
1986

И(Англ)  
У13

Oscar Wilde

(1854—1900)

Составление, вступительная статья и комментарии

А. Зверева

Иллюстрации

В. Юрлова

Оформление

С. Гераскевича

У  $\frac{4703000000-299}{028(01)-86}$  120-86

© Состав, вступит. статья, комментарии, переводы, отмеченные в содержании \*, иллюстрации и оформление. Издательство «Художественная литература», 1986 г.



## ПОРТРЕТ ОСКАРА УАЙЛЬДА

Бледное, бескровное лицо, широкие скулы, ни признака растительности, хотя в ту пору модными были пышные усы и бороды-эспаньолки. Изпод тяжелых век смотрят темно-серые, всегда прячущие в себе иронию глаза. Длинные вьющиеся волосы свободно спадают до крепких, как у грузчика, плеч. В толпе он возвышается над прохожими чуть не на голову, но привлек бы внимание, будь и обычного роста: изысканной небрежностью костюма, и перстнем в форме скарабея — древние египтяне почитали этого жука воплощением солнечного божества, — и неизменной фиалкой в петлице.

Записные остроумцы состязаются в издевках по его адресу, в театре «Савой» идет музыкальная комедия «Снисхождение», где главный персонаж, в котором все узнают Уайльда, распевает такие куплеты: «Я поэтичен, ах, я эстетичен, Нарциссу вправду я сродни». 1881 год. Ему двадцать семь лет, напечатано всего несколько мелочей в журналах и подготовлена первая — при жизни единственная — книжка стихов. Однако молва, питающаяся домыслами и пересудами, успела разнестись далеко. Через несколько месяцев после лондонской премьеры «Снисхождение» триумфально поставят в Нью-Йорке. А вскоре и сам Уайльд ступит на американский берег, заявив таможеннику, подошедшему с декларацией: «Мне нечего в нее внести, кроме своего гения». Наутро эта фраза будет набрана в газетах курсивом.

Ему нравилось озадачивать друзей и знакомцев эксцентричностью суждений, поведения, поступков. Прогуливаясь по Пиккадилли, он заходит в лавку цветочника, выставившего особенно изящные примулы, и просит



снять их с витрины. «Прикажете доставить домой, сэр?» — «Нет, просто уберите из окна, по-моему, они устали на солнце». В Цинцинати (тогда это была глухая американская провинция) ему показывают барак, помпезно именуемый Академией художеств, и, заметив при входе плакат «Посетителей просят не курить», Уайльд советует приклеить рядом еще один — «Студентов просят не убивать друг друга на лестничных площадках». Вашингтонские репортеры домогаются от него впечатлений об Америке и записывают: «В Америке нет жизни, сплошная одышка». Кто-то нахваливает английский здравый смысл и слышит краткий комментарий: «Вы подразумеваете нашу наследственную глупость?»

Судьба словно предназначила его в дар пародистам и светским сплетникам. И они, конечно, не упустили такой завидной возможности поупражняться в избранном ремесле. Сравнительно невинное подтрунивание, бесчисленные шаржи в «Панче», популярнейшем юмористическом еженедельнике, да и пересыпанные колкостями отзывы рецензентов — все это было привычно Уайльду и не задевало его всерьез. Едва ли бы кто предположил, что в декорациях, приличествующих оперетте, завязывается сюжет безысходной драмы. А ведь еще в те дни, когда Уайльд, окруженный почитателями, блистал в аристократических гостиных и литературных салонах, уже начиналось действие гнусного спектакля, который будет увенчан судебным разбирательством, Редингской тюрьмой, изгнанием и ранней смертью художника, оказавшегося в неразрешимом конфликте с филистерами и лицемерами «доброй старой Англии» викторианских времен.

Видимо, и для самого Уайльда был неожиданным подобный финал. Почти столетие спустя он, впрочем, уже не кажется всего лишь жестокой прихотью фортуны. За перепадами славы и бесчестья, какие выпало испытать Уайльду, обозначился закон непримиримости свободного творческого созидания и убогой буржуазной «нормальности», повсеместно насаждающей свои неоспоримые права. Со всей резкостью выступило противоречие идеала высокого артистизма с порядком вещей в мире, где каждому уготована строго определенная социальная роль. И жизнь Уайльда стала предвестием тех драм непонимания и непризнания, которые оказались уделом множества бунтарей, новаторов и беззаветных искателей красоты посреди уродства буржуазной реальности уже в иное, в наше столетие.

Меж тем, пока он рос, ничто не выказывало в нем ни будущего бунтаря, ни того сноба, каким Уайльд запомнился своим жадным до кривотолков современникам. В родном его Дублине об Уайльдах много судачили: отец писателя был известным врачом и этнографом-любителем, а его дом прославился приемами в честь европейских знаменитостей, поэтическими

вечерами и вольными по тем временам нравами. Все это, впрочем, совершенно не задевало странного подростка, жившего в каком-то особом, ему одному подвластном мире.

Мальчиком он уже с жадностью читает в оригинале Эсхила и грезит об эллинской гармонии, о берегах прозрачного Ахерона и галерах в Саламинском заливе. Это необычный мальчик. У него покладистый нрав и доброе сердце, но рядом с одноклассниками, а потом и сокурсниками по Оксфорду Уайльд кажется пришельцем из иной эпохи. Отрешенный взгляд, старинный греческий том под мышкой, мечтательность, надмирность — во всем он несхож со своими университетскими товарищами, за месяц-другой успевшими обжить все окрестные пивные и игорные дома.

Учится он скверно, выручают лишь блестящие способности. Лекции большей частью прогуливает: «Тому, что действительно стоит знать, не обучит никто». Исключение делает только для двух профессоров. Для Джона Рескина. А затем для Уолтера Пейтера.

Оба эти имени сохранились в истории английской культуры. Своими эстетическими идеями, а еще больше проповедью целительности физического труда, призванного восполнить нравственную ущербность людей XIX столетия, Рескин пробудил интерес многих мыслителей, включая Толстого. В Оксфорде он читал историю искусства. Объявив темой очередной лекции творчество Рафаэля, он импровизировал великолепный портрет мастера и его окружения, но тут же точно забывал о своем предмете, чтобы вернуться к излюбленным, давно выношенным мыслям. Как уродлива нынешняя жизнь, поработанная вульгарностью и материализмом! Как отвратительно это царство машинерии! Жизнь есть Красота, но цивилизация подчинилась ложным богам, — она не сочетается с Красотой и, стало быть, враждебна самой жизни.

Зачаровывала патетика, с какой все это говорилось, покоряли ритмы пламенной речи Рескина, схожей со стихами в прозе. Пейтер, сменивший его на оксфордской кафедре, не производил большого впечатления на слушателей, но в уединении кабинета, бисерным почерком исписывая страницу за страницей, он становился не менее страстен, не менее красноречив. С пылом провозвестника нового евангелия Пейтер возвещал, что мир лишь кажется упорядоченным, по сути же в нем все относительно, все подвижно и текуче, а значит, одному искусству по силам передать это вечное движение, выразив его в формах, решительно чуждых абстракциям интеллекта. Только мимолетное, только невоплотимое, только личностное заключает в себе истину, а она доступна художнику, и ему одному.

Не составит труда различить в этих декларациях хорошо нам знакомые ноты: многое идет от романтиков, еще больше — от идеалистических философских концепций, фундаментом которых стал релятивизм. Но для читателей Пейтера, для его студентов излагаемые им взгляды явились разве что не откровением. Почтенная публика была шокирована, молодежь —

потрясена. Отчего? Да оттого, что в суждениях Пейтера, на наш вкус нередко манерных и уж во всяком случае весьма произвольных, с необычайной отчетливостью выступило то, что принято называть духом эпохи. Особой, по-своему целостной, хотя и явно кризисной эпохи, которая осталась в истории под именем «конца века».

Время это было яркое и сложное — время исторических канунов, время предчувствий. Еще не пошатнулась массовая вера в поступательность социального развития, еще держалось убеждение, что и дальше будет плавными, ровными темпами осуществляться прогресс, зримо о себе заявлявший новыми корпусами заводов, на которых теперь не разрешался детский труд и устанавливался лимитированный рабочий день. Стареющая королева Виктория все так же вызывала восторженные приветствия толпы. Мир казался логичным, рационально объяснимым в любом своем проявлении.

Позитивистские доктрины, прагматическая этика господствовали почти безраздельно. Действительность внушала сознание прочности, надежности.

Но что-то уже заколебалось в этом самонадеянном ощущении жизни, свойственном викторианцам. Отзвуки Коммуны всколыхнули и сонный, провинциальный Дублин, и академичный Оксфорд. Русский «нигилизм», как на Западе называли народничество, получил громкий резонанс по всей Европе, и свою первую, еще очень слабую пьесу Уайльд назовет «Вера, или Нигилисты» (ее постановку запретят, поскольку русская императрица находилась в родстве с принцем Уэльским).

За процветанием обнаруживались все те же самые неизживаемые общественные язвы, за рационалистической упорядоченностью открывалась подлинная сложность, не подчинявшаяся удобным истолкованиям в согласии со «здравым смыслом». Подвергнутая внимательному рассмотрению, картина мира предстала вовсе не такой уж стройной и менее всего благополучной. Там, где отцам виделся эталон разумности, сыновья видели только власть самообмана. То, что почиталось нравственной нормой, на поверку оказывалось лишь конформистским благодушием, если не трусостью и не отупением морального чувства.

Исподволь многое менялось, и прежде всего представление о ценностях истинных и мнимых. Приметой времени делался скепсис. А он был заряжен отрицанием буржуазности во всех ее свойствах: от жадности житейского успеха любой ценой до сытого самодовольства и пошлого оптимизма.

На такой вот почве и зарождалось «художественное», или «эстетическое», движение, которое в Англии вскоре возглавит Уайльд. Оно охватило тогда не только Англию и не только искусство — в искусстве свойственные ему настроения лишь дали почувствовать себя всего раньше, всего острее. Рескин и Пейтер помогли формированию этого движения, но единства в нем

не было изначально — скорее оно представляло собой причудливую смесь тенденций достаточно разнородных: и неоромантических, и импрессионистских, и откровенно декадентских. И порою не так-то просто оказывалось различить за этой пестротой нечто общее, распознать родственный принцип. Но все-таки он был. И заключался он не в той или иной эстетической теории, а в общности умонастроения, решительно отвергавшего бескрылую логичность и плоский рационализм, которым противопоставлялась вера в инстинктивное и субъективное, наивная вера, будто поклонение Красоте во имя ее самой может и вправду стать противоядием от буржуазности.

Да, вера была наивной, а подчас и веры-то, собственно, не было — только поза да игра словами, небезопасная, как покажет время. Словечко «декаданс», которое тогда повторяли кстати и некстати, пустил в ход французский прозаик Гюисманс, чей роман «Наоборот» (1884) кое в чем предвосхитил уайльдовского «Дориана Грея». Под «декадансом» принято понимать упадок, увядание созидательных сил, безволие, какой-то нездоровый и опустошительный гедонизм, за которым скрывается томящее чувство скоротечности и бесцельности жизни. Холодным эстетством веет от декадентского упоения грезой взамен прозаичной реальности: каприз был лучше, чем вульгарность будней. Этическая анемия сквозит в бесконечных клятвах верности прекрасному и ненависти к «мещанским добродетелям», печатью вымученности отмечены философские построения, призванные проторить тропу в «искусственный рай», и декларативный отказ увидеть в современной действительности что бы то ни было истинное и достойное.

Тот нигилизм, то жалкое гурманство, которое отличали героя Гюисманса герцога Дзэссента, были не просто литературным, а житейским фактом: «эстетическое» движение включало и тех, кто в центральном персонаже этой книги узнавал самих себя. Уайльда десятки раз пытались — а на Западе еще и сегодня иногда пытаются — изобразить декадентом, чуть ли не прототипом гюисмансовского героя. Трудно быть несправедливее к писателю. Потому что при кажущемся сходстве между декадентами и Уайльдом есть различие решающее: для них прекрасное оставалось безжизненной отвлеченностью, ничего от личности не требующей и ни к чему ее не обязывающей, а для него Красота была эфемерна и ничтожна, если она не означала правды и не побуждала искать правду — этическую, духовную, социальную. И те поборники буржуазной «стабильности», которые ненавидели Уайльда и травили его долгие годы, по-своему безошибочно различили в нем своего непримиримого врага — в английской литературе не много найдется художников, столь же последовательных и бескомпромиссных в своем отращении к торжествующей пошлости, к несправедливости во всех ее формах, к лицемерию, к равнодушию, к нравственным вывихам, считаемым «нормой».

Он не выносил посредственности, скуки, эстетической глухоты, прилизанного благолепия, за которым так часто обнаруживался самый заурядный буржуазный аморализм. Этого нельзя не почувствовать, раскрыв наугад любую его страницу. И это о нем знает каждый. Но куда реже вспоминают, что он написал трактат о социализме, пусть понимая социализм крайне субъективно и неверно, а все-таки твердо веря, что буржуазная цивилизация переживает свой закат и на смену ей идет иной, действительно гуманный порядок вещей. В нем обычно видят лишь трубадура изысканности, хотя вовсе не к одному лишь художественному совершенству сводилась в понимании Уайльда боготворимая им красота. Он отвергал морализаторство, проявляя в своих декларациях чрезмерную категоричность, но рассказываемые им истории, облекались ли они в форму новеллы, комедии или притчи, неизменно содержат в себе глубокий этический смысл: они развенчивают меркантилизм, неотделимый от самого понятия буржуазности, они резко полемичны по отношению к разного рода «столпам общества», насаждающим бездуховность и беспринципность.

И может быть, из всего написанного Уайльдом больше всего скажет о нем сказка «Молодой Король», открывающая книгу «Гранатовый домик» (1891). Герой этой сказки, типичный для Уайльда пленник и паладин прекрасного, долгие годы словно бы не замечал реальной жизни, от которой его заботливо изолировали, чтобы не травмировать эту слишком нежную, слишком поэтичную душу. Но приходит день, когда действительность открывается ему в своих неприглядных, жестоких, трагических сторонах. В ней много горя и слез, несправедливостей и лишений, она груба, она беспощадна. Соприкосновение с нею болезненно — и все же герой найдет в себе мужество принять эту доподлинную реальность в свое сердце, не прибегая ни к каким ухищрениям, которые освободили бы его от обязанности противостоять злу. Для Уайльда это герой в самом истинном значении слова.

Эта вот отзывчивость на беды и страдания, ставшие уделом стольких обездоленных в благоденствующей викторианской Англии, неотделима от творчества Уайльда. Она и уберегла его от декадентских крайностей, свойственных тогдашнему «эстетическому» движению. По-своему это движение было очень точным аналогом духовной атмосферы «конца века» и достаточно достоверно свидетельствовало о том времени. Была здесь очевидная ущербность, но была и жажда света, та, если вспомнить суждение Горького о Верлене, «боль чуткой и нежной души», которая вдохнула истинную поэзию в лучшие произведения «конца века», придав значительность всему этому характернейшему явлению европейской интеллектуальной и художественной жизни тогдашней поры.

В тесном переплетении с декадентским манерничаньем жило неподдельное бунтарство, а за ним скрывалось безошибочное ощущение заката

эпохи, в которую буржуазность почитали нормой жизни, и неприятие скудоумных идеалов этой эпохи, и смелость вызова ее практицистским установлениям.

Крайности такого рода оказывались сближенными — порой до неразличимости. Не оттого ли глубокая внутренняя противоречивость, изначально присущая «эстетическому» движению, выразилась так драматически, исковеркав судьбы его самых талантливых последователей? Вспомним о Рембо, покинувшем поэзию, когда ему было всего девятнадцать. О Верлене, задохнувшемся в объятиях «зеленой феи абсента»...

И судьба Уайльда не станет исключением из общего правила. Ему тоже предстояло проиграть в конфликте со здравомыслящей буржуазной публикой. Ему тоже пришлось на собственном опыте узнать, сколько опасностей таила в себе избранная им позиция парадоксалиста и ниспровергателя всяческих канонов, правил, запретов.

Итоги будут горькими. В житейском смысле они вряд ли могли быть иными. Уайльд это поймет и признает сам. И все-таки до конца не отступит от того убеждения, которому следовал со студенческой скамьи: «За всем достойным восхищения стоит творческая индивидуальность, и не время создает человека, а человек создает свое время».

Вот как претворялся этот принцип в первые годы после Оксфорда. Уайльд поселяется неподалеку от Стрэнда в доме с видом на Темзу, превратив свою длинную и узкую комнату в театральный музей. В доме его царит особая, изысканная богемность, о которой уже пошла слава. Навещая знакомых, он просит задернуть занавески, потому что заходящее солнце вульгарно, и поменять сервировку — рисунок на тарелках не гармонирует с коврами. За ужином его слушают внимательно. Завтра весь Лондон подхватит афоризмы, которые он небрежно роняет, отодвинув не понравившееся ему шампанское: «Долг каждого разумного человека по любому поводу не соглашаться с тремя англичанами из четырех», или: «Девять месяцев в году Англия похожа на Калибана, а остальные три на Тартюфа».

Насмешники изображают его рафинированным снобом, но в Америке он будет читать свои стихи шахтерам, и те устроят ему овацию. Поднявшись на трибуну, он размышляет вслух об английском Ренессансе, о живописи Тернера и поэзии Суинберна. В прокуренных залах Филадельфии и Сан-Франциско он слагает гимны Красоте, перед которой ничтожна мораль. А после лекции ему показывают маклера-нувориша, который выписал из Европы копию Венеры Милосской и предъявил иск железнодорожной компании за то, что статую доставили с отбитыми руками. А в гостинице его ждет дар поклонниц, выигравших конкурс на лучшую вышивку по модному

рисунку «Безумный Оскар»: покрывало с ядовито желтой маргариткой на фиолетовом фоне.

Легко было отчаяться, легко было счесть, что прекрасное — область, куда открыт доступ немногим избранным, презрительно отвернувшимся от толпы. Для декадентов это была аксиома. Но не для Уайльда.

Конечно, и ему не раз казалось, что поэт — это личность, не имеющая ничего общего с толпой. Привкус этой гипертрофированной отчужденности различим в тоненькой книжке «Стихотворений», с которой Уайльд отправился в Америку сумрачным декабрьским утром накануне рождества 1881 года. Лучшие стихотворения Уайльда, обеспечившие ему законное место в истории английской поэзии, будут созданы позднее, а пока читателю слишком уж старательно внушалось, что «поэзия подобна магическому кристаллу: она делает жизнь более прекрасной и менее реальной». Здесь поминутно чувствовались отголоски Китса и Данте Габриеля Россетти, здесь властвовал Бодлер, чьи «Цветы зла» были для Уайльда незабываемым переживанием, — вот поэзия, ничего не декларирующая, но всем своим строем и пафосом бесконечно далекая от круга представлений пошлого обывателя!

Такое восприятие Бодлера для того времени было естественным, и в уайльдовском сборнике оно отозвалось обильными реминисценциями, которые несложно уловить. Французские и латинские заглавия многих стихотворений, их осознанная экзотичность, прихотливость образов — какие-то капризные впечатления, мимолетности, силуэты барж в желтом речном тумане, мертвенное сияние газовых фонарей на пустынных улицах, головки георгин, сверкающие в полдень кусками алого шелка, — до чего все это не в ладу с теми настроениями, которыми жил «наш суетливый век», в другом сонете названный «худшим из веков».

Пройдет время, и в поэзии Уайльда зазвучат иные ноты: откроется жестокость мира, в котором он жил, и потянется цепочка мучительных размышлений о судьбе художника в таком мире. Но в ранних стихотворениях преобладал дух стилизации, правда, очень тонкой. Эпатажа в них не было. Было другое. Уайльд попросту игнорировал публику, убежденный, что «ее снисходительность достойна удивления... она все готова простить, кроме таланта». Его влекло далеко за горизонт будничности. И он не замечал, что его стихи оказывались только лабораторными опытами в духе словесного импрессионизма, пусть и очень любопытными. Внимание, которое привлекла его первая книжка, объяснялось прежде всего тем, что она помогала укрепиться репутации Уайльда как эстета и поэта.

Вспомнили опубликованный еще в 1845 году очерк французского писателя Барбе д'Оревиля «О дэндизме», где был выведен на сцену опустившийся, но бравирующий своей независимостью аристократ-англичанин, и в Уайльде, в его юных почитателях увидели новых дэнди. Кажется, не понапрасну. Хотя это был очень своеобразный дэндизм. Он не подходил под обычные мерки.

Много лет спустя, в революционном Петрограде зимой 1918 года, Александру Блоку довелось познакомиться с начинающим поэтом (впоследствии — известным переводчиком В. Стеничем), который под аккомпанемент выстрелов, гремевших среди сугробов, читал странные стихи, где символистские шепоты перемежались футуристическими восклицаниями. Провожая Блока домой, поэт разговорился о себе и сверстниках, назвав их «совершенно пустыми»: «Нас ничего не интересует, кроме стихов». И Блоку стало неудобно, когда открылся перед ним «этот узкий и страшный колодезь... дэндизма». В речах спутника он ясно различил отблеск того «пожирающего пламени», которое «затеplилось когда-то от малой части байроновской души» и опалило «крылья крылатых: Эдгара По, Бодлера, Уайльда».

Время было великое и грозное, оно заставляло по-новому отнестись к таившемуся в дэндизме «великому соблазну». В самом деле, дэндизм притягивал своим пафосом «антимещанства». Его пламя, пишет Блок, «попало кое-что на пустошах «филантропии», «прогрессивности», «гуманности» и «полезностей»; но, попав кое-что там, оно перекинулось за недозволенную черту».

Не суть важно, что Стенич, по позднейшему его свидетельству, той ночью лишь артистически воплотил перед Блоком некий собирательный тип рано во всем изверившегося и анемичного юноши, которому декадентская поэзия заменяет живое бытие. Ведь этот тип не был вымышленным, за ним стояло реальное явление. Блок понял и оценил его с удивительной четкостью, признав дэндизм еще одной несомненно болезненной формой возмездия старой культуре и всему старому порядку жизни. Даже и в самых цинических своих проявлениях дэндизм заключал в себе известного рода бунт против тогда еще всесильной буржуазности. Был в нем тот заряд решительного отрицания обанкротившихся ценностей, который сделал дэндистское искушение почти неодолимым для великого множества блудных детей шедшего к своему концу XIX столетия. Переступив этические грани, дэндизм становился болезнью, и только. Она могла сделаться смертельной. Блок это знал и тревожился не напрасно. А все-таки «крылья крылатых», пусть опаленные, оставались крыльями, и они возносили к вершине большого искусства — необычного, резко контрастирующего с тогдашними пристрастиями, нередко непонятого современниками, зато достойно оцененного потомками.

Образ поведения Уайльда, его привычки, и диковинные вкусы, и заостренно парадоксальные сентенции — все это выдавало в нем дэнди, и игры тут обнаружилось не меньше, чем искреннего убеждения. Впрочем, это была серьезная игра. На языке Уайльда она называлась «новым эллинизмом», и речь шла о гармонии души, о ее полной свободе от окружающей обезличенности, о творческом импульсе, который должен руководить каждым, проступая в любом человеческом шаге, а не в одних лишь созданиях художника. Однажды Уайльд заметил, что свой гений он



вкладывает в жизнь, а в литературу — только талант. Сочли, что это очередной его парадокс, меж тем он был вполне честен и последователен. Его не привлекала башня из слоновой кости. Он хотел не меньше, как изменить жизненную ориентацию большинства, собственным примером указав, какой она должна стать.

Другое дело, что маска, без которой дэнди не может обойтись, порою накрепко прирастала к лицу — не так-то просто было понять, где проза, а где естество, что наносное и что существенное. Трагедия Уайльда этим во многом и объяснялась: он давал слишком много поводов для праведного гнева, и лишь единицы поняли тогда, что с ним расправились вовсе не за аморальность — судили конкретного человека, но хотели искоренить сам дух неприятия торжествующей буржуазной вульгарности. Когда это со временем стало очевидным, по-новому осветилось и все искусство Уайльда. Оно предстало не как самопоуенный декадентский вызов общепринятому (им была разве что манерная и настоящая на эротизме драма «Саломея», подвергнутая в 1892 г. запрету), а как страстное искание романтики и Красоты, отвергаемой будничностью, как попытка преодолеть неизбежный разрыв между навязываемой человеку социальной функцией и тем истинным — то есть творческим, артистическим — началом, которое, по мысли Уайльда, заключено во всех: оно лишь сковано нелепостью, косностью, жестокостью общественных установлений.

Это было искусство неоромантическое по своему преобладающему содержанию, и, быть может, с наибольшей ясностью его определяющие качества проступили в уайльдовских сказках. Теперь они стали бесспорной классикой; странно читать те, мягко говоря, прохладные отзывы, какими были встречены и «Счастливый Принц» (1888), и появившаяся три года спустя вторая книжка сказок «Гранатовый домик». Была, однако, своя причина для плохо скрытой враждебности критиков. Уайльд и сам называл свои сказки «опытом изображения нынешней жизни в формах, далеких от реального», указывая, что они предназначены скорее не детям, а взрослым, «которые не утратили дара радоваться и изумляться». Его раздражала современная проза, довольствовавшаяся шаблонной «имитацией» действительности. Разумеется, формулировал он слишком резко, но известную кризисность старого реализма, боявшегося отступить от правдоподобия, уловил верно. И уже в «Кентервильском привидении» (1887), своем первом рассказе, причудливо, дерзко смешивал элементы, в ту пору считавшиеся несочетаемыми: достоверность картин быта и иронический гротеск, пародию, фантазию, условность. А в «Преступлении лорда Артура Сэвила» и чуть позже в сказках выдумка и стилизация сделались для Уайльда основной творческой установкой. Она никак не отвечала эстетической моде. Уайльда обвинили в несерьезности и литературной неумелости.

Но суть конфликта с критикой заключалась в другом. «Гот, для кого наличное — единственно наличествующее, ничего не понимает в той

эпохе, в которой живет». В устах Уайльда это звучало не просто как декларация. «Наличное» — круг повседневности, размеренной, заурядной и убийственной для духовного потенциала личности, а «наличествующим», в глазах Уайльда, был весь громадный пласт истории и культуры, который необходимо пережить и освоить, чтобы явился целостный, неущемленный человек. Сказка оказывалась идеальным жанром для того, чтобы постичь «наличествующее», и одновременно она становилась отрицанием «наличного». А этой вот неприязни к «наличному» и не прощали Уайльду.

Сам он полагал, что в сказке все решает способность автора «точно описать то, чего никогда не было». Почти одновременно Уайльд закончил эту, озаглавленную «Упадок лжи» и доказывавший, что обожествление объективности и фактологии более всего повинно в той творческой немощи, которая сделалась итогом XIX столетия. Он метил в реализм, правда, отдавая должное его корифеям — Бальзаку, Диккенсу. Сейчас незачем доказывать предубежденность Уайльда, для нас очевидную. Отметим лишь, что под его пером едва ли не синонимами представляли Фантазия и Поэзия, — так было у всех неоромантиков.

И не по прихоти того или иного писателя возникло — вернее, возродилось — это романтическое стремление прочь от серенького горизонта будней, побуждавшее Киплинга переноситься в яркий и жестокий мир индийских джунглей, как только он задумывал свой новый рассказ, а Метерлинка заставившее искать прибежища в средневековом аббатстве, куда не долетали отголоски деляческого ажиотажа. В разных формах — и, понятно, с разными конечными результатами — тут заявляла о себе неудовлетворенность реальным положением вещей, когда человек скорее функционирует, чем живет, и все на свете подчинено плоским рационалистическим стандартам, и существование бесцветно, безвкусно, словно дистиллированная вода. По-разному, но настойчиво давала себя почувствовать жажда действительной жизни.

Уайльд распахнул перед своим читателем двери в иной, захватывающий и красочный мир, где красные ибисы подстерегают на отмелях золотых рыбок, а свадебные пиры увенчивает Танец розы, где волшебные превращения естественны настолько, что их просто не замечают, и побуждения персонажей несвоекорыстны до такой степени, что для героев не возникает и мысли о разладе между чувством и поступком. Писал он о том, чего и впрямь «никогда не было», но сумел добиться редкой пластичности каждой детали, каждого штриха. Но все же его сказки не были только «ложью», в том возвышенном смысле, какой придавал этому понятию Уайльд. Это произведения философские, и коллизия, которая в них разворачивается, фактически неизменна, как бы ни менялись декорации.

О том, что это за коллизия, скажут сами сюжеты, выбранные Уайльдом. Счастливый Принц и Ласточка служат людям самоотверженно,

удостоившись за это единственной награды — валяться среди ненужного сора. Соловей примет смерть лишь для того, чтобы взбалмошная барышня бросила на дорогу цветок, окрашенный его кровью, а некий молодой схоласт принялся рассуждать о вздорности любви и преимуществах логики. Прелестная Инфанта узнает истинную преданность, но не поймет, что это высшее счастье,— она потребует, чтобы отныне к ней приводили играть только тех, у кого нет сердца. И в самый канун коронации постигнет для себя тщету богатства и власти Молодой Король, и Рыбаку откроется вечная разделенность Любви и Души, и узнает, какое зло способна скрывать в себе даже красота, случайный гость нашего мира — Мальчик-звезда.

Все снова и снова поверял Уайльд свой высокий идеал романтики и духовности реальными обстоятельствами жизни, все снова и снова убеждался он в том, что гармоничное сочетание здесь невозможно. Торжествовали те, кто, подобно Волку из его сказки, обладают «очень трезвым взглядом на вещи»,— ведь они умели обратить себе на пользу чуждачества других: неприспособленных да и не стремящихся бороться, не изверившихся в прекрасных, но таких хрупких мечтах о земном рае, обретаемом самопожертвованием.

Но и подобное торжество в действительности было иллюзорным — и не оттого лишь, что достигалось оно ценой духовных потерь, которые невозполнимы. В сказках Уайльда все двойственно, дуалистично: холодком опустошенности тронут блистательный мир, где обитает равнодушная ко всем, кроме себя, Инфанта, но и счастье Великана, победившего свой эгоизм, мимолетно, как дуновение майского ветра,— любовь, неподдельная любовь точно так же не в состоянии создать прочного ощущения радости, как не может этого сделать и самый что ни на есть «трезвый взгляд».

«Я рожден для антиномий»,— скажет Уайльд в «Тюремной исповеди», и это не будет легкомысленный каламбур фланера. Скептический ум и сердце мечтателя, насмешливость дэнди и восторженность романтика — в необычных этих совмещениях весь Уайльд. На антиномиях такого рода построены его сказки, оставшиеся и поэтическим, и точным свидетельством атмосферы «конца века» и мироощущения людей того времени. А затем уже и сама жизнь Уайльда окажется цепочкой антиномий, узлом противоречий, все более запутывавшихся по мере приближения трагической развязки.

Но пока она еще даже не предчувствуется. Пока перед нами развертывается довольно обычная биография человека викторианской эпохи. Ничтожное наследство, оставленное отцом, недостаточно, чтобы содержать семью, и Уайльд принимает на себя обязанности редактора дамского журнала, стараясь придать ему респектабельность в глазах людей из литературной среды. Брак поначалу кажется необыкновенно счастливым; через несколько лет, когда разразится скандал, Констанцию Уайльд

вынудят порвать с мужем, а он больше так и не увидит двух своих сыновей.

Имя Уайльда уже известно всей читающей Европе, у него много подражателей, хотя и хулителей не меньше. В обществе он все чаще появляется вместе с лордом Эдвардом Дугласом — юношей поразительной красоты. Никто еще не знает, что эта страстная дружба станет предлогом для самых грязных инсинуаций и что письмо, написанное Уайльдом с обычной для него поэтической восторженностью, будет фигурировать в качестве главной улики на суде, куда Дуглас не явился, как не оказал он никакой поддержки ни узнику Редингской тюрьмы, ни изгнаннику, медленно и мучительно умиравшему в обшарпанном парижском пансионе.

А сейчас Уайльд переживает недолгий период своей прижизненной славы. Его он обязан прежде всего театру. К сказкам отнеслись без особого интереса, стихов почти не читали, но успех первой из уайльдовских комедий на материале светской жизни «Веер леди Уиндермир» (1892) превзошел все ожидания. За нею последовали «Идеальный муж» и «Как важно быть серьезным» — две эти пьесы, увидевшие свет рампы в 1895 году, буквально за месяц до судебного процесса, окончательно покорили лондонскую публику.

Для тех, кто давно обратил внимание на Уайльда, его комедии были полной неожиданностью. Они заставляли вспомнить лучшие образцы этого жанра, расцветшего в шекспировскую эпоху, а столетие спустя обогащенного таким мастером, как Шеридан, но затем пережившего спад долгий и, казалось, непреодолимый. Они покорила изяществом, непринужденностью, остроумием, тонкостью и естественностью переходов от бурлеска к ситуациям достаточно драматическим, хотя и завершающимся благополучно, — словом, той неподдельной свободой и невымученной иронией, которые являются первыми условиями комического искусства. И они были решительно не похожи на драматургию, составлявшую тогда основной репертуар.

В те годы на европейских подмостках гремел Ибсен, стремительно восходила звезда Шоу. Началось повальное увлечение интеллектуальной драмой; вскоре его сменит острый интерес к экспериментам Метерлинка. Театр хотел стать думающим, проблемным, философичным. «Хорошо сделанная пьеса» с мелочными страстями и шаблонными персонажами никого уже не привлекала.

А Уайльд? Когда его спрашивали, что он хотел сказать своими пьесами, ответ был один и тот же: «Очень просто — надо подмечать серьезное в любых пустяках и пустяшное во всем серьезном». Как всякая уайльдовская шутка, это высказывание заключает в себе афористически четкую и отнюдь не пародийную мысль. Разительно отличающиеся — и по характеру построения, и по содержанию коллизий, и по художественным средствам, — от всего, что Уайльд писал прежде, комедии, однако, близки

и его стихотворениям, и сказкам по своей важнейшей творческой задаче. В сугубо рациональном мире, поклоняющемся сухой логике и для всего на свете приготовившем особый ярлычок, Уайльд все так же стремится обнаружить явления непредсказуемые и парадоксальные, своим смехом разбивая защитную броню прагматики, быть может, еще увереннее, чем это ему удавалось, когда он славил субъективность впечатления и воспевал власть фантазии.

Шоу, следивший за его театральными триумфами не без оттенка ревности, заметил, выходя с премьеры «Как важно быть серьезным»: «Да, это по-настоящему смешно, но, если комедия только забавляет, не умея растрогать, я считаю, что зря поехал на спектакль». Еще и сегодня, когда эта пьеса обошла чуть ли не все сцены мира, порой утверждают, что она написана с веселой беззаботностью — вроде скетча. А ведь это заблуждение. В любой комедии Уайльда есть ненавязчивый, но важный элемент сатиры. Его совсем несложно опознать хотя бы в «Идеальном муже», где более или менее отчетливо воссоздана нашумевшая в свое время история со спекуляцией акциями Суэцкого канала, скомпрометировавшей тогдашнего английского премьер-министра Дизраэли, который вступил в сделку с банкирским домом Ротшильдов. И даже «легкомысленная комедия для серьезных людей», разочаровавшая Шоу, очаровывает уже столько поколений зрителей не одной лишь виртуозностью фабулы и отточенным, подлинно английским юмором. Это пьеса о том, как непримиримы действительное жизнелюбие и чопорность, ханжество, доктринерство, возведенные в принцип, о противоестественности всевозможных масок, пусть их и приходится изобретать, защищаясь от условностей, на которых держится общество, о счастье истинном и иллюзорном — о проблемах, не перестававших волновать Уайльда с первых же его шагов в литературе.

Да и герои его комедий, если присмотреться, окажутся схожи с теми условными персонажами, которые населяют «Гранатовый домик», а тем более — с лордом Артуром Сэвилем. Джон Уординг, Алджернон, лорд Горинг — все это разновидности одного и того же типа, прошедшего через все произведения Уайльда, все это своего рода дэнди, показываемые в разных обстоятельствах, когда с особенной наглядностью вырисовываются разные свойства таких людей. А для Уайльда уже давно не было секретом, что дэндизм заключает в себе начала конфликтующие, чуть ли не полярные.

Он размышлял об этом, работая над своим единственным романом, напечатанным в журнале летом 1890 года, тут же переделанным и принявшим тот вид, в котором «Портрет Дориана Грея» вот уже без малого столетие знаком каждому почитателю английской прозы. Это еще одна сказка — и не оттого лишь, что автор снова избрал условный, фантастический сюжет. Есть и более глубокие переключки, связывающие роман со «Счастливым Принцем» и «Гранатовым домиком».

Персонажи сказок меняются. В первом сборнике они еще не ведают сложностей жизни и, как ни печально приобщение к истинам бытия, мир для них окрашен поэзией и радостью, которых уже не дано ощутить обитателям «Гранатового домика», постоянно чувствующим трагическую предопределенность судьбы. В «Дориане Грее» весь этот путь от неискренности к познанию совершается у нас на глазах. И, по словам самого Уайльда, «очень многое скрыто в той теме рока, которая красной нитью вплетается в золотую парчу» этой книги.

Рок предстает как возмездие, неотвратимо наступающее героя, который, признав наслаждение высшей целью жизни, подчиняет себя этой философии гедонизма безраздельно. Метафора портрета, центральная в романе, при всей своей кажущейся прозрачности обладает емкостью не меньшей, чем, например, символ шагреневой кожи у Бальзака, постоянно о себе напоминающий читателям «Дориана Грея». Разумеется, это лишь наиболее очевидная литературная параллель, есть и другие — Фауст в первую очередь. Порою Дориана прямо отождествляют с доктором-чернокнижником из старинной легенды, и тогда Мефистофелем оказывается лорд Генри, а Сибиле Вэйн уготована роль новоявленной Гретхен.

Такая интерпретация, однако, слишком прямолинейна да и фактологически неточна. Известно, как возник замысел «Дориана Грея»: однажды в мастерской своего приятеля Бэзила Уорда Уайльд застал натурщика, поразившего его совершенством своих черт, и воскликнул: «Какая жалость, что и ему не миновать старости со всем ее уродством!» Живописец заметил, что готов переписывать портрет хоть каждый год, если природа удовлетворится тем, что ее неумолимые законы отразятся на полотне, но не на живом облике этого херувима, случайно им где-то встреченного. Дальше вступила в свои права уайльдовская фантазия. А она не нуждалась в костылях литературных реминисценций.

Оттого и смысл романа несводим к опровержению той «глубоко эгоистической мысли», которая побуждала обладателей шагреневой кожи Рафаэля де Валантена мечтать о миллионе, дарующем власть над людьми. И при всех совпадениях с трагедией Гете — вплоть до фабульных — «Дориан Грей» остается произведением совершенно самостоятельным. Таким, какое, наверное, могло явиться лишь в атмосфере «конца века».

Эгоизм Дориана (как и лорда Генри) — качество особого рода, это эгоизм эстетов. Разумеется, они более или менее ясно представляют себе реальную жизнь, но не желают с нею считаться. Они восстают против нее своим культом юности, утонченности, художественного вкуса, точно бы все это способно было заменить нравственное чувство. И оба не хотят признать, что познание — это причастность к реальному миру, где каждый поступок неизбежно обладает своим этическим значением. Убийство художника остается убийством, а вина за гибель Сибилы остается виною, как бы — с помощью лорда Генри — ни пытался Дориан доказать самому себе, будто

этими действиями он лишь оберегал прекрасное от посягательств грубой обыденности.

В герое романа, конечно, немало от его создателя. Но Уайльду — в отличие от Дориана и лорда Генри — ясно, что «искусственный рай», о котором они мечтают, и невозможен, и ненужен. Вот откуда начинается полемика писателя со своими центральными персонажами. Они оба могли бы повторить афоризм Уайльда из программного его эссе «Критик как художник», где сказано, что «цель жизни состоит не в деянии, а в бытии», могли бы сделать этот парадокс своим девизом.

Но мысль Уайльда имеет продолжение: «И не просто в бытии, а в становлении». Для Уайльда человек погружен в поток реальной жизни, зависим от нее и меняется вместе с нею, совершая духовный выбор и принимая ответственность за него. Однако этой вот зависимости от реального — и ответственности перед живой жизнью — как раз и не хотят оба его героя. Слово бы и впрямь можно вечно оставаться юным, не зная становления со всеми его муками, словно время действительно можно остановить.

Крушение, к которому приходит Дориан, для Уайльда неотвратимо — как крушение человека, пытавшегося заменить реальность грезой и не оглядывавшегося на естественные, гуманные нормы. Портрет должен был служить воплощением нетленной и застывшей красоты, а сделавшись зеркалом становления, которого Дориан старался, но не мог избежать. И в конечном итоге от его этического выбора зависело, каким окажется становление и к чему оно приведет.

Искусство чуждо морали, декларировал Уайльд, а на первой странице романа вызывающе утверждал, что «всякое искусство совершенно бесполезно». Он спорил с теми, кто требовал от художника скучной дидактики, отвергая произведение, если в нем не обнаруживалось ходячих прописей. Но к этому дело не сводилось.

Для Уайльда искусство лежало вне морали и «полезностей» в том смысле, что своей глубиной, своим совершенством оно создает высший этический образец, налагающий серьезнейшую обязанность на каждого, кто служит или хотя бы поклоняется ему. Банкротство Дориана Грея было крушением индивидуалиста, а для Уайльда оно явилось и платой за отступничество от эстетического идеала, представляющего как союз красоты и правды. Одно мертво без другого — роман Уайльда говорил именно об этом, хотя первые критики «Дориана Грея» усмотрели в нем панегирик аморализму.

Нас теперь удивит подобная глухота. Трудно отделаться от ощущения, что она была преднамеренной. Пройдет несколько лет, и на суде рецензии будут фигурировать в качестве улики обвинения. Уайльда не сломит глумливое торжество ханжей. Но майским полднем 1897 года из ворот тюрьмы выйдет, чтобы навсегда уехать во Францию, человек, в котором

мало кто узнал бы художника, два года назад покидавшего судебный зал с гордо поднятой головой.

«Может быть, странно это слышать, но страдание для нас — способ существования, потому что это единственный способ осознать, что мы еще живы...» Такие настроения доминируют в исповеди, писавшейся в заточении. И в «Балладе Редингской тюрьмы» — последнем, что было напечатано при жизни Уайльда, — они тоже становятся лейтмотивом, а описываемая здесь казнь арестанта уподобляется распятию Христа. И как она описана! Прав был Уайльд, сказав о «Балладе», что это «воплъ Марсия, а не песнь Аполлона».

Греческий миф рассказывает: сатир Марсий, выучившись играть на флейте, вздумал состязаться с самим Аполлоном, и разгневанный бог за это содрал с него кожу. Играл Марсий необыкновенно — забывая обо всем, доходя до исступления. «Балладе» Уайльда присущ такой же накал. Но за экстазом описаний ада, где «и ночная тишина гремит страшней, чем гром», скрыт в ней строго выдержанный мифологический параллелизм. Гефсиманская скорбь витает над этим тюремным двором, где уже приготовлена яма, в которую швырнут казенного гвардейца, засыпав тело горючей известью. Новой Голгофой — страданием и искуплением — становится весь воссозданный Уайльдом эпизод.

Такие мотивы появлялись у него и прежде, особенно в стихотворениях, написанных прозой. Но там образ Христа сливался с идеей Художника, светлого ангела, явившегося среди тоскливой будничности, и лишь порою звучала иная тема — доброты и бескорыстия, без которых мертво познание. После Рединга все переменялось неузнаваемо: не наслаждение, а аскеза, не вызов, а смиренное принятие всего, что ни пошлет судьба, и страдание вместо радости, и любовь, которая превышает самой совершенной красоты. Уайльд был человеком крайностей: и в дэндизме, когда он оказался у недозволенной черты, и в смирении, пришедшем после того, как открылась истинная жестокость, на какую способно цивилизованное общество.

Незадолго до смерти он признается одному из немногих верных друзей: «Мне незачем писать, потому что я постиг значение жизни. Писать о жизни нельзя — ею можно только жить. А я жил».

И все равно искра таланта продолжала в нем тлеть, а где-то на глубине сохранялось прежнее восприятие мира. Последний раз оно о себе напомнит буквально за несколько минут до конца. Очнувшись от укола, Уайльд печально оглядел стены своего гостиничного номера и пожаловался, что обои так безвкусны. «Они меня убивают: кому-то из нас придется уйти...»

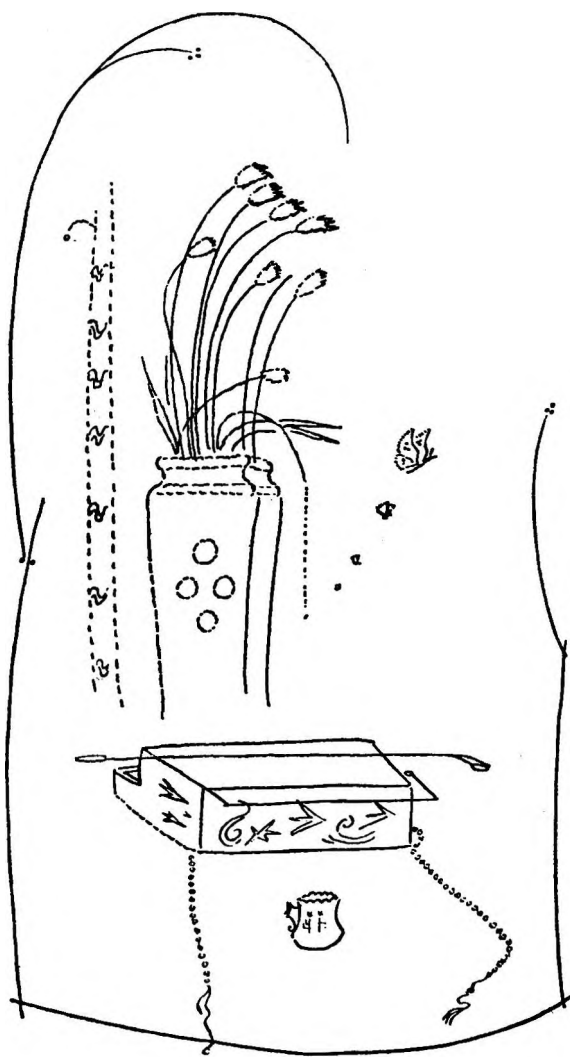
Когда он умер — всего сорока шести лет от роду, — появилось немало назидательных статей, в которых за лицемерными вздохами чувствовалась плохо скрытая боязнь его «растлевающего влияния». Никто, кажется, и не подумал заглянуть в предисловие к «Дориану Греху» и поразмыслить над



словами о ярости Калибана перед зеркалом. Калибаном Уайльд назвал свой век. У Шекспира в «Буре» четвероногий Калибан — так, во всяком случае, считали столетие назад — олицетворяет силу косную и злую. Уайльду казалось, что искусство, подобно шекспировскому Просперо, способно совладать с этой силой, укротить ее, какие бы бури ни приходилось выдерживать творцам истинной красоты.

Судьба Уайльда опровергла его иллюзии. А мечта, которой он жил, осталась. Да она и не исчезнет, пока сохраняется тот разлад между искусством и действительностью, который так остро почувствовал — и так своеобразно передал — этот болезненный Орфей, волею обстоятельств спустившийся в современный Аид и не сумевший растрогать его властителей, но не поколебавшийся в своем рыцарственном служении Прекрасному.

*А. Зверев*



# ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ

РОМАН

*Перевод М. Абкиной*



## ПРЕДИСЛОВИЕ

Художник — тот, кто создает прекрасное.

Раскрыть людям себя и скрыть художника — вот к чему стремится искусство.

Критик — это тот, кто способен в новой форме или новыми средствами передать свое впечатление от прекрасного.

Высшая, как и низшая, форма критики — один из видов автобиографии.

Те, кто в прекрасном находят дурное, — люди испорченные, и притом испорченность не делает их привлекательными. Это большой грех.

Те, кто способны узреть в прекрасном его высокий смысл, — люди культурные. Они не безнадежны.

Но избранник — тот, кто в прекрасном видит лишь одно: Красоту.

Нет книг нравственных или безнравственных. Есть книги хорошо написанные или написанные плохо. Вот и все.

Ненависть девятнадцатого века к Реализму — это ярость Калибана, увидевшего себя в зеркале.

Ненависть девятнадцатого века к Романтизму — это ярость Калибана, не находящего в зеркале своего отражения.

Для художника нравственная жизнь человека — лишь одна из тем его творчества. Этика же искусства — в совершенном применении несовершенных средств.

Художник не стремится что-то доказывать. Доказать можно даже неоспоримые истины.

Художник не моралист. Подобная склонность художника рождает непростительную манерность стиля.

Не приписывайте художнику нездоровых тенденций: ему дозволено изображать все.

Мысль и Слово для художника — средства Искусства.

Порок и Добродетель — материал для его творчества.

Если говорить о форме, — прообразом всех искусств является искусство музыканта. Если говорить о чувстве — искусство актера.

Во всяком искусстве есть то, что лежит на поверхности, и символ.

Кто пытается проникнуть глубже поверхности, тот идет на риск.

И кто раскрывает символ, идет на риск.

В сущности, Искусство — зеркало, отражающее того, кто в него смотрится, а вовсе не жизнь.

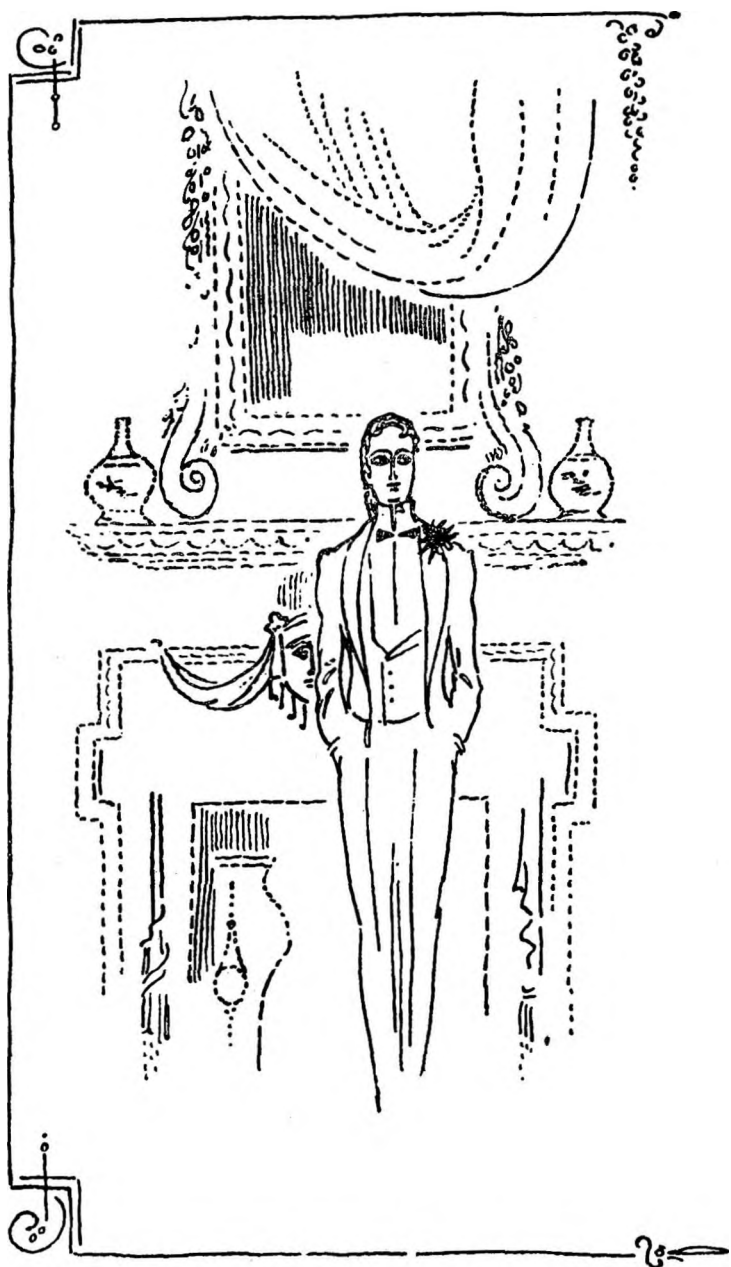
Если произведение искусства вызывает споры, — значит, в нем есть нечто новое, сложное и значительное.

Пусть критики расходятся во мнениях, — художник остается верен себе.

Можно простить человеку, который делает нечто полезное, если только он этим не восторгается. Тому же, кто создает бесполезное, единственным оправданием служит лишь страстная любовь к своему творению.

Всякое искусство совершенно бесполезно.

*Оскар Уайльд*





## ГЛАВА I

Густой аромат роз наполнял мастерскую художника, а когда в саду поднимался летний ветерок, он, влетая в открытую дверь, приносил с собой то пьянящий запах сирени, то нежное благоухание алых цветов боярышника.

С покрытого персидскими чепраками дивана, на котором лежал лорд Генри Уоттон, куря, как всегда, одну за другой бесчисленные папиросы, был виден только куст раkitника — его золотые и душистые, как мед, цветы жарко пылали на солнце, а трепещущие ветви, казалось, едва выдерживали тяжесть этого сверкающего великолепия; по временам на длинных шелковых занавесях громадного окна мелькали причудливые тени пролетавших мимо птиц, создавая на миг

подобие японских рисунков,— и тогда лорд Генри думал о желтолицых художниках далекого Токио, стремившихся передать движение и порыв средствами искусства, по природе своей статичного. Сердитое жужжание пчел, пробирававшихся в нескошенной высокой траве или однообразно и настойчиво круживших над осыпанной золотой пылью кудрявой жимолостью, казалось, делало тишину еще более гнетущей. Глухой шум Лондона доносился сюда, как гудение далекого органа.

Посреди комнаты стоял на мольберте портрет молодого человека необыкновенной красоты, а перед мольбертом, немного поодаль, сидел и художник, тот самый Бэзил Холлуорд, чье внезапное исчезновение несколько лет назад так взволновало лондонское общество и вызвало столько самых фантастических предположений.

Художник смотрел на прекрасного юношу, с таким искусством отображенного им на портрете, и довольная улыбка не сходила с его лица. Но вдруг он вскочил и, закрыв глаза, прижал пальцы к векам, словно желая удержать в памяти какой-то удивительный сон и боясь проснуться.

— Это лучшая твоя работа, Бэзил, лучшее из всего того, что тобой написано,— лениво промолвил лорд Генри. — Непременно надо в будущем году послать ее на выставку в Гровенор. В Академию не стоит: Академия слишком обширна и общедоступна. Когда ни придешь, встречаешь там столько людей, что не видишь картин, или столько картин, что не удастся людей посмотреть. Первое очень неприятно, второе еще хуже. Нет, единственное подходящее место — это Гровенор.

— А я вообще не собираюсь выставлять этот портрет,— отозвался художник, откинув голову, по своей характерной привычке, над которой, бывало, трунили его товарищи в Оксфордском университете. — Нет, никуда я его не пошлю.

Удивленно подняв брови, лорд Генри посмотрел на Бэзила сквозь голубой дым, причудливыми кольцами поднимавшийся от его пропитанной опиумом папиросы.

— Никуда не пошлешь? Это почему же? По какой такой причине, мой милый? Чудаки, право, эти художники! Из кожи лезут, чтобы добиться известности, а когда слава приходит, они как будто тяготеют ею. Как это глупо! Если неприятно, когда о тебе много говорят, то еще хуже, когда о тебе совсем не говорят. Этот портрет вознес бы тебя, Бэзил, много выше всех молодых художников Англии,

а старым внушил бы сильную зависть, если старики вообще еще способны испытывать какие-либо чувства.

— Знаю, ты будешь надо мною смеяться,— возразил художник,— но я, право, не могу выставить напоказ этот портрет... Я вложил в него слишком много самого себя.

Лорд Генри расхохотался, поудобнее устраиваясь на диване.

— Ну вот, я так и знал, что тебе это покажется смешным. Тем не менее это истинная правда.

— Слишком много самого себя? Ей-богу, Бэзил, я не подозревал в тебе такого сомнения. Не вижу ни малейшего сходства между тобой, мой черноволосый, суроволицый друг, и этим юным Адонисом, словно созданным из слоновой кости и розовых лепестков. Пойми, Бэзил, он — Нарцисс, а ты... Ну конечно, лицо у тебя одухотворенное и все такое. Но красота, подлинная красота, исчезает там, где появляется одухотворенность. Высоко развитый интеллект уже сам по себе некоторая аномалия, он нарушает гармонию лица. Как только человек начнет мыслить, у него непропорционально вытягивается нос, или увеличивается лоб, или что-нибудь другое портит его лицо. Посмотри на выдающихся деятелей любой ученой профессии — как они уродливы! Исключение составляют, конечно, наши духовные пастыри,— но эти ведь не утруждают своих мозгов. Епископ в восемьдесят лет продолжает твердить то, что ему внушали, когда он был восемнадцатилетним юнцом,— естественно, что лицо его сохраняет красоту и благообразие. Судя по портрету, твой таинственный молодой приятель, чье имя ты упорно не хочешь назвать, очарователен,— значит, он никогда ни о чем не думает. Я в этом совершенно убежден. Наверное, он — безмозглое и прелестное божье создание, которое нам следовало бы всегда иметь перед собой: зимой, когда нет цветов,— чтобы радовать глаза, а летом — чтобы освежать разгоряченный мозг. Нет, Бэзил, не льсти себе: ты ничуть на него не похож.

— Ты меня не понял, Гарри,— сказал художник. — Разумеется, между мною и этим мальчиком нет никакого сходства. Я это отлично знаю. Да я бы и не хотел быть таким, как он. Ты пожимаешь плечами, не веришь? А между тем я говорю вполне искренне. В судьбе людей, физически или духовно совершенных, есть что-то роковое — точно такой же рок на протяжении всей истории как будто направлял неверные шаги королей. Гораздо безопаснее ничем не отличаться от других. В этом мире всегда остаются



в барыше глупцы и уроды. Они могут сидеть спокойно и смотреть на борьбу других. Им не дано узнать торжество побед, но зато они избавлены от горечи поражений. Они живут так, как следовало бы жить всем нам,— без всяких тревожений, безмятежно, ко всему равнодушные. Они никого не губят и сами не гибнут от вражеской руки... Ты знатен и богат, Гарри, у меня есть интеллект и талант, как бы он ни был мал, у Дориана Грея — его красота. И за все эти дары богов мы расплатимся когда-нибудь, заплатим тяжкими страданиями.

— Дориана Грея? Ага, значит, вот как его зовут? — спросил лорд Генри, подходя к Холлуорду.

— Да. Я не хотел называть его имя...

— Но почему же?

— Как тебе объяснить... Когда я очень люблю кого-нибудь, я никогда никому не называю его имени. Это все равно что отдать другим какую-то частицу дорогого тебе человека. И знаешь — я стал скрытен, мне нравится иметь от людей тайны. Это, пожалуй, единственное, что может сделать для нас современную жизнь увлекательной и загадочной. Самая обыкновенная безделица приобретает удивительный интерес, как только начинаешь скрывать ее от людей. Уезжая из Лондона, я теперь никогда не говорю своим родственникам, куда еду. Скажи я им — и все удовольствия пропадет. Это смешная прихоть, согласен, но она каким-то образом вносит в мою жизнь изрядную долю романтики. Ты, конечно, скажешь, что это ужасно глупо?

— Нисколько,— возразил лорд Генри. — Нисколько, дорогой Бэзил! Ты забываешь, что я человек женатый, а в том и состоит единственная прелесть брака, что обеим сторонам неизбежно приходится изощряться во лжи. Я никогда не знаю, где моя жена, и моя жена не знает, чем занят я. При встречах,— а мы с ней иногда встречаемся, когда вместе обедаем в гостях или бываем с визитом у герцога,— мы с самым серьезным видом рассказываем друг другу всякие небылицы. Жена делает это гораздо лучше, чем я. Она никогда не запутается, а со мной это бывает постоянно. Впрочем, если ей случается меня уличить, она не сердится и не устраивает сцен. Иной раз мне это даже досадно. Но она только подшучивает надо мной.

— Терпеть не могу, когда ты в таком тоне говоришь о своей семейной жизни, Гарри,— сказал Бэзил Холлуорд, подходя к двери в сад. — Я уверен, что на самом деле ты

прекрасный муж, но стыдишься своей добродетели. Удивительный ты человек! Никогда не говоришь ничего нравственного — и никогда не делаешь ничего безнравственного. Твой цинизм — только поза.

— Знаю, что быть естественным — это поза, и самая ненавистная людям поза! — воскликнул лорд Генри со смехом.

Молодые люди вышли в сад и уселись на бамбуковой скамье в тени высокого лаврового куста. Солнечные зайчики скользили по его блестящим, словно лакированным листьям. В траве тихонько покачивались белые маргаритки.

Некоторое время хозяин и гость сидели молча. Потом лорд Генри посмотрел на часы.

— Ну, к сожалению, мне пора, Бэзил, — сказал он. — Но раньше, чем я уйду, ты должен ответить мне на вопрос, который я задал тебе.

— Какой вопрос? — спросил художник, не поднимая глаз.

— Ты отлично знаешь какой.

— Нет, Гарри, не знаю.

— Хорошо, я тебе напомню. Объясни, пожалуйста, почему ты решил не посылать на выставку портрет Дориана Грея. Я хочу знать правду.

— Я и сказал тебе правду.

— Нет. Ты сказал, что в этом портрете слишком много тебя самого. Но ведь это же ребячество!

— Пойми, Гарри. — Холлуорд посмотрел в глаза лорду Генри. — Всякий портрет, написанный с любовью, — это, в сущности, портрет самого художника, а не того, кто ему позировал. Не его, а самого себя раскрывает на полотне художник. И я боюсь, что портрет выдаст тайну моей души. Потому и не хочу его выставлять.

Лорд Генри расхохотался.

— И что же это за тайна? — спросил он.

— Так и быть, расскажу тебе, — начал Холлуорд как-то смущенно.

— Ну-с? Я сгораю от нетерпения, Бэзил, — настаивал лорд Генри, поглядывая на него.

— Да говорить-то тут почти нечего, Гарри... И вряд ли ты меня поймешь. Пожалуй, даже не поверишь.

Лорд Генри только усмехнулся в ответ и, наклонясь, сорвал в траве розовую маргаритку.

— Я совершенно уверен, что пойму, — отозвался он, внимательно разглядывая золотистый с белой опушкой

пестик цветка. — А поверить я способен во что угодно, и тем охотнее, чем оно невероятнее.

Налетевший ветерок стряхнул несколько цветков с деревьев; тяжелые кисти сирени, словно сотканые из звездочек, медленно закачались в разнеженной зноем сонной тишине. У стены трещал кузнечик. Длинной голубой нитью на прозрачных коричневых крылышках промелькнула в воздухе стрекоза... Лорду Генри казалось, что он слышит, как стучит сердце в груди Бэзила, и он пытался угадать, что будет дальше.

— Ну, так вот... — заговорил художник, немного помолчав. — Месяца два назад мне пришлось быть на рауте у леди Брэндон. Ведь нам, бедным художникам, следует время от времени появляться в обществе, хотя бы для того, чтобы показать людям, что мы не дикари. Помню твои слова, что во фраке и белом галстуке кто угодно, даже биржевой маклер, может сойти за цивилизованного человека.

В гостиной леди Брэндон я минут десять беседовал с разряженными в пух и прах знатными вдовами и с нудными академиками, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Я оглянулся и тут-то в первый раз увидел Дориана Грея. Глаза наши встретились, и я почувствовал, что бледнею. Меня охватил какой-то инстинктивный страх, и я понял: передо мной человек настолько обаятельный, что, если я поддамся его обаянию, он поглотит меня всего, мою душу и даже мое искусство. А я не хотел никаких посторонних влияний в моей жизни. Ты знаешь, Генри, какой у меня независимый характер. Я всегда был сам себе хозяин... во всяком случае, до встречи с Дорианом Греем. Ну а тут... не знаю, как и объяснить тебе... Внутренний голос говорил мне, что я накануне страшного перелома в жизни. Я смутно предчувствовал, что судьба готовит мне необычайные радости и столь же изощренные мучения. Мне стало жутко, и я уже шагнул было к двери, решив уйти. Сделал я это почти бессознательно, из какой-то трусости. Конечно, попытка сбежать не делает мне чести. По совести говоря...

— Совесть и трусость, в сущности, одно и то же, Бэзил. «Совесть» — официальное название трусости, вот и все.

— Не верю я этому, Гарри, да и ты, мне думается, не веришь... Словом, не знаю, из каких побуждений, — быть может, из гордости, так как я очень горд, — я стал пробираться к выходу. Однако у двери меня, конечно, перехватила леди Брэндон. «Уж не намерены ли вы сбежать так рано,

мистер Холлуорд?» — закричала она. Знаешь, какой у нее пронзительный голос!

— Еще бы! Она — настоящий павлин, только без его красоты, — подхватил лорд Генри, разрывая маргаритку длинными нервными пальцами.

— Мне не удалось от нее отделаться. Она представила меня высочайшим особам, потом разным сановникам в звездах и орденах Подвязки и каким-то старым дамам в огромных диадемах и с крючковатыми носами. Всем она рекомендовала меня как своего лучшего друга, хотя видела меня второй раз в жизни. Видно, она забрала себе в голову включить меня в свою коллекцию знаменитостей. Кажется, в ту пору какая-то из моих картин имела большой успех, — во всяком случае, о ней болтали в грошовых газетах, а в наше время это патент на бессмертие.

И вдруг я очутился лицом к лицу с тем самым юношей, который с первого взгляда вызвал в моей душе столь странное волнение. Он стоял так близко, что мы почти столкнулись. Глаза наши встретились снова. Тут я безрассудно попросил леди Брэндон познакомить нас. Впрочем, это, пожалуй, было не такое уж безрассудство: все равно, если бы нас и не познакомили, мы неизбежно заговорили бы друг с другом. Я в этом уверен. Это же самое сказал мне потом Дориан. И он тоже сразу почувствовал, что нас свел не случай, а судьба.

— А что же леди Брэндон сказала тебе об этом очаровательном юноше? — спросил лорд Генри. — Я ведь знаю ее манеру давать беглую характеристику каждому гостю. Помню, как она раз подвела меня к какому-то грозному краснолицему старцу, увешанному орденами и лентами, а по дороге трагическим шепотом — его, наверное, слышали все в гостиной — сообщала мне на ухо самые ошеломительные подробности его биографии. Я просто-напросто сбежал от нее. Я люблю сам, без чужой помощи, разбираться в людях. А леди Брэндон описывает своих гостей точь-в-точь как оценщик на аукционе продающиеся с молотка вещи: она либо рассказывает о них самое сокровенное, либо сообщает вам все, кроме того, что вы хотели бы узнать.

— Бедная леди Брэндон! Ты слишком уж строг к ней, Гарри, — рассеянно заметил Холлуорд.

— Дорогой мой, она стремилась создать у себя «салон», но получился попросту ресторан. А ты хочешь, чтобы я ею восхищался? Ну, бог с ней, скажи-ка мне лучше, как она отзывалась о Дориане Грее?

— Пробормотала что-то такое вроде: «Прелестный мальчик... мы с его бедной матерью были неразлучны... Забыла, чем он занимается... Боюсь, что ничем... Ах да, играет на рояле... Или на скрипке, дорогой мистер Грей?» Оба мы не могли удержаться от смеха, и это нас как-то сразу сблизило.

— Недурно, если дружба начинается смехом, и лучше всего, если она им же кончается, — заметил лорд Генри, срывая еще одну маргаритку.

Холлуорд покачал головой.

— Ты не знаешь, что такое настоящая дружба, Гарри, — сказал он тихо. — Да и вражда настоящая тебе тоже незнакома. Ты любишь всех, а любить всех — значит не любить никого. Тебе все одинаково безразлично.

— Как ты несправедлив ко мне! — воскликнул лорд Генри. Сдвинув шляпу на затылок, он смотрел на облачка, проплывавшие в бирюзовой глубине летнего неба и похожие на растрепанные мотки блестящего шелка. — Да, да, возмутительно несправедлив! Я далеко не одинаково отношусь к людям. В близкие друзья выбираю себе людей красивых, в приятели — людей с хорошей репутацией, врагов завожу только умных. Тщательнее всего следует выбирать врагов. Среди моих недругов нет ни единого глупца. Все они — люди мыслящие, достаточно интеллигентные и потому умеют меня ценить. Ты скажешь, что мой выбор объясняется тщеславием? Что ж, пожалуй, это верно.

— И я так думаю, Гарри. Между прочим, согласно твоей схеме, я тебе не друг, а просто приятель?

— Дорогой мой Бэзил, ты для меня гораздо больше, чем «просто приятель».

— И гораздо меньше, чем друг? Значит, что-то вроде брата, не так ли?

— Ну, нет! К братьям своим я не питаю нежных чувств. Мой старший брат никак не хочет умереть, а младшие только это и делают.

— Гарри! — остановил его Холлуорд, нахмутив брови.

— Дружище, это же говорится не совсем всерьез. Но, признаюсь, я действительно не терплю свою родню. Это потому, должно быть, что мы не выносим людей с теми же недостатками, что у нас. Я глубоко сочувствую английским демократам, которые возмущаются так называемыми «пороками высших классов». Люди низшего класса инстинктивно понимают, что пьянство, глупость и безнравственность должны быть их привилегиями, и если кто-либо из нас

страдает этими пороками, он тем самым как бы узурпирует их права. Когда бедняга Саутуорк вздумал развестись с женой, негодование масс было прямо-таки великолепно. Между тем я не поручусь за то, что хотя бы десять процентов пролетариев ведет добродетельный образ жизни.

— Во всем, что ты тут нагородил, нет ни единого слова, с которым можно согласиться, Гарри! И ты, конечно, сам в это не веришь.

Лорд Генри погладил каштановую бородку, похлопал своей черной тростью с кисточкой по носку лакированного ботинка.

— Какой ты истый англичанин, Бэзил! Вот уже второй раз я слышу от тебя это замечание. Попробуй высказать какую-нибудь мысль типичному англичанину, — а это большая неосторожность! — так он и не подумает разобраться, верная это мысль или неверная. Его интересует только одно: убежден ли ты сам в том, что говоришь. А между тем важна идея, независимо от того, искренне ли верит в нее тот, кто ее высказывает. Идея, пожалуй, имеет тем большую самостоятельную ценность, чем менее верит в нее тот, от кого она исходит, ибо она тогда не отражает его желаний, нужд и предрассудков... Впрочем, я не собираюсь обсуждать с тобой политические, социологические или метафизические вопросы. Люди меня интересуют больше, чем их принципы, а интереснее всего — люди без принципов. Поговорим о Дориане Грее. Часто вы встречаетесь?

— Каждый день. Я чувствовал бы себя несчастным, если бы не виделся с ним ежедневно. Я без него жить не могу.

— Вот чудеса! А я-то думал, что ты всю жизнь будешь любить только свое искусство.

— Дориан для меня теперь — все мое искусство, — сказал художник серьезно. — Видишь ли, Гарри, иногда я думаю, что в истории человечества есть только два важных момента. Первый — это появление в искусстве новых средств выражения, второй — появление в нем нового образа. И лицо Дориана Грея когда-нибудь станет для меня тем, чем было для венецианцев изобретение масляных красок в живописи или для греческой скульптуры — лик Антиноя. Конечно, я пишу Дориана красками, рисую, делаю эскизы... Но дело не только в этом. Он для меня гораздо больше, чем модель или натурщик. Я не говорю, что не удовлетворен своей работой, я не стану тебя уверять, что такую красоту невозможно отобразить в искусстве. Нет ничего такого, чего не могло бы выразить искусство.

Я вижу — то, что я написал со времени моего знакомства с Дорианом Греем, написано хорошо, это моя лучшая работа. Не знаю, как это объяснить и поймешь ли ты меня... Встреча с Дорианом словно дала мне ключ к чему-то совсем новому в живописи, открыла мне новую манеру письма. Теперь я вижу вещи в ином свете и все воспринимаю по-иному. Я могу в своем искусстве воссоздавать жизнь средствами, которые прежде были мне неведомы. «Мечта о форме в дни, когда царствует мысль», — кто это сказал? Не помню. И такой мечтой стал для меня Дориан Грей. Одно присутствие этого мальчика — в моих глазах он еще мальчик, хотя ему уже минуло двадцать лет... ах, не знаю, можешь ли ты себе представить, что значит для меня его присутствие! Сам того не подозревая, он открывает мне черты какой-то новой школы, школы, которая будет сочетать в себе всю страстность романтизма и все совершенство эллинизма. Гармония духа и тела — как это прекрасно! В безумии своем мы разлучили их, мы изобрели вульгарный реализм и пустой идеализм. Ах, Гарри, если бы ты только знал, что для меня Дориан Грей! Помнишь тот пейзаж, за который Эгнью предлагал мне громадные деньги, а я не захотел с ним расстаться? Это одна из лучших моих картин. А почему? Потому что, когда я ее писал, Дориан Грей сидел рядом. Какое-то его неуловимое влияние на меня помогло мне впервые увидеть в обыкновенном лесном пейзаже чудо, которое я всегда искал и не умел найти.

— Бэзил, это поразительно! Я должен увидеть Дориана Грея!

Холлуорд поднялся и стал ходить по саду. Через несколько минут он вернулся к скамье.

— Пойми, Гарри, — сказал он, — Дориан Грей для меня попросту мотив в искусстве. Ты, быть может, ничего не увидишь в нем, а я вижу все. И в тех моих картинах, на которых Дориан не изображен, его влияние чувствуется всего сильнее. Как я уже тебе сказал, он словно подсказывает мне новую манеру письма. Я нахожу его, как откровение, в изгибах некоторых линий, в нежной прелести иных тонов. Вот и все.

— Но почему же тогда ты не хочешь выставить его портрет? — спросил лорд Генри.

— Потому что я невольно выразил в этом портрете ту непостижимую влюбленность художника, в которой я, разумеется, никогда не признавался Дориану. Дориан о ней не знает. И никогда не узнает. Но другие люди могли бы

отгадать правду, а я не хочу обнажать душу перед их любопытными и близорукими глазами. Никогда я не позволю им рассматривать мое сердце под микроскопом. Понимаешь теперь, Гарри? В это полотно я вложил слишком много души, слишком много самого себя.

— А вот поэты — те не так стыдливы, как ты. Они прекрасно знают, что о любви писать выгодно, на нее большой спрос. В наше время разбитое сердце выдерживает множество изданий.

— Я презираю таких поэтов! — воскликнул Холлурд. — Художник должен создавать прекрасные произведения искусства, не внося в них ничего из своей личной жизни. В наш век люди думают, что произведение искусства должно быть чем-то вроде автобиографии. Мы утратили способность отвлеченно воспринимать красоту. Я надеюсь когда-нибудь показать миру, что такое абстрактное чувство прекрасно, — и потому-то мир никогда не увидит портрет Дориана Грея.

— По-моему, ты не прав, Бэзил, но не буду с тобой спорить. Спорят только безнадежные кретины. Скажи, Дориан Грей очень тебя любит?

Художник задумался.

— Дориан ко мне привязан, — ответил он после недолгого молчания. — Знаю, что привязан. Оно и понятно: я ему всячески льщу. Мне доставляет странное удовольствие говорить ему вещи, которые говорить не следовало бы, — хоть я и знаю, что потом пожалею об этом. В общем, он относится ко мне очень хорошо, и мы проводим вдвоем целые дни, беседуя на тысячу тем. Но иногда он бывает ужасно не чуток, и ему как будто очень нравится мучить меня. Тогда я чувствую, Гарри, что отдал всю душу человеку, для которого она — то же, что цветок в петлице, украшение, которым он будет тешить свое тщеславие только один летний день.

— Летние дни долги, Бэзил, — сказал вполголоса лорд Генри. — И, быть может, ты пресытишься раньше, чем Дориан. Как это ни печально, Гений, несомненно, долговечнее Красоты. Потому-то мы так и стремимся сверх всякой меры развивать свой ум. В жестокой борьбе за существование мы хотим сохранить хоть что-нибудь устойчивое, прочное, и начинаем голову фактами и всяким хламом в бессмысленной надежде удержать за собой место в жизни. Высокообразованный, сведущий человек — вот современный идеал. А мозг такого высокообразованного человека —



это нечто страшное! Он подобен лавке антиквария, набитой всяким пыльным старьем, где каждая вещь оценена гораздо выше своей настоящей стоимости... Да, Бэзил, я все-таки думаю, что ты пресытишься первым. В один прекрасный день ты взглянешь на своего друга — и красота его покажется тебе уже немного менее гармоничной, тебе вдруг не понравится тон его кожи или что-нибудь еще. В душе ты горько упрекнешь в этом его и самым серьезным образом начнешь думать, будто он в чем-то виноват перед тобой. При следующем свидании ты будешь уже совершенно холоден и равнодушен. И можно только очень пожалеть об этой будущей перемене в тебе. То, что ты мне сейчас рассказал, — настоящий роман. Можно сказать, роман на почве искусства. А пережив роман своей прежней жизни, человек — увы! — становится так прозаичен!

— Не говори так, Гарри. Я на всю жизнь пленен Дорианом. Тебе меня не понять: ты такой непостоянный.

— Ах, дорогой Бэзил, именно поэтому я и способен понять твои чувства. Тем, кто верен в любви, доступна лишь ее банальная сущность. Трагедию же любви познают лишь те, кто изменяет.

Достав изящную серебряную спичечницу, лорд Генри закурил папиросу с самодовольным и удовлетворенным видом человека, сумевшего вместить в одну фразу всю житейскую мудрость.

В блестящих зеленых листьях плюща возились и чирикали воробьи, голубые тени облаков, как стаи быстрых ласточек, скользили по траве. Как хорошо было в саду! «И как увлекательно-интересны чувства людей, гораздо интереснее их мыслей! — говорил себе лорд Генри. — Собственная душа и страсти друзей — вот что самое занятое в жизни».

Он с тайным удовольствием вспомнил, что, засидевшись у Бэзила Холлуорда, пропустил скучный завтрак у своей тетушки. У нее, несомненно, завтракает сегодня лорд Гудбоди, и разговор все время вертится вокруг образцовых столовых и ночлежных домов, которые необходимо открыть для бедняков. При этом каждый восхваляет те добродетели, в которых ему самому нет надобности упражняться: богачи проповедуют бережливость, а бездельники красноречиво распространяются о великом значении труда. Как хорошо, что на сегодня он избавлен от всего этого!

Мысль о тетушке вдруг вызвала в уме лорда Генри одно воспоминание. Он повернулся к Холлуорду.

— Знаешь, я сейчас вспомнил...

— Что вспомнил, Гарри?

— Вспомнил, где я слышал про Дориана Грея.

— Где же? — спросил Холлуорд, сдвинув брови.

— Не смотри на меня так сердито, Бэзил. Это было у моей тетушки, леди Агаты. Она рассказывала, что нашла премилого молодого человека, который обещал помогать ей в Ист-Энде, и зовут его Дориан Грей. Заметь, она и словом не упомянула о его красоте. Женщины, — не ценят красоту. Тетушка сказала только, что он юноша серьезный, с прекрасным сердцем, — и я сразу представил себе субъекта в очках, с прямыми волосами, веснушчатой физиономией и огромными ногами. Жаль, я тогда не знал, что этот Дориан — твой друг.

— А я очень рад, что ты этого не знал, Гарри.

— Почему?

— Я не хочу, чтобы вы познакомились.

— Не хочешь, чтобы мы познакомились?

— Нет.

— Мистер Дориан Грей в студии, сэр, — доложил лакей, появляясь в саду.

— Ага, теперь тебе волей-неволей придется нас познакомиться! — со смехом воскликнул лорд Генри.

Художник повернулся к лакею, который стоял, жмурясь от солнца.

— Попросите мистера Грея подождать, Паркер: я сию минуту приду.

Лакей поклонился и пошел по дорожке к дому. Тогда Холлуорд посмотрел на лорда Генри.

— Дориан Грей — мой лучший друг, — сказал он. — У него открытая и светлая душа — твоя тетушка была совершенно права. Смотри, Гарри, не испорти его! Не пытайся на него влиять. Твое влияние было бы губительно для него. Свет велик, в нем много интереснейших людей. Так не отнимай же у меня единственного человека, который вдохнул в мое искусство то прекрасное, что есть в нем. Все мое будущее художника зависит от него. Помни, Гарри, я надеюсь на твою совесть!

Он говорил очень медленно, и слова, казалось, вырывались у него помимо воли.

— Что за глупости! — с улыбкой перебил лорд Генри и, взяв Холлуорда под руку, почти насильно повел его в дом.

## ГЛАВА II

В мастерской они застали Дориана Грея. Он сидел за роялем, спиной к ним, и перелистывал шумановский альбом «Лесные картинки».

— Что за прелесть! Я хочу их разучить, — сказал он, не оборачиваясь. — Дайте их мне на время, Бэзил.

— Дам, если вы сегодня будете хорошо позировать, Дориан.

— Ох, надоело мне это! И я вовсе не стремлюсь иметь свой портрет в натуральную величину, — возразил юноша капризно. Повернувшись на табурете, он увидел лорда Генри и поспешно встал, порозовев от смущения. — Извините, Бэзил, я не знал, что у вас гость.

— Знакомьтесь, Дориан, это лорд Генри Уоттон, мой старый товарищ по университету. Я только что говорил ему, что вы превосходно позируете, а вы своим брюзжанием все испортили!

— Но ничуть не испортили мне удовольствия познакомиться с вами, мистер Грей, — сказал лорд Генри, подходя к Дориану и протягивая ему руку. — Я много слышался о вас от моей тетушки. Вы — ее любимец и, боюсь, одна из ее жертв.

— Как раз теперь я у леди Агаты на плохом счету, — отозвался Дориан с забавно-покаянным видом. — Я обещал в прошлый вторник поехать с ней на концерт в один уайтчеплский клуб — и совершенно забыл об этом. Мы должны были там играть с ней в четыре руки, — кажется, даже целых три дуэта. Уж не знаю, как она теперь меня встретит. Боюсь показаться ей на глаза.

— Ничего, я вас помирю. Тетушка Агата вас очень любит. И то, что вы не выступили вместе с нею на концерте, вряд ли так уж важно. Публика, вероятно, думала, что исполняется дуэт, — ведь за роялем тетя Агата вполне может нашуметь за двоих.

— Такое мнение крайне обидно для нее и не очень-то лестно для меня, — сказал Дориан, смеясь.

Лорд Генри смотрел на Дориана, любуясь его ясными голубыми глазами, золотистыми кудрями, изящным рисунком алого рта. Этот юноша в самом деле был удивительно красив, и что-то в его лице сразу внушало доверие. В нем чувствовалась искренность и чистота юности, ее целомудренная пылкость. Легко было поверить, что жизнь еще

ничем не загрязнила этой молодой души. Недаром Бэзил Холлуорд боготворил Дориана!

— Ну, можно ли такому очаровательному молодому человеку заниматься благотворительностью! Нет, вы для этого слишком красивы, мистер Грей,— сказал лорд Генри и, развалясь на диване, достал свой портсигар.

Художник тем временем приготовил кисти и смешивал краски на палитре. На хмуром его лице было заметно сильное беспокойство. Услышав последнее замечание лорда Генри, он быстро оглянулся на него и после минутного колебания сказал:

— Гарри, мне хотелось бы закончить сегодня портрет. Ты не обидишься, если я попрошу тебя уйти?

Лорд Генри с улыбкой посмотрел на Дориана.

— Уйти мне, мистер Грей?

— Ах нет, лорд Генри, пожалуйста, не уходите! Бэзил, я вижу, сегодня опять в дурном настроении, а я терпеть не могу, когда он сердится. Притом вы еще не объяснили, почему мне не следует заниматься благотворительностью?

— Стоит ли объяснять это, мистер Грей? На такую скучную тему говорить пришлось бы серьезно. Но я, конечно, не уйду, раз вы меня просите остаться. Ты ведь не будешь возражать, Бэзил? Ты сам не раз говорил мне, что любишь, когда кто-нибудь занимает тех, кто тебе позировует.

Холлуорд закусил губу.

— Конечно, оставайся, раз Дориан этого хочет. Его прихвати — закон для всех, кроме него самого.

Лорд Генри взял шляпу и перчатки.

— Несмотря на твои настояния, Бэзил, я, к сожалению, должен вас покинуть. Я обещал встретиться кое с кем в Орлеанском клубе. До свиданья, мистер Грей. Навестите меня как-нибудь на Керзон-стрит. В пять я почти всегда дома. Но лучше вы сообщите заранее, когда захотите прийти: было бы обидно, если бы вы меня не застали.

— Бэзил,— воскликнул Дориан Грей,— если лорд Генри уйдет, я тоже уйду! Вы никогда рта не открываете во время работы, и мне ужасно надоедает стоять на подмостках и все время мило улыбаться. Попросите его не уходить!

— Оставайся, Гарри. Дориан будет рад, и меня ты этим очень обяжешь,— сказал Холлуорд, не отводя глаз от картины. — Я действительно всегда молчу во время работы и не слушаю, что мне говорят, так что моим бедным натурщикам, должно быть, нестерпимо скучно. Пожалуйста, посиди с нами.

— А как же мое свидание в клубе?

Художник усмехнулся.

— Не думаю, чтобы это было так уж важно. Садись, Гарри. Ну а вы, Дориан, станьте на подмостки и поменьше вертитеесь. Да не очень-то слушайте лорда Генри — он на всех знакомых, кроме меня, оказывает самое дурное влияние.

Дориан Грей с видом юного мученика взошел на помост и, сделав недовольную гримасу, переглянулся с лордом Генри. Этот друг Бэзила ему очень нравился. Он и Бэзил были совсем разные, составляли прелюбопытный контраст. И голос у лорда Генри был такой приятный! Выждав минуту, Дориан спросил:

— Лорд Генри, вы в самом деле так вредно влияете на других?

— Хорошего влияния не существует, мистер Грей. Всякое влияние уже само по себе безнравственно, — безнравственно с научной точки зрения.

— Почему же?

— Потому что влиять на другого человека — это значит передать ему свою душу. Он начнет думать не своими мыслями, пылать не своими страстями. И добродетели у него будут не свои, и грехи, — если предположить, что таковые вообще существуют, — будут заимствованные. Он станет отголоском чужой мелодии, актером, выступающим в роли, которая не для него написана. Цель жизни — самовыражение. Проявить во всей полноте свою сущность — вот для чего мы живем. А в наш век люди стали бояться самих себя. Они забыли, что высший долг — это долг перед самим собой. Разумеется, они милосердны. Они накормят голодного, оденут нищего. Но их собственные души наги и умирают с голоду. Мы утратили мужество. А может быть, его у нас никогда и не было. Боязнь общественного мнения, эта основа морали, и страх перед богом, страх, на котором держится религия, — вот что властвует над нами. Между тем...

— Будьте добры, Дориан, поверните-ка голову немного вправо, — попросил художник. Поглощенный своей работой, он ничего не слышал и только подметил на лице юноши выражение, какого до сих пор никогда не видел.

— А между тем, — своим низким, певучим голосом продолжал лорд Генри с характерными для него плавными жестами, памятными всем, кто знал его еще в Итоне, — мне думается, что, если бы каждый человек мог бы жить полной жизнью, давая волю каждому чувству и выражение каждой мысли, осуществляя каждую свою мечту, — мир ощутил бы

вновь такой мощный порыв к радости, что забыты были бы все болезни средневековья, и мы вернулись бы к идеалам эллинизма, а может быть, и к чему-либо еще более ценному и прекрасному. Но и самый смелый из нас боится самого себя. Самоотречение, этот трагический пережиток тех диких времен, когда люди себя калечили, омрачает нам жизнь. И мы расплачиваемся за это самоограничение. Всякое желание, которое мы стараемся подавить, бродит в нашей душе и отравляет нас. А согрешив, человек избавляется от влечения к греху, ибо осуществление — это путь к очищению. После этого остаются лишь воспоминания о наслаждении или сладострастие раскаяния. Единственный способ отделаться от искушения — уступить ему. А если вздумаешь бороться с ним, душу будет томить влечение к запретному, и тебя измучают желания, которые чудовищный закон, тобой же созданный, признал порочными и преступными. Кто-то сказал, что величайшие события в мире — это те, которые происходят в мозгу у человека. А я скажу, что и величайшие грехи мира рождаются в мозгу, и только в мозгу. Да ведь и в вас, мистер Грей, даже в пору светлого отрочества и розовой юности, уже бродили страсти, пугавшие вас, мысли, которые вас приводили в ужас. Вы знали мечты и сновидения, при одном воспоминании о которых вы краснеете от стыда...

— Пойдите, пойдите! — пробормотал, запинаясь, Дорриан Грей. — Вы смутили меня, я не знаю, что сказать... С вами можно бы поспорить, но я сейчас не нахожу слов... Не говорите больше ничего! Дайте мне подумать... Впрочем, лучше не думать об этом!

Минут десять Дорриан стоял неподвижно, с полуоткрытым ртом и странным блеском в глазах. Он смутно сознавал, что в нем просыпаются какие-то совсем новые мысли и чувства. Ему казалось, что они пришли не извне, а поднимались из глубины его существа. Да, он чувствовал, что несколько слов, сказанных этим другом Бэзила, сказанных, вероятно, просто так, между прочим, и намеренно парадоксальных, затронули в нем какую-то тайную струну, которой до сих пор не касался никто, и сейчас она трепетала, вибрировала порывистыми толчками.

До сих пор так волновала его только музыка. Да, музыка не раз будила в его душе волнение, но волнение смутное, бездумное. Она ведь творит в душе не новый мир, а скорее — новый хаос. А тут прозвучали слова! Простые слова — но как они страшны! От них никуда не уйдешь. Как они ясны,

неотразимо сильны и жестоки! И вместе с тем — какое в них таится коварное очарование! Они, казалось, придавали зримую и осязаемую форму неопределенным мечтам, и в них была своя музыка, сладостнее звуков лютни и виолы. Только слова! Но есть ли что-либо весомее слов?

Да, в ранней юности он, Дориан, не понимал некоторых вещей. Сейчас он понял все. Жизнь вдруг засверкала перед ним яркими красками. Ему казалось, что он шагает среди бушующего пламени. И как он до сих пор не чувствовал этого?

Лорд Генри с тонкой усмешкой наблюдал за ним. Он знал, когда следует помолчать. Дориан живо заинтересовал его, и он сам сейчас удивлялся тому впечатлению, какое произвели на юношу его слова. Ему вспомнилась одна книга, которую он прочитал в шестнадцать лет; она открыла ему тогда многое такое, чего он не знал раньше. Быть может, Дориан Грей сейчас переживает то же самое? Неужели стрела, пущенная наугад, просто так, в пространство, попала в цель? Как этот мальчик мил!..

Холлуорд писал с увлечением, как всегда, чудесными, смелыми мазками, с тем подлинным изяществом и утонченностью, которые — в искусстве по крайней мере — всегда являются признаком мощного таланта. Он не замечал наступившего молчания.

— Бэзил, я устал стоять, — воскликнул вдруг Дориан. — Мне надо побыть на воздухе, в саду. Здесь очень душно!

— Ах, простите, мой друг! Когда я пишу, я забываю обо всем. А вы сегодня стояли, не шелохнувшись. Никогда еще вы так хорошо не позировали. И я поймал то выражение, какое все время искал. Полуоткрытые губы, блеск в глазах... Не знаю, о чем тут разглагольствовал Гарри, но, конечно, это он вызвал на вашем лице такое удивительное выражение. Должно быть, наговорил вам кучу комплиментов? А вы не верьте ни единому его слову.

— Нет, он говорил мне вещи совсем не лестные. Поэтому я и не склонен ему верить.

— Ну, ну, в душе вы отлично знаете, что поверили всему, — сказал лорд Генри, задумчиво глядя на него своими томными глазами. — Я, пожалуй, тоже выйду с вами в сад, здесь невыносимо жарко. Бэзил, прикажи подать нам какого-нибудь питья со льдом... и хорошо бы с земляничным соком.

— С удовольствием, Гарри. Позвони Паркеру, и я скажу

ему, что принести. Я приду к вам в сад немного погодя, надо еще подработать фон. Но не задерживай Дориана надолго. Мне сегодня, как никогда, хочется писать. Этот портрет будет моим шедевром. Даже в таком виде, как сейчас, он уже чудо как хорош.

Выйдя в сад, лорд Генри нашел Дориана у куста сирени: зарывшись лицом в прохладную массу цветов, он упивался их ароматом, как жаждущий — вином. Лорд Генри подошел к нему вплотную и дотронулся до его плеча.

— Вот это правильно, — сказал он тихо. — Душу лучше всего лечить ощущениями, а от ощущений лечит только душа.

Юноша вздрогнул и отступил. Он был без шляпы, и ветки растрепали его непокорные кудри, спутав золотистые пряди. Глаза у него были испуганные, как у внезапно разбуженного человека. Тонко очерченные ноздри нервно вздрагивали, алые губы трепетали от какого-то тайного волнения.

— Да, — продолжал лорд Генри, — надо знать этот великий секрет жизни: лечите душу ощущениями, а ощущения пусть врачует душа. Вы — удивительный человек, мистер Грей. Вы знаете больше, чем вам это кажется, но меньше, чем хотели бы знать.

Дориан Грей нахмурился и отвел глаза. Ему безотчетно нравился высокий и красивый человек, стоявший рядом с ним. Смуглое романтическое лицо лорда Генри, его усталое выражение вызывало интерес, и что-то завораживающее было в низком и протяжном голосе. Даже руки его, прохладные, белые и нежные, как цветы, таили в себе странное очарование. В движениях этих рук, как и в голосе, была музыка, и казалось, что они говорят своим собственным языком.

Дориан чувствовал, что боится этого человека, — и стыдился своего страха. Зачем нужно было, чтобы кто-то чужой научил его понимать собственную душу? Ведь вот с Бэзиллом Холлуордом он давно знаком, но дружба их ничего не изменила в нем. И вдруг приходит этот незнакомец — и словно открывает перед ним тайны жизни. Но все-таки чего же ему бояться? Он не школьник и не девушка. Ему бояться лорда Генри просто глупо.

— Давайте сядем где-нибудь в тени, — сказал лорд Генри. — Вот Паркер уже несет нам питье. А если вы будете стоять на солнцепеке, вы подурнеете, и Бэзил больше не захочет вас писать. Загар будет вам не к лицу.



— Эка важность, подумаешь! — засмеялся Дориан Грей, садясь на скамью в углу сада.

— Для вас это очень важно, мистер Грей.

— Почему же?

— Да потому, что вам дана чудесная красота молодости, а молодость — единственное богатство, которое стоит беречь.

— Я этого не думаю, лорд Генри.

— Теперь вы, конечно, этого не думаете. Но когда вы станете безобразным стариком, когда думы избородят ваш лоб морщинами, а страсти своим губительным огнем иссушат ваши губы, — вы поймете это с неумолимой ясностью. Теперь, куда бы вы ни пришли, вы всех пленяете. Но разве так будет всегда? Вы удивительно хороши собой, мистер Грей. Не хмурьтесь, это правда. А Красота — один из видов Гения, она еще выше Гения, ибо не требует понимания. Она — одно из великих явлений окружающего нас мира, как солнечный свет, или весна, или отражение в темных водах серебряного щита луны. Красота неоспорима. Она имеет высшее право на власть и делает царями тех, кто ею обладает. Вы улыбаетесь? О, когда вы ее утратите, вы не будете улыбаться... Иные говорят, что Красота — это тщета земная. Быть может. Но, во всяком случае, она не так тщетна, как Мысль. Для меня Красота — чудо из чудес. Только пустые, ограниченные люди не судят по внешности. Подлинная тайна жизни заключена в зримом, а не в сокровенном... Да, мистер Грей, боги к вам милостивы. Но боги скоро отнимают то, что дают. У вас впереди не много лет для жизни настоящей, полной и прекрасной. Минет молодость, а с нею красота — и вот вам вдруг станет ясно, что время побед прошло, или придется довольствоваться победами столь жалкими, что в сравнении с прошлым они вам будут казаться горше поражений. Каждый уходящий месяц приближает вас к этому тяжкому будущему. Время ревниво, оно покушается на лилии и розы, которыми одарили вас боги. Щеки ваши пожелтеют и впадут, глаза потускнеют. Вы будете страдать ужасно... Так пользуйтесь же своей молодостью, пока она не ушла. Не тратьте понапрасну золотые дни, слушая нудных святош, не пытайтесь исправлять то, что неисправимо, не отдавайте свою жизнь невеждам, пошлякам и ничтожествам, следуя ложным идеям и нездоровым стремлениям нашей эпохи. Живите! Живите той чудесной жизнью, что скрыта в вас. Ничего не упускайте, вечно ищите все новых ощущений! Ничего не бойтесь!

Новый гедонизм — вот что нужно нашему поколению. И вы могли бы стать его зримым символом. Для такого, как вы, нет ничего невозможного. На короткое время мир принадлежит вам... Я с первого взгляда понял, что вы себя еще не знаете, не знаете, чем вы могли бы быть. Многие в вас меня пленило, и я почувствовал, что должен помочь вам познать самого себя. Я думал: «Как было бы трагично, если бы эта жизнь пропала даром!» Ведь молодость ваша пройдет так быстро! Простые полевые цветы вянут, но опять расцветают. Будущим летом раkitник в июне будет так же сверкать золотом, как сейчас. Через месяц зацветет пурпурными звездами ломонос, и каждый год в зеленой ночи его листьев будут загораться все новые пурпурные звезды. А к нам молодость не возвращается. Слабеет пульс радости, что бьется так сильно в двадцать лет, дряхлеет тело, угасают чувства. Мы превращаемся в отвратительных марионеток с неотвязными воспоминаниями о тех страстях, которых мы слишком боялись, и соблазнах, которым мы не посмели уступить. Молодость! Молодость! В мире нет ничего ей равного!

Дориан Грей слушал с жадным вниманием, широко раскрыв глаза. Веточка сирени выскользнула из его пальцев и упала на гравий. Тотчас подлетела мохнатая пчела, с минуту покружилась над нею, жужжа, потом стала путешествовать по всей кисти, переползая с одной звездочки на другую. Дориан наблюдал за ней с тем неожиданным интересом, с каким мы сосредоточиваем порой внимание на самых незначительных мелочах, когда нам страшно думать о самом важном, или когда нас волнует новое чувство, еще неясное нам самим, или какая-нибудь страшная мысль осаждает мозг и принуждает нас сдаться. Пчела скоро полетела дальше. Дориан видел, как она забралась в трубчатую чашечку вьюнка. Цветок, казалось, вздрогнул и тихонько закачался на стебельке.

Неожиданно в дверях мастерской появился Холлуорд и энергичными жестами стал звать своих гостей в дом. Лорд Генри и Дориан переглянулись.

— Я жду, — крикнул художник. — Идите же! Освещение сейчас для работы самое подходящее... А пить вы можете и здесь.

Они поднялись и медленно зашагали по дорожке. Мимо пролетели две бледно-зеленые бабочки, в дальнем углу сада на груше запел дрозд.

— Ведь вы довольны, что познакомились со мной, мистер Грей? — сказал лорд Генри, глядя на Дориана.

— Да, сейчас я этому рад. Не знаю только, всегда ли так будет.

— Всегда!.. Какое ужасное слово! Я содрогаюсь, когда слышу его. Его особенно любят женщины. Они портят всякий роман, стремясь, чтобы он длился вечно. Притом «всегда» — это пустое слово. Между капризом и «вечной любовью» разница только та, что каприз длится несколько дольше.

Они уже входили в мастерскую. Дориан Грей положил руку на плечо лорда Генри.

— Если так, пусть наша дружба будет капризом,— шепнул он, краснея, смущенный собственной смелостью. Затем взшел на подмости и стал в позу.

Лорд Генри, расположившись в широком плетеном кресле, наблюдал за ним. Тишину в комнате нарушали только легкий стук и шуршанье кисти по полотну, затихавшее, когда Холлуорд отходил от мольберта, чтобы издали взглянуть на свою работу. В открытую дверь лились косые солнечные лучи, в них плясали золотые пылинки. Приятный аромат роз словно плавал в воздухе.

Прошло с четверть часа. Художник перестал работать. Он долго смотрел на Дориана Грея, потом, так же долго,— на портрет, хмурясь и покусывая кончик длинной кисти.

— Готово! — воскликнул он наконец и, нагнувшись, подписал свое имя длинными красными буквами в левом углу картины.

Лорд Генри подошел ближе, чтобы лучше рассмотреть ее. Несомненно, это было дивное произведение искусства, да и сходство было поразительное.

— Дорогой мой Бэзил, поздравляю тебя от всей души,— сказал он. — Я не знаю лучшего портрета во всей современной живописи. Подойдите же сюда, мистер Грей, и судите сами.

Юноша вздрогнул, как человек, внезапно очнувшийся от сна.

— В самом деле кончено? — спросил он, сходя с подмостков.

— Да, да. И вы сегодня прекрасно позировали. Я вам за это бесконечно благодарен.

— За это надо благодарить меня,— вмешался лорд Генри. — Правда, мистер Грей?

Дориан, не отвечая, с рассеянным видом, прошел мимо мольберта, затем повернулся к нему лицом. При первом взгляде на портрет он невольно сделал шаг назад и вспыхнул

от удовольствия. Глаза его блеснули так радостно, словно он в первый раз увидел себя. Он стоял неподвижно, погруженный в созерцание, смутно сознавая, что Холлуорд что-то говорит ему, но не вникая в смысл его слов. Как откровение пришло к нему сознание своей красоты. До сих пор он как-то ее не замечал, и восхищение Бэзила Холлуорда казалось ему трогательным ослеплением дружбы. Он выслушивал его комплименты, подсмеивался над ними и забывал их. Они не производили на него никакого впечатления. Но вот появился лорд Генри, прозвучал его восторженный гимн молодости, грозное предостережение о том, что она быстротечна. Это взволновало Дориана, и сейчас, когда он смотрел на отражение своей красоты, перед ним вдруг с поразительной ясностью встало то будущее, о котором говорил лорд Генри. Да, наступит день, когда его лицо поблекнет и сморщится, глаза потускнеют, выцветут, стройный стан согнется, станет безобразным. Годы унесут с собой алость губ и золото волос. Жизнь, формируя его душу, будет разрушать его тело. Он станет отталкивающим некрасив, жалок и страшен.

При этой мысли острая боль, как ножом, пронзила Дориана, и каждая жилка в нем затрепетала. Глаза потемнели, став из голубых аметистовыми, и затуманились слезами. Словно ледяная рука легла ему на сердце.

— Разве портрет вам не нравится? — воскликнул наконец Холлуорд, немного задетый непонятым молчанием Дориана.

— Ну конечно, нравится, — ответил за него лорд Генри. — Кому он мог бы не понравиться? Это один из шедевров современной живописи. Я готов отдать за него столько, сколько ты потребуешь. Этот портрет должен принадлежать мне.

— Я не могу его продать, Гарри. Он не мой.

— А чей же?

— Дориана, разумеется, — ответил художник.

— Вот счастливец!

— Как это печально! — пробормотал вдруг Дориан Грей, все еще не отводя глаз от своего портрета. — Как печально! Я состарюсь, стану противным уродом, а мой портрет будет вечно молод. Он никогда не станет старше, чем в этот июньский день... Ах, если бы могло быть наоборот! Если бы старел этот портрет, а я навсегда остался молодым! За это... за это я отдал бы все на свете. Да, ничего не пожалел бы! Душу бы отдал за это!

— Тебе, Бэзил такой порядок вещей вряд ли понравился бы! — воскликнул лорд Генри со смехом. — Тяжела тогда была бы участь художника!

— Да, я горячо протестовал бы против этого, — отозвался Холлуорд.

Дориан Грей обернулся и в упор посмотрел на него.

— О Бэзил, в этом я не сомневаюсь! Свое искусство вы любите больше, чем друзей. Я вам не дороже какой-нибудь позеленевшей бронзовой статуэтки. Нет, пожалуй, ею вы дорожите больше.

Удивленный художник смотрел на него во все глаза. Очень странно было слышать такие речи от Дориана. Что это с ним? Он, видимо, был очень раздражен, лицо его пылало.

— Да, да, — продолжал Дориан. — Я вам не так дорог, как ваш серебряный фавн или Гермес из слоновой кости. Их вы будете любить всегда. А долго ли будете любить меня? Вероятно, до первой морщинки на моем лице. Я теперь знаю — когда человек теряет красоту, он теряет все. Ваша картина мне это подсказала. Лорд Генри совершенно прав: молодость — единственное, что ценно в нашей жизни. Когда я замечу, что старею, я покончу с собой.

Холлуорд побледнел и схватил его за руку.

— Дориан, Дориан, что вы такое говорите! У меня не было и не будет друга ближе вас. Что это вы вздумали завидовать каким-то неодушевленным предметам? Да вы прекраснее их всех!

— Я завидую всему, чья красота бессмертна. Завидую этому портрету, который вы с меня написали. Почему он сохранит то, что мне суждено утратить? Каждое уходящее мгновение отнимает что-то у меня и дарит ему. О, если бы было наоборот! Если бы портрет менялся, а я мог всегда оставаться таким, как сейчас! Зачем вы его написали? Придет время, когда он будет дразнить меня, постоянно насмехаться надо мной!

Горячие слезы подступили к глазам Дориана, он вырвал свою руку из руки Холлуорда и, упав на диван, спрятал лицо в подушки.

— Это ты наделал, Гарри! — сказал художник с горечью.

Лорд Генри пожал плечами.

— Это заговорил настоящий Дориан Грей, вот и все.

— Неправда.

— А если нет, при чем же тут я?

— Тебе следовало уйти, когда я просил тебя об этом.

— Я остался по твоей же просьбе,— возразил лорд Генри.

— Гарри, я не хочу поссориться разом с двумя моими близкими друзьями... Но вы оба сделали мне ненавистной мою лучшую картину. Я ее уничтожу. Что ж, ведь это только холст и краски. И я не допущу, чтобы она омрачила жизнь всем нам.

Дориан Грей поднял голову с подушки и, бледнея, заплаканными глазами следил за художником, который подошел к своему рабочему столу у высокого, занавешенного окна. Что он там делает? Шарит среди беспорядочно нагроможденных на столе тюбиков с красками и сухих кистей,— видимо, разыскивает что-то. Ага, это он искал длинный шпатель с тонким и гибким стальным лезвием. И нашел его наконец. Он хочет изрезать портрет!

Всклипнув, юноша вскочил с дивана, подбежал к Холлуорду и, вырвав у него из рук шпатель, швырнул его в дальний угол.

— Не смейте, Бэзил! Не смейте! — крикнул он. — Это все равно что убийство!

— Вы, оказывается, все-таки цените мою работу? Очень рад,— сказал художник сухо, когда опомнился от удивления. — А я на это уже не надеялся.

— Ценю ее? Да я в нее влюблен, Бэзил. У меня такое чувство, словно этот портрет — часть меня самого.

— Ну и отлично. Как только вы высохнете, вас покроют лаком, вставят в раму и отправят домой. Тогда можете делать с собой, что хотите.

Пройдя через комнату, Холлуорд позвонил.

— Вы, конечно, не откажетесь выпить чаю, Дориан? И ты тоже, Гарри? Или ты не охотник до таких простых удовольствий?

— Я обожаю простые удовольствия,— сказал лорд Генри. — Они — последнее прибежище для сложных натур. Но драматические сцены я терплю только на театральных подмостках. Какие вы оба нелепые люди! Интересно, кто это выдумал, что человек — разумное животное? Что за скороспелое суждение! У человека есть что угодно, только не разум. И, в сущности, это очень хорошо!.. Однако мне неприятно, что вы ссоритесь из-за портрета. Вы бы лучше отдали его мне, Бэзил! Этому глупому мальчику вовсе не так уж хочется его иметь, а мне очень хочется.

— Бэзил, я вам никогда не прощу, если вы его отдадите не мне! — воскликнул Дориан Грей. — И я никому не позволю обзывать меня «глупым мальчиком».

— Я уже сказал, что дарю портрет вам, Дориан. Я так решил еще прежде, чем начал его писать.

— А на меня не обижайтесь, мистер Грей, — сказал лорд Генри. — Вы сами знаете, что вели себя довольно глупо. И не так уж вам неприятно, когда вам напоминают, что вы еще мальчик.

— Еще сегодня утром мне было бы это очень неприятно, лорд Генри.

— Ах, утром! Но с тех пор вы многое успели пережить.

В дверь постучали, вошел лакей с чайным подносом и поставил его на японский столик. Звякали чашки и блюда, пыхтел большой старинный чайник. За лакеем мальчик внес два шарообразных фарфоровых блюда.

Дориан Грей подошел к столу и стал разливать чай. Бэзил и лорд Генри не спеша подошли тоже и, приподняв крышки, посмотрели, что лежит на блюдах.

— А не пойти ли нам сегодня вечером в театр? — предложил лорд Генри. — Наверное, где-нибудь идет что-нибудь интересное. Правда, я обещал одному человеку обедать сегодня с ним у Уайта, но это мой старый приятель, ему можно телеграфировать, что я заболел или что мне помешало прийти более позднее приглашение... Пожалуй, такого рода отговорка ему даже больше понравится своей неожиданной откровенностью.

— Ох, надевать фрак! Как это скучно! — буркнул Холлуорд. — Терпеть не могу фраки!

— Да, — лениво согласился лорд Генри. — Современные костюмы безобразны, они угнетают своей мрачностью. В нашей жизни не осталось ничего красочного, кроме порока.

— Право, Гарри, тебе не следует говорить таких вещей при Дориане!

— При котором из них? При том, кто наливает нам чай, или том, что на портрете?

— И при том, и при другом.

— Я с удовольствием пошел бы с вами в театр, лорд Генри, — промолвил Дориан.

— Прекрасно. Значит, едем. И вы с нами, Бэзил?

— Нет, право, не могу. У меня уйма дел.

— Ну, так мы пойдем вдвоем — вы и я, мистер Грей.

— Как я рад!

Художник, закусив губу, с чашкой в руке подошел к портрету

— А я останусь с подлинным Дорианом,— сказал он грустно.

— Так, по-вашему, это — подлинный Дориан? — спросил Дориан Грей, подходя к нему. — Неужели я в самом деле такой?

— Да, именно такой.

— Как это чудесно, Бэзил!

— По крайней мере, внешне вы такой. И на портрете всегда таким останетесь,— со вздохом сказал Холлуорд. — А это чего-нибудь да стоит.

— Как люди гонятся за постоянством! — воскликнул лорд Генри. — Господи, да ведь и в любви верность — это всецело вопрос физиологии, она ничуть не зависит от нашей воли. Люди молодые хотят быть верны — и не бывают, старики хотели бы изменять, но где уж им! Вот и все.

— Не ходите сегодня в театр, Дориан,— сказал Холлуорд. — Оставайтесь у меня, пообедаем вместе.

— Не могу, Бэзил.

— Почему?

— Я же обещал лорду Генри пойти с ним.

— Думаете, он станет хуже относиться к вам, если вы не сдержите слова? Он сам никогда не выполняет своих обещаний. Я вас очень прошу, не уходите.

Дориан засмеялся и покачал головой.

— Умоляю вас!

Юноша в нерешимости посмотрел на лорда Генри, который, сидя за чайным столом, с улыбкой слушал их разговор.

— Нет, я должен идти, Бэзил.

— Как знаете. — Холлуорд отошел к столу и поставил свою чашку на поднос. — В таком случае не теряйте времени. Уже поздно, а вам еще надо переодеться. До свиданья, Гарри. До свиданья, Дориан. Приходите поскорее — ну, хотя бы завтра. Придете?

— Непременно.

— Не забудете?

— Нет, конечно, нет! — заверил его Дориан.

— И вот еще что... Гарри!

— Что, Бэзил?

— Помни то, о чем я просил тебя утром в саду!

— А я уже забыл, о чем именно.

— Смотри! Я тебе доверяю.



— Хотел бы я сам себе доверять! — сказал лорд Генри со смехом. — Идемте, мистер Грей, мой кабриолет у ворот, и я могу довести вас до дому. До свиданья, Бэзил. Мы сегодня очень интересно провели время.

Когда дверь закрылась за гостями, художник тяжело опустил на диван. По лицу его видно было, как ему больно.

### ГЛАВА III

На другой день в половине первого лорд Генри Уоттон вышел из своего дома на Керзон-стрит и направился к Олбени. Он хотел навестить своего дядю, лорда Фермора, добродушного, хотя и резковатого старого холостяка, которого за пределами светского круга считали эгоистом, ибо он ничем особенно не был людям полезен, а в светском кругу — щедрым и добрым, ибо лорд Фермор охотно угощал тех, кто его развлекал. Отец лорда Фермора состоял английским послом в Мадриде в те времена, когда королева Изабелла была молода, а Прима еще и в помине не было. Под влиянием минутного каприза он ушел с дипломатической службы, рассерженный тем, что его не назначили послом в Париж, хотя на этот пост ему давали полное право его происхождение, праздность, прекрасный слог дипломатических депеш и неумеренная страсть к наслаждениям. Сын, состоявший при отце секретарем, ушел вместе с ним — что тогда все считали безрассудством — и, несколько месяцев спустя унаследовав титул, принялся серьезно изучать великое аристократическое искусство ничегонеделания. У него в Лондоне было два больших дома, но он предпочитал жить на холостую ногу в наемной мебелированной квартире, находя это менее хлопотливым, а обедал и завтракал чаще всего в клубе. Лорд Фермор уделял некоторое внимание своим угольным копям в центральных графствах и оправдывал этот нездоровый интерес к промышленности тем, что, владея углем, он имеет возможность, как это прилично джентльмену, топить свой камин дровами. По политическим убеждениям он был консерватор, но только не тогда, когда консерваторы приходили к власти, — в такие периоды он энергично ругал их, называя шайкой радикалов. Он героически воевал со своим камердинером, который держал его в ежовых рукавицах. Сам же он, в свою очередь, терроризировал многочисленную родню. Породить его могла только Англия, а между тем он был ею недоволен

и всегда твердил, что страна идет к гибели. Принципы его были старомодны, зато многое можно было сказать в защиту его предрассудков.

В комнате, куда вошел лорд Генри, дядя его сидел в толстой охотничьей куртке, с сигарой в зубах и читал «Таймс», ворчливо выражая вслух свое недовольство этой газетой.

— А, Гарри! — сказал почтенный старец. — Что это ты так рано? Я думал, что вы, дэнди, встаете не раньше двух часов дня и до пяти не выходите из дому.

— Поверьте, дядя Джордж, меня привели к вам в такой ранний час исключительно родственные чувства. Мне от вас кое-что нужно.

— Денег, вероятно? — сказал лорд Фермор с кислым видом. — Ладно, садись и рассказывай. Нынешние молодые люди воображают, что деньги — это все.

— Да, — согласился лорд Генри, поправляя цветок в петлице. — А с годами они в этом убеждаются. Но мне деньги не нужны, дядя Джордж, — они нужны тем, кто имеет привычку платить долги, а я своим кредиторам никогда не плачу. Кредит — это единственный капитал младшего сына в семье, и на этот капитал можно отлично прожить. Кроме того, я имею дело только с поставщиками Дартмура, — и, естественно, они меня никогда не беспокоят. К вам я пришел не за деньгами, а за сведениями. Разумеется, не за полезными: за бесполезными.

— Ну что ж, от меня ты можешь узнать все, что есть в любой Синей книге Англии, хотя нынче в них пишут много ерунды. В те времена, когда я был дипломатом, это делалось гораздо лучше. Но теперь, говорят, дипломатов зачисляют на службу только после того, как они выдержат экзамен. Так чего же от них ожидать? Экзамены, сэр, — это чистейшая чепуха, от начала до конца. Если ты джентльмен, так тебя учить нечему, тебе достаточно того, что ты знаешь. А если ты не джентльмен, то знания тебе только во вред.

— Мистер Дориан Грей в Синих книгах не числится, дядя Джордж, — небрежно заметил лорд Генри.

— Мистер Дориан Грей? А кто же он такой? — спросил лорд Фермор, хмурия седые косматые брови.

— Вот это-то я и пришел у вас узнать, дядя Джордж. Впрочем, кто он, мне известно: он — внук последнего лорда Келсо. Фамилия его матери была Девере, леди Маргарет Девере. Расскажите мне, что вы знаете о ней. Какая она была, за кого вышла замуж? Ведь вы знали в свое время весь

лондонский свет,— так, может, и ее тоже? Я только что познакомился с мистером Греем, и он меня очень интересуется.

— Внук Келсо! — повторил старый лорд. — Внук Келсо... Как же, как же, я очень хорошо знал его мать. Помнится, даже был на ее крестинах. Красавица она была необыкновенная, эта Маргарет Девере, и все мужчины бесновались, когда она убежала с каким-то молодчиком, полнейшим ничтожеством без гроша за душой,— он был офицерик пехотного полка или что-то в таком роде. Да, да, помню все, как будто это случилось вчера. Бедняга был убит на дуэли в Спа через несколько месяцев после того, как они поженились. Насчет этого ходили тогда скверные слухи. Говорили, что Келсо подослал какого-то прохвоста, бельгийского авантюриста, чтобы тот публично оскорбил его зятя... понимаешь, подкупил его, заплатил подлецу,— и тот на дуэли насадил молодого человека на свою шпагу, как голубя на вертел. Дело замяли, но, ей-богу, после этого Келсо долгое время ел в клубе свой бифштекс в полном одиночестве. Мне рассказывали, что дочь он привез домой, но с тех пор она не говорила с ним до самой смерти. Да, скверная история! И дочь умерла очень скоро — года не прошло. Так ты говоришь, после нее остался сын? А я и забыл об этом. Что он собой представляет? Если похож на мать, так, наверное, красивый малый.

— Да, очень красивый,— подтвердил лорд Генри.

— Надеюсь, он попадет в хорошие руки,— продолжал лорд Фермор.— Если Келсо его не обидел в завещании, у него, должно быть, куча денег. Да и у Маргарет было свое состояние. Все поместье Селби перешло к ней от деда. Ее дед ненавидел Келсо, называл его скаредом. Он и в самом деле был скряга. Помню, он приезжал в Мадрид, когда я жил там. Ей-богу, я краснел за него! Королева несколько раз спрашивала меня, кто этот английский пэр, который постоянно торгуется с извозчиками. О нем там анекдоты ходили. Целый месяц я не решался показываться при дворе. Надеюсь, Келсо был щедрее к своему внуку, чем к мадридским извозчикам?

— Этого я не знаю,— отозвался лорд Генри.— Дориан еще несовершеннолетний. Но думаю, что он будет богат. Селби перешло к нему, это я слышал от него самого... Так вы говорите, его мать была очень красива?

— Маргарет Девере была одна из прелестнейших девушек, каких я видывал в жизни. Я никогда не мог понять,

что ее толкнуло на такой странный брак. Ведь она могла выйти за кого бы ни пожелала. Сам Карлингтон был от нее без ума. Но вся беда в том, что она обладала романтическим воображением. В их роду все женщины были романтичны. Мужчины немногочисленны, но женщины, ей-богу, были замечательные... Карлингтон на коленях стоял перед Маргарет — он сам мне это говорил. А ведь в Лондоне в те времена все девушки были влюблены в него. Но Маргарет только смеялась над ним. Да, кстати о дурацких браках, — что это за вздор молот твой отец насчет Дартмура, — будто он хочет жениться на американке? Неужели англичанки для него недостаточно хороши?

— Видите ли, дядя Джордж, жениться на американках теперь очень модно.

— Ну а я — за англичанок и готов спорить с целым светом! — Лорд Фермор стукнул кулаком по столу.

— Ставка нынче только на американок.

— Я слышал, что их ненадолго хватает, — буркнул дядя Джордж.

— Их утомляют долгие заезды, но в скачках с препятствиями они великолепны. На лету берут барьеры. Думаю, что Дартмуру несдобровать.

— А кто ее родители? — ворчливо осведомился лорд Фермор. — Они у нее вообще имеются?

Лорд Генри покачал головой.

— Американские девицы так же ловко скрывают своих родителей, как английские дамы — свое прошлое, — сказал он, вставая.

— Должно быть, папаша ее — экспортер свинины?

— Ради Дартмура, дядя Джордж, я желал бы, чтобы это было так. Говорят, в Америке это самое прибыльное дело. Выгоднее его только политика.

— А его американка, по крайней мере, хорошенькая?

— Как большинство американок, она изображает из себя красавицу. В этом — секрет их успеха.

— И отчего они не сидят у себя в Америке? Ведь нас всегда уверяют, что там для женщин — рай.

— Так оно и есть. Потому-то они, подобно прапаматери Еве, и стремятся выбраться оттуда, — пояснил лорд Генри. — Ну, до свиданья, дядя Джордж. Я должен идти, иначе опоздаю к завтраку. Спасибо за сведения о Дориане. Я люблю знать все о своих новых знакомых и ничего — о старых.

— А где ты сегодня завтракаешь, Гарри?

— У тетушки Агаты. Я напросился сам и пригласил мистера Грея. Он — ее новый протезе.

— Гм!.. Так вот что, Гарри: передай своей тетушке Агате, чтобы она перестала меня атаковать воззваниями о пожертвованиях. Надоели они мне до смерти. Эта добрая женщина вообразила, что у меня другого дела нет, как только выписывать чеки на ее дурацкие благотворительные затеи.

— Хорошо, дядя Джордж, передам. Но ведь это бесполезно. Филантропы, увлекаясь благотворительностью, теряют всякое человеколюбие. Это их отличительная черта.

Старый джентльмен одобрительно хмыкнул и позвонил лакею, чтобы тот проводил гостя.

Лорд Генри прошел пассажем на Берлингтон-стрит и направился к Берклей-сквер. Он вспоминал то, что услышал от дяди о родных Дориана Грея. Даже рассказанная в общих чертах, история эта взволновала его своей необычайностью, своей почти современной романтичностью. Прекрасная девушка, пожертвовавшая всем ради страстной любви. Несколько недель безмерного счастья, разбитого гнусным преступлением. Потом — месяцы новых страданий, рожденный в муках ребенок. Мать унесена смертью, удел сына — сиротство и тирания бессердечного старика. Да, это интересный фон, он выгодно оттеняет облик юноши, придает ему еще больше очарования. За прекрасным всегда скрыта какая-нибудь трагедия. Чтобы зацвел самый скромный цветочек, миры должны претерпеть родовые муки.

...Как обворожителен был Дориан вчера вечером, когда они обедали вдвоем в клубе! В его ошеломленном взоре и приоткрытых губах читались тревога и робкая радость, а в тени красных абажуров лицо казалось еще розовее и еще ярче выступала его дивная расцветающая красота. Говорить с этим мальчиком было все равно что играть на редкостной скрипке. Он отзывался на каждое прикосновение, на малейшую дрожь смычка...

А как это увлекательно — проверять силу своего влияния на другого человека! Ничто не может с этим сравниться. Перелить свою душу в другого, дать ей побыть в нем; слышать отзвуки собственных мыслей, усиленные музыкой юности и страсти; передавать другому свой темперамент как тончайший флюид или своеобразный аромат, — это истинное наслаждение, самая большая радость, быть может, какая дана человеку в наш ограниченный и пошлый век с его грубо-чувственными утехами и грубо-примитивными стремлениями.

...К тому же этот мальчик, с которым он по столь счастливой случайности встретился в мастерской Бэзила, — замечательный тип... или, во всяком случае, из него можно сделать нечто замечательное. У него есть все — обаяние, белоснежная чистота юности и красота, та красота, какую запечатлели в мраморе древние греки. Из него можно вылепить что угодно, сделать его титаном — или игрушкой. Как жаль, что такой красоте суждено увянуть!..

А Бэзил? Как психологически интересно то, что он говорил! Новая манера в живописи, новое восприятие действительности, неожиданно возникшее благодаря одному лишь присутствию человека, который об этом и не подозревает... Душа природы, обитавшая в дремучих лесах, бродившая в чистом поле, дотоле незримая и безгласная, вдруг, как Дриада, явилась художнику без всякого страха, ибо его душе, давно ее искавшей, дана та вдохновенная прозорливость, которой только и открываются дивные тайны; и простые формы, образы вещей обрели высокое совершенство и некий символический смысл, словно являя художнику иную, более совершенную форму, которая из смутной грезы превратилась в реальность. Как это все необычайно!

Нечто подобное бывало и в прошлые века. Платон, для которого мышление было искусством, первый задумался над этим чудом. А Буонарроти? Разве не выразил он его в своем цикле сонетов, высеченных в цветном мраморе? Но в наш век это удивительно...

И лорд Генри решил, что ему следует стать для Дориана Грея тем, чем Дориан, сам того не зная, стал для художника, создавшего его великолепный портрет. Он попытается покорить Дориана, — собственно, он уже наполовину этого достиг, — и душа чудесного юноши будет принадлежать ему. Как щедро одарила судьба это дитя Любви и Смерти!

Лорд Генри вдруг остановился и окинул взглядом соседние дома. Увидев, что он уже миновал дом своей тетушки и отошел от него довольно далеко, он, посмеиваясь над собой, повернул обратно. Когда он вошел в темноватую прихожую, дворецкий доложил ему, что все уже в столовой. Лорд Генри отдал одному из лакеев шляпу и трость и прошел туда.

— Ты, как всегда, опаздываешь, Гарри! — воскликнула его тетушка, укоризненно качая головой.

Он извинился, тут же придумав какое-то объяснение, и, сев на свободный стул рядом с хозяйкой дома, обвел глазами

собравшихся гостей. С другого конца стола ему застенчиво кивнул Дориан, краснея от удовольствия. Напротив сидела герцогиня Харли, очень любимая всеми, кто ее знал, дама в высшей степени кроткого и веселого нрава и тех архитектурных пропорций, которые современные историки называют тучностью (когда речь идет не о герцогинях!). Справа от герцогини сидел сэр Томас Бэрден, член парламента, радикал. В общественной жизни он был верным сторонником своего лидера, а в частной — сторонником хорошей кухни, то есть следовал общеизвестному мудрому правилу: «Выступай с либералами, а обедай с консерваторами». По левую руку герцогини занял место мистер Эрскин из Тредли, пожилой джентльмен, весьма культурный и приятный, но усвоивший себе дурную привычку всегда молчать в обществе, ибо, как он однажды объяснил леди Агате, еще до тридцати лет высказал все, что имел сказать.

Соседкой лорда Генри за столом была миссис Ванделер, одна из давнишних приятельниц его тетушки, поистине святая женщина, но одетая так безвкусно и крикливо, что ее можно было сравнить с молитвенником в скверном аляповатом переплете. К счастью для лорда Генри, соседом миссис Ванделер с другой стороны оказался лорд Фаудел, мужчина средних лет, большого ума, но посредственных способностей, бесцветный и скучный, как отчет министра в палате общин. Беседа между ним и миссис Ванделер велась с той усиленной серьезностью, которой, по его же словам, непростительно грешат все добродетельные люди и от которой никто из них никак не может вполне освободиться.

— Мы говорим о бедном Дартмуре, — громко сказала лорду Генри герцогиня, приветливо кивнув ему через стол. — Как вы думаете, он в самом деле женится на этой обворожительной американке?

— Да, герцогиня. Она, кажется, решила сделать ему предложение.

— Какой ужас! — воскликнула леди Агата. — Право, следовало бы помешать этому!

— Я слышал из самых верных источников, что ее отец в Америке торгует галантереей или каким-то другим убогим товаром, — с презрительной миной объявил сэр Томас Бэрден.

— А мой дядя утверждает, что свиной, сэр Томас.

— Что это еще за «убогий» товар? — осведомилась герцогиня, в удивлении поднимая полные руки.

— Американские романы,— пояснил лорд Генри, принимаясь за куропатку.

Герцогиня была озадачена.

— Не слушайте его, дорогая,— шепнула ей леди Агата. — Он никогда ничего не говорит серьезно.

— Когда была открыта Америка...— начал радикал — и дальше пошли всякие скучнейшие сведения. Как все ораторы, которые ставят себе целью исчерпать тему, он исчерпал терпение слушателей. Герцогиня вздохнула и воспользовалась своей привилегией перебивать других.

— Было бы гораздо лучше, если бы эта Америка совсем не была открыта! — воскликнула она. — Ведь американки отбивают у наших девушек всех женихов. Это безобразие!

— Пожалуй, я сказал бы, что Америка вовсе не открыта,— заметил мистер Эрскин.— Она еще только *обнаружена*.

— О, я видела представительниц ее населения,— неопределенным тоном отозвалась герцогиня. — И должна признать, что большинство из них — прехорошенькие. И одеваются прекрасно. Все туалеты заказывают в Париже. Я, к сожалению, не могу себе этого позволить.

— Есть поговорка, что хорошие американцы после смерти отправляются в Париж,— изрек, хихикая, сэр Томас, у которого имелся в запасе большой выбор потрепанных острот.

— Вот как! А куда же отправляются после смерти дурные американцы? — поинтересовалась герцогиня.

— В Америку,— пробормотал лорд Генри.

Сэр Томас сдвинул брови.

— Боюсь, что ваш племянник предубежден против этой великой страны,— сказал он леди Агате.— Я изъездил ее всю вдоль и поперек,— мне предоставляли всегда специальные вагоны, тамошние директора весьма любезны,— и, уверяю вас, поездки в Америку имеют большое образовательное значение.

— Неужели же, чтобы стать образованным человеком, необходимо повидать Чикаго? — жалобно спросил мистер Эрскин. — Я не чувствую себя в силах совершить такое путешествие.

Сэр Томас махнул рукой.

— Для мистера Эрскина мир сосредоточен на его книжных полках. А мы, люди дела, хотим своими глазами все видеть, не только читать обо всем. Американцы — очень интересный народ и обладают большим здравым смыслом.



Я считаю, что это их самая отличительная черта. Да, да, мистер Эрскин, это весьма здравомыслящие люди. Поверьте мне, американец никогда не делает глупостей.

— Какой ужас! — воскликнул лорд Генри. — Я еще могу примириться с грубой силой, но грубая, тупая рассудочность совершенно невыносима. Руководствоваться рассудком — в этом есть что-то неблагородное. Это значит — предавать интеллект.

— Не понимаю, что вы этим хотите сказать, — отозвался сэр Томас, побагровев.

— А я вас понял, лорд Генри, — с улыбкой пробормотал мистер Эрскин.

— Парадоксы имеют свою прелесть, но... — начал баронет.

— Разве это был парадокс? — спросил мистер Эрскин. — А я и не догадался... Впрочем, может быть, вы правы. Ну, так что же? Правда жизни открывается нам именно в форме парадоксов. Чтобы постигнуть Действительность, надо видеть, как она балансирует на канате. И только посмотрев все те акробатические штуки, какие предельвает Истина, мы можем правильно судить о ней.

— Господи, как мужчины любят спорить! — вздохнула леди Агата. — Никак не могу взять в толк, о чем вы говорите. А на тебя, Гарри, я очень сердита. Зачем это ты отговариваешь нашего милого мистера Грея работать со мной в Ист-Энде? Пойми, он мог бы оказать нам неоценимые услуги: его игра так всем нравится.

— А я хочу, чтобы он играл для меня, — смеясь, возразил лорд Генри и, глянув туда, где сидел Дориан, встретил его ответный радостный взгляд.

— Но в Уайтчепле видишь столько людского горя! — не унималась леди Агата.

— Я сочувствую всему, кроме людского горя. — Лорд Генри пожал плечами. — Ему я сочувствовать не могу. Оно слишком безобразно, слишком ужасно и угнетает нас. Во всеобщем сочувствии к страданиям есть нечто в высшей степени нездоровое. Сочувствовать надо красоте, ярким краскам и радостям жизни. И как можно меньше говорить о темных ее сторонах.

— Но Ист-Энд — очень серьезная проблема, — внушительно заметил сэр Томас, качая головой.

— Несомненно, — согласился лорд Генри. — Ведь это — проблема рабства, и мы пытаемся разрешить ее, увеселяя рабов.

Старый политикан пристально посмотрел на него.

— А что же вы предлагаете взамен? — спросил он.

Лорд Генри рассмеялся.

— Я ничего не желал бы менять в Англии, кроме погоды, и вполне довольствуюсь философским созерцанием. Но девятнадцатый век пришел к банкротству из-за того, что слишком щедро расточал сострадание. И потому, мне кажется, наставить людей на путь истинный может только Наука. Эмоции хороши тем, что уводят нас с этого пути, а Наука — тем, что она не знает эмоций.

— Но ведь на нас лежит такая ответственность! — робко вмешалась миссис Ванделер.

— Громадная ответственность! — поддержала ее леди Агата.

Лорд Генри через стол переглянулся с мистером Эрскином.

— Человечество преувеличивает свою роль на земле. Это — его первородный грех. Если бы пещерные люди умели смеяться, история пошла бы по другому пути.

— Вы меня очень утешили, — проворковала герцогиня. — До сих пор, когда я бывала у вашей милой тетушки, мне всегда становилось совестно, что я не интересуюсь Ист-Эндом. Теперь я буду смотреть ей в глаза, не краснея.

— Но румянец женщине очень к лицу, герцогиня, — заметил лорд Генри.

— Только в молодости, — возразила она. — А когда краснеет такая старуха, как я, это очень дурной признак. Ах, лорд Генри, хоть бы вы мне посоветовали, как снова стать молодой!

Лорд Генри подумал с минуту.

— Можете вы, герцогиня, припомнить какую-нибудь большую ошибку вашей молодости? — спросил он, наклонясь к ней через стол.

— Увы, и не одну!

— Тогда совершите их все снова, — сказал он серьезно. — Чтобы вернуть молодость, стоит только повторить все ее безумства.

— Замечательная теория! — восхитилась герцогиня. — Непременно проверю ее на практике.

— Теория опасная! — процедил сэр Томас сквозь плотно сжатые губы. А леди Агата покачала головой, но невольно засмеялась. Мистер Эрскин слушал молча.

— Да, — продолжал лорд Генри. — Это одна из

великих тайн жизни. В наши дни большинство людей умирает от ползучей формы рабского благоразумия, и все слишком поздно спохватываются, что единственное, о чем никогда не пожалеешь, это наши ошибки и заблуждения.

За столом грянул дружный смех.

А лорд Генри стал своенравно играть этой мыслью, давая волю фантазии: он жонглировал ею, преображал ее, то отбрасывал, то подхватывал снова; заставлял ее искриться, украшая радужными блестками своего воображения, окрылял парадоксами. Этот гимн безумствам воспарил до высот Философии, а Философия обрела юность и, увлеченная дикой музыкой Наслаждения, как вакханка в залитом вином наряде и венке из плюща, понеслась в исступленной пляске по холмам жизни, насмехаясь над трезвостью медлительного Силена. Факты уступали ей дорогу, разлетались, как испуганные лесные духи. Ее обнаженные ноги попирали гигантский камень давилъни, на котором восседает мудрый Омар, и журчащий сок винограда вскипал вокруг этих белых ног волнами пурпуровых брызг, растекаясь затем красной пеной по отлогим черным стенкам чана.

То была блестящая и оригинальная импровизация. Лорд Генри чувствовал, что Дориан Грей не сводит с него глаз, и сознание, что среди слушателей есть человек, которого ему хочется пленить, оттачивало его остроумие, придавало красочность речам. То, что он говорил, было увлекательно, безответственно, противоречило логике и разуму. Слушатели смеялись, но были невольны очарованы и покорно следовали за полетом его фантазии, как дети — за легендарным дудочником. Дориан Грей смотрел ему в лицо не отрываясь, как замороженный, и по губам его то и дело пробегала улыбка, а в потемневших глазах восхищение сменялось задумчивостью.

Наконец Действительность в костюме нашего века вступила в комнату в образе слуги, доложившего герцогине, что экипаж ее подан. Герцогиня в шутовском отчаянии заломила руки.

— Экая досада! Приходится уезжать. Я должна заехать в клуб за мужем и отвезти его на какое-то глупейшее собрание, на котором он будет председательствовать. Если опоздаю, он обязательно рассердится, а я стараюсь избегать сцен, когда на мне эта шляпка: она чересчур воздушна, одно резкое слово может ее погубить. Нет, нет, не удерживайте меня, милая Агата. До свидания, лорд Генри!

Вы — прелесть, но настоящий демон-искуситель. Я положительно не знаю, что думать о ваших теориях. Непременно приезжайте к нам обедать. Ну, скажем, во вторник. Во вторник вы никуда не приглашены?

— Для вас, герцогиня, я готов изменить всем, — сказал с поклоном лорд Генри.

— О, это очень мило с вашей стороны, но и очень дурно, — воскликнула почтенная дама. — Так помните же, мы вас ждем. — И она величаво выплыла из комнаты, а за ней — леди Агата и другие дамы.

Когда лорд Генри снова сел на свое место, мистер Эрскин, усевшись рядом, положил ему руку на плечо.

— Ваши речи интереснее всяких книг, — начал он. — Почему вы не напишете что-нибудь?

— Я слишком люблю читать книги, мистер Эрскин, и потому не пишу их. Конечно, хорошо бы написать роман, роман чудесный, как персидский ковер, и столь же фантастический. Но у нас в Англии читают только газеты, энциклопедические словари да учебники, Англичане меньше всех народов мира понимают красоты литературы.

— Боюсь, что вы правы, — отозвался мистер Эрскин. — Я сам когда-то мечтал стать писателем, но давно отказался от этой мысли... Теперь, мой молодой друг, — если позволите вас так называть, — я хочу задать вам один вопрос: вы действительно верите во все, что говорили за завтраком?

— А я уже совершенно не помню, что говорил. — Лорд Генри улыбнулся. — Какую-нибудь ересь?

— Да, безусловно. На мой взгляд, вы — человек чрезвычайно опасный, и если с нашей милой герцогиней что-нибудь стряется, все мы будем считать вас главным виновником... Я хотел бы побеседовать с вами о жизни. Люди моего поколения прожили жизнь скучно. Как-нибудь, когда Лондон вам надоест, приезжайте ко мне в Тредли. Там вы изложите мне свою философию наслаждения за стаканом чудесного бургундского, которое у меня, к счастью, еще сохранилось.

— С большим удовольствием. Сочту за счастье побывать в Тредли, где такой радушный хозяин и такая замечательная библиотека.

— Вы ее украсите своим присутствием, — отозвался старый джентльмен с учтивым поклоном. — Ну а теперь пойду прошусь с вашей добрейшей тетушкой. Мне пора в Атенеум. В этот час мы обычно дремлем там.

— В полном составе, мистер Эрскин?  
— Да, сорок человек в сорока креслах. Таким образом мы готовимся стать Английской академией литературы. Лорд Генри расхохотался.  
— Ну а я пойду в Парк,— сказал он, вставая.  
У двери Дориан Грей дотронулся до его руки.  
— Можно и мне с вами?  
— Но вы, кажется, обещали навестить Бэзила Холлуорда?  
— Мне больше хочется побыть с вами. Да, да, мне непременно надо пойти с вами. Можно? И вы обещаете все время говорить со мной? Никто не говорит так интересно, как вы.  
— Ох, я сегодня уже достаточно наговорил! — с улыбкой возразил лорд Генри. — Теперь мне хочется только наблюдать жизнь. Пойдемте и будем наблюдать вместе, если хотите.

#### ГЛАВА IV

Однажды днем, месяц спустя, Дориан Грей, расположившись в удобном кресле, сидел в небольшой библиотеке лорда Генри, в его доме на Мэйфер. Это была красивая комната, с высокими дубовыми оливково-зелеными панелями, желтоватым фризом и лепным потолком. По кирпично-красному сукну, покрывавшему пол, разбросаны были шелковые персидские коврики с длинной бахромой. На столике красного дерева стояла статуэтка Клодиона, а рядом лежал экземпляр «Les Cent Nouvelles»<sup>1</sup> в переплете работы Кловиса Эв. Книга принадлежала некогда Маргарите Валуа, и переплет ее был усеян золотыми маргаритками — этот цветок королева избрала своей эмблемой. На камине красовались пестрые тюльпаны в больших голубых вазах китайского фарфора. В окна с частым свинцовым переплетом вливался абрикосовый свет летнего лондонского дня.

Лорд Генри еще не вернулся. Он поставил себе за правило всегда опаздывать, считая, что пунктуальность — вор времени. И Дориан, недовольно хмурясь, рассеянно перелистывал превосходно иллюстрированное издание «Манон Леско», найденное им в одном из книжных шкафов.

---

<sup>1</sup> «Сто новелл» (фр.).

Размеренно тикали часы в стиле Людовика Четырнадцатого, и даже это раздражало Дориана. Он уже несколько раз порывался уйти, не дождавшись хозяина.

Наконец за дверью послышались шаги, и она отворилась.

— Как вы поздно, Гарри! — буркнул Дориан.

— К сожалению, это не Гарри, мистер Грей, — отозвался высокий и резкий голос.

Дориан поспешно обернулся и вскочил.

— Простите! Я думал...

— Вы думали, что это мой муж. А это только его жена, — разрешите представиться. Вас я уже очень хорошо знаю по фотографиям. У моего супруга их, если не ошибаюсь, семнадцать штук.

— Будто уж семнадцать, леди Генри?

— Ну, не семнадцать, так восемнадцать. И потом я недавно видела вас с ним в опере.

Говоря это, она как-то беспокойно посмеивалась и внимательно смотрела на Дориана своими бегающими, голубыми, как незабудки, глазами. Все туалеты этой странной женщины имели такой вид, как будто они были задуманы в припадке безумия и надеты в бью. Леди Уоттон всегда была в кого-нибудь влюблена — и всегда безнадежно, так что она сохранила все свои иллюзии. Она старалась быть эффектной, но выглядела только неряшливой. Звали ее Викторией и она до страсти любила ходить в церковь — это превратилось у нее в манию.

— Вероятно, на «Лоэнгрине», леди Генри?

— Да, на моем любимом «Лоэнгрине». Музыка Вагнера я предпочитаю всякой другой. Она такая шумная, под нее можно болтать в театре весь вечер, не боясь, что тебя услышат посторонние. Это очень удобно, не так ли, мистер Грей?

Тот же беспокойный и отрывистый смешок сорвался с ее узких губ, и она принялась вертеть в руках длинный черепаховый нож для разрезания бумаги.

Дориан с улыбкой покачал головой.

— Извините, не могу с вами согласиться, леди Генри. Я всегда слушаю музыку внимательно и не болтаю, если она хороша. Ну а скверную музыку, конечно, следует заглушать разговорами.

— Ага, это мнение Гарри, не так ли, мистер Грей? Я постоянно слышу мнения Гарри от его друзей. Только таким путем я их и узнаю. Ну а музыка... Вы не подумайте, что я ее не люблю. Хорошую музыку я обожаю, но боюсь

ее — она настраивает меня чересчур романтично. Пианистов я прямо-таки боготворю, иногда влюбляюсь даже в двух разом — так уверяет Гарри. Не знаю, что в них так меня привлекает... Может быть, то, что они иностранцы? Ведь они, кажется, все иностранцы? Даже те, что родились в Англии, со временем становятся иностранцами, не правда ли? Это очень разумно с их стороны и создает хорошую репутацию их искусству, делает его космополитичным. Не так ли, мистер Грей?.. Вы, кажется, не были еще ни на одном из моих вечеров? Приходите непременно. Орхидей я не заказываю, это мне не по средствам, но на иностранцев денег не жалею — они придают гостиню такой живописный вид! Ага! Вот и Гарри! Гарри, я зашла, чтобы спросить у тебя кое-что, — не помню, что именно, — и застала здесь мистера Грея. Мы с ним очень интересно поговорили о музыке. И совершенно сошлись во мнениях... Впрочем, нет — кажется, совершенно разошлись. Но он такой приятный собеседник, и я очень рада, что познакомилась с ним.

— Я тоже очень рад, дорогая, очень рад, — сказал лорд Генри, поднимая темные изогнутые брови и с веселой улыбкой глядя то на жену, то на Дориана. — Извините, что заставил вас ждать, Дориан. Я ходил на Уорддор-стрит, где присмотрел кусок старинной парчи, и пришлось торговаться за нее добрых два часа. В наше время люди всему знают цену, но понятия не имеют о подлинной ценности.

— Как ни жаль, мне придется вас покинуть! — объявила леди Генри, прерывая наступившее неловкое молчание, и засмеялась — как всегда, неожиданно и некстати. — Я обещала герцогине поехать с ней кататься. До свиданья, мистер Грей! До свиданья, Гарри. Ты, вероятно, обедаешь сегодня в гостях? Я тоже. Может быть, встретимся у леди Торнбэри?

— Очень возможно, дорогая, — ответил лорд Генри, закрывая за ней дверь. Когда его супруга, напоминая райскую птицу, которая целую ночь пробыла под дождем, выпорхнула из комнаты, оставив после себя легкий запах жасмина, он закурил папиросу и развалился на диване.

— Ни за что не женитесь на женщине с волосами соломенного цвета, — сказал он после нескольких затяжек.

— Почему, Гарри?

— Они ужасно сентиментальны.

— А я люблю сентиментальных людей.

— Да и вообще лучше не женитесь, Дориан. Мужчины женятся от усталости, женщины выходят замуж из

любопытства. И тем и другим брак приносит разочарование.

— Вряд ли я когда-нибудь женюсь, Гарри. Я слишком влюблен. Это тоже один из ваших афоризмов. Я его претворю в жизнь, как и все, что вы проповедуете.

— В кого же это вы влюблены? — спросил лорд Генри после некоторого молчания.

— В одну актрису, — краснея, ответил Дориан Грей. Лорд Генри пожал плечами.

— Довольно банальное начало.

— Вы не сказали бы этого, если бы видели ее, Гарри.

— Кто же она?

— Ее зовут Сибила Вэйн.

— Никогда не слыхал о такой актрисе.

— Никто еще не слыхал. Но когда-нибудь о ней узнают все. Она гениальна.

— Мой мальчик, женщины не бывают гениями. Они — декоративный пол. Им нечего сказать миру, но они говорят — и говорят премо. Женщина — это воплощение торжествующей над духом материи, мужчина же олицетворяет собой торжество мысли над моралью.

— Помилуйте, Гарри!..

— Дорогой мой Дориан, верьте, это святая правда. Я изучаю женщин, как же мне не знать! И, надо сказать, не такой уж это трудный для изучения предмет. Я пришел к выводу, что в основном женщины делятся на две категории: ненакрашенные и накрашенные. Первые нам очень полезны. Если хотите приобрести репутацию почтенного человека, вам стоит только пригласить такую женщину поужинать с вами. Женщины второй категории очаровательны. Но они совершают одну ошибку: красятся лишь для того, чтобы казаться моложе. Наши бабушки красились, чтобы прослыть остроумными и блестящими собеседницами: в те времена «gouge»<sup>1</sup> и «esprit»<sup>2</sup> считались неразлучными. Нынче все не так. Если женщина добилась того, что выглядит на десять лет моложе своей дочери, она этим вполне удовлетворяется. А остроумной беседы от них не жди. Во всем Лондоне есть только пять женщин, с которыми стоит поговорить, да и то двум из этих пяти не место в приличном обществе... Ну, все-таки расскажите мне про своего гения. Давно вы с ней знакомы?

<sup>1</sup> Румяна (фр.).

<sup>2</sup> Остроумие (фр.).



— Ах, Гарри, ваши рассуждения приводят меня в ужас.

— Пустяки. Так когда же вы с ней познакомились?

— Недели три назад.

— И где?

— Сейчас расскажу. Но не вздумайте меня расхолаживать, Гарри. В сущности, не встретиться я с вами, ничего не случилось бы: ведь это вы разбудили во мне страстное желание узнать все о жизни. После нашей встречи у Бэзила я не знал покоя, во мне трепетала каждая жилка. Шатаюсь по Парку или Пикадилли, я с жадным любопытством всматривался в каждого встречного и пытался угадать, какую жизнь он ведет. К некоторым меня тянуло. Другие внушали мне страх. Словно какая-то сладкая отравка была разлита в воздухе. Меня мучила жажда новых впечатлений... И вот раз вечером, часов в семь, я пошел бродить по Лондону в поисках этого нового. Я чувствовал, что в нашем сером огромном городе с мириадами жителей, мерзкими грешниками и пленительными пороками — так вы описывали мне его — припасено кое-что и для меня. Я рисовал себе тысячу вещей... Даже ожидающие меня опасности я предвкушал с восторгом. Я вспоминал ваши слова, сказанные в тот чудесный вечер, когда мы в первый раз обедали вместе: «Подлинный секрет счастья — в искании красоты». Сам не зная, чего жду, я вышел из дому и зашагал по направлению к Ист-Энду. Скоро я заблудился в лабиринте грязных улиц и унылых бульваров без зелени. Около половины девятого я проходил мимо какого-то жалкого театрлика с большими газовыми рожками и кричащими афишами у входа. Препротивный еврей в уморительной жилетке, какой я в жизни не видывал, стоял у входа и курил дрянную сигару. Волосы у него были сальные, завитые, а на грязной манишке сверкал громадный бриллиант. «Не угодно ли ложу, милорд?» — предложил он, увидев меня, и с подчеркнутой любезностью снял шляпу. Этот урод показался мне занятным. Вы, конечно, посмеетесь надо мной — но представьте, Гарри, я вошел и заплатил целую гинею за ложу у сцены. До сих пор не понимаю, как это вышло. А ведь не сделай я этого, — ах, дорогой мой Гарри, не сделай я этого, я пропустил бы прекраснейший роман моей жизни!.. Вы смеетесь? Честное слово, это возмутительно!

— Я не смеюсь, Дориан. Во всяком случае, смеюсь не над вами. Но не надо говорить, что это прекраснейший роман вашей жизни. Скажите лучше: «первый». В вас всегда будут влюбляться, и вы всегда будете влюблены

в любовь. *Grande passion*<sup>1</sup> — привилегия людей, которые проводят жизнь в праздности. Это единственное, на что способны нетрудящиеся классы. Не бойтесь, у вас впереди много чудесных переживаний. Это только начало.

— Так вы меня считаете настолько поверхностным человеком? — воскликнул Дориан Грей.

— Наоборот, глубоко чувствующим.

— Как так?

— Мой мальчик, поверхностными людьми я считаю как раз тех, кто любит только раз в жизни. Их так называемая верность, постоянство — лишь летаргия привычки или отсутствие воображения. Верность в любви, как и последовательность и неизменность мыслей, — это попросту доказательство бессилия... Верность! Когда-нибудь я займусь анализом этого чувства. В нем — жадность собственника. Многое мы охотно бросили бы, если бы не боялись, что кто-нибудь другой это подберет... Но не буду больше перебивать вас. Рассказывайте дальше.

— Так вот — я очутился в скверной, тесной ложе у сцены, и перед глазами у меня был аляповато размалеванный занавес. Я стал осматривать зал. Он был отделан с мишурной роскошью, везде — купидоны и рога изобилия, как в дешевом свадебном торте. Галерея и задние ряды были переполнены, а первые ряды обтрепанных кресел пустовали, да и на тех местах, что здесь, кажется, называют балконом, не видно было ни души. Между рядами ходили продавцы имбирного пива и апельсинов, и все зрители ожесточенно щелкали орехи.

— Точь-в-точь как в славные дни расцвета британской драмы!

— Да, наверное. Обстановка эта действовала угнетающе. И я уже подумывал, как бы мне выбраться оттуда, но тут взгляд мой упал на афишу. Как вы думаете, Гарри, что за пьеса шла в тот вечер?

— Ну что-нибудь вроде «Идиота» или «Немой невиновен». Деды наши любили такие пьесы. Чем дальше я живу на свете, Дориан, тем яснее вижу: то, чем удовлетворялись наши деды, для нас уже не годится. В искусстве, как и в политике, *les grand-pères ont toujours tort*<sup>2</sup>.

— Эта пьеса, Гарри, и для нас достаточно хороша: это был Шекспир, «Ромео и Джульетта». Признаться, сначала

---

<sup>1</sup> Великая страсть (фр.).

<sup>2</sup> Деды всегда не правы (фр.).

мне стало обидно за Шекспира, которого играют в такой дыре. Но в то же время это меня немного заинтересовало. Во всяком случае, я решил посмотреть первое действие. Заиграл ужасающий оркестр, которым управлял молодой еврей, сидевший за разбитым пианино. От этой музыки я чуть не сбежал из зала, но наконец занавес поднялся, и представление началось. Ромео играл тучный пожилой мужчина с наведенными жженой пробкой бровями и хриплым трагическим голосом. Фигурой он напоминал пивной бочонок. Меркуцио был немногим лучше. Эту роль исполнял комик, который привык играть в фарсах. Он вставлял в текст отсебятину и был в самых дружеских отношениях с галеркой. Оба эти актера были так же нелепы, как и декорации, и все вместе напоминало ярмарочный балаган. Но Джульетта!.. Гарри, представьте себе девушку лет семнадцати, с нежным, как цветок, личиком, с головкой гречанки, обвитой темными косами. Глаза — синие озера страсти, губы — лепестки роз. Первый раз в жизни я видел такую дивную красоту! Вы сказали как-то, что никакой пафос вас не трогает, но красота, одна лишь красота способна вызвать у вас слезы. Так вот, Гарри, я с трудом мог разглядеть эту девушку, потому что слезы туманили мне глаза. А голос! Никогда я не слышал такого голоса! Вначале он был очень тих, но каждая его глубокая, ласкающая нота как будто отдельно вливалась в уши. Потом он стал громче и звучал, как флейта или далекий гобой. Во время сцены в саду в нем зазвенел тот трепетный восторг, что звучит перед зарей в песне соловья. Бывали мгновения, когда слышалось в нем иступленное пение скрипок. Вы знаете, как может волновать чей-нибудь голос. Ваш голос и голос Сибилы Вэйн мне не забыть никогда! Стоит мне закрыть глаза — и я слышу ваши голоса. Каждый из них говорит мне другое, и я не знаю, которого слушаться... Как мог я не полюбить ее? Гарри, я ее люблю. Она для меня все. Каждый вечер я вижу ее на сцене. Сегодня она — Розалинда, завтра — Имоджена. Я видел ее в Италии умирающей во мраке склепа, видел, как она в поцелуе выпила яд с губ возлюбленного. Я следил за ней, когда она бродила по Арденнским лесам, переодетая юношей, прелестная в этом костюме — коротком камзоле, плотно обтягивающих ноги штанах, изящной шапочке. Безумная, приходила она к преступному королю и давала ему руту и горькие травы. Она была невинной Дездемоной, и черные руки ревности сжимали ее тонкую, как тростник, шейку. Я видел ее во все века и во всяких костюмах.

Обыкновенные женщины не волнуют нашего воображения. Они не выходят за рамки своего времени. Они не способны преображаться как по волшебству. Их души нам так же знакомы, как их шляпки. В них нет тайны. По утрам они катаются верхом в Парке, днем болтают со знакомыми за чайным столом. У них стереотипная улыбка и хорошие манеры. Они для нас — открытая книга. Но актриса!.. Актриса — совсем другое дело. И отчего вы мне не сказали, Гарри, что любить стоит только актрису?

— Оттого, что я любил очень многих актрис, Дориан.

— О, знаю я каких: этих ужасных женщин с крашеными волосами и размалеванными лицами.

— Не презирайте крашенные волосы и размалеванные лица, Дориан! В них порой находишь какую-то удивительную прелесть.

— Право, я жалею, что рассказал вам о Сибиле Вэйн!

— Вы не могли не рассказать мне, Дориан. Вы всю жизнь будете мне верить все.

— Да, Гарри, пожалуй, вы правы. Я ничего не могу от вас скрыть. Вы имеете надо мной какую-то непонятную власть. Даже если бы я когда-нибудь совершил преступление, я пришел бы и признался вам. Вы поняли бы меня.

— Такие, как вы, Дориан,— своенравные солнечные лучи, озаряющие жизнь,— не совершают преступлений. А за лестное мнение обо мне спасибо! Ну, теперь скажите... Передайте мне спички, пожалуйста! Благодарю... Скажите, как далеко зашли ваши отношения с Сибиллой Вэйн?

Дориан вскочил, весь вспыхнув, глаза его засверкали.

— Гарри! Сибилла Вэйн для меня святыня!

— Только святыни и стоит касаться, Дориан,— сказал лорд Генри с ноткой пафоса в голосе.— И чего вы рассердились? Ведь рано или поздно, я полагаю, она будет вашей. Влюбленность начинается с того, что человек обманывает себя, а кончается тем, что он обманывает другого. Это и принято называть романом. Надеюсь, вы уже, по крайней мере, познакомились с нею?

— Ну, разумеется. В первый же вечер тот противный старый еврей после спектакля пришел в ложу и предложил провести меня за кулисы и познакомить с Джульеттой. Я вскипел и сказал ему, что Джульетта умерла несколько сот лет тому назад и прах ее покоится в мраморном склепе в Вероне. Он слушал меня с величайшим удивлением,— наверное, подумал, что я выпил слишком много шампанского...

— Вполне возможно.

— Затем он спросил, не пишу ли я в газетах. Я ответил, что даже не читаю их. Он, видимо, был сильно разочарован и сообщил мне, что все театральные критики в заговоре против него и все они продажны.

— Пожалуй, в этом он совершенно прав. Впрочем, судя по их виду, большинство критиков продаются за недорогую цену.

— Ну, и он, по-видимому, находит, что ему они не по карману,— сказал Дориан со смехом.— Пока мы так беседовали, в театре стали уже гасить огни, и мне пора было уходить. Еврей настойчиво предлагал мне еще какие-то сигары, усиленно их расхваливая, но я и от них отказался. В следующий вечер я, конечно, опять пришел в театр. Увидев меня, еврей отвесил низкий поклон и объявил, что я щедрый покровитель искусства. Пренеприятный субъект,— однако, надо вам сказать, он страстный поклонник Шекспира. Он с гордостью сказал мне, что пять раз прогорал только из-за своей любви к «барду» (так он упорно величает Шекспира). Он, кажется, считает это своей великой заслугой.

— Это и в самом деле заслуга, дорогой мой, великая заслуга! Большинство людей становятся банкротами из-за чрезмерного пристрастия не к Шекспиру, а к прозе жизни. И разориться из-за любви к поэзии — это честь... Ну, так когда же вы впервые заговорили с мисс Сибиллой Вэйн?

— В третий вечер. Она тогда играла Розалинду. Я наконец сдался и пошел к ней за кулисы. До того я бросил ей цветы, и она на меня взглянула... По крайней мере, так мне показалось... А старый еврей все приставал ко мне — он, видимо, решил во что бы то ни стало свести меня к Сибиле. И я пошел... Не правда ли, это странно, что мне так не хотелось с ней знакомиться?

— Нет, ничуть не странно.

— А почему же, Гарри?

— Объясню как-нибудь потом. Сейчас я хочу дослушать ваш рассказ об этой девушке.

— О Сибиле? Она так застенчива и мила. В ней много детского. Когда я стал восторгаться ее игрой, она с очаровательным изумлением широко открыла глаза — она совершенно не сознает, какой у нее талант! Оба мы в тот вечер были, кажется, порядком смущены. Еврей торчал в дверях пыльного фойе и, ухмыляясь, красноречиво разглагольствовал, а мы стояли и молча смотрели друг на друга, как дети! Старик упорно величал меня «милордом», и я поторопился

уверить Сибилу, что я вовсе не лорд. Она сказала просто-душно: «Вы скорее похожи на принца. Я буду называть вас «Прекрасный Принц».

— Клянусь честью, мисс Сибила умеет говорить комплименты!

— Нет, Гарри, вы не понимаете: для нее я — все равно что герой какой-то пьесы. Она совсем не знает жизни. Живет с матерью, замученной, увядшей женщиной, которая в первый вечер играла леди Капулетти в каком-то красном капоте. Заметно, что эта женщина знавала лучшие дни.

— Встречал я таких... Они на меня всегда наводят тоску, — вставил лорд Генри, разглядывая свои перстни.

— Еврей хотел рассказать мне ее историю, но я не стал слушать, сказал, что меня это не интересует.

— И правильно сделали. В чужих драмах есть что-то безмерно жалкое.

— Меня интересует только сама Сибила. Какое мне дело до ее семьи и происхождения? В ней все — совершенство, все божественно — от головы до маленьких ножек. Я каждый вечер хожу смотреть ее на сцене, и с каждым вечером она кажется мне все чудеснее.

— Так вот почему вы больше не обедаете со мной по вечерам! Я так и думал, что у вас какой-нибудь роман. Однако это не совсем то, чего я ожидал.

— Гарри, дорогой, ведь мы каждый день либо завтракаем, либо ужинаем вместе! И, кроме того, я несколько раз ездил с вами в оперу, — удивленно возразил Дориан.

— Да, но вы всегда бессовестно опаздываете.

— Что поделаешь! Я должен видеть Сибилу каждый вечер, хотя бы в одном акте. Я уже не могу жить без нее. И когда я подумаю о чудесной душе, заключенной в этом хрупком теле, словно выточенном из слоновой кости, меня охватывает благоговейный трепет.

— А сегодня, Дориан, вы не могли бы пообедать со мной?

Дориан покачал головой.

— Сегодня она — Имоджена. Завтра вечером будет Джульеттой.

— А когда же она бывает Сибиллой Вэйн?

— Никогда.

— Ну, тогда вас можно поздравить!

— Ах, Гарри, как вы несносны! Поймите, в ней живут все великие героини мира! Она более чем одно существо. Смеетесь? А я вам говорю: она — гений. Я люблю ее:

я сделаю все, чтобы и она полюбила меня. Вот вы постигли все тайны жизни — так научите меня, как приворожить Сибилу Вэйн! Я хочу быть счастливым соперником Ромео, заставить его ревновать. Хочу, чтобы все жившие когда-то на земле влюбленные услышали в своих могилах наш смех и опечалились, чтобы дыхание нашей страсти потревожило их прах, пробудило его и заставило страдать. Боже мой, Гарри, если бы вы знали, как я ее обожаю!

Так говорил Дориан, в волнении шагая из угла в угол. На щеках его пылал лихорадочный румянец. Он был сильно возбужден.

Лорд Генри наблюдал за ним с тайным удовольствием. Как непохож был Дориан теперь на того застенчивого и робкого мальчика, которого он встретил в мастерской Бэзила Холлуорда! Все его существо раскрылось, как цветок, расцвело пламенно-алым цветом. Душа вышла из своего тайного убежища, и Желание поспешило ей навстречу.

— Что же вы думаете делать? — спросил наконец лорд Генри.

— Я хочу, чтобы вы и Бэзил как-нибудь поехали со мной в театр и увидели ее на сцене. Ничуть не сомневаюсь, что и вы оцените ее талант. Потом надо будет вырвать ее из рук этого еврея. Она связана контрактом на три года, — впрочем, теперь осталось уже только два года и восемь месяцев. Конечно, я заплачу ему. Когда все будет улажено, я сниму какой-нибудь театр в Вест-Энде и покажу ее людям во всем блеске. Она сведет с ума весь свет, точно так же как свела меня.

— Ну, это вряд ли, милый мой!

— Вот увидите! В ней чувствуется не только замечательное артистическое чутье, но и яркая индивидуальность! И ведь вы не раз твердили мне, что в наш век миром правят личности, а не идеи.

— Хорошо, когда же мы отправимся в театр?

— Сейчас соображу... Сегодня вторник. Давайте завтра! Завтра она играет Джульетту.

— Отлично. Встретимся в восемь, в «Бристоле». Я привезу Бэзила.

— Только не в восемь, Гарри, а в половине седьмого. Мы должны попасть в театр до поднятия занавеса. Я хочу, чтобы вы ее увидели в той сцене, когда она в первый раз встречается с Ромео.

— В половине седьмого! В такую рань! Да это все равно

что унизиться до чтения английского романа. Нет, давайте в семь. Ни один порядочный человек не обедает раньше семи. Может, вы перед этим съездите к Бэзилу? Или просто написать ему?

— Милый Бэзил! Вот уже целую неделю я не показывался ему на глаза. Это просто бессовестно — ведь он прислал мне мой портрет в великолепной раме, заказанной по его рисунку... Правда, я немножко завидую этому портрету, который на целый месяц моложе меня, но, признаюсь, я от него в восторге. Пожалуй, лучше будет, если вы напишете Бэзилу. Я не хотел бы с ним встретиться с глазу на глаз — все, что он говорит, нагоняет на меня скуку. Он постоянно дает мне добрые советы.

Лорд Генри улыбнулся.

— Некоторые люди очень охотно отдают то, что им самим крайне необходимо. Вот что я называю верхом великодушия!

— Бэзил — добрейшая душа, но, по-моему, он немного филистер. Я это понял, когда узнал вас, Гарри.

— Видите ли, мой друг, Бэзил все, что в нем есть лучшего, вкладывает в свою работу. Таким образом, для жизни ему остаются только предрассудки, моральные правила и здравый смысл. Из всех художников, которых я знал, только бездарные были обязательными людьми. Талантливые живут своим творчеством и поэтому сами по себе совсем неинтересны. Великий поэт — подлинно великий — всегда оказывается самым прозаическим человеком. А второстепенные — обворожительны. Чем слабее их стихи, тем эффектнее наружность и манеры. Если человек выпустил сборник плохих сонетов, можно заранее сказать, что он совершенно неотразим. Он вносит в свою жизнь ту поэзию, которую не способен внести в свои стихи. А поэты другого рода изливают на бумаге поэзию, которую не имеют смелости внести в жизнь.

— Не знаю, верно ли это, Гарри, — промолвил Дориан Грей, смачивая свой носовой платок духами из стоявшего на столе флакона с золотой пробкой. — Должно быть, верно, раз вы так говорите... Ну, я ухожу, меня ждет Имоджена. Не забудьте же о завтрашней встрече. До свиданья.

Оставшись один, лорд Генри задумался, опустив тяжелые веки. Несомненно, мало кто интересовал его так, как Дориан Грей, однако то, что юноша страстно любил кого-то другого, не вызывало в душе лорда Генри ни малейшей досады или ревности. Напротив, он был даже рад



этому: теперь Дориан становится еще более любопытным объектом для изучения. Лорд Генри всегда преклонялся перед научными методами естествоиспытателей, но область их исследований находил скучной и незначительной. Свои собственные исследования он начал с вивисекции над самим собой, затем стал производить вивисекцию над другими. Жизнь человеческая — вот что казалось ему единственно достойным изучения. В сравнении с нею все остальное ничего не стоило. И, разумеется, наблюдатель, изучающий кипение жизни в ее своеобразном горниле радостей и страданий, не может при этом защитить лицо стеклянкой маской и уберечься от удушливых паров, дурманящих мозг и воображение чудовищными образами, жуткими кошмарами. В этом горниле возникают яды столь тонкие, что изучить их свойства можно лишь тогда, когда сам отравишься ими, и гнездятся болезни столь странные, что понять их природу можно, лишь переболев ими. А все-таки какая великая награда ждет отважного исследователя! Каким необычайным предстанет перед ним мир! Постигнуть удивительно жестокою логику страсти и расцвеченную эмоциями жизнь интеллекта, узнать, когда та и другая сходятся и когда расходятся, в чем они едины и когда наступает разлад — что за наслаждение! Не все ли равно, какой ценой оно покупается? За каждое новое неизведанное ощущение не жаль заплатить чем угодно.

Лорд Генри понимал (и при этой мысли его темные глаза весело заблестели), что именно его речи, музыка этих речей, произнесенных его певучим голосом, обратили душу Дориана к прелестной девушке и заставили его преклониться перед ней. Да, мальчик был в значительной мере его созданием и благодаря ему так рано пробудился к жизни. А это разве не достижение? Обыкновенные люди ждут, чтобы жизнь сама открыла им свои тайны, а немногим избранныкам тайны жизни открываются раньше, чем поднимется завеса. Иногда этому способствует искусство (и главным образом литература), воздействуя непосредственно на ум и чувства. Но бывает, что роль искусства берет на себя в этом случае какой-нибудь человек сложной души, который и сам представляет собой творение искусства, — ибо Жизнь, подобно поэзии, или скульптуре, или живописи, также создает свои шедевры.

Да, Дориан рано созрел. Весна его еще не прошла, а он уже собирает урожай. В нем весь пыл и жизнерадостность юности, но при этом он уже начинает разбираться в самом

себе. Наблюдать его — истинное удовольствие! Этот мальчик с прекрасным лицом и прекрасной душой вызывает к себе живой интерес. Не все ли равно, чем все кончится, какая судьба ему уготована? Он подобен тем славным героям пьес или мистерий, чьи радости нам чужды, но чьи страдания будят в нас любовь к прекрасному. Их раны — красные розы.

Душа и тело, тело и душа — какая это загадка. В душе таятся животные инстинкты, а телу дано испытать минуты одухотворяющие. Чувственные порывы способны стать утонченными, а интеллект — отупеть. Кто может сказать, когда умолкает плоть и начинает говорить душа? Как поверхностны и произвольны авторитетные утверждения психологов! И при всем том — как трудно решить, которая из школ ближе к истине! Действительно ли душа человека — лишь тень, заключенная в греховную оболочку? Или, как полагал Джордано Бруно, тело заключено в духе? Расставание души с телом — такая же непостижимая загадка, как их слияние.

Лорд Генри задавал себе вопрос, сможет ли когда-нибудь психология благодаря нашим усилиям стать абсолютно точной наукой, раскрывающей малейшие побуждения, каждую сокровенную черту нашей внутренней жизни? Сейчас мы еще не понимаем самих себя и редко понимаем других. Опыт не имеет никакого морального значения; опытом люди называют свои ошибки. Моралисты, как правило, всегда видели в опыте средство предостережения и считали, что он влияет на формирование характера. Они славили опыт, ибо он учит нас, чему надо следовать и чего избегать. Но опыт не обладает движущей силой. В нем так же мало действенного, как и в человеческом сознании. По существу, он только свидетельствует, что наше грядущее обычно бывает подобно нашему прошлому и что грех, совершенный однажды с содроганием, мы повторяем в жизни много раз — но уже с удовольствием.

Лорду Генри было ясно, что только экспериментальным путем можно прийти к научному анализу страстей. А Дорин Грей — под рукой, он, несомненно, подходящий объект, и изучение его обещает дать богатейшие результаты. Его мгновенно вспыхнувшая безумная любовь к Сибиле Вэйн — очень интересное психологическое явление. Конечно, немалую роль тут сыграло любопытство — да, любопытство и жажда новых ощущений. Однако эта любовь — чувство не примитивное, а весьма сложное. То, что в ней порождено

чисто чувственными инстинктами юности, самому Дориану представляется чем-то возвышенным, далеким от чувственности,— и по этой причине оно еще опаснее. Именно те страсти, природу которых мы неверно понимаем, сильнее всего властвуют над нами. А слабее всего бывают чувства, происхождение которых нам понятно. И часто человек воображает, будто он производит опыт над другими, тогда как в действительности производит опыт над самим собой.

Так размышлял лорд Генри, когда раздался стук в дверь. Вошел камердинер и напомнил ему, что пора переодеваться к обеду. Лорд Генри встал и выглянул на улицу. Закатное солнце обливало пурпуром и золотом верхние окна в доме напротив, и стекла сверкали, как листы раскаленного металла. Небо над крышами было блекло-розовое. А лорд Генри думал о пламенной юности своего нового друга и пытался угадать, какая судьба ждет Дориана.

Вернувшись домой около половины первого ночи, он увидел на столе в прихожей телеграмму. Дориан Грей извещал его о своей помолвке с Сибиллой Вэйн.

## ГЛАВА V

— Мама, мама, я так счастлива! — шептала девушка, прижимаясь щекой к коленям женщины с усталым, поблекшим лицом, которая сидела спиной к свету, в единственном кресле убогой и грязноватой гостиной.— Я так счастлива,— повторила Сибилла.— И ты тоже должна радоваться!

Миссис Вэйн судорожно обняла набеленными худыми руками голову дочери.

— Радоваться? — отозвалась она.— Я радуюсь, Сибилла, только тогда, когда вижу тебя на сцене. Ты не должна думать ни о чем, кроме театра. Мистер Айзекс сделал нам много добра. И мы еще до сих пор не вернули ему его деньги...

Девушка подняла голову и сделала недовольную гримаску.

— Деньги? — воскликнула она.— Ах, мама, какие пустяки! Любовь важнее денег.

— Мистер Айзекс дал нам вперед пятьдесят фунтов, чтобы мы могли уплатить долги и как следует снарядить в дорогу Джеймса. Не забывай этого, Сибилла. Пятьдесят фунтов — большие деньги. Мистер Айзекс к нам очень внимателен...

— Но он не джентльмен, мама! И мне противна его манера разговаривать со мной,— сказала девушка, вставая и подходя к окну.

— Не знаю, что бы мы стали делать, если бы не он,— ворчливо возразила мать.

Сибилла откинула голову и рассмеялась.

— Он нам больше не нужен, мама. Теперь нашей жизнью будет распоряжаться Прекрасный Принц.

Она вдруг замолчала. Кровь прилила к ее лицу, розовой тенью покрыла щеки. От учащенного дыхания раскрылись лепестки губ. Они трепетали. Знойный ветер страсти налетел и, казалось, даже шевельнул мягкие складки платья.

— Я люблю его,— сказала Сибилла просто.

— Глупышка! Ох, глупышка! — как попугай твердила мать в ответ. И движения ее скрюченных пальцев, униженных дешевыми перстнями, придавали этим словам что-то жутко-нелепое.

Девушка снова рассмеялась. Радость плененной птицы звенела в ее смехе. Той же радостью сияли глаза, и Сибилла на мгновение зажмурила их, словно желая скрыть свою тайну. Когда же она их снова открыла, они были затуманены мечтой.

Узкогубая мудрость зывала к ней из обтрепанного кресла, проповедуя благоразумие и осторожность, приводя сентенции из книги трусости, выдающей себя за здравый смысл. Сибилла не слушала. Добровольная пленница Любви, она в эти минуты была не одна. Ее принц, Прекрасный Принц, был с нею. Она призвала Память, и Память воссоздала его образ. Она выслала душу свою на поиски, и та привела его. Его поцелуй еще пылал на ее губах, веки еще согревало его дыхание.

Мудрость между тем переменяла тактику и заговорила о необходимости проверить, навести справки... Этот молодой человек, должно быть, богат. Если так, надо подумать о браке... Но волны житейской хитрости разбивались об уши Сибиллы, стрелы коварства летели мимо. Она видела только, как шевелятся узкие губы, и улыбалась.

Вдруг она почувствовала потребность заговорить. Насыщенное словами молчание тревожило ее.

— Мама, мама,— воскликнула она.— За что он так любит меня? Я знаю, за что я полюбила его: он прекрасен, как сама Любовь. Но что он нашел во мне? Ведь я его не стою... А все-таки,— не знаю отчего,— хотя я совсем его недостойна, я ничуть не стыжусь этого. Я горда, ох, как горда

своей любовью! Мама, ты моего отца тоже любила так, как я люблю Прекрасного Принца?

Лицо старой женщины побледнело под толстым слоем дешевой пудры, сухие губы искривила судорожная гримаса боли. Сибила подбежала к матери, обняла ее и поцеловала.

— Прости, мамочка! Я знаю, тебе больно вспоминать об отце. Это потому, что ты горячо его любила. Ну, не будь же так печальна! Сегодня я счастлива, как ты была двадцать лет назад. Ах, не мешай мне стать счастливой на всю жизнь!

— Дитя мое, ты слишком молода, чтобы влюбляться. И притом — что тебе известно об этом молодом человеке? Ты даже имени его не знаешь. Все это в высшей степени неприлично. Право, в такое время, когда Джеймс уезжает от нас в Австралию и у меня столько забот, тебе следовало бы проявить больше чуткости... Впрочем, если окажется, что он богат...

— Ах, мама, мама, не мешай моему счастью!

Миссис Вэйн взглянула на дочь — и заключила ее в объятия. Это был один из тех театральных жестов, которые у актеров часто становятся как бы «второй натурой». В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел коренастый, несколько неуклюжий юноша с взлохмаченными темными волосами и большими руками и ногами. В нем не было и следа того тонкого изящества, которое отличало его сестру. Трудно было поверить, что они в таком близком родстве.

Миссис Вэйн устремила глаза на сына, и улыбка ее стала шире. Сын в эту минуту заменял ей публику, и она чувствовала, что они с дочерью представляют интересное зрелище.

— Ты могла бы оставить и для меня несколько поцелуев, Сибила, — сказал юноша с шутливым упреком.

— Да ты же не любишь целоваться, Джим, — отозвалась Сибила. — Ты — угрюмый старый медведь! — Она подскочила к брату и обняла его.

Джеймс Вэйн нежно заглянул ей в глаза.

— Пойдем погуляем напоследок, Сибила. Наверное, я никогда больше не вернусь в этот противный Лондон. И вовсе не жалею об этом.

— Сын мой, не говори таких ужасных вещей! — пробормотала миссис Вэйн со вздохом и, достав какой-то мишурный театральный наряд, принялась чинить его. Она была несколько разочарована тем, что Джеймс не принял участия в трогательной сцене, — ведь эта сцена тогда была бы еще эффектнее.

— А почему не говорить, раз это правда, мама?

— Ты очень огорчаешь меня, Джеймс. Я надеюсь, что ты вернешься из Австралии состоятельным человеком. В колониях не найдешь хорошего общества. Да, ничего похожего на приличное общество там и в помине нет... Так что, когда наживешь состояние, возвращайся на родину и устраивайся в Лондоне.

— «Хорошее общество», подумай! — буркнул Джеймс. — Очень оно мне нужно! Мне бы только заработать денег, чтобы ты и Сибила могли уйти из театра. Ненавижу я его!

— Ах, Джеймс, какой же ты ворчун! — со смехом сказала Сибила. — Так ты вправду хочешь погулять со мной? Чудесно! А я боялась, что ты уйдешь прощаться со своими товарищами, с Томом Харди, который подарил тебе эту безобразную трубку, или Недом Лэнгтоном, который насмехается над тобой, когда ты куришь. Очень мило, что ты решил провести последний день со мной. Куда же мы пойдем? Давай сходим в Парк!

— Нет, я слишком плохо одет, — возразил Джеймс, нахмурившись. — В Парке гуляет только шикарная публика.

— Глупости, Джим! — шепнула Сибила, поглаживая рукав его потрепанного пальто.

— Ну, ладно, — сказал Джеймс после минутного колебания. — Только ты одевайся поскорее.

Сибила выпорхнула из комнаты, и слышно было, как она поет, взбегаая по лестнице. Потом ее ножки затоптали где-то наверху.

Джеймс несколько раз прошелся из угла в угол. Затем повернулся к неподвижной фигуре в кресле и спросил:

— Мама, у тебя все готово?

— Все готово, Джеймс, — ответила она, не поднимая глаз от шитья. Последние месяцы миссис Вэйн бывало как-то не по себе, когда она оставалась наедине со своим суровым и грубоватым сыном. Ограниченная и скрытная женщина приходила в смятение, когда их глаза встречались. Часто задавала она себе вопрос, не подозревает ли сын что-нибудь.

Джеймс не говорил больше ни слова, и это молчание стало ей невтерпезж. Тогда она пустила в ход упреки и жалобы. Женщины, защищаясь, всегда переходят в наступление. А их наступление часто кончается внезапной и необъяснимой сдачей.

— Дай бог, чтобы тебе понравилась жизнь моряка, Джеймс, — начала миссис Вэйн. — Не забывай, что ты сам этого захотел. А ведь мог бы поступить в контору какого-

нибудь адвоката. Адвокаты — весьма почтенное сословие, в провинции их часто приглашают в самые лучшие дома.

— Не терплю контор и чиновников, — отрезал Джеймс. — Что я сам сделал выбор — это верно. Свою жизнь я проживу так, как мне нравится. А тебе, мама, на прощанье скажу одно: береги Сибилу. Смотри, чтобы с ней не случилось беды! Ты должна охранять ее!

— Не понимаю, зачем ты это говоришь, Джеймс. Разумеется, я Сибилу оберегаю.

— Я слышал, что какой-то господин каждый вечер бывает в театре и ходит за кулисы к Сибиле. Это правда? Что ты на это скажешь?

— Ах, Джеймс, в этих вещах ты ничего не смыслишь. Мы, актеры, привыкли, чтобы нам оказывали самое любезное внимание. Меня тоже когда-то засыпали букетами. В те времена люди умели ценить наше искусство. Ну а что касается Сибилы... Я еще не знаю, прочно ли ее чувство, серьезно ли оно. Но этот молодой человек, без сомнения, настоящий джентльмен. Он всегда так учтив со мной. И по всему заметно, что богат, — он посылает Сибиле чудесные цветы.

— Но ты даже имени его не знаешь! — сказал юноша резко.

— Нет, не знаю, — с тем же безмятежным спокойствием ответила мать. — Он не открыл еще нам своего имени. Это очень романтично. Наверное, он из самого аристократического круга.

Джеймс Вэйн прикусил губу.

— Береги Сибилу, мама! — сказал он опять настойчиво. — Смотри за ней хорошенько!

— Сын мой, ты меня очень сильно обижаешь. Разве я мало забочусь о Сибиле? Конечно, если этот джентльмен богат, почему ей не выйти за него? Я уверена, что он знатного рода. Это по всему видно. Сибиле может сделать блестящую партию. И они будут прелестной парой, — он замечательно красив, его красота всем бросается в глаза.

Джеймс проворчал что-то себе под нос, барабанил пальцами по стеклу. Он обернулся к матери и хотел что-то еще сказать, но в эту минуту дверь открылась и вбежала Сибиле.

— Что это у вас обоих такой серьезный вид? — воскликнула она. — В чем дело?

— Ни в чем, — сказал Джеймс. — Не все же смеяться, иной раз надо и серьезным быть. Ну, прощай, мама. Я приду

обедать к пяти. Все уложено, кроме рубашек, так что ты не беспокойся.

— До свидания, сын мой,— отозвалась миссис Вэйн и величественно, но с натянутым видом кивнула Джеймсу. Ее сильно раздосадовал тон, каким он говорил с ней, а выражение его глаз пугало ее.

— Поцелуй меня, мама,— сказала Сибила. Ее губы, нежные, как цветочные лепестки, коснулись увядшей щеки и согрели ее.

— О дитя мое, дитя мое! — воскликнула миссис Вэйн, поднимая глаза к потолку в поисках воображаемой галерки.

— Ну, пойдем, Сибила! — нетерпеливо позвал Джеймс. Он не выносил аффектации, к которой так склонна была его мать.

Брат и сестра вышли на улицу, где солнечный свет спорил с ветром, нагонявшим тучки, и пошли по унылой Юстон-Род. Прохожие удивленно посматривали на угрюмого и нескладного паренька в дешевом, плохо сшитом костюме, шедшего с такой изящной и грациозной девушкой. Он напоминал деревенщину-садовника с прелестной розой.

По временам Джим хмурился, перехватывая чей-нибудь любопытный взгляд. Он терпеть не мог, когда на него глядели, — чувство, знакомое гениям только на закате жизни, но никогда не оставляющее людей заурядных. Сибила же совершенно не замечала, что ею любят. В ее смехе звенела радость любви. Она думала о Прекрасном Принце, но, чтобы ничто не мешало ей упиваться этими мыслями, не говорила о нем, а болтала о корабле, на котором будет плавать Джеймс, о золоте, которое он непременно найдет в Австралии, о воображаемой красивой и богатой девушке, которую он спасет, освободив из рук разбойников в красных рубахах. Сибила и мысли не допускала, что Джеймс на всю жизнь останется простым матросом, или третьим помощником капитана, или кем-либо в таком роде. Нет, нет! Жизнь моряка ужасна! Сидеть, как птица в клетке, на каком-нибудь противном корабле, когда его то и дело атакуют с хриплым ревом горбатые волны, а злой ветер гнет мачты и рвет паруса на длинные свистящие ленты! Как только корабль прибудет в Мельбурн, Джеймсу следует вежливо сказать капитану «прости» и высадиться на берег и сразу же отправиться на золотые прииски. Недели не пройдет, как он найдет большущий самородок чистого золота, какого еще никто никогда не находил, и перевезет его на побережье в фургоне под охраной шести конных полицей-



ских. Скрывающиеся в зарослях бандиты трижды нападут на них, произойдет кровопролитная схватка, и бандиты будут отброшены... Или нет, не надо никаких золотых приисков, там ужас что творится, люди отравляют друг друга, в барах стрельба, ругань. Лучше Джеймсу стать мирным фермером, разводить овец. И в один прекрасный вечер, когда он верхом будет возвращаться домой, он увидит, как разбойник на черном коне увозит прекрасную знатную девушку, пустится за ним в погоню и спасет красавицу. Ну а потом она, конечно, влюбится в него, а он — в нее, и они поженятся, вернутся в Лондон и будут жить здесь, в большущем доме. Да, да, Джеймса ждут впереди чудесные приключения. Только он должен быть хорошим, не кипятиться и не транжирить денег.

— Ты слушайся меня, Джеймс. Хотя я старше тебя только на год, я гораздо лучше знаю жизнь... Да смотри же, пиши мне с каждой почтой! И молись перед сном каждый вечер, а я тоже буду молиться за тебя. И через несколько лет ты вернешься богатым и счастливым.

Джеймс слушал сестру угрюмо и молча. С тяжелым сердцем уезжал он из дому. Да и не только предстоящая разлука удручала его и заставляла сердито хмуриться. При всей своей неопытности юноша остро чувствовал, что Сибила угрожает опасности. От этого светского щеголя, который вздумал за ней ухаживать, добра не жди! Он был аристократ — и Джеймс ненавидел его, ненавидел безотчетно, в силу какого-то классового инстинкта, ему самому непонятного и потому еще более властного. Притом Джеймс, зная легкомыслие и пустое тщеславие матери, чуял в этом грозную опасность для Сибилы и ее счастья. В детстве мы любим родителей. Став взрослыми, судим их. И бывает, что мы их прощаем.

Мать! Джеймсу давно хотелось задать ей один вопрос — вопрос, который мучил его вот уже много месяцев. Фраза, случайно услышанная в театре, глумливое шушуканье, донесшееся до него раз вечером, когда он ждал мать у входа за кулисы, подняли в голове Джеймса целую бурю мучительных догадок. Воспоминание об этом и сейчас ожгло его, как удар хлыста по лицу. Он сдвинул брови так, что между ними прорезалась глубокая морщина, и с гримасой боли судорожно прикусил нижнюю губу.

— Да ты совсем меня не слушаешь, Джим! — воскликнула вдруг Сибила. — А я-то стараюсь, строю для тебя такие чудесные планы на будущее! Ну, скажи же что-нибудь!

— Что мне сказать?

— Хотя бы, что ты будешь пай-мальчиком и не забудешь нас,— сказала Сибила с улыбкой.

Джеймс пожал плечами.

— Скорее ты забудешь меня, чем я тебя, Сибила.

Сибила покраснела.

— Почему ты так думаешь, Джим?

— Да вот, говорят, у тебя появился новый знакомый. Кто он? Почему ты мне ничего о нем не рассказала? Это знакомство к добру не приведет.

— Перестань, Джим! Не смей дурно говорить о нем! Я его люблю.

— Господи, да тебе даже имя его неизвестно! — возразил Джеймс. — Кто он такой? Я, кажется, имею право это знать.

— Его зовут Прекрасный Принц. Разве тебе не нравится это имя? Ты его запомни, глупый мальчик. Если бы ты увидел моего Принца, ты понял бы, что лучше его нет никого на свете. Вот вернешься из Австралии, и тогда я вас познакомлю. Он тебе очень понравится, Джим. Он всем нравится, а я... я люблю его. Как жаль, что ты сегодня вечером не сможешь быть в театре. Он обещал приехать. И я сегодня играю Джульетту. О, как я ее сыграю! Ты только представь себе, Джим, — играть Джульетту, когда сама влюблена и когда он сидит перед тобой. Играть для него! Я даже боюсь, что испугаю всех зрителей. Испугаю или приведу в восторг! Любовь возносит человека над самим собой... Этот бедный урод, мистер Айзекс, опять будет кричать в баре своим собутыльникам, что я гений. Он верит в меня, а сегодня будет на меня молиться. И это сделал мой Прекрасный Принц, моя чудесная любовь, бог красоты! Я так жалка по сравнению с ним... Ну, так что же? Пословица говорит: нищета вползает через дверь, а любовь влетает в окно. Наши пословицы следовало бы переделывать. Их придумывали зимой, а теперь лето... Нет, для меня теперь весна, настоящий праздник цветов под голубым небом.

— Он — знатный человек, — сказал Джеймс мрачно.

— Он — принц! — пропела Сибила. — Чего тебе еще?

— Он хочет сделать тебя своей рабой.

— А я дрожу при мысли о свободе.

— Остерегайся его, Сибила!

— Кто его увидел, боготворит его, а кто узнал — верит ему.

— Сибила, да он тебя совсем с ума свел!

Сибилла рассмеялась и взяла брата под руку.

— Джим, милый мой, ты рассуждаешь, как столетний старик. Когда-нибудь сам влюбишься, тогда поймешь, что это такое. Ну, не дуйся же! Ты бы радоваться должен, что, уезжая, оставляешь меня такой счастливой. Нам с тобой тяжело пришлось, ужасно тяжело и трудно. А теперь все пойдет по-другому. Ты едешь, чтобы увидеть новый мир, а мне он открылся здесь, в Лондоне... Вот два свободных места, давай сядем и будем смотреть на нарядную публику.

Они уселись среди толпы отдыхающих, которые глазели на прохожих. На клумбах у дорожки тюльпаны пылали дрожащими языками пламени. В воздухе висела белая пыль, словно зыбкое облако ароматной пудры. Огромными пестрыми бабочками порхали и качались над головами зонтики ярких цветов.

Сибилла настойчиво расспрашивала брата, желая, чтобы он поделился с нею своими планами и надеждами. Джеймс отвечал медленно и неохотно. Они обменивались словами, как игроки обмениваются фишками. Сибиллу угнетало то, что она не может заразить Джеймса своей радостью. Единственным откликом, который ей удалось вызвать, была легкая улыбка на его хмуром лице.

Вдруг перед ней промелькнули золотистые волосы, знакомые улыбающиеся губы: мимо в открытом экипаже проехал с двумя дамами Дориан Грей.

Сибилла вскочила.

— Он!

— Кто? — спросил Джим.

— Прекрасный Принц! — ответила она, провожая глазами коляску.

Тут и Джим вскочил и крепко схватил ее за руку.

— Где? Который? Да покажи же! Я должен его увидеть!

Но в эту минуту запряженный четверкой экипаж герцога Бервикского заслонил все впереди, а когда он проехал, коляска Дориана была уже далеко.

— Уехал! — огорченно прошептала Сибилла. — Как жаль, что ты его не видел!

— Да, жаль. Потому что, если он тебя обидит, клянусь богом, я отыщу и убью его.

Сибилла в ужасе посмотрела на брата. А он еще раз повторил свои слова. Они просвистели в воздухе, как кинжал, и люди стали оглядываться на Джеймса. Стоявшая рядом дама захихикала.

— Пойдем отсюда, Джим, пойдем! — шепнула Сибилла. Она стала пробираться через толпу, и Джим, повеселевший после того, как облегчил душу, пошел за нею.

Когда они дошли до статуи Ахилла, девушка обернулась. Она с сожалением посмотрела на брата и покачала головой, а на губах ее трепетал смех.

— Ты дурачок, Джим, настоящий дурачок и злой мальчишка — вот и все. Ну, можно ли говорить такие ужасные вещи! Ты сам не понимаешь, что говоришь. Ты попросту ревнуешь и потому несправедлив к нему. Ах, как бы я хотела, чтобы и ты полюбил кого-нибудь! Любовь делает человека добрее, а ты сказал злые слова!

— Мне уже шестнадцать лет, — возразил Джим. — И я знаю, что говорю. Мать тебе не опора. Она не сумеет уберечь тебя. Экая досада, что я уезжаю! Не подпиши я контракта, я послал бы к черту Австралию и остался бы с тобой.

— Полно, Джим! Ты точь-в-точь как герои тех дурацких мелодрам, в которых мама любила играть. Но я не хочу с тобой спорить. Ведь я только что видела его, а видеть его — это такое счастье! Не будем ссориться! Я уверена, что ты никогда не причинишь зла человеку, которого я люблю, — правда, Джим?

— Пока ты его любишь, пожалуй, — был угрюмый ответ.

— Я буду любить его вечно, — воскликнула Сибилла.

— А он тебя?

— И он тоже.

— Ну, то-то. Пусть только попробует изменить!

Сибилла невольно отшатнулась от брата. Но затем рассмеялась и положила ему руку на плечо. Ведь он в ее глазах был еще мальчик.

У Мраморной Арки они сели в omnibus, и он довез их до грязного, запущенного дома на Юстон-Род, где они жили. Был уже шестой час, а Сибилле полагалось перед спектаклем полежать час-другой. Джим настоял, чтобы она легла, объяснив, что он предпочитает проститься с нею в ее комнате, пока мать внизу. Мать непременно разыграла бы при прощании трагическую сцену, а он терпеть не может сцен.

И они простились в комнате Сибиллы. В сердце юноши кипела ревность и бешеная ненависть к чужаку, который, как ему казалось, встал между ним и сестрой. Однако, когда Сибилла обвила руками его шею и провела пальчиками по его волосам, Джим размяк и поцеловал ее с искренней не-

жностью. Когда он потом шел вниз по лестнице, глаза его были полны слез.

Внизу дожидалась мать. Она побранила его за опоздание. Джеймс ничего не ответил и принялся за скудный обед. Мухи жужжали над столом, ползали по грязной скатерти. Под грохот омнибусов и кебов Джеймс слушал монотонный голос, отравлявший ему последние оставшиеся минуты.

Скоро он отодвинул в сторону тарелку и подпер голову руками. Он твердил себе, что имеет право знать. Если правда то, что он подозревает,— мать давно должна была сказать ему об этом. Цепеня от страха, миссис Вэйн тайком наблюдала за ним. Слова механически слетали с ее губ, пальцы комкали грязный кружевной платочек. Когда часы пробили шесть, Джим встал и направился к двери. Но по дороге остановился и оглянулся на мать. Взгляды их встретились, и в глазах ее он прочел горячую мольбу о пощаде. Это только подлило масла в огонь.

— Мама, я хочу задать тебе один вопрос,— начал он.

Мать молчала, ее глаза забегали по сторонам.

— Скажи мне правду, я имею право знать: ты была замужем за моим отцом?

У миссис Вэйн вырвался глубокий вздох. То был вздох облегчения. Страшная минута, которой она с такой тревогой ждала днем и ночью в течение многих месяцев, наконец наступила,— и вдруг ее страх исчез. Она даже была этим несколько разочарована. Грубая прямота вопроса требовала столь же прямого ответа. Решительная сцена без постепенной подготовки! Это было нескладно, напоминало плохую репетицию.

— Нет,— отвечала она, удивляясь про себя тому, что в жизни все так грубо и просто.

— Значит, он был подлец? — крикнул юноша, сжимая кулаки.

Мать покачала головой.

— Нет. Я знала, что он не свободен. Но мы крепко любили друг друга. Если бы он не умер, он бы нас обеспечил. Не осуждай его, сынок. Он был твой отец и джентльмен. Да, да, он был знатного рода.

У Джеймса вырвалось проклятие.

— Мне-то все равно,— воскликнул он.— Но ты смотри, чтобы с Сибиллой не случилось того же! Ведь тот, кто в нее влюблен или притворяется влюбленным, тоже, наверное, «джентльмен знатного рода»?

На одно мгновение миссис Вэйн испытала унижительное

чувство стыда. Голова ее поникла, она отерла глаза трясущимися руками.

— У Сибилы есть мать,— прошептала она.— А у меня ее не было.

Джеймс был тронут. Он подошел к матери и, наклонясь, поцеловал ее.

— Прости, мама, если я этими расспросами об отце сделал тебе больно,— сказал он.— Но я не мог удержаться. Ну, мне пора. Прощай! И помни: теперь тебе надо заботиться об одной только Сибиле. Можешь мне поверить, если этот человек обидит мою сестру, я узнаю, кто он, разыщу его и убью, как собаку. Клянусь!

Преувеличенная страстность угрозы и энергичные жесты, которыми сопровождалась эта мелодраматическая тирада, пришлись миссис Вэйн по душе, они словно окрашивали жизнь в более яркие краски. Сейчас она почувствовала себя в своей стихии и вздохнула свободнее. Впервые за долгое время она восхищалась сыном. Ей хотелось продлить эту волнующую сцену, но Джим круто оборвал разговор. Нужно было снести вниз чемоданы, разыскать запропастившийся куда-то теплый шарф. Слуга меблированных комнат, где они жили, суетился, то вбегая, то убегая. Потом пришлось торговаться с извозчиком... Момент был упущен, испорчен вульгарными мелочами. И миссис Вэйн с удвоенным чувством разочарования махала из окна грязным кружевным платочком вслед уезжавшему сыну. Какая прекрасная возможность упущена! Впрочем, она немного утешилась, объявив Сибиле, что теперь, когда на ее попечении осталась одна лишь дочь, в жизни ее образуется большая пустота. Эта фраза ей понравилась, и она решила запомнить ее. Об угрозе Джеймса она умолчала. Правда, высказана эта угроза очень эффектно и драматично, но лучше было о ней не поминать. Миссис Вэйн надеялась, что когда-нибудь они все дружно посмеются над нею.

## ГЛАВА VI

— Ты, верно, уже слышал новость, Бэзил? — такими словами лорд Генри встретил в этот вечер Холлуорда, вошедшего в указанный ему лакеем отдельный кабинет ресторана «Бристоль», где был сервирован обед на троих.

— Нет, Гарри. А что за новость? — спросил художник, отдавая пальто и шляпу почтительно ожидавшему лакею.—

Надеюсь, не политическая? Политикой я не интересуюсь. В палате общин едва ли найдется хоть один человек, на которого художнику стоило бы раскодовать краски. Правда, многие из них очень нуждаются в побелке.

— Дориан Грей собирается жениться, — сказал лорд Генри, внимательно глядя на Холлуорда.

Холлуорд вздрогнул и нахмурился.

— Дориан! Женится! — воскликнул он. — Не может быть!

— Однако это сущая правда.

— На ком же?

— На какой-то актриске.

— Что-то мне не верится. Дориан не так безрассуден.

— Дориан настолько умен, мой милый Бэзил, что не может время от времени не делать глупостей.

— Но брак не из тех «глупостей», которые делают «время от времени», Гарри!

— Так думают в Англии, но не в Америке, — лениво возразил лорд Генри. — Впрочем, я не говорил, что Дориан женится. Я сказал только, что он собирается жениться. Это далеко не одно и то же. Я, например, явно помню, что женился, но совершенно не припоминаю, чтобы я собирался это сделать. И склонен думать, что такого намерения у меня никогда не было.

— Да ты подумай, Гарри, из какой семьи Дориан, как он богат, какое положение занимает в обществе! Такой неравный брак просто-напросто безумие!

— Если хочешь, чтобы он женился на этой девушке, скажи ему то, что ты сейчас сказал мне, Бэзил! Тогда он наверняка женится на ней. Самые нелепые поступки человек совершает всегда из благороднейших побуждений.

— Хоть бы это оказалась хорошая девушка! Очень печально, если Дориан навсегда будет связан с какой-нибудь дрянью и этот брак заставит его умственно и нравственно опуститься.

— Хорошая ли она девушка? Она — красавица, а это гораздо важнее, — бросил лорд Генри, потягивая из стакана вермут с померанцевой. — Дориан утверждает, что она красавица, а в этих вещах он редко ошибается. Портрет, который ты написал, научил его ценить красоту других людей. Да, да, и в этом отношении портрет весьма благотворно повлиял на него... Сегодня вечером мы с тобой увидим его избранницу, если только мальчик не забыл про наш уговор.

— Ты все это серьезно говоришь, Гарри?

— Совершенно серьезно, Бэзил. Не дай бог, чтобы мне пришлось говорить когда-нибудь еще серьезнее, чем сейчас.

— Но неужели ты одобряешь это, Гарри,— продолжал художник, шагая по комнате и кусая губы.— Не может быть! Это просто какое-то глупое увлечение.

— А я никогда ничего не одобряю и не порицаю,— это нелепейший подход к жизни. Мы посланы в сей мир не для того, чтобы проповедовать свои моральные предрассудки. Я не придаю никакого значения тому, что говорят пошляки, и никогда не вмешиваюсь в жизнь людей мне приятных. Если человек мне нравится, то все, в чем он себя проявляет, я нахожу прекрасным. Дориан Грей влюбился в красивую девушку, которая играет Джульетту, и хочет жениться на ней. Почему бы и нет? Женись он хотя бы на Мессалине — от этого он не станет менее интересен. Ты знаешь, я не сторонник брака. Главный вред брака в том, что он вытравливает из человека эгоизм. А люди неэгоистичные бесцветны, они утрачивают свою индивидуальность. Правда, есть люди, которых брачная жизнь делает сложнее. Сохраняя свое «я», они дополняют его множеством чужих «я». Такой человек вынужден жить более чем одной жизнью и становится личностью высокоорганизованной, а это, я полагаю, и есть цель нашего существования. Кроме того, всякое переживание ценно, и что бы ни говорили против брака,— это ведь, безусловно, какое-то новое переживание, новый опыт. Надеюсь, что Дориан женится на этой девушке, будет с полгода страстно обожать ее, а потом внезапно влюбится в другую. Тогда будет очень интересно понаблюдать его.

— Ты все это говоришь не всерьез, Гарри. Ведь, если жизнь Дориана будет разбита, ты больше всех будешь этим огорчен. Право, ты гораздо лучше, чем хочешь казаться.

Лорд Генри расхохотался.

— Все мы готовы верить в других по той простой причине, что боимся за себя. В основе оптимизма лежит чистейший страх. Мы приписываем нашим ближним те добродетели, из которых можем извлечь выгоду для себя, и воображаем, что делаем это из великодушия. Хвалим банкира, потому что хочется верить, что он увеличит нам кредит в своем банке, и находим хорошие черты даже у разбойника с большой дороги в надежде, что он пощадит наши карманы. Поверь, Бэзил, все, что я говорю, я говорю вполне серьезно. Больше всего на свете я презираю оптимизм... Ты боишься, что жизнь Дориана будет разбита, а, по-моему, разбитой можно считать лишь ту жизнь, которая



остановилась в своем развитии. Исправлять и переделывать человеческую натуру — значит только портить ее. Ну а что касается женитьбы Дориана... Конечно, это глупость. Но есть иные, более интересные формы близости между мужчиной и женщиной. И я неизменно поощряю их... А вот и сам Дориан! От него ты узнаешь больше, чем от меня.

— Гарри, Бэзил, дорогие мои, можете меня поздравить! — сказал Дориан, сбросив подбитый шелком плащ и пожимая руки друзьям. — Никогда еще я не был так несчастлив. Разумеется, все это довольно неожиданно, как неожиданны все чудеса в жизни. Но, мне кажется, я всегда искал и ждал именно этого.

Он порозовел от волнения и радости и был в эту минуту удивительно красив.

— Желаю вам большого счастья на всю жизнь, Дориан, — сказал Холлуорд. — А почему же вы не сообщили мне о своей помолвке? Это непростительно. Ведь Гарри вы уведили.

— А еще непростительнее то, что вы опоздали к обеду, — вмешался лорд Генри, с улыбкой положив руку на плечо Дориана. — Ну, давайте сядем за стол и посмотрим, каков новый здешний шеф-повар. И потом вы нам расскажете все по порядку.

— Да тут и рассказывать почти нечего, — отозвался Дориан, когда они усадились за небольшой круглый стол. — Вот как все вышло: вчера вечером, уйдя от вас, Гарри, я переоделся, пообедал в том итальянском ресторанчике на Руперт-стрит, куда вы меня водили, а в восемь часов отправился в театр. Сибила играла Розалинду. Декорации были, конечно, ужасные, Орlando просто смешон. Но Сибила! Ах, если бы вы ее видели! В костюме мальчика она просто загляденье. На ней была зеленая бархатная куртка с рукавами цвета корицы, коричневые короткие штаны, плотно обтягивавшие ноги, изящная зеленая шапочка с соколиным пером, прикрепленным блестящей пряжкой, и плащ с капюшоном на темно-красной подкладке. Никогда еще она не казалась мне такой прелестной! Своей хрупкой грацией она напоминала танагрскую статуэтку, которую я видел у вас в студии, Бэзил. Волосы обрамляли ее личико, как темные листья — бледную розу. А ее игра... ну, да вы сами сегодня увидите. Она просто рождена для сцены. Я сидел в убогой ложе совершенно очарованный. Забыл, что я в Лондоне, что у нас теперь девятнадцатый век. Я был с моей возлюбленной далеко, в дремучем лесу, где не ступала нога человека...

После спектакля я пошел за кулисы и говорил с нею. Мы сидели рядом, и вдруг в ее глазах я увидел выражение, какого никогда не замечал раньше. Губы мои нашли ее губы. Мы поцеловались... Не могу вам передать, что я чувствовал в этот миг. Казалось, вся моя жизнь сосредоточилась в этой чудесной минуте. Сибила вся трепетала, как белый нарцисс на стебле... И вдруг опустилась на колени и стала целовать мои руки. Знаю, мне не следовало бы рассказывать вам все это, но я не могу удержаться... Помолвка наша, разумеется, — строжайший секрет, Сибила даже матери ничего не сказала. Не знаю, что запоют мои опекуны. Лорд Рэдли, наверно, ужасно разгневется. Пусть сердится, мне все равно! Меньше чем через год я буду совершеннолетний и смогу делать что хочу. Ну, скажите, Бэзил, разве не прекрасно, что любить меня научила поэзия, что жену я нашел в драмах Шекспира? Губы, которые Шекспир учил говорить, шептали мне на ухо свою тайну. Меня обнимали руки Розалинды, и я целовал Джульетту.

— Да, Дориан, мне кажется, вы правы, — с расстановкой отозвался Холлуорд.

— А сегодня вы с ней виделись? — спросил лорд Генри. Дориан Грей покачал головой.

— Я оставил ее в Арденнских лесах — и встречу снова в одном из садов Вероны.

Лорд Генри в задумчивости отхлебнул глоток шампанского.

— А когда же именно вы заговорили с нею о браке, Дориан? И что она ответила? Или вы уже не помните?

— Дорогой мой, я не делал ей официального предложения, потому что для меня это был не деловой разговор. Я сказал, что люблю ее, а она ответила, что недостойна быть моей женой. Недостойна! Господи, да для меня весь мир — ничто в сравнении с ней!

— Женщины в высшей степени практичный народ, — пробормотал лорд Генри. — Они много практичнее нас. Мужчина в такие моменты частенько забывает поговорить о браке, а женщина всегда помнит об этом...

Холлуорд жестом остановил его.

— Перестань, Гарри, ты обижаешь Дориана. Он не такой, как другие, он слишком благороден, чтобы сделать женщину несчастной.

Лорд Генри посмотрел через стол на Дориана.

— Дориан на меня никогда не сердится, — возразил он. — Я задал ему этот вопрос из самого лучшего побужде-

ния, единственного, которое оправдывает какие бы то ни было вопросы: из простого любопытства. Хотел проверить свое наблюдение, что обычно не мужчина женщине, а она ему делает предложение. Только в буржуазных кругах бывает иначе. Но буржуазия ведь отстала от века.

Дориан Грей рассмеялся и покачал головой.

— Вы неисправимы, Гарри, но сердиться на вас невозможно. Когда увидите Сибилу Вэйн, вы поймете, что обидеть ее способен только негодяй, человек без сердца. Я не понимаю, как можно позорить ту, кого любишь. Я люблю Сибилу — и хотел бы поставить ее на золотой пьедестал, видеть весь мир у ног моей любимой. Что такое брак? Нерушимый обет. Вам это смешно? Не смейтесь, Гарри! Именно такой обет хочу я дать. Доверие Сибилы обязывает меня быть честным, ее вера в меня делает меня лучше! Когда Сибилла со мной, я стыжусь всего того, чему вы, Гарри, научили меня, и становлюсь совсем другим. Да, при одном прикосновении ее руки я забываю вас и ваши увлекательные, но отравляющие и неверные теории.

— Какие именно? — спросил лорд Генри, принимаясь за салат.

— Ну, о жизни, о любви, о наслаждении. Вообще все ваши теории, Гарри.

— Единственное, что стоит возвести в теорию, это наслаждение, — медленно произнес лорд Генри своим мелодичным голосом. — Но, к сожалению, теорию наслаждения я не вправе приписывать себе. Автор ее не я, а Природа. Наслаждение — тот пробный камень, которым она испытывает человека, и знак ее благословения. Когда человек счастлив, он всегда хорош. Но не всегда хорошие люди бывают счастливы.

— А кого ты называешь хорошим? — воскликнул Бэзил Холлуорд.

— Да, — подхватил и Дориан, откинувшись на спинку стула и глядя на лорда Генри поверх пышного букета пурпурных ирисов, стоявшего посреди стола. — Кто, по вашему, хорош, Гарри?

— Быть хорошим — значит жить в согласии с самим собой, — пояснил лорд Генри, обхватив ножку бокала тонкими белыми пальцами. — А кто принужден жить в согласии с другими, тот бывает в разладе с самим собой. Своя жизнь — вот что самое главное. Филистеры или пуритане могут, если им угодно, навязывать другим свои нравственные правила, но я утверждаю, что вмешиваться

в жизнь наших ближних — вовсе не наше дело. Притом у индивидуализма, несомненно, более высокие цели. Современная мораль требует от нас, чтобы мы разделяли общепринятые понятия своей эпохи. Я же полагаю, что культурному человеку покорно принимать мерилло своего времени ни в коем случае не следует, — это грубейшая форма безнравственности.

— Но согласись, Гарри, жизнь только для себя покупается слишком дорогой ценой, — заметил художник.

— Да, в нынешние времена за все приходится платить слишком дорого. Пожалуй, трагедия бедняков — в том, что только самоотречение им по средствам. Красивые грехи, как и красивые вещи, — привилегия богатых.

— За жизнь для себя расплачиваешься не деньгами, а другим.

— Чем же еще, Бэзил?

— Ну, мне кажется, угрызениями совести, страданиями... сознанием своего морального падения.

Лорд Генри пожал плечами.

— Милый мой, средневековое искусство великолепно, но средневековые чувства и представления устарели. Конечно, для литературы они годятся, — но ведь для романа вообще годится только то, что в жизни уже вышло из употребления. Поверь, культурный человек никогда не раскаивается в том, что предавался наслаждениям, а человек некультурный не знает, что такое наслаждение.

— Я теперь знаю, что такое наслаждение, — воскликнул Дориан Грей. — Это — обожать кого-нибудь.

— Конечно, лучше обожать, чем быть предметом обожания, — отозвался лорд Генри, выбирая себе фрукты. — Терпеть чье-то обожание — это скучно и тягостно. Женщины относятся к нам, мужчинам, так же, как человечество — к своим богам: они нам поклоняются — и надоедают, постоянно требуя чего-то.

— По-моему, они требуют лишь того, что первые дарят нам, — сказал Дориан тихо и серьезно. — Они пробуждают в нас Любовь и вправе ждать ее от нас.

— Вот это совершенно верно, Дориан! — воскликнул Холлуорд.

— Есть ли что абсолютно верное на свете? — возразил лорд Генри.

— Да, есть, Гарри, — сказал Дориан Грей. — Вы же не станете отрицать, что женщины отдают мужчинам самое драгоценное в жизни.

— Возможно, — согласился лорд Генри со вздохом. — Но они неизменно требуют его обратно — и все самой мелкой монетой. В том-то и горе! Как сказал один остроумный француз, женщины вдохновляют нас на великие дела, но вечно мешают нам их творить.

— Гарри, вы несносный циник. Право, не понимаю, за что я вас так люблю!

— Вы всегда будете меня любить, Дориан... Кофе хотите, друзья?.. Принесите нам кофе, коньяк и папиросы... Впрочем, папирос не нужно: у меня есть, Бэзил, я не дам тебе курить сигары, возьми папиросу! Папиросы — это совершеннейший вид высшего наслаждения, тонкого и острого, но оставляющего нас неудовлетворенными. Чего еще желать?.. Да, Дориан, вы всегда будете любить меня. В ваших глазах я — воплощение всех грехов, которые у вас не хватает смелости совершить.

— Вздор вы говорите, Гарри! — воскликнул молодой человек, зажигая папиросу от серебряного огнедышащего дракона, которого лакей поставил на стол. — Едемте-ка лучше в театр. Когда вы увидите Сибилу на сцене, жизнь представится вам совсем иной. Она откроет вам нечто такое, чего вы не знали до сих пор.

— Я все изведal и узнал, — возразил лорд Генри, и глаза его приняли усталое выражение. — Я всегда рад новым впечатлениям, боюсь, однако, что мне уже их ждать нечего. Впрочем, быть может, ваша чудо-девушка и расшевелит меня. Я люблю сцену, на ней все гораздо правдивее, чем в жизни! Едем! Дориан, вы со мной. Мне очень жаль, Бэзил, что в моем кабриолете могут поместиться только двое. Вам придется ехать за нами в кебе.

Они встали из-за стола и, надев пальто, допили кофе стоя. Художник был молчалив и рассеян, им овладело уныние. Не по душе ему был этот брак, хотя он понимал, что с Дорианом могло случиться многое похуже.

Через несколько минут все трое сошли вниз. Как было решено, Холлуорд ехал один за экипажем лорда Генри. Глядя на мерцавшие впереди фонари, он испытывал новое чувство утраты. Он понимал, что никогда больше Дориан Грей не будет для него тем, чем был. Жизнь встала между ними...

Глаза Холлуорда затуманились, и ярко освещенные людные улицы расплывались перед ним мутными пятнами. К тому времени, когда кеб подкатил к театру, художнику уже казалось, что он сегодня постарел на много лет.

В этот вечер театр почему-то был полон, и толстый директор, встретивший Дориана и его друзей у входа, сиял и ухмылялся до ушей приторной, заискивающей улыбкой. Он проводил их в ложу весьма торжественно и подобострастно, жестикулируя пухлыми руками в перстнях и разглагольствуя во весь голос. Дориан наблюдал за ним с еще большим отвращением, чем всегда, испытывая чувства влюбленного, который пришел за Мирандой, а наткнулся на Калибана. Зато лорду Генри еврей, видимо, понравился. Так он, во всяком случае, объявил и непременно захотел пожать ему руку, уверив его, что гордится знакомством с человеком, который открыл подлинный талант и разорился из-за любви к поэту. Холлуорд рассматривал публику партера. Жара стояла удушающая, и большая люстра пылала, как гигантский георгин с огненными лепестками. На галерке молодые люди, сняв пиджаки и жилеты, развесили их на барьере. Они переговаривались через весь зал и угощали апельсинами безвкусно разодетых девиц, сидевших с ними рядом. В партере громко хохотали какие-то женщины. Их визгливые голоса резали слух. Из буфета доносилось щелканье пробок.

— И в таком месте вы нашли свое божество! — сказал лорд Генри.

— Да, — отозвался Дориан Грей. — Здесь я нашел ее, богиню среди простых смертных. Когда она играет, забываешь все на свете. Это неотесанное простонародье, люди с грубыми лицами и вульгарными манерами, совершенно преображаются, когда она на сцене. Они сидят, затаив дыхание, и смотрят на нее. Они плачут и смеются по ее воле. Она делает их чуткими, как скрипка, она их одухотворяет, и тогда я чувствую — это люди из той же плоти и крови, что и я.

— Из той же плоти и крови? Ну, надеюсь, что нет! — воскликнул лорд Генри, разглядывавший в бинокль публику на галерке.

— Не слушайте его, Дориан, — сказал художник. — Я понимаю, что вы хотите сказать, и верю в эту девушку. Если вы ее полюбили, значит, она хороша. И, конечно, девушка, которая так влияет на людей, обладает душой прекрасной и возвышенной. Облагораживать свое поколение — это немалая заслуга. Если ваша избранница способна вдохнуть душу в тех, кто до сих пор существовал без души,

если она будит любовь к прекрасному в людях, чья жизнь грязна и безобразна, заставляет их отрешиться от эгоизма и проливать слезы сострадания к чужому горю,— она достойна вашей любви, и мир должен преклоняться перед ней. Хорошо, что вы женитесь на ней. Я раньше был другого мнения, но теперь вижу, что это хорошо. Сибила Вэйн боги создали для вас. Без нее жизнь ваша была бы неполна.

— Спасибо, Бэзил,— сказал Дориан Грей, пожимая ему руку.— Я знал, что вы меня поймете. А Гарри просто в ужас меня приводит своим цинизмом... Ага, вот и оркестр! Он прескверный, но играет только каких-нибудь пять минут. Потом поднимется занавес, и вы увидите ту, которой я отдам всю жизнь, которой я уже отдал лучшее, что есть во мне.

Через четверть часа на сцену под гром рукоплесканий вышла Сибила Вэйн. Ею и в самом деле можно было залюбоваться, и даже лорд Генри сказал себе, что никогда еще не видывал девушки очаровательнее. В ее застенчивой грации и робком выражении глаз было что-то, напоминавшее молодую лань. Когда она увидела переполнявшую зал восторженную толпу, на щеках ее вспыхнул легкий румянец, как тень розы в серебряном зеркале. Она отступила на несколько шагов, и губы ее дрогнули. Бэзил Холлуорд вскочил и стал аплодировать. Дориан сидел неподвижно, как во сне, и не сводил с нее глаз. А лорд Генри все смотрел в бинокль и бормотал: «Прелесть! Прелесть!»

Сцена представляла зал в доме Капулетти. Вошел Ромео в одежде монаха, с ним Меркуцио и еще несколько приятелей. Снова заиграл скверный оркестр, и начались танцы. В толпе неуклюжих и убого одетых актеров Сибила Вэйн казалась существом из другого, высшего мира. Когда она танцевала, стан ее покачивался, как тростник над водой. Шея изгибом напоминала белоснежную лилию, а руки были словно выточены из слоновой кости.

Однако она оставалась до странности безучастной. Лицо ее не выразило никакой радости, когда она увидела Ромео. И впервые слова Джульетты:

Любезный пилигрим, ты строг чрезмерно  
К своей руке: лишь благочестье в ней.  
Есть руки у святых: их может верно,  
Коснуться пилигрим рукой своей<sup>1</sup>,—

---

<sup>1</sup> Перевод Т. А. Щепкиной-Куперник.

как и последовавшие за ними реплики во время короткого диалога, прозвучали фальшиво. Голос был дивный, но интонации совершенно неверные. И этот неверно взятый тон делал стихи неживыми, выраженное в них чувство — неискренним.

Дориан Грей смотрел, слушал — и лицо его становилось все бледнее. Он был поражен, встревожен. Ни лорд Генри, ни Холлуорд не решались заговорить с ним. Сибила Вэйн казалась им совершенно бездарной, и они были крайне разочарованы.

Понимая, однако, что подлинный пробный камень для всякой актрисы, играющей Джульетту, — это сцена на балконе во втором акте, они выжидали. Если Сибиле и эта сцена не удастся, значит, у нее нет даже искры таланта.

Она была обворожительно хороша, когда появилась на балконе в лунном свете, — этого нельзя было отрицать. Но игра ее была нестерпимо театральна — и чем дальше, тем хуже. Жесты были искусственны до нелепости, произносила она все с преувеличенным пафосом. Великолепный монолог:

Мое лицо под маской ночи скрыто,  
Но все оно пылает от стыда  
За то, что ты подслушал нынче ночью, —

она произнесла с неуклюжей старательностью ученицы, обученной каким-нибудь второразрядным учителем декламации. А когда, наклонясь через перила балкона, дошла до следующих дивных строк:

Нет, не клянись. Хоть радость ты моя,  
Но сговор наш ночной мне не на радость.  
Он слишком скор, внезапен, необдуман,  
Как молния, что исчезает раньше,  
Чем скажем мы: «Вот молния!» О милый,  
Спокойной ночи! Пусть росток любви  
В дыханье теплом лета расцветет  
Цветком прекрасным в миг, когда мы снова  
Увидимся... —

она проговорила их так механически, словно смысл их не дошел до нее. Этого нельзя было объяснить нервным волнением. Напротив, Сибила, казалось, вполне владела собой. Это была попросту очень плохая игра. Видимо, актриса была совершенно бездарна.

Даже некультурная публика задних рядов и галерки утратила всякий интерес к тому, что происходило на сцене. Все зашумели, заговорили громко, слышались даже



свистки. Еврей-антрепренер, стоявший за скамьями балкона, топал ногами и яростно бранился. И только девушка на сцене оставалась ко всему безучастна.

Когда окончилось второе действие, в зале поднялась буря шиканья. Лорд Генри встал и надел пальто.

— Она очень красива, Дориан,— сказал он.— Но играть не умеет. Пойдемте!

— Нет, я досижу до конца,— возразил Дориан резко и с горечью.— Мне очень совестно, что вы из-за меня потеряли вечер, Гарри. Прошу прощения у вас обоих.

— Дорогой мой, мисс Вэйн, наверное, сегодня нездоровя,— перебил его Холлуорд.— Мы придем как-нибудь в другой раз.

— Хотел бы я думать, что она больна,— возразил Дориан.— Но вижу, что она просто холодна и бездушна. Она совершенно изменилась. Вчера еще она была великой артисткой. А сегодня только самая заурядная средняя актриса.

— Не надо так говорить о любимой женщине, Дориан. Любовь выше искусства.

— И любовь и искусство — только формы подражания,— сказал лорд Генри.— Ну, пойдемте, Бэзил. И вам, Дориан, тоже не советую здесь оставаться. Смотреть плохую игру вредно для души... Наконец, вряд ли вы захотите, чтобы ваша жена оставалась актрисой,— так не все ли вам равно, что она играет Джульетту, как деревянная кукла? Она очень мила. И если в жизни она понимает так же мало, как в искусстве, то более близкое знакомство с ней доставит вам много удовольствия. Только два сорта людей по-настоящему интересны — те, кто знает о жизни все решительно, и те, кто ничего о ней не знает... Ради бога, дорогой мой мальчик, не принимайте этого так трагично! Секрет сохранения молодости в том, чтобы избежать волнений, от которых дурнеешь. Поедьте-ка со мной и Бэзилом в клуб! Мы будем курить и пить за Сибилу Вэйн. Она красавица. Чего вам еще?

— Уходите, Гарри,— крикнул Дориан.— Я хочу побыть один. Бэзил, и вы уходите. Неужели вы не видите, что у меня сердце разрывается на части?

К глазам его подступили горячие слезы, губы дрожали. Отойдя в глубь ложи, он прислонился к стене и закрыл лицо руками.

— Пойдем, Бэзил,— промолвил лорд Генри с неожиданной для него теплотой. И оба вышли из ложи.

Через несколько минут снова вспыхнули огни рампы, занавес поднялся, и началось третье действие. Дориан Грей вернулся на свое место. Он был бледен, и на лице его застыло выражение высокомерного равнодушия. Спектакль продолжался; казалось, ему не будет конца. Зал наполовину опустел, люди уходили, стуча тяжелыми башмаками и пересмеиваясь. Провал был полный.

Последнее действие шло почти при пустом зале. Наконец занавес опустился под хихиканье и громкий ропот.

Как только окончился спектакль, Дориан Грей помчался за кулисы. Сибилла стояла одна в своей уборной. Лицо ее светилось торжеством, глаза ярко блестели, от нее словно исходило сияние. Полуоткрытые губы улыбались какой-то одной ей ведомой тайне.

Когда вошел Дориан Грей, она посмотрела на него с невыразимой радостью и воскликнула:

— Как скверно я сегодня играла, Дориан!

— Ужасно! — подтвердил он, глядя на нее в полном недоумении. — Отвратительно! Вы не больны? Вы и представить себе не можете, как это было ужасно и как я страдал!

Девушка все улыбалась.

— Дориан. — Она произнесла его имя певуче и протяжно, упиваясь им, словно оно было слаще меда для алых лепестков ее губ. — Дориан, как же вы не поняли? Но сейчас вы уже понимаете, да?

— Что тут понимать? — спросил он с раздражением.

— Да то, почему я так плохо играла сегодня... И всегда буду плохо играть. Никогда больше не смогу играть так, как прежде.

Дориан пожал плечами.

— Вы, должно быть, заболели. Вам не следовало играть, если вы нездоровы. Ведь вы становитесь посмешищем. Моим друзьям было нестерпимо скучно. Да и мне тоже.

Сибилла, казалось, не слушала его. Она была в каком-то экстазе счастья, совершенно преобразившем ее.

— Дориан, Дориан! — воскликнула она. — Пока я вас не знала, я жила только на сцене. Мне казалось, что это — моя настоящая жизнь. Один вечер я была Розалиндой, другой — Порцией. Радость Беатриче была моей радостью, и страдания Корделии — моими страданиями. Я верила всему. Те жалкие актеры, что играли со мной, казались мне божественными, размалеванные кулисы составляли мой мир. Я жила среди призраков и считала их живыми людьми. Но ты пришел, любимый, и освободил мою душу из плена. Ты

показал мне настоящую жизнь. И сегодня у меня словно открылись глаза. Я увидела всю мишурность, фальшь и нелепость той бутафории, которая меня окружает на сцене. Сегодня вечером я впервые увидела, что Ромео стар, безобразен, накрашен, что лунный свет в саду не настоящий и сад этот — не сад, а убогие декорации. И слова, которые я произносила, были не настоящие, не мои слова, не то, что мне хотелось бы говорить. Благодаря тебе я узнала то, что выше искусства. Я узнала любовь настоящую. Искусство — только ее бледное отражение. О радость моя, мой Прекрасный Принц! Мне надоело жить среди теней. Ты мне дороже, чем все искусство мира. Что мне эти марионетки, которые окружают меня на сцене? Когда я сегодня пришла в театр, я просто удивилась: все сразу стало мне таким чужим! Думала, что буду играть чудесно, — а оказалось, что ничего у меня не выходит. И вдруг я душой поняла, отчего это так, и мне стало радостно. Я слышала в зале шиканье — и только улыбалась. Что они знают о такой любви, как наша? Возьми меня отсюда, Дориан, уведи меня туда, где мы будем совсем одни. Я теперь ненавижу театр. Я могла изображать на сцене любовь, которой не знала, но не могу делать это теперь, когда любовь сжигает меня, как огонь. Ах, Дориан, Дориан, ты меня понимаешь? Ведь мне сейчас играть влюбленную — это профанация! Благодаря тебе я теперь это знаю.

Дориан порывистым движением отвернулся от Сибилы и сел на диван.

— Вы убили мою любовь, — пробормотал он, не поднимая глаз.

Сибилла удивленно посмотрела на него и рассмеялась. Дориан молчал. Она подошла к нему и легко, одними пальчиками коснулась его волос. Потом стала на колени и прильнула губами к его рукам. Но Дориан вздрогнул, отдернул руки. Потом, вскочив с дивана, шагнул к двери.

— Да, да, — крикнул он, — вы убили мою любовь! Раньше вы волновали мое воображение, — теперь вы не вызываете во мне никакого интереса. Вы мне просто безразличны. Я вас полюбил, потому что вы играли чудесно, потому что я видел в вас талант, потому что вы воплощали в жизнь мечты великих поэтов, облакали в живую, реальную форму бесплотные образы искусства. А теперь все это кончено. Вы оказались только пустой и ограниченной женщиной. Боже, как я был глуп!.. Каким безумием была моя любовь к вам! Сейчас вы для меня ничто. Я не хочу вас

больше видеть. Я никогда и не вспомню о вас, имени вашего не произнесу. Если бы вы могли понять, чем вы были для меня... О господи, да я... Нет, об этом и думать больно. Лучше бы я вас никогда не знал! Вы испортили самое прекрасное в моей жизни. Как мало вы знаете о любви, если можете говорить, что она убила в вас артистку! Да ведь без вашего искусства вы — ничто! Я хотел сделать вас великой, знаменитой. Весь мир преклонился бы перед вами, и вы носили бы мое имя. А что вы теперь? Третьеразрядная актриса с хорошеньким личиком.

Сибилла побледнела и вся дрожала. Сжав руки, она прошептала с трудом, словно слова застревали у нее в горле:

— Вы ведь не серьезно это говорите, Дориан? Вы словно играете.

— Играю? Нет, играть я предоставляю вам,— вы это делаете так хорошо! — едко возразил Дориан.

Девушка поднялась с колен и подошла к нему. С трогательным выражением душевной муки она положила ему руку на плечо и заглянула в глаза. Но Дориан оттолкнул ее и крикнул:

— Не трогайте меня!

У Сибилы вырвался глухой стон, и она упала к его ногам. Как затоптанный цветок, лежала она на полу.

— Дориан, Дориан, не покидайте меня! — шептала она с мольбой.— Я так жалею, что плохо играла сегодня. Это оттого, что я все время думала о вас. Я попробую опять... Да, да, я постараюсь... Любовь пришла так неожиданно. Я, наверное, этого и не знала бы, если бы вы меня не поцеловали... если бы мы не поцеловались тогда... Поцелуй меня еще раз, любимый! Не уходи, я этого не переживу... Не бросай меня! Мой брат... Нет, нет, он этого не думал, он просто пошутил... Ох, неужели ты не можешь меня простить? Я буду работать изо всех сил и постараюсь играть лучше. Не будь ко мне жесток, я люблю тебя больше всего на свете. Ведь я только раз не угодила тебе. Ты, конечно, прав, Дориан,— мне не следовало забывать, что я артистка... Это было глупо, но я ничего не могла с собой поделать. Не покидай меня, Дориан, не уходи!..

Захлебываясь бурными слезами, она корчилась на полу, как раненое животное, а Дориан Грей смотрел на нее сверху с усмешкой высокомерного презрения на красиво очерченных губах. В страданиях тех, кого разлюбили, всегда есть что-то смешное. И слова и слезы Сибилы казались Дориану нелепо-мелодраматичными и только раздражали его.

— Ну, я уйду,— сказал он наконец спокойно и громко.— Не хотел бы я быть бессердечным, но я не могу больше встречаться с вами. Вы меня разочаровали.

Сибилла тихо плакала и ничего не отвечала, но подползла ближе. Она, как слепая, протянула вперед руки, словно ища его. Но он отвернулся и вышел. Через несколько минут он был уже на улице.

Он шел, едва сознавая, куда идет. Смутно вспоминалось ему потом, что он бродил по каким-то плохо освещенным улицам мимо домов зловещего вида, под высокими арками, где царил черная тьма. Женщины с резким смехом хриплыми голосами зазывали его. Шатаясь, брели пьяные, похожие на больших обезьян, бормоча что-то про себя или грубо ругаясь. Дориан видел жалких, заморенных детей, прикорнувших на порогах домов, слышал пронзительные крики и брань, доносившиеся из мрачных дворов.

На рассвете он очутился вблизи Ковент-Гардена. Мрак рассеялся, и пронизанное бледными огнями небо сияло над землей, как чудесная жемчужина. По словно отполированному мостовым еще безлюдных улиц медленно громыкали большие телеги, полные лилий, покачивавшихся на длинных стеблях. Воздух был напоен ароматом этих цветов. Прелесть их утоляла душевную муку Дориана. Шагая за возами, он забрел на рынок. Стоял и смотрел, как их разгружали. Один возчик в белом балахоне предложил ему вишен. Дориан поблагодарил и стал рассеянно есть их, удивляясь про себя тому, что возчик отказался взять деньги. Вишни были сорваны в полночь, и от них словно исходила прохлада лунного света. Мимо Дориана прошли длинной вереницей мальчишки с корзинами полосатых тюльпанов и желтых и красных роз, прокладывая себе дорогу между высокими грудками нежно-зеленым овощей. Под портиком, между серыми, залитыми солнцем колоннами, слонялись простоволосые и обтрепанные девицы. Другая группа их теснилась у дверей кафе на Пьяцце. Неповоротливые ломовые лошади спотыкались на неровной мостовой, дребезжали сбруей и колокольцами. Некоторые возчики спали на мешках. Розовоногие голуби с радужными шейками суетились вокруг, клюя рассыпанное зерно.

Наконец Дориан кликнул извозчика и поехал домой. Минуту-другую он постоял в дверях, озирая тихую площадь, окна домов, наглухо закрытые ставнями или пестрыми шторами. Небо теперь было чистейшего опалового цвета, и на его фоне крыши блестели, как серебро. Из трубы соседнего

дома поднималась тонкая струя дыма и лиловой лентой вилась в перламутровом воздухе.

В большом золоченом венецианском фонаре, некогда похищенном, вероятно, с гондолы какого-нибудь дожа и висевшем теперь на потолке в просторном холле с дубовыми панелями, еще горели три газовых рожка, мерцая узкими голубыми лепестками в обрамлении белого огня. Дориан погасил их и, бросив на столик шляпу и плащ, прошел через библиотеку к двери в спальню, большую осьмиугольную комнату в первом этаже, которую он, в своем новом увлечении роскошью, недавно отделал заново и увешал стены редкими гобеленами времен Ренессанса, найденными на чердаке его дома в Селби. В ту минуту, когда он уже взялся за ручку двери, взгляд его упал на портрет, написанный Бэзиллом Холлуордом. Дориан вздрогнул и отступил, словно чем-то пораженный, затем вошел в спальню. Однако, вынув бутоньерку из петлицы, он остановился в нерешительности — что-то его, видимо, смущало. В конце концов он вернулся в библиотеку и, подойдя к своему портрету, долго всматривался в него. При слабом свете, затененном желтыми шелковыми шторами, лицо на портрете показалось ему изменившимся. Выражение было какое-то другое, — в складке рта чувствовалась жестокость. Как странно!

Отвернувшись от портрета, Дориан подошел к окну и раздвинул шторы. Яркий утренний свет залил комнату и разогнал причудливые тени, прятавшиеся по сумрачным углам. Однако в лице портрета по-прежнему заметна была какая-то странная перемена, она даже стала явственнее. В скользивших по полотну ярких лучах солнца складка жестокости у рта видна была так отчетливо, словно Дориан смотрелся в зеркало после какого-то совершенного им преступления.

Он вздрогнул и, торопливо взяв со стола овальное ручное зеркало в украшенной купидонами рамке слоновой кости (один из многочисленных подарков лорда Генри), погляделся в него. Нет, его алые губы не безобразила такая складка, как на портрете. Что же это могло значить?

Дориан протер глаза и, подойдя к портрету вплотную, снова стал внимательно рассматривать его. Краска, несомненно, была нетронута, никаких следов подрисовки. А между тем выражение лица явно изменилось. Нет, это ему не почудилось — страшная перемена бросалась в глаза.

Сев в кресло, Дориан усиленно размышлял. И вдруг в его памяти всплыли слова, сказанные им в мастерской

Бэзила Холлуорда в тот день, когда портрет был окончен. Да, он их отлично помнил. Он тогда высказал безумное желание, чтобы портрет старел вместо него, а он оставался вечно молодым, чтобы его красота не поблекла, а печать страстей и пороков ложилась на лицо портрета. Да, он хотел, чтобы следы страданий и тяжелых дум бороздили лишь его изображение на полотне, а сам он сохранил весь нежный цвет и прелесть своей, тогда еще впервые осознанной, юности. Неужели его желание исполнилось? Нет, таких чудес не бывает! Страшно даже и думать об этом. А между тем — вот перед ним его портрет со складкой жестокости у губ.

Жестокость? Разве он поступил жестоко? Виноват во всем не он, виновата Сибилла. Он воображал ее великой артисткой и за это полюбил. А она его разочаровала. Она оказалась ничтожеством, недостойным его любви. Однако сейчас он с безграничной жалостью вспомнил ту минуту, когда она лежала у его ног и плакала, как ребенок, вспомнил, с каким черствым равнодушием смотрел тогда на нее. Зачем он так создан, зачем ему дана такая душа?..

Однако разве и он не страдал? За те ужасные три часа, пока шел спектакль, он пережил столетия терзаний, вечность мук. Его жизнь, уж во всяком случае, равноценна ее жизни. Пусть он ранил Сибиллу навек — но и она на время омрачила его жизнь. Притом женщины переносят горе легче, чем мужчины, так уж они созданы! Они живут одними чувствами, только ими и заняты. Они и любовников заводят лишь для того, чтобы было кому устраивать сцены. Так говорит лорд Генри, а лорд Генри знает женщин.

К чему же тревожить себя мыслями о Сибилле Вэйн? Ведь она больше для него не существует.

Ну а портрет? Как тут быть? Портрет хранит тайну его жизни и может всем ее поведать. Портрет научил его любить собственную красоту, — неужели тот же портрет заставит его возненавидеть собственную душу? Как ему и смотреть теперь на это полотно?

Нет, нет, все это только обман чувств, вызванный душевным смятением. Он пережил ужасную ночь — вот ему и мерещится что-то. В мозгу его появилось то багровое пятнышко, которое делает человека безумным. Портрет ничуть не изменился, и воображать это — просто сумасшествие.

Но человек на портрете смотрел на него с жестокой усмешкой, портившей прекрасное лицо. Золотистые волосы сияли в лучах утреннего солнца, голубые глаза встречались

с глазами живого Дориана. Чувство беспредельной жалости проснулось в сердце Дориана — жалости не к себе, а к своему портрету. Человек на полотне уже изменился и будет меняться все больше! Потускнеет золото кудрей и сменится сединой. Увянут белые и алые розы юного лица. Каждый грех, совершенный им, Дорианом, будет ложиться пятном на портрет, портя его красоту...

Нет, нет, он не станет больше грешить! Будет ли портрет меняться или нет, — все равно этот портрет станет как бы его совестью. Надо отныне бороться с искушениями. И больше не встречаться с лордом Генри — или, по крайней мере, не слушать его опасных, как тонкий яд, речей, которые когда-то в саду Бэзила Холлуорда впервые пробудили в нем, Дориане, жажду невозможного.

И Дориан решил вернуться к Сибиле Вэйн, загладить свою вину. Он женится на Сибиле и постарается снова полюбить ее. Да, это его долг. Она, наверное, сильно страдала, больше, чем он. Бедняжка! Он поступил с ней, как бессердечный эгоист. Любовь вернется, они будут счастливы. Жизнь его с Сибилей будет чиста и прекрасна.

Он встал с кресла и, с содроганием взглянув последний раз на портрет, заслонил его высоким экраном.

— Какой ужас! — пробормотал он про себя и, подойдя к окну, распахнул его.

Он вышел в сад, на лужайку, и жадно вдохнул всей грудью свежий утренний воздух. Казалось, ясное утро рассеяло все темные страсти, и Дориан думал теперь только о Сибиле. В сердце своем он слышал слабый отзвук прежней любви. Он без конца твердил имя возлюбленной. И птицы, заливавшиеся в росистом саду, как будто рассказывали о ней цветам.

## ГЛАВА VIII

Когда Дориан проснулся, было далеко за полдень. Его слуга уже несколько раз на цыпочках входил в спальню — посмотреть, не зашевелился ли молодой хозяин, и удивлялся тому, что он сегодня спит так долго. Наконец из спальни раздался звонок, и Виктор, бесшумно ступая, вошел туда с чашкой чаю и целой пачкой писем на подносе старого северского фарфора. Он раздвинул зеленые шелковые портьеры на блестящей синей подкладке, закрывавшие три высоких окна.



— Вы сегодня хорошо выспались, мосье,— сказал он с улыбкой.

— А который час, Виктор? — сонно спросил Дориан.

— Четверть второго, мосье.

— Ого, как поздно! — Дориан сел в постели и, попивая чай, стал разбирать письма. Одно было от лорда Генри, его принес посыльный сегодня утром. После минутного колебания Дориан отложил его в сторону и бегло просмотрел остальные письма. Это были, как всегда, приглашения на обеды, билеты на закрытые вернисажи, программы благотворительных концертов и так далее — обычная корреспонденция, которой засыпают светского молодого человека в разгаре сезона. Был здесь и счет на довольно крупную сумму — за туалетный прибор чеканного серебра в стиле Людовика Пятнадцатого (счет этот Дориан не решился послать своим опекунам, людям старого закала, крайне отсталым, которые не понимали, что в наш век только бесполезные вещи и необходимы человеку), было и несколько писем от ростовщиков с Джермин-стрит, в весьма учтивых выражениях предлагавших ссудить какую угодно сумму по первому требованию и за самые умеренные проценты.

Минут через десять Дориан встал и, накинув элегантный кашемировый халат, расшитый шелком, прошел в облицованную ониксом ванную комнату. После долгого сна холодная вода очень освежила его. Он, казалось, уже забыл обо всем, пережитом вчера. Только раз-другой мелькнуло воспоминание, что он был участником какой-то необычайной драмы, но вспоминалось это смутно, как сон.

Одевшись, он прошел в библиотеку и сел за круглый столик у раскрытого окна, где для него был приготовлен легкий завтрак на французский манер. День стоял чудесный. Теплый воздух был насыщен пряными ароматами. В комнату влетела пчела и, жужжа, кружила над стоявшей перед Дорианом синей китайской вазой с желтыми розами. И Дориан чувствовал себя совершенно счастливым.

Но вдруг взгляд его остановился на экране, которым он накануне заслонил портрет,— и он вздрогнул.

— Мосье холодно? — спросил лакей, подававший ему в эту минуту омлет.— Не закрыть ли окно?

Дориан покачал головой.

— Нет, мне не холодно.

Так неужели же все это было на самом деле? И портрет действительно изменился? Или это игра расстроенного воображения, и ему просто показалось, что злобное

выражение сменило радостную улыбку на лице портрета? Ведь не могут же меняться краски на полотне! Какой вздор! **Надо** будет как-нибудь рассказать Бэзилу — это его изрядно позабавит!

Однако как живо помнится все! Сначала в полумраке, потом в ярком свете утра он увидел ее, эту черту жестокости, искривившую рот. И сейчас он чуть не со страхом ждал той минуты, когда лакей уйдет из комнаты. Он знал, что, оставшись один, не выдержит, непременно примется снова рассматривать портрет. И боялся узнать правду.

Когда лакей, подав кофе и папиросы, шагнул к двери, Дориану страстно захотелось остановить его. И не успела еще дверь захлопнуться, как он вернул Виктора. Лакей стоял, ожидая приказаний. Дориан с минуту смотрел на него молча.

— Кто бы ни пришел, меня нет дома, Виктор, — сказал он наконец со вздохом. Лакей поклонился и вышел.

Тогда Дориан встал из-за стола, закурил папиросу и растянулся на кушетке против экрана, скрывавшего портрет. Экран был старинный, из позолоченной испанской кожи с тисненым, пестро раскрашенным узором в стиле Людовика Четырнадцатого. Дориан пристально всматривался в него, спрашивая себя, доводилось ли этому экрану когда-нибудь прежде скрывать тайну человеческой жизни.

Что же — отодвинуть его? А не лучше ли оставить на месте? Зачем узнавать? Будет ужасно, если все окажется правдой. А если нет, — так незачем и беспокоиться.

Ну а если по роковой случайности чей-либо посторонний глаз заглянет за этот экран и увидит страшную перемену? Как быть, если Бэзил Холлуорд придет и захочет взглянуть на свою работу? А Бэзил непременно захочет... Нет, портрет во что бы то ни стало надо рассмотреть еще раз — и немедленно. Нет ничего тягостнее мучительной неизвестности.

Дориан встал и запер на ключ обе двери. Он хотел, по крайней мере, быть один, когда увидит свой позор! Он отодвинул в сторону экран и стоял теперь лицом к лицу с самим собой.

Да, сомнений быть не могло: портрет изменился.

Позднее Дориан часто, — и всякий раз с немалым удивлением — вспоминал, что в первые минуты от смотрел на портрет с почти объективным интересом. Казалось невероятным, что такая перемена может произойти, — а между тем она была налицо. Неужели же есть какое-то непостижимое сродство между его душой и химическими атомами, образующими на полотне формы и краски? Воз-

можно ли, что эти атомы отражают на полотне все движения души, делают ее сны явью? Или тут кроется иная, еще более страшная причина?

Задрожав при этой мысли, Дориан отошел и снова лег на кушетку. Отсюда он с ужасом, не отрываясь, смотрел на портрет.

Утешало его только сознание, что кое-чему портрет уже научил его. Он помог ему понять, как несправедлив, как жесток он был к Сибиле Вэйн. Исправить это еще не поздно. Сибила станет его женой. Его эгоистичная и, быть может, надуманная любовь под ее влиянием преобразится в чувство более благородное, и портрет, написанный Бэзиллом, всегда будет указывать ему путь в жизни, руководить им, как одними руководит добродетель, другими — совесть и всеми людьми — страх перед богом. В жизни существуют наркотики против угрызений совести, средства, усыпляющие нравственное чутье. Но здесь перед его глазами — видимый символ разложения, наглядные последствия греха. И всегда будет перед ним это доказательство, что человек способен погубить собственную душу.

Пробило три часа, четыре. Прошло еще полчаса, а Дориан не двигался с места. Он пытался собрать воедино алые нити жизни, соткать из них какой-то узор, отыскать свой путь в багровом лабиринте страстей, где он блуждал. Он не знал, что думать, что делать. Наконец он подошел к столу и стал писать пылкое письмо любимой девушке, в котором молил о прощении и называл себя безумцем. Страницу за страницей исписывал он словами страстного раскаяния и еще более страстной муки. В самобичевании есть своего рода сладострастие. И когда мы сами себя виним, мы чувствуем, что никто другой не вправе более винить нас. Отпущение грехов дает нам не священник, а сама исповедь. Написав это письмо Сибиле, Дориан уже чувствовал себя прощенным.

Неожиданно постучали в дверь, и он услышал голос лорда Генри.

— Дориан, мне необходимо вас увидеть. Впустите меня сейчас же! Что это вы вздумали запираиться?

Дориан сначала не отвечал и не трогался с места. Но стук повторился, еще громче и настойчивее. Он решил, что, пожалуй, лучше впустить лорда Генри. Надо объяснить ему, что он, Дориан, отныне начнет новую жизнь. Он не остановится и перед ссорой с Гарри или даже перед окончательным разрывом, если это окажется неизбежным.

Он вскочил, поспешно закрыл портрет экраном и только после этого отпер дверь.

— Ужасно все это неприятно, Дориан,— сказал лорд Генри, как только вошел.— Но вы старайтесь поменьше думать о том, что случилось.

— Вы хотите сказать — о Сибиле Вэйн? — спросил Дориан.

— Да, конечно.— Лорд Генри сел и стал медленно снимать желтые перчатки.— Вообще говоря, это ужасно, но вы не виноваты. Скажите... вы после спектакля ходили к ней за кулисы?

— Да.

— Я так и думал. И вы поссорились?

— Я был жесток, Гарри, бесчеловечно жесток! Но сейчас все уже в порядке. Я не жалею о том, что произошло,— это помогло мне лучше узнать самого себя.

— Я очень, очень рад, Дориан, что вы так отнеслись к этому. Я боялся, что вы терзаетесь угрызениями совести и в отчаянии рвете на себе свои золотые кудри.

— Через все это я уже прошел,— отозвался Дориан, с улыбкой потрянув головой.— И сейчас я совершенно счастлив. Во-первых, я понял, что такое совесть. Это вовсе не то, что вы говорили, Гарри. Она — самое божественное в нас. И вы не смейтесь больше над этим — по крайней мере, при мне. Я хочу быть человеком с чистой совестью. Я не могу допустить, чтобы душа моя стала уродливой.

— Какая прекрасная эстетическая основа нравственности, Дориан! Поздравляю вас. А с чего же вы намерены начать?

— С женитьбы на Сибиле Вэйн.

— На Сибиле Вэйн! — воскликнул лорд Генри, вставая и в величайшем удивлении и замешательстве глядя на Дориана.— Дорогой мой, но она...

— Ах, Гарри, знаю, что вы хотите сказать: какую-нибудь гадость о браке. Не надо! Никогда больше не говорите мне таких вещей. Два дня тому назад я просил Сибилу быть моей женой. И я своего слова не нарушу. Она будет моей женой.

— Вашей женой? Дориан! Да разве вы не получили моего письма? Я его написал сегодня утром, и мой слуга отнес его вам.

— Письмо? Ах да... Я его еще не читал, Гарри. Боялся найти в нем что-нибудь такое, что мне будет не по душе. Вы своими эпиграммами кромсаете жизнь на куски.

— Так вы ничего еще не знаете?

— О чем?

Лорд Генри прошелся по комнате, затем, сев рядом с Дорианом, крепко сжал его руки в своих.

— Дориан, в письме я... не пугайтесь... я вам сообщал, что Сибила Вэйн... умерла.

Горестный крик вырвался у Дориана. Он вскочил и высвободил руки из рук лорда Генри.

— Умерла! Сибила умерла! Неправда! Это ужасная ложь! Как вы смеете лгать мне!

— Это правда, Дориан,— сказал лорд Генри серьезно.— Об этом сообщают сегодня все газеты. Я вам писал, чтобы вы до моего прихода никого не принимали. Наверное, будет следствие, и надо постараться, чтобы вы не были замешаны в этой истории. В Париже подобные истории создают человеку известность, но в Лондоне у людей еще так много предрассудков. Здесь никак не следует начинать свою карьеру со скандала. Скандалы приберегают на старость, когда бывает нужно подогреть интерес к себе. Надеюсь, в театре не знали, кто вы такой? Если нет, тогда все в порядке. Видел кто-нибудь, как вы входили в уборную Сибилы? Это очень важно.

Дориан некоторое время не отвечал — он обомлел от ужаса. Наконец пробормотал, запинаясь, сдавленным голосом:

— Вы сказали — следствие? Что это значит? Разве Сибила... Ох, Гарри, я этого не вынесу!.. Отвечайте скорее! Скажите мне все!

— Не приходится сомневаться, Дориан, что это не просто несчастный случай, но надо, чтобы публика так думала. А рассказывают вот что: когда девушка в тот вечер уходила с матерью из театра — кажется, около половины первого, она вдруг сказала, что забыла что-то наверху. Ее некоторое время ждали, но она не возвращалась. В конце концов ее нашли мертвой на полу в уборной. Она по ошибке проглотила какое-то ядовитое средство, которое употребляют в театре для гримировки. Не помню, что именно, но в него входит не то синильная кислота, не то свинцовые белила. Вернее всего, синильная кислота, так как смерть наступила мгновенно.

— Боже, боже, какой ужас! — простонал Дориан.

— Да... Это поистине трагедия, но нельзя, чтобы вы оказались в нее замешанным... Я читал в «Стандарде», что Сибиле Вэйн было семнадцать лет. А на вид ей можно было

дать еще меньше. Она казалась совсем девочкой, притом играла еще так неумело. Дориан, не принимайте этого близко к сердцу! Непременно поезжайте со мной обедать, а потом мы с вами заглянем в оперу. Сегодня поет Патти, и весь свет будет в театре. Мы зайдём в ложу моей сестры. Сегодня с нею приедут несколько эффектных женщин.

— Значит, я убил Сибилу Вэйн,— сказал Дориан Грей словно про себя.— Все равно что перерезал ей ножом горло. И, несмотря на это, розы все так же прекрасны, птицы все так же весело поют в моем саду. А сегодня вечером я обедаю с вами и поеду в оперу, потом куда-нибудь ужинать... Как необычайна и трагична жизнь! Прочти я все это в книге, Гарри, я, верно, заплакал бы. А сейчас, когда это случилось на самом деле, и случилось со мной, я так потрясен, что и слез нет. Вот лежит написанное мною страстное любовное письмо, первое в жизни любовное письмо. Не странно ли, что это первое письмо я писал мертвой? Хотел бы я знать, чувствуют они что-нибудь, эти безмолвные, бледные люди, которых мы называем мертвецами? Сибил!.. Знает ли она все, может ли меня слышать, чувствовать что-нибудь? Ах, Гарри, как я ее любил когда-то! Мне кажется сейчас, что это было много лет назад. Тогда она была для меня всем на свете. Потом наступил этот страшный вечер,— неужели он был только вчера? — когда она играла так скверно, что у меня сердце чуть не разорвалось. Она мне потом все объяснила. Это было так трогательно... но меня ничуть не тронуло, и я назвал ее глупой. Потом случилось кое-что... не могу вам рассказать что, но это было страшно. И я решил вернуться к Сибиле. Я понял, что поступил дурно... А теперь она умерла... Боже, боже! Гарри, что мне делать? Вы не знаете, в какой я опасности! И теперь некому удержать меня от падения. Она могла бы сделать это. Она не имела права убивать себя. Это эгоистично!

— Милый Дориан,— отозвался лорд Генри, доставая папиросу из портсигара.— Женщина может сделать мужчину праведником только одним способом: надоесть ему так, что он утратит всякий интерес к жизни. Если бы вы женились на этой девушке, вы были бы несчастны. Разумеется, вы обращались бы с ней хорошо,— это всегда легко, если человек тебе безразличен. Но она скоро поняла бы, что вы ее больше не любите. А когда женщина почувствует, что ее муж равнодушен к ней, она начинает одеваться слишком кричаще и безвкусно или у нее появляются очень нарядные шляпки, за которые платит чужой муж. Не говоря уже об унижитель-

ности такого неравного брака, который я постарался бы не допустить, — я вас уверяю, что при всех обстоятельствах ваш брак с этой девушкой был бы крайне неудачен.

— Пожалуй, вы правы, — пробормотал Дориан. Он был мертвенно-бледен и спокойно шагал из угла в угол. — Но я считал, что обязан жениться. И не моя вина, если эта страшная драма помешала мне выполнить долг. Вы как-то сказали, что над благими решениями тяготеет злой рок: они всегда принимаются слишком поздно. Так случилось и со мной.

— Благие намерения — попросту бесплодные попытки идти против природы. Порождены они бывают всегда чистейшим самомнением, и ничего ровно из этих попыток не выходит. Они только дают нам иногда блаженные, но пустые ощущения, которые тешат людей слабых. Вот и все. Благие намерения — это чеки, которые люди выписывают на банк, где у них нет текущего счета.

— Гарри, — воскликнул Дориан Грей, подходя и садясь рядом с лордом Генри. — Почему я страдаю не так сильно, как хотел бы? Неужели у меня нет сердца? Как вы думаете?

— Назвать вас человеком без сердца никак нельзя после всех безумств, которые вы натворили за последние две недели, — ответил лорд Генри, ласково и меланхолически улыбаясь.

Дориан нахмурил брови.

— Мне не нравится такое объяснение, Гарри. Но я рад, что вы меня не считаете бесчувственным. Я не такой, знаю, что не такой! И все же — то, что случилось, не подействовало на меня так, как должно было бы подействовать. Оно для меня — как бы необычайная развязка какой-то удивительной пьесы. В нем — жуткая красота греческой трагедии, трагедии, в которой я сыграл видную роль, но которая не ранила моей души.

— Это любопытное обстоятельство, — сказал лорд Генри. Ему доставляло острое наслаждение играть на бессознательном эгоизме юноши. — Да, очень любопытное. И, думаю, объяснить это можно вот так: частенько подлинные трагедии в жизни принимают такую неэстетическую форму, что оскорбляют нас своим грубым неистовством, крайней нелогичностью и бессмысленностью, полным отсутствием изящества. Они нам претят, как все вульгарное. Мы чуем в них одну лишь грубую животную силу и встаем против нее. Но случается, что мы в жизни наталкиваемся на драму, в которой есть элементы художественной красоты. Если

красота эта — подлинная, то драматизм события нас захватывает. И мы неожиданно замечаем, что мы уже более не действующие лица, а только зрители этой трагедии. Или, вернее, то и другое вместе. Мы наблюдаем самих себя, и самая необычайность такого зрелища нас увлекает. Что, в сущности, произошло? Девушка покончила с собой из-за любви к вам. Жалею, что в моей жизни не было ничего подобного. Я тогда поверил бы в любовь и вечно преклонялся бы перед ценою. Но все, кто любил меня, — таких было не очень много, но они были, — упорно жили и здравствовали еще много лет после того, как я разлюбил их, а они — меня. Эти женщины растолстели, стали скучны и несносны. Когда мы встречаемся, они сразу же ударяются в воспоминания. Ах, эта ужасающая женская память, что за наказание! И какую косность, какой душевный застой она обличает! Человек должен вбирать в себя краски жизни, но никогда не помнить деталей. Детали всегда банальны.

— Придется посеять маки в моем саду, — со вздохом промолвил Дорриан.

— В этом нет необходимости, — возразил его собеседник. — У жизни маки для нас всегда наготове. Правда, порой мы долго не можем забыть. Я когда-то в течение целого сезона носил в петлице только фиалки — это было нечто вроде траура по любви, которая не хотела умирать. Но в конце концов она умерла. Не помню, что ее убило. Вероятно, обещание любимой женщины пожертвовать для меня всем на свете. Это всегда страшная минута: она внушает человеку страх перед вечностью. Так вот, можете себе представить, — на прошлой неделе на обеде у леди Хэмпшайр моей соседкой за столом оказалась эта самая дама, и она во что бы то ни стало хотела начать все сначала, раскопать прошлое и расчистить дорогу будущему. Я похоронил этот роман в могиле под асфоделями, а она снова вытащила его на свет божий и уверяла меня, что я разбил ей жизнь. Должен констатировать, что за обедом она уписывала все с чудовищным аппетитом, так что я за нее ничуть не тревожусь. Но какова бестактность! Какое отсутствие вкуса! Ведь вся прелесть прошлого в том, что оно — прошлое. А женщины никогда не замечают, что занавес опустился. Им непременно подавай шестой акт! Они желают продолжать спектакль, когда всякий интерес к нему уже пропал. Если бы дать им волю, каждая комедия имела бы трагическую развязку, а каждая трагедия перешла бы в фарс. Женщины в жизни — прекрасные актрисы, но у них нет никакого



артистического чутья. Вы оказались счастливее меня, Дориан. Клянусь вам, ни одна из женщин, с которыми я был близок, не сделала бы из-за меня того, что сделала из-за вас Сибила Вэйн. Обыкновенные женщины всегда утешаются. Одни — тем, что носят сентиментальные цвета. Не доверяйте женщине, которая, не считаясь со своим возрастом, носит платья цвета mauve<sup>1</sup> или в тридцать пять лет питает пристрастие к розовым лентам: это, несомненно, женщина с прошлым. Другие неожиданно открывают всякие достоинства в своих законных мужьях — и это служит им великим утешением. Они выставляют напоказ свое супружеское счастье, как будто оно — самый соблазнительный адюльтер. Некоторые ищут утешения в религии. Таинства религии имеют для них всю прелесть флирта — так мне когда-то сказала одна женщина, и я этому охотно верю. Кроме того, ничто так не льстит женскому тщеславию, как репутация грешницы. Совесть делает всех нас эгоистами... Да, да, счету нет утешениям, которые находят себе женщины в наше время. А я не упомянул еще о самом главном...

— О чем, Гарри? — спросил Дориан рассеянно.

— Ну, как же! Самое верное утешение — отбить поклонника у другой, когда теряешь своего. В высшем свете это всегда реабилитирует женщину. Подумайте, Дориан, как непохожа была Сибила Вэйн на тех женщин, каких мы встречаем в жизни! В ее смерти есть что-то удивительно прекрасное. Я рад, что живу в эпоху, когда бывают такие чудеса. Они вселяют в нас веру в существование настоящей любви, страсти, романтических чувств, над которыми мы привыкли только подсмеиваться.

— Я был страшно жесток с ней. Это вы забываете.

— Пожалуй, жестокость, откровенная жестокость женщинам милее всего: в них удивительно сильны первобытные инстинкты. Мы им дали свободу, а они все равно остались рабынями, ищущими себе господина. Они любят покоряться... Я уверен, что вы были великолепны. Никогда не видел вас в сильном гневе, но представляю себе, как вы были интересны! И, наконец, позавчера вы мне сказали одну вещь... тогда я подумал, что это просто ваша фантазия, а сейчас вижу, что вы были абсолютно правы, и этим все объясняется.

— Что я сказал, Гарри?

— Что в Сибиле Вэйн вы видите всех романтических

---

<sup>1</sup> Розовато-лиловый (фр.).

героинь. Один вечер она — Дездемона, другой — Офелия, и, умирая Джульеттой, воскресает в образе Имоджены.

— Теперь она уже не воскреснет,— прошептал Дориан, закрывая лицо руками.

— Нет, не воскреснет. Она сыграла свою последнюю роль. Но пусть ее одинокая смерть в жалкой театральной уборной представляется вам как бы необычайным и мрачным отрывком из какой-нибудь трагедии семнадцатого века или сценой из Уэбстера, Форда или Сирила Тернера. Эта девушка, в сущности, не жила — и, значит, не умерла. Для вас, во всяком случае, она была только грезой, видением, промелькнувшим в пьесах Шекспира и сделавшим их еще прекраснее, она была свирелью, придававшей музыке Шекспира еще больше очарования и жизнерадостности. При первом же столкновении с действительной жизнью она была ранена и ушла из мира. Оплакивайте же Офелию, если хотите. Посыпайте голову пеплом, горюя о задушенной Корделии. Кляните небеса за то, что погибла дочь Бранбанцио. Но не лейте напрасно слез о Сибиле Вэйн. Она была еще менее реальна, чем они все.

Наступило молчание. Вечерний сумрак окутал комнату. Бесшумно вползли из сада сереброногие тени. Медленно выцветали все краски.

Немного погодя Дориан Грей поднял глаза.

— Вы мне помогли понять себя, Гарри,— сказал он тихо, со вздохом, в котором чувствовалось облегчение. — Мне и самому так казалось, но меня это как-то пугало, и я не все умел себе объяснить. Как хорошо вы меня знаете! Но не будем больше говорить о случившемся. Это было удивительное переживание — вот и все. Не знаю, суждено ли мне в жизни испытать еще что-нибудь столь же необыкновенное.

— У вас все впереди, Дориан. При такой красоте для вас нет ничего невозможного.

— А если я стану изможденным, старым, сморщенным? Что тогда?

— Ну, тогда,— лорд Генри встал, собираясь уходить. — Тогда, мой милый, вам придется бороться за каждую победу, а сейчас они сами плывут к вам в руки. Нет, нет, вы должны беречь свою красоту. Она нам нужна. В наш век люди слишком много читают, это мешает им быть мудрыми, и слишком много думают, а это мешает им быть красивыми. Ну, однако, вам пора одеваться и ехать в клуб. Мы и так уже опаздываем.

— Лучше я приеду прямо в оперу, Гарри. Я так устал, что мне не хочется есть. Какой номер ложи вашей сестры?

— Кажется, двадцать семь. Она в бельэтаже, и на дверях вы прочтете фамилию сестры. Но очень жаль, Дориан, что вы не хотите со мной пообедать.

— Право, я не в силах,— сказал Дориан устало. — Я вам очень, очень признателен, Гарри, за все, что вы сказали. Знаю, что у меня нет друга вернее. Никто не понимает меня так, как вы.

— И это еще только начало нашей дружбы,— подхватил лорд Генри, пожимая ему руку. — До свиданья. Надеюсь увидеть вас не позднее половины десятого. Помните — поэт Патти.

Когда лорд Генри вышел и закрыл за собой дверь, Дориан позвонил, и через несколько минут появился Виктор. Он принес лампы и опустил шторы. Дориан с нетерпением дожидался его ухода. Ему казалось, что слуга сегодня бесконечно долго копаются.

Как только Виктор ушел, Дориан Грей подбежал к экрану и отодвинул его. Никаких новых перемен в портрете не произошло. Видно, весть о смерти Сибилы Вэйн дошла до него раньше, чем узнал о ней он, Дориан. Этот портрет узнавал о событиях его жизни, как только они происходили. И злобная жестокость исказила красивый рот в тот самый миг, когда девушка выпила яд. Или, может быть, на портрете отражаются не деяния живого Дориана Грея, а только то, что происходит в его душе? Размышляя об этом, Дориан Грей спрашивал себя: а что, если в один прекрасный день портрет изменится у него на глазах? Он и желал этого, и содрогался при одной мысли об этом.

Бедная Сибил! Как все это романтично! Она часто изображала смерть на сцене, и вот Смерть пришла и унесла ее. Как сыграла Сибил! эту последнюю страшную сцену? Проклинала его, умирая? Нет, она умерла от любви к нему, и отныне Любовь будет всегда для него святыней. Сибил! отдав жизнь, все этим искупила. Он не станет больше вспоминать, сколько он из-за нее выстрадал в тот ужасный вечер в театре. Она останется в его памяти как дивный трагический образ, посланный на великую арену жизни, чтобы явить миру высшую сущность Любви. Дивный трагический образ? При воспоминании о детском личике Сибилы, о ее пленительной живости и застенчивой грации Дориан почувствовал на глазах слезы. Он торопливо смахнул их и снова посмотрел на портрет.

Он говорил себе, что настало время сделать выбор. Или выбор уже сделан? Да, сама жизнь решила за него — жизнь и его безграничный интерес к ней. Вечная молодость, неутолимая страсть, наслаждения утонченные и запретные, безумие счастья и еще более иступленное безумие греха — все будет ему дано, все он должен изведать! А портрет пусть несет бремя его позора — вот и все.

На миг он ощутил боль в сердце при мысли, что прекрасное лицо на портрете будет обезображено. Как-то раз он, дурашливо подражая Нарциссу, поцеловал — вернее, сделал вид, что целует эти нарисованные губы, которые сейчас так зло усмехались ему. Каждое утро он подолгу простаивал перед портретом, любясь им. Иногда он чувствовал, что почти влюблен в него. И неужели же теперь каждая слабость, которой он, Дориан, поддается, будет отражаться на этом портрете? Неужели он станет чудовищно безобразным и его придется прятать под замок, вдали от солнца, которое так часто золотило его чудесные кудри? Как жаль! Как жаль!

Одну минуту Дориану Грею хотелось помолиться о том, чтобы исчезла эта сверхъестественная связь между ним и портретом. Перемена в портрете возникла потому, что он когда-то пожелал этого, — так, быть может, после новой молитвы портрет перестанет меняться?

Но... Разве человек, хоть немного узнавший жизнь, откажется от возможности остаться вечно молодым, как бы ни была эфемерна эта возможность и какими бы роковыми последствиями она ни грозила? Притом — разве это действительно в его власти? Разве и в самом деле его мольба вызвала такую перемену? Не объясняется ли эта перемена какими-то неведомыми законами науки? Если мысль способна влиять на живой организм, так, быть может, она оказывает действие и на мертвые, неодушевленные предметы? Более того, даже без участия нашей мысли или сознательной воли не может ли то, что вне нас, звучать в унисон с нашими настроениями и чувствами, и атом — стремиться к атому под влиянием какого-то таинственного тяготения или удивительного сродства?.. Впрочем, не все ли равно, какова причина? Никогда больше он не станет призывать на помощь какие-то страшные, неведомые силы. Если портрету суждено меняться, пусть меняется. Зачем так глубоко в это вдумываться?

Ведь наблюдать этот процесс будет истинным наслаждением! Портрет даст ему возможность изучать самые

сокровенные свои помыслы. Портрет станет для него волшебным зеркалом. В этом зеркале он когда-то впервые по-настоящему увидел свое лицо, а теперь увидит свою душу. И когда для его двойника на полотне наступит зима, он, живой Дориан Грей, будет все еще оставаться на волнуяще-прекрасной грани весны и лета. Когда с лица на портрете сойдут краски и оно станет мертвенной меловой маской с оловянными глазами, лицо живого Дориана будет по-прежнему сохранять весь блеск юности. Да, цвет его красоты не увянет, пульс жизни никогда не ослабнет. Подобно греческим богам, он будет вечно сильным, быстроногим и жизнерадостным. Не все ли равно, что станется с его портретом? Самому-то ему ничто не угрожает, а только это и важно.

Дориан Грей, улыбаясь, поставил экран на прежнее место перед портретом и пошел в спальню, где его ждал камердинер. Через час он был уже в опере, и лорд Генри сидел позади, облокотясь на его кресло.

## ГЛАВА IX

На другое утро, когда Дориан сидел за завтраком, пришел Бэзил Холлуорд.

— Я очень рад, что застал вас, Дориан, — сказал он серьезным тоном. — Я заходил вчера вечером, но мне сказали, что вы в опере. Разумеется, я не поверил и жалел, что не знаю, где вы находитесь. Я весь вечер ужасно тревожился и, признаться, даже боялся, как бы за одним несчастьем не последовало второе. Вам надо было вызвать меня телеграммой, как только вы узнали... Я прочел об этом случайно в вечернем выпуске «Глоба», который попался мне под руку в клубе... Тотчас поспешил к вам, да, к моему великому огорчению, не застал вас дома. И сказать вам не могу, до чего меня потрясло это несчастье! Понимаю, как вам тяжело... А где вы вчера были? Вероятно, ездили к матери? В первую минуту я хотел поехать туда вслед за вами — адрес я узнал из газеты. Это, помнится, где-то на Юстон-Род? Но я побоялся, что буду там лишний, — чем можно облегчить такое горе? Несчастливая мать! Воображаю, в каком она состоянии! Ведь это ее единственная дочь? Что она говорила?

— Мой милый Бэзил, откуда мне знать? — процедил Дориан Грей с недовольным и скучающим видом, потягивая желтоватое вино из красивого, усеянного золотыми бусинками венецианского бокала. — Я был в опере. Напрасно и вы

туда не приехали. Я познакомился вчера с сестрой Гарри, леди Гвендолен, мы сидели у нее в ложе. Обворожительная женщина! И Патти пела божественно. Не будем говорить о неприятном. О чем не говоришь, того как будто и не было. Вот и Гарри всегда твердит, что только слова придают реальность явлениям. Ну а что касается матери Сибилы... Она не одна, у нее есть еще сын, и, кажется, славный малый. Но он не актер. Он моряк или что-то в этом роде. Ну, расскажите-ка лучше о себе. Что вы сейчас пишете?

— Вы... были... в опере? — с расстановкой переспросил Бэзил, и в его изменившемся голосе слышалось глубокое огорчение. — Вы поехали в оперу в то время, как Сибила Вэйн лежала мертвая в какой-то грязной камерке? Вы можете говорить о красоте других женщин и о божественном пении Патти, когда девушка, которую вы любили, еще даже не обрела покой в могиле? Эх, Дориан, вы бы хоть подумали о тех ужасах, которые еще предстоит пройти ее бедному маленькому телу!

— Перестаньте, Бэзил! Я не хочу ничего слушать! — крикнул Дориан и вскочил. — Не говорите больше об этом. Что было, то было. Что прошло, то уже прошлое.

— Вчерашний день для вас уже прошлое?

— При чем тут время? Только людям ограниченными нужны годы, чтобы отделаться от какого-нибудь чувства или впечатления. А человек, умеющий собой владеть, способен покончить с печалью так же легко, как найти новую радость. Я не желаю быть рабом своих переживаний. Я хочу ими насладиться, извлечь из них все, что можно. Хочу властвовать над своими чувствами.

— Дориан, это ужасно! Что-то сделало вас совершенно другим человеком. На вид вы все тот же славный мальчик, что каждый день приходил ко мне в мастерскую позировать. Но тогда вы были простодушны, непосредственны и добры, вы были самый неспорченный юноша на свете. А сейчас... Не понимаю, что на вас нашло! Вы рассуждаете, как человек без сердца, не знающий жалости. Все это — влияние Гарри. Теперь мне ясно...

Дориан покраснел и, отойдя к окну, с минуту смотрел на зыбкое море зелени в облитом солнцем саду.

— Я обязан Гарри многим, — сказал он наконец. — Больше, чем вам, Бэзил. Вы только разбудили во мне тщеславие.

— Что же, я за это уже наказан, Дориан... или буду когда-нибудь наказан.

— Не понимаю я ваших слов, Бэзил,— воскликнул Дориан, обернувшись. — И не знаю, чего вы от меня хотите. Ну, скажите, что вам нужно?

— Мне нужен тот Дориан Грей, которого я писал,— с грустью ответил художник.

— Бэзил,— Дориан подошел и положил ему руку на плечо,— вы пришли слишком поздно. Вчера, когда я узнал, что Сибилла покончила с собой...

— Покончила с собой! Господи помилуй! Неужели? — ахнул Холлуорд, в ужасе глядя на Дориана.

— А вы думали, мой друг, что это просто несчастный случай? Конечно, нет! Она лишила себя жизни.

Художник закрыл лицо руками.

— Это страшно! — прошептал он, вздрогнув.

— Нет,— возразил Дориан Грей.— Ничего в этом нет страшного. Это — одна из великих романтических трагедий нашего времени. Обыкновенные актеры, как правило, ведут жизнь самую банальную. Все они — примерные мужья или примерные жены,— словом, скучные люди. Понимаете — мещанская добродетель и все такое. Как непохожа на них была Сибилла! Она пережила величайшую трагедию. Она всегда оставалась героиней. В последний вечер, тот вечер, когда вы видели ее на сцене, она играла плохо оттого, что узнала любовь настоящую. А когда мечта оказалась несбыточной, она умерла, как умерла некогда Джульетта. Она снова перешла из жизни в сферы искусства. Ее окружает ореол мученичества. Да, в ее смерти — весь пафос напрасного мученичества, вся его бесполезная красота... Однако не думайте, Бэзил, что я не страдал. Вчера был такой момент... Если бы вы пришли около половины шестого... или без четверти шесть, вы застали бы меня в слезах. Даже Гарри — он-то и принес мне эту весть — не подозревает, что я пережил. Я страдал ужасно. А потом это прошло. Не могу я то же чувство переживать снова. И никто не может, кроме очень сентиментальных людей. Вы ужасно несправедливы ко мне, Бэзил. Вы пришли меня утешать, это очень мило с вашей стороны. Но застали меня уже утешившимся — и злитесь. Вот оно, людское сочувствие! Я вспоминаю анекдот, рассказанный Гарри, про одного филантропа, который двадцать лет жизни потратил на борьбу с какими-то злоупотреблениями или несправедливым законом — я забыл уже, с чем именно. В конце концов он добился своего — и тут наступило жестокое разочарование. Ему больше решительно нечего было делать, он умирал со скуки

и превратился в убежденного мизантропа. Так-то, дорогой друг! Если вы действительно хотите меня утешить, научите, как забыть то, что случилось, или смотреть на это глазами художника. Кажется, Готье писал об утешении, которое мы находим в искусстве? Помню, однажды у вас в мастерской мне попала под руку книжечка в веленовой обложке, и, листая ее, я наткнулся на это замечательное выражение: *consolation des arts*<sup>1</sup>. Право, я несколько не похож на того молодого человека, про которого вы мне рассказывали, когда мы вместе ездили к Марло. Он уверял, что желтый атлас может служить человеку утешением во всех жизненных невзгодах. Я люблю красивые вещи, которые можно трогать, держать в руках. Старинная парча, зеленая бронза, изделия из слоновой кости, красивое убранство комнат, роскошь, пышность — все это доставляет столько удовольствия! Но для меня всего ценнее тот инстинкт художника, который они порождают или хотя бы выявляют в человеке. Стать, как говорит Гарри, зрителем собственной жизни — это значит уберечь себя от земных страданий. Знаю, вас удивят такие речи. Вы еще не уяснили себе, насколько я созрел. Когда мы познакомились, я был мальчик, сейчас я — мужчина. У меня появились новые увлечения, новые мысли и взгляды. Да, я стал другим, однако я не хочу, Бэзил, чтобы вы меня за это разлюбили. Я переменялся, но вы должны навсегда остаться моим другом. Конечно, я очень люблю Гарри. Но я знаю, что вы лучше его. Вы не такой сильный человек, как он, потому что слишком боитесь жизни, но вы лучше. И как нам бывало хорошо вместе! Не оставляйте же меня, Бэзил, и не спорьте со мной. Я таков, какой я есть, — ничего с этим не поделаешь.

Холлуорд был невольно тронут. Этот юноша был ему бесконечно дорог, и знакомство с ним стало как бы поворотным пунктом в его творчестве художника. У него не хватило духу снова упрекать Дориана, и он утешался мыслью, что черствость этого мальчика — лишь минутное настроение. Ведь у Дориана так много хороших черт, так много в нем благородства!

— Ну, хорошо, Дориан, — промолвил он наконец с грустной улыбкой. — Не стану больше говорить об этой страшной истории. И хочу надеяться, что ваше имя не будет связано с нею. Следствие назначено на сегодня. Вас не вызывали?

---

<sup>1</sup> Утешение в искусстве (фр.).



Дориан отрицательно покачал головой и досадливо поморщился при слове «следствие». Он находил, что во всех этих подробностях есть что-то грубое, пошлое.

— Моя фамилия там никому не известна,— пояснил он.

— Но девушка-то, наверное, ее знала?

— Нет, только имя. И потом я совершенно уверен, что она не называла его никому. Она мне рассказывала, что в театре все очень интересуются, кто я такой, но на их вопросы она отвечает только, что меня зовут Прекрасный Принц. Это очень трогательно, правда? Нарисуйте мне Сибилу, Бэзил. Мне хочется сохранить на память о ней нечто большее, чем воспоминания о нескольких поцелуях и нежных словах.

— Ладно, попробую, Дориан, если вам этого так хочется. Но вы и сами снова должны мне позировать. Я не могу обойтись без вас.

— Никогда больше я не буду вам позировать, Бэзил. Это невозможно! — почти крикнул Дориан, отступая.

Художник удивленно посмотрел на него.

— Это еще что за фантазия, Дориан? Неужели вам не нравится портрет, который я написал? А кстати, где он? Зачем его заслонили экраном? Я хочу на него взглянуть. Ведь это моя лучшая работа. Уберите-ка ширму, Дориан. Какого черта ваш лакей вздумал запрятать портрет в угол? То-то я, как вошел, сразу почувствовал, что в комнате чего-то недостает.

— Мой лакей тут ни при чем, Бэзил. Неужели вы думаете, что я позволю ему по своему вкусу переставлять вещи в комнатах? Он только цветы иногда выбирает для меня — и больше ничего. А экран перед портретом я сам поставил: в этом месте слишком резкое освещение.

— Слишком резкое? Не может быть, мой милый. По-моему, самое подходящее. Дайте-ка взглянуть.

И Холлуорд направился в тот угол, где стоял портрет.

Крик ужаса вырвался у Дориана. Одним скачком опередив Холлуорда, он стал между ним и экраном.

— Бэзил,— сказал он, страшно побледнев,— не смейте! Я не хочу, чтобы вы на него смотрели.

— Вы шутите! Мне запрещается смотреть на мое собственное произведение? Это еще почему? — воскликнул Холлуорд со смехом.

— Только попытайтесь, Бэзил — и даю вам слово, что на всю жизнь перестану с вами встречаться. Я говорю совершенно серьезно. Объяснять ничего не буду, и вы меня

ни о чем не спрашивайте. Но знайте — если вы тронете экран, между нами все кончено.

Холлуорд стоял как громом пораженный и во все глаза смотрел на Дориана. Никогда еще он не видел его таким: лицо Дориана побледнело от гнева, руки были сжаты в кулаки, зрачки метали синие молнии. Он весь дрожал.

— Дориан!

— Молчите, Бэзил!

— Господи, да что это с вами? Не хотите, так я, разумеется, не стану смотреть, — сказал художник довольно сухо и, круто повернувшись, отошел к окну. — Но это просто дико — запрещать мне смотреть на мою собственную картину! Имейте в виду, осенью я хочу послать ее в Париж на выставку, и, наверное, понадобится перед этим заново покрыть ее лаком. Значит, осмотреть ее я все равно должен, — так почему бы не сделать этого сейчас?

— На выставку? Вы хотите ее выставить? — переспросил Дориан Грей, чувствуя, как в душу его закрадывается безумный страх. Значит, все узнают его тайну? Люди будут с любопытством глазеть на самое сокровенное в его жизни? Немыслимо! Что-то надо тотчас же сделать, как-то это предотвратить. Но как?

— Да, в Париже. Надеюсь, против этого вы не станете возражать? — говорил между тем художник. — Жорж Пти намерен собрать все мои лучшие работы и устроить специальную выставку на улице Сэз. Откроется она в первых числах октября. Портрет увезут не более как на месяц. Думаю, что вы вполне можете на такое короткое время с ним расстаться. Как раз в эту пору вас тоже не будет в Лондоне. И потом — если вы держите его за ширмой, значит, не так уж дорожите им.

Дориан Грей провел рукой по лбу, покрытому крупными каплями пота. Он чувствовал себя на краю гибели.

— Но всего лишь месяц назад вы говорили, что ни за что его не выставите! Почему же вы передумали? Вы из тех людей, которые гордятся своим постоянством, а на самом деле и у вас все зависит от настроения. Разница только та, что эти ваши настроения — просто необъяснимые прихоти. Вы торжественно уверяли меня, что ни за что на свете не пошлете мой портрет на выставку, — вы это, конечно, помните? И Гарри вы говорили то же самое.

Дориан вдруг умолк, и в глазах его блеснул огонек. Он вспомнил, как лорд Генри сказал полушутя: «Если хотите провести презанятные четверть часа, заставьте Бэзила

объяснить вам, почему он не хочет выставлять ваш портрет. Мне он это рассказал, и для меня это было настоящим откровением». Ага, так, может быть, и у Бэзила есть своя тайна! Надо выведать ее.

— Бэзил,— начал он, подойдя к Холлуорду очень близко и глядя в глаза,— у каждого из нас есть свой секрет. Откройте мне ваш, и я вам открою свой. Почему вы не хотели выставлять мой портрет?

Художник вздрогнул и невольно отступил.

— Дориан, если я вам это скажу, вы непременно посмеетесь надо мной и, пожалуй, будете меньше любить меня. А с этим я не мог бы примириться. Раз вы требуете, чтобы я не пытался больше увидеть ваш портрет, пусть будет так. Ведь у меня остается вы,— я смогу всегда видеть вас. Вы хотите скрыть от всех лучшее, что я создал в жизни? Ну что ж, я согласен. Ваша дружба мне дороже славы.

— Нет, вы все-таки ответьте на мой вопрос, Бэзил,— настаивал Дориан Грей. — Мне кажется, я имею право знать.

Страх его прошел и сменился любопытством. Он твердо решил узнать тайну Холлуорда.

— Сядемте, Дориан,— сказал тот, не умея скрыть своего волнения. — И прежде всего ответьте мне на один вопрос. Вы не заметили в портрете ничего особенного? Ничего такого, что сперва, быть может, в глаза не бросалось, но потом внезапно открылось вам?

— Ох, Бэзил! — вскрикнул Дориан, дрожащими руками сжимая подлокотники кресла и в диком испуге глядя на художника.

— Вижу, что заметили. Не надо ничего говорить, Дориан, сначала выслушайте меня. С первой вашей встречи я был словно одержим вами. Вы имели какую-то непонятную власть над моей душой, мозгом, талантом, были для меня воплощением того идеала, который всю жизнь витал перед художником как дивная мечта. Я обожал вас. Стоило вам заговорить с кем-нибудь, — и я уже ревновал к нему. Я хотел сохранить вас для себя одного и чувствовал себя счастливым, только когда вы бывали со мной. И даже если вас не было рядом, вы незримо присутствовали в моем воображении, когда я творил. Конечно, я никогда, ни единым словом не обмолвился об этом — ведь вы ничего не поняли бы. Да я и сам не очень-то понимал это. Я чувствовал только, что вижу перед собой совершенство, и оттого мир представлялся мне чудесным,— пожалуй, слишком чудес-

ным, ибо такие восторги души опасны. Не знаю, что страшнее — власть их над душой или их утрата. Проходили недели, а я был все так же или еще больше одержим вами. Наконец мне пришла в голову новая идея. Я уже ранее написал вас Парисом в великолепных доспехах и Адонисом в костюме охотника, со сверкающим копьем в руках. В венке из тяжелых цветов лотоса вы сидели на носу корабля императора Адриана и глядели на мутные волны зеленого Нила. Вы склонялись над озером в одной из рощ Греции, любясь чудом своей красоты в недвижном серебре его тихих вод. Эти образы создавались интуитивно, как того требует наше искусство, были идеальны, далеки от действительности. Но в один прекрасный день, — роковой день, как мне кажется иногда, — я решил написать ваш портрет, написать вас таким, какой вы есть, не в костюме прошлых веков, а в обычной вашей одежде и в современной обстановке. И вот... Не знаю, что сыграло тут роль, реалистическая манера письма или обаяние вашей индивидуальности, которая предстала передо мной теперь непосредственно, ничем не замаскированная, — но, когда я писал, мне казалось, что каждый мазок, каждый удар кисти все больше раскрывает мою тайну. И я боялся, что, увидев портрет, люди поймут, как я боготворю вас, Дориан. Я чувствовал, что в этом портрете выразил слишком много, вложил в него слишком много себя. Вот тогда-то я и решил ни за что не выставлять его. Вам было досадно — ведь вы не подозревали, какие у меня на то серьезные причины. А Гарри, когда я заговорил с ним об этом, высмеял меня. Ну, да это меня ничуть не задело. Когда портрет был окончен, я, глядя на него, почувствовал, что я прав... А через несколько дней он был увезен из моей мастерской, и, как только я освободился от его неодолимых чар, мне показалось, что все это лишь моя фантазия, что в портрете люди увидят только вашу удивительную красоту и мой талант художника, больше ничего. Даже и сейчас мне кажется, что я заблуждался, что чувства художника не отражаются в его творении. Искусство гораздо абстрактнее, чем мы думаем. Форма и краски говорят нам лишь о форме и красках — и больше ни о чем. Мне часто приходит в голову, что искусство в гораздо большей степени *скрывает* художника, чем *раскрывает* его...

Поэтому, когда я получил предложение из Парижа, я решил, что ваш портрет будет гвоздем моей выставки. Мог ли я думать, что вы станете возражать? Ну а теперь я вижу, что вы правы, портрет выставлять не следует. Не сердитесь

на меня, Дориан. Перед вами нельзя не преклоняться — вы созданы для этого. Я так и сказал тогда Гарри.

Дориан Грей с облегчением перевел дух. Щеки его снова порозовели. Губы улыбались. Опасность миновала. Пока ему ничто не грозит! Он невольно испытывал глубокую жалость к художнику, сделавшему ему такое странное признание, и спрашивал себя, способен ли и он когда-нибудь оказывать всецело во власти чужой души? К лорду Генри его влечет, как влечет человека все очень опасное, — и только. Лорд Генри слишком умен и слишком большой циник, чтобы его можно было любить. Встретит ли он, Дориан, человека, который станет его кумиром? Суждено ли ему в жизни испытать и это тоже?

— Очень мне странно, Дориан, что вы сумели увидеть это в портрете, — сказал Бэзил Холлуорд. — Вы и вправду это заметили?

— Кое-что я заметил. И оно меня сильно поразило.

— Ну а теперь вы мне дадите взглянуть на портрет? Дориан покачал головой.

— Нет, нет, и не просите, Бэзил. Я не позволю вам даже подойти близко.

— Так, может, потом когда-нибудь?

— Никогда.

— Что ж, может, вы и правы. Ну, прощайте, Дориан. Вы — единственный человек, который по-настоящему имел влияние на мое творчество. И всем, что я создал ценного, я обязан вам... Если бы вы знали, чего мне стоило сказать вам все то, что я сказал!

— Да что же вы мне сказали такого, дорогой Бэзил? Только то, что вы мною слишком восхищались? Право, это даже не комплимент.

— А я и не собирался говорить вам комплименты. Это была исповедь. И после нее я словно чего-то лишился. Пожалуй, никогда не следует выражать свои чувства словами.

— Исповедь ваша, Бэзил, обманула мои ожидания.

— Как так? Чего же вы ожидали, Дориан? Разве вы заметили в портрете еще чего-то другое?

— Нет, ничего. Почему вы спрашиваете? А о преклонении вы больше не говорите — это глупо. Мы с вами друзья, Бэзил, и должны всегда оставаться друзьями.

— У вас есть Гарри, — сказал Холлуорд уныло.

— Ах, Гарри! — Дориан рассмеялся. — Гарри днем занят тем, что *говорит* невозможные вещи, а по вечерам

творит невероятные вещи. Такая жизнь как раз в моем вкусе. Но в тяжелую минуту я вряд ли пришел бы к Гарри. Скорее к вам, Бэзил.

— И вы опять будете мне позировать?

— Нет, этого я никак не могу!

— Своим отказом вы губите меня как художника. Никто не встречает свой идеал дважды в жизни. Да и один раз редко кто его находит.

— Не могу вам объяснить причины, Бэзил, но мне нельзя больше вам позировать. Есть что-то роковое в каждом портрете. Он живет своей особой жизнью... Я буду приходить к вам пить чай. Это не менее приятно.

— Для вас, пожалуй, даже приятнее, — огорченно буркнул Холлуорд. — До свидания, Дориан. Очень жаль, что вы не дали мне взглянуть на портрет. Ну, да что поделаешь! Я вас вполне понимаю.

Когда он вышел, Дориан усмехнулся про себя. Бедный Бэзил, как он в своих догадках далек от истины! И не странно ли, что ему, Дориану, не только не пришлось открыть свою тайну, но удалось случайно выведать тайну друга! После исповеди Бэзила Дориану многое стало ясно. Нелепые вспышки ревности и страстная привязанность к нему художника, восторженные дифирамбы, а по временам странная сдержанность и скрытность — все теперь было понятно. И Дориану стало грустно. Что-то трагичное было в такой дружбе, окрашенной романтической влюбленностью.

Он вздохнул и позвонил лакею. Портрет надо во что бы то ни стало убрать отсюда! Нельзя рисковать тем, что тайна раскроется. Безумием было бы и на один час оставить портрет в комнате, куда может прийти любой из друзей и знакомых.

## ГЛАВА X

Когда Виктор вошел, Дориан пристально посмотрел на него, пытаясь угадать, не вздумал ли он заглянуть за экран. Лакей с самым невозмутимым видом стоял, ожидая приказаний. Дориан закурил папиросу и, подойдя к зеркалу, поглядел в него. В зеркале ему было отчетливо видно лицо Виктора. На этом лице не выражалось ничего, кроме спокойной услужливости. Значит, опасаться нечего. Все же он решил, что надо быть остороже.

Медленно отчеканивая слова, он приказал Виктору

позвать к нему экономку, а затем сходить в багетную мастерскую и попросить хозяина немедленно прислать ему двух рабочих.

Ему показалось, что лакей, выходя из комнаты, покосился на экран. Или это только его фантазия?

Через несколько минут в библиотеку торопливо вошла миссис Лиф в черном шелковом платье и старомодных нитяных митенках на морщинистых руках. Дориан спросил у нее ключ от бывшей классной комнаты.

— От старой классной, мистер Дориан? — воскликнула она. — Да там полно пыли! Я сперва велю ее прибрать и все привести в порядок. А сейчас вам туда и заглянуть нельзя! Никак нельзя!

— Не нужно мне, чтобы ее убрали, Лиф. Мне только ключ нужен.

— Господи, да вы будете весь в паутине, сэр, если туда войдете. Ведь вот уже пять лет комнату не открывали — со дня смерти его светлости.

При упоминании о старом лорде Дориана передернуло: у него остались очень тягостные воспоминания о покойном деде.

— Пустяки, — ответил он. — Мне нужно только на минуту заглянуть туда, и больше ничего. Дайте мне ключ.

— Вот, возьмите, сэр. — Старушка неловкими дрожащими руками перебирала связку ключей. — Вот этот. Сейчас сниму его с кольца. Но вы же не думаете перебираться туда, сэр? Здесь внизу у вас так уютно!

— Нет, нет, — перебил Дориан нетерпеливо. — Спасибо, Лиф, можете идти.

Экономка еще на минуту замешкалась, чтобы поговорить о каких-то хозяйственных делах. Дориан со вздохом сказал ей, что во всем полагается на нее. Наконец она ушла очень довольная.

Как только дверь за ней захлопнулась, Дориан сунул ключ в карман и окинул взглядом комнату. Ему попалось на глаза атласное покрывало, пурпурное, богато расшитое золотом, — великолепный образец венецианского искусства конца XVII века, — привезенное когда-то его дедом из монастыря близ Болоньи. Да, этим покрывалом можно закрыть страшный портрет! Быть может, оно некогда служило погребальным покрывалом. Теперь эта ткань укроет картину разложения, более страшного, чем разложение трупа, ибо оно будет порождать ужасы, и ему не будет конца. Как черви пожирают мертвое тело, так пороки

Дориана Грея будут развешивать его изображение на полотне. Они изложут его красоту, уничтожат очарование. Они осквернят его и опозорят. И все-таки портрет будет цел. Он будет жить вечно.

При этой мысли Дориан вздрогнул и на миг пожалел, что не сказал правду Холлуорду. Бэзил поддержал бы его в борьбе с влиянием лорда Генри и с еще более опасным влиянием его собственного темперамента. Любовь, которую питает к нему Бэзил (а это, несомненно, самая настоящая любовь), — чувство благородное и возвышенное. Это не обыкновенное физическое влечение к красоте, порожденное чувственными инстинктами и умирающее, когда они ослабевают в человеке. Нет, это любовь такая, какую знали Микеланджело, и Монтень, и Винкельман, и Шекспир. Да, Бэзил мог бы спасти его. Но теперь уже поздно. Прошлое всегда можно изгладить раскаянием, забвением или отречением, будущее же неотвратимо. Дориан чувствовал, что в нем бродят страсти, которые найдут себе ужасный выход, и смутные грезы, которые омрачат его жизнь, если осуществятся.

Он снял с кушетки пурпурно-золотое покрывало и, держа его в обеих руках, зашел за экран. Не стало ли еще противнее лицо на портрете? Нет, никаких новых изменений не было заметно. И все-таки Дориан смотрел на него теперь с еще большим отвращением. Золотые кудри, голубые глаза и розовые губы — все как было. Изменилось только выражение лица. Оно ужасало своей жестокостью. В сравнении с этим обвиняющим лицом как ничтожны были укоры Бэзила, как пусты и ничтожны! С портрета на Дориана смотрела его собственная душа и призывала его к ответу.

С гримасой боли Дориан поспешно набросил на портрет роскошное покрывало. В эту минуту раздался стук в дверь, и он вышел из-за экрана как раз тогда, когда в комнату вошел лакей.

— Люди здесь, мосье.

Дориан подумал, что Виктора надо услать сейчас же, чтобы он не знал, куда отнесут портрет. У Виктора глаза умные, и в них светится хитрость, а может, и коварство. Ненадежный человек!

И, сев за стол, Дориан написал записку лорду Генри, в которой просил прислать что-нибудь почитать и напоминать, что они сегодня должны встретиться в четверть девятого.

— Передайте лорду Генри и подождите ответа, — сказал



он Виктору, вручая ему записку. — А рабочих приведите сюда.

Через две-три минуты в дверь снова постучали, появился мистер Хаббард собственной персоной, знаменитый багетный мастер с Саут-Одли-стрит, и с ним его помощник, довольно неотесанный парень. Мистер Хаббард представлял собой румяного человечка с рыжими бакенбардами. Его поклонение искусству значительно умерлось хроническим безденежьем большинства его клиентов — художников. Он не имел обыкновения ходить на дом к заказчикам, он ждал, чтобы они сами пришли к нему в мастерскую. Но для Дориана Грея он всегда делал исключение. В Дориане было что-то такое, что всех располагало к нему. Приятно было даже только смотреть на него.

— Чем могу служить, мистер Грей? — осведомился почтенный багетчик, потирая пухлые веснушчатые руки. — Я полагал, что мне следует лично явиться к вам. Я как раз приобрел чудесную раму, сэр. Она мне досталась на распродаже. Старинная флорентийская — должно быть, из Фонтилла. Замечательно подойдет для картины с религиозным сюжетом, мистер Грей!

— Извините, что побеспокоил вас, мистер Хаббард. Я зайду, конечно, взглянуть на раму, хотя сейчас не особенно увлекаюсь религиозной живописью. Но сегодня мне требуется только перенести картину на верхний этаж. Она довольно тяжелая, поэтому я и попросил вас прислать людей.

— Помилуйте, мистер Грей, какое же беспокойство? Я очень рад, что могу вам быть полезен. Где картина, сэр?

— Вот она, — ответил Дориан, отодвигая в сторону экран. — Можно ее перенести как есть, не снимая покрывала? Я боюсь, как бы ее не исцарапали при переноске.

— Ничего тут нет трудного, сэр, — услужливо сказал багетчик и с помощью своего подручного начал снимать портрет с длинных медных цепей, на которых он висел. — А куда же прикажете ее перенести, мистер Грей?

— Я вам покажу дорогу, мистер Хаббард. Будьте добры следовать за мной. Или, пожалуй, лучше вы идите вперед. К сожалению, это на самом верху. Мы пройдем по главной лестнице, она шире.

Он распахнул перед ними дверь, и они прошли в холл, а оттуда стали подниматься по лестнице вверх. Из-за украшений массивной рамы портрет был чрезвычайно громоздким, и время от времени Дориан пытался помочь

рабочим, несмотря на подобострастные протесты мистера Хаббарда, который, как все люди его сословия, не мог допустить, чтобы знатный джентльмен делал что-либо полезное.

— Груз немалый, сэр, — сказал он, тяжело дыша, когда они добрались до верхней площадки, и отер потную лысину.

— Да, довольно-таки тяжелый, — буркнул в ответ Дориан, отпирая дверь комнаты, которая отныне должна была хранить его странную тайну и скрывать его душу от людских глаз.

Больше четырех лет он не заходил сюда. Когда он был ребенком, здесь была его детская, потом, когда подросток, — классная комната. Эту большую, удобную комнату покойный лорд Келсо специально пристроил для маленького внука, которого он за поразительное сходство с матерью или по каким-то другим причинам терпеть не мог и старался держать подалеже от себя. Дориан подумал, что с тех пор в комнате ничего не переменялось. Так же стоял здесь громадный итальянский сундук — *cassone* — с причудливо расписанными стенками и потускневшими от времени золочеными украшениями, в нем часто прятался маленький Дориан. На месте был и книжный шкаф красного дерева, набитый растрепанными учебниками, а на стене рядом висел все тот же ветхий фламандский гобелен, на котором сильно вылинявшие король и королева играли в шахматы в саду, а мимо вереницей проезжали на конях сокольничьи, держа на своих латных рукавицах соколов в клубочках. Как все это было знакомо Дориану! Каждая минута его одинокого детства вставала перед ним, пока он осматривался кругом. Он вспомнил непорочную чистоту той детской жизни, и жутко ему стало при мысли, что именно здесь будет стоять роковой портрет. Не думал он в те безвозвратные дни, что его ожидает такое будущее!

Но в доме нет другого места, где портрет был бы так надежно укрыт от любопытных глаз. Ключ теперь в руках у него, Дориана, и никто другой не может проникнуть сюда. Пусть лицо портрета под своим пурпурным саваном становится скотски тупым, жестоким и порочным. Что за беда? Ведь никто этого не увидит. Да и сам он не будет этого видеть. К чему наблюдать отвратительное разложение своей души? Он сохранит молодость — и этого довольно.

Впрочем, разве он не может исправиться? Разве позорное будущее так уж неизбежно? Быть может, в жизнь его войдет большая любовь и очистит его, уберезет от новых

грехов, рождающихся в душе и теле, — тех неведомых, еще никем не описанных грехов, которым самая таинственность их придает коварное очарование. Быть может, настанет день, когда этот алый чувственный рот утратит жестокое выражение и можно будет показать миру шедевр Бэзила Холлуорда?..

Нет, на это надежды нет. Ведь с каждым часом, с каждой неделей человек на полотне будет становиться старше. Если даже на нем не отразятся тайные преступления и пороки, — безобразных следов времени ему не избежать. Щеки его станут дряблыми или впадутся. Желтые «гусиные лапки» лягут вокруг потускневших глаз и уничтожат их красоту. Волосы утратят блеск, рот, как всегда у стариков, будет бессмысленно полуоткрыт, губы безобразно отвиснут. Морщинистая шея, холодные руки со вздутыми синими венами, сгорбленная спина — все будет как у его покойного деда, который был так суров к нему. Да, портрет надо спрятать, ничего не поделаешь!

— Несите сюда, мистер Хаббард, — устало сказал Дориан, обернувшись. — Извините, что задержал вас. Я задумался о другом и забыл, что вы ждете.

— Ничего, мистер Грей, я рад был передохнуть, — отозвался багетчик, все еще не отдышавшийся. — Куда прикажете поставить картину, сэръ?

— Куда-нибудь, все равно. Ну, хотя бы тут. Вешать не надо. Просто прислоните ее к стене. Вот так, спасибо.

— Нельзя ли взглянуть на это произведение искусства, сэръ?

Дориан вздрогнул.

— Не стоит. Оно вряд ли вам понравится, мистер Хаббард, — сказал он, в упор глядя на багетчика. Он готов был кинуться на него и повалить его на пол, если тот посмеет приподнять пышную завесу, скрывающую тайну его жизни. — Ну, не буду больше утруждать вас. Очень вам признателен, что вы были так любезны и пришли сами.

— Не за что, мистер Грей, не за что! Я всегда к вашим услугам, сэръ!

Мистер Хаббард, тяжело ступая, стал спускаться с лестницы, а за ним — его подручный, который то и дело оглядывался на Дориана с выражением робкого восхищения на грубоватом лице: он в жизни не видел таких обаятельных и красивых людей.

Как только внизу затих шум шагов, Дориан запер дверь и ключ положил в карман. Теперь он чувствовал себя

в безопасности. Ничей глаз не увидит больше страшный портрет. Он один будет лицезреть свой позор.

Вернувшись в библиотеку, он увидел, что уже шестой час и чай подан. На столике темного душистого дерева, богато инкрустированном перламутром (это был подарок леди Рэдли, жены его опекуна, дамы, вечно занятой своими болезнями и прошлую зиму жившей в Каире), лежала записка от лорда Генри и рядом с нею — книжка в желтой, немного потрепанной обложке, а на чайном подносе — третий выпуск «Сент-Джеймс газетт». Очевидно, Виктор уже вернулся. Дориан спрашивал себя, не встретился ли его лакей с уходившими рабочими и не узнал ли от них, что они здесь делали. Виктор, разумеется, заметит, что в библиотеке нет портрета... Наверное, уже заметил, когда подавал чай. Экран был отодвинут, и пустое место на стене сразу бросалось в глаза. Чего доброго, он как-нибудь ночью накроет Виктора, когда тот будет красться вверх, чтобы взломать дверь классной. Ужасно это — иметь в доме шпиона! Дориану приходилось слышать о том, как богатых людей всю жизнь шантажировал кто-нибудь из слуг, которому удалось прочесть письмо или подслушать разговор, подобрать визитную карточку с адресом, найти у хозяина под подушкой увядший цветок или обрывок смятого кружева...

При этой мысли Дориан вздохнул и, налив себе чаю, распечатал письмо. Лорд Генри писал, что посылает вечернюю газету и книгу, которая, верно, заинтересует Дориана, а в четверть девятого будет ожидать его в клубе.

Дориан рассеянно взял газету и стал ее просматривать. На пятой странице ему бросилась в глаза заметка, отчеркнутая красным карандашом. Он прочел следующее:

*«Следствие по делу о смерти актрисы. Сегодня утром в Бэлл-Тэверн на Хокстон-Род участковым следователем, мистером Дэнби, произведено было дознание о смерти молодой актрисы Сибилы Вэйн, последнее время выступавшей в Холборнском Королевском театре. Следствием установлена смерть от несчастного случая. Глубокое сочувствие вызывала мать покойной, которая была в сильном волнении, когда давали показания она и доктор Бирелл, производивший вскрытие тела Сибилы Вэйн».*

Дориан, нахмурившись, разорвал газету и выбросил клочки в корзину. Как все это противно! Как ужасны эти отвратительные подробности! Он рассердился на лорда

Генри, приславшего ему эту заметку. А еще глупее то, что он обвел ее красным карандашом: ведь Виктор мог ее прочесть. Для этого он достаточно знает английский язык.

Да, может быть, лакей уже прочел и что-то подозревает... А впрочем, к чему беспокоиться? Какое отношение имеет Дориан Грей к смерти Сибилы Вэйн? Ему бояться нечего — он ее не убивал.

Взгляд Дориана случайно остановился на желтой книжке, присланной лордом Генри. «Интересно, что это за книга?» — подумал он и подошел к столику, на котором она лежала. Осьмиугольный, выложенный перламутром столик казался ему работой каких-то неведомых египетских пчел, лепивших свои соты из серебра. Взяв книгу, Дориан уселся в кресло и стал ее перелистывать. Не прошло и нескольких минут, как он уже погрузился в чтение.

Странная то была книга, никогда еще он не читал такой! Казалось, под нежные звуки флейты грехи всего мира в дивных одеяниях проходят перед ним безгласной чередой. Многое, о чем он только смутно грезил, вдруг на его глазах облеклось плотью. Многое, что ему и во сне не снилось, сейчас открывалось перед ним.

То был роман без сюжета, вернее — психологический этюд. Единственный герой его, молодой парижанин, всю жизнь был занят только тем, что в XIX веке пытался воскресить страсти и умонастроения всех прошедших веков, чтобы самому пережить все то, через что прошла мировая душа. Его интересовали своей искусственностью те формы отречения, которые люди безрассудно именуют добродетелями, и в такой же мере — те естественные порывы возмущения против них, которые мудрецы все еще называют пороками. Книга была написана своеобразным чеканным слогом, живым, ярким и в то же время туманным, изобиловавшим всякими арго и архаизмами, техническими терминами и изысканными парафразами. В таком стиле писали тончайшие художники французской школы символистов. Встречались здесь метафоры, причудливые, как орхидеи, и столь же нежных красок. Чувственная жизнь человека описывалась в терминах мистической философии. Порой трудно было решить, что читаешь — описание религиозных экстазов какого-нибудь средневекового святого или бесстыдные признания современного грешника. Это была отвращающая книга. Казалось, тяжелый запах курений поднимался от ее страниц и дурманил мозг. Самый ритм фраз, вкрадчивая монотонность их музыки, столь богатой слож-

ными рефренами и нарочитыми повторами, склоняла к болезненной мечтательности. И, глотая одну главу за другой, Дориан не заметил, как день склонился к вечеру и в углах комнаты залегли тени.

Безоблачное малахитовое небо, на котором прорезалась одинокая звезда, мерцало за окном. А Дориан все читал при его неверном свете, пока еще можно было разбирать слова. Наконец, после неоднократных напоминаний лакея, что уже поздно, он встал, прошел в соседнюю комнату и, положив книгу на столик флорентинской работы, стоявший у кровати, стал переодеваться к обеду.

Было уже около девяти, когда он приехал в клуб. Лорд Генри сидел один, дожидаясь его, с весьма недовольным и скучающим видом.

— Ради бога, простите, Гарри! — воскликнул Дориан. — Но, в сущности, опоздал я по вашей вине. Книга, которую вы мне прислали, так меня околдовала, что я и не заметил, как прошел день.

— Я так и знал, что она вам понравится, — отозвался лорд Генри, вставая.

— Я не говорил, что она мне нравится. Я сказал: «околдовала». Это далеко не одно и то же.

— Ага, вы уже поняли разницу? — проронил лорд Генри. Они направились в столовую.

## ГЛАВА XI

В течение многих лет Дориан Грей не мог освободиться от влияния этой книги. Вернее говоря, он вовсе не старался от него освободиться. Он выписал из Парижа целых девять экземпляров, роскошно изданных, и заказал для них переплеты разных цветов, — цвета эти должны были гармонировать с его настроениями и прихотями изменчивой фантазии, с которой он уже почти не мог совладать.

Герой книги, молодой парижанин, в котором так своеобразно сочетались романтичность и трезвый ум ученого, казался Дориану прототипом его самого, а вся книга — историей его жизни, написанной раньше, чем он ее пережил.

В одном Дориан был счастливее героя этого романа. Он никогда не испытывал, и ему не суждено было никогда испытать болезненный страх перед зеркалами, блестящей поверхностью металлических предметов и водной гладью, —

страх, который с ранних лет узнал молодой парижанин, когда внезапно утратил свою поразительную красоту. Последние главы книги, в которых с подлинно трагическим, хотя и несколько преувеличенным пафосом описывались скорбь и отчаяние человека, потерявшего то, что он больше всего ценил в других людях и в окружающем мире, Дориан читал с чувством, похожим на злорадство, — впрочем, в радости, как и во всяком наслаждении, почти всегда есть нечто жестокое.

Да, Дориан радовался, ибо его чудесная красота, так пленявшая Бэзила Холлуорда и многих других, не увядала и, по-видимому, была ему дана на всю жизнь. Даже те, до кого доходили темные слухи о Дориане Грее (а такие слухи об его весьма подозрительном образе жизни время от времени ходили по всему Лондону и вызывали толки в клубах), не могли поверить бесчестившим его сплетням: ведь он казался человеком, которого не коснулась грязь жизни. Люди, говорившие непристойности, умолкали, когда входил Дориан Грей. Безмятежная ясность его лица была для них как бы смущающим укором. Одно уж его присутствие напоминало им об утраченной чистоте. И они удивлялись тому, что этот обаятельный человек сумел избежать дурного влияния нашего века, века безнравственности и низменных страстей.

Часто, вернувшись домой после одной из тех длительных и загадочных отлучек, которые вызывали подозрения у его друзей или тех, кто считал себя таковыми, Дориан, крадучись, шел наверх, в свою бывшую детскую, и, отперев дверь ключом, с которым никогда не расставался, подолгу стоял с зеркалом в руках перед портретом, глядя то на отталкивающее и все более старевшее лицо на полотне, то на прекрасное юное лицо, улыбавшееся ему в зеркале. Чем разительнее становился контраст между тем и другим, тем острее Дориан наслаждался им. Он все сильнее влюблялся в собственную красоту и все с большим интересом наблюдал разложение своей души. С напряженным вниманием, а порой и с каким-то противоестественным удовольствием разглядывал он уродливые складки, бороздившие морщинистый лоб и ложившиеся вокруг отяжелевшего чувственного рта, и порой задавал себе вопрос, что страшнее и омерзительнее — печать порока или печать возраста? Он приближал свои белые руки к огрубевшим и дряблым рукам на портрете — и, сравнивая их, улыбался. Он издевался над этим обезображенным, изношенным телом.

Правда, иногда по ночам, когда он лежал без сна в своей благоухающей тонкими духами спальне или в грязной каморке подозрительного притона близ доков, куда он часто ходил переодетый и под вымышленным именем,— Дориан Грей думал о том, что он погубил свою душу, думал с отчаянием, тем более мучительным, что оно было вполне эгоистично. Но такие минуты бывали редко. Любопытство к жизни, которое впервые пробудил в нем лорд Генри в тот день, когда они сидели вдвоем в саду их общего друга Холлуорда, становилось тем острее, чем усерднее Дориан удовлетворял его. Чем больше он узнавал, тем больше жаждал узнать. Этот волчий голод становился тем неутолимее, чем больше он утолял его.

Однако Дориан не отличался безрассудной смелостью и легкомыслием — во всяком случае, он не пренебрегал мнением общества и соблюдал приличия. Зимой — раза два в месяц, а в остальное время года — каждую среду двери его великолепного дома широко раскрывались для гостей, и здесь самые известные и «модные» в то время музыканты пленяли их чудесами своего искусства. Его обеды, в устройстве которых ему всегда помогал лорд Генри, славилась тщательным подбором приглашенных, а также изысканным убранством стола, представлявшим собой настоящую симфонию экзотических цветов, вышитых скатертей, старинной золотой и серебряной посуды. И много было (особенно среди зеленой молодежи) людей, видевших в Дориане Грее тот идеал, о котором они мечтали в студенческие годы, — сочетание подлинной культурности ученого с обаянием и утонченной благовоспитанностью светского человека, «гражданина мира». Он казался им одним из тех, кто, как говорит Данте, «стремится облагородить душу поклонением красоте». Одним из тех, для кого, по словам Готье, и создан видимый мир.

И, несомненно, для Дориана сама Жизнь была первым и величайшим из искусств, а все другие искусства — только преддверием к ней. Конечно, он отдавал дань и Моде, которая на время может осуществить любую фантазию, добившись всеобщего ее признания, и Дендизму, как своего рода стремлению доказать абсолютность условного понятия о Красоте. Его манера одеваться, те моды, которыми он время от времени увлекался, оказывали заметное влияние на молодых щеголей, блиставших на балах в Мэй-фере и в клубах Пэлл-Мэлла. Они подражали ему во всем, пытаясь достигнуть такого же изящества даже



в случайных мелочах, которым сам Дориан не придавал никакого значения.

Дориан весьма охотно занял то положение в обществе, какое было ему предоставлено по достижении совершеннолетия, и его радовала мысль, что он может стать для Лондона наших дней тем, чем для Рима времен императора Нерона был автор «Сатирикона». Но в глубине души он желал играть роль более значительную, чем простой «arbiter elegantiarum»<sup>1</sup>, у которого спрашивают совета, какие надеть драгоценности, как завязать галстук или носить трость. Он мечтал создать новую философию жизни, у которой будет свое разумное обоснование, свои последовательные принципы, и высший смысл жизни видел в одухотворении чувств и ощущений.

Культ жизни чувственной часто и вполне справедливо осуждался, ибо люди инстинктивно боятся страстей и ощущений, которые могут оказаться сильнее их и, как мы знаем, свойственны и существам низшим. Но Дориану Грею казалось, что истинная природа этих чувств еще до сих пор не понята и они остаются животными и необузданными лишь потому, что люди всегда старались их усмирить, не давая им пищи, или убить страданием, вместо того чтобы видеть в них элементы новой духовной жизни, в которой преобладающей чертой должно быть высокоразвитое стремление к Красоте.

Оглядываясь на путь человечества в веках, Дориан не мог отделаться от чувства глубокого сожаления. Как много упущено, сколько уступок сделано — и ради какой ничтожной цели! Бессмысленное, упрямое отречение, уродливые формы самоистязания и самоограничения, в основе которых лежал страх, а результатом было вырождение, безмерно более страшное, чем так называемое «падение», от которого люди в своем неведении стремились спастись. Недаром же Природа с великолепной иронией всегда гнала анахоретов в пустыню к диким зверям, давала святым отшельникам в спутники жизни четвероногих обитателей лесов и полей.

Да, прав был лорд Генри, предсказывая рождение нового гедонизма, который должен перестроить жизнь, освободив ее от сурового и нелепого пуританства, неизвестно почему возродившегося в наши дни. Конечно, гедонизм этот будет прибегать к услугам интеллекта, но никакими теориями или учениями не станет подменять многообразный опыт

---

<sup>1</sup> Законодатель мод (лат.).

страстей. Цель гедонизма — именно этот опыт сам по себе, а не плоды его, горькие или сладкие. В нашей жизни не должно быть места аскетизму, умерщвляющему чувства, так же как и грубому распутству, притупляющему их. Гедонизм научит людей во всей полноте переживать каждое мгновение жизни, ибо и сама жизнь — лишь преходящее мгновение.

Кто из нас не просыпался порой до рассвета после сна без сновидений, столь сладкого, что нам становился почти желанным вечный сон смерти, или после ночи ужаса и извращенной радости, когда в клетках мозга возникают видения страшнее самой действительности, живые и яркие, как всякая фантастика, исполненные той властной силы, которая делает таким живучим готическое искусство, как будто созданное для тех, кто болен мечтательностью? Всем памяты эти пробуждения. Постепенно белые пальцы рассвета пробираются сквозь занавески, и кажется, будто занавески дрожат. Черные причудливые тени бесшумно уползли в углы комнаты и притаились там. А за окном среди листвы уже шумят птицы, на улице слышны шаги идущих на работу людей, порой вздохи и завывания ветра, который налетает с холмов и долго бродит вокруг безмолвного дома, словно боясь разбудить спящих, но все же вынужден прогнать сон из его пурпурного убежища. Одна за другой поднимаются легкие, как вуаль, завесы мрака, все вокруг медленно обретает прежние формы и краски, и на ваших глазах рассвет возвращает окружающему миру его обычный вид. Тусклые зеркала снова начинают жить своей отраженной жизнью. Потушенные свечи стоят там, где их оставили накануне, а рядом — не до конца разрезанная книга, которую вчера читали, или увядший цветок, вчера вечером на балу украшавший вашу петлицу, или письмо, которое вы боялись прочесть или перечитывали слишком часто. Ничто как будто не изменилось. Из призрачных теней ночи снова встает знакомая действительность. Надо продолжать жизнь с того, на чем она вчера остановилась, и мы с болью сознаем, что обречены непрерывно тратить силы, вертеться все в том же утомительном кругу привычных стереотипных занятий. Иногда мы в эти минуты испытываем страстное желание, открыв глаза, увидеть новый мир, преобразившийся за ночь, нам на радость, мир, в котором все приняло новые формы и оделось живыми, светлыми красками, мир, полный перемен и новых тайн, мир, где прошлому нет места или отведено место весьма скромное, и если это прошлое еще живо, то,

во всяком случае, не в виде обязательств или сожалений, ибо даже в воспоминании о счастье есть своя горечь, а память о минувших наслаждениях причиняет боль.

Именно создание таких миров представлялось Дориану Грею главной целью или одной из главных целей жизни; и в погоне за ощущениями, новыми и упоительными, которые содержали бы в себе основной элемент романтики — необычайность, он часто увлекался идеями, заведомо чуждыми его натуре, поддаваясь их коварному влиянию, а затем, постигнув их сущность, насытив свою любознательность, отрекался от них с тем равнодушием, которое не только совместимо с пылким темпераментом, но, как утверждают некоторые современные психологи, часто является необходимым его условием.

Одно время в Лондоне говорили, что Дориан намерен перейти в католичество. Действительно, обрядность католической религии всегда очень нравилась ему. Таинство ежедневного жертвоприношения за литургией, более страшного своей реальностью, чем все жертвоприношения древнего мира, волновало его своим великолепным презрением к свидетельству всех наших чувств, первобытной простотой, извечным пафосом человеческой трагедии, которую оно стремится символизировать. Дориан любил преклонять колена на холодном мраморе церковных плит и смотреть, как священник в тяжелом парчовом облачении медленно снимает бескровными руками покров с дарохранильницы или возносит сверкающую драгоценными камнями дароносицу, похожую на стеклянный фонарь с бледной облаткой внутри, — и тогда ему хотелось верить, что это в самом деле «panis caelestis», «хлеб ангелов». Любил Дориан и тот момент, когда священник в одеянии Страстей господних преломляет гостию над чашей и бьет себя в грудь, сокрушаясь о грехах своих. Его пленяли дымящиеся кадилыницы, которые, как большие золотые цветы, качались в руках мальчиков с торжественно-серьезными лицами, одетых в пурпур и кружева. Выходя из церкви, Дориан с интересом посматривал на темные исповедальни, а иногда подолгу сидел в их сумрачной тени, слушая, как люди шепчут сквозь ветхие решетки правду о своей жизни.

Однако Дориан понимал, что принять официально те или иные догматы или вероучение значило бы ставить какой-то предел своему умственному развитию, и никогда он не делал такой ошибки; он не хотел считать своим постоянным

жилищем гостиницу, пригодную лишь для того, чтобы провести в ней ночь или те несколько ночных часов, когда не светят звезды и луна на ущербе. Одно время он был увлечен мистицизмом, его дивным даром делать простое таинственным и необычайным, и всегда сопутствующей ему сложной парадоксальностью. В другой период своей жизни Дориан склонялся к материалистическим теориям немецкого дарвинизма, и ему доставляло своеобразное удовольствие сводить все мысли и страсти людские к функции какой-нибудь клетки серого вещества мозга или белых нервных волокон: так заманчива была идея абсолютной зависимости духа от физических условий, патологических или здоровых, нормальных или ненормальных! Однако все теории, все учения о жизни были для Дориана ничто по сравнению с самой жизнью. Он ясно видел, как бесплодны всякие отвлеченные умозаключения, не связанные с опытом и действительностью. Он знал, что чувственная жизнь человека точно так же, как духовная, имеет свои священные тайны, которые ждут открытия.

Он принялся изучать действие различных запахов, секреты изготовления ароматических веществ. Перегонял благовонные масла, жег душистые смолы Востока. Он приходил к заключению, что всякое душевное настроение человека связано с какими-то чувственными восприятиями, и задался целью открыть их истинные соотношения. Почему, например, запах ладана настраивает людей мистически, а серая амбра разжигает страсти? Почему аромат фиалок будит воспоминания об умершей любви, мускус туманит мозг, а чампак развращает воображение? Мечтая создать науку о психологическом влиянии запахов, Дориан изучал действие разных пахучих корней и трав, душистых цветов в пору созревания их пыльцы, ароматных бальзамов, редких сортов душистого дерева, нарда, который расслабляет, ховении, от запаха которой можно обезуметь, алоэ, который, как говорят, исцеляет душу от меланхолии.

Был в жизни Дориана и такой период, когда он весь отдавался музыке, и тогда в его доме, в длинной зале с решетчатыми окнами, где потолок был расписан золотом и киноварью, а стены покрыты оливково-зеленым лаком, устраивались необыкновенные концерты: лихие цыгане исторгали дикие мелодии из своих маленьких цитр, величавые тунисцы в желтых шальях перебирали туго натянутые струны огромных лютней, негры, скаля зубы, монотонно ударяли в медные барабаны, а стройные,

худощавые индейцы в чалмах сидели, поджав под себя ноги, на красных циновках и, наигрывая на длинных дудках, камышовых и медных, зачаровывали (или делали вид, что зачаровывают) больших ядовитых кобр и отвратительных рогатых ехидн. Резкие переходы и пронзительные диссонансы этой варварской музыки волновали Дориана в такие моменты, когда прелесть музыки Шуберта, дивные элегии Шопена и даже могучие симфонии Бетховена не производили на него никакого впечатления. Он собирал музыкальные инструменты всех стран света, даже самые редкие и старинные, какие можно найти только в гробницах вымерших народов или у немногих еще существующих диких племен, уцелевших при столкновении с западной цивилизацией. Он любил пробовать все эти инструменты. В его коллекции был таинственный «джурупарис» индейцев Рио-Негро, на который женщинам смотреть запрещено, и даже юношам это дозволяется лишь после поста и бичевания плоти; были перуанские глиняные кувшины, издающие звуки, похожие на пронзительные крики птиц, и те флейты из человеческих костей, которым некогда внимал в Чили Альфонсо де Овалле, и поющая зеленая яшма, находимая близ Куцко и звенящая удивительно приятно. Были в коллекции Дориана и раскрашенные тыквы, наполненные камешками, которые гремят при встряхивании, и длинный мексиканский кларнет, — в него музыкант не дует, а во время игры втягивает в себя воздух; и резко звучащий «туре» амазонских племен, — им подают сигналы часовые, сидящие весь день на высоких деревьях, и звук этого инструмента слышен за три лье; и «тепонацли» с двумя вибрирующими деревянными языками, по которому ударяют палочками, смазанными камедью из млечного сока растений; и колокольчики ацтеков, «иотли», подвешенные гроздьями наподобие винограда; и громадный барабан цилиндрической формы, обтянутый змеиной кожей, какой видел некогда в мексиканском храме спутник Кортеса, Бернал Диас, так живо описавший жалобные звуки этого барабана.

Дориана эти инструменты интересовали своей оригинальностью, и он испытывал своеобразное удовлетворение при мысли, что Искусство, как и Природа, создает иногда уродов, оскорбляющих глаз и слух человеческий своими формами и голосами.

Однако они ему скоро надоели. И по вечерам, сидя в своей ложе в опере, один или с лордом Генри, Дориан снова с восторгом слушал «Тангейзера», и ему казалось, что

в увертюре к этому великому произведению звучит трагедия его собственной души.

Затем у него появилась новая страсть: драгоценные камни. На одном бале-маскараде он появился в костюме французского адмирала Анн-де-Жуайез, и на его камзоле было нашито пятьсот шестьдесят жемчужин. Это увлечение длилось много лет,— даже, можно сказать, до конца его жизни. Он способен был целые дни перебирать и раскладывать по футлярам свою коллекцию. Здесь были оливково-зеленые хризобериллы, которые при свете лампы становятся красными, кимофаны с серебристыми прожилками, фисташковые перидоты, густо-розовые и золотистые, как вино, топазы, карбункулы, пламенно-алые, с мерцающими внутри четырехконечными звездочками, огненно-красные венисы, оранжевые и фиолетовые шпинели, аметисты, отливавшие то рубином, то сапфиром. Дориана пленяло червонное золото солнечного камня, и жемчужная белизна лунного камня, и радужные переливы в молочном опале. Ему достали в Амстердаме три изумруда, необыкновенно крупных и ярких, и старинную бирюзу, предмет зависти всех знатоков.

Дориан всюду разыскивал не только драгоценные камни, но и интереснейшие легенды о них. Так, например, в сочинении Альфонсо «Clericalis Disciplina»<sup>1</sup> упоминается о змее с глазами из настоящего гиацинта, а в романтической истории Александра рассказывается, что владыка Эматии видел в долине Иордана змей «с выросшими на их спинах изумрудными ошейниками».

В мозгу дракона, как повествует Филострат, находится драгоценный камень, «и если показать чудовищу золотые письмена и пурпурную ткань, оно уснет волшебным сном, и его можно умертвить».

По свидетельству великого алхимика Пьера де Бонифаса, алмаз может сделать человека невидимым, а индийский агат одаряет его красноречием. Сердолик утишает гнев, гиацинт наводит сон, аметист рассеивает винные пары. Гранат изгоняет из человека бесов, а от аквамарина бледнеет луна. Селенит убывает и прибывает вместе с луной, а мелодий, избобличающий вора, теряет силу только от крови козленка.

Леонард Камилл видел извлеченный из мозга только что убитой жабы белый камень, который оказался отличным противоядием. А безоар, который находят в сердце

---

<sup>1</sup> «Наставления для клириков» (лат.).

аравийского оленя, — чудодейственный амулет против чумы. В гнездах каких-то аравийских птиц попадает камень аспилат, который, как утверждает Демокрит, предохраняет от огня того, кто его носит.

В день своего коронавания король цейлонский проезжал по улицам столицы с большим рубином в руке. Ворота дворца пресвитера Иоанна «были из сердолика, и в них был вставлен рог ехидны — для того, чтобы никто не мог внести яда во дворец». На шпиле красовались «два золотых яблока, а в них два карбункула — для того, чтобы днем сияло золото, а ночью — карбункулы». В странном романе Лоджа «Жемчужина Америки» рассказывается, что в покоях королевы можно было увидеть «серебряные изображения всех целомудренных женщин мира, которые гляделись в красивые зеркала из хризолитов, карбункулов, сапфиров и зеленых изумрудов». Марко Поло видел, как жители Чипангу кладут в рот своим мертвецам розовые жемчужины. Существует легенда о чудище морском, влюбленном в жемчужину. Когда жемчужина эта была выловлена водолазом для короля Перозе, чудище умертвило похитителя и в течение семи лун оплакивало свою утрату. Позднее, как повествует Прокопий, гунны заманили короля Перозе в западню и он выбросил жемчужину. Ее нигде не могли найти, хотя император Анастасий обещал за нее пятьсот фунтов золота.

А король малабарский показывал одному венецианцу четки из трехсот четырех жемчужин — по числу богов, которым этот король поклонялся.

Когда герцог Валентинуа, сын Александра Шестого, приехал в гости к французскому королю Людовику Двенадцатому, его конь, если верить Брантому, был весь покрыт золотыми листьями, а шляпу герцога украшал двойной ряд рубинов, излучавших ослепительное сияние. У верхового коня Карла Английского на стременах было нашито четыреста двадцать бриллиантов. У Ричарда Второго был плащ, весь покрытый лалами, — он оценивался в тридцать тысяч марок. Холл так описывает костюм Генриха Восьмого, ехавшего в Тауэр на церемонию своего коронавания: «На короле был кафтан из золотой парчи, нагрудник, расшитый бриллиантами и другими драгоценными камнями, и широкая перевязь из крупных лалов». Фаворитки Якова Первого носили изумрудные серьги в филигранной золотой оправе. Эдуард Второй подарил Пирсу Гейвстону доспехи червонного золота, богато укра-

шенные гиацинтами, колет из золотых роз, усыпанный бирюзой, и шапочку, расшитую жемчугами. Генрих Второй носил перчатки, до локтя унизанные дорогими камнями, а на его охотничьей рукавице были нашиты двенадцать рубинов и пятьдесят две крупные жемчужины. Герцогская шапка Карла Смелого, последнего из этой династии бургундских герцогов, была отделана грушевидным жемчугом и сапфирами.

Как красива была когда-то жизнь! Как великолепно в своей радующей глаз пышности! Даже читать об этой отошедшей в прошлое роскоши было наслаждением.

Позднее Дориан заинтересовался вышивками и гобеленами, заменившими фрески в прохладных жилищах народов Северной Европы. Углубившись в их изучение, — а Дориан обладал удивительной способностью уходить целиком в то, чем занимался, — он чуть ли не с горестью замечал, как разрушает Время все прекрасное и неповторимое.

Сам-то он, во всяком случае, избежал этой участи. Проходило одно лето за другим, и много раз уже расцветали и увядали желтые жонкилы, и безумные ночи вновь и вновь повторялись во всем своем ужасе и позоре, а Дориан не менялся. Никакая зима не портила его лица, не убивала его цветущей прелести. Насколько же иной была судьба вещей, созданных людьми! Куда они девались? Где дивное одеяние шафранного цвета с изображением битвы богов и титанов, сотканное смуглыми девами для Афины Паллады? Где велариум, натянутый по приказу Нерона над римским Колизеем, это громадное алое полотно, на котором было изображено звездное небо и Аполлон на своей колеснице, влекомой белыми конями в золотой упряжи? Дориан горячо жалел, что не может увидеть вышитые для жреца Солнца изумительные салфетки, на которых были изображены всевозможные лакомства и яства, какие только можно пожелать для пиров; или погребальный покров короля Хильперика, усеянный тремя сотнями золотых пчел; или возбуждавшие негодование епископа Понтийского фантастические одеяния — на них изображены были «львы, пантеры, медведи, собаки, леса, скалы, охотники, — словом, все, что художник может увидеть в природе»; или ту одежду принца Карла Орлеанского, на рукавах которой были вышиты стихи, начинавшиеся словами: «*Madame, je suis tout joueux*»<sup>1</sup>, и музыка к ним, причем нотные линейки вышиты

---

<sup>1</sup> Сударыня, я очень счастлив (фр.).



были золотом, а каждый нотный знак (четыреугольный, как принято было тогда) — четырьмя жемчужинами.

Дориан прочел описание комнаты, приготовленной в Реймском дворце для королевы Иоанны Бургундской. На стенах были вышиты «тысяча триста двадцать один попугай и пятьсот шестьдесят одна бабочка, на крыльях у птиц красовался герб королевы, и все из чистого золота».

Траурное ложе Екатерины Медичи было обито черным бархатом, усеянным полумесяцами и солдцами. Полог был узорчатого шелка с венками и гирляндами зелени по золотому и серебряному фону и бахромой из жемчуга. Стояло это ложе в спальне, где стены были увешаны гербами королевы из черного бархата на серебряной парче. В покоях Людовика Четырнадцатого были вышиты золотом кариатиды высотой в пятнадцать футов. Парадное ложе польского короля, Яна Собеского, стояло под шатром из золотой смирнской парчи с вышитыми бирюзой строками из Корана. Поддерживавшие его колонки, серебряные, вызолоченные, дивной работы, были богато украшены эмалевыми медальонами и драгоценными камнями. Шатер этот поляки взяли в турецком лагере под Веней. Под его золоченым куполом прежде стояло знамя пророка Магомета.

В течение целого года Дориан усердно коллекционировал самые лучшие, какие только можно было найти, вышивки и ткани. У него были образцы чудесной индийской кисеи из Дели, затканной красивым узором из золотых пальмовых листьев и радужных крылышек скарабеев; газ из Дакки, за свою прозрачность получивший на Востоке названия «ткань из воздуха», «водяная струя», «вечерняя роса»; причудливо разрисованные ткани с Явы, желтые китайские драпировки тончайшей работы; книги в переплетах из атласа цвета корицы или красивого синего шелка, затканного лилиями, цветком французских королей, птицами и всякими другими рисунками; вуали из венгерского кружева, сицилийская парча и жесткий испанский бархат; грузинские изделия с золотыми цехинами и японские «фукусас» золотисто-зеленых тонов с вышитыми по ним птицами чудесной окраски.

Особое пристрастие имел Дориан к церковным облачениям, как и ко всему, что связано с религиозными обрядами. В больших кедровых сундуках, стоявших на западной галерее его дома, он хранил множество редчайших и прекраснейших одежд, достойных быть одеждами невест Христовых, ибо невеста Христова должна носить пурпур,

драгоценности и тонкое полотно, чтобы укрыть свое бескровное тело, истощенное добровольными лишениями, израненное самобичеваниями. Дориан был также обладателем великолепной ризы из малинового шелка и золотой парчи с повторяющимся узором — золотыми плодами граната, венками из шестилепестковых цветов и вышитыми мелким жемчугом ананасами. Орарь был разделен на квадраты, и на каждом квадрате изображены сцены из жизни пресвятой девы, а ее венчание было вышито цветными шелками на капюшоне. Это была итальянская работа XV века.

Другая риза была из зеленого бархата, на котором листья аканта, собранные сердцевидными пучками, и белые цветы на длинных стеблях вышиты были серебряными нитями и цветным бисером; на застежке золотом вышита голова серафима, а орарь заткан ромбовидным узором, красным и золотым, и усеян медальонами с изображениями святых и великомучеников, среди них и святого Себастьяна.

Были у Дориана и другие облачения священников — из шелка янтарного цвета и голубого, золотой парчи, желтой гамки и газета, на которых были изображены Страсти Господни и распятие, вышиты львы, павлины и всякие эмблемы; были далматики из белого атласа и розового штофа с узорами из тюльпанов, дельфинов и французских лилий, были покровы для алтарей из малинового бархата и голубого полотна, священные хоругви, множество антиминов и покровы для потиров. Мистические обряды, для которых употреблялись эти предметы, волновали воображение Дориана.

Эти сокровища, как и все, что собрал Дориан Грей в своем великолепно убранном доме, помогали ему хоть на время забыть, спастись от страха, который порой становился уже почти невыносимым. В нежилой, запертой комнате, где он провел когда-то так много дней своего детства, он сам поместил теперь роковой портрет, в чьих изменившихся чертах читал постыдную правду о своей жизни, и закрыл его пурпурно-золотым покрывалом. По несколько недель Дориан не заглядывал сюда и забывал отвратительное лицо на полотне. В это время к нему возвращалась прежняя беззаботность, светлая веселость, страстное упоение жизнью. Потом он вдруг ночью, тайком ускользнув из дому, отправлялся в какие-то грязные притоны близ Блу-Гэйт-Филдс и проводил там дни до тех пор, пока его оттуда не выгоняли. А воротясь домой, сиделся

перед портретом и глядел на него, порой ненавидя его и себя, порой же — с той гордостью индивидуалиста, которая влечет его навстречу греху, и улыбался с тайным злорадством своему безобразному двойнику, который обречен был нести предназначенное ему, Дориану, бремя.

Через несколько лет Дориан уже не в силах был подолгу оставаться где-либо вне Англии. Он отказался от виллы в Трувиле, которую снимал вместе с лордом Генри, и от обнесенного белой стеной домика в Алжире, где они не раз вдвоем проводили зиму. Он не мог выносить разлуки с портретом, который занимал такое большое место в его жизни. И, кроме того, боялся, как бы в его отсутствие в комнату, где стоял портрет, кто-нибудь не забрался, несмотря на надежные засовы, сделанные по его распоряжению.

Впрочем, Дориан был вполне уверен, что если кто и увидит портрет, то ни о чем не догадается. Правда, несмотря на отталкивающие следы пороков, портрет сохранил явственное сходство с ним, но что же из этого? Дориан высмеял бы всякого, кто попытался бы его шантажировать. Не он писал портрет, — так кто же станет винить его в этом постыдном безобразии? Да если бы он и рассказал людям правду, — разве кто поверит?

И все-таки он боялся. Порой, когда он в своем большом доме в Ноттингемшире принимал гостей, светскую молодежь своего круга, среди которой у него было много приятелей, и развлекал их, поражая все графство расточительной роскошью и великолепием этих празднеств, он внезапно, в разгаре веселья, покидал гостей и мчался в Лондон, чтобы проверить, не взломана ли дверь классной, на месте ли портрет. Что, если его уже украли? Самая мысль об этом леденила кровь Дориана. Ведь тогда свет узнает его тайну! Быть может, люди уже и так кое-что подозревают?

Да, он очаровывал многих, но немало было и таких, которые относились к нему с недоверием. Его чуть не забаллотировали в одном вест-эндском клубе, хотя по своему рождению и положению в обществе он имел полное право стать членом этого клуба. Рассказывали также, что когда кто-то из приятелей Дориана привел его в курительную комнату Черчилл-клуба, герцог Бервикский, а за ним и другой джентльмен встали и демонстративно вышли. Темные слухи стали ходить о нем, когда ему было уже лет двадцать пять. Говорили, что его кто-то видел в одном из грязных притонов отдаленного квартала Уайтчепла, где

у него вышла стычка с иностранными матросами, что он водится с ворами и фальшивомонетчиками и посвящен в тайны их ремесла. Об его странных отлучках знали уже многие, и, когда он после них снова появлялся в обществе, мужчины шептались по углам, а проходя мимо него, презрительно усмехались или устремляли на него холодные, испытующие взгляды, словно желая узнать наконец правду о нем.

Дориан, разумеется, не обращал внимания на такие дерзости и знаки пренебрежения, а для большинства людей его открытое добродушие и приветливость, обаятельная, почти детская улыбка, невыразимое очарование его прекрасной неувядающей молодости были достаточным опровержением возводимой на него клеветы — так эти люди называли слухи, ходившие о Дориане.

Однако же в свете было замечено, что люди, которые раньше считались близкими друзьями Дориана, стали его избегать. Женщины, безумно влюбленные в него, для него пренебрегшие приличиями и бросившие вызов общественному мнению, теперь бледнели от стыда и ужаса, когда Дориан Грей входил в комнату.

Впрочем, темные слухи о Дориане только придавали ему в глазах многих еще больше очарования, странного и притягательного. Притом и его богатство до некоторой степени обеспечивало ему безопасность. Общество — по крайней мере, цивилизованное общество — не очень-то склонно верить тому, что дискредитирует людей богатых и приятных. Оно инстинктивно понимает, что хорошие манеры важнее добродетели, и самого почтенного человека ценит гораздо меньше, чем того, кто имеет хорошего повара. И, в сущности, это правильно: когда вас в каком-нибудь доме угостили плохим обедом или скверным вином, то вас очень мало утешает сознание, что хозяин дома в личной жизни человек безупречно нравственный. Как сказал однажды лорд Генри, когда обсуждался этот вопрос, — самые высокие добродетели не искупают вины человека, в доме которого вам подают недостаточно горячие кушанья. И в защиту такого мнения можно сказать многое. Ибо в хорошем обществе царят — или должны бы царить — те же законы, что в искусстве: форма здесь играет существенную роль. Ей должна быть придана внушительная торжественность и театральность церемонии, она должна сочетать в себе неискренность романтической пьесы с остроумием и блеском, так пленяющими нас в этих пьесах. Разве притворство — такой уж

великий грех? Вряд ли. Оно — только способ придать многообразие человеческой личности.

Так, по крайней мере, думал Дориан Грей. Его поражала ограниченность тех, кто представляет себе наше «я» как нечто простое, неизменное, надежное и однородное в своей сущности. Дориан видел в человеке существо с мириадами жизней и мириадами ощущений, существо сложное и многообразное, в котором заложено непостижимое наследие мыслей и страстей, и даже плоть его заражена чудовищными недугами умерших предков.

Дориан любил бродить по холодной и мрачной портретной галерее своего загородного дома и всматриваться в портреты тех, чья кровь текла в его жилах. Вот Филипп Герберт, о котором Фрэнсис Осборн в своих «Мемуарах о годах царствования королевы Елизаветы и короля Якова» рассказывает, что «он был любимцем двора за свою красоту, которая недолго его украшала». Дориан спрашивал себя: не является ли его собственная жизнь повторением жизни молодого Герберта? Быть может, в их роду какой-то отравляющий микроб переходил от одного к другому, пока не попал в его собственное тело? Уж не подсознательное ли воспоминание о рано отцветшей красоте далекого предка побудило его, Дориана, неожиданно и почти без всякого повода высказать в мастерской Бэзила Холлуорда безумное желание, так изменившее всю его жизнь?

А вот в красном камзоле с золотым шитьем, в украшенной бриллиантами короткой мантии, в брыжах с золотым кантом и таких же манжетах стоит сэр Энтони Шерард, а у ног его сложены доспехи, серебряные с чернью. Какое наследие оставил он своему потомку? Может быть, от этого любовника Джованны Неаполитанской перешли к нему, Дориану, какие-то постыдные пороки? И не являются ли его поступки только осуществленными желаниями этого давно умершего человека, при жизни не дерзнувшего их осуществить?

Дальше с уже выцветавшего полотна улыбалась Дориану леди Елизавета Девере в кружевном чепце и расшитом жемчугом корсаже с разрезными розовыми рукавами. В правой руке цветок, а в левой — эмалевое ожерелье из белых и красных роз. На столике около нее лежат мандолина и яблоко, на ее остроносых башмачках — пышные зеленые розетки. Дориану была известна жизнь этой женщины и странные истории, которые рассказывались о ее любовниках. Не унаследовал ли он и какие-то свойства

ее темперамента? Ее удлинненные глаза с тяжелыми веками, казалось, глядели на него с любопытством.

Ну а что досталось ему от Джорджа Уиллоуби, мужчины в напудренном парике и с забавными мушками на лице? Какое недоброе лицо, смуглое, мрачное, с ртом сладострастно-жестоким, в складке которого чувствуется надменное презрение. Желтые костлявые руки сплошь унизаны перстнями и полуприкрыты тонкими кружевами манжет. Этот щеголь восемнадцатого века в молодости был другом лорда Феррарса.

А второй лорд Бикингем, товарищ принца-регента в дни его самых отчаянных сумасбродств и один из свидетелей его тайного брака с миссис Фицгерберт? Какой гордый вид у этого красавца с каштановыми кудрями, сколько дерзкого высокомерия в его позе! Какие страсти оставил он в наследство потомку? Современники считали его человеком без чести. Он первенствовал на знаменитых оргиях в Карлтон-Хаусе. На груди его сверкает орден Подвязки...

Рядом висит портрет его жены, узкогубой и бледной женщины в черном. «И ее кровь тоже течет в моих жилах,— думал Дориан.— Как все это любопытно!»

А вот мать. Женщина с лицом леди Гамильтон и влажными, словно омоченными в вине губами... Дориан хорошо знал, что он унаследовал от нее: свою красоту и страстную влюбленность в красоту других. Она улыбается ему с портрета, на котором художник изобразил ее вакханкой. В волосах ее виноградные листья. Из чаши, которую она держит в руках, льется пурпурная влага. Краски лица на портрете потускнели, но глаза сохранили удивительную глубину и яркость. Дориану казалось, что они следуют за ним, куда бы он ни шел.

А ведь у человека есть предки не только в роду: они у него есть и в литературе. И многие из этих литературных предков, пожалуй, ближе ему по типу и темпераменту, а влияние их, конечно, ощущается им сильнее. В иные минуты Дориану Грею казалось, что вся история человечества — лишь летопись его собственной жизни, не той действительной, созданной обстоятельствами, а той, которой он жил в своем воображении, покорный требованиям мозга и влечениям страстей. Ему были близки и понятны все те странные и страшные образы, что прошли на арене мира и сделали грех столь соблазнительным, зло — столь утонченным. Казалось, жизнь их каким-то таинственным образом связана с его жизнью.

Герой увлекательной книги, которая оказала на Дориана столь большое влияние, тоже был одержим такой фантазией. В седьмой главе он рассказывает, как он в облище Тиберия, увенчанный лаврами, предохраняющимися от молнии, сиживал в саду на Капри и читал бесстыдные книги Элефантиды, а вокруг него важно прохаживались павлины и карлики, и флейтист дразнил кадилыщика фимиама. Он был и Калигулой, бражничал в конюшнях с наездниками в зеленых туниках и ужинал из яслей слоновой кости вместе со своей лошадю, украшенной бриллиантовой повязкой на лбу. Он был Домицианом и, бродя по коридору, облицованному плитами полированного мрамора, угасшим взором искал в них отражения кинжала, которому суждено пресечь его дни, и томился тоской, *taedium vitae*, страшным недугом тех, кому жизнь ни в чем не отказывала. Сидя в цирке, он сквозь прозрачный изумруд любовался кровавой резней на арене, а потом на носилках, украшенных жемчугом и пурпуром, влекомых мулами с серебряными подковами, возвращался в свой Золотой дворец Гранатовой аллеей, провожаемый криками толпы, проклинавшей его, цезаря Нерона. Он был и Гелиогабалом, который, раскрасив себе лицо, сидел за прялкой вместе с женщинами и приказал доставить богиню Луны из Карфагена, чтобы сочетать ее мистическим браком с Солнцем.

Вновь и вновь перечитывал Дориан эту фантастическую главу и две следующих, в которых, как на каких-то удивительных гобеленах или эмалях искусной работы, запечатлены были прекрасные и жуткие лики тех, кого Пресыщенность, Порок и Кровожадность превратили в чудовищ или безумцев. Филиппо, герцог Миланский, который убил свою жену и намазал ей губы алым ядом, чтобы ее любовник вкусил смерть с мертвых уст той, кого он ласкал. Венецианский Пьетро Барби, известный под именем Павла Второго и в своем тщеславии добившийся, чтобы его величали «Формозус», то есть «Прекрасный»; его тиара, стоявшая двести тысяч флоринов, была приобретена ценой страшного преступления. Джан Мария Висконти, травивший людей собаками; когда он был убит, труп его усыпала розами любившая его гетера. Цезарь Борджиа на белом коне — с ним рядом скакало братоубийство, и на плаще его была кровь Перотто. Молодой кардинал, архиепископ Флоренции, сын и фаворит папы Сикста Четвертого, Пьетро Риарио, чья красота равнялась только его развращенности; он принимал Леонору Арагонскую в шатре из белого и алого

шелка, украшенном нимфами и кентаврами, и велел позолотить мальчика, который должен был на пиру изображать Ганимеда или Гиласа. Эзелин, чью меланхолию рассеивало только зрелище смерти,— он был одержим страстью к крови, как другие одержимы страстью к красному вину; по преданию, он был сыном дьявола и обманул своего отца, играя с ним в кости на собственную душу. Джамбатиста Чибо, в насмешку именовавший себя Невинным, тот Чибо, в чьи истощенные жилы еврей-лекарь влил кровь трех юношей. Сиджизмондо Малатеста, любовник Изотты и сюзеренный властитель Римини, который задушил салфеткой Поликсену, а Джиневре д'Эсте поднес яд в изумрудном кубке; он для культа постыдной страсти воздвиг языческий храм, где совершались христианские богослужения. Изображение этого врага бога и людей сожгли в Риме. Карл Шестой, который так страстно любил жену брата, что один прокаженный предсказал ему безумие от любви; когда ум его помутился, его успокаивали только сарацинские карты с изображениями Любви, Смерти и Безумия. И, наконец, Грифонетто Бальони в нарядном камзоле и усаженной алмазами шляпе на акантоподобных кудрях, убийца Асторре и его невесты, а также Симонетто и его пажа, столь прекрасный, что, когда он умирал на желтой пьядце Перуджи, даже ненавидевшие его не могли удержаться от слез, а проклявшая его Аталанта благословила его.

Все они таили в себе какую-то страшную притягательную силу. Они снились Дориану по ночам, тревожили его воображение днем. Эпоха Возрождения знала необычайные способы отравления: отравляла с помощью шлема или зажженного факела, вышитой перчатки или драгоценного веера, раззолоченных мускусных шариков и янтарного ожерелья. А Дориан Грей был отравлен книгой. И в иные минуты Зло было для него лишь одним из средств осуществления того, что он считал красотой жизни.

## ГЛАВА XII

Это было девятого ноября и (как часто вспоминал потом Дориан) накануне дня его рождения, когда ему исполнилось тридцать восемь лет.

Часов в одиннадцать вечера он возвращался домой от лорда Генри, у которого обедал. Он шел пешком, до глаз



закутанный в шубу, так как ночь была холодная и туманная. На углу Гровенор-сквер и Саут-Одли-стрит мимо него во мгле промелькнул человек, шедший очень быстро с саквояжем в руке. Воротник его серого пальто был поднят, но Дориан узнал Бэзила Холлуорда. Неизвестно почему, его вдруг охватил какой-то безотчетный страх. Он и виду не подал, что узнал Бэзила, и торопливо зашагал дальше.

Но Холлуорд успел его заметить. Дориан слышал, как он остановился и затем стал его догонять. Через минуту рука Бэзила легла на его плечо.

— Дориан! Какая удача! Я ведь дожидался у вас в библиотеке с девяти часов. Потом наконец сжалился над вашим усталым лакеем и сказал ему, чтобы он выпустил меня и шел спать. Ждал я вас потому, что сегодня двенадцатичасовым уезжаю в Париж, и мне очень нужно перед отъездом с вами потолковать. Когда вы прошли мимо, я узнал вас, или, вернее, вашу шубу, но все же сомневался... А вы-то разве не узнали меня?

— В таком тумане, милый мой Бэзил? Я даже Гровенор-сквер не узнаю. Думаю, что мой дом где-то здесь близко, но и в этом вовсе не уверен... Очень жаль, что вы уезжаете, я вас не видел целую вечность. Надеюсь, вы скоро вернетесь?

— Нет, я пробуду за границей месяцев шесть. Хочу снять в Париже мастерскую и запереться в ней, пока не окончу одну задуманную мною большую вещь. Ну, да я не о своих делах хотел говорить с вами. А вот и ваш подъезд. Позвольте мне войти на минуту.

— Пожалуйста, я очень рад. Но вы не опоздаете на поезд? — небрежно бросил Дориан Грей, взойдя по ступеням и отпирая дверь своим ключом.

При свете фонаря, пробивавшемся сквозь туман, Холлуорд посмотрел на часы.

— У меня еще уйма времени. — сказал он. — Поезд отходит в четверть первого, а сейчас только одиннадцать. Я ведь все равно шел в клуб, когда мы встретились, — рассчитывал застать вас там. С багажом возиться мне не придется — я уже раньше отправил все тяжелые вещи. Со мной только этот саквояж, и за двадцать минут я доберусь до вокзала Виктории.

Дориан посмотрел на него с улыбкой.

— Вот как путешествует известный художник! Ручной саквояж и осеннее пальтишко! Ну, входите же скорее, а то туман заберется в дом. И, пожалуйста, не затевайте

серьезных разговоров. В наш век ничего серьезного не происходит. Во всяком случае, не должно происходить.

Холлуорд только головой покачал и прошел вслед за Дорианом в его библиотеку. В большом камине ярко пылали дрова, лампы были зажжены, а на столике маркетри стоял открытый серебряный погребец с напитками, сифон с содовой водой и высокие хрустальные бокалы.

— Видите, ваш слуга постарался, чтобы я чувствовал себя как дома. Принес все, что нужно человеку, в том числе и самые лучшие ваши папиросы. Он очень гостеприимный малый и нравится мне гораздо больше, чем тот француз, прежний ваш камердинер. Кстати, куда он девался?

Дориан пожал плечами.

— Кажется, женился на горничной леди Рэдли и увез ее в Париж, где она подвизается в качестве английской портнихи. Там теперь, говорят, англоomania в моде. Довольно глупая мода, не правда ли?.. А Виктор, между прочим, был хороший слуга, я не мог на него пожаловаться. Он был мне искренне предан и, кажется, очень горевал, когда я его уволил. Но я его почему-то невзлюбил... Знаете, иногда придет в голову какой-нибудь вздор... Еще стакан бренди с содовой? Или вы предпочитаете рейнское с сельтерской? Я всегда пью рейнское. Наверное, в соседней комнате найдется бутылка.

— Спасибо, я ничего больше не буду пить, — отозвался художник. Он снял пальто и шляпу, бросил их на саквояж, который еще раньше поставил в углу. — Так вот, Дориан мой милый, у нас будет серьезный разговор. Не хмурьтесь, пожалуйста, — этак мне очень трудно будет говорить.

— Ну, в чем же дело? — воскликнул Дориан нетерпеливо, с размаху садясь на диван. — Надеюсь, речь будет не обо мне? Я сегодня устал от себя и рад бы превратиться в кого-нибудь другого.

— Нет, именно о вас, — сказал Холлуорд суровым тоном. — Это необходимо. Я отниму у вас каких-нибудь полчаса, не больше.

— Полчаса! — пробормотал Дориан со вздохом и закурил папиросу.

— Не так уж это много, Дориан, и разговор этот в ваших интересах. Мне думается, вам следует узнать, что о вас в Лондоне говорят ужасные вещи.

— А я об этом ничего знать не хочу. Я люблю слушать сплетни о других, а сплетни обо мне меня не интересуют. В них нет прелести новизны.

— Они должны вас интересоваться, Дориан. Каждый порядочный человек дорожит своей репутацией. Ведь вы же не хотите, чтобы люди считали вас развратным и бесчестным? Конечно, у вас положение в обществе, большое состояние и все прочее. Но богатство и высокое положение — еще не все. Поймите, я вовсе не верю этим слухам. Во всяком случае, я не могу им верить, когда на вас смотрю. Ведь порок всегда накладывает свою печать на лицо человека. Его не скроешь. У нас принято говорить о «тайных» пороках. Но тайных пороков не бывает. Они сказываются в линиях рта, в отяжелевших веках, даже в форме рук. В прошлом году один человек, — вы его знаете, но называть его не буду, — пришел ко мне заказать свой портрет. Я его раньше никогда не встречал, и в то время мне ничего о нем не было известно — наслышался я о нем немало только позднее. Он предложил мне за портрет бешеную цену, но я отказался писать его: в форме его пальцев было что-то глубоко мне противное. И теперь я знаю, что чутье меня не обмануло, — у этого господина ужасная биография. Но вы, Дориан... Ваше честное, открытое и светлое лицо, ваша чудесная, ничем не омраченная молодость мне порукой, что дурная молва о вас — клевета, и я не могу ей верить. Однако я теперь вижу вас очень редко, вы никогда больше не заглядываете ко мне в мастерскую, и оттого, что вы далеки от меня, я теряюсь, когда слышу все те мерзости, какие о вас говорят, не знаю, что отвечать на них. Объясните мне, Дориан, почему такой человек, как герцог Бервикский, встретив вас в клубе, уходит из комнаты, как только вы в нее входите? Почему многие почтенные люди лондонского света не хотят бывать у вас в доме и не приглашают вас к себе? Вы были дружны с лордом Стэйвли. На прошлой неделе я встретился с ним на званом обеде... За столом кто-то упомянул о вас — речь шла о миниатюрах, которые вы одолжили для выставки Дадли. Услышав ваше имя, лорд Стэйвли с презрительной гримасой сказал, что вы, быть может, очень тонкий знаток искусства, но с таким человеком, как вы, нельзя знакомить ни одну чистую девушку, а порядочной женщине неприлично даже находиться с вами в одной комнате. Я напомнил ему, что вы — мой друг, и потребовал объяснений. И он дал их мне. Дал напрямик, при всех! Какой это был ужас! Почему дружба с вами губительна для молодых людей? Этот несчастный мальчик, гвардеец, что недавно покончил с собой, — ведь он был ваш близкий друг. С Генри Эштоном вы были неразлучны, —

а он запятнал свое имя и вынужден был покинуть Англию... Почему так низко пал Адриан Синглтон? А единственный сын лорда Кента почему сбился с пути? Вчера я встретил его отца на Сент-Джеймс-стрит. Сразу видно, что он убит стыдом и горем. А молодой герцог Пертский? Что за жизнь он ведет! Какой порядочный человек захочет теперь с ним знаться?

— Довольно, Бэзил! Не говорите о том, чего не знаете! — перебил Дориан Грей, кусая губы. В тоне его слышалось глубочайшее презрение. — Вы спрашиваете, почему Бервик выходит из комнаты, когда я вхожу в нее? Да потому, что мне о нем все известно, а вовсе не потому, что ему известно что-то обо мне. Как может быть чистой жизнь человека, в жилах которого течет такая кровь? Вы ставите мне в вину поведение Генри Эштона и молодого герцога Пертского. Я, что ли, привил Эштону его пороки и развратил герцога? Если этот глупец, сын Кента, женился на уличной девке — при чем тут я? Адриан Синглтон подделал подпись своего знакомого на векселе — так и это тоже моя вина? Что же, я обязан надзирать за ним? Знаю я, как у нас в Англии любят сплетничать. Мещане кичатся своими предрассудками и показной добродетелью и, обжираясь за обеденным столом, шушукаются о так называемой «распушенности» знати, стараясь показать этим, что и они возвращаются в высшем обществе и близко знакомы с теми, кого они чернят. В нашей стране достаточно человеку выдвинуться благодаря уму или другим качествам, как о нем начинают болтать злые языки. А те, кто щеголяет своей мнимой добродетелью, — они-то сами как ведут себя? Дорогой мой, вы забываете, что мы живем в стране лицемеров.

— Ах, Дориан, не в этом дело! — горячо возразил Холлуорд. — Знаю, что в Англии у нас не все благополучно, что общество наше никуда не годится. Оттого-то я и хочу, чтобы вы были на высоте. А вы оказались не на высоте. Мы вправе судить о человеке по тому влиянию, какое он оказывает на других. А ваши друзья, видимо, утратили всякое понятие о чести, о добре, о чистоте. Вы заразили их безумной жадной наслаждений. И они скатились на дно. Это вы их туда столкнули! Да, вы их туда столкнули, и вы еще можете улыбаться как ни в чем не бывало, — вот как улыбаетесь сейчас... Я знаю и кое-что похуже. Вы с Гарри — неразлучные друзья. Уже хотя бы поэтому не следовало вам позорить имя его сестры, делать его предметом сплетен и насмешек.

— Довольно, Бэзил! Вы слишком много себе позволяете!

— Я должен сказать все, — и вы меня выслушаете. Да, выслушаете! До вашего знакомства с леди Гвендолен никто не смел сказать о ней худого слова, даже тень сплетни не касалась ее. А теперь?.. Разве хоть одна приличная женщина в Лондоне рискнет показаться с нею вместе в Парке? Даже ее детям не позволили жить с нею... И это еще не все. Много еще о вас рассказывают, — например, люди видели, как вы, крадучись, выходите на рассвете из грязных притонов, как переодетым пробираетесь тайком в самые отвратительные трущобы Лондона. Неужели это правда? Неужели это возможно? Когда я в первый раз услышал такие толки, я расхохотался. Но я их теперь слышу постоянно — и они меня приводят в ужас. А что творится в вашем загородном доме? Дориан, если бы вы знали, какие мерзости говорят о вас! Вы скажете, что я беру на себя роль проповедника — что ж, пусть так! Помню, Гарри утверждал как-то, что каждый, кто любит поучать других, начинает с обещания, что это будет в первый и последний раз, а потом беспрестанно нарушает свое обещание. Да, я намерен отчитать вас. Я хочу, чтобы вы вели такую жизнь, за которую люди уважали бы вас. Хочу, чтобы у вас была не только незапятнанная, но и хорошая репутация. Чтобы вы перестали водиться со всякой мразью. Нечего пожимать плечами и притворяться равнодушным! Вы имеете на людей удивительное влияние, так пусть же оно будет не вредным, а благотворным. Про вас говорят, что вы развращаете всех, с кем близки, и, входя к человеку в дом, навлекаете на этот дом позор. Не знаю, верно это или нет, — как я могу это знать? — но так про вас говорят. И кое-чему из того, что я слышал, я не могу не верить. Лорд Глостер — мой старый университетский товарищ, мы были с ним очень дружны в Оксфорде. И он показал мне письмо, которое перед смертью написала ему жена, умиравшая в одиночестве на своей вилле в Ментоне. Это страшная исповедь — ничего подобного я никогда не слышал. И она обвиняет вас. Я сказал Глостеру, что это невероятно, что я вас хорошо знаю и вы не способны на подобные гнусности. А действительно ли я вас знаю? Я уже задаю себе такой вопрос. Но, чтобы ответить на него, я должен был бы увидеть вашу душу...

— Увидеть мою душу! — повторил вполголоса Дориан Грей и встал с дивана, бледный от страха.

— Да,— сказал Холлуорд серьезно, с глубокой печалью в голосе.— Увидеть вашу душу. Но это может один только господь бог.

У Дориана вдруг вырвался горький смех.

— Можете и вы. Сегодня же вечером вы ее увидите собственными глазами! — крикнул он и рывком поднял со стола лампу.— Пойдемте. Ведь это ваших рук дело, так почему бы вам и не взглянуть на него? А после этого можете, если хотите, все поведать миру. Никто вам не поверит. Да если бы и поверили, так только еще больше восхищались бы мною. Я знаю наш век лучше, чем вы, хотя вы так утомительно много о нем болтаете. Идемте же! Довольно вам рассуждать о нравственном разложении. Сейчас вы увидите его воочию.

Какая-то дикая гордость звучала в каждом его слове. Он топал ногой капризно и дерзко, как мальчишка. Им овладела злобная радость при мысли, что теперь бремя его тайны с ним разделит другой, тот, кто написал этот портрет, виновный в его грехах и позоре, и этого человека всю жизнь будут теперь мучить отвратительные воспоминания о том, что он сделал.

— Да,— продолжал он, подходя ближе и пристально глядя в суровые глаза Холлуорда.— Я покажу вам свою душу. Вы увидите то, что, по-вашему, может видеть только господь бог.

Холлуорд вздрогнул и отшатнулся.

— Это кощунство, Дориан, не смейте так говорить! Какие ужасные и бессмысленные слова!

— Вы так думаете? — Дориан снова рассмеялся.

— Конечно! А все, что я вам говорил сегодня, я сказал для вашего же блага. Вы знаете, что я ваш верный друг.

— Не трогайте меня! Договаривайте то, что еще имеет сказать.

Судорога боли пробежала по лицу художника. Одну минуту он стоял молча весь во власти острого чувства сострадания. В сущности, какое он имеет право вмешиваться в жизнь Дориана Грея? Если Дориан совершил хотя бы десятую долю того, в чем его обвиняла молва,— как он, должно быть, страдает!

Холлуорд подошел к камину и долго смотрел на горящие поленья. Языки пламени метались среди белого, как иней, пепла.

— Я жду, Бэзил,— сказал Дориан, резко отчеканивая слова.

Художник обернулся.

— Мне осталось вам сказать вот что: вы должны ответить на мой вопрос. Если ответите, что все эти страшные обвинения ложны от начала до конца,— я вам поверю. Скажите это, Дориан! Разве вы не видите, какую муку я терплю? Боже мой! Я не хочу думать, что вы дурной, развратный, погибший человек!

Дориан Грей презрительно усмехнулся.

— Поднимитесь со мной наверх, Бэзил,— промолвил он спокойно.— Я веду дневник, в нем отражен каждый день моей жизни. Но этот дневник я никогда не выношу из той комнаты, где он пишется. Если вы пойдете со мной, я вам его покажу.

— Ладно, пойдёмте, Дориан, раз вы этого хотите. Я уже все равно опоздал на поезд. Ну, не беда, поеду завтра. Но не заставляйте меня сегодня читать этот дневник. Мне нужен только прямой ответ на мой вопрос.

— Вы его получите наверху. Здесь это невозможно. И вам не придется долго читать.

### ГЛАВА XIII

Дориан вышел из комнаты и стал подниматься по лестнице, а Бэзил Холлуорд шел за ним. Оба ступали осторожно, как люди всегда ходят ночью, инстинктивно стараясь не шуметь. Лампа отбрасывала на стены и ступеньки причудливые тени. От порыва ветра где-то в окнах задребезжали стекла.

На верхней площадке Дориан поставил лампу на пол, и, вынув из кармана ключ, вставил его в замочную скважину.

— Так вы непременно хотите узнать правду, Бэзил? — спросил он, понизив голос.

— Да.

— Отлично.— Дориан улыбнулся и добавил уже другим, жестким тоном: — Вы — единственный человек, имеющий право знать обо мне все. Вы и не подозреваете, Бэзил, какую большую роль сыграли в моей жизни.

Он поднял лампу и, открыв дверь, вошел в комнату. Оттуда повеяло холодом, от струи воздуха огонь в лампе вспыхнул на миг густо-оранжевым светом. Дориан дрожал.

— Закройте дверь! — шепотом сказал он Холлуорду, ставя лампу на стол.

Холлуорд в недоумении оглядывал комнату. Видно

было, что здесь уже много лет никто не жил. Вылинявший фламандский гобелен, какая-то занавешенная картина, старый итальянский сундук и почти пустой книжный шкаф, да еще стол и стул — вот и все, что в ней находилось. Пока Дориан зажигал огарок свечи на каминной полке, Холлуорд успел заметить, что все здесь покрыто густой пылью, а ковер дырявый. За панелью быстро пробежала мышь. В комнате стоял сырой запах плесени.

— Значит, вы полагаете, Бэзил, что один только бог видит душу человека? Снимите это покрывало, и вы увидите мою душу.

В голосе его звучала холодная горечь.

— Вы сошли с ума, Дориан. Или ломаете комедию? — буркнул Холлуорд, нахмурившись.

— Не хотите? Ну, так я сам это сделаю.— Дориан сорвал покрывало с железного прута и бросил его на пол.

Крик ужаса вырвался у художника, когда он в полумраке увидел жуткое лицо, насмешливо ухмылявшееся ему с полотна. В выражении этого лица было что-то возмущавшее душу, наполнявшее ее омерзением. Силы небесные, да ведь это лицо Дориана! Как ни ужасна была перемена, она не совсем еще уничтожила его дивную красоту. В поредевших волосах еще блестело золото, чувственные губы были по-прежнему алы. Осоловелые глаза сохранили свою чудесную синеву, и не совсем еще исчезли благородные линии тонко вырезанных ноздрей и стройной шеи... Да, это Дориан. Но кто же написал его таким? Бэзил Холлуорд как будто узнавал свою работу, да и рама была та самая, заказанная по его рисунку. Догадка эта казалась чудовищно невероятной, но на Бэзила напал страх. Схватив горящую свечу, он поднес ее к картине. В левом углу стояла его подпись, выведенная киноварью, длинными красными буквами.

Но этот портрет — мерзкая карикатура, подлое, бессовестное издевательство! Никогда он, Холлуорд, этого не писал...

И все-таки перед ним стоял тот самый портрет его работы. Он его узнал — и в то же мгновение почувствовал, что кровь словно заледенела в его жилах. Его картина! Что же это значит? Почему она так страшно изменилась?

Холлуорд обернулся к Дориану и посмотрел на него как безумный. Губы его судорожно дергались, пересохший язык не слушался, и он не мог выговорить ни слова. Он провел рукой по лбу — лоб был влажен от липкого пота.



А Дориан стоял, прислонясь к каминной полке, и наблюдал за ним с тем сосредоточенным выражением, какое бывает у людей, увлеченных игрой великого артиста. Ни горя, ни радости не выражало его лицо — только напряженный интерес зрителя. И, пожалуй, во взгляде мелькала искорка торжества. Он вынул цветок из петлицы и нюхал его или делал вид, что нюхает.

— Что же это? — вскрикнул Холлуорд и сам не узнал своего голоса — так резко и странно он прозвучал.

— Много лет назад, когда я был еще почти мальчик, — сказал Дориан Грей, смяв цветок в руке, — мы встретились, и вы тогда льстили мне, вы научили меня гордиться моей красотой. Потом вы меня познакомили с вашим другом, и он объяснил мне, какой чудесный дар — молодость, а вы написали с меня портрет, который открыл мне великую силу красоты. И в миг безумия, — я и сейчас еще не знаю, сожалеть мне об этом или нет, — я высказал желание... или, пожалуй, это была молитва...

— Помню! Ох, как хорошо я это помню! Но не может быть... Нет, это ваша фантазия. Портрет стоит в сырой комнате, и в полотно проникла плесень. Или, может быть, в красках, которыми я писал, оказалось какое-то едкое минеральное вещество... Да, да! А то, что вы вообразили, невозможно.

— Ах, разве есть в мире что-нибудь невозможное? — пробормотал Дориан, подойдя к окну и припав лбом к холодному запотевшему стеклу.

— Вы же говорили мне, что уничтожили портрет!

— Это неправда. Он уничтожил меня.

— Не могу поверить, что это моя картина.

— А разве вы не узнаете в ней свой идеал? — спросил Дориан с горечью.

— Мой идеал, как вы это называете...

— Нет, это вы меня так называли!

— Так что же? Тут не было ничего дурного, и я не стыжусь этого. Я видел в вас идеал, какого никогда больше не встречу в жизни. А это — лицо сатира.

— Это — лицо моей души.

— Боже, чему я поклонялся! У него глаза дьявола!..

— Каждый из нас носит в себе и ад и небо, Бэзил! — воскликнул Дориан в бурном порыве отчаяния.

Холлуорд снова повернулся к портрету и долго смотрел на него.

— Так вот что вы сделали со своей жизнью! Боже, если

это правда, то вы, наверное, еще хуже, чем думают ваши враги!

Он поднес свечу к портрету и стал внимательно его рассматривать. Полотно на вид было нетронуто, осталось таким, каким вышло из его рук. Очевидно, ужасная порча проникла изнутри. Под влиянием какой-то неестественно напряженной скрытой жизни портрета проказа порока постепенно разъедала его. Это было страшнее, чем разложение тела в сырой могиле.

Рука Холлуорда так тряслась, что свеча выпала из подсвечника и потрескивала на полу. Он потушил ее каблуком и, тяжело опустившись на расшатанный стул, стоявший у стола, закрыл лицо руками.

— Дориан, Дориан, какой урок, какой страшный урок!

Ответа не было, от окна донеслись только рыдания Дориана.

— Молитесь, Дориан, молитесь! Как это нас учили молиться в детстве? «Не введи нас во искушение... Отпусти нам грехи наши... Очисти нас от скверны...» Помолимся вместе! Молитва, подсказанная вам тщеславием, была услышана. Будет услышана и молитва раскаяния. Я слишком боготворил вас — и за это наказан. Вы тоже слишком любили себя. Оба мы наказаны.

Дориан медленно обернулся к Холлуорду и посмотрел на него полными слез глазами.

— Поздно молиться, Бэзил, — с трудом выговорил он.

— Нет, никогда не поздно, Дориан. Станем на колени и постараемся припомнить слова какой-нибудь молитвы... Кажется, в Писании где-то сказано: «Хотя бы грехи ваши были как кровь, я сделаю их белыми как снег».

— Теперь это для меня уже пустые слова.

— Молчите, не надо так говорить! Вы и без того достаточно нагрелись в жизни. О господи, разве вы не видите, как этот проклятый портрет подмигивает нам?

Дориан взглянул на портрет — и вдруг в нем вспыхнула неукротимая злоба против Бэзила Холлуорда, словно внушенная тем Дорианом на портрете, нашептанная его усмевающимися губами. В нем проснулось бешенство загнанного зверя, и в эту минуту он ненавидел человека, сидевшего у стола, так, как никогда никого в жизни.

Он блуждающим взглядом окинул комнату. На раскрашенной крышке стоявшего неподалеку сундука что-то блеснуло и привлекло его внимание. Он сразу сообразил, что

это нож, он сам принес его сюда несколько дней назад, чтобы обрезать веревку, и позабыл унести.

Обходя стол, Дориан медленно направился к сундуку. Очутившись за спиной Холлуорда, он схватил нож и повернулся. Холлуорд сделал движение, словно собираясь встать. В тот же миг Дориан подскочил к нему, вонзил ему нож в артерию за ухом и, прижав голову Бэзила к столу, стал наносить удар за ударом.

Раздался глухой стон и ужасный хрип человека, захлебывающегося кровью. Три раза судорожно взметнулись протянутые вперед руки, странно двигая в воздухе скрюченными пальцами. Дориан еще дважды всадил нож... Холлуорд больше не шевелился. Что-то капало на пол. Дориан подождал минуту, все еще прижимая голову убитого к столу. Потом бросил нож и прислушался.

Нигде ни звука, только шелест капель, падающих на вытертый ковер. Дориан открыл дверь и вышел на площадку. В доме царила глубокая тишина. Видно, все спали. Несколько секунд он стоял, перегнувшись через перила, и смотрел вниз, пытаясь что-нибудь различить в черном колодезье мрака. Потом вынул ключ из замка и, вернувшись в комнату, запер дверь изнутри.

Мертвец по-прежнему сидел, согнувшись и упав головой на стол; его неестественно вытянутые руки казались очень длинными. Если бы не красная рваная рана на затылке и медленно разливавшаяся по столу темная лужа, можно было бы подумать, что человек просто заснул.

Как быстро все свершилось! Дориан был странно спокоен. Он открыл окно, вышел на балкон. Ветер разогнал туман, и небо было похоже на огромный павлиний хвост, усеянный мириадами золотых глаз. Внизу, на улице, Дориан увидел полисмена, который обходил участок, направляя длинный луч своего фонаря на двери спящих домов. На углу мелькнул и скрылся красный свет проезжавшего кеба. Какая-то женщина, пошатываясь, медленно брела вдоль решетки сквера, и ветер трепал шаль на ее плечах. По временам она останавливалась, оглядывалась, а раз даже запела хриплым голосом, и тогда полисмен, подойдя, что-то сказал ей. Она засмеялась и нетвердыми шагами поплелась дальше.

Налетел резкий ветер, газовые фонари на площади замигали синим пламенем, а голые деревья закачали черными, как чугун, сучьями. Дрожая от холода, Дориан вернулся с балкона в комнату и закрыл окно.

Подойдя к двери на лестницу, он отпер ее. На убитого он даже не взглянул. Он инстинктивно понимал, что главное теперь — не думать о случившемся. Друг, написавший роковой портрет, виновник всех его несчастий, ушел из его жизни. Вот и все.

Выходя, Дориан вспомнил о лампе. Это была довольно редкая вещь мавританской работы, из темного серебра, инкрустированная арабесками вороненой стали и усаженная крупной бирюзой. Ее исчезновение из библиотеки могло быть замечено лакеем, вызвать вопросы... Дориан на миг остановился в нерешительности, затем вернулся и взял лампу со стола. При этом он невольно посмотрел на труп. Как он неподвижен! Как страшна мертвенная белизна его длинных рук! Он напоминал жуткие восковые фигуры паноптикума.

Заперев за собой дверь, Дориан, крадучись, пошел вниз. По временам ступени под его ногами скрипели, словно стонали от боли. Тогда он замирал на месте и выжидал... Нет, в доме все спокойно, это только отзвук его шагов.

Когда он вошел в библиотеку, ему бросились в глаза саквояж и пальто в углу. Их надо было куда-нибудь спрятать. Он открыл потайной шкаф в стене, где лежал костюм, в который он переодевался для своих ночных походов, и спрятал туда вещи Бэзила, подумав, что их потом можно будет просто сжечь. Затем посмотрел на часы. Было сорок минут второго.

Он сел и принялся размышлять. Каждый год, чуть не каждый месяц в Англии вешают людей за такие преступления, какое он только что совершил. В воздухе словно носится заразительная мания убийства. Должно быть, какая-то кровавая звезда подошла слишком близко к земле...

Однако какие против него улики? Бэзил Холлуорд ушел из его дома в одиннадцать часов. Никто не видел, как он вернулся: почти вся прислуга сейчас в Селби, а камердинер спит...

Париж!.. Да, да, все будут считать, что Бэзил уехал в Париж двенадцатичасовым поездом, как он и намеревался. Он вел замкнутый образ жизни, был до странности скрытен, так что пройдут месяцы, прежде чем его хватятся и возникнут какие-либо подозрения. Месяцы! А следы можно будет уничтожить гораздо раньше.

Вдруг его осенила новая мысль. Надев шубу и шапку, он вышел в переднюю. Здесь постоял, прислушиваясь к медленным и тяжелым шагам полисмена на улице и следя

за отблесками его фонаря в окне. Притаив дыхание, он ждал.

Через несколько минут он отодвинул засов и тихонько вышел, бесшумно закрыв за собой дверь. Потом начал звонить.

Через пять минут появился заспанный и полуодетый лакей.

— Извините, Фрэнсис, что разбудил вас,— сказал Дориан, входя,— я забыл дома ключ. Который час?

— Десять минут третьего, сэр,— ответил слуга, сонно щурясь на часы.

— Третьего? Ох, как поздно! Завтра разбудите меня в девять, у меня с утра есть дело.

— Слушаю, сэр.

— Заходил вечером кто-нибудь?

— Мистер Холлуорд был, сэр. Ждал вас до одиннадцати, потом ушел. Он спешил на поезд.

— Вот как? Жаль, что он меня не застал! Он что-нибудь велел передать?

— Ничего, сэр. Сказал только, что напишет вам из Парижа, если не увидит еще сегодня в клубе.

— Ладно, Фрэнсис. Не забудьте же разбудить меня в девять.

— Не забуду, сэр.

Слуга зашагал по коридору, шлепая ночными туфлями. Дориан бросил пальто и шляпу на столик и пошел к себе в библиотеку. Минут пятнадцать он шагал из угла в угол и размышлял о чем-то, кусая губы. Потом снял с полки Синюю книгу и стал ее перелистывать. Ага, нашел! «Алан Кэмпбел — Мэйфер, Хертфорд-стрит, 152». Да, вот кто ему нужен сейчас!

#### ГЛАВА XIV

На другое утро слуга в девять часов вошел в спальню с чашкой шоколада на подносе и открыл ставни. Дориан спал мирным сном, лежа на правом боку и положив ладонь под щеку. Спал, как ребенок, уставший от игр или занятий.

Чтобы разбудить его, слуге пришлось дважды потрогать за плечо, и наконец Дориан открыл глаза с легкой улыбкой, словно еще не совсем очнувшись от какого-то приятного сна. Однако ему ровно ничего не снилось этой ночью. Сон его не тревожили никакие светлые или мрачные видения. А улыбался он потому, что молодость весела без причин,— в этом ее главное очарование.

Дориан повернулся и, опершись на локоть, стал маленькими глотками пить шоколад. В окна смотрело ласковое ноябрьское солнце. Небо было ясно, и в воздухе чувствовались живительная теплота, почти как в мае.

Постепенно события прошедшей ночи бесшумной и кровавой чередой с ужасающей отчетливостью стали проходить в мозгу Дориана. Он с дрожью вспоминал все, что пережито, и на мгновение снова проснулась в нем та необъяснимая ненависть к Бэзилу Холлуорду, которая заставила его схватиться за нож. Он даже похолодел от бешенства.

А ведь мертвец все еще сидит там наверху! И теперь, при ярком солнечном свете. Это ужасно! Такое отвратительное зрелище терпимо еще под покровом ночи, но не днем...

Дориан почувствовал, что заболевает или сойдет с ума, если еще долго будет раздумывать об этом. Есть грехи, которые вспоминать сладостнее, чем совершать,— своеобразные победы, которые утоляют не столько страсть, сколько гордость, и тешат душу сильнее, чем они когда-либо тешили и способны тешить чувственность. Но этот грех был не таков, его надо было изгнать из памяти, усыпить маковыми зернами, задушить поскорее, раньше, чем он задушит того, кто его совершил.

Часы пробили половину десятого. Дориан провел рукой по лбу и поспешно встал с постели. Он оделся даже тщательнее обычного, с особой заботливостью выбрал галстук и булавку к нему, несколько раз переменял кольца. За завтраком сидел долго, отдавая честь разнообразным блюдам и беседуя с лакеем относительно новых ливрей, которые намеревался заказать для всей прислуги в Селби. Просмотрел утреннюю почту. Некоторые письма он читал с улыбкой, три его раздосадовали, а одно он перечел несколько раз со скучающей и недовольной миной, потом разорвал. «Убийственная вещь эта женская память!» — вспомнились ему слова лорда Генри.

Напившись черного кофе, он не спеша утер рот салфеткой, жестом остановил выходявшего из комнаты лакея и, сев за письменный стол, написал два письма. Одно сунул в карман, другое отдал лакею.

— Снесите это, Фрэнсис, на Хертфорд-стрит, сто пятьдесят два. А если мистера Кэмпбела нет в Лондоне, узнайте его адрес.

Оставшись один, Дориан закурил папиросу и в ожидании принялся рисовать на клочке бумаги сперва цветы и всякие архитектурные орнаменты, потом человеческие лица. Вдруг

он заметил, что все лица, которые он рисовал, имели удивительное сходство с Бэзиллом Холлуордом. Он нахмурился, бросил рисовать и, подойдя к шкафу, взял с полки первую попавшуюся книгу. Он твердо решил не думать о том, что случилось, пока в этом нет крайней необходимости.

Дориан прилегал на кушетку и раскрывал книгу. Это были «Эмали и камни» Готье в роскошном издании Шарпантье на японской бумаге с гравюрами Жакмара. На переплете из лимонно-желтой кожи был вытиснен узор — золотая решетка и нарисованные пунктиром гранаты. Книгу эту подарил ему Адриан Синглтон. Перелистывая ее, Дориан остановил взгляд на поэме о руке Ласнера, «холодной желтой руке, с которой еще не смыт след преступления, руке с рыжим пушком и пальцами фавна». Дориан с невольной дрожью глянул на свои тонкие белые пальцы — и продолжал читать, пока не дошел до прелестных строф о Венеции:

В волненье легкого размера  
Лагун я вижу зеркала,  
Где Адриатики Венера  
Смеется, розово-бела.

Соборы средь морских безлюдий  
В течение музыкальных фраз  
Поднялись, как девичьи груди,  
Когда волнует их экстаз.

Челнок пристал с колонной рядом,  
Закинув за нее канат.  
Пред розовеющим фасадом  
Я прохожу ступеней ряд<sup>1</sup>.

Какие чудные стихи! Читаешь их, и кажется, будто плывешь по зеленым водам розово-жемчужного города в черной гондоле с серебряным носом и вьющимися на ветру занавесками. Даже самые строки в этой книге напоминали Дориану те бирюзовые полосы, что тянутся по воде за лодкой, когда вы плывете на Лидо. Неожиданные вспышки красок в стихах поэта приводили на память птиц с опалово-радужными шейками, что летают вокруг высокой, золотистой, как мед, кампанилы или с величавой грацией прохаживаются под пыльными сводами сумрачных аркад... Откинув голову на подушки и полузакрыв глаза, Дориан твердил про себя:

Пред розовеющим фасадом  
Я прохожу ступеней ряд.

---

<sup>1</sup> Перевод Н. Гумилева.

Вся Венеция была в этих двух строчках. Ему вспомнилась осень, проведенная в этом городе, и чудесная любовь, толкавшая его на всякие безумства. Романтика вездесуща. Но Венеция, как и Оксфорд, создает ей подходящий фон, а для подлинной романтики фон — это все или почти все...

В Венеции тогда некоторое время жил и Бэзил. Он был без ума от Тинторетто. Бедный Бэзил! Какая ужасная смерть!

Дориан вздохнул и, чтобы отвлечься от этих мыслей, снова принялся перечитывать Готье. Он читал о маленьком кафе в Смирне, где в окна то и дело влетают ласточки, где сидят хаджи, перебирая янтарные четки, где купцы в чалмах курят длинные трубки с кисточками и ведут между собой степенную и важную беседу. Читал об Обелиске на площади Согласия, который в своем одиноком изгнании льет гранитные слезы, тоскуя по солнцу и знойному, покрытому лотосами Нилу, стремясь туда, в страну сфинксов, где живут розовые ибисы и белые грифы с золочеными когтями, где крокодилы с маленькими берилловыми глазками барахтаются в зеленом дымящемся иле... Потом Дориан задумался над теми стихами, что, извлекая музыку из зацелованного мрамора, поют о необыкновенной статуе, которую Готье сравнивал с голосом контральто и называет дивным чудовищем, «*monstre charmant*» — об изваянии, которое покоится в порфириновом зале Лувра.

Но вскоре книга выпала из рук Дориана. Им овладело беспокойство, потом приступ дикого страха. Что, если Алан Кэмпбел уехал из Англии? До его возвращения может пройти много дней. Или вдруг Алан не захочет прийти к нему в дом? Что тогда делать? Ведь каждая минута дорога!

Пять лет назад они с Аланом были очень дружны, почти неразлучны. Потом дружба их внезапно оборвалась. И когда они встречались в свете, улыбался только Дориан Грей, Алан Кэмпбел — никогда.

Кэмпбел был высокоодаренный молодой человек, но ничего не понимал в изобразительном искусстве, и если немного научился понимать красоты поэзии, то этим был целиком обязан Дориану. Единственной страстью Алана была наука. В Кембридже он проводил много времени в лабораториях и с отличием окончил курс естественных наук. Он и теперь увлекался химией, у него была собственная лаборатория, где он просиживал целые дни, к великому неудовольствию матери, которая жаждала для сына парламентской карьеры, о химии же имела представле-



ние весьма смутное и полагала, что химик — это что-то вроде аптекаря.

Впрочем, химия не мешала Алану быть превосходным музыкантом. Он играл на скрипке и на рояле лучше, чем большинство дилетантов. Музыка-то и сблизила его с Дорианом Греем, музыка и то неизъяснимое обаяние, которое Дориан умел пускать в ход, когда хотел, а часто даже бессознательно. Они впервые встретились у леди Беркшир однажды вечером, когда там играл Рубинштейн, и потом постоянно бывали вместе в опере и повсюду, где можно было услышать хорошую музыку.

Полтора года длилась эта дружба. Кэмпбела постоянно можно было встретить то в Селби, то в доме на Гровенорсквер. Он, как и многие другие, видел в Дориане Грее воплощение всего прекрасного и замечательного в жизни. О какой-либо ссоре между Дорианом и Аланом не слыхал никто. Но вдруг люди стали замечать, что они при встречах почти не разговаривают друг с другом и Кэмпбел всегда уезжает раньше времени с вечеров, на которых появляется Дориан Грей. Потом Алан сильно переменялся, по временам впадал в странную меланхолию и, казалось, разлюбил музыку: на концерты не ходил и сам никогда не соглашался играть, оправдываясь тем, что научная работа не оставляет ему времени для занятий музыкой. Этому легко было поверить: Алан с каждым днем все больше увлекался биологией, и его фамилия уже несколько раз упоминалась в научных журналах в связи с его интересными опытами.

Этого-то человека и ожидал Дориан Грей, каждую секунду поглядывая на часы. Время шло, и он все сильнее волновался. Наконец встал и начал ходить по комнате, напоминая красивого зверя, который мечется в клетке. Он ходил большими бесшумными шагами. Руки его были холодными как лед.

Ожидание становилось невыносимым. Время не шло, а ползло, как будто у него были свинцовые ноги, а Дориан чувствовал себя, как человек, которого бешеный вихрь мчит к край черной бездны. Он знал, что его там ждет, он это ясно видел и, содрогаясь, зажимал холодными и влажными руками пылающие веки, словно хотел вдавить глаза в череп и лишить зрения даже и мозг. Но тщетно. Мозг питался своими запасами и работал усиленно, фантазия, изощренная страхом, корчилась и металась, как живое существо от сильной боли, плясала подобно уродливой марионетке на подмостках, скалила зубы из-под меняющейся маски.

Затем Время внезапно остановилось. Да, это слепое медлительное существо уже перестало и ползти. И как только замерло Время, страшные мысли стремительно побежали вперед, вытащили жуткое будущее из его могилы и показали Дориану. А он смотрел, смотрел во все глаза, окаменев от ужаса.

Наконец дверь отворилась, и вошел его слуга. Дориан уставился на него мутными глазами.

— Мистер Кэмпбел, сэр,— доложил слуга.

Вздых облегчения сорвался с запекшихся губ Дориана, и кровь снова прилила к лицу.

— Просите сейчас же, Фрэнсис!

Дориан уже приходил в себя. Приступ малодушия миновал.

Слуга с поклоном вышел. Через минуту появился Алан Кэмпбел, суровый и бледный. Бледность лица еще резче подчеркивали его черные как смоль волосы и темные брови.

— Алан, спасибо вам, что пришли. Вы очень добры.

— Грей, я дал себе слово никогда больше не переступить порог вашего дома. Но вы написали, что дело идет о жизни или смерти...

Алан говорил с расстановкой, холодным и жестким тоном. В его пристальном, испытующем взгляде, обращенном на Дориана, сквозило презрение. Руки он держал в карманах и как будто не заметил протянутой руки Дориана.

— Да, Алан, дело идет о жизни или смерти — и не одного человека. Садитесь.

Кэмпбел сел у стола. Дориан — напротив. Глаза их встретились. Во взгляде Дориана светилось глубокое сожаление: он понимал, как ужасно то, что он собирается сделать.

После напряженной паузы он наклонился через стол и сказал очень тихо, стараясь по лицу Кэмпбела угадать, какое впечатление производят его слова:

— Алан, наверху, в запертой комнате, куда, кроме меня, никто не может войти, сидит у стола мертвец. Он умер десять часов тому назад... Сидите спокойно и не смотрите на меня так! Кто этот человек, отчего и как он умер — это вас не касается. Вам только придется сделать вот что...

— Замолчите, Грей! Я ничего не хочу больше слышать. Правду вы сказали или нет,— мне это безразлично. Я решительно отказываюсь иметь с вами дело. Храните про себя свои отвратительные тайны, они меня больше не интересуют.

— Алан, эту тайну вам придется узнать. Мне вас очень жаль, но ничего не поделаешь. Только вы можете меня

спасти. Я вынужден посвятить вас в это дело — у меня нет иного выхода, Алан! Вы человек ученый, специалист по химии и другим наукам. Вы должны уничтожить то, что заперто наверху, — так уничтожить, чтобы следа от него не осталось. Никто не видел, как этот человек вошел в мой дом. Сейчас все уверены, что он в Париже. Несколько месяцев его отсутствие никого не будет удивлять. А когда его хватятся, — нужно, чтобы здесь не осталось и следа от него. Вы, Алан, и только вы должны превратить его и все, что на нем, в горсточку пепла, которую можно развеять по ветру.

— Вы с ума сошли, Дориан!

— Ага, наконец-то вы называли меня «Дориан»! Я этого только и ждал.

— Повторяю — вы сумасшедший, иначе не сделали бы мне этого страшного признания. Уж не воображаете ли вы, что я хоть пальцем шевельну для вас? Не желаю я вмешиваться в это! Неужели вы думаете, что я ради вас соглашусь погубить свою репутацию?.. Знать ничего не хочу о ваших дьявольских затеях!

— Алан, это было самоубийство.

— В таком случае я рад за вас. Но кто его довел до самоубийства? Вы, конечно?

— Так вы все-таки отказываетесь мне помочь?

— Конечно, отказываюсь. Не хочу иметь с вами ничего общего. Пусть вы будете обесчещены — мне все равно. Поделом вам! Я даже буду рад вашему позору. Как вы смеете просить меня, особенно меня, впутаться в такое ужасное дело? Я думал, что вы лучше знаете людей. Ваш друг, лорд Генри Уоттон, многому научил вас, но психологии он вас, видно, плохо учил. Я палец о палец для вас не ударю. Ничто меня не заставит вам помочь. Вы обратились не по адресу, Грей. Обращайтесь за помощью к своим друзьям, но не ко мне!

— Алан, это убийство. Я убил его. Вы знаете, сколько я выстрадал из-за него. В том, что жизнь моя сложилась так, а не иначе, этот человек виноват больше, чем бедный Гарри. Может, он и не хотел этого, но так вышло.

— Убийство?! Боже мой, так вы уже и до этого дошли, Дориан? Я не донесу на вас — не мое это дело. Но вас все равно, наверное, арестуют. Всякий преступник непременно делает какую-нибудь оплошность и выдает себя. Я же, во всяком случае, не стану в это вмешиваться.

— Вы должны вмешаться. Пойдите, пойдите, послушайте меня, выслушайте, Алан. Я вас прошу только

проделать научный опыт. Вы же бываете в больницах, в моргах, и то, что вы там делаете, уже не волнует вас. Если бы вы где-нибудь в анатомическом театре или зловонной лаборатории увидели этого человека на обитом жестью столе с желобами для стока крови, он для вас был бы просто интересным объектом для опытов. Вы занялись бы им, не поморщившись. Вам и в голову бы не пришло, что вы делаете что-то дурное. Напротив, вы бы, вероятно, считали, что работаете на благо человечества, обогащаете науку, удовлетворяете похвальную любознательность, и так далее. То, о чем я вас прошу, вы делали много раз. И, уж конечно, уничтожить труп гораздо менее противно, чем делать то, что вы привыкли делать в секционных залах. Поймите, этот труп — единственная улика против меня. Если его обнаружат, я погиб. А его, несомненно, обнаружат, если вы меня не спасете.

— Вы забыли, что я вам сказал? Я не имею ни малейшего желания спасти вас. Вся эта история меня совершенно не касается.

— Алан, умоляю вас! Подумайте, в каком я положении! Вот только что перед вашим приходом я умирал от ужаса. Быть может, и вам когда-нибудь придется испытать подобный страх... Нет, нет, я не то хотел сказать!.. Взгляните на это дело с чисто научной точки зрения. Ведь вы же не спрашиваете, откуда те трупы, которые служат вам для опытов? Так не спрашивайте и сейчас ни о чем. Я и так уже сказал вам больше, чем следовало. Я вас прошу сделать это. Мы были друзьями, Алан!

— О прошлом вы не поминайте, Дориан. Оно умерло.

— Иногда то, что мы считаем мертвым, долго еще не хочет умирать. Тот человек наверху не уходит. Он сидит у стола, нагнув голову и вытянув руки. Алан, Алан! Если вы не придете мне на помощь, я погиб. Меня повесят, Алан! Понимаете? Меня повесят за то, что я сделал...

— Незачем продолжать этот разговор. Я решительно отказываюсь вам помогать. Вы, видно, помешались от страха, иначе не посмели бы обратиться ко мне с такой просьбой.

— Так вы не согласны?

— Нет.

— Алан, я вас умоляю!

— Это бесполезно.

Снова сожаление мелькнуло в глазах Дориана. Он протянул руку и, взяв со стола листок бумаги, что-то написал на нем. Дважды перечел написанное, старательно

сложил листок и бросил его через стол Алану. Потом встал и отошел к окну.

Кэмпбел удивленно посмотрел на него и развернул записку. Читая ее, он побледнел как смерть и съежился на стуле. Он ощутил ужасную слабость, а сердце билось, билось, словно в пустоте. Казалось, оно готово разорваться.

Прошло две-три минуты в тягостном молчании. Наконец Дориан обернулся и, подойдя к Алану, положил ему руку на плечо.

— Мне вас очень жаль, Алан,— сказал он шепотом,— но другого выхода у меня нет. Вы сами меня к этому вынудили. Письмо уже написано — вот оно. Видите адрес? Если вы меня не выручите, я отошлю его. А что за этим последует, вы сами понимаете. Теперь вы не можете отказаться. Я долго пытался вас щадить — вы должны это признать. Ни один человек до сих пор не смел так говорить со мной — а если бы посмел, его бы уже не было на свете. Я все стерпел. Теперь моя очередь диктовать условия.

Кэмпбел закрыл лицо руками. Видно было, как он дрожит.

— Да, Алан, теперь я буду ставить условия. Они вам уже известны. Ну, ну, не впадайте в истерику! Дело совсем простое и должно быть сделано. Решайтесь — и скорее приступайте к нему!

У Кэмпбела вырвался стон. Его бил озноб. Тиканье часов на камине словно разбивало время на отдельные атомы муки, один невыносимее другого. Голову Алана все туже и туже сжимал железный обруч — как будто позор, которым ему угрожали, уже обрушился на него. Рука Дориана на его плече была тяжелее свинца,— казалось, сейчас она раздавит его. Это было невыносимо.

— Ну же, Алан, решайтесь скорее!

— Не могу,— машинально возразил Кэмпбел, точно эти слова могли изменить что-нибудь.

— Вы должны. У вас нет выбора. Не медлите!

Кэмпбел с минуту еще колебался. Потом спросил:

— В той комнате, наверху, есть камин?

— Да, газовый, с асбестом.

— Мне придется съездить домой, взять кое-что в лаборатории.

— Нет, Алан, я вас отсюда не выпущу. Напишите, что вам нужно, а мой лакей съездит к вам и привезет.

Кэмпбел нацарапал несколько строк, промакнул, а на конверте написал фамилию своего помощника. Дориан взял

у него из рук записку и внимательно прочитал. Потом позвонил, отдал ее пришедшему на звонок слуге, наказав ему вернуться как можно скорее и все привезти.

Стук двери, захлопнувшейся за лакеем, заставил Кэмпбела нервно вздрогнуть. Встав из-за стола, он подошел к камину. Его трясло как в лихорадке. Минут двадцать он и Дориан молчали. В комнате слышно было только жужжание мухи да тиканье часов, отдававшееся в мозгу Алана, как стук молотка.

Куранты пробили час. Кэмпбел обернулся и, взглянув на Дориана, увидел, что глаза его полны слез. В чистоте и тонкости этого печального лица было что-то, взбесившее Алана.

— Вы подлец, гнусный подлец! — сказал он тихо.

— Не надо, Алан! Вы спасли мне жизнь.

— Вашу жизнь? Силы небесные, что это за жизнь? Вы шли от порока к пороку и вот дошли до преступления. Не ради спасения вашей позорной жизни я сделаю то, чего вы от меня требуете.

— Ах, Алан.— Дориан вздохнул.— Хотел бы я, чтобы вы питали ко мне хоть тысячную долю того сострадания, какое я питаю к вам.

Он сказал это, отвернувшись и глядя через окно в сад. Кэмпбел ничего не ответил.

Минут через десять раздался стук в дверь, и вошел слуга, неся большой ящик красного дерева с химическими препаратами, длинный моток стальной и платиновой проволоки и две железных скобы очень странной формы.

— Оставить все здесь, сэр? — спросил он, обращаясь к Кэмпбелу.

— Да,— ответил за Кэмпбела Дориан.— И, к сожалению, Фрэнсис, мне придется дать вам еще одно поручение. Как зовут того садовода в Ричмонде, что поставляет нам в Селби орхидеи?

— Харден, сэр.

— Да, да, Харден. Так вот, надо сейчас же съездить к нему в Ричмонд и сказать, чтобы он прислал вдвое больше орхидей, чем я заказал, и как можно меньше белых... нет, пожалуй, белых совсем не нужно. Погода сегодня отличная, а Ричмонд — прелестное местечко, иначе я не стал бы вас утруждать.

— Помилуйте, какой же это труд, сэр! Когда прикажете вернуться?

Дориан посмотрел на Кэмпбела.

— Сколько времени займет ваш опыт, Алан? — спросил

он самым естественным и спокойным тоном. Видимо, присутствие третьего лица придавало ему смелости.

Кэмпбел нахмурился, прикусил губу.

— Часов пять, — ответил он.

— Значит, можете не возвращаться до половины восьмого, Фрэнсис... А впрочем, знаете что: приготовьте перед уходом все, что мне нужно надеть, и тогда я могу отпустить вас на весь вечер. Я обедаю не дома, так что вы мне не нужны.

— Благодарю вас, сэр, — сказал лакей и вышел.

— Ну, Алан, теперь за дело, нельзя терять ни минуты. Ого, какой тяжелый ящик! Я понесу его, а вы все остальное. Дориан говорил быстро и повелительным тоном.

Кэмпбел покорился. Они вместе вышли в переднюю.

На верхней площадке Дориан достал из кармана ключ и отпер дверь. Но тут он словно прирос к месту, глаза его тревожно забегали, руки тряслись.

— Алан, я, кажется, не в силах туда войти, — пробормотал он.

— Так не входите. Вы мне вовсе не нужны, — холодно отозвался Кэмпбел.

Дориан приоткрыл дверь, и ему бросилось в глаза освещенное солнцем ухмыляющееся лицо портрета. На полу валялось разорванное покрывало. Он вспомнил, что прошлой ночью, впервые за все эти годы, забыл укрыть портрет, и уже хотел было броситься к нему, поскорее его завесить, но вдруг в ужасе отпрянул.

Что это за отвратительная влага, красная и блестящая, выступила на одной руке портрета, как будто полотно покрылось кровавым потом? Какой ужас! Это показалось ему даже страшнее, чем неподвижная фигура, которая, как он знал, сидит тут же в комнате, навалившись на стол, — ее уродливая тень на залитом кровью ковре свидетельствовала, что она на том же месте, где была вчера.

Дориан тяжело перевел дух и, шире открыв дверь, быстро вошел в комнату. Опустив глаза и отворачиваясь от мертвеца, в твердой решимости ни разу не взглянуть на него, он нагнулся, подобрал пурпурно-золотое покрывало и бросил его на портрет.

Боясь оглянуться, он стоял и смотрел неподвижно на сложный узор вышитой ткани. Он слышал, как Кэмпбел внес тяжелый ящик, потом все остальные вещи, нужные ему. И Дориан неожиданно спросил себя, был ли Алан знаком с Бэзилем Холлуордом и, если да, то что они думали друг о друге?

— Теперь уходите,— произнес за его спиной суровый голос.

Он повернулся и поспешно вышел. Успел только заметить, что мертвец теперь посажен прямо, прислонен к спинке стула, и Кэмпбел смотрит в его желтое, лоснящееся лицо. Сходя вниз, он услышал, как щелкнул ключ в замке.

Было уже гораздо позднее семи, когда Кэмпбел вернулся в библиотеку. Он был бледен, но совершенно спокоен.

— Я сделал то, чего вы требовали. А теперь прощайте навсегда. Больше я не хочу с вами встречаться.

— Вы спасли мне жизнь, Алан. Этого я никогда не забуду,— сказал Дориан просто.

Как только Кэмпбел ушел, Дориан побежал наверх. В комнате стоял резкий запах азотной кислоты. Мертвый человек, сидевший у стола, исчез.

## ГЛАВА XV

В тот же вечер, в половине девятого, Дориан Грей, прекрасно одетый, с большой бутоньеркой пармских фиалок в петлице, вошел в гостиную леди Нарборо, куда его с поклонами проводили лакеи. В висках у него бешено стучала кровь, нервы были взвинчены до крайности, но он поцеловал руку хозяйки дома с обычной своей непринужденной грацией. Пожалуй, спокойствие и непринужденность кажутся более всего естественными тогда, когда человек вынужден притворяться. И, конечно, никто из тех, кто видел Дориана Грея в этот вечер, ни за что бы не поверил, что он пережил трагедию, страшнее которой не бывает в наше время. Не могли эти тонкие, изящные пальцы сжимать разящий нож, эти улыбающиеся губы оскорблять бога и все, что священно для человека! Дориан и сам удивлялся своему внешнему спокойствию. И бывали минуты, когда он, думая о своей двойной жизни, испытывал острое наслаждение.

В этот вечер у леди Нарборо гостей было немного — только те, кого она наспех успела созвать. Леди Нарборо была умная женщина, сохранившая, как говаривал лорд Генри, остатки поистине замечательной некрасивости. Долгие годы она была примерной женой одного из наших послов, скучнейшего человека, а по смерти супруга похоронила его с подобающей пышностью в мраморном мавзолее, сооруженном по ее собственному рисунку, выдала дочерей замуж за богатых, но довольно пожилых людей, и теперь на свободе наслаждалась французскими романами, француз-



ской кухней и французским остроумием, когда ей удавалось где-нибудь обнаружить его.

Дориан был одним из ее особенных любимцев, и в разговорах с ним она постоянно выражала величайшее удовольствие по поводу того, что не встретилась с ним, когда была еще молода.

«Я уверена, что влюбилась бы в вас до безумия, мой милый,— говаривала она,— и ради вас забросила бы свой чепец за мельницу. Какое счастье, что вас тогда еще и на свете не было! Впрочем, в мое время дамские чепцы были так уродливы, а мельницы так заняты своим прозаическим делом, что мне не пришлось даже ни с кем пофлиртовать. И, конечно, больше всего в этом виноват был Нарборо. Он был ужасно близорук, а что за удовольствие обманывать мужа, который ничего не видит?»

В этот вечер в гостиной леди Нарборо было довольно скучно. К ней,— как она тихонько пояснила Дориану, закрываясь весьма потрепанным веером,— совершенно неожиданно приехала погостить одна из ее замужних дочерей и, что всего хуже, привезла с собой своего супруга.

— Я считаю, что это очень неделикатно с ее стороны,— шепотом жаловалась леди Нарборо.— Правда, я тоже у них гощу каждое лето по возвращении из Гамбурга,— но ведь в моем возрасте необходимо время от времени подышать свежим воздухом. И, кроме того, когда я приезжаю, я стараюсь расшевелить их, а им это необходимо. Если бы вы знали, какое они там ведут существование! Настоящие провинциалы! Встают чуть свет, потому что у них очень много дела, и ложатся рано, потому что им думать совершенно не о чем. Со времен королевы Елизаветы во всей округе не было ни одной скандальной истории, и им остается только спать после обеда. Но вы не бойтесь, за столом вы не будете сидеть рядом с ними! Я вас посажу подле себя, и вы будете меня занимать.

Дориан в ответ сказал ей какую-то любезность и обвел глазами гостиную. Общество собралось явно неинтересное. Двоих он видел в первый раз, а кроме них, здесь были Эрнест Хорроуден, бесцветная личность средних лет, каких много среди завсегдаэв лондонских клубов, человек, у которого нет врагов, но их с успехом заменяют тайно ненавидящие его друзья; леди Рэкстон, чересчур разряженная сорокасемилетняя дама с крючковатым носом, которая жаждала быть скомпрометированной, но была настолько дурна собой, что, к великому ее огорчению, никто

не верил в ее безнравственное поведение; миссис Эрлин, дама без положения в обществе, но весьма энергично стремившаяся его завоевать, рыжая, как венецианка, и премило картавившая; дочь леди Нарборо, леди Элис Чэпмен, безвкусно одетая молодая женщина с типично английским незапоминающимся лицом; и муж ее, краснощекий джентльмен с белоснежными бакенбардами, который, подобно большинству людей этого типа, воображал, что избытком жизнерадостности можно искупить полнейшую неспособность мыслить.

Дориан уже жалел, что приехал сюда, но вдруг леди Нарборо взглянула на большие часы из золоченой бронзы, стоявшие на камине, и воскликнула:

— Генри Уоттон непозволительно опаздывает! А ведь я нарочно послала к нему сегодня утром, и он клятвенно обещал прийти.

Известие, что придет лорд Генри, несколько утешило Дориана, и, когда дверь открылась и он услышал протяжный и мелодичный голос, придававший очарование неискреннему извинению, его скуку и досаду как рукой сняло.

Но за обедом он ничего не мог есть. Тарелку за тарелкой уносил нетронутыми. Леди Нарборо все время бранила его за то, что он «обижает бедного Адольфа, который придумал меню специально по его вкусу», а лорд Генри издали поглядывал на своего друга, удивленный его молчаливостью и рассеянностью. Дворецкий время от времени наливал Дориану шампанского, и Дориан выпивал его залпом, — жажда мучила его все сильнее.

— Дориан, — сказал наконец лорд Генри, когда подали заливное из дичи. — Что с вами сегодня? Вы на себя не похожи.

— Влюблен, наверное! — воскликнула леди Нарборо. — И боится, как бы я его не приревновала, если узнаю об этом. И он совершенно прав. Конечно, я буду ревновать!

— Дорогая леди Нарборо, — сказал Дориан с улыбкой, — я не влюблен ни в кого вот уже целую неделю — с тех пор как госпожа да Феррол уехала из Лондона.

— Как это вы, мужчины, можете увлекаться такой женщиной! Это для меня загадка, право, — заметила старая дама.

— Мы ее любим за то, леди Нарборо, что она помнит вас маленькой девочкой, — вмешался лорд Генри. — Она единственное звено между нами и вашими короткими платьицами.

— Она вовсе не помнит моих коротких платьиц, лорд

Генри. Зато я помню очень хорошо, какой она была тридцать лет назад, когда мы встретились в Вене, и как она тогда была декольтирована.

— Она и теперь появляется в обществе не менее декольтированной, — отозвался лорд Генри, беря длинными пальцами маслину. — И когда разоденется, то напоминает роскошное издание плохого французского романа. Но она занятая женщина, от нее всегда можно ожидать какого-нибудь сюрприза. А какое у нее любвеобильное сердце, какая склонность к семейной жизни! Когда умер ее третий муж, у нее от горя волосы стали совсем золотые.

— Гарри, как вам не стыдно! — воскликнул Дориан.

— В высшей степени поэтическое объяснение! — воскликнула леди Нарборо со смехом. — Вы говорите — третий муж? Неужели же Феррол у нее четвертый?

— Именно так, леди Нарборо!

— Ни за что не поверю.

— Ну, спросите у мистера Грея, ее близкого друга.

— Мистер Грей, это правда?

— По крайней мере, так она утверждает, леди Нарборо. Я спросил у нее, не балзамирует ли она сердца своих мужей и не носит ли их на поясе, как Маргарита Наваррская. Она ответила, что это невозможно, потому что ни у одного из них не было сердца.

— Четыре мужа! Вот уж можно сказать — *trop de zèle!*<sup>1</sup>

— Вернее — *trop d'audace!*<sup>2</sup> Я так и сказал ей, — отозвался Дориан.

— О, смелости у нее хватит на все, не сомневайтесь, милый мой! А что собой представляет этот Феррол? Я его не знаю.

— Мужей очень красивых женщин я отношу к разряду преступников, — объявил лорд Генри, отхлебнув глоток вина.

Леди Нарборо ударила его веером.

— Лорд Генри, меня ничуть не удивляет, что свет считает вас в высшей степени безнравственным человеком.

— Неужели? — спросил лорд Генри, поднимая брови. — Вероятно, вы имеете в виду тот свет? С этим светом я в прекрасных отношениях.

— Нет, все, кого я только знаю, говорят, что вы опасный человек, — настаивала леди Нарборо, качая головой.

---

<sup>1</sup> Слишком большое рвение (фр.).

<sup>2</sup> Слишком большая смелость (фр.).

Лорд Генри на минуту стал серьезен.

— Просто возмутительно, — сказал он, — что в наше время принято за спиной у человека говорить о нем вещи, которые... безусловно верны.

— Честное слово, он неисправим! — воскликнул Дориан, наклоняясь через стол.

— Надеюсь, что это так, — воскликнула, смеясь, леди Нарборо. — И послушайте — раз все вы до смешного восторгаетесь мадам де Феррол, придется, видно, и мне выйти замуж второй раз, чтобы не отстать от моды.

— Вы никогда больше не выйдете замуж, леди Нарборо, — возразил лорд Генри. — Потому что вы были счастливы в браке. Женщина выходит замуж вторично только в том случае, если первый муж был ей противен. А мужчина женится опять только потому, что очень любил первую жену. Женщины ищут в браке счастья, мужчины ставят свое на карту.

— Нарборо был не так уже безупречен, — заметила старая леди.

— Если бы он был совершенством, вы бы его не любили, дорогая. Женщины любят нас за наши недостатки. Если этих недостатков изрядное количество, они готовы все нам простить, даже ум... Боюсь, что за такие речи вы перестанете приглашать меня к обеду, леди Нарборо, но что поделаешь — это истинная правда.

— Конечно, это верно, лорд Генри. Если бы женщины не любили вас, мужчин, за ваши недостатки, что было бы с вами? Ни одному мужчине не удалось бы жениться, все вы остались бы несчастными холостяками. Правда, и это не заставило бы вас перемениться. Теперь все женатые мужчины живут как холостяки, а все холостые — как женатые.

— *Fin de siècle!*<sup>1</sup> — проронил лорд Генри.

— *Fin du globe!*<sup>2</sup> — подхватила леди Нарборо.

— Если бы поскорее *fin du globe!* — вздохнул Дориан. — Жизнь — сплошное разочарование.

— Ах, дружок, не говорите мне, что вы исчерпали жизнь! — воскликнула леди Нарборо, натягивая перчатки. — Когда человек так говорит, знайте, что жизнь исчерпала его. Лорд Генри — человек безнравственный, а я порой жалею, что была добродетельна. Но вы — другое дело. Вы не можете быть дурным — это видно по вашему

<sup>1</sup> Конец века (фр.).

<sup>2</sup> Конец света (фр.).

лицу. Я непременно подыщу вам хорошую жену. Лорд Генри, вы не находите, что мистеру Грею пора жениться?

— Я ему всегда это твержу, леди Нарборо,— сказал лорд Генри с поклоном.

— Ну, значит, надо найти ему подходящую партию. Сегодня же внимательно просмотрю Дебретта и составлю список всех невест, достойных мистера Грея.

— И укажете их возраст, леди Нарборо? — спросил Дориан.

— Обязательно укажу,— конечно, с некоторыми поправками. Однако в таком деле спешка не годится. Я хочу, чтобы это был, как выражается «Морнинг пост», подобающий брак и чтобы вы и жена были счастливы.

— Сколько ерунды у нас говорится о счастливых браках! — возмутился лорд Генри.— Мужчина может быть счастлив с какой угодно женщиной, если только он ее не любит.

— Какой же вы циник! — воскликнула леди Нарборо, отодвинув свой стул от стола и кивнув леди Рэкстон.— Навещайте меня почаще, лорд Генри. Вы на меня действуете гораздо лучше, чем все тонические средства, которые мне прописывает сэр Эндрью. И скажите заранее, кого вам хотелось бы встретить у меня. Я постараюсь подобрать как можно более интересную компанию.

— Я люблю мужчин с будущим и женщин с прошлым,— ответил лорд Генри.— Только, пожалуй, тогда вам удастся собрать исключительно дамское общество.

— Боюсь, что да! — со смехом согласилась леди Нарборо.

Она встала из-за стола и обратилась к леди Рэкстон:

— Ради бога, извините, моя дорогая, я не видела, что вы еще не докурили папиросу.

— Не беда, леди Нарборо, я слишком много курю. Я и то уже решила быть умереннее.

— Ради бога, не надо, леди Рэкстон,— сказал лорд Генри.— Воздержание — в высшей степени пагубная привычка. Умеренность — это все равно что обыкновенный скучный обед, а неумеренность — праздничный пир.

Лэди Рэкстон с любопытством посмотрела на него.

— Непременно приезжайте как-нибудь ко мне, лорд Генри, и разъясните мне это подробнее. Ваша теория очень увлекательна,— сказала она, выплывая из столовой.

— Ну-с, мы уходим наверх, а вы тоже не занимайтесь тут слишком долго политикой и сплетнями, приходите поско-

рее, иначе мы там все перессоримся,— крикнула леди Нарборо с порога.

Все засмеялись. Когда дамы вышли, мистер Чэпмен, сидевший в конце стола, величественно встал и занял почетное место. Дориан Грей тоже пересел — поближе к лорду Генри. Мистер Чэпмен немедленно стал разглагольствовать о положении дел в палате общин, высмеивая своих противников. Слово «доктринер», столь страшное для англичанина, слышалось по временам среди взрывов смеха. Мистер Чэпмен поднимал британский флаг на башнях Мысли и доказывал, что наследственная тупость британской нации (этот оптимист, конечно, именовал ее «английским здравым смыслом») есть подлинный оплот нашего общества.

Лорд Генри слушал его с усмешкой. Наконец он повернулся и взглянул на Дориана.

— Ну, что, мой друг, вы уже чувствуете себя лучше? За обедом вам как будто было не по себе?

— Нет, я совершенно здоров, Генри. Немного устал, вот и все.

— Вчера вы были в ударе и совсем пленили маленькую герцогиню. Она мне сказала, что собирается в Селби.

— Да, она обещала приехать двадцатого.

— И Монмаут приедет с нею?

— Ну конечно, Гарри.

— Он мне ужасно надоел, почти так же, как ей. Она умница, умнее, чем следует быть женщине. Ей не хватает несравненного очарования женской слабости. Ведь не будь у золотого идола глиняных ног, мы ценили бы его меньше. Ножки герцогини очень красивы, но они не глиняные. Скорее можно сказать, что они из белого фарфора. Ее ножки прошли через огонь, а то, что огонь не уничтожает, он закаляет. Эта маленькая женщина уже много испытала в жизни.

— Давно она замужем? — спросил Дориан.

— По ее словам, целую вечность. А в книге пэров, насколько я помню, указано десять лет. Но десять лет жизни с Монмаутом могут показаться вечностью... А кто еще приедет в Селби?

— Виллоуби и лорд Рэгби — оба с женами, потом леди Нарборо, Джеффри, Глостон, — словом, все та же обычная компания. Я пригласил еще лорда Гротриана.

— А, вот это хорошо! Он мне нравится. Многие его не любят, а я нахожу, что он очень мил. Если иной раз чересчур франтит, то этот грех искупается его замечательной образованностью. Он вполне современный человек.

— Погодите радоваться, Гарри,— еще неизвестно, сможет ли он приехать. Возможно, что ему придется везти отца в Монте-Карло.

— Ох, что за несносный народ эти родители! Все-таки постарайтесь, чтобы он приехал, уговорите его... Кстати, Дориан, вы очень рано сбежали от меня вчера,— еще и одиннадцать не было. Что вы делали потом? Неужели отправились прямо домой?

Дориан метнул на него быстрый взгляд и нахмурился.

— Нет, Гарри,— не сразу ответил он.— Домой я вернулся только около трех.

— Были в клубе?

— Да... То есть нет! — Дориан прикусил губу.— В клубе я не был. Так, гулял... Не помню, где был... Как вы любопытны, Гарри! Непременно вам нужно знать, что человек делает. А я всегда стараюсь забыть, что я делал. Если уж хотите знать точно, я пришел домой в половине третьего. Я забыл взять с собою ключ, и моему лакею пришлось открыть мне. Если вам нужно подтверждение, можете спросить у него.

Лорд Генри пожал плечами.

— Полноте, мой милый, на что мне это нужно! Пойдемте в гостиную к дамам... Нет, спасибо, мистер Чэпмен, я не пью хереса... С вами что-то случилось, Дориан! Скажите мне что? Вы сегодня сам не свой.

— Ах, Гарри, не обращайтесь на это внимания. Я сегодня в дурном настроении, и все меня раздражает. Завтра или послезавтра я загляну к вам. В гостиную я не пойду, мне надо ехать домой. Передайте леди Нарборо мои извинения.

— Ладно, Дориан. Жду вас завтра к чаю. Герцогиня тоже будет.

— Постараюсь,— сказал Дориан, уходя.

Он ехал домой, чувствуя, что страх, который он, казалось, уже подавил в себе, снова вернулся. Случайный вопрос лорда Генри вывел его из равновесия, а ему сейчас очень нужно было сохранить самообладание и мужество. Предстояло уничтожить опасные улики, и он содрогался при одной мысли об этом. Ему даже дотронуться до них было страшно.

Но это было необходимо. И, войдя к себе в библиотеку, Дориан запер дверь изнутри, затем открыл тайник в стене, куда спрятал пальто и саквояж Бэзила. В камине пылал яркий огонь. Дориан подбросил еще поленьев... Запах паленого сукна и горящей кожи был невыносим. Чтобы все

уничтожить, пришлось провозиться целых три четверти часа. Под конец Дориана даже начало тошнить, кружилась голова. Он зажег несколько алжирских курительных свечек на медной жаровне, потом смочил руки и лоб освежающим ароматным уксусом...

Вдруг зрачки его расширились, в глазах появился странный блеск. Он нервно закусил нижнюю губу. Между окнами стоял флорентинский шкаф черного дерева с инкрустацией из слоновой кости и ляпис-лазури. Дориан уставился на него как заворуженный, — казалось, шкаф его и привлекал и пугал, словно в нем хранилось что-то, чего он жаждал и что вместе с тем почти ненавидел. Он задыхался от неистового желания... Закурил папиросу — и бросил. Веки его опустились так низко, что длинные пушистые ресницы почти касались щек. Но он все еще не двигался и не отрывал глаз от шкафа.

Наконец он встал с дивана, подошел к шкафу и, отперев, нажал секретную пружину. Медленно выдвинулся трехугольный ящичек. Пальцы Дориана инстинктивно потянулись к нему, проникли внутрь и вынули китайскую лакированную шкатулку, черную с золотом, тончайшей отделки, с волнистым орнаментом на стенках, с шелковыми шнурками, которые были унизаны хрустальными бусами и кончались металлическими кисточками. Дориан открыл шкатулку. Внутри лежала зеленая паста, похожая на воск, со странно-тяжелым запахом.

Минуту-другую он медлил с застывшей на губах улыбкой. В комнате было очень жарко, а его знобило. Он потянулся, глянул на часы... Было без двадцати двенадцать. Он поставил шкатулку на место, захлопнул дверцы шкафа и пошел в спальню.

Когда бронзовый бой часов во мраке возвестил полночь, Дориан Грей в одежде простолюдина, обмотав шарфом шею, крадучись, вышел из дому. На Бонд-стрит он встретил кеб с хорошей лошадью. Он подозвал его и вполголоса сказал кучеру адрес.

Тот покачал головой.

— Это слишком далеко.

— Вот вам совершен, — сказал Дориан. — И получите еще один, если поедете быстро.

— Ладно, сэр, — отозвался кучер. — Через час будете на месте.

Дориан сел в кеб, а кучер, спрятав деньги, повернул лошадь и помчался по направлению к Темзе.



Полил холодный дождь, и сквозь его туманную завесу тусклый свет уличных фонарей казался жутко-мертвенным. Все трактиры уже закрывались, у дверей их стояли кучками мужчины и женщины, неясно-видные в темноте. Из одних кабаков вылетали на улицу взрывы грубого хохота, в других пьяные визжали и переругивались. Полулежа в кебе и низко надвинув на лоб шляпу, Дориан Грей равнодушно наблюдал отвратительную изнанку жизни большого города и время от времени повторял про себя слова, сказанные ему лордом Генри в первый день их знакомства: «Лечите душу ощущениями, а ощущения пусть лечит душа». Да, в этом весь секрет! Он, Дориан, часто старался это делать, будет стараться и впредь. Есть притоны для курильщиков опиума, где можно купить забвение. Есть ужасные вертепы, где память о старых грехах можно утопить в безумии новых.

Луна, низко висевшая в небе, была похожа на желтый череп. Порой большущая безобразная туча протягивала длинные щупальца и закрывала ее. Все реже встречались фонари, и улицы, которыми проезжал теперь кеб, становились все более узкими и мрачными. Кучер даже раз сбился с дороги, и пришлось ехать обратно с полмили. Лошадь уморилась, шлепая по лужам, от нее валил пар. Боковые стекла кеба были снаружи плотно укрыты серой фланелью тумана.

«Лечите душу ощущениями, а ощущения пусть лечит душа». Как настойчиво звучали эти слова в ушах Дориана. Да, душа его больна смертельно. Но вправду ли ощущения могут исцелить ее? Ведь он пролил невинную кровь. Чем можно это искупить? Нет, этому нет прощения!..

Ну что ж, если нельзя себе этого простить, так можно забыть.

И Дориан твердо решил забыть, вычеркнуть все из памяти, убить прошлое, как убивают гадюку, ужалившую человека. В самом деле, какое право имел Бэзил говорить с ним так? Кто его поставил судьей над другими людьми? Он сказал ужасные слова, слова, которые невозможно было стерпеть.

Кеб тащился все дальше, и казалось, с каждым шагом все медленнее. Дориан опустил стекло и крикнул кучеру, чтобы он ехал быстрее. Его томила мучительная жажда опиума, в горле пересохло, холеные руки конвульсивно

сжимались. Он в бешенстве ударил лошадь своей тростью. Кучер рассмеялся и, в свою очередь, подстегнул ее кнутом. Дориан тоже засмеялся — и кучер почему-то притих.

Казалось, езде не будет конца. Сеть узких улочек напоминала широко раскинутую черную паутину. В однообразии их было что-то угнетающее. Туман все сгущался. Дориану стало жутко.

Проехали пустынный квартал кирпичных заводов. Здесь туман был не так густ, и можно было разглядеть печи для обжига, похожие на высокие бутылки, из которых вырывались оранжевые веерообразные языки пламени. На проезжавший кеб залаяла собака, где-то далеко во мраке кричала заблудившаяся чайка. Лошадь споткнулась, попав ногой в колею, шаркнулась в сторону и поскакала галопом.

Через некоторое время они свернули с грунтовой дороги, и кеб снова загрохотал по неровной мостовой. В окнах домов было темно, и только кое-где на освещенной изнутри шторе мелькали фантастические силуэты. Дориан с интересом смотрел на них. Они двигались, как громадные марионетки, а жестикулировали, как живые люди. Но скоро они стали раздражать его. В душе поднималась глухая злоба. Когда завернули за угол, женщина крикнула им что-то из открытой двери, в другом месте двое мужчин погнались за кебом и пробежали ярдов сто. Кучер отогнал их кнутом.

Говорят, у человека, одержимого страстью, мысли вращаются в замкнутом кругу. Действительно, искусанные губы Дориана Грея с утомительной настойчивостью повторяли и повторяли все ту же коварную фразу о душе и ощущениях, пока он не внушил себе, что она полностью выражает его настроение и оправдывает страсти, которые, впрочем, и без этого оправдания все равно владели бы им. Одна мысль заполонила его мозг, клетку за клеткой, и неистовая жажда жизни, самый страшный из человеческих appetitов, напрягала, заставляя трепетать каждый нерв, каждый фибр его тела. Уродства жизни, когда-то ненавидимые ему, потому что возвращали к действительности, теперь по той же причине стали ему дороги. Да, безобразие жизни стало единственной реальностью. Грубые ссоры и драки, грязные притоны, бесшабашный разгул, низость воров и подонков общества поражали его воображение сильнее, чем прекрасные творения Искусства и грезы, навеваемые Песней. Они были ему нужны, потому что давали забвение. Он говорил себе, что через три дня отделается от воспомина-

Вдруг кучер рывком остановил кеб у темного переулка. За крышами и ветхими дымовыми трубами невысоких домов виднелись черные мачты кораблей. Клубы белого тумана, похожие на призрачные паруса, льнули к их реям.

— Это где-то здесь, сэр? — хрипло спросил кучер через стекло.

Дориан встrepенулся и окинул улицу взглядом.

— Да, здесь, — ответил он и, поспешно выйдя из кеба, дал кучеру обещанный второй соверен, затем быстро зашагал по направлению к набережной. Кое-где на больших торговых судах горели фонари. Свет их мерцал и дробился в лужах. Вдалеке пылали красные огни парохода, отправлявшегося за границу и набиравшего уголь. Скользящая мостовая блестела, как мокрый макинтош.

Дориан пошел налево, то и дело оглядываясь, чтобы убедиться, что никто за ним не следит. Через семь-восемь минут он добрался до ветхого, грязного дома, вклинившегося между двумя захудалыми фабриками. В окне верхнего этажа горела лампа. Здесь Дориан остановился и постучал в дверь. Стук был условный.

Через минуту он услышал шаги в коридоре, и забренчала снятая с крюка дверная цепочка. Затем дверь тихо отворилась, и он вошел, не сказав ни слова приземистому тучному человеку, который отступил во мрак и прижался к стене, давая ему дорогу. В конце коридора висела грязная зеленая занавеска, колыхавшаяся от резкого ветра, который ворвался в открытую дверь. Отдернув эту занавеску, Дориан вошел в длинное помещение с низким потолком, похожее на третьеразрядный танцкласс. На стенах горели газовые рожки, их резкий свет тускло и криво отражался в засиженных мухами зеркалах. Над газовыми рожками рефлекторы из гофрированной жести казались дрожащими кругами огня. Пол был усыпан ярко-желтыми опилками со следами грязных башмаков и темными пятнами от пролитого вина. Несколько малайцев, сидя на корточках у топившейся железной печурки, играли в кости, болтали и смеялись, скаля белые зубы. В одном углу, навалившись грудью на стол и положив голову на руки, сидел моряк, а у пестро размазанной стойки, занимавшей всю стену, две изможденные женщины дразнили старика, который брезгливо чистил щеткой рукава своего пальто.

— Ему все чудится, будто по нему красные муравьи ползают, — с хохотом сказала одна из женщин проходивше-

му мимо Дориану. Старик с ужасом посмотрел на нее и жалобно захныкал.

В дальнем конце комнаты лесенка вела в затемненную каморку. Дориан взбежал по трем расшатанным ступенькам, и ему ударил в лицо душный запах опиума. Он глубоко вдохнул его, и ноздри его затрепетали от наслаждения. Когда он вошел, белокурый молодой человек, который, наклонясь над лампой, зажигал длинную тонкую трубку, взглянул на него и нерешительно кивнул ему головой.

— Вы здесь, Адриан?

— Где же мне еще быть? — был равнодушный ответ. — Со мной теперь никто из прежних знакомых и разговаривать не хочет.

— А я думал, что вы уехали из Англии.

— Дарлингтон палец о палец не ударит... Мой брат наконец уплатил по векселю... Но Джордж тоже меня знать не хочет... Ну, да все равно, — добавил он со вздохом. — Пока есть вот это снадобье, друзья мне не нужны. Пожалуй, у меня их было слишком много.

Дориан вздрогнул и отвернулся. Он обвел глазами жуткие фигуры, в самых нелепых и причудливых позах раскинувшиеся на рваных матрацах. Судорожно скрюченные руки и ноги, разинутые рты, остановившиеся тусклые зрачки — эта картина словно заволаживала его. Ему были знакомы муки того странного рая, в котором пребывали эти люди, как и тот мрачный ад, что открывал им тайны новых радостей. Сейчас они чувствовали себя счастливее, чем он, ибо он был в плену у своих мыслей. Воспоминания, как страшная болезнь, глодали его душу. Порой перед ним всплывали устремленные на него глаза Бэзила Холлуорда. Как ни жаждал он поскорее забыться, он почувствовал, что не в силах здесь оставаться. Присутствие Адриана Синглтона смущало его. Хотелось уйти куда-нибудь, где его никто не знает. Он стремился уйти от самого себя.

— Пойду в другое место, — сказал он после некоторого молчания.

— На верфь?

— Да.

— Но эта дикая кошка, наверное, там. Сюда ее больше не пускают.

Дориан пожал плечами.

— Ну что ж! Мне до тошноты надоели влюбленные женщины. Женщины, которые ненавидят, гораздо интереснее. Кроме того, зелье там лучше.

— Да нет, такое же.

— Тамошнее мне больше по вкусу. Пойдемте выпьем чего-нибудь. Мне сегодня хочется напиток.

— А мне ничего не хочется,— пробормотал Адриан.

— Все равно, пойдемте.

Адриан Синглтон лениво встал и пошел за Дорианом к буфету. Мулат в рваной чалме и потрепанном пальто приветствовал их, противно скаля зубы, и со стуком поставил перед ними бутылку бренди и две стопки. Женщины, стоявшие у прилавка, тотчас придвинулись ближе и стали заговаривать с ними. Дориан повернулся к ним спиной и что-то тихо сказал Синглтону.

Одна из женщин криво усмехнулась.

— Ишь какой он сегодня гордый! — фыркнула она.

— Ради бога, оставь меня в покое! — крикнул Дориан, топнув ногой.— Чего тебе надо? Денег? На, возьми и не смей со мной больше заговаривать.

Красные искры вспыхнули на миг в мутных зрачках женщины, но тотчас потухли, и глаза снова стали тусклыми и безжизненными. Она трянула головой и с жадностью сгребла со стойки брошенные ей монеты. Ее товарка завистливо наблюдала за ней.

— Ни к чему это,— со вздохом сказал Адриан, продолжая разговор.— Я не стремлюсь вернуться туда. Зачем? Мне и здесь очень хорошо.

— Напишите мне, если вам понадобится что-нибудь. Обещаете? — спросил Дориан, помолчав.

— Может быть, и напишу.

— Ну, пока до свиданья.

— До свиданья,— ответил молодой человек и, утирая платком запекшиеся губы, стал подниматься по лесенке.

Дориан с болью посмотрел ему вслед и пошел к выходу. Когда он отодвигал занавеску, ему вдогонку прозвучал привычный смех женщины, которой он дал деньги.

— Уходит эта добыча дьявола! — хрипло закричала она, икая.

— Не смей меня так называть, проклятая! — крикнул Дориан в ответ.

Она щелкнула пальцами и еще громче заорала ему вслед:

— А тебе хочется, чтобы тебя называли Прекрасный Принц, да?

Дремавший за столом моряк, услышав эти слова, вскочил и как безумный осмотрелся кругом. Когда из прихожей

донесся стук захлопнувшейся двери, он выбежал стремглав, словно спасаясь от погони.

Дориан Грей под морозящим дождем быстро шел по набережной. Встреча с Адрианом Синглтоном почему-то сильно взволновала его, и он спрашивал себя, прав ли был Бэзил Холлуорд, когда с такой оскорбительной прямоотой сказал ему, что разбитая жизнь этого юноши — дело рук его, Дориана. На минуту глаза его приняли печальное выражение. Но он тотчас же встряхнулся.

Собственно, ему-то что? Слишком коротка жизнь, чтобы брать на себя еще и бремя чужих ошибок. Каждый живет, как хочет, и расплачивается за это сам. Жаль только, что так часто человеку за одну-единственную ошибку приходится расплачиваться без конца. В своих расчетах с человеком Судьба никогда не считает его долг погашенным.

Если верить психологам, бывают моменты, когда жажда греха (или того, что люди называют грехом) так овладевает человеком, что каждым фибром его тела, каждой клеточкой его мозга движут опасные инстинкты. В такие моменты люди теряют свободу воли. Как автоматы, идут они навстречу своей гибели. У них уже нет иного выхода, сознание их либо молчит, либо своим вмешательством только делает бунт заманчивее. Ведь теологи не устают твердить нам, что самый страшный из грехов — это грех непослушания. Великий дух, предтеча зла, был изгнан с небес именно за мятеж.

Бесчувственный ко всему, жаждущий лишь утешений порока, Дориан Грей, человек с оскверненным воображением и бунтующей душой, спешил вперед, все ускоряя шаг. Но когда он нырнул в темный крытый проход, которым часто пользовался для сокращения пути к тому притону с дурной славой, куда он направлялся, — сзади кто-то неожиданно схватил его за плечи и, не дав ему опомниться, прижал к стене, грубой рукой вцепившись ему в горло.

Дориан стал отчаянно защищаться и, сделав страшное усилие, оторвал от горла сжимавшие его пальцы. В ту же секунду щелкнул курок, и в глаза Дориану блеснул револьвер, направленный прямо ему в лоб. Он смутно видел в темноте стоявшего перед ним невысокого, коренастого мужчину.

— Чего вам надо? — спросил Дориан, задыхаясь.

— Стойте смирно! — скомандовал тот. — Только шевельнитесь — и я вас пристрелю.

— Вы с ума сошли! Что я вам сделал?

— Вы разбили жизнь Сибилы Вэйн, а Сибила Вэйн — моя сестра. Она покончила с собой. Я знаю, это вы виноваты

в ее смерти, и я дал клятву убить вас. Столько лет я вас разыскивал — ведь не было никаких следов... Только два человека могли бы вас описать, но оба они умерли. Я ничего не знал о вас — только то ласкательное прозвище, что она дала вам. И сегодня я случайно услышал его. Молитесь богу, потому что вы сейчас умрете.

Дориан Грей обомлел от страха.

— Я ее никогда не знал,— прошептал он, заикаясь.— И не слыхивал о ней. Вы сумасшедший.

— Кайтесь в своих грехах, я вам говорю, потому что вы умрете, это так же верно, как то, что я — Джеймс Вэйн.

Страшная минута. Дориан не знал, что делать, что сказать.

— На колени! — прорычал Джеймс Вэйн.— Даю вам одну минуту, не больше, чтобы помолиться. Сегодня я уйду в плавание и сначала должен расквитаться с вами. Даю одну минуту, и все.

Дориан стоял, опустив руки, парализованный ужасом. Вдруг в душе его мелькнула отчаянная надежда...

— Стойте! — воскликнул он.— Сколько лет, как умерла ваша сестра? Скорее отвечайте!

— Восемнадцать лет,— ответил моряк.— А что? При чем тут годы?

— Восемнадцать лет! — Дориан Грей рассмеялся торжествующим смехом.— Восемнадцать лет! Да подведите меня к фонарю и взгляните на меня!

Джеймс Вэйн одно мгновение стоял в нерешимости, не понимая, чего надо Дориану. Но затем потащил его из-под темной арки к фонарю.

Как ни слаб и неверен был задуваемый ветром огонек фонаря,— его было достаточно, чтобы Джеймс Вэйн поверил, что он чуть не совершил страшную ошибку. Лицо человека, которого он хотел убить, сияло всей свежестью юности, ее непорочной чистотой. На вид ему было не больше двадцати лет. Он, пожалуй, был немногим старше, а может, и вовсе не старше, чем Сибила много лет назад, когда Джеймс расстался с нею. Было ясно, что это не тот, кто погубил ее.

Джеймс Вэйн выпустил Дориана и отступил на шаг.

— Господи помилуй! А я чуть было вас не застрелил!

Дориан тяжело перевел дух.

— Да, вы чуть не совершили ужасное преступление,— сказал он, сурово глядя на Джеймса.— Пусть это послужит вам уроком: человек не должен брать на себя отпущения, это дело господа бога.

— Простите, сэр,— пробормотал Вэйн.— Меня сбили с толку. Случайно услышал два слова в этой проклятой дыре — и они вывели меня на ложный след.

— Ступайте-ка домой, а револьвер спрячьте, не то попадете в беду,— сказал Дориан и, повернувшись, неторопливо зашагал дальше.

Джеймс Вэйн, все еще не опомнившись от ужаса, стоял на мостовой. Он дрожал всем телом. Немного погодя какая-то черная тень, скользившая вдоль мокрой стены, появилась в освещенной фонарем полосе и неслышно подкралась к моряку. Почувствовав на своем плече чью-то руку, он вздрогнул и оглянулся. Это была одна из тех двух женщин, которые только что стояли у буфета в притоне.

— Почему ты его не убил? — прошипела она, вплотную приблизив к нему испитое лицо.— Когда ты выбежал от Дэйли, я сразу догадалась, что ты погнался за ним. Эх, дурак, надо было его пристукнуть. У него куча денег, и он — настоящий дьявол.

— Он не тот, кого я ищу,— ответил Джеймс Вэйн.— А чужие деньги мне не нужны. Мне нужно отомстить одному человеку. Ему теперь, должно быть, под сорок. А этот — еще почти мальчик. Слава богу, что я его не убил, не то были бы у меня руки в невинной крови.

Женщина горько засмеялась.

— Почти мальчик! Как бы не так! Если хочешь знать, вот уже скоро восемнадцать лет, как Прекрасный Принц сделал меня тем, что я сейчас.

— Лжешь! — крикнул Джеймс Вэйн.

Она подняла руку.

— Богом клянусь, что это правда.

— Клянешься?

— Чтоб у меня язык отсох, если я вру! Этот хуже всех тех, кто таскается сюда. Говорят, он продал душу черту за красивое лицо. Вот уже скоро восемнадцать лет я его знаю, а он за столько лет почти не переменялся... Не то что я,— добавила она с печальной усмешкой.

— Значит, ты клянешься?

— Клянусь! — хриплым эхом сорвалось с ее плоских губ.— Но ты меня не выдавай,— добавила она жалобно.— Я его боюсь. И дай мне деньжонок — за ночлег заплатить.

Он с яростным ругательством бросился бежать в ту сторону, куда ушел Дориан Грей, но Дориана и след простыл. Когда Джеймс Вэйн оглянулся, и женщины уже на улице не было.



## ГЛАВА XVII

Неделю спустя Дориан Грей сидел в оранжерее своей усадьбы Селби-Ройял, беседуя с хорошенькой герцогиней Монмаут, которая гостила у него вместе с мужем, высохшим шестидесятилетним стариком. Было время чая, и мягкий свет шестидесятилетней лампы под кружевным абажуром падал на тонкий фарфор и чеканное серебро сервиза. За столом хозяйничала герцогиня. Ее белые руки грациозно порхали среди чашек, а полные красные губы улыбались, — видно, ее забавляло то, что ей нашептывал Дориан. Лорд Генри наблюдал за ними, полулежа в плетеном кресле с шелковыми подушками, а на диване персикового цвета восседала леди Нарборо, делая вид, что слушает герцога, описывавшего ей бразильского жука, которого он недавно добыл для своей коллекции. Трое молодых щеголей в смокингах угощали дам пирожными. В Селби уже съехались двенадцать человек, и назавтра ожидали еще гостей.

— О чем это вы толкуете? — спросил лорд Генри, подойдя к столу и ставя свою чашку. — Надеюсь, Дориан рассказал вам, Глэдис, о моем проекте все окрестить по-новому?.. Это замечательная мысль.

— А я вовсе не хочу менять имя, Гарри, — возразила герцогиня, поднимая на него красивые глаза. — Я вполне довольна моим, и, наверное, мистер Грей тоже доволен своим.

— Милая Глэдис, я ни за что на свете не стал бы менять такие имена, как ваши и Дориана. Оба они очень хороши. Я имею в виду главным образом цветы. Вчера я срезал орхидею для бутоньерки, чудеснейший пятнистый цветок, обольстительный, как семь смертных грехов, и машинально спросил у садовника, как эта орхидея называется. Он сказал, что это прекрасный сорт «робинзониа-на»... или что-то столь же неблагозвучное. Право, мы разучились давать вещам красивые названия, — да, да, это печальная правда! А ведь слово — это все. Я никогда не придираюсь к поступкам, я требователен только к словам... Потому-то я и не выношу вульгарный реализм в литературе. Человека, называющего лопату лопатой, следовало бы заставить работать ею — только на это он и годен.

— Ну а как, например, вас окрестить по-новому, Гарри? — спросила герцогиня.

— Принц Парадокс, — сказал Дориан.

— Вот удачно придумано! — воскликнула герцогиня.

— И слышать не хочу о таком имени, — со смехом

запротестовал лорд Генри, садясь в кресло.— Ярлык пристанет, так уж потом от него не избавишься. Нет, я отказываюсь от этого титула.

— Короли не должны отрекаться,— тоном предостережения произнесли красивые губки.

— Значит, вы хотите, чтобы я стал защитником трона?

— Да.

— Но я провозглашаю истины будущего!

— А я предпочитаю заблуждения настоящего,— отпаривала герцогиня.

— Вы меня обезоруживаете, Глэдис! — воскликнул лорд Генри, заражаясь ее настроением.

— Я отбираю у вас щит, но оставляю копье, Гарри.

— Я никогда не сражаюсь против Красоты,— сказал он с галантным поклоном.

— Это ошибка, Гарри, поверьте мне. Вы цените красоту слишком высоко.

— Полноте, Глэдис! Правда, я считаю, что лучше быть красивым, чем добродетельным. Но, с другой стороны, я первый готов согласиться, что лучше уж быть добродетельным, чем безобразным.

— Выходит, что некрасивость — один из семи смертных грехов? — воскликнула герцогиня.— А как же вы только что сравнивали с ними орхидей?

— Нет, Глэдис, некрасивость — одна из семи смертных добродетелей. И вам, как стойкой тори, не следует умалять их значения. Пиво, Библия и эти семь смертных добродетелей сделали нашу Англию такой, какая она есть.

— Значит, вы не любите нашу страну?

— Я живу в ней.

— Чтобы можно было усерднее ее хулить?

— А вы хотели бы, чтобы я согласился с мнением Европы о ней?

— Что же там о нас говорят?

— Что Тартюф эмигрировал в Англию и открыл здесь торговлю.

— Это ваша острота, Гарри?

— Дарю ее вам.

— Что я с ней сделаю? Она слишком похожа на правду.

— А вы не бойтесь. Наши соотечественники никогда не узнают себя в портретах.

— Они — люди благоразумные.

— Скорее хитрые. Подводя баланс, они глупость покрывают богатством, а порок — лицемерием.

— Все-таки в прошлом мы вершили великие дела.

— Нам их навязали, Глэдис.

— Но мы с честью несли их бремя.

— Не дальше как до Фондовой биржи.

Герцогиня покачала головой.

— Я верю в величие нации.

— Оно — только пережиток предприимчивости и напористости.

— В нем — залог развития.

— Упадок мне милее.

— А как же искусство? — спросила Глэдис.

— Оно — болезнь.

— А любовь?

— Иллюзия.

— А религия?

— Распространенный суррогат веры.

— Вы скептик.

— Ничуть! Ведь скептицизм — начало веры.

— Да кто же вы?

— Определить — значит ограничить.

— Ну, дайте мне хоть нить!..

— Нити обрываются. И вы рискуете заблудиться в лабиринте.

— Вы меня окончательно загнали в угол. Давайте говорить о другом.

— Вот превосходная тема — хозяин дома. Много лет назад его окрестили Прекрасным Принцем.

— Ах, не напоминайте мне об этом! — воскликнул Дориан Грей.

— Хозяин сегодня несносен, — сказала герцогиня, краснея. — Он, кажется, полагает, что Монмаут женился на мне из чисто научного интереса, видя во мне наилучший экземпляр современной бабочки.

— Но он, надеюсь, не посадит вас на булавку, герцогиня? — со смехом сказал Дориан.

— Достаточно того, что в меня втыкает булавки моя горничная, когда сердится.

— А за что же она на вас сердится, герцогиня?

— Из-за пустяков, мистер Грей, уверяю вас. Обычно за то, что я прихожу в три четверти девятого и заявляю ей, что она должна меня одеть к половине девятого.

— Какая глупая придирчивость! Вам бы следовало прогнать ее, герцогиня.

— Не могу, мистер Грей. Она придумывает мне фасоны шляпок. Помните ту, в которой я была у леди Хилстон? Вижу, что забыли, но из любезности делаете вид, будто помните. Так вот, она эту шляпку сделала из ничего. Все хорошие шляпы создаются из ничего.

— Как и все хорошие репутации, Глэдис,— вставил лорд Генри.— А когда человек чем-нибудь действительно выдвинется, он наживает врагов. У нас одна лишь посредственность — залог популярности.

— Только не у женщин, Гарри! — Герцогиня энергично покачала головой.— А женщины правят миром. Уверяю вас, мы терпеть не можем посредственности. Кто-то сказал про нас, что мы «любим ушами». А вы, мужчины, любите глазами... Если только вы вообще когда-нибудь любите.

— Мне кажется, мы только это и делаем всю жизнь,— сказал Дориан.

— Ну, значит, никого не любите по-настоящему, мистер Грей,— отозвалась герцогиня с шутливым огорчением.

— Милая моя Глэдис, что за ересь! — воскликнул лорд Генри.— Любовь питается повторением, и только повторение превращает простое вожделение в искусство. Притом каждый раз, когда влюбляешься, любишь впервые. Предмет страсти меняется, а страсть всегда остается единственной и неповторимой. Перемена только усиливает ее. Жизнь дарит человеку в лучшем случае лишь одно великое мгновение, и секрет счастья в том, чтобы это великое мгновение переживать как можно чаще.

— Даже если оно вас тяжело ранит, Гарри? — спросила герцогиня, помолчав.

— Да, в особенности тогда, когда оно вас ранит,— ответил лорд Генри.

Герцогиня повернулась к Дориану и посмотрела на него как-то странно.

— А вы что на это скажете, мистер Грей? — спросила она.

Дориан ответил не сразу. Наконец рассмеялся и тряхнул головой.

— Я, герцогиня, всегда во всем согласен с Гарри.

— Даже когда он не прав?

— Гарри всегда прав, герцогиня.

— И что же, его философия помогла вам найти счастье?

— Я никогда не искал счастья. Кому оно нужно?

Я искал наслаждений.

— И находили, мистер Грей?

— Часто. Слишком часто.

Герцогиня сказала со вздохом:

— А я жажду только мира и покоя. И если не пойду сейчас переодеваться, я его лишусь на сегодня.

— Позвольте мне выбрать для вас несколько орхидей, герцогиня, — воскликнул Дориан с живостью и, вскочив, направился в глубь оранжереи.

— Вы бессовестно кокетничаете с ним, Глэдис, — сказал лорд Генри своей кузине. — Берегитесь! Чары его сильны.

— Если бы не это, так не было бы и борьбы.

— Значит, грек идет на грека?

— Я на стороне троянцев. Они сражались за женщину.

— И потерпели поражение.

— Бывают вещи страшнее плена, — бросила герцогиня.

— Эге, вы скачете, бросив поводья!

— Только в скачке и жизнь, — был ответ.

— Я это запишу сегодня в моем дневнике.

— Что именно?

— Что ребенок, обжегшись, вновь тянется к огню.

— Огонь меня и не коснулся, Гарри. Мои крылья целы.

— Они вам служат для чего угодно, только не для полета: вы и не пытаетесь улететь от опасности.

— Видно, храбрость перешла от мужчин к женщинам. Для нас это новое ощущение.

— А вы знаете, что у вас есть соперница?

— Кто?

— Леди Нарборо, — смеясь, шепнул лорд Генри, — она в него положительно влюблена.

— Вы меня пугаете. Увлечение древностью всегда фатально для нас, романтиков.

— Это женщины-то — романтики? Да вы выступаете во всеоружии научных методов!

— Нас учили мужчины.

— Учить они вас учили, а вот изучить вас до сих пор не сумели.

— Ну-ка, попробуйте охарактеризовать нас! — подзадо-рила его герцогиня.

— Вы — сфинксы без загадок.

Герцогиня с улыбкой смотрела на него.

— Однако долго же мистер Грей выбирает для меня орхидей! Пойдемте поможем ему. Он ведь еще не знает, какого цвета платье я надену к обеду.

— Вам придется подобрать платье к его орхидеям, Глэдис.

— Это было бы преждевременной капитуляцией.

— Романтика в искусстве начинается с кульминационного момента.

— Но я должна обеспечить себе путь к отступлению.

— Подобно парфянам?

— Парфяне спаслись в пустыню. А я этого не могу.

— Для женщин не всегда возможен выбор, — заметил лорд Генри. Не успел он договорить, как с дальнего конца оранжереи донесся стон, а затем глухой стук, словно от падения чего-то тяжелого. Все всполошились. Герцогиня в ужасе застыла на месте, а лорд Генри, тоже испуганный, побежал, раздвигая качавшиеся листья пальм, туда, где на плиточном полу лицом вниз лежал Дориан Грей в глубоком обмороке.

Его тотчас перенесли в голубую гостиную и уложили на диван. Он скоро пришел в себя и с недоумением обвел глазами комнату.

— Что случилось? — спросил он. — А, вспоминаю! Я здесь в безопасности, Гарри? — Он вдруг весь затрясся.

— Ну конечно, дорогой мой! У вас просто был обморок. Наверное, переутомились. Лучше не выходите к обеду. Я вас заменю.

— Нет, я пойду с вами в столовую, — сказал Дориан, с трудом поднимаясь. — Я не хочу оставаться один.

Он пошел к себе переодеваться.

За обедом он проявлял беспечную веселость, в которой было что-то отчаянное. И только по временам вздрагивал от ужаса, вспоминая тот миг, когда увидел за окном оранжереи белое, как платок, лицо Джеймса Вэйна, следившего за ним.

## ГЛАВА XVIII

Весь следующий день Дориан не выходил из дому и большую часть времени провел у себя в комнате, изнемогая от дикого страха смерти, хотя к жизни он был уже равнодушен. Сознание, что за ним охотятся, что его подстерегают, готовят ему западню, угнетало его, не давало покоя. Стоило ветерку шевельнуть портьеру, как Дориан уже вздрагивал. Сухие листья, которые ветер швырял в стекла, напоминали ему о неосуществленных намерениях и будили страстные сожаления. Как только он закрывал глаза, перед ним

вставало лицо моряка, следившего за ним сквозь запотевшее стекло, и снова ужас тяжелой рукой сжимал сердце.

Но, может быть, это только его воображение вызвало из мрака ночи призрак мстителя и рисует ему жуткие картины ожидающего его возмездия? Действительность — это хаос, но в работе человеческого воображения есть неумолимая логика. И только наше воображение заставляет раскаяться следовать по пятам за преступлением. Только воображение рисует нам отвратительные последствия каждого нашего греха. В реальном мире фактов грешники не наказываются, праведники не вознаграждаются. Сильному сопутствует успех, слабого постигает неудача. Вот и все.

И, наконец, если бы сторонний человек бродил вокруг дома, его бы непременно увидели слуги или сторожа. На грядках под окном оранжереи остались бы следы — и садовники сразу доложили бы об этом ему, Дориану. Нет, нет, все это только его фантазия! Брат Сибила не вернулся, чтобы убить его. Он уехал на корабле и погибнет где-нибудь в бурном море. Да, Джеймс Вэйн, во всяком случае, ему больше не опасен. Ведь он не знает, не может знать имя того, кто погубил его сестру. Маска молодости спасла Прекрасного Принца.

Так Дориан в конце концов уверил себя, что все это был только мираж. Однако ему страшно было думать, что совесть может порождать такие жуткие фантомы и, придавая им видимое обличье, заставляя их проходить перед человеком! Во что превратилась бы его жизнь, если бы днем и ночью призраки его преступлений смотрели на него из темных углов, издеваясь над ним, шептали ему что-то в уши во время пиров, будили его ледяным прикосновением, когда он уснет! При этой мысли Дориан бледнел и холодел от страха. О, зачем он в страшный час безумия убил друга! Как жутко даже вспоминать эту сцену! Она словно стояла у него перед глазами. Каждая ужасная подробность воскресала в памяти и казалась еще ужаснее. Из темной пропасти времен в кровавом одеянии вставала грозная тень его преступления.

Когда лорд Генри в шесть часов пришел в спальню к Дориану, он застал его в слезах. Дориан плакал, как человек, у которого сердце разрывается от горя.

Только на третий день он решился выйти из дому. Напоенное запахом сосен ясное зимнее утро вернуло ему бодрость и жизнерадостность. Но не только это вызвало перемену. Вся душа Дориана восстала против чрезмерности мук, способной ее искалечить, нарушить ее дивный покой. Так всегда бывает с утонченными натурами. Сильные

страсти, если они не укрощены, сокрушают таких людей. Страсти эти либо убивают, либо умирают сами. Мелкие горести и неглубокая любовь живучи. Великая любовь и великое горе гибнут от избытка своей силы.

Помимо того, Дориан убедил себя, что он — жертва своего потрясенного воображения, и уже вспоминал свои страхи с чувством, похожим на снисходительную жалость, жалость, в которой была немалая доля пренебрежения.

После завтрака он целый час гулял с герцогиней в саду, потом поехал через парк на то место, где должны были собраться охотники. Сухой хрустящий иней словно солью покрывал траву. Небо походило на опрокинутую чашу из голубого металла. Тонкая кромка льда окаймляла у берегов поросшее камышом тихое озеро.

На опушке соснового леса Дориан увидел брата герцогини, сэра Джеффри Клаустона, — он выбрасывал два пустых патрона из своего ружья. Дориан выскочил из экипажа и, приказав груму отвести лошадь домой, направился к своему гостю, пробираясь сквозь заросли кустарника и сухого папоротника.

— Хорошо поохотились, Джеффри? — спросил он, подходя.

— Не особенно. Видно, птицы почти все улетели в поле. После завтрака переберемся на другое место. Авось там больше повезет.

Дориан зашагал рядом с ним. Живительный аромат леса, мелькавшие в его зеленой сени золотистые и красные блики солнца на стволах, хриплые крики загонщиков, порой разносившиеся по лесу, и резкое щелканье ружей — все веселило его и наполняло чудесным ощущением свободы. Он весь отдался чувству бездумного счастья, радости, которую ничто не может смутить.

Вдруг ярдах в двадцати от них, из-за бугорка, поросшего прошлогодней травой, выскочил заяц. Насторожив уши с черными кончиками, вытягивая длинные задние лапки, он стрелой помчался в глубь ольшаника. Сэр Джеффри тотчас поднял ружье. Но грациозные движения зверька неожиданно умилили Дориана, и он крикнул:

— Не убивайте его, Джеффри, пусть себе живет!

— Что за глупости, Дориан! — со смехом запротестовал сэр Джеффри и выстрелил в тот момент, когда заяц юркнул в чашу. Раздался двойной крик — ужасный крик раненого зайца и еще более ужасный предсмертный крик человека.

— Боже! Я попал в загонщика! — ахнул сэр Джеф-



фри.— Какой это осел полез под выстрел! Эй, перестаньте там стрелять! — крикнул он во всю силу своих легких.— Человек ранен!

Прибежал старший егерь с палкой.

— Где, сэр? Где он?

И в ту же минуту по всей линии затихла стрельба.

— Там,— сердито ответил сэр Джеффри и торопливо пошел к ольшанику.— Какого черта вы не отвели своих людей подальше? Испортили мне сегодняшнюю охоту.

Дориан смотрел, как оба нырнули в заросли, раздвигая гибкие ветви. Через минуту они уже появились оттуда и вынесли труп на освещенную солнцем опушку. Дориан в ужасе отвернулся, подумав, что злой рок преследует его повсюду. Он слышал вопрос сэра Джеффри, умер ли этот человек, и утвердительный ответ егеря. Лес вдруг ожил, закишел людьми, слышался топот множества ног, приглушенный гомон. Крупный фазан с медно-красной грудью, шумно хлопая крыльями, пролетел наверху среди ветвей.

Через несколько минут, показавшихся расстроенному Дориану бесконечными часами муки, на его плечо легла чья-то рука. Он вздрогнул и оглянулся.

— Дориан,— промолвил лорд Генри.— Лучше я скажу им, чтобы на сегодня охоту прекратили. Продолжать ее как-то неудобно.

— Ее бы следовало запретить навсегда,— ответил Дориан с горечью.— Это такая жестокая и противная забава! Что, тот человек...

Он не мог закончить фразы.

— К сожалению, да. Ему угодил в грудь весь заряд дроби. Должно быть, умер сразу. Пойдемте домой, Дориан.

Они шли рядом к главной аллее и молчали. Наконец Дориан поднял глаза на лорда Генри и сказал с тяжелым вздохом:

— Это дурное предзнаменование, Гарри, очень дурное!

— Что именно? — спросил лорд Генри.— Ах да, этот несчастный случай. Ну, милый друг, что поделаешь? Убитый был сам виноват — кто же становится под выстрелы? И, кроме того, — мы-то тут при чем? Для Джеффри это изрядная неприятность, не спорю. Дырявить загонщиков не годится. Люди могут подумать, что он плохой стрелок. А между тем это неверно: Джеффри стреляет очень метко. Но не будем больше говорить об этом.

Дориан покачал головой.

— Нет, это дурной знак, Гарри. Я чувствую, что слу-

чится что-то страшное... Быть может, со мной, — добавил он, проводя рукой по глазам, как под влиянием сильной боли.

Лорд Генри рассмеялся.

— Самое страшное на свете — это скука, Дориан. Вот единственный грех, которому нет прощения. Но нам она не грозит, если только наши приятели за обедом не вздумают толковать о случившемся. Надо будет их предупредить, что это запретная тема. Ну а предзнаменования — вздор, никаких предзнаменований не бывает. Судьба не шлет нам вестников — для этого она достаточно мудра или достаточно жестока. И, наконец, скажите, ради бога, что может с вами случиться, Дориан? У вас есть все, чего только может пожелать человек. Каждый был бы рад поменяться с вами.

— А я был бы рад поменяться с любым человеком на свете! Не смейтесь, Гарри, я вам правду говорю. Злополучный крестьянин, который убит только что, счастливее меня. Смерти я не боюсь — страшно только ее приближение. Мне кажется, будто ее чудовищные крылья уже шумят надо мной в свинцовой духоте. О господи! Разве вы не видите, что какой-то человек прячется за деревьями, подстерегает, ждет меня?

Лорд Генри посмотрел туда, куда указывала дрожащая рука в перчатке.

— Да, — сказал он с улыбкой, — вижу садовника, который действительно поджидает нас. Наверное, хочет узнать, какие цветы срезать к столу. До чего же у вас нервы развинтились, мой милый! Непременно посоветуйтесь с моим врачом, когда мы вернемся в город.

Дориан вздохнул с облегчением, узнав в подходившем садовника. Тот приподнял шляпу, смущенно покосился на лорда Генри и, достав из кармана письмо, подал его хозяину.

— Ее светлость приказала мне подождать ответа, — промолвил он вполголоса.

Дориан сунул письмо в карман.

— Скажите ее светлости, что я сейчас приду, — сказал он сухо. Садовник торопливо пошел к дому.

— Как женщины любят делать рискованные вещи! — с улыбкой заметил лорд Генри. — Эта черта мне в них очень нравится. Женщина готова флиртовать с кем угодно до тех пор, пока другие на это обращают внимание.

— А вы любите говорить рискованные вещи, Гарри. И в данном случае вы глубоко ошибаетесь. Герцогиня мне очень нравится, но я не влюблен в нее.

— А она в вас очень влюблена, но нравитесь вы ей меньше. Так что вы составите прекрасную пару.

— Вы сплетничаете, Гарри! И сплетничаете без всяких оснований.

— Основания для всякой сплетни — вера в безнравственность, — изрек лорд Генри, закуривая папиросу.

— Гарри, Гарри, вы ради красного словца готовы кого угодно принести в жертву!

— Люди сами восходят на алтарь, чтобы принести себя в жертву.

— Ах, если бы я мог кого-нибудь полюбить! — воскликнул Дориан с ноткой пафоса в голосе. — Но я, кажется, утратил эту способность и разучился желать. Я всегда был слишком занят собой — и вот стал уже в тягость самому себе. Мне хочется бежать от всего, уйти, забыть!.. Глупо было ехать сюда. Я, пожалуй, телеграфирую Харви, чтобы яхта была наготове. На яхте чувствуешь себя в безопасности.

— В безопасности от чего, Дориан? С вами случилась какая-нибудь беда? Почему же вы молчите? Вы знаете, что я всегда готов помочь вам.

— Я не могу вам ничего рассказать, Гарри, — ответил Дориан уныло. — И, наверное, все — просто моя фантазия. Это несчастье меня расстроило, я предчувствую, что и со мной случится что-нибудь в таком роде.

— Какой вздор!

— Надеюсь, вы правы, но ничего не могу с собой поделаться. Ага, вот и герцогиня! Настоящая Артемида в английском костюме. Как видите, мы вернулись, герцогиня.

— Я уже все знаю, мистер Грей, — сказала герцогиня. — Бедный Джеффри ужасно огорчен. И, говорят, вы просили его не стрелять в зайца. Какое странное совпадение!

— Да, очень странное. Не знаю даже, что меня побудило сказать это. Простая прихоть, вероятно. Заяц был так мил... Однако очень жаль, что они вам рассказали про это. Ужасная история...

— Досадная история, — поправил его лорд Генри. — И психологически ничуть не любопытная. Вот если бы Джеффри убил его нарочно, — как это было бы интересно! Хотел бы я познакомиться с настоящим убийцей!

— Гарри, вы невозможный человек! — воскликнула герцогиня. — Не правда ли, мистер Грей?.. Ох, Гарри, мистери Грею, кажется, опять дурно! Он сейчас упадет! Дориан с трудом овладел собой и улыбнулся.

— Это пустяки, не беспокойтесь, герцогиня. Нервы у меня сильно расстроены, вот и все. Пожалуй, я слишком много ходил сегодня... Что такое Гарри опять изрек? Что-

нибудь очень диничное? Вы мне потом расскажете. А сейчас вы меня извините — мне, пожалуй, лучше пойти прилечь.

Они дошли до широкой лестницы, которая вела из оранжереи на террасу. Когда стеклянная дверь закрылась за Дорианом, лорд Генри повернулся к герцогине и посмотрел на нее в упор своими томными глазами.

— Вы сильно в него влюблены? — спросил он.

Герцогиня некоторое время молчала, глядя на расставленную перед ними картину.

— Хотела бы я сама это знать, — сказала она наконец.

Лорд Генри покачал головой.

— Знание пагубно для любви. Только неизвестность пленяет нас. В тумане все кажется необыкновенным.

— Но в тумане можно сбиться с пути.

— Ах, милая Глэдис, все пути ведут к одному.

— К чему же?

— К разочарованию.

— С него я начала свой жизненный путь, — со вздохом отозвалась герцогиня.

— Оно пришло к вам в герцогской короне.

— Мне надоели земляничные листья.

— Но вы их носите с подобающим достоинством.

— Только на людях.

— Смотрите, вам трудно будет обойтись без них!

— А они останутся при мне, все до единого.

— Но у Монмаута есть уши.

— Старость туга на ухо.

— Неужели он никогда не ревнует?

— Нет. Хоть бы раз приревновал!

Лорд Генри осмотрелся вокруг, словно ища чего-то.

— Чего вы ищете? — спросила герцогиня.

— Шишечку от вашей рапиры, — отвечал он. — Вы ее обронили.

Герцогиня расхохоталась.

— Но маска еще на мне.

— Из-под нее ваши глаза кажутся еще красивее, — был ответ.

Герцогиня снова рассмеялась. Зубы ее блеснули меж губ, как белые зернышки в алой мякоти плода.

А наверху, в своей спальне, лежал на диване Дориан, и каждая жилка в нем дрожала от ужаса. Жизнь внезапно стала для него невыносимым бременем. Смерть злополучного загонщика, которого подстрелили в лесу, как дикого зверя, казалась Дориану прообразом его собственного

конца. Услышав слова лорда Генри, сказанные с такой циничной шутливостью, он чуть не лишился чувств.

В пять часов он позвонил слуге и распорядился, чтобы его вещи были уложены и коляска подана к половине девятого, так как он уезжает вечерним поездом в Лондон. Он твердо решил ни одной ночи не ночевать больше в Селби, этом зловещем месте, где смерть бродит и при солнечном свете, а трава в лесу обрызгана кровью.

Он написал лорду Генри записку, в которой сообщал, что едет в Лондон к врачу, и просил развлекать гостей до его возвращения. Когда он запечатывал записку, в дверь постучали, и лакей доложил, что пришел старший егерь. Дориан нахмурился, закусил губу.

— Пусть войдет, — буркнул он после минутной нерешимости.

Как только егерь вошел, Дориан достал из ящика чековую книжку и положил ее перед собой.

— Вы, наверное, пришли по поводу того несчастного случая, Торнтон? — спросил он, берясь уже за перо.

— Так точно, сэр, — ответил егерь.

— Что же, этот бедняга был женат? У него есть семья? — спросил Дориан небрежно. — Если да, я их не оставлю в нужде, пошлю им денег. Сколько вы находите нужным?

— Мы не знаем, кто этот человек, сэр. Поэтому я и осмелился вас побеспокоить...

— Не знаете, кто он? — рассеянно переспросил Дориан. — Как так? Разве он не из ваших людей?

— Нет, сэр. Я его никогда в глаза не видел. Похоже, что это какой-то матрос, сэр.

Перо выпало из рук Дориана, и сердце у него вдруг замерло.

— Матрос? — переспросил он. — Вы говорите, матрос?

— Да, сэр. По всему видно. На обеих руках у него татуировка... и все такое...

— А нашли вы при нем что-нибудь? — Дориан наклонился вперед, ошеломленно глядя на егеря. — Какой-нибудь документ, из которого можно узнать его имя?

— Нет, сэр. Только немного денег и шестизарядный револьвер — больше ничего. А имя нигде не указано. Человек, видимо, приличный, но из простых. Мы думаем, что матрос.

Дориан вскочил. Мелькнула безумная надежда, и он судорожно за нее ухватился.

— Где труп? Я хочу его сейчас же увидеть.

Он на ферме, сэр. В пустой конюшне. Люди не любят держать в доме покойника. Они говорят, что мертвец приносит несчастье.

— На ферме? Так отправляйтесь туда и ждите меня. Скажите кому-нибудь из конюхов, чтобы привел мне лошадь... Или нет, не надо. Я сам пойду в конюшню. Так будет скорее.

Не прошло и четверти часа, как Дориан Грей уже мчался галопом, во весь опор, по длинной аллее. Деревья прозрачной процессией неслись мимо, и пугливые тени перебежали дорогу. Раз кобыла неожиданно свернула в сторону, к знакомой белой ограде, и чуть не сбросила седока. Он стегнул ее хлыстом по шее, и она понеслась вперед, рассекая воздух, как стрела. Камни летели из-под ее копыт.

Наконец Дориан доскакал до фермы. По двору слонялись двое рабочих. Он спрыгнул с седла и бросил поводья одному из них. В самой дальней конюшне светился огонек. Какой-то внутренний голос подсказал Дориану, что мертвец там. Он быстро подошел к дверям и взялся за щеколду.

Однако он вошел не сразу, а постоял минуту, чувствуя, что вот сейчас ему предстоит сделать открытие, которое либо вернет ему покой, либо испортит жизнь навсегда. Наконец он порывисто дернул дверь к себе и вошел.

На мешках в дальнем углу лежал человек в грубой рубаше и синих штанах. Лицо его было прикрыто пестрым ситцевым платком. Рядом горела, потрескивая, толстая свеча, воткнутая в бутылку.

Дориан дрожал, чувствуя, что у него не хватит духу своей рукой снять платок. Он кликнул одного из работников.

— Снимите эту тряпку, я хочу его видеть,— сказал он и прислонился к дверному косяку, ища опоры.

Когда парень снял платок, Дориан подошел ближе. Крик радости вырвался у него. Человек, убитый в лесу, был Джеймс Вэйн!

Несколько минут Дориан Грей стоял и смотрел на мертвеца. Когда он потом ехал домой, глаза его были полны слез. Спасен!

## ГЛАВА XIX

— И зачем вы мне твердите, что решили стать лучше? — говорил лорд Генри, окуная белые пальцы в медную чашу с розовой водой.— Вы и так достаточно хороши. Пожалуйста, не меняйтесь.

Дориан покачал головой.

— Нет, Гарри, у меня на совести слишком много тяжких грехов. Я решил не грешить больше. И вчера уже начал творить добрые дела.

— А где же это вы были вчера?

— В деревне, Гарри. Поехал туда один и остановился в маленькой харчевне.

— Милый друг, в деревне всякий может быть праведником, — с улыбкой заметил лорд Генри. — Там нет никаких соблазнов. По этой-то причине людей, живущих за городом, не коснулась цивилизация. Да, да, приобщиться к цивилизации — дело весьма нелегкое. Для этого есть два пути: культура или так называемый разврат. А деревенским жителям то и другое недоступно. Вот они и закоsnели в добродетели.

— Культура и разврат, — повторил Дориан. — Я приобщился к тому и другому, и теперь мне тяжело думать, что они могут сопутствовать друг другу. У меня новый идеал, Гарри. Я решил стать другим человеком. И чувствую, что уже переменялся.

— А вы еще не рассказали мне, какое это доброе дело совершили. Или, кажется, вы говорили даже о нескольких? — спросил лорд Генри, положив себе на тарелку красную пирамидку очищенной клубники и посыпая ее сахаром.

— Этого я никому рассказывать не стал бы, а вам расскажу. Я пощадил женщину, Гарри. Такое заявление может показаться тщеславным хвастовством, но вы меня поймете. Она очень хороша собой и удивительно напоминает Сибилу Вэйн. Должно быть, этим она вначале и привлекла меня. Помните Сибилу, Гарри? Каким далеким кажется то время!.. Так вот... Гетти, конечно, не нашего круга. Простая деревенская девушка. Но я ее искренне полюбил. Да, я убежден, что это была любовь. Весь май — чудесный май был в этом году! — я ездил к ней два-три раза в неделю. Вчера она встретила меня в саду. Цветы яблони падали ей на волосы, и она смеялась... Мы должны были уехать вместе сегодня на рассвете. Но вдруг я решил оставить ее такой же прекрасной и чистой, какой встретил ее...

— Должно быть, новизна этого чувства доставила вам истинное наслаждение, Дориан? — перебил лорд Генри. — А вашу идиллию я могу досказать за вас. Вы дали ей добрый совет и разбили ее сердце. Так вы начали свою праведную жизнь.

— Гарри, как вам не стыдно говорить такие вещи! Сердце Гетти вовсе не разбито. Конечно, она поплакала и все такое. Но зато она не обесчещена. Она может жить, как Пердита, в своем саду среди мяты и златоцветов.

— И плакать о неверном Флоризеле,— закончил лорд Генри, со смехом откидываясь на спинку стула.— Милый мой, как много еще в вас презабавной детской наивности! Вы думаете, эта девушка теперь сможет удовлетвориться любовью человека ее среды? Выдадут ее замуж за грубиян-возчика или крестьянского парня. А знакомство с вами и любовь к вам сделали свое дело: она будет презирать мужа и чувствовать себя несчастной. Не могу сказать, чтобы ваше великое самоотречение было большой моральной победой. Даже для начала это слабо. Кроме того, почему вы знаете,— может быть, ваша Гетти плавает сейчас, как Офелия, где-нибудь среди кувшинок в пруду, озаренном звездным сиянием?

— Перестаньте, Гарри, это невыносимо! То вы все превращаете в шутку, то придумываете самые ужасные трагедии! Мне жаль, что я вам все рассказал. И что бы вы ни говорили, я знаю, что поступил правильно. Бедная Гетти! Сегодня утром, когда я проезжал верхом мимо их фермы, я видел в окне ее личико, белое, как цветы жасмина... Не будем больше говорить об этом. И не пытайтесь меня убедить, что мое первое за столько лет доброе дело, первый самоотверженный поступок — на самом деле чуть ли не преступление. Я хочу стать лучше. И стану... Ну, довольно об этом. Расскажите мне о себе. Что слышно в Лондоне? Я давно не был в клубе.

— Люди все еще толкуют об исчезновении Бэзила.

— А я думал, что им это уже наскучило,— бросил Дориан, едва заметно нахмурив брови и наливая себе вина.

— Что вы, мой милый! Об этом говорят всего только полтора месяца, а обществу нашему трудно менять тему чаще, чем раз в три месяца,— на такое умственное усилие оно не способно. Правда, в этом сезоне ему очень повезло. Столько событий — мой развод, самоубийство Алана Кэмпбела, а теперь еще загадочное исчезновение художника! В Скотланд-Ярде все еще думают, что человек в сером пальто, уехавший девятого ноября в Париж двенадцатичасовым поездом, был бедняга Бэзил, а французская полиция утверждает, что Бэзил вовсе и не приезжал в Париж. Наверное, через неделю-другую мы услышим, что его видели в Сан-Франциско. Странное дело — как только кто-нибудь бесследно исчезает, тотчас разносится слух, что его видели в Сан-Франци-



ско! Замечательный город, должно быть, этот Сан-Франциско, и обладает, наверное, всеми преимуществами того света!

— А вы как думаете, Гарри, куда мог деваться Бэзил? — спросил Дориан, поднимая стакан с бургундским и рассматривая вино на свет. Он сам удивлялся спокойствию, с которым говорил об этом.

— Понятия не имею. Если Бэзилу угодно скрываться, — это его дело. Если он умер, я не хочу о нем вспоминать. Смерть — то единственное, о чем я думаю с ужасом. Она мне ненавистна.

— Почему же? — лениво спросил младший из собеседников.

— А потому, — лорд Генри поднес к носу золоченый флакончик с уксусом, — что в наше время человек все может пережить, кроме нее. Есть только два явления, которые и в нашем, девятнадцатом, веке еще остаются необъяснимыми и ничем не оправданными: смерть и пошлость... Давайте перейдем пить кофе в концертный зал, — хорошо, Дориан? Я хочу, чтобы вы мне поиграли Шопена. Тот человек, с которым убежала моя жена, чудесно играл Шопена. Бедная Виктория! Я был к ней очень привязан, и без нее в доме так пусто. Разумеется, семейная жизнь только привычка, скверная привычка. Но ведь даже с самыми дурными привычками трудно бывает расстаться. Пожалуй, труднее всего именно с дурными. Они — такая существенная часть нашего «я».

Дориан, ничего не отвечая, встал из-за стола и, пройдя в соседнюю комнату, сел за рояль. Пальцы его забегали по черным и белым клавишам. Но когда подали кофе, он перестал играть и, глядя на лорда Генри, спросил:

— Гарри, а вам не приходило в голову, что Бэзила могли убить?

Лорд Генри зевнул.

— Бэзил очень известен и носит дешевые часы. Зачем же было его убивать? И врагов у него нет, потому что не такой уж он выдающийся человек. Конечно, он очень талантливый художник, но можно писать, как Веласкес, и при этом быть скучнейшим малым. Бэзил, честно говоря, всегда был скучноват. Только раз он меня заинтересовал — это было много лет назад, когда он признался мне, что безумно вас обожает и что вы вдохновляете его, даете ему стимул к творчеству.

— Я очень любил Бэзила, — с грустью сказал Дориан. — Значит, никто не предполагает, что он убит?

— В некоторых газетах такое предположение высказы-

валось. А я в это не верю. В Париже, правда, есть весьма подозрительные места, но Бэзил не такой человек, чтобы туда ходить. Он совсем не любознателен, это его главный недостаток.

— А что бы вы сказали, Гарри, если бы я признался вам, что это я убил Бэзила?

Говоря это, Дориан с пристальным вниманием наблюдал за лицом лорда Генри.

— Сказал бы, что вы, мой друг, пытаетесь выступить не в своей роли. Всякое преступление вульгарно, точно так же, как всякая вольгарность — преступление. И вы, Дориан, не способны совершить убийство. Извините, если я таким утверждением задел ваше самолюбие, но, ей-богу, я прав. Преступники — всегда люди низших классов. И я их ничуть не осуждаю. Мне кажется, для них преступление — то же, что для нас искусство: просто-напросто средство, доставляющее сильные ощущения.

— Средство, доставляющее сильные ощущения? Значит, по-вашему, человек, раз совершивший убийство, способен сделать это опять? Полноте, Гарри!

— О, удовольствие можно находить во всем, что входит в привычку, — со смехом отозвался лорд Генри. — Это один из главных секретов жизни. Впрочем, убийство — всегда промах. Никогда не следует делать того, о чем нельзя поболтать с людьми после обеда... Ну, оставим в покое беднягу Бэзила. Хотелось бы верить, что конец его был так романтичен, как вы предполагаете. Но мне не верится. Скорее всего, он свалился с омнибуса в Сену, а кондуктор скрыл это, чтобы не иметь неприятностей. Да, да, я склонен думать, что именно так и было. И лежит он теперь под мутно-зелеными водами Сены, а над ними проплывают тяжелые баржи, и в волосах его запутались длинные водоросли... Знаете, Дориан, вряд ли он мог еще многое создать в живописи. Его работы за последние десять лет значительно слабее первых.

Дориан в ответ только вздохнул, а лорд Генри прошелся из угла в угол и стал гладить редкого яванского попугая, сидевшего на бамбуковой жердочке. Как только его пальцы коснулись спины этой крупной птицы с серыми крыльями и розовым хохолком и хвостом, она опустила белые пленки сморщенных век на черные стеклянные глаза и закачалась взад и вперед.

— Да, — продолжал лорд Генри, обернувшись к Дориану и доставая из кармана платок, — картины Бэзила стали

много хуже. Чего-то в них не хватает. Видно, Бэзил утратил свой идеал. Пока вы с ним были так дружны, он был великим художником. Потом это кончилось. Из-за чего вы разошлись? Должно быть, он вам надоел? Если да, то Бэзил, вероятно, не мог простить вам этого — таковы уж все скучные люди. Кстати, что случилось с вашим чудесным портретом? Я, кажется, не видел его ни разу с тех пор, как Бэзил его закончил... А, припоминаю, вы говорили мне несколько лет назад, что отправили его в Селби, и он не то затерялся по дороге, не то его украли. Что же, он так и не нашелся? Какая жалость! Это был настоящий шедевр. Помню, мне очень хотелось его купить. И жаль, что я этого не сделал. Портрет написан в то время, когда талант Бэзила был в полном расцвете. Более поздние его картины уже представляют собой ту любопытную смесь плохой работы и благих намерений, которая у нас дает право художнику считаться типичным представителем английского искусства... А вы объявляли в газетах о пропаже? Это следовало сделать.

— Не помню уже, — ответил Дориан. — Вероятно, объявлял. Ну, да бог с ним, с портретом! Он мне, в сущности, никогда не нравился, и я жалею, что позировал для него. Не люблю я вспоминать о нем. К чему вы затеяли этот разговор? Знаете, Гарри, при взгляде на портрет мне всегда вспоминались две строчки из какой-то пьесы — кажется, из «Гамлета»... Пойдите, как же это?..

Словно образ печали,  
Бездушный тот лик...

Да, именно такое впечатление он на меня производил.

Лорд Генри засмеялся.

— Кто к жизни подходит как художник, тому мозг заменяет душу, — отозвался он, садясь в кресло.

Дориан отрицательно потряс головой и взял несколько тихих аккордов на рояле.

Словно образ печали  
Бездушный тот лик... —

повторил он.

Лорд Генри, откинувшись в кресле, смотрел на него из-под полуопущенных век.

— А между прочим, Дориан, — сказал он, помолчав, — что пользы человеку приобрести весь мир, если он теряет... как дальше? Да: если он теряет собственную душу?

Музыка резко оборвалась. Дориан, вздрогнув, уставился на своего друга.

— Почему вы задаете мне такой вопрос, Гарри?

— Милый мой.— Лорд Генри удивленно поднял брови.— Я спросил, потому что надеялся получить ответ,— только и всего. В воскресенье я проходил через Парк, а там у Мраморной Арки стояла кучка оборванцев и слушала какого-то уличного проповедника. В то время как я проходил мимо, он как раз выкрикнул эту фразу, и меня вдруг поразила ее драматичность... В Лондоне можно очень часто наблюдать такие любопытные сценки... Вообразите — дождливый воскресный день, жалкая фигура христианина в макинтоше, кольцо бледных испитых лиц под неровной крышей зонтов, с которых течет вода, — и эта потрясающая фраза, брошенная в воздух, прозвучавшая как пронзительный истерический вопль. Право, это было в своем роде интересно и весьма внушительно. Я хотел сказать этому пророку, что душа есть только у искусства, а у человека ее нет. Но побоялся, что он меня не поймет.

— Не говорите так, Гарри! Душа у человека есть, это нечто до ужаса реальное. Ее можно купить, продать, променять. Ее можно отравить или спасти. У каждого из нас есть душа. Я это знаю.

— Вы совершенно в этом уверены, Дориан?

— Совершенно уверен.

— Ну, в таком случае это только иллюзия. Как раз того, во что твердо веришь, в действительности не существует. Такова фатальная участь веры, и этому же учит нас любовь. Боже, какой у вас серьезный и мрачный вид, Дориан! Полноте! Что нам за дело до суеверий нашего века? Нет, мы больше не верим в существование души. Сыграйте мне, Дориан! Сыграйте какой-нибудь ноктюрн и во время игры расскажите тихонько, как вы сохранили молодость. Вы, верно, знаете какой-нибудь секрет. Я старше вас только на десять лет, а посмотрите, как я износился, сморщился, пожелтел! Вы же поистине очаровательны, Дориан. И сегодня более чем когда-либо. Глядя на вас, я вспоминаю день нашей первой встречи. Вы были очень застенчивый, но при этом довольно дерзкий и вообще замечательный юноша. С годами вы, конечно, переменились, но внешне — ничуть. Хотел бы я узнать ваш секрет! Чтобы вернуть свою молодость, я готов сделать все на свете — только не заниматься гимнастикой, не вставать рано и не вести добродетельный образ жизни. Молодость! Что может с ней сравниться? Как это глупо — говорить о «неопытной и невежественной юности». Я с уважением слушаю суждения

только тех, кто много меня моложе. Молодежь нас опередила, ей жизнь открывает свои самые новые чудеса. А людям пожилым я всегда противоречу. Я это делаю из принципа. Спросите их мнение о чем-нибудь, что произошло только вчера, — и они с важностью преподнесут вам суждения, господствовавшие в тысяча восемьсот двадцатом году, когда мужчины носили длинные чулки, когда люди верили решительно во все, но решительно ничего не знали... Какую прелестную вещь вы играете! Она удивительно романтична. Можно подумать, что Шопен писал ее на Майорке, когда море стонало вокруг его виллы и соленые брызги летели в окна. Какое счастье, что у нас есть хоть одно неподражаемое искусство! Играйте, играйте, Дориан, мне сегодня хочется музыки!.. Я буду воображать, что вы — юный Аполлон, а я — внимающий вам Марсий... У меня есть свои горести, Дориан, о которых я не говорю даже вам. Трагедия старости не в том, что человек стареет, а в том, что он душой остается молодым... Я иногда сам поражаюсь своей искренности. Ах, Дориан, какой вы счастливец! Как прекрасна ваша жизнь! Вы все изведали, всем упивались, вы смаковали сок винограда, раздавливая их во рту. Жизнь ничего не утаила от вас. И все в ней вы воспринимали как музыку, поэтому она вас не испортила. Вы все тот же.

— Нет, Гарри, я уже не тот.

— А я говорю — тот. Интересно, какова будет ваша дальнейшая жизнь. Только не портите ее отречениями. Сейчас вы — совершенство. Смотрите же, не станьте человеком неполноценным. Сейчас вас не в чем упрекнуть. Не качайте головой, вы и сами знаете, что это так. И, кроме того, не обманывайте себя, Дориан: жизнью управляют не ваша воля и стремления. Жизнь наша зависит от наших нервных волокон, от особенностей нашего организма, от медленно развивающихся клеток, где таятся мысли, где рождаются мечты и страсти. Вы, допустим, воображаете себя человеком сильным и думаете, что вам ничто не угрожает. А между тем случайное освещение предметов в комнате, тон утреннего неба, запах, когда-то любимый вами и навевший смутные воспоминания, строка забытого стихотворения, которое снова встретилось вам в книге, музыкальная фраза из пьесы, которую вы давно уже не играли, — вот от каких мелочей зависит течение нашей жизни, Дориан! Браунинг тоже где-то пишет об этом. И наши собственные чувства это подтверждают. Стоит мне, например, ощутить где-нибудь запах духов «белая сирень», — и я вновь переживаю один

самый удивительный месяц в моей жизни. Ах, если бы я мог поменяться с вами, Дориан! Люди осуждали нас обоих, но вас они все-таки боготворят, всегда будут боготворить. Вы — тот человек, которого наш век ищет... и боится, что нашел. Я очень рад, что вы не изваяли никакой статуи, не написали картины, вообще не создали ничего вне себя. Вашим искусством была жизнь. Вы положили себя на музыку. Дни вашей жизни — это ваши сонеты.

Дориан встал из-за рояля и провел рукой по волосам.

— Да, жизнь моя была чудесна, но так жить я больше не хочу, — сказал он тихо. — И я не хочу больше слышать таких сумасбродных речей, Гарри! Вы не все обо мне знаете. Если бы знали, то даже вы, вероятно, отвернулись бы от меня. Смеетесь? Ох, не смейтесь, Гарри!

— Зачем вы перестали играть, Дориан? Садитесь и сыграйте мне еще раз этот ноктюрн. Взгляните, какая большая, желтая, как мед, луна плывет в сумеречном небе. Она ждет, чтобы вы зачаровали ее своей музыкой, и под звуки ее она подойдет ближе к земле... Не хотите играть? Ну, так пойдемте в клуб. Мы сегодня очень хорошо провели вечер, и надо кончить его так же. В клубе будет один молодой человек, который жаждет с вами познакомиться, — это лорд Пул, старший сын Борнмаута. Он уже копирует ваши галстуки и умоляет, чтобы я его познакомил с вами. Премилый юноша и немного напоминает вас.

— Надеюсь, что нет, — сказал Дориан, и глаза его стали печальны. — Я устал, Гарри, я не пойду в клуб. Скоро одиннадцать, а я хочу пораньше лечь.

— Не уходите еще, Дориан. Вы играли сегодня, как никогда. Ваша игра была как-то особенно выразительна.

— Это потому, что я решил исправиться, — с улыбкой промолвил Дориан. — И уже немного изменился к лучшему.

— Только ко мне не переменитесь, Дориан! Мы с вами всегда останемся друзьями.

— А ведь вы однажды отравили меня книгой, Гарри, — этого я вам никогда не прошу. Обещайте, что вы никому больше не дадите ее. Это вредная книга.

— Дорогой мой, да вы и в самом деле становитесь моралистом! Скоро вы, как всякий новообращенный, будете ходить и увещевать людей не делать всех тех грехов, которыми вы пресытились. Нет, для этой роли вы слишком хороши! Да и бесполезно это. Какие мы были, такими и останемся. А «отравить» вас книгой я никак не мог. Этого не бывает. Искусство не влияет на деятельность человека, —

напротив, оно парализует желание действовать. Оно совершенно нейтрально. Так называемые «безнравственные» книги — это те, которые показывают миру его пороки, вот и все. Но давайте не будем сейчас затевать спор о литературе! Приходите ко мне завтра, Дориан. В одиннадцать я поеду кататься верхом, и мы можем покататься вместе. А потом я вас повезу завтракать к леди Бренксам. Эта милая женщина хочет посоветоваться с вами насчет гобеленов, которые она собирается купить. Так смотрите же, я вас жду!.. Или не поехать ли нам завтракать к нашей маленькой герцогине? Она говорит, что вы совсем перестали бывать у нее. Быть может, Глэдис вам наскучила? Я это предвидел. Ее остроумие действует на нервы. Во всяком случае, приходите к одиннадцати.

— Вы непременно этого хотите, Гарри?

— Конечно. Парк теперь чудо как хорош! Сирень там цветет так пышно, как цвела только в тот год, когда я впервые встретил вас.

— Хорошо, приду. Покойной ночи, Гарри.

Дойдя до двери, Дориан остановился, словно хотел еще что-то сказать. Но только вздохнул и вышел из комнаты.

## ГЛАВА XX

Был прекрасный вечер, такой теплый, что Дориан не надел пальто и нес его на руке. Он даже не обернул шею своим шелковым кашне. Когда он, куря папиросу, шел по улице, его обогнали двое молодых людей во фраках. Он слышал, как один шепнул другому: «Смотри, это Дориан Грей». И Дориан вспомнил, как ему раньше бывало приятно то, что люди указывали его друг другу, глазели на него, говорили о нем. А теперь? Ему надоело постоянно слышать свое имя. И главная прелесть жизни в деревне, куда он в последнее время так часто ездил, была именно в том, что там его никто не знал. Девушке, которая его полюбила, он говорил, что он бедняк, и она ему верила. Раз он ей сказал, что в прошлом вел развратную жизнь, а она засмеялась и возразила, что развратные люди всегда бывают старые и безобразные. Какой у нее смех — совсем как пение дрозда! И как она прелестна в своем ситцевом платице и широкополой шляпе! Она, простая, невежественная девушка, обладает всем тем, что он утратил.

Придя домой, Дориан отослал спать лакея, который не

ложился, дожидаясь его. Потом вошел в библиотеку и лег на диван. Он думал о том, что ему сегодня говорил лорд Генри.

Неужели правда, что человек при всем желании не может измениться? Дориан испытывал в эти минуты страстную тоску по незапятнанной чистоте своей юности. «бело-розовой юности», как назвал ее однажды лорд Генри. Он сознавал, что загрязнил ее, растлил свою душу, дал отвратительную пищу воображению, что его влияние было гибельно для других, и это доставляло ему жестокое удовольствие. Из всех жизней, скрестившихся с его собственной, его жизнь была самая чистая и так много обещала — а он запятнал ее. Но неужели все это непоправимо? Неужели для него нет надежды?

О, зачем в роковую минуту гордыни и возмущения он молил небеса, чтобы портрет нес бремя его дней, а сам он сохранил неприкосновенным весь блеск вечной молодости! В ту минуту он погубил свою жизнь. Лучше было бы, если бы всякое прегрешение влекло за собой верное и скорое наказание. В каре — очищение. Не «Прости нам грехи наши», а «Покарай нас за беззакония наши» — вот какой должна быть молитва человека справедливейшему богу.

На столе стояло зеркало, подаренное Дориану много лет назад лордом Генри, и белорукие купидоны по-прежнему резвились на его раме, покрытой искусной резьбой. Дориан взял его в руки, — совсем как в ту страшную ночь, когда он впервые заметил перемену в роковом портрете, — и устремил на его блестящую поверхность блуждающий взор, затуманенный слезами. Однажды кто-то, до безумия любивший его, написал ему письмо, кончавшееся такими словами: «Мир стал иным, потому что в него пришли вы, созданный из слоновой кости и золота. Изгиб ваших губ переделает заново историю мира». Эти идолопоклоннические слова вспомнились сейчас Дориану, и он много раз повторил их про себя. Но в следующую минуту ему стала противна собственная красота, и, швырнув зеркало на пол, он раздавил его каблуком на серебряные осколки. Эта красота его погубила, красота и вечная молодость, которую он себе вымолил! Если бы не они, его жизнь была бы чиста. Красота оказалась только маской, молодость — насмешкой. Что такое молодость в лучшем случае? Время незрелости, наивности, время поверхностных впечатлений и нездоровых помыслов. Зачем ему было носить ее наряд? Да, молодость его погубила.

Лучше не думать о прошлом. Ведь ничего теперь не изменишь. Надо подумать о будущем. Джеймс Вэйн лежит



в безымянной могиле на кладбище в Селби. Алан Кэмпбел застрелился ночью в лаборатории и не выдал тайны, которую ему против воли пришлось узнать. Толки об исчезновении Бэзила Холлуорда скоро прекратятся, волнение уляжется — оно уже идет на убыль. Значит, никакая опасность ему больше не грозит. И вовсе не смерть Бэзила Холлуорда мучила и угнетала Дориана, а смерть его собственной души, мертвой души в живом теле. Бэзил написал портрет, который испортил ему жизнь, — и Дориан не мог простить ему этого. Ведь всему виной портрет! Кроме того, Бэзил наговорил ему недопустимых вещей — и он стерпел это... А убийство? Убийство он совершил в минуту безумия. Алан Кэмпбел? Что из того, что Алан покончил с собой? Это его личное дело, такова была его воля. При чем же здесь он, Дориан?

Новая жизнь! Жизнь, начатая сначала, — вот чего хотел Дориан, вот к чему стремился. И уверял себя, что она уже началась. Во всяком случае, он пощадил невинную девушку. И никогда больше не будет соблазнять невинных. Он будет жить честно.

Вспомнив о Гетти Мертон, он подумал: а пожалуй, портрет в запертой комнате уже изменился к лучшему? Да, да, наверное, он уже не так страшен, как был. И если жизнь его, Дориана, станет чистой, то, быть может, всякий след пороков и страстей изгладится с лица портрета? А вдруг эти следы уже и сейчас исчезли? Надо пойти взглянуть.

Он взял со стола лампу и тихонько пошел наверх. Когда он отпирал дверь, радостная улыбка пробежала по его удивительно молодому лицу и осталась на губах. Да, он станет другим человеком, и этот мерзкий портрет, который приходится теперь прятать от всех, не будет больше держать его в страхе. Он чувствовал, что с души наконец свалилась страшная тяжесть.

Он вошел, тихо ступая, запер за собой дверь, как всегда, и сорвал с портрета пурпурное покрывало. Крик возмущения и боли вырвался у него. Никакой перемены! Только в выражении глаз было теперь что-то хитрое, да губы кривила лицемерная усмешка. Человек на портрете был все так же отвратителен, отвратительнее прежнего, и красная влага на его руке казалась еще ярче, еще более была похожа на свежепролитую кровь. Дориан задрожал. Значит, только пустое тщеславие побудило его совершить единственное в его жизни доброе дело? Или жажда новых ощущений, как с ироническим смехом намекнул лорд Генри?

Или стремление порисоваться, которое иногда толкает нас на поступки благороднее нас самих? Или все это вместе? А почему кровавое пятно стало больше? Оно расплзлось по морщинистым пальцам, распространялось подобно какой-то страшной болезни... Кровь была и на ногах портрета — не капала ли она с руки? Она была и на другой руке, той, которая не держала ножа, убившего Бэзила. Что же делать? Значит, ему следует сознаться в убийстве? Сознаться? Отдаться в руки полиции, пойти на смерть?

Дориан рассмеялся. Какая дикая мысль! Да если он и сознается, кто ему поверит? Нигде не осталось следов, все вещи убитого уничтожены, — он, Дориан, собственноручно сжег все, что оставалось внизу, в библиотеке. Люди решат, что он сошел с ума. И, если он будет упорно обвинять себя, его запрут в сумасшедший дом... Но ведь долг велит сознаться, покаяться перед все и, понести публичное наказание, публичный позор. Есть бог, и он требует, чтобы человек исповедовался в грехах своих перед небом и землей. И ничто не очистит его, Дориана, пока он не сознается в своем преступлении... Преступлении? Он пожал плечами. Смерть Бэзила Холлуорда утратила в его глазах всякое значение. Он думал о Гетти Мертон. Нет, этот портрет, это зеркало его души, а жет! Самолюбование? Любопытство? Лицемерие? Неужели ничего, кроме этих чувств, не было в его самоотречении? Неправда, было нечто большее! По крайней мере, так ему казалось. Но кто знает?..

Нет, ничего другого не было. Он пощадил Гетти только из тщеславия. В своем лицемерии надел маску добродетели. Из любопытства попробовал поступить самоотверженно. Сейчас он это ясно понимал.

А это убийство? Что же, оно так и будет его преследовать всю жизнь? Неужели прошлое будет вечно тяготеть над ним? Может, в самом деле сознаться?.. Нет, ни за что! Против него есть только одна-единственная — и то слабая — улика: портрет. Так надо уничтожить его! И зачем было так долго его хранить? Прежде ему нравилось наблюдать, как портрет вместо него старится и дурнеет, но в последнее время он и этого удовольствия не испытывает. Портрет не дает ему спокойно спать по ночам. И, уезжая из Лондона, он все время боится, как бы в его отсутствие чужой глаз не подсмотрел его тайну. Мысль о портрете отравила ему не одну минуту радости, омрачила меланхолией даже его страсти. Портрет этот — как бы его совесть. Да, совесть. И надо его уничтожить.

Дориан осмотрелся и увидел нож, которым он убил Бэзила Холлуорда. Он не раз чистил этот нож, и на нем не осталось ни пятнышка, он так и сверкал. Этот нож убил художника — так пусть же он сейчас убьет и его творение, и все, что с ним связано. Он убьет прошлое, и, когда прошлое умрет, Дориан Грей будет свободен! Он покончит со сверхъестественной жизнью души в портрете, и когда прекратятся эти зловещие предостережения, он вновь обретет покой.

Дориан схватил нож и вонзил его в портрет.

Раздался громкий крик и стук от падения чего-то тяжелого. Этот крик смертной муки был так ужасен, что проснувшиеся слуги в испуге выбежали из своих комнат. А два джентльмена, проходившие на площади, остановились и посмотрели на верхние окна большого дома, откуда донесся крик. Потом пошли искать полисмена и, встретив его, привели к дому. Полисмен несколько раз позвонил, но на звонок никто не вышел. Во всем доме было темно, светилось только одно окно наверху. Подождав немного, полисмен отошел от двери и занял наблюдательный пост на соседнем крыльце.

— Чей это дом, констебль? — спросил старший из двух джентльменов.

— Мистера Дориана Грея, сэр, — ответил полицейский.

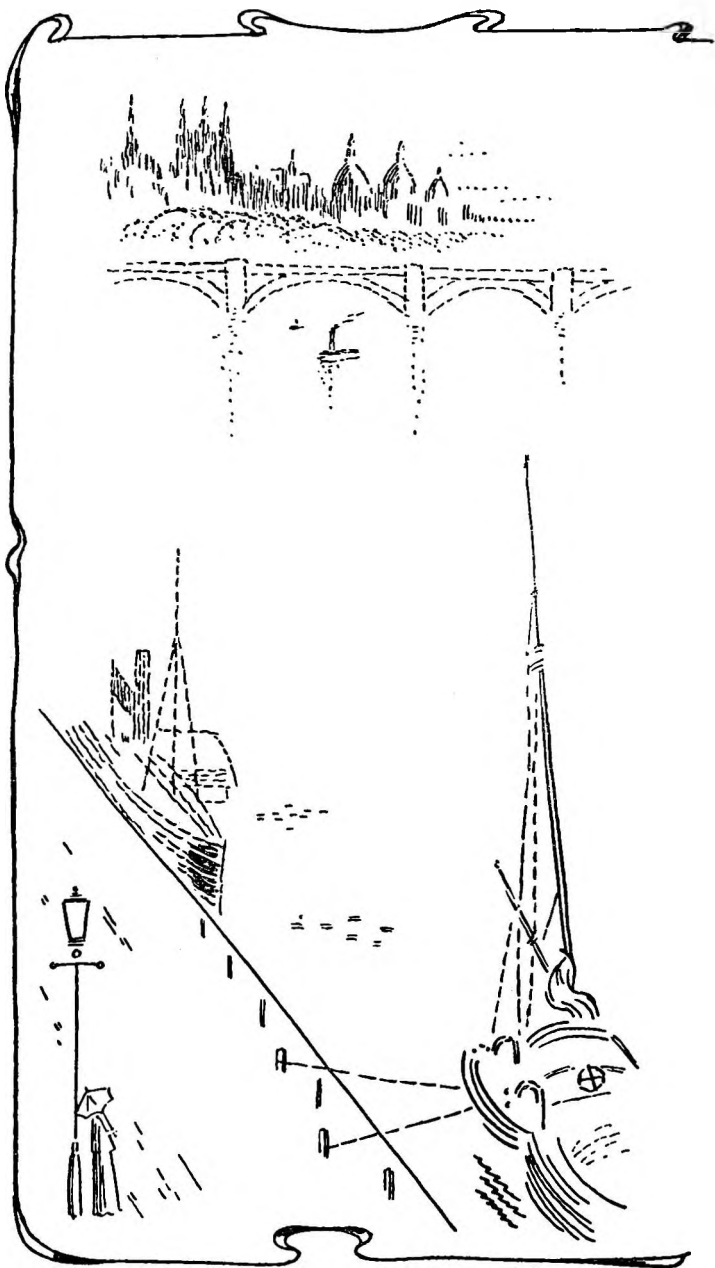
Джентльмены переглянулись, презрительно усмехаясь, и пошли дальше. Один из них был дядя сэра Генри Эштона. А в доме, на той половине, где спала прислуга, тревожно шептались полуодетые люди. Старая миссис Лиф плакала и ломала руки. Фрэнсис был бледен как смерть.

Прождав минут пятнадцать, он позвал кучера и одного из лакеев, и они втроем на цыпочках пошли наверх. Постучали, но никто не откликнулся. Они стали громко звать Дориана. Но все было безмолвно наверху. Наконец, после тщетных попыток взломать дверь, они полезли на крышу и спустились оттуда на балкон. Окна легко поддались, — задвижки были старые.

Войдя в комнату, они увидели на стене великолепный портрет своего хозяина во всем блеске его дивной молодости и красоты. А на полу с ножом в груди лежал мертвый человек во фраке. Лицо у него было морщинистое, увядшее, отталкивающее. И только по кольцам на руках слуги узнали, кто это.



РАССКАЗЫ





## КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ

*Материально-идеалистическая история*

### I

Когда мистер Хайрам Б. Отис, американский посол, решил купить Кентервильский замок, все уверяли его, что он делает ужасную глупость,— было достоверно известно, что в замке обитает привидение.

Сам лорд Кентервиль, человек донельзя щепетильный, даже когда дело касалось суших пустяков, не преминул при составлении купчей предупредить мистера Отиса.

— Нас как-то не тянуло в этот замок,— сказал лорд Кентервиль,— с тех пор как с моей двоюродной бабкой, вдовствующей герцогиней Болтон, случился нервный припадок, от которого она так и не оправилась. Она переодевалась к обеду, и вдруг ей на плечи опустились две

костлявые руки. Не скрою от вас, мистер Отис, что привидение это являлось также многим ныне здравствующим членам моего семейства. Его видел и наш приходский священник, преподобный Огастес Дэмприр, магистр Королевского колледжа в Кембридже. После этой неприятности с герцогиней вся младшая прислуга ушла от нас, а леди Кентервиль совсем лишилась сна: каждую ночь ей слышались какие-то непонятные шорохи в коридоре и библиотеке.

— Что ж, милорд,— ответил посол,— пусть привидение идет вместе с мебелью. Я приехал из передовой страны, где есть все, что можно купить за деньги. К тому же молодежь у нас бойкая, способная перевернуть весь ваш Старый Свет. Наши молодые люди увозят от вас лучших актрис и оперных примадонн. Так что, заведись в Европе хоть одно привидение, оно мигом очутилось бы у нас в каком-нибудь музее или в разъездном паноптикуме.

— Боюсь, что кентервильское привидение все-таки существует,— сказал, улыбаясь, лорд Кентервиль,— хоть оно, возможно, и не соблазнилось предложениями ваших предприимчивых импресарио. Оно пользуется известностью добрых триста лет,— точнее сказать, с тысяча пятьсот восемьдесят четвертого года,— и неизменно появляется незадолго до кончины кого-нибудь из членов нашей семьи.

— Обычно, лорд Кентервиль, в подобных случаях приходит домашний врач. Никаких привидений нет, сэр, и законы природы, смею думать, для всех одни — даже для английской аристократии.

— Вы, американцы, еще так близки к природе! — отозвался лорд Кентервиль, видимо, не совсем уразумев последнее замечание мистера Отиса. — Что ж, если вас устроит дом с привидением, то все в порядке. Только не забудьте, я вас предупредил.

Несколько недель спустя была подписана купчая, и по окончании лондонского сезона посол с семьей переехал в Кентервильский замок. Миссис Отис, которая в свое время — еще под именем мисс Лукреция Р. Тэппен с 53-й Западной улицы — славилась в Нью-Йорке своей красотой, была теперь дамой средних лет, все еще весьма привлекательной, с чудесными глазами и точеным профилем. Многие американки, покидая родину, принимают вид хронических больных, считая это одним из признаков европейской утонченности, но миссис Отис этим не грешила. Она обладала великолепным телосложением и совершенно фантастическим избытком энергии. Право, ее нелегко было

отличить от настоящей англичанки, и ее пример лишний раз подтверждал, что теперь у нас с Америкой все одинаковое, кроме, разумеется, языка. Старший из сыновей, которого родители в порыве патриотизма окрестили Вашингтоном, — о чем он всегда сожалел, — был довольно красивый молодой блондин, обещавший стать хорошим американским дипломатом, поскольку он три сезона подряд дирижировал немецкой кадрилию в казино Ньюпорта и даже в Лондоне заслужил репутацию превосходного танцора. Он питал слабость к гардениям и геральдике, отличаясь во всем остальном совершенным здравомыслием. Мисс Вирджинии Е. Отис шел шестнадцатый год. Это была стройная девочка, грациозная, как лань, с большими, ясными голубыми глазами. Она прекрасно ездил на пони и, уговорив однажды старого лорда Билтона проскакать с ней два раза наперегонки вокруг Гайд-парка, на полтора корпуса обошла его у самой статуи Ахиллеса; этим она привела в такой восторг юного герцога Чеширского, что он немедленно сделал ей предложение и вечером того же дня, весь в слезах, был отослан своими опекунами обратно в Итон. В семье было еще двое близнецов, моложе Вирджинии, которых прозвали «Звезды и полосы», поскольку их без конца пороли. Поэтому милые мальчики были, не считая почтенного посла, единственными убежденными республиканцами в семье.

От Кентервильского замка до ближайшей железнодорожной станции в Аскоте целых семь миль, но мистер Отис заблаговременно телеграфировал, чтобы им выслали экипаж, и семья двинулась к замку в отличном расположении духа.

Был прекрасный июльский вечер, и воздух был напоен теплым ароматом соснового леса. Изредка до них доносилось нежное воркование лесной горлицы, упивавшейся своим голосом, или в шелестящих зарослях папоротника мелькала пестрая грудь фазана. Крошечные белки поглядывали на них с высоких буков, а кролики прятались в низкой поросли или, задрав белые хвостики, улепетывали по мшистым кочкам. Но не успели они въехать в аллею, ведущую к Кентервильскому замку, как небо вдруг заволочло тучами, и странная тишина сковала воздух. Молча пролетела у них над головой огромная стая галок, и, когда они подъезжали к дому, большими редкими каплями начал накрапывать дождь.

На крыльце их поджидала опрятная старушка в черном шелковом платье, белом чепце и переднике. Это была миссис



Амни, домоправительница, которую миссис Отис, по настоятельной просьбе леди Кентервиль, оставила в прежней должности. Она низко присела перед каждым из членов семьи и церемонно, по-старинному, промолвила:

— Добро пожаловать в замок Кентервилей!

Они вошли вслед за нею в дом и, миновав настоящий тюдоровский холл, очутились в библиотеке — длинной и низкой комнате, обшитой черным дубом, с большим витражом против двери. Здесь уже все было приготовлено к чаю. Они сняли плащи и шали и, усевшись за стол, принялись, пока миссис Амни разливала чай, разглядывать комнату.

Вдруг миссис Отис заметила потемневшее от времени красное пятно на полу, возле камина, и, не понимая, откуда оно взялось, спросила миссис Амни:

— Наверно, здесь что-то пролили?

— Да, сударыня, — ответила старая экономка шепотом, — здесь пролилась кровь.

— Какой ужас! — воскликнула миссис Отис. — Я не желаю, чтобы у меня в гостиной были кровавые пятна. Пусть его сейчас же смойт!

Старушка улыбнулась и ответила тем же таинственным шепотом:

— Вы видите кровь леди Элеоноры Кентервиль, убиенной на этом самом месте в тысяча пятьсот семьдесят пятом году супругом своим сэром Симоном де Кентервиль. Сэр Симон пережил ее на девять лет и потом вдруг исчез при весьма загадочных обстоятельствах. Тело его так и не нашли, но грешный дух его доныне бродит по замку. Туристы и прочие посетители замка с неизменным восхищением осматривают это вечное, несмываемое пятно.

— Что за глупости! — воскликнул Вашингтон Отис. — Непревзойденный Пятновыводитель и Образцовый Очиститель Пинкертона уничтожит его в одну минуту.

И не успела испуганная экономка помешать ему, как он, опустившись на колени, принялся тереть пол маленькой черной палочкой, похожей на губную помаду. Меньше чем в минуту от пятна и следа не осталось.

— «Пинкертона» не подведет! — воскликнул он, обернувшись с торжеством к восхищенному семейству. Но не успел он это досказать, как яркая вспышка молнии озарила полутемную комнату, оглушительный раскат грома заставил всех вскочить на ноги, а миссис Амни лишилась чувств.

— Какой отвратительный климат,— спокойно заметил американский посол, закуривая длинную сигару с обрезанным концом.— Наша страна-прародительница до того перенаселена, что даже приличной погоды на всех не хватает. Я всегда считал, что эмиграция — единственное спасение для Англии.

— Дорогой Хайрам,— сказала миссис Отис,— как быть, если она чуть что примется падать в обморок?

— Удержи у нее разок из жалованья, как за битье посуды,— ответил посол,— и ей больше не захочется.

И правда, через две-три секунды миссис Амни вернулась к жизни. Впрочем, как нетрудно было заметить, она не вполне еще оправилась от пережитого потрясения и с торжественным видом объявила мистеру Отису, что его дому грозит беда.

— Сэр,— сказала она,— мне доводилось видеть такое, от чего у всякого христианина волосы встанут дыбом, и ужасы здешних мест много ночей не давали мне смежить век.

Но мистер Отис и его супруга заверили почтенную особу, что они не боятся привидений, и, призвав благословенные божье на своих новых хозяев, а также намекнув, что неплохо бы прибавить ей жалованье, старая домоправительница нетвердыми шагами удалилась в свою комнату.

## II

Всю ночь бушевала буря, но ничего особенного не случилось. Однако, когда на следующее утро семья сошла к завтраку, все снова увидели на полу ужасное кровавое пятно.

— В Образцовом Очистителе сомневаться не приходится,— сказал Вашингтон.— Я его на чем только не пробовал. Видно, здесь и в самом деле поработало привидение.

И он снова вывел пятно, а наутро оно появилось на прежнем месте. Оно было там и на третье утро, хотя накануне вечером мистер Отис, прежде чем уйти спать, самолично запер библиотеку и забрал с собою ключ. Теперь вся семья была занята привидениями. Мистер Отис стал подумывать, не проявил ли он догматизма, отрицая существование духов; миссис Отис высказала намеренье вступить в общество спиритов, а Вашингтон сочинил

длинное письмо господам Майерс и Подмор касательно долговечности кровавых пятен, порожденных преступлением. Но если и оставались у них какие-либо сомнения в реальности призраков, они в ту же ночь рассеялись навсегда.

День был жаркий и солнечный, и с наступлением вечерней прохлады семейство отправилось на прогулку. Они вернулись домой лишь к девяти часам и сели за легкий ужин. О привидениях даже речи не заходило, так что все присутствующие отнюдь не были в том состоянии повышенной восприимчивости, которое так часто предшествует материализации духов. Говорили, как потом мне рассказал мистер Отис, о чем всегда говорят просвещенные американцы из высшего общества: о бесспорном превосходстве мисс Фанни Давенпорт как актрисы над Сарой Бернар; о том, что даже в лучших английских домах не подают кукурузы, гречневых лепешек и мамалыги; о значении Бостона для формирования мировой души; о преимуществах билетной системы для провоза багажа по железной дороге; о приятной мягкости нью-йоркского произношения по сравнению с тягучим лондонским выговором. Ни о чем сверхъестественном речь не шла, а о сэре Симоне де Кентервиле никто даже не заикнулся. В одиннадцать вечера семья удалилась на покой, и полчаса спустя в доме погасили свет. Очень скоро, впрочем, мистер Отис проснулся от непонятных звуков в коридоре у него за дверью. Ему почудилось, что он слышит — с каждой минутой все отчетливей — скрежет металла. Он встал, чиркнул спичку и взглянул на часы. Был ровно час ночи. Мистер Отис оставался совершенно невозмутимым и пощупал свой пульс, ритмичный, как всегда. Странные звуки не умолкали, и мистер Отис теперь уже явственно различал звук шагов. Он сунул ноги в туфли, достал из несессера какой-то продолговатый флакончик и открыл дверь. Прямо перед ним в призрачном свете луны стоял старик ужасного вида. Глаза его горели, как раскаленные угли, длинные седые волосы патлами ниспадали на плечи, грязное платье старинного покроя было все в ломотьях, с рук его и ног, закованных в кандалы, свисали тяжелые ржавые цепи.

— Сэр, — сказал мистер Отис, — я вынужден настоятельно просить вас смазывать впредь свои цепи. С этой целью я захватил для вас пузырек машинного масла «Восходящее солнце демократической партии». Желаемый эффект после первого же употребления. Последнее под-

тверждают наши известнейшие священнослужители, в чем вы можете самолично удостовериться, ознакомившись с этикеткой. Я оставлю бутылочку на столике около канделябра и почту за честь снабжать вас вышеозначенным средством по мере надобности.

С этими словами посол Соединенных Штатов поставил флакон на мраморный столик и, закрыв за собой дверь, улегся в постель.

Кентервильское привидение так и замерло от возмущения. Затем, хватив в гнев бутылку о паркет, оно ринулось по коридору, излучая зловещее зеленое сияние и глухо стона. Но едва оно ступило на верхнюю площадку широкой дубовой лестницы, как из распахнувшейся двери выскочили две белые фигурки, и огромная подушка просвистела у него над головой. Времени терять не приходилось и, прибегнув спасения ради к четвертому измерению, дух скрылся в деревянной панели стены. В доме все стихло.

Добравшись до потайной каморки в левом крыле замка, привидение прислонилось к лунному лучу и, немного отдышавшись, начало обдумывать свое положение. Ни разу за всю его славную и безупречную трехсотлетнюю службу его так не оскорбляли. Дух вспомнил о вдовствующей герцогине, которую насмерть напугал, когда она смотрелась в зеркало, вся в кружевах и бриллиантах; о четырех горничных, с которыми случилась истерика, когда он всего-навсего улыбнулся им из-за портьеры в спальне для гостей; о приходском священнике, который до сих пор лечится у сэра Уильяма Галла от нервного расстройства, потому что однажды вечером, когда он выходил из библиотеки, кто-то задул у него свечу; о старой мадам де Тремуайк, которая, проснувшись как-то на рассвете и увидав, что в кресле у камина сидит скелет и читает ее дневник, слегла на шесть недель с воспалением мозга, примирилась с церковью и решительно порвала с известным скептиком мосье де Вольтером. Он вспомнил страшную ночь, когда злокозненного лорда Кентервиля нашли задыхающимся в гардеробной с бубновым ваетом в горле. Умирая, старик сознался, что с помощью этой карты он обыграл у Крокфорда Чарлза Джеймса Фокса на пятьдесят тысяч фунтов и что эту карту ему засунуло в глотку кентервильское привидение. Он припомнил каждую из жертв своих великих деяний, начиная с дворецкого, который застрелился, едва зеленая рука постучалась в окно буфетной, и кончая прекрасной леди Статфилд, которая вынуждена была всегда носить на шею

черную бархотку, чтобы скрыть отпечатки пяти пальцев, оставшиеся на ее белоснежной коже. Она потом утопилась в пруду, знаменитом своими карпами, в конце Королевской аллеи. Охваченный тем чувством самоуспоения, какое ведомо всякому истинному художнику, он перебирал в уме свои лучшие роли, и горькая улыбка кривила его губы, когда он вспоминал последнее свое выступление в качестве Красного Рабена, или Младенца-удавленника, свой дебют в роли Джибона Кожа да кости, или Кровопийцы с Бекслейской Топи; припомнил и то, как потряс зрителей всего-навсего тем, что приятным июньским вечером поиграл в кегли своими костями на площадке для лаун-тенниса.

И после всего этого заявляются в замок эти мерзкие нынешние американцы, навязывают ему машинное масло и швыряют в него подушками! Такое терпеть нельзя! История не знала примера, чтоб так обходились с привидением. И он замыслил месть и до рассвета остался недвижим, погруженный в раздумье.

### III

На следующее утро, за завтраком, Отисы довольно долго говорили о привидении. Посол Соединенных Штатов был немного задет тем, что подарок его отвергли.

— Я не собираюсь обижать привидение,— сказал он,— и я не могу в данной связи умолчать о том, что крайне невежливо швырять подушками в того, кто столько лет обитал в этом доме. — К сожалению, приходится добавить, что это абсолютно справедливое замечание близнецы встретили громким хохотом. — Тем не менее,— продолжал посол,— если дух проявит упорство и не пожелает воспользоваться машинным маслом «Восходящее солнце демократической партии», придется расковать его. Невозможно спать, когда так шумят у тебя под дверью.

Впрочем, до конца недели их больше не потревожили, только кровавое пятно в библиотеке каждое утро вновь появлялось на всеобщее обозрение. Объяснить это было непросто, ибо дверь с вечера запирали сам мистер Отис, а окна закрывались ставнями с крепкими засовами. Хамелеоноподобная природа пятна тоже требовала объяснения. Иногда оно было темно-красного цвета, иногда киноварного, иногда пурпурного, а однажды, когда они сошли вниз для семейной молитвы по упрощенному ритуалу Свободной американской

реформатской епископальной церкви, пятно оказалось изумрудно-зеленым. Эти калейдоскопические перемены, разумеется, очень забавляли семейство, и каждый вечер заключались пари в ожидании утра. Только маленькая Вирджиния не участвовала в этих забавах; она почему-то всякий раз огорчалась при виде кровавого пятна, а в тот день, когда оно стало зеленым, чуть не расплакалась.

Второй выход духа состоялся в ночь на понедельник. Семья только улеглась, как вдруг послышался страшный грохот в холле. Когда перепуганные обитатели замка сбегали вниз, они увидели, что на полу валяются большие рыцарские доспехи, упавшие с пьедестала, а в кресле с высокой спинкой сидит кентервильское привидение и, морщась от боли, потирает себе колени. Близнецы с меткостью, которая приобретаетя лишь долгими и упорными упражнениями на особе учителя чистописания, тотчас же выпустили в него по заряду из своих рогаток, а посол Соединенных Штатов прицелился из револьвера и, по калифорнийскому обычаю, скомандовал «руки вверх!». Дух вскочил с бешеным воплем и туманом пронесся меж них, потушив у Вашингтона свечу и оставив всех во тьме крошечной. На верхней площадке он немного отдышался и решил разразиться своим знаменитым дьявольским хохотом, который не раз приносил ему успех. Говорят, от него за ночь поседел парик лорда Рейкера, и этот хохот, несомненно, был причиной того, что три французских гувернантки леди Кентервиль заявили об уходе, не прослужив в доме и месяца. И он разразился самым своим ужасным хохотом, так что отдались звонким эхом старые своды замка. Но едва смолкло страшное эхо, как растворилась дверь, и к нему вышла миссис Отис в бледно-голубом капоте.

— Боюсь, вы расхворались, — сказала она. — Я принесла вам микстуру доктора Добелла. Если вы страдаете несварением желудка, она вам поможет.

Дух метнул на нее яростный взгляд и приготовился обернуться черной собакой — талант, который принес ему заслуженную славу и воздействием коего домашний врач объяснил неизлечимое слабоумие дяди лорда Кентервиля, почтенного Томаса Хортона. Но звук приближающихся шагов заставил его отказаться от этого намерения. Он удовольствовался тем, что стал слабо фосфоресцировать, и в тот момент, когда его уже настигли близнецы, успел, исчезая, испустить тяжелый кладбищенский стон.

Добравшись до своего убежища, он окончательно потерял самообладание и впал в жесточайшую тоску. Невоспитанность близнецов и грубый материализм миссис Отис крайне его шокировали; но больше всего его огорчило то, что ему не удалось облечься в доспехи. Он полагал, что даже нынешние американцы почувствуют робость, узрев привидение в доспехах, — ну хотя бы из уважения к своему национальному поэту Лонгфелло, над изящной и усладительной поэзией которого он просиживал часами, когда Кентервилли переезжали в город. К тому же это были его собственные доспехи. Он очень мило выглядел в них на турнире в Кенильворте и удостоился тогда чрезвычайно лестной похвалы от самой королевы-девственницы. Но теперь массивный нагрудник и стальной шлем оказались слишком тяжелы для него, и, надев доспехи, он рухнул на каменный пол, разбив колени и пальцы правой руки.

Он не на шутку занемог и несколько дней не выходил из комнаты, — разве что ночью, для поддержания в должном порядке кровавого пятна. Но благодаря умелому самоврачеванию он скоро поправился и решил, что в третий раз попробует напугать посла и его домочадцев. Он наметил себе пятницу семнадцатого августа и в канун этого дня допоздна перебирал свой гардероб, остановив наконец выбор на высокой широкополой шляпе с красным пером, саване с рюшками у ворота и на рукавах и заржавленном кинжале. К вечеру начался ливень, и ветер так бушевал, что все окна и двери старого дома ходили ходуном. Впрочем, подобная погода была как раз по нем. План его был таков: первым делом он тихонько проберется в комнату Вашингтона Отиса и постойт у него в ногах, бормоча себе что-то под нос, а потом под звуки заунывной музыки трижды пронзит себе горло кинжалом. К Вашингтону он испытывал особую неприязнь, так как прекрасно знал, что именно он взял в обычай стирать знаменитое Кентервилльское Кровавое Пятно Образцовым Пинкертоновским Очистителем. Доведя этого безрассудного и непочтительного юнца до полной прострации, он проследует затем в супружескую опочивальню посла Соединенных Штатов и возложит покрытую холодным потом руку на лоб миссис Отис, нашептывая тем временем ее трепещущему мужу страшные тайны склепа. Насчет маленькой Вирджинии он пока ничего определенного не придумал. Она ни разу его не обидела и была красивой и доброй девочкой. Здесь можно обойтись несколькими глухими стонами из шкафа, а если она не проснется, он подергает дрожащими скрю-

ченными пальцами ее одеяло. А вот близнецов он проучит как следует. Перво-наперво он усядется им на грудь, чтобы они заметались от привидевшихся кошмаров, а потом, поскольку их кровати стоят почти рядом, застынет между ними в образе холодного, позеленевшего трупа и будет так стоять, пока они не омертвеют от страха. Тогда он сбросит саван и, обнажив свои белые кости, примется расхаживать по комнате, вращая одним глазом, как полагается в роли Безгласого Даниила, или Скелета-самоубийцы. Это была очень сильная роль, ничуть не слабее его знаменитого Безумного Мартина, или Сокрытой Тайны, и она не раз производила сильное впечатление на зрителей.

В половине одиннадцатого он догадался по звукам, что вся семья отправилась на покой. Ему еще долго мешали дикие взрывы хохота, — очевидно, близнецы с беспечностью школьников резвились перед тем, как отойти ко сну, — но в четверть двенадцатого в доме воцарилась тишина, и, только пробило полночь, он вышел на дело. Совы бились о стекла, ворон каркал на старом тисовом дереве, и ветер блуждал, стеная, словно неприкаянная душа, вокруг старого дома. Но Отисы спокойно спали, не подозревая ни о чем, и храп посла заглушал дождь и бурю. Дух со злобной усмешкой на сморщенных устах осторожно вышел из панели. Луна сокрыла свой лик за тучей, когда он крался мимо окна фонарем, на котором золотом и лазурью были выведены его герб и герб убитой им жены. Все дальше скользил он зловещей тенью; мгла ночная и та, казалось, взирала на него с отвращением.

Вдруг ему почудилось, что кто-то окликнул его, и он замер на месте, но это только собака залаяла на Красной ферме. И он продолжал свой путь, бормоча никому теперь не понятные ругательства XVI века и размахивая в воздухе заржавленным кинжалом. Наконец он добрался до поворота, откуда начинался коридор, ведущий в комнату злосчастного Вашингтона. Здесь он переждал немного. Ветер развевал его седые космы и свертывал в неопишимо ужасные складки его могильный саван. Пробило четверть, и он почувствовал, что время настало. Он самодовольно хихикнул и повернул за угол; но едва он ступил шаг, как отшатнулся с жалостным воплем и закрыл побледневшее лицо длинными костлявыми руками. Прямо перед ним стоял страшный призрак, недвижимый, точно изваяние, чудовищный, словно бред безумца. Голова у него была лысая, гладкая, лицо толстое, мертвенно-бледное; гнусный смех свел черты его в вечную



улыбку. Из глаз его струились лучи алого света, рот был как широкий огненный колодец, а безобразная одежда, так похожая на его собственную, белоснежным саваном окутывала могучую фигуру. На груди у призрака висела доска с непонятной надписью, начертанной старинными буквами. О страшном позоре, должно быть, вещала она, о грязных пороках, о диких злодействах. В поднятой правой руке его был зажат меч из блестящей стали.

Никогда доселе не видав привидений, дух Кентервиля, само собой разумеется, ужасно перепугался и, взглянув еще раз краешком глаза на страшный призрак, кинулся восвояси. Он бежал, не чуя под собою ног, путаясь в складках савана, а заржавленный кинжал уронил по дороге в башмак посла, где его поутру нашел дворецкий. Добравшись до своей комнаты и почувствовав себя в безопасности, дух бросился на свое жесткое ложе и спрятал голову под одеяло. Но скоро в нем проснулась былая кентервильская отвага, и он решил, как только рассветет, пойти и заговорить с другим привидением. И едва заря окрасила холмы серебром, он вернулся туда, где встретил ужасный призрак. Он понимал, что, в конце концов, чем больше привидений, тем лучше, и надеялся с помощью нового сотоварища управиться с близнецами. Но когда он очутился на прежнем месте, страшное зрелище открылось его взору. Видно, что-то недоброе стряслось с призраком. Свет потух в его пустых глазницах, блестящий меч выпал у него из рук, и весь он как-то неловко и неестественно опирался о стену. Дух Кентервиля подбежал к нему, обхватил его руками, как вдруг — о, ужас! — голова покатила по полу, туловище переломилось пополам, и он увидел, что держит в объятиях кусок белого полога, а у ног его валяются метла, кухонный нож и пустая тыква. Не зная, чем объяснить это странное превращение, он дрожащими руками поднял доску с надписью и при сером утреннем свете разобрал такие страшные слова:

*ДУХ ФИРМЫ ОТИС.*

*Единственный подлинный и оригинальный призрак!*

*Остерегайтесь подделок!*

*Все остальные — не настоящие!*

Ему стало все ясно. Его обманули, перехитрили, провели! Глаза его зажглись прежним кентервильским огнем; он заскрежетал беззубыми деснами и, воздев к небу

изможденные руки, поклялся, следуя лучшим образцам старинной стилистики, что, не успеет Шантеклер дважды протрубить в свой рог, как свершатся кровавые дела и убийство неслышным шагом пройдет по этому дому.

Едва он произнес эту страшную клятву, как вдалеке с красной черепичной крыши прокричал петух. Дух залился долгим, глухим и злым смехом и стал ждать. Много часов прождал он, но петух почему-то больше не запел. Наконец около половины восьмого шаги горничных вывели его из оцепенения, и он вернулся к себе в комнату, горя о несбывшихся планах и напрасных надеждах. Там, у себя, он просмотрел несколько самых своих любимых книг о старинном рыцарстве и узнал из них, что всякий раз, когда произносилась эта клятва, петух пел дважды.

— Да сгубит смерть бессовестную птицу! — забормотал он. — Настанет день, когда мое копьё в твою вонзится трепетную глотку и я услышу твой предсмертный хрип.

Потом он улегся в удобный свинцовый гроб и оставался там до темноты.

#### IV

Наутро дух чувствовал себя совсем разбитым. Начинало сказываться огромное напряжение целого месяца. Его нервы были вконец расшатаны, он вздрагивал от малейшего шороха. Пять дней он не выходил из комнаты и наконец махнул рукой на кровавое пятно. Если оно не нужно Отисам, значит, они недостойны его. Очевидно, они жалкие материалисты, совершенно неспособные оценить символический смысл сверхчувственных явлений. Вопрос о небесных знамениях и о фазах астральных тел был, конечно, не спорим, особой областью и, по правде говоря, находился вне его компетенции. Но его священной обязанностью было появляться еженедельно в коридоре, а в первую и третью среду каждого месяца усаживаться у окна, что выходит фонарем в парк, и бормотать всякий вздор, и он не видел возможности без урона для своей чести отказаться от этих обязанностей. И хотя земную свою жизнь он прожил безнравственно, он проявлял крайнюю добропорядочность во всем, что касалось мира потустороннего. Поэтому следующие три субботы он, по обыкновению, от полуночи до трех прогуливался по коридору, всячески заботясь о том, чтобы его не услышали и не

увидели. Он ходил без сапог, стараясь как можно легче ступать по источенному червями полу; надевал широкий черный бархатный плащ и никогда не забывал тщательнейшим образом протереть свои цепи машинным маслом «Восходящее солнце демократической партии». Ему, надо сказать, нелегко было прибегнуть к этому последнему средству безопасности. И все же как-то вечером, когда семья сидела за обедом, он пробрался в комнату к мистеру Отису и стащил бутылочку машинного масла. Правда, он чувствовал себя немного униженным, но только поначалу. В конце концов благоразумие взяло верх, и он признался себе, что изобретение это имеет свои достоинства и в некотором отношении может сослужить ему службу. Но как ни был он осторожен, его не оставляли в покое. То и дело он спотыкался в темноте о веревки, протянутые поперек коридора, а однажды, одетый для роли Черного Исаака, или Охотника из Хоглейских лесов, он поскользнулся и сильно расшибся, потому что близнецы натерли маслом пол от входа в гобеленовую залу до верхней площадки дубовой лестницы. Это так разозлило его, что он решил в последний раз стать на защиту своего поправленного достоинства и своих прав и явиться в следующую ночь дерзким воспитанникам Йтона в знаменитой роли Отважного Рупера, или Безголового Графа.

Он не выступал в этой роли более семидесяти лет, с тех пор как до того напугал прелестную леди Барбару Модииш, что она отказала своему жениху, деду нынешнего лорда Кентервиля, и убежала в Гретна-Грин с красавцем Джеком Каслтоном; она заявила при этом, что ни за что на свете не войдет в семью, где считают позволительным, чтоб такие ужасные призраки разгуливали в сумерки по террасе. Бедный Джек вскоре погиб на Вондсвортском лугу от пули лорда Кентервиля, а сердце леди Барбары было разбито, и она меньше чем через год умерла в Танбридж-Уэллс,— так что это выступление в любом смысле имело огромный успех. Однако для этой роли требовался очень сложный грим,— если допустимо воспользоваться театральным термином применительно к одной из глубочайших тайн мира сверхъестественного, или, по-научному, «естественного мира высшего порядка»,— и он потратил добрых три часа на приготовления. Наконец все было готово, и он остался очень доволен своим видом. Большие кожаные ботфорты, которые полагались к этому костюму, были ему, правда, немного велики, и один из седельных пистолетов куда-то запропастился, но в целом, как ему казалось, он приоделся на славу. Ровно

в четверть второго он выскользнул из панели и прокрался по коридору. Добравшись до комнаты близнецов (она, кстати сказать, называлась «Голубой спальней», по цвету обоев и портьер), он заметил, что дверь немного приоткрыта. Желая как можно эффектнее обставить свой выход, он широко распахнул ее... и на него опрокинулся огромный кувшин с водой, который пролетел на вершок от его левого плеча, промочив его до нитки. В ту же минуту он услышал взрывы хохота из-под балдахина широкой постели.

Нервы его не выдержали. Он кинулся со всех ног в свою комнату и на другой день слег от простуды. Хорошо еще, что он выходил без головы, а то не обошлось бы без серьезных осложнений. Только это его и утешало.

Теперь он оставил всякую надежду запугать этих грубиянов американцев и большей частью довольствовался тем, что бродил по коридору в войлочных туфлях, замотав шею толстым красным шарфом, чтобы не простыть, и с маленькой аркебузой в руках на случай нападения близнецов. Последний удар был нанесен ему девятнадцатого сентября. В этот день он спустился в холл, где, как он знал, его никто не потревожит, и про себя поиздевался над сделанными у Сарони большими фотографиями посла Соединенных Штатов и его супруги, замененными фамильные портреты Кентервилей. Одет он был просто, но аккуратно, в длинный саван, кое-где попорченный могильной плесенью. Нижняя челюсть его была подвязана желтой косынкой, а в руке он держал фонарь и заступ, какими пользуются могильщики. Собственно говоря, он был одет для роли Ионы Непогребенного, или Похитителя Трупов с Чертсейского Гумна, одного из своих лучших созданий. Эту роль прекрасно помнили все Кентервили, и не без причины, ибо как раз тогда они поругались со своим соседом лордом Раффордом. Было уже около четверти третьего, и сколько он ни прислушивался, не слышно было ни шороха. Но когда он стал потихоньку пробираться к библиотеке, чтобы взглянуть, что осталось от кровавого пятна, из темного угла внезапно выскочили две фигурки, испуганно замахали руками над головой и завопили ему в самое ухо: «У-у-у!»

Охваченный паническим страхом, вполне естественным в данных обстоятельствах, он кинулся к лестнице, но там его подкарауливал Вашингтон с большим садовым опрыскивателем; окруженный со всех сторон врагами и буквально припертый к стенке, он юркнул в большую железную печь,

которая, к счастью, не была затоплена, и по трубам пробрался в свою комнату — грязный, растерзанный, исполненный отчаяния.

Больше он не предпринимал ночных вылазок. Близнецы несколько раз устраивали на него засады и каждый вечер, к великому неудовольствию родителей и прислуги, посыпали пол в коридоре ореховой скорлупой, но все безрезультатно. Дух, по-видимому, счел себя настолько обиженным, что не желал больше выходить к обитателям дома. Поэтому мистер Отис снова уселся за свой труд по истории демократической партии, над которым работал уже много лет; миссис Отис организовала великолепный, поразивший все графство пикник на морском берегу, — все кушанья были приготовлены из моллюсков; мальчики увлеклись лакроссом, покером, юкром и другими американскими национальными играми. А Вирджиния каталась по аллеям на своем пони с молодым герцогом Чеширским, проводившим в Кентервильском замке последнюю неделю своих каникул. Все решили, что привидение от них съехало, и мистер Отис известил об этом в письменной форме лорда Кентервиля, который в ответном письме выразил по сему поводу свою радость и поздравил достойную супругу посла.

Но Отисы ошиблись. Привидение не покинуло их дом и, хотя было теперь почти инвалидом, все же не думало оставлять их в покое, — особенно с тех пор, как ему стало известно, что среди гостей находится молодой герцог Чеширский, двоюродный внук того самого лорда Фрэнсиса Стилтона, который поспорил однажды на сто гиней с полковником Карбери, что сыграет в кости с духом Кентервиля; поутру лорда Стилтона нашли на полу ломберной разбитого параличом, и, хотя он дожил до преклонных лет, он мог произнести лишь два слова: «шестерка дубль». Эта история в свое время очень нашумела, хотя из уважения к чувствам обеих благородных семей ее всячески старались замять. Подробности ее можно найти в третьем томе сочинения лорда Тэттла «Воспоминания о принце-регенте и его друзьях». Духу, естественно, хотелось доказать, что он не утратил прежнего влияния на Стилтонов, с которыми к тому же состоял в дальнем родстве: его кузина была замужем en secondes nocces<sup>1</sup> за монсеньером де Балкли, а от него, как всем известно, ведут свой род герцоги Чеширские.

---

<sup>1</sup> Вторым браком (фр.).

Он даже начал работать над возобновлением своей знаменитой роли Монах-вампир, или Бескровный Бенедиктинец, в которой решил предстать перед юным поклонником Вирджинии. Он был так страшен в этой роли, что когда его однажды, в роковой вечер под новый 1764 год, увидела старая леди Стартап, она издала несколько истошных криков, и с ней случился удар. Через три дня она скончалась, лишив Кентервилей, своих ближайших родственников, наследства и оставив все своему лондонскому аптекарю.

Но в последнюю минуту страх перед близнецами помешал привидению покинуть свою комнату, и маленький герцог спокойно проспал до утра под большим балдахинном с плюмажами в королевской опочивальне. Во сне он видел Вирджинию.

## V

Несколько дней спустя Вирджиния и ее златокудрый кавалер поехали кататься верхом на Броклейские луга, и она, пробираясь сквозь живую изгородь, так изорвала свою amazонку, что, вернувшись домой, решила потихоньку от всех подняться к себе по черной лестнице. Когда она пробегала мимо гобеленовой залы, дверь которой была чуточку приоткрыта, ей показалось, что в комнате кто-то есть, и, полагая, что это камеристка ее матери, иногда сидевшая здесь с шитьем, она собралась было попросить ее зашить платье. К несказанному ее удивлению, это оказался сам кентервильский дух! Он сидел у окна и следил взором, как облетает под ветром непрочная позолота с пожелтевших деревьев и как в бешеной пляске мчатся по длинной аллее красные листья. Голову он уронил на руки, и вся поза его выражала безнадежное отчаянье. Таким одиноким, таким дряхлым показался он маленькой Вирджинии, что она, хоть и подумала сперва убежать и запереться у себя, пожалела его и захотела утешить. Шаги ее были так легки, а грусть его до того глубока, что он не заметил ее присутствия, пока она не заговорила с ним.

— Мне очень жаль вас, — сказала она. — Но завтра мои братья возвращаются в Итон, и тогда, если вы будете хорошо себя вести, вас никто больше не обидит.

— Глупо просить меня, чтобы я хорошо вел себя, — ответил он, с удивлением разглядывая хорошенькую

девочку, которая решилась заговорить с ним,— просто глупо! Мне положено греметь цепями, стонать в замочные скважины и разгуливать по ночам — если ты про это. Но в этом же весь смысл моего существования!

— Никакого смысла тут нет, и вы сами знаете, что были скверный. Миссис Амни рассказала нам еще в первый день после нашего приезда, что вы убили жену.

— Допустим,— сварливо ответил дух,— но это дела семейные и никого не касаются.

— Убивать вообще нехорошо,— сказала Вирджиния, которая иной раз проявляла милую пуританскую нетерпимость, унаследованную ею от какого-то предка из Новой Англии.

— Терпеть не могу ваш дешевый, беспредметный ригоризм! Моя жена была очень дурна собой, ни разу не сумела прилично накрахмалить мне брыжи и ничего не смыслила в стряпне. Ну хотя бы такое: однажды я убил в Хоглейском лесу оленя, великолепного самца-одногодка,— как ты думаешь, что нам из него приготовили? Да что теперь толковать,— дело прошлое! И все же, хоть я и убил жену, по-моему, не очень любезно было со стороны моих шуринов заморить меня голодом.

— Они заморили вас голодом? О господин дух, то есть, я хотела сказать, сэр Симон, вы, наверно, голодный? У меня в сумке есть бутерброд. Вот, пожалуйста!

— Нет, спасибо. Я давно ничего не ем. Но все же ты очень добра, и вообще ты гораздо лучше всей своей противной, невоспитанной, вульгарной и бесчестной семьи.

— Не смейте так говорить! — крикнула Вирджиния, топнув ножкой.— Сами вы противный, невоспитанный, гадкий и вульгарный, а что до честности, так вы сами знаете, кто таскал у меня из ящика краски, чтобы рисовать это дурацкое пятно. Сперва вы забрали все красные краски, даже киноварь, и я не могла больше рисовать закаты, потом взяли изумрудную зелень и желтый хром; и напоследок у меня остались только индиго и белила, и мне пришлось рисовать только лунные пейзажи, а это навевает тоску, да и рисовать очень трудно. Я никому не сказала, хоть и сердилась. И вообще все это просто смешно: ну где видали вы кровь изумрудного цвета?

— А что мне оставалось делать? — сказал дух, уже не пытаясь спорить.— Теперь непросто достать настоящую кровь, и поскольку твой братец пустил в ход свой Образцо-

вый Очиститель, я счел возможным воспользоваться твоими красками. А цвет, знаешь ли, кому какой нравится. У Кентервилей, к примеру, кровь голубая, самая голубая во всей Англии. Впрочем, вас, американцев, такого рода вещи не интересуют.

— Ничего вы не понимаете. Поехали бы лучше в Америку, да подучились немного. Папа с радостью устроит вам бесплатный билет, и хотя на спиртное и, наверно, на спиритическое пошлина очень высокая, вас на таможене пропустят без всяких. Все чиновники там — демократы. А в Нью-Йорке вас ждет колоссальный успех. Я знаю многих людей, которые дали бы сто тысяч долларов за обыкновенного деда, а за семейное привидение — и того больше.

— Боюсь, мне не понравится ваша Америка.

— Потому что там нет ничего допотопного или диковинного? — съязвила Вирджиния.

— Ничего допотопного? А ваш флот? Ничего диковинного? А ваши нравы?

— Прощайте! Пойду попрошу папу, чтобы он оставил близнецов дома еще на недельку.

— Не покидайте меня, мисс Вирджиния! — воскликнул дух. — Я так одинок, так несчастен! Право, я не знаю, как мне быть. Мне хочется уснуть, а я не могу.

— Что за глупости! Для этого надо только улечься в постель и задуть свечу. Не уснуть куда труднее, особенно в церкви. А уснуть совсем просто. Это и грудной младенец сумеет.

— Триста лет я не ведал сна, — печально промолвил дух, и прекрасные голубые глаза Вирджинии широко раскрылись от удивления. — Триста лет я не спал, я так истомился душой!

Вирджиния сделалась очень печальной, и губки ее задрожали, как лепестки розы. Она подошла к нему, опустила на колени и заглянула в его старое, морщинистое лицо.

— Бедный мой призрак, — прошептала она, — разве негде тебе лечь и уснуть?

— Далеко-далеко, за сосновым бором, — ответил он тихим, мечтательным голосом, — есть маленький сад. Трава там густая и высокая, там белеют звезды цикуты, и всю ночь там поет соловей. Он поет до рассвета, и холодная хрустальная луна глядит с вышины, а исполинское тисовое дерево простирает свои руки над спящими.



Глаза Вирджинии заволоклись слезами, и она спрятала лицо в ладони.

— Это Сад Смерти? — прошептала она.

— Да, Смерти. Смерть, должно быть, прекрасна. Лежишь в мягкой сырой земле, и над тобою колышутся травы, и слушаешь тишину. Как хорошо не знать ни вчера, ни завтра, забыть время, простить жизнь, изведать покой. В твоих силах помочь мне. Тебе легко отворить врата Смерти, ибо с тобой Любовь, а Любовь сильнее Смерти.

Вирджиния вздрогнула, точно ее пронизал холод; воцарилось короткое молчание. Ей казалось, будто она видит страшный сон.

И опять заговорил дух, и голос его был как вздохи ветра.

— Ты читала древнее пророчество, начертанное на окне библиотеки?

— О, сколько раз! — воскликнула девочка, вскинув головку. — Я его наизусть знаю. Оно написано такими странными черными буквами, что их сразу и не разберешь. Там всего шесть строчек:

Когда заплачет, не шутя,  
Здесь златокудрое дитя,  
Молитва утолит печаль  
И зацветет в саду миндаль —  
Тогда взликует этот дом,  
И дух уснет, живущий в нем<sup>1</sup>.

Только я не понимаю, что все это значит.

— Это значит, — печально промолвил дух, — что ты должна оплакать мои прегрешения, ибо у меня самого нет слез, и помолиться за мою душу, ибо нет у меня веры. И тогда, если ты всегда была доброй, любящей и нежной, Ангел Смерти смилуется надо мной. Страшные чудовища явятся тебе в ночи и станут нашептывать злые слова, но они не сумеют причинить тебе вред, потому что вся злокозненность ада бессильна пред чистотою ребенка.

Вирджиния не отвечала, и, видя, как низко склонила она свою златокудрую головку, дух принялся в отчаянии ломать руки. Вдруг девочка встала. Она была бледна, и глаза ее светились удивительным огнем.

— Я не боюсь, — сказала она решительно. — Я попрошу Ангела помиловать вас.

<sup>1</sup> Перевод Р. Померанцевой.

Едва слышно вскрикнув от радости, он поднялся на ноги, взял ее руку, и наклонившись со старомодной грацией, поднес к губам. Пальцы его были холодны как лед, губы жгли как огонь, но Вирджиния не дрогнула и не отступила, и он повел ее через полутемную залу. Маленькие охотники на поблекших зеленых гобеленах трубили в свои украшенные кистями рога и махали крошечными ручками, чтоб она вернулась назад. «Вернись, маленькая Вирджиния! — кричали они. — Вернись!»

Но дух крепче сжал ее руку, и она закрыла глаза. Пучеглазые чудовища с хвостами ящериц, высеченные на камине, смотрели на нее и шептали: «Берегись, маленькая Вирджиния, берегись! Что, если мы больше не увидим тебя?» Но дух скользил вперед все быстрее, и Вирджиния не слушала их.

Когда они дошли до конца залы, он остановился и тихо произнес несколько непонятных слов. Она открыла глаза и увидела, что стена растаяла, как туман, и за ней разверзлась черная пропасть. Налетел ледяной ветер, и она почувствовала, как кто-то потянул ее за платье.

— Скорее, скорее! — крикнул дух. — Не то будет поздно.

И деревянная панель мгновенно сомкнулась за ними, и гобеленовый зал опустел.

## VI

Когда минут через десять гонг зазвонил к чаю и Вирджиния не спустилась в библиотеку, миссис Отис послала за ней одного из лакеев. Вернувшись, он объявил, что не мог сыскать ее. Вирджиния всегда выходила под вечер за цветами для обеденного стола, и поначалу у миссис Отис не возникло никаких опасений. Но когда пробило шесть, а Вирджинии все не было, мать не на шутку встревожилась и велела мальчикам искать сестру в парке, а сама вместе с мистером Отисом обошла весь дом. В половине седьмого мальчики вернулись и сообщили, что не обнаружили никаких следов Вирджинии. Все были крайне встревожены и не знали, что предпринять, когда вдруг мистер Отис вспомнил, что позволил цыганскому табору остановиться у него в поместье. Он тотчас отправился со старшим сыном и двумя работниками в Блэкфелский лог, где, как он знал, стояли цыгане. Маленький герцог, страшно взволно-

ванный, во что бы то ни стало хотел идти с ними, но мистер Отис боялся, что будет драка, и не взял его. Цыган на месте уже не было, и, судя по тому, что костер еще теплился и на траве валялись кастрюли, они уехали в крайней спешке. Отправив Вашингтона и работников осмотреть окрестности, мистер Отис побежал домой и разослал телеграммы полицейским инспекторам по всему графству, прося разыскать маленькую девочку, похищенную бродягами или цыганами. Затем он велел подать коня и, заставив жену и мальчиков сесть за обед, поспекал с грумом по дороге, ведущей в Аскот. Но не успели они отъехать и двух миль, как услышали за собой стук копыт. Оглянувшись, мистер Отис увидел, что его догоняет на своем пони маленький герцог, без шляпы, с раскрасневшимся от скачки лицом.

— Простите меня, мистер Отис,— сказал мальчик, переводя дух,— но я не могу обедать, пока не съездит в Вирджиния. Не сердитесь, но если б в прошлом году вы согласились на нашу помолвку, ничего подобного не случилось бы. Вы ведь не отошлете меня, правда? Я не хочу домой и никуда не уеду!

Посол не сдержал улыбки при взгляде на этого милого послушника. Его глубоко тронула преданность мальчика, и, нагнувшись с седла, он ласково потрепал его по плечу.

— Что ж, ничего не поделаешь,— сказал он,— коли вы не хотите вернуться, придется взять вас с собой, только надо будет купить вам в Аскоте шляпу.

— Не нужно мне шляпы! Мне нужна Вирджиния! — засмеялся маленький герцог, и они поскакали к железнодорожной станции.

Мистер Отис спросил начальника станции, не видел ли кто на платформе девочки, похожей по приметам на Вирджинию, но никто не мог сказать ничего определенного. Начальник станции все же протелеграфировал по линии и уверил мистера Отиса, что для розысков будут приняты все меры; купив маленькому герцогу шляпу в лавке, владельце которой уже закрывал ставни, посол поехал в деревню Бексли, что в четырех милях от станции, где, как ему сообщили, был большой общинный выпас и часто собирались цыгане. Спутники мистера Отиса разбудили сельского полицмена, но ничего от него не добились и, объехав луг, повернули домой. До замка они добрались только часам к одиннадцати, усталые, разбитые, на грани отчаяния. У ворот их дожидались Вашингтон и близнецы

с фонарями: в парке было уже темно. Они сообщили, что никаких следов Вирджинии не обнаружено. Цыган догнали на Броклейских лугах, но девочки с ними не было. Свой внезапный отъезд они объяснили тем, что боялись опоздать на Чертонскую ярмарку, так как перепутали день ее открытия. Цыгане и сами встревожились, узнав об исчезновении девочки, и четверо из них остались помогать в розысках, поскольку они были очень признательны мистеру Отису за то, что он позволил им остановиться в поместье. Обыскали пруд, славившийся карпами, обшарили каждый уголок в замке, — все напрасно. Было ясно, что в эту по крайней мере ночь Вирджинии с ними не будет. Мистер Отис и мальчишки, опустив голову, пошли к дому, а грум вел за ними обоих лошадей и пони. В холле их встретило несколько измученных слуг, а в библиотеке на диване лежала миссис Отис, чуть не обезумевшая от страха и тревоги; старуха домоправительница смачивала ей виски одеколоном. Мистер Отис уговорил жену покушать и велел подать ужин. Это был грустный ужин. Все приуныли, и даже близнецы притихли и не баловались: они очень любили сестру.

После ужина мистер Отис, как ни упрашивал его маленький герцог, отправил всех спать, заявив, что ночью все равно ничего не сделаешь, а утром он срочно вызовет по телеграфу сыщиков из Скотланд-Ярда. Когда они выходили из столовой, церковные часы как раз начали отбивать полночь, и при звуке последнего удара что-то вдруг затрепало и послышался громкий возглас. Оглушительный раскат грома сотряс дом, звуки неземной музыки полились в воздухе; и тут на верхней площадке лестницы с грохотом отвалился кусок панели, и, бледная как полотно, с маленькой шкатулкой в руках, из стены выступила Вирджиния.

В мгновение ока все были возле нее. Миссис Отис нежно обняла ее, маленький герцог осыпал ее пылкими поцелуями, а близнецы принялись кружиться вокруг в дикой воинственной пляске.

— Где ты была, дитя мое? — строго спросил мистер Отис: он думал, что она сыграла с ними какую-то злую шутку. — Мы с Сеслом объехали пол-Англии, разыскивая тебя, а мама чуть не умерла от страха. Никогда больше не шути так с нами.

— Дурачить можно только духа, только духа! — вопили близнецы, прыгая как безумные.

— Милая моя, родная, нашлась, слава богу,— твердила миссис Отис, целуя дрожащую девочку и разглаживая ее спутанные золотые локоны,— никогда больше не покидай меня.

— Папа,— сказала Вирджиния спокойно,— я провела весь вечер с духом. Он умер, и вы должны пойти взглянуть на него. Он был очень дурным при жизни, но раскаялся в своих грехах и подарил мне на память эту шкатулку с чудесными драгоценностями.

Все глядели на нее в немом изумлении, но она оставалась серьезной и невозмутимой. И она повела их через отверстие в панели по узкому потайному коридорчику; Вашингтон со свечой, которую он прихватил со стола, замыкал процессию. Наконец они дошли до тяжелой дубовой двери на больших петлях, утыканной ржавыми гвоздями. Вирджиния прикоснулась к двери, та распахнулась, и они очутились в низенькой каморке со сводчатым потолком и зарешеченным окошком. К огромному железному кольцу, вделанному в стену, был прикован цепью страшный скелет, распростертый на каменном полу. Казалось, он хотел дотянуться своими длинными пальцами до старинного блюда и ковша, поставленных так, чтоб их нельзя было достать. Ковш, покрытый изнутри зеленой плесенью, был, очевидно, когда-то наполнен водой. На блюде осталась лишь горстка пыли. Вирджиния опустилась на колени возле скелета и, сложив свои маленькие ручки, начала тихо молиться; пораженные, созерцали они картину ужасной трагедии, тайна которой открылась им.

— Глядите! — воскликнул вдруг один из близнецов, глянув в окно, чтобы определить, в какой части замка находится каморка.— Глядите! Сухое миндальное дерево расцвело. Светит луна, и мне хорошо видны цветы.

— Бог простил его! — сказала Вирджиния, вставая, и лицо ее словно озарилось лучезарным светом.

— Вы ангел! — воскликнул молодой герцог, обнимая и целуя ее.

## VII

Четыре дня спустя после этих удивительных событий, за час до полуночи, из Кентервильского замка тронулся траурный кортеж. Восемь черных коней везли катафалк,

и у каждого на голове качался пышный страусовый султан; богатый пурпурный покров с вытканым золотом гербом Кентервилей был наброшен на свинцовый гроб, и слуги с факелами шли по обе стороны экипажей — процессия производила неизгладимое впечатление. Ближайший родственник усопшего лорд Кентервиль, специально прибывший на похороны из Уэльса, ехал вместе с маленькой Вирджинией в первой карете. Потом ехал посол Соединенных Штатов с супругой, за ними Вашингтон и три мальчика. В последней карете сидела миссис Амни — без слов было ясно, что, поскольку привидение пугало ее больше пятидесяти лет, она имеет право проводить его до могилы. В углу погоста, под тисовым деревом, была вырыта огромная могила, и преподобный Огастес Дэмпир с большим чувством прочитал заупокойную молитву. Когда пастор умолк, слуги, по древнему обычаю рода Кентервилей, потушили свои факелы, а когда гроб стали опускать в могилу, Вирджиния подошла к нему и возложила на крышку большой крест, сплетенный из белых и розовых цветов миндаля. В этот миг луна тихо выплыла из-за тучи и залила серебром маленькое кладбище, а в отдаленной роще раздались соловьиные трели. Вирджиния вспомнила про Сад Смерти, о котором рассказывал дух. Глаза ее наполнились слезами, и всю дорогу домой она едва проронила слово.

На следующее утро, когда лорд Кентервиль стал собираться обратно в Лондон, мистер Отис завел с ним разговор о драгоценностях, подаренных Вирджинии привидением. Они были великолепны, особенно рубиновое ожерелье в венецианской оправе — редкостный образец работы XVI века; их ценность была так велика, что мистер Отис не считал возможным разрешить своей дочери принять их.

— Милорд, — сказал он, — я знаю, что в вашей стране закон о «мертвой руке» распространяется как на земельную собственность, так и на фамильные драгоценности, и у меня нет сомнения, что эти вещи принадлежат вашему роду или, во всяком случае, должны ему принадлежать. Посему я прошу вас забрать их с собой в Лондон и впредь рассматривать как часть вашего имущества, возвращенную вам при нескольких необычных обстоятельствах. Что касается моей дочери, то она еще ребенок и пока, слава богу, не слишком интересуется всякими дорогими безделушками. К тому же миссис Отис сообщила мне, — а она, должен сказать, провела в юности несколько зим в Бостоне и прекрасно разбирается

в искусстве,— что за эти безделушки можно выручить солидную сумму. По причине вышеизложенного, лорд Кентервиль, я, как вы понимаете, не могу согласиться, чтобы они перешли к кому-нибудь из членов моей семьи. Да и вообще вся эта бессмысленная мишура, необходимая для поддержания престижа британской аристократии, совершенно ни к чему тем, кто воспитан в строгих и, я бы сказал, непоколебимых принципах республиканской простоты. Не скрою, впрочем, что Вирджинии очень хотелось бы сохранить, с вашего позволения, шкатулку в память о вашем несчастном заблудшем предке. Вещь эта старая, ветхая, и вы, быть может, исполните ее просьбу. Я же со своей стороны, признаться, крайне удивлен, что моя дочь проявляет такой интерес к средневековью, и способен объяснить это лишь тем, что Вирджиния родилась в одном из пригородов Лондона, когда миссис Отис возвращалась из поездки в Афины.

Лорд Кентервиль с должным вниманием выслушал почтенного посла, лишь изредка принимаясь теревить седой ус, чтобы скрыть невольную улыбку. Когда мистер Отис кончил, лорд Кентервиль крепко пожал ему руку.

— Дорогой сэр,— сказал он,— ваша прелестная дочь немало сделала для моего злополучного предка, сэра Симона, и я, как и все мои родственники, весьма обязан ей за ее редкую смелость и самоотверженность. Драгоценности принадлежат ей одной, и если бы я забрал их у нее, я проявил бы такое бессердечие, что этот старый грешник, самое позднее через две недели, вылез бы из могилы, дабы отравить мне остаток дней моих. Что же касается их принадлежности к майорату, то в него не входит вещь, не упомянутая в завещании или другом юридическом документе, а об этих драгоценностях нигде нет ни слова. Поверьте, у меня на них столько же прав, сколько у вашего дворецкого, и я не сомневаюсь, что, когда мисс Вирджиния подрастет, она с удовольствием наденет эти украшения. К тому же вы забыли, мистер Отис, что купили замок с мебелью и привидением, а тем самым к вам отошло все, что принадлежало привидению. И хотя сэр Симон проявлял по ночам большую активность, юридически он оставался мертв, и вы законно унаследовали все его состояние.

Мистер Отис был весьма огорчен отказом лорда Кентервиля и просил его еще раз хорошенько все обдумать, но добродушный пэр остался непоколебим и в конце концов

уговорил посла оставить дочери драгоценности; когда же весной 1890 года молодая герцогиня Чеширская представлялась королеве по случаю своего бракосочетания, ее драгоценности оказались предметом всеобщего внимания. Ибо Вирджиния получила герцогскую корону, которую получают в награду все благонаправленные американские девочки. Она вышла замуж за своего юного поклонника, едва он достиг совершеннолетия, и они оба были так милы и так влюблены друг в друга, что все радовались их счастью, кроме старой маркизы Дамблтон, которая пыталась пристроить за герцога одну из своих семи незамужних дочек, для чего дала не менее трех обедов, очень дорого ей стоивших. Как ни странно, но к недовольным поначалу примкнул и мистер Отис. При всей своей любви к молодому герцогу, он, по теоретическим соображениям, оставался врагом любых титулов и, как он заявлял, «опасался, что расслабляющее влияние приверженной наслаждениям аристократии может поколебать незыблемые принципы республиканской простоты». Но его скоро удалось уговорить, и когда он вел свою дочь под руку к алтарю церкви святого Георгия, что на Ганновер-сквер, то во всей Англии, мне кажется, не нашлось бы человека более гордого собой.

По окончании медового месяца герцог и герцогиня отправились в Кентервильский замок и на второй день пошли на заброшенное кладбище близ сосновой рощи. Долго не могли они придумать эпитафию для надгробия сэра Симона и под конец решили просто вытесать там его инициалы и стихи, начертанные на окне библиотеки. Герцогиня убрала могилу розами, которые принесла с собой, и, немного постояв над нею, они вошли в полуразрушенную старинную церковку. Герцогиня присела на упавшую колонну, а муж, расположившись у ее ног, курил сигарету и глядел в ее ясные глаза. Вдруг он отбросил сигарету, взял герцогиню за руку и сказал:

— Вирджиния, у жены не должно быть секретов от мужа.

— А у меня и нет от тебя никаких секретов, дорогой Сесл.

— Нет, есть,— ответил он с улыбкой.— Ты никогда не рассказывала мне, что случилось, когда вы заперлись вдвоем с привидением.

— Я никому этого не рассказывала, Сесл,— сказала Вирджиния серьезно.



— Знаю, но мне ты могла бы рассказать.

— Не спрашивай меня об этом, Сесл, я правда не могу тебе рассказать. Бедный сэръ Симон! Я стольким ему обязана! Нет, не смейся, Сесл, это в самом деле так. Он открыл мне, что такое Жизнь, и что такое Смерть, и почему Любовь сильнее Жизни и Смерти.

Герцог встал и нежно поцеловал свою жену.

— Пусть эта тайна остается твоей, лишь бы сердце твое принадлежало мне, — шепнул он.

— Оно всегда было твоим, Сесл.

— Но ты ведь расскажешь когда-нибудь все нашим детям? Правда?

Вирджиния вспыхнула.

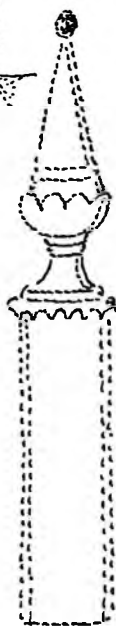


## ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА СЭВИЛА

*Размышление о чувстве долга*

### I

Леди Уиндермир давала последний прием перед пасхой, и дом был заполнен до отказа. Шесть министров явились прямо из парламента в орденах и лентах, светские красавицы блистали изящнейшими туалетами, а в углу картинной галереи стояла принцесса София из Карлсруэ — грузная дама с роскошными изумрудами и крохотными черными глазками на скуластом татарском лице; она очень громко говорила на скверном французском и неумеренно хохотала в ответ на любую реплику. Как все чудесно перемешалось! Сиятельные леди запросто болтали с воинствующими радикалами, прославленные проповедники поприятельски беседовали с известными скептиками, стайка епископов порхала из



зала в зал вслед за дебелой примадонной, на лестнице стояли несколько действительных членов Королевской академии, маскирующихся под богему, и прошел слух, что столовую, где накрыли ужин, просто оккупировали гении. Без сомнения, это был один из лучших вечеров леди Уиндермир, и принцесса задержалась почти до половины двенадцатого.

Как только она уехала, леди Уиндермир вернулась в картинную галерею, где знаменитый экономист серьезно и обстоятельно разъяснял научную теорию музыки негодующему виртуозу из Венгрии, и заговорила с герцогиней Пейсли.

Как хороша была хозяйка вечера! Невозможно не восхищаться белизной ее точеной шеи, незабудковой синевой глаз и золотом волос. То было и в самом деле *or pur*<sup>1</sup>, а не бледно-желтый цвет соломы, который ныне смеют сравнивать с благородным металлом, то было золото, вплетенное в солнечные лучи и упрятанное в таинственной толще янтаря; в золотом обрамлении ее лицо светилось как лик святого, но и не без магической прелести греха. Она являла собой интересный психологический феномен. Уже в юности она познала ту важную истину, что опрометчивость и легкомыслие чаще всего почитают за невинность. За счет нескольких дерзких проделок — большей частью, впрочем, совершенно безобидных — она приобрела известность и уважение, подобающие видной личности. Она не раз меняла мужей (согласно справочнику Дебретта, их у нее было три), но сохранила одного любовника, и потому пересуды на ее счет давно прекратились. Ей недавно исполнилось сорок, она была бездетна и обладала той неумной жадной удовольствий, которая единственно и продлевает молодость.

Вдруг она нетерпеливо огляделась и проговорила своим чистым контральто:

— Где мой хиромант?

— Кто-кто, Глэдис? — вздрогнув, воскликнула герцогиня.

— Мой хиромант, герцогиня. Я теперь жить без него не могу.

— Глэдис, милая, ты всегда так оригинальна, — пробормотала герцогиня, пытаясь вспомнить, что такое хиромант, и опасаясь худшего.

— Он приходит два раза в неделю, — продолжала леди

---

<sup>1</sup> Чистое золото (фр.).

Уиндермир, — и извлекает интереснейшие вещи из моей руки.

— О боже! — тихо ужаснулась герцогиня. — Что-то вроде мозольного оператора. Какой кошмар. Надеюсь, он, по крайней мере, иностранец. Это было бы еще не так страшно.

— Я непременно должна вас познакомить.

— Познакомить! — вскричала герцогиня. — Он что же, здесь? — Она принялась искать глазами свой черепаховый веер и весьма потрепанную кружевную накидку, с тем чтобы, если потребуется, ретироваться без промедления.

— Разумеется, он здесь. Какой же прием без него! Он говорит, что у меня богатая, одухотворенная рука и что если бы большой палец был чуточку короче, то я была бы меланхолической натурой и пошла в монастырь.

— Ах, вот что. — У герцогини отлегло от сердца. — Он гадает!

— И угадывает! — подхватила леди Уиндермир. — И так ловко! Вот в будущем году, например, меня подстерегает большая опасность и на суше и на море, так что я буду жить на воздушном шаре, а ужин мне по вечерам будут поднимать в корзине. Это все написано на моем мизинце — или на ладони, я точно не помню.

— Ты искушаешь PROVIDENCE, Глэдис.

— Милая герцогиня, я уверена, что PROVIDENCE давно научилось не поддаваться искушению. По-моему, каждый должен ходить к хироманту хотя бы раз в месяц, чтобы знать, что ему можно и чего нельзя. Потом мы, конечно, делаем все наоборот, но как приятно знать о последствиях заранее! Если кто-нибудь сейчас же не отыщет мистера Поджера, я пойду за ним сама.

— Позвольте мне, леди Уиндермир, — сказал высокий красивый молодой человек, который в продолжение всего разговора стоял, улыбаясь, рядом.

— Спасибо, лорд Артур, но вы же его не знаете.

— Если он такой замечательный, как вы рассказывали, леди Уиндермир, я его ни с кем не спутаю. Опишите его внешность, и я сию же минуту приведу его.

— Он совсем не похож на хироманта. То есть в нем нет ничего таинственного, романтического. Маленький, полный, лысый, в больших очках с золотой оправой — нечто среднее между семейным доктором и провинциальным стряпчим. Сожалею, но я, право, не виновата. Все это очень досадно. Мои пианисты страшно похожи на поэтов, а поэты на пианистов. Помню, в прошлом сезоне я пригласила на обед

настоящее чудовище — заговорщика, который взрывает живых людей, ходит в кольчуге, а в рукаве носит кинжал. И что бы вы думали? Он оказался похожим на старого пастора и весь вечер шутил с дамами. Он был очень остроумен и все такое, но представьте, какое разочарование! А когда я спросила его о кольчуге, он только рассмеялся и ответил, что в Англии в ней было бы холодно. А вот и мистер Поджерс! Сюда, мистер Поджерс. Я хочу, чтобы вы погадали герцогине Пейсли. Герцогиня, вам придется снять перчатку. Нет, не эту, другую.

— Право, Глэдис, это не вполне прилично, — проговорила герцогиня, нехотя расстегивая отнюдь не новую лайковую перчатку.

— Все, что интересно, не вполне прилично, — парировала леди Уиндермир. — *On a fait le monde ainsi.*<sup>1</sup> Но я должна вас познакомить. Герцогиня, это мистер Поджерс, мой прелестный хиромант. Мистер Поджерс, это герцогиня Пейсли, и если вы скажете, что ее лунный бугор больше моего, я вам уже никогда не поверю.

— Глэдис, я уверена, что у меня на руке нет ничего подобного, — с достоинством произнесла герцогиня.

— Вы совершенно правы, ваша светлость, — сказал мистер Поджерс, взглянув на пухлую руку с короткими толстыми пальцами, — лунный бугор не развит. Но линия жизни, напротив, видна превосходно. Согните, пожалуйста, руку. Вот так, благодарю. Три четких линии на сгибе! Вы доживете до глубокой старости, герцогиня, и будете очень счастливы. Честолюбие... весьма скромно, линия интеллекта... не утрирована, линия сердца...

— Говорите все как есть, мистер Поджерс! — вставила леди Уиндермир.

— С превеликим удовольствием, сударыня, — сказал мистер Поджерс и поклонился, — но увы, герцогиня не дает повода для пространных рассказов. Я вижу редкое постоянство в сочетании с завидным чувством долга.

— Продолжайте, прошу вас, мистер Поджерс, — весьма благосклонно произнесла герцогиня.

— Не последнее из достоинств вашей светлости — бережливость, — продолжал мистер Поджерс, и леди Уиндермир прыснула со смеху.

— Бережливость — прекрасное качество, — удовлетворенно проговорила герцогиня. — Когда я вышла за Пейсли,

---

<sup>1</sup> Так уж устроен мир (фр.).

у него было одиннадцать замков и ни одного дома, пригодного для жизни.

— А теперь у него двенадцать домов и ни одного замка! — отозвалась леди Уиндермир.

— Видишь ли, милая, я люблю...

— Комфорт, — произнес мистер Поджерс, — удобства и горячую воду в каждой спальне. Вы совершенно правы, ваша светлость. Комфорт — это единственное, что может нам дать цивилизация.

— Вы чудесно отгадали характер герцогини, мистер Поджерс. Теперь погадайте леди Флоре. — Повинуясь знаку улыбающейся хозяйки, из-за дивана неловко выступила высокая девушка с острыми лопатками и рыжеватыми волосами, выдающими шотландское происхождение; она протянула худую, длинную руку с крупными и как бы приплюснутыми пальцами.

— А, пианистка! Вижу, вижу, — сказал мистер Поджерс. — Превосходная пианистка, хотя, пожалуй, и не из тех, что зовутся музыкантами. Скромна, честна, очень любит животных.

— Сущая правда! — воскликнула герцогиня, обращаясь к леди Уиндермир. — Флора держит в Макклоски две дюжины овчарок. Она бы и наш городской дом превратила в зверинец, если б только отец позволил.

— Со своим домом я это проделываю каждый четверг, — рассмеялась леди Уиндермир, — вот только овчаркам предпочитаю львов.

— Тут вы ошибаетесь, леди Уиндермир, — сказал мистер Поджерс и чинно поклонился.

— Женщина без милых ошибок — это не женщина, а особа женского пола. Но погадайте нам еще. Сэр Томас, покажите вашу руку.

Приятного вида пожилой господин в белом жилете протянул большую шершавую руку с весьма длинным средним пальцем.

— Непоседливый нрав; четыре дальних путешествия в прошлом, одно еще предстоит. Трижды попадал в кораблекрушение. Нет-нет, дважды, но рискует разбиться вновь. Убежденный консерватор, весьма пунктуален, страстный коллекционер. Тяжело болел в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет. В тридцать унаследовал крупное состояние. Питает отвращение к кошкам и радикалам.

— Поразительно! — вскричал сэр Томас. — Вы непременно должны погадать моей жене.

— Вашей второй жене, — уточнил мистер Поджерс, все еще не выпуская из рук пальцы сэра Томаса. — С превеликим удовольствием.

Но леди Марвел — меланхоличная дама с каштановыми волосами и сентиментальными ресницами — наотрез отказалась предать гласности свое прошлое и будущее, а русский посол мосье де Колов не пожелал даже снять перчатки, несмотря на все увещевания леди Уиндермир. Да и многие другие побоялись предстать перед забавным человечком с шаблонной улыбкой, очками в золотой оправе и пронзительными глазами-бусинками; а уж когда он сказал бедной леди Фермор — прямо здесь, в обществе, — что она равнодушна к музыке, но очень любит музыкантов, никто более не сомневался, что хиромантия — крайне опасная наука и поощрять ее не следует, кроме как *tête-à-tête*<sup>1</sup>.

Однако лорду Артуру Сэвилу, который ничего не знал о печальной истории леди Фермор и с немалым интересом наблюдал за мистером Поджерсом, чрезвычайно захотелось, чтобы ему тоже погадали, но, не решаясь громко заявить о своем желании, он подошел к леди Уиндермир и, очаровательно покраснев, спросил, удобно ли, по ее мнению, побеспокоить мистера Поджерса.

— Ну разумеется! — сказала леди Уиндермир. — Он здесь для того, чтобы его беспокоили. Все мои львы, лорд Артур, это львы-артисты; по первому моему слову они прыгают через обруч. Но я вас предупреждаю, что ничего не утаю от Сибил. Я жду ее завтра к обеду — нам надо поболтать о шляпках, и, если мистер Поджерс выяснит, что у вас дурной нрав, или склонность к подагре, или жена в Бейсуотере, я все ей непременно передам.

Лорд Артур улыбнулся и покачал головой.

— Я не боюсь. Она обо мне все знает, как и я о ней.

— В самом деле? Вы меня, право, немного огорчили. Взаимные иллюзии — вот лучшая основа для брака. Нет, я не динична, просто у меня есть опыт — впрочем, это одно и то же. Мистер Поджерс, лорд Артур Сэвил мечтает, чтоб вы ему погадали. Только не говорите, что он обручен с одной из милейших девушек в Лондоне: об этом «Морнинг пост» сообщила месяц тому назад.

— Леди Уиндермир, душечка, — вскричала маркиза Джедберг, — оставьте мне мистера Поджерса. Он только что сказал, что меня ждут подмостки — как интересно!

---

<sup>1</sup> С глазу на глаз (фр.).

— Если он вам такое сказал, леди Джедберг, я заберу его от вас сию же секунду. Сюда, мистер Поджерс. Погадайте лорду Артуру.

— Что ж,— леди Джедберг состроила обиженное личико и поднялась с дивана,— если мне нельзя на сцену, разрешите хотя бы быть зрителем.

— Разумеется. Мы все будем зрителями,— объявила леди Уиндермир. — Итак, мистер Поджерс, сообщите нам что-нибудь приятное. Лорд Артур — мой любимец.

Но, взглянув на руку лорда Артура, мистер Поджерс странно побледнел и не произнес ни слова. Он зябко поежился, и его кустистые брови уродливо задергались, как это случалось, когда он был в растерянности. На желтоватом лбу мистера Поджерса появились крупные бусинки пота, словно капли ядовитой росы, а его толстые пальцы сделались влажными и холодными.

Лорд Артур заметил эти признаки смятения и сам — впервые в жизни — почувствовал страх. Ему захотелось повернуться и бежать, но он сдержал себя. Лучше знать все, даже самое ужасное. Невыносимо оставаться в неведении.

— Я жду, мистер Поджерс,— сказал он.

— Мы все ждем! — нетерпеливо заметила леди Уиндермир, но хиромант по-прежнему молчал.

— Артуру, наверное, суждено играть на театре,— предположила леди Джедберг,— но вы были так строги с мистером Поджерсом, что он вас теперь боится.

Внезапно мистер Поджерс отпустил правую руку лорда Артура и схватил левую, склонившись над ней так низко, что золотая оправа его очков почти коснулась ладони. Мгновение его побелевшее лицо выражало неподдельный ужас, но он быстро совладал с собой и, повернувшись к леди Уиндермир, произнес с деланной улыбкой:

— Передо мной рука очаровательного молодого человека.

— Это ясно,— ответила леди Уиндермир. — Но будет ли он очаровательным мужем? Вот что я хочу знать.

— Как все очаровательные молодые люди,— сказал мистер Поджерс.

— По-моему, муж не должен быть слишком обворожительным,— в задумчивости проговорила леди Джедберг. — Это опасно.

— Дитя мое,— воскликнула леди Уиндермир,— муж никогда не бывает слишком обворожителем! Но я требую подробностей. Только подробности интересны. Что ждет лорда Артура?



— Гм, в течение ближайших месяцев лорд Артур отправится в путешествие...

— Ну разумеется, в свадебное!

— И потеряет одного из родственников.

— Надеюсь, не сестру? — жалобно спросила леди Джедберг.

— Нет, безусловно не сестру, — мистер Поджерс жестом успокоил ее. — Кого-то из дальней родни.

— Что ж, я безумно разочарована, — заявила леди Уиндермир. — Мне абсолютно нечего рассказать Сибил. Дальняя родня теперь никого не волнует — она давно уже вышла из моды. Впрочем, пусть Сибил купит черного шелку — он хорошо смотрится в церкви. А теперь ужинать. Там, конечно, давно все съели, но нам, быть может, подадут горячий суп. Когда-то Франсуа готовил отменный суп, но теперь он так увлекся политикой, что я не знаю, чего и ждать. Скорее бы угомонился этот генерал Буланже. Герцогиня, вы не устали?

— Вовсе нет, Глэдис, свет мой, — отозвалась герцогиня, ковыляя к двери. — Я получила огромное удовольствие, и этот твой ортодонт, то бишь хиромант, весьма интересен. Флора, где мой черепаховый веер? Ах, спасибо, сэр Томас. А моя кружевная накидка, Флора? Благодарю вас, сэр Томас, вы очень любезны. — И сия достойная дама спустилась, наконец, по лестнице, уронив свой флакон с духами не более двух раз.

В продолжение всего этого времени лорд Артур Сэвил стоял у камина, объятый нестерпимым страхом, язвящей душу тревогой перед безжалостным роком. Он грустно улыбнулся сестре, когда та пропорхнула мимо в прелестной розовой парче и жемчугах, легко опершись на руку лорда Плимдейла, и словно во сне слышал, как леди Уиндермир пригласила его следовать за собой. Он думал о Сибил Мертон — и при мысли, что их могут разлучить, его глаза затуманились от слез.

Глядя на него, можно было подумать, что Немезида, похитив щит Афины, показала ему голову Медузы Горгоны. Он словно окаменел, а меланхолическая бледность сделала его лицо похожим на мрамор. Сын знатных и богатых родителей, до сих пор он знал лишь жизнь, полную чудесной роскоши и тонкого изящества, жизнь по-мальчишески беспечную, начисто лишенную презренных забот; теперь — впервые — он прикоснулся к ужасной тайне бытия, ощутил трагическую неотвратимость судьбы.

Чудовищно, невероятно! Неужели на его руке начертано тайное послание, которое расшифровал этот человек, — предвестие злодейского греха, кровавый знак преступления? Неужели нет спасения? Или мы в самом деле всего лишь шахматные фигуры, которые незримая сила передвигает по своей воле, — пустые сосуды, подвластные рукам гончара, готовые для славы и для позора? Разум восставал против этой мысли, но лорд Артур чувствовал близость ужасной трагедии, словно вдруг на него взвалили непосильную ношу. Хорошо актерам! Они выбирают, что играть, — трагедию или комедию, сами решают, страдать им или веселиться, лить слезы или хохотать. Но в жизни все не так. В большинстве своем мужчины и женщины вынуждены играть роли, для которых они совсем не подходят. Наши Гильденстерны играют Гамлета, а наши Гамлеты паясничают, как принц Хэл. Весь мир — сцена, но спектакль выходит скверный, ибо роли распределены из рук вон плохо.

Внезапно в гостиную вошел мистер Поджерс. Увидев лорда Артура, он вздрогнул, и его крупное, одутловатое лицо стало зеленовато-желтым. Их глаза встретились, и с минуту оба молчали.

— Герцогиня забыла здесь перчатку, лорд Артур, и меня за ней послали, — проговорил наконец мистер Поджерс. — Вот она, на диване. Честь имею.

— Мистер Поджерс, я настаиваю, чтобы вы мне прямо ответили на один вопрос.

— В другой раз, лорд Артур. Герцогиня очень волнуется. Ну, я пойду.

— Нет, не пойдете. Герцогиня подождет.

— Нехорошо заставлять даму ждать, лорд Артур, — пролепетал мистер Поджерс со своей тошнотворной улыбочкой. — Прекрасному полу свойственно нетерпение.

Красивые губы лорда Артура слегка изогнулись, придав лицу дерзкое, презрительное выражение. Какое ему было дело в эту минуту до бедной герцогини! Он пересек гостиную и, остановившись перед мистером Поджерсом, протянул руку.

— Скажите, что вы там прочли. Скажите правду. Я должен знать. Я не ребенок.

Глазки мистера Поджерса заморгали за стеклами очков; он неловко переминался с ноги на ногу, теребя блестящую цепочку от часов.

— А почему вы, собственно, решили, лорд Артур, что я прочел по вашей руке больше, чем сказал?

— Я в этом уверен и желаю все знать. Я заплачу. Я дам вам чек на сто фунтов.

Зеленые глазки сверкнули и вновь погасли.

— Сто гиней? — еле слышно произнес мистер Поджерс после долгого молчания.

— Да, разумеется. Я пришлю вам чек завтра. Какой у вас клуб?

— Я не состою в клубе. Временно не состою. Мой адрес... но позвольте, я дам вам свою карточку. — С этими словами мистер Поджерс извлек из кармана карточку с золотым обрезом и, низко поклонившись, протянул ее лорду Артуру:

*М-Р СЕПТИМУС Р. ПОДЖЕРС*

*Профессиональный хиромант  
Уэст-Мун-стрит, 103а*

— Я принимаю с десяти до четырех, — машинально добавил мистер Поджерс. — Семьям представляю скидку.

— Быстрее! — вскричал лорд Артур. Он по-прежнему стоял с протянутой рукой и был чрезвычайно бледен.

Мистер Поджерс опасно оглянулся и задернул тяжелую портьеру.

— Мне нужно время, лорд Артур. Присядьте.

— Быстрее, сэръ! — снова вскричал лорд Артур и рассерженно топнул ногой по полированному паркету.

Мистер Поджерс улыбнулся, извлек из нагрудного кармана увеличительное стекло и тщательно протер его носовым платком.

— Я готов, — сказал он.

## II

Десять минут спустя лорд Артур Сэвил выбежал из дома с выражением ужаса на бледном лице и молчаливой мукой в глазах, протиснулся сквозь укутанных в шубы лакеев, столпившихся под полосатым навесом, и ринулся прочь, ничего не видя и не слыша. Ночь была холодная, и дул пронизывающий ветер, от которого газовые фонари на площади попеременно вспыхивали и тускнели, но у лорда Артура горели руки и лоб его пылал. Он шел не останавливаясь, нетвердой поступью пьяного, и полицейский на углу с любопытством проводил его взглядом. Нищий, сунувший-

ся было за подаянием, перепугался при виде такого отчаяния, какое даже ему не снилось. Один раз лорд Артур остановился под фонарем и посмотрел на свои руки. Ему показалось, что уже сейчас на них расплываются кровавые пятна, и с дрожащих губ слетел негромкий стон.

Убийство! Вот что увидел хиромант. Убийство! Ужасное слово звенело во мраке, и безутешный ветер шептал его на ухо. Это слово кралось по ночным улицам и скалило зубы с крыш.

Он вышел к Гайд-парку: его безотчетно влекло к этим темным деревьям. Он устало прислонился к ограде и прижал лоб к влажному металлу, вбирая тревожную тишину парка. « Убийство! Убийство! » — повторял он, словно надеясь притупить чудовищный смысл пророчества. От звука собственного голоса он содрогался, но в то же время ему хотелось, чтобы громогласное эхо, услышав его, пробудило весь огромный спящий город. Его охватило безумное желание остановить первого же прохожего и все ему рассказать.

Он двинулся прочь, пересек Оксфорд-стрит и углубился в узкие улочки — прибежище низменных страстей. Две женщины с ярко раскрашенными лицами осыпали его насмешками. Из темного двора слышалась ругань и звук ударов, а затем пронзительный вопль; сгорбленные фигуры, припавшие к сырой стене, явили ему безобразный облик старости и нищеты. Он почувствовал странную жалость. Возможно ли, чтоб эти дети бедности и греха так же, как и он сам, только следовали предначертанию? Неужто они, как и он, лишь марионетки в дьявольском спектакле?

Нет, не тайна, а ирония людских страданий поразила его, их полная бессмысленность, бесполезность. Как все нелепо, несообразно! Как начисто лишено гармонии! Его потрясло несоответствие между бойким оптимизмом повседневности и подлинной картиной жизни. Он был еще очень молод.

Спустя некоторое время он вышел к Марилебонской церкви. Пустынная мостовая была похожа на ленту отполированного серебра с темными арабесками колышущихся теней. Ряд мерцающих газовых фонарей убегал, извиваясь, вдаль; перед домом, обнесенным невысокой каменной оградой, стоял одинокий экипаж со спящим кучером. Лорд Артур поспешно зашагал по направлению к Портланд-Плейс, то и дело оглядываясь, словно опасаясь погони. На углу Рич-стрит стояли двое: они внимательно читали небольшой плакат. Лорда Артура охватило

болезненное любопытство, и он перешел через дорогу. Едва он приблизился, как в глаза ему бросилось слово «УБИЙСТВО», напечатанное черными буквами. Он вздрогнул, и щеки его залились румянцем. Полиция предлагала вознаграждение за любые сведения, которые помогут задержать мужчину среднего роста, в возрасте от тридцати до сорока лет, в котелке, черном сюртуке и клетчатых брюках, со шрамом на правой щеке. Читая объявление снова и снова, лорд Артур мысленно спрашивал себя, поймают ли этого несчастного и откуда у него шрам. Когда-нибудь, возможно, и его имя раскроют по всему Лондону. Возможно, и за его голову назначат цену.

От этой мысли он похолодел. Резко повернувшись, он кинулся во мрак.

Он шел, не разбирая дороги. Лишь смутно вспоминал он потом, как бродил в лабиринте грязных улиц, как заблудился в бесконечном сплетенье темных тупиков и переулков, и, когда уже небо озарилось рассветным сияньем, вышел наконец на площадь Пикадилли.

Устало повернув к дому в сторону Белгрейв-сквер, он столкнулся с тяжелыми фермерскими повозками, катящимися к Ковент-Гарден. Возчики в белых фартуках, с открытыми загорелыми лицами и жесткими кудрями, неторопливо шагали, щелкая кнутами и перебрасываясь отрывистыми фразами. Верхом на огромной серой лошади во главе шумной процессии сидел круглолицый мальчишка в старой шляпе, украшенной свежими цветами примулы; он крепко вцепился ручонками в гриву и громко смеялся. Горы овощей сверкали, как россыпи нефрита на фоне утренней зари, как зеленый нефрит на фоне нежных лепестков роскошной розы. Лорд Артур был взволнован, сам не зная почему. Что-то в хрупкой прелести рассвета показалось ему невыразимо трогательным, и он подумал о бесчисленных днях, что занимаются в мирной красоте, а угасают в буре. И эти люди, что перекликаются так непринужденно, грубовато и благодушно, — какую странную картину являет им Лондон в столь ранний час! Лондон без ночных страстей и дневного чада — бледный, призрачный город, скопище безжизненных склепов. Что они думают об этом городе, известно ли им о его великолепии и позоре, о безудержном, феерическом веселье и отвратительном голоде, о бесконечной смене боли и наслаждений? Возможно, для них это только рынок, куда они свозят плоды своего труда, где проводят не более двух-трех часов и уезжают по еще пустынным улицам, мимо

спящих домов. Ему приятно было смотреть на них. Грубые и неловкие, в тяжелых башмаках, они все же казались посланцами Аркадии. Он знал, что они слились с природой и природа дала им душевный покой. Как не завидовать их невежеству!

Когда он добрал до Белгрейв-сквер, небо слегка поголубело и в садах зазвучали птичьи голоса.

### III

Когда лорд Артур проснулся, был полдень, и солнечные лучи заливали спальню, струясь сквозь кремовый шелк занавесок. Он встал и выглянул в окно. Лондон был погружен в легкую дымку жары, и крыши домов отливали темным серебром. Внизу, на ослепительно зеленом газоне, порхали дети, как белые бабочки, а на тротуаре теснились прохожие, идущие в парк. Никогда еще жизнь не казалась такой чудесной, а все страшное и дурное таким далеким.

Слуга принес на подносе чашку горячего шоколаду. Выпив шоколад, он отодвинул бархатную портьеру персикового цвета и вошел в ванную. Сверху, через тонкие пластины прозрачного оникса падал мягкий свет, и вода в мраморной ванне искрилась, как лунный камень. Он поспешно лег в ванну, и прохладная вода коснулась его шеи и волос, а потом окунул и голову, словно желая смыть какое-то постыдное воспоминание. Вылезая, он почувствовал, что почти обрел обычное свое душевное равновесие. Сиюминутное физическое наслаждение поглотило его, как это часто бывает у тонко чувствующих натур, ибо наши ощущения, как огонь, способны не только истреблять, но и очищать.

После завтрака он прилег на диван и закурил папиросу. На каминной доске стояла большая фотография в изящной рамке из старинной парчи — Сибил Мертон, какой он впервые увидел ее на балу у леди Ноэл. Маленькая, изысканная головка чуть наклонена, словно грациозной шее-стебельку трудно удержать бремя ослепительной красоты, губы слегка приоткрыты и кажутся созданными для нежной музыки, и все очарование чистой девичьей души глядит на мир из мечтательных, удивленных глаз. В мягко облегающем платье из крепдешина, с большим веером в форме листа платана, она похожа на одну из тех прелестных статуэток, что находят в оливковых рощах возле Танагры, — в ее позе,

в повороте головы есть истинно греческая грация. И в то же время ее нельзя назвать миниатюрной. Ее отличает совершенство пропорций — большая редкость в наше время, когда женщины в основном либо крупнее, чем положено природой, либо ничтожно мелки.

Теперь, глядя на нее, лорд Артур ощутил безмерную жалость — горький плод любви. Жениться, когда над ним нависает зловещая тень убийства, было бы предательством сродни поцелую Иуды, коварством, какое не снилось даже Борджиа. Что за счастье уготовано им, когда в любую минуту он может быть призван выполнить ужасное пророчество, написанное на ладони? Что за жизнь ждет их, пока судьба таит в себе кровавое обещанье? Во что бы то ни стало свадьбу надо отложить. Тут он будет тверд. Он страстно любил эту девушку; одно прикосновение ее пальцев, когда они сидели рядом, наполняло его чрезвычайным волнением и неземной радостью, и все же он ясно понимал, в чем состоит его долг, сознавая, что не имеет права жениться, пока не совершит убийство. Сделав то, что надлежит, он поведет Сибил Мертон к алтарю и без страха вернет ей свою жизнь. Тогда он сможет обнять ее, твердо зная, что никогда ей не придется краснеть за него и склонять голову от стыда. Но прежде надо выполнить требование судьбы — и чем скорее, тем лучше для них обоих.

Многие в его положении предпочли бы сладкий самообман сознанию жестокой необходимости, но лорд Артур был слишком честен, чтобы ставить удовольствие выше долга. Его любовь — не просто страсть: Сибил олицетворяла для него все, что есть лучшего и благороднейшего. На мгновение то, что ему предстояло, показалось невыносимым, отвратительным, но это чувство скоро прошло. Сердце подсказало ему, что это будет не грех, а жертва; разум напомнил, что другого пути нет. Перед ним выбор: жить для себя или для других, и как ни ужасна возложенная на него задача, он не позволит эгоизму возобладать над любовью. Рано или поздно каждому из нас приходится решать то же самое, отвечать на тот же вопрос. С лордом Артуром это случилось рано, пока он был еще молод и не заражен цинизмом и расчетливостью зрелых лет, пока его сердце не развело модное ныне суетное себялюбие, и он принял решение не колеблясь. К тому же — и в этом его счастье — он не был мечтателем и праздным дилетантом. В противном случае он долго сомневался бы, как Гамлет, и нерешительность затуманила бы цель. Нет, лорд Артур

был человеком практичным. Для него жить — значило действовать, скорее чем размышлять. Он был наделен редчайшим из качеств — здравым смыслом.

Безумные, путанные ночные переживания теперь совершенно улетучились, и ему даже стыдно было вспоминать, как он слепо бродил по городу, как метался в неистовом волнении. Сама искренность его страданий, казалось, лишила их реальности. Теперь ему было непонятно, как он мог вести себя столь глупо — роптать на то, что неотвратимо! Сейчас его беспокоил только один вопрос: кого убить, — ибо он понимал, что для убийства, как для языческого обряда, нужен не только жрец, но и жертва. Не будучи гением, он не имел врагов и был к тому же убежден, что теперь не время для сведения личных счетов; миссия, вверенная ему, слишком серьезна и ответственна. Он набросал на листке бумаги список своих знакомых и родственников и, тщательно все обдумав, остановился на леди Клементине Бичем — милейшей старушке, которая жила на Керзон-стрит и доводилась ему троюродной сестрой по материнской линии. Он с детства очень любил леди Клем, как все ее звали, а кроме того — поскольку сам он был весьма богат, ибо, достигнув совершеннолетия, унаследовал все состояние лорда Рэгби, — смерть старушки не могла представлять для него низменного корыстного интереса. Чем больше он думал, тем яснее ему становилось, что леди Клем — идеальный выбор. Понимая, что всякое промедление будет несправедливо по отношению к Сибил, он решил сейчас же заняться приготовлениями.

Для начала надо было расплатиться с хиромантом. Он сел за небольшой письменный стол в стиле «шератон», что стоял у окна, и выписал чек достоинством в 105 фунтов стерлингов на имя м-ра Септимуса Поджерса. Запечатав конверт, он велел слуге отнести его на Уэст-Мун-стрит. Затем он распорядился, чтобы приготовили экипаж, и быстро оделся. Выходя из комнаты, он еще раз взглянул на фотографию Сибил Мертон и мысленно поклялся, что — как бы ни повернулась судьба — Сибил никогда не узнает, на что он пошел ради нее; это самопожертвование навсегда останется тайной, хранимой в его сердце.

По пути в «Букингем» он остановился у цветочной лавки и послал Сибил корзину чудесных нарциссов с нежными белыми лепестками и яркими сердцевинами, а приехав в клуб, сразу отправился в библиотеку, позвонил и велел лакею принести содовой воды с лимоном и книгу по



токсикологии. Он уже решил, что яд — самое подходящее средство в этом деле. Физическое насилие вызывало у него отвращение, и к тому же надо убить леди Клементину так, чтобы не привлечь всеобщего внимания, ибо ему очень не хотелось стать «львом» в салоне леди Уиндермир и прочесть свое имя в вульгарных светских газетах. Кроме того, следовало подумать и о родителях Сибил, которые были людьми старомодными и могли бы, пожалуй, возражать против брака в том случае, если разразится скандал (хотя лорд Артур и не сомневался, что, расскажи он им все как есть, они поняли и оценили бы его благородные побуждения). Итак, яд. Он надежен, безопасен, действует без шума и суеты и избавляет от тягостных сцен, которые для лорда Артура — как почти для всякого англичанина — были глубоко неприятны.

Однако он ничего не смыслил в ядах, а поскольку лакей оказался не в состоянии отыскать что-либо, кроме Справочника Раффа и последнего номера «Бейлиз мэгэзин», он сам внимательно осмотрел полки и нашел изящно переплетенную «Фармакопею» и издание «Токсикологии» Эрскина под редакцией сэра Мэтью Рида — президента Королевской медицинской коллегии и одного из старейших членов «Букингема», избранного в свое время по ошибке вместо кого-то другого (это *contretemps*<sup>1</sup>) так разозлило руководящий комитет клуба, что, когда появился настоящий кандидат, его дружно забаллотировали). Лорд Артур пришел в немалое замешательство от научных терминов, которыми пестрели обе книги, и начал было всерьез сожалеть, что в Оксфорде пренебрегал латынью, как вдруг во втором томе Эрскина ему попало весьма интересное и подробное описание свойств аконитина, изложенное на вполне понятном английском. Этот яд подходил ему во всех отношениях. В книге говорилось, что он обладает быстрым — почти мгновенным — эффектом, не причиняет боли и не слишком неприятен на вкус, в особенности если принимать его в виде пилюли со сладкой оболочкой, как рекомендует сэр Мэтью. Лорд Артур записал на манжете, какова смертельная доза, поставил книги на полку и не спеша отправился по Сент-Джеймс-стрит к «Песл и Хамби» — одной из старейших лондонских аптек. Мистер Песл, который всегда лично обслуживал высший свет, весьма удивился заказу и почтительно пролепетал что-то

---

<sup>1</sup> Досадное недоразумение (фр.).

насчет рецепта врача. Однако когда лорд Артур объяснил, что яд предназначенся для большого норвежского дога, который проявляет симптомы бешенства и уже дважды укусил кучера в ногу, мистер Песл этим полностью удовлетворился, поздравил лорда Артура с блестящим знанием токсикологии и распорядился, чтобы заказ был исполнен немедленно.

Лорд Артур положил пилюлю в элегантную серебряную бонбоньерку, которую разглядел в одной из витрин на Бонд-стрит, выбросил некрасивую аптечную коробку и поехал к леди Клементине.

— Ну-с, *monsieur le mauvais sujet*<sup>1</sup>,— воскликнула старушка, входя в гостиную,— что же вы меня так долго не навещали?

— Леди Клем, милая, у меня теперь ни на что нет времени,— улыбаясь, отвечал лорд Артур.

— Это значит, что ты целый день разгуливаешь с мисс Сибил Мертон, покупаешь туалеты и болтаешь о пустяках? Сколько суеты из-за женитьбы! В мое время нам и в голову бы не пришло обниматься и миловаться на людях. Да и наедине тоже.

— Уверю вас, леди Клем, я уже целые сутки не видел Сибил. Насколько мне известно, ею завладели модистки.

— Ну да, оттого ты и решил проведать безобразную старуху. Вот бы где вам, мужчинам, призадуматься. *On a fait des folies pour moi*<sup>2</sup>, а что осталось? Ноги еле ходят, зубов своих нет, характер скверный. Хорошо еще, леди Дженсен, добрая душа, присылает мне французские романы — один другого пошлее,— а то уже и не знаю, как дотянуть до вечера. От врачей никакого проку — эти только и умеют, что деньги считать. Даже от изжоги меня никак не избавят.

— Я принес вам средство от изжоги, леди Клем,— серьезным тоном произнес лорд Артур.— Чудесное лекарство, его изобрел один американец.

— Я не больно-то люблю американские штучки. Даже совсем не люблю. Попалась мне тут пара американских романов — так это, знаешь ли, полная бессмыслица.

— Но это же совсем другое, леди Клем! Уверю вас, средство действует безотказно. Обещайте, что попробуете.— И, достав из кармана бонбоньерку, лорд Артур протянул ее старушке.

---

<sup>1</sup> Господин повеса (фр.).

<sup>2</sup> В меня влюблялись до безумия (фр.).

— Гм, коробочка прелестная. Это в самом деле подарок, Артур? Очень мило. А вот и чудесное лекарство? Похоже на драже. Я приму его сейчас же.

— Что вы, леди Клем! — вскричал лорд Артур, схватив ее за руку. — Ни в коем случае! Это гомеопатическое средство, и, если принять его просто так, без изжоги, может быть очень плохо. Вот начнется изжога, тогда и примете. Я вам обещаю, что эффект будет поразительный.

— Я бы его сейчас приняла, — проговорила леди Клементина, разглядывая прозрачную пилюлю на свет и любуясь пузырьком жидкого аконитина. — Наверняка будет очень вкусно. Видишь ли, я ненавижу врачей, но обожаю лекарства. Однако подожду, пока начнется изжога.

— И когда же это будет? — нетерпеливо спросил лорд Артур. — Скоро?

— Надеюсь, не раньше чем через неделю. Я только вчера утром мучалась. Впрочем, кто его знает.

— Но до конца месяца непременно случится, верно, леди Клем?

— Увы. Но какой ты сегодня предупредительный, Артур! Сибил хорошо на тебя влияет. А теперь ступай. Сегодня я обедаю с прескучными людьми — из тех, кто выше сплетен, так что если я сейчас не выплыву, то усну посреди обеда. До свиданья, Артур, поцелуй от меня Сибил, и спасибо тебе за американское лекарство.

— Но вы не забудете его принять, а, леди Клем? — спросил лорд Артур, вставая.

— Конечно, не забуду, вот дурачок! Ты добрый мальчик, и я тебе очень признательна. Если понадобится еще, я тебе напишу.

Лорд Артур выбежал из дома в прекрасном настроении и с чувством колоссального облегчения.

В тот же вечер он переговорил с Сибил Мертон. Он сказал ей, что внезапно оказался в чрезвычайно затруднительном положении, но отступить перед трудностями ему не позволяют честь и чувство долга. Свадьбу придется на время отложить, ибо, пока он не разделался с ужасными обстоятельствами, он не свободен. Он умолял Сибил довериться ему и не сомневаться в будущем. Все будет хорошо, но сейчас необходимо терпение.

Разговор состоялся в зимнем саду в доме мистера Мертона на Парк-лейн, где лорд Артур обедал по обыкновению. В тот вечер Сибил выглядела как никогда счастливой, и лорд Артур чуть было не уступил соблазну малодушия:

так просто было бы написать леди Клементине, забрать пилюлю и преспокойно жениться, как будто мистера Поджерса вообще не существует. Но благородство лорда Артура взяло верх, и даже когда Сибил, рыдая, бросилась к нему в объятия, он не дрогнул. Красота, столь взволновавшая его, задела и его совесть. Разве вправе он загубить прелестную, юную жизнь ради нескольких месяцев наслаждения?

Они с Сибил проговорили до полуночи, утешая друг друга, а рано утром лорд Артур отбыл в Венецию, написав мистеру Мертону твердое, мужественное письмо о том, что свадьбу необходимо отложить.

#### IV

В Венеции он встретил своего брата лорда Сэрбитона, который как раз приплыл на яхте с Корфу, и молодые люди сказочно провели две недели. Утром они катались верхом по Лидо или скользили по зеленым каналам в длинной черной гондоле, днем принимали на яхте гостей, а вечером ужинали у Флориана и курили бесчисленные папиросы на площади Святого Марка. И все же лорд Артур не был счастлив. Каждый день он изучал колонку некрологов в «Таймс», ожидая найти сообщение о смерти леди Клементины, и каждый день его ждало разочарование. Он начал опасаться, как бы с ней чего не случилось, и часто сожалел, что помешал ей принять аконитин, когда ей так не терпелось испытать его действие. Да и в письмах Сибил, хотя и исполненных любви, доверия и нежности, часто сквозила грусть, и ему стало порой казаться, что они расстались навеки.

Через две недели лорду Сэрбитону наскучила Венеция, и он решил проплыть вдоль побережья до Равенны, где, как ему рассказывали, можно отлично поохотиться на тетеревов. Вначале лорд Артур наотрез отказался сопровождать его. Однако Сэрбитон, которого Артур очень любил, в конце концов убедил его, что одиночество — худшее средство от хандры, и утром пятнадцатого числа они вышли из гавани, подгоняемые свежим норд-остом. Охота была и в самом деле превосходная; чудесный воздух и здоровая жизнь вернули лорду Артуру юношеский румянец, но к двадцать второму числу он так разволновался из-за леди Клементины, что, невзирая на уговоры Сэрбитона, сел на поезд и вернулся в Венецию.

Едва он вышел из гондолы у входа в отель, как сам хозяин выбежал навстречу с пачкой телеграмм. Лорд Артур вырвал у него телеграммы и тут же вскрыл их. Все прошло удачно. Леди Клементина внезапно умерла в ночь с семнадцатого на восемнадцатое!

Первая его мысль была о Сибил, и он немедленно телеграфировал ей, что возвращается в Лондон. Затем он приказал лакею собирать вещи к ночному поезду, послал гондольерам в пять раз больше, чем им причиталось, и с легким сердцем взбежал по ступенькам в свою гостиную. Там его ждало три письма. Одно было от Сибил — полное любви и сочувствия, другие — от матери лорда Артура и от поверенного леди Клементины. Оказалось, что старушка в тот самый вечер обедала у герцогини, прелестно шутила и блистала остроумием, но уехала довольно рано, сославшись на изжогу. Утром ее нашли мертвой в постели; скончалась она, по-видимому, мирно и без боли. Тотчас же послали за сэром Мэтью Ридом, но, разумеется, сделать что-либо было невозможно, и похороны назначены на двадцать второе в Бичем-Чалкот. За несколько дней до смерти она написала завещание и оставила лорду Артуру свой небольшой дом на Керзон-стрит со всей мебелью, личными вещами и картинами, за исключением коллекции миниатюр, которую надлежало вручить ее сестре леди Маргарет Рафффорд, и аметистового ожерелья, завещанного Сибил Мертон. Дом и имущество не представляли большой ценности, но мистер Мэнсфилд, поверенный леди Клементины, очень просил лорда Артура приехать без промедления и распорядиться насчет неоплаченных счетов, которых было великое множество, ибо покойная вела дела небрежно.

Лорд Артур был чрезвычайно тронут завещанием леди Клементины и подумал, что мистеру Поджерсу за многое придется ответить. Однако любовь к Сибил затмила все остальное, и сознание выполненного долга несло сладостное успокоение. Когда поезд подошел к вокзалу Чаринг-Кросс, лорд Артур был совершенно счастлив.

Супруги Мертон встретили его весьма радушно, а Сибил взяла с него слово, что больше ничто и никогда не разлучит их. Свадьбу назначили на седьмое июня. Жизнь вновь наполнилась яркими, лучезарными красками, и к лорду Артуру вернулась его прежняя веселость.

Но однажды, когда в сопровождении Сибил и поверенного леди Клементины он разбирал вещи в доме на Керзон-

стрит, не спеша сжигал связки поблекших писем и выгребал из комодов разнообразную мелочь, его юная невеста вдруг радостно вскрикнула.

— Что ты там нашла, Сибил? — спросил лорд Артур, с улыбкой оторвавшись от своего занятия.

— Посмотри, Артур, какая прелестная бонбоньерка. Ах, как красиво! Ведь это голландская работа? Подари ее мне, пожалуйста. Я знаю, аметисты будут мне к лицу только через семьдесят лет.

Это была коробочка из-под аконитина.

Лорд Артур вздрогнул, и легкий румянец разлился по его щекам. Он почти совершенно забыл о содеянном, и ему показалось примечательным, что именно Сибил, ради которой он пережил это ужасное волнение, первой напомнила о нем.

— Ну конечно, возьми ее, Сибил. Это я сам подарил бедной леди Клем.

— Правда? Вот спасибо, Артур. И конфетку тоже можно взять? Я и не знала, что леди Клементина была сладстеной. Я думала, такие умные дамы не едят конфет.

Лорд Артур страшно побледнел, и в сознании его метнулась чудовищная мысль.

— Конфетку, Сибил? О чем ты? — медленно и с трудом проговорил он.

— В бонбоньерке осталась конфетка, вот и все. Она вся старая и пыльная, и есть я ее не собираюсь. Что случилось, Артур? Какой ты бледный!

Лорд Артур кинулся к ней и схватил коробочку. В ней лежала янтарного цвета пилюля с ядовитой жидкостью. Леди Клементина умерла своей смертью!

Лорд Артур был повергнут в отчаяние. Швырнув пилюлю в камин, он со страдальческим возгласом повалился на диван.

## V

Мистер Мертон всерьез огорчился, узнав, что свадьба откладывается вторично, а леди Джулия, уже успевшая заказать себе платье, приложила немало стараний, убеждая Сибил расторгнуть помолвку. Но хотя Сибил нежно любила мать, вся ее жизнь принадлежала лорду Артуру, и уговоры леди Джулии нисколько не поколебали ее. Что до самого лорда Артура, то он лишь спустя несколько дней пришел

в себя, и нервы его были расстроены чрезвычайно. Однако здравый смысл по своему замечательному обыкновению восторжествовал, и трезвый, практический характер лорда Артура направил его мысли по пути твердой логики. Раз яд не сработал, требуется динамит или какое-либо другое взрывчатое вещество.

Он опять взял список знакомых и родственников и, подумав, решил взорвать своего дядю, декана Чичестера. Декан был человеком исключительной культуры и образованности; он страстно любил часы всех видов и обладал изумительной коллекцией часов от пятнадцатого века до наших дней. В этом увлечении достопочтенного декана лорд Артур усмотрел блестящую возможность для осуществления своего плана. Другой вопрос — где достать взрывное устройство. Он ничего не нашел на сей счет в «Лондонском справочнике» и решил, что едва ли есть смысл обращаться в Скотланд-Ярд, ибо полиция никогда ничего не знает о действиях динамитчиков до самого взрыва, да и потом знает не намного больше.

Вдруг лорд Артур вспомнил, что у него есть приятель по фамилии Рувалов — молодой русский весьма радикальных настроений, с которым он познакомился минувшей зимой в салоне леди Уиндермир. Считалось, что граф Рувалов пишет биографию Петра Первого и приехал в Англию для изучения документов, связанных с пребыванием монарха на Британских островах в качестве корабельного плотника, однако многие подозревали, что Рувалов работает на нигилистов, и было очевидно, что его присутствие в Лондоне отнюдь не одобряется посольством Российской империи. Лорд Артур заключил, что это тот самый человек, который ему нужен, и однажды утром отправился в его комнаты в Блумсбери за советом и помощью.

— Значит, вы всерьез занялись политикой? — спросил граф Рувалов, выслушав лорда Артура, но Артур терпеть не мог рисоваться и сейчас же признался, что социальные вопросы его совершенно не интересуют, а взрывное устройство нужно ему по семейному делу, которое касается его одного.

Граф Рувалов в изумлении посмотрел на него, но, убедившись, что он не шутит, написал на листке бумаги адрес, поставил свои инициалы и протянул листок лорду Артуру.

— Имейте в виду, старина, Скотланд-Ярд дорого бы дал за этот адрес.

— Но он его не получит! — смеясь, воскликнул лорд Артур. С чувством пожал руку своему русскому другу, он сбежал вниз по лестнице, взглянул на записку и велел кучеру гнать к Сохо-сквер.

Там он отпустил экипаж и по Грик-стрит дошел до переулочка под названием Бейлз-Корт. Нырнув под арку, он оказался в глухом дворике, где, по-видимому, помещалась французская прачечная: между домами была протянута сеть бельевых веревок и утренний ветерок слегка трепал белоснежные простыни. Лорд Артур пересек двор и постучал в дверь небольшого зеленого домика. Спустя некоторое время, в течение которого каждое из окон, выходящих во двор, наполнилось любопытными лицами, дверь открылась, и свирепого вида иностранец спросил на скверном английском, что ему нужно. Лорд Артур протянул записку графа Рувалова. Прочитав записку, незнакомец поклонился и проводил лорда Артура в весьма обшарпанную гостиную на первом этаже, а через минуту туда же вбежал герр Винкелькопф, как он звал себя в Англии; в руке у него была вилка, а на шее салфетка, обильно залитая вином.

— Я приехал по рекомендации графа Рувалова, — сказал лорд Артур, поклонившись, — и хотел бы переговорить с вами по делу. Я Смит, мистер Роберт Смит. Мне нужны часы со взрывным устройством.

— Очень рад познакомиться, лорд Артур, — с улыбкой отвечал добродушный немец. — Вы не волнуйтесь, просто я обязан всех знать, а вас я однажды видел у леди Уиндермир. Надеюсь, очаровательная хозяйка салона в добром здравии. Вы не откажетесь присесть за стол? Я как раз завтракаю. Могу предложить великолепный паштет, а мой рейнвейн, как утверждают друзья, лучше того, что подают в германском посольстве.

Не успел лорд Артур смириться с мыслью, что его узнали, как он уже сидел за столом в соседней комнате, потягивая превосходный «Маркобрюннер» из бледно-желтого бокала с имперской монограммой, и вел светскую беседу со знаменитым заговорщиком.

— Часы со взрывчаткой не годятся для вывоза за границу, — объяснял герр Винкелькопф. — Даже если на таможне все благополучно, железнодорожное сообщение — дело настолько ненадежное, что взрыв, как правило, происходит в пути. Однако если ваш объект находится внутри страны, я готов предоставить вам отменный механизм и гарантировать результат. Могу я спросить, о ком идет



речь? Если это кто-нибудь из Скотланд-Ярда или человек, связанный с полицией, я, к сожалению, ничем не смогу вам помочь. Английские сыщики — наши лучшие друзья: благодаря их тупости мы делаем все, что хотим. Каждый из них для меня слишком ценен.

— Уверяю вас, — воскликнул лорд Артур, — полиция тут ни при чем. Часы предназначаются для декана Чичестера.

— Вот как! Я и не подозревал, лорд Артур, что вы такое значение придаете религии. Для нынешней молодежи это редкость.

— Нет-нет, вы меня переоцениваете, герр Винкелькопф, — краснея, сказал лорд Артур. — Я, право же, ничего не смыслю в теологии.

— Значит, дело сугубо личное?

— Сугубо личное.

Герр Винкелькопф пожал плечами и вышел из комнаты, а через несколько минут вернулся с круглым кусочком динамита и изящными французскими часами, увенчанными бронзовой фигурой Свободы, топчущей гидру деспотии.

Увидев часы, лорд Артур просиял.

— Это как раз то, что нужно! Теперь покажите, как они действуют.

— А вот это мой секрет, — ответил герр Винкелькопф, с законной гордостью созерцая свое изобретение. — Скажите, когда должен произойти взрыв, и я установлю их с точностью до минуты.

— Так, сегодня у нас вторник, и если вы пошлете их немедленно...

— Это невозможно. Я должен закончить важную работу для друзей в Москве. Но завтра я, пожалуй, мог бы их отослать.

— Это вполне меня устроит, — вежливо сказал лорд Артур. — Итак, их доставят декану завтра вечером или в четверг утром. Взрыв назначим, ну, скажем, на двенадцать часов в пятницу. В это время декан всегда дома.

— Пятница, двенадцать часов, — повторил герр Винкелькопф и сделал запись в большом журнале, который лежал на бюро у камина.

— А теперь, — сказал лорд Артур, вставая, — скажите, сколько я вам должен.

— Дело такое простое, лорд Артур, что я, право, ничего с вас не возьму. Динамит стоит семь шиллингов шесть пенсов, часы — три фунта десять шиллингов, доставка —

порядка пяти шиллингов. Для меня удовольствие уважить друга графа Рувалова.

— Но ваши труды, герр Винкелькопф?

— Пустяки! Мне это приятно. Я не работаю за деньги, я живу исключительно ради своего искусства.

Лорд Артур положил на стол четыре фунта два шиллинга и шесть пенсов, поблагодарил добродушного немца и, не без труда уклонившись от приглашения на товарищеский ужин анархистов в ближайшую субботу, вышел из дома и зашагал к Гайд-парку.

Следующие два дня он провел в состоянии крайнего возбуждения, а в пятницу в двенадцать часов отправился в «Букингем», чтобы там ждать новостей. В течение долгих послеобеденных часов флегматичный швейцар вывешивал в холле телеграммы из разных концов страны, в которых сообщалось о результатах скачек и бракоразводных процессов, о погоде и проч., в то время как аппарат выбивал на ленте бесконечные подробности ночного заседания палаты общин и детали небольшой паники на бирже. В четыре часа принесли вечерние газеты, и лорд Артур устремился в библиотеку, прихватив «Пэлл-Мэлл», «Сент-Джеймс газетт», «Глоб» и «Эко», чем вызвал крайнее негодование полковника Гудчайлда, который мечтал простить сообщения о своем утреннем выступлении в Мэншн-Хаус по вопросу об англиканских миссиях в Южной Африке и о целесообразности назначения черных епископов в каждой провинции, но почему-то имел сильное предубеждение против «Ивнинг ньюс». Ни в одной из газет, однако, даже не упоминался Чичестер, и лорд Артур понял, что покушение не удалось. Это был неслыханный удар, и на время лорд Артур совершенно лишился присутствия духа. Герр Винкелькопф, к которому он отправился на следующий день, пространно извинялся и предложил ему бесплатно еще одни часы или ящик нитроглицериновых бомб по номинальной цене. Но лорд Артур более не доверял взрывчатке, да и сам герр Винкелькопф признал, что в наше время ничто, даже динамит невозможно достать в чистом, неразбавленном виде. Однако, отметив, что механизм почему-то не сработал, немец высказал надежду, что часы еще могут взорваться, и в качестве примера рассказал о барометре, который он однажды послал военному коменданту Одессы. Хотя взрыв был запланирован на десятый день, произошел он спустя три месяца. Правда, в результате на воздух взлетела лишь одна из горничных, тогда как сам комендант за месяц до этого

уехал из города, но отсюда видно, что динамит в сочетании с соответствующим механизмом есть мощное, хотя и не вполне пунктуальное средство. Это наблюдение несколько утешило лорда Артура, но даже тут его ждало разочарование, ибо два дня спустя, когда он поднимался по лестнице, герцогиня позвала его в свой будуар и показала письмо, только что полученное из Чичестера.

— Джейн пишет прелестные письма,— сказала герцогиня.— Прочти. Право, не хуже тех романов, что нам присылают от Мьюди.

Лорд Артур выхватил у нее письмо. Вот что он прочел:

*Дом декана, Чичестер,  
27 мая*

Дорогая тетушка!

Огромное спасибо за фланель и саржу для Доркасского общества. Я с вами совершенно согласна в том, что желание этих людей красиво одеваться — нелепость, но теперь все сплошь радикалы и атеисты, и так трудно их убедить, что не следует подражать в одежде высшему сословию. К чему мы придем, не знаю. Как папа часто говорит в своих проповедях, в мире нет больше веры.

У нас был забавный случай с часами, которые папа в прошлый четверг получил от неизвестного почитателя. Их прислали из Лондона в деревянном ящике, с уведомлением о том, что доставка оплачена, и папа думает, что это подарок от кого-то, кто прочитал его замечательную проповедь «Свобода или вседозволенность?», потому что на часах сделана женская фигура, и папа говорит, что у нее на голове фригийский колпак, то есть символ свободы. По-моему, колпак совсем не изящный, но папа говорит, что он исторический, а это, конечно, другое дело. Паркер распаковал часы, и папа поставил их на каминную доску в библиотеке, и мы все там сидели в пятницу утром, когда часы пробили полдень, и вдруг послышалось жужжание, что-то чуть-чуть задымилось, и богиня свободы упала и разбила себе нос о каминную решетку! Мария, кажется, испугалась, но это было так смешно, что мы с Джеймсом хохотали до слез, и даже папа развеселился. Когда мы посмотрели, оказалось, что это вроде будильника: если установить их на определенный час и под молоточек положить капсуль и немного пороху, то они «взрываются», когда захочешь. Папа сказал, что в библиотеке им не место, так как от них будет шумно, и Реджи забрал их себе в классную комнату и там теперь

целый день устраивает крошечные взрывы. Как вы думаете, если подарить такие часы Артуру на свадьбу, он будет доволен? В Лондоне, наверное, они теперь в моде. Папа говорит, что от них есть польза, так как они показывают, что свобода непродолжительна и ее падение неизбежно. Папа говорит, что свободу придумали во времена французской революции. Какой ужас!

Теперь я иду в общество, где обязательно прочту вслух ваше поучительное письмо. Как верно вы пишете, дорогая тетушка, что людям низкого сословия надлежит ходить в том, что не к лицу. И в самом деле, разве не абсурд, что они так заботятся о платье, когда и в этой жизни, и за гробом есть столько истинно важных дел! Я так рада, что с вашим поплином в цветочек все вышло удачно и кружево нигде не разорвалось. Я сейчас надела желтый атлас, который вы мне подарили в среду у епископа, и, по-моему, все хорошо. Как вы думаете, нужны ли банты? Дженнингс говорит, что теперь все носят банты, а нижняя юбка должна быть с оборочками. Реджи только что устроил очередной взрыв, и папа распорядился, чтобы часы отнесли на конюшню. Кажется, они уже не так нравятся папе, как вначале, хотя он очень польщен тем, что ему прислали такую красивую и хитроумную вещицу. Это показывает, что люди читают его проповеди со вниманием.

Папа передает привет, также и Джеймс, Реджи и Мария. Надеюсь, дядя Сесл больше не мучится подагрой. Остаюсь вашей любящей племянницей,

*Джейн Перси.*

Р. S. Пожалуйста, напишите про банты. Дженнингс уверяет, что это ужасно модно.

Лорд Артур с такой горестной серьезностью читал письмо, что герцогиня рахоталась.

— Артур, дитя мое, я больше не стану тебе показывать письма молодых девушек! Но что мне ответить про часы? По-моему, очаровательное изобретение, я бы и сама не отказалась.

— Я о них невысокого мнения,— с грустной улыбкой ответил Артур и, поцеловав мать, вышел из комнаты.

Поднявшись к себе, он бросился на диван, и глаза его наполнились слезами. Он сделал все, что мог, чтобы совершить это убийство, но оба раза потерпел неудачу, причем не по своей вине. Он честно пытался выполнить свой долг, но сама судьба предательски отвернулась от него. Он

пронзительно ощутил бесплодность благих намерений, тщетность всяких попыток жить достойно. Наверное, надо все же расторгнуть помолвку. Сибил, конечно, будет страдать, но страдания не в силах бросить тень на столь чистую, возвышенную душу. Что до него, ему теперь все равно. Всегда найдется война, в которой можно погибнуть, или какое-нибудь дело, за которое легко умереть. Раз в жизни нет больше радости, то и смерть не страшна. Пусть судьба распорядится им как хочет; сам он ей больше не помощник.

В половине восьмого он оделся и поехал в клуб. Там был Сэрбитон в компании молодых людей, и лорду Артуру пришлось с ними ужинать. Их банальные разговоры и праздные шутки были ему неинтересны, и как только принесли кофе, он покинул их, придумав какой-то предлог. Внизу швейцар вручил ему конверт. Это была записка от герра Винкелькопфа, который писал, что может предложить взрывающийся зонтик, и убедительно просил зайти к нему на следующий день. Это новейшее изобретение — зонтик, который взрывается, едва его раскрывают, — только что прислали из Женевы. Лорд Артур разорвал записку на мелкие кусочки. Он уже решил, что с него довольно экспериментов. Спустившись к набережной Темзы, он сел на скамейку и несколько часов просидел, глядя на реку. Луна блестела, как львиный глаз, сквозь рыжеватую гриву облаков, и бесчисленные звезды, рассыпанные по небосклону, сверкали, как золотая пыль на лиловом своде. Иногда на мутной воде появлялась баржа и уплывала, влекомая отливом, в то время как железнодорожные сигналы переключались с зеленого на пурпурный и поезда с ревом пронеслись по мосту. Прошло время, и часы на башне парламента пробили двенадцать; казалось, лондонская ночь вздрагивает с каждым ударом звучного колокола. Затем железнодорожные огни погасли; остался лишь один зажженный фонарь — как крупный рубин на высокой мачте, и шум города стал затихать.

В два часа ночи лорд Артур встал и побрел по направлению к Блэкфрайерз. Каким все казалось нереальным! Как в причудливом сне! Дома за рекой словно выстроены из мрака, как будто тени и серебристый свет перекроили мир. Огромный купол собора святого Павла повис, как пузырь, в сумрачном пространстве.

Приближаясь к «Игле Клеопатры», лорд Артур увидел человека, облокотившегося о парапет. На мгновение тот поднял голову, и свет фонаря упал ему прямо в лицо.

Это был мистер Поджерс, хиромант! Всякий без труда узнал бы его дряблые, опухшие щеки, очки в золотой оправе, тошнотворную улыбочку полных губ.

Лорд Артур остановился. Его осенила блестящая мысль, и он тихо подкрался сзади. В одно мгновение он схватил мистера Поджерса за ноги и швырнул в Темзу. Послышалось грубое проклятие, шумный всплеск, и снова все стихло. Лорд Артур всмотрелся в залитую лунным светом воду, но увидел лишь медленно крутящуюся на поверхности шляпу хироманта. Потом утонула и шляпа, и от мистера Поджерса не осталось ни следа. Внезапно ему показалось, что грузная фигура всплыла у лестницы возле моста, и сердце его похолодело от сознания новой неудачи, но то была лишь игра теней, и, когда луна вновь выглянула из-за облака, тени рассеялись. Наконец-то он, кажется, выполнил веление судьбы! Испустив глубокий вздох облегчения, он прошептал имя Сибил.

— Вы что-нибудь уронили, сэр? — произнес голос у него за спиной.

Повернувшись, он увидел полицейского с сигнальным фонарем.

— Ничего существенного, сержант, — ответил он с улыбкой, и, остановив проезжающего извозчика, велел ехать на Белгрейв-сквер.

В течение следующих дней он разрывался между надеждой и страхом. Бывали мгновения, когда ему казалось, что мистер Поджерс вот-вот войдет в гостиную, но в другие минуты он верил, что судьба не может быть к нему так несправедлива. Дважды он отправлялся к дому хироманта на Уэст-Мун-стрит, но не мог заставить себя позвонить. Он жаждал определенности и боялся ее.

Наконец она пришла.

Сидя в клубе, он пил чай и рассеянно слушал рассказ Сэрбитона о последнем реву в «Гейети», когда официант принес вечерние газеты. Взяв «Сент-Джеймс газетт», он принялся вяло переворачивать страницы, как вдруг его взгляд остановился на странном заголовке:

### САМОУБИЙСТВО ХИРОМАНТА

Побледнев от волнения, он начал читать заметку. Вот что в ней говорилось:

«Вчера утром, около семи часов, прямо перед гостиницей «Корабль» в Гринвиче на берег вынесло тело известного

хироманта, м-ра Септимуса Р. Поджерса. М-р Поджерс исчез несколько дней тому назад, вызвав серьезное беспокойство в кругах, близких к хиромантии. Предполагают, что он покончил жизнь самоубийством при временном помутнении рассудка, происшедшем от переутомления. Таков вердикт, вынесенный после дознания. М-р Поджерс только что завершил работу над крупным трактатом под названием «Человеческая рука», который вскоре будет опубликован и, без сомнения, привлечет внимание пытливых читателей. Покойному было 65 лет, родственников он не оставил».

Лорд Артур ринулся из клуба с газетой в руках, чрезвычайно удивив швейцара, который тщетно пытался остановить его, и немедленно отправился на Парк-лейн. Сибил увидела его в окно, и что-то подсказало ей, что он несет добрую весть. Она сбегала ему навстречу и, едва взглянув на его сияющее лицо, поняла, что теперь все хорошо.

— Милая Сибил, — воскликнул лорд Артур, — давай поженимся завтра!

— Вот глупый мальчик. Ведь еще и торт не заказан! — отвечала Сибил, смеясь сквозь слезы.

## VI

В день свадьбы — тремя неделями позже — собор святого Петра заполнила элегантная толпа. Надлежащий текст был превосходно прочитан деканом Чичестера, и все согласились, что трудно себе представить пару красивее, чем жених и невеста. Но они были не только красивы — они были счастливы. Лорд Артур ни на минуту не сожалел о том, что выстрадал ради Сибил, а Сибил, со своей стороны, подарила ему лучшее, что может дать женщина мужчине: нежность, любовь и поклонение. Их романтическую любовь не убила реальность. Они навсегда сохранили молодость.

Несколько лет спустя, когда у них родились двое очаровательных детей, леди Уиндермир приехала погостить в Элтон-Прайери — великолепный старый дом, который герцог подарил сыну на свадьбу. Как-то после обеда, когда они с леди Артур Сэвил сидели под большой липой в саду, глядя, как мальчик и девочка бегают по розовой аллее, словно солнечные зайчики, леди Уиндермир вдруг взяла хозяйку дома за руку и спросила:

— Ты счастлива, Сибил?

— Конечно, дорогая леди Уиндермир. Ведь и вы счастливы, правда?

— Я не успеваю быть счастливой, Сибил. Мне всегда нравится мой самый новый знакомый. Но стоит узнать его поближе, как мне становится скучно.

— Разве ваши львы вас не радуют, леди Уиндермир?

— Львы? Господь с тобой! Львы хороши на один сезон. Как только им подстригут гриву, они превращаются в банальнейшие создания. К тому же они дурно себя ведут с теми, кто к ним добр. Ты помнишь этого ужасного мистера Поджерса? Шарлатан, каких мало! Это меня, впрочем, совершенно не беспокоило, и, даже когда он вздумал просить денег, я не слишком рассердилась. Но когда он стал обижаться мне в любви, я не выдержала. Из-за него я возненавидела хиромантию. Теперь я увлекаюсь телепатией, это намного интереснее.

— Только не говорите плохо о хиромантии, леди Уиндермир; это единственный предмет, о котором Артур не любит шутить. Уверяю вас, я не преувеличиваю.

— Не хочешь же ты сказать, что он в нее верит?

— Спросите его сами, леди Уиндермир. Вот он.

На дорожке и в самом деле появился лорд Артур: в руке у него был букет желтых роз, а вокруг него весело танцевали дети.

— Лорд Артур!

— Да, леди Уиндермир?

— Неужели вы действительно верите в хиромантию?

— Конечно, верю,— с улыбкой ответил молодой человек.

— Но почему?

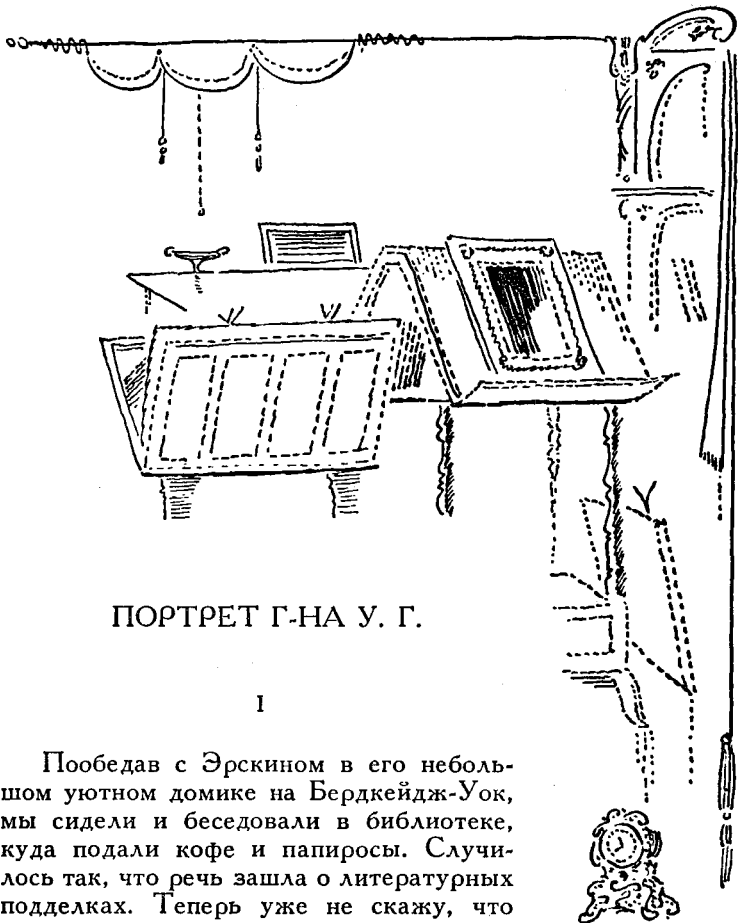
— Потому что я обязан ей всем своим счастьем,— негромко проговорил он и сел в плетеное кресло.

— Но помилуйте, лорд Артур, чем вы ей обязаны?

— Сибил,— ответил он и протянул жене розы, глядя прямо в ее синие глаза.

— Какой вздор! — вскричала леди Уиндермир.— Я в жизни не слышала такой нелепости!





## ПОРТРЕТ Г-НА У. Г.

### I

Пообедав с Эрскином в его небольшом уютном домике на Бердкейдж-Уок, мы сидели и беседовали в библиотеке, куда подали кофе и папиросы. Случилось так, что речь зашла о литературных подделках. Теперь уже не скажу, что натолкнуло нас на эту несколько необычную при таких обстоятельствах тему, но помню точно, что мы долго говорили о Макферсоне, Айерленде и Чаттертоне, причем в отношении последнего я настойчиво доказывал, что его так называемые подделки суть не что иное, как попытка добиться совершенства художественного воплощения, что мы не вправе спорить с автором по поводу формы, избранной им для своего произведения, и что, поскольку всякое

Искусство является, до известной степени, действием — стремлением достичь самовыражения в некоей области воображаемого, свободной от досадных помех и ограничений реальной жизни, то осуждать художника за подделку — значит смешивать этическую проблему с проблемой эстетической.

Эрскин, который был много старше меня и до сих пор слушал с насмешливо-почтительным видом умудренного жизнью сорокалетнего человека, вдруг положил мне руку на плечо и спросил:

— Ну, а что бы ты сказал о молодом человеке, который имел странную теорию об одном произведении искусства, верил в нее и прибег к подделке, чтобы доказать свою правоту?

— О, это совсем другое дело, — ответил я.

Несколько мгновений Эрскин молчал, глядя на тоненькую серую струйку дыма, поднимающуюся с кончика его папиросы.

— Да, пожалуй, — промолвил он после паузы, — совсем другое.

Что-то в тоне его голоса — быть может, легкий оттенок горечи, — возбудило мое любопытство.

— А ты что, знал когда-нибудь такого человека? — спросил я.

— Да, — отозвался он, бросая папиросу в камин. — Я говорил о моем близком друге, Сириле Грэхэме. Он был очень обаятелен, очень сумасброден и очень бессердечен. Однако именно он оставил мне единственное наследство, которое я получил за всю жизнь.

— И что же это было? — поинтересовался я.

Эрскин поднялся с кресла, подошел к стоявшему в простенке между двумя окнами высокому инкрустированному шкафу, отпер его и тотчас вернулся, держа в руке небольшой, писанный на доске портрет, заключенный в старинную, темного потемневшую раму елизаветинского стиля.

На портрете был изображен в полный рост юноша в костюме шестнадцатого века. Он стоял у стола, положив правую руку на раскрытую книгу. Лет семнадцати на вид, он поражал необычайной, хотя и несколько женственной красотой. Собственно, если бы не одежда и коротко подстриженные волосы, лицо его, с мечтательными печальными глазами и тонко очерченным алым ртом, можно было бы принять за лицо девушки. Манерой, в особенности тем,

как были написаны руки, картина напоминала позднего Франсуа Клуэ. Причудливый узор золотого шитья на черном бархатном камзоле и ярко-синие переливы фона, который так чудесно оттенял цвет костюма, сообщая ему какую-то светящуюся прозрачность, были вполне в духе Клуэ; да и две маски — Трагедии и Комедии, — несколько нарочито помещенные на переднем плане, подле мраморного столика, отличала та строгость мазка и линий, столь непохожая на легкое изящество итальянцев, которую великий фламандский мастер так и не утратил полностью, даже живя при французском дворе, и которая сама по себе всегда была характерным признаком северного темперамента.

— Прелестная вещица, — заметил я. — Но кто же этот очаровательный юноша, чью красоту так счастливо сохранило для нас Искусство?

— Перед тобой портрет господина У. Г., — с грустной улыбкой ответил Эрскин.

Не знаю, возможно, то была всего лишь случайная игра света, но мне показалось, что в глазах его блеснули слезы.

— Господина У. Г., — повторил я. — А кто он такой, этот У. Г.?

— Неужели не помнишь? Посмотри на книгу у него под рукой.

— Там как будто что-то написано, вот только не разберу что, — откликнулся я.

— Вот лупа, попытайся разглядеть, — сказал Эрскин, лицо которого не покидала все та же грустная улыбка.

Я взял лупу и, придвинув лампу поближе, принялся с трудом читать рукописные строчки, выведенные замысловатой старинной вязью: «Тому единственному, кому обязаны появлением нижеследующие сонеты...»

— Боже милостивый! — воскликнул я. — Да не шекспировский ли это У. Г.?

— Так говорил и Сирил Грэхэм, — пробормотал Эрскин.

— Но ведь юноша ничуть не похож на лорда Пемброка, — возразил я. — Я же отлично знаю портреты из Пенхерста. Не далее как несколько недель назад мне довелось побывать в тех местах.

— А ты и в самом деле полагаешь, что сонеты посвящены лорду Пемброку?

— Совершенно в этом уверен, — ответил я. — Пемброк, сам Шекспир и г-жа Мэри Фиттон как раз и есть те три

фигуры, что выступают в сонетах; на этот счет не может быть никаких сомнений.

— Что ж, я с тобой согласен,— сказал Эрскин,— но так я считал не всегда. Когда-то я верил — да, пожалуй, когда-то я верил в Сирила Грэхэма и его теорию.

— В чем же она состояла? — спросил я, глядя на прекрасный портрет, который уже начинал как-то странно меня завораживать.

— О, это длинная история,— ответил Эрскин, забирая у меня портрет, как мне показалось тогда, довольно неучтиво,— очень длинная история. Но если хочешь, я тебе ее расскажу.

— Меня всегда очень занимали всякие теории относительно этих сонетов,— сказал я,— но теперь я вряд ли поверю в какую-либо новую идею. В деле этом уже ни для кого нет загадки. Да и была ли она там когда-нибудь вообще, сказать трудно.

— Раз уж я сам не верю в эту теорию, тебя мне и подавно не убедить,— рассмеялся Эрскин.— Однако она все же не лишена интереса.

— Конечно, рассказывай,— согласился я.— Если история хоть вполвину так хороша, как портрет, я буду более чем доволен.

— Ну что ж, начну, пожалуй, с того,— сказал Эрскин, зажигая новую папиросу,— что поведаю тебе о самом Сириле Грэхэме. Познакомились мы в Итоне, где жили в одном пансионе. Я был на год или два старше, однако нас связывала теснейшая дружба, и мы не разлучались ни в играх, ни в трудах. Разумеется, игр было гораздо больше, чем трудов, но не могу сказать, чтобы я об этом сожалел. Не получить основательного образования в общепринятом смысле слова — всегда преимущество, и то, что я приобрел на игровых площадках в Итоне, пригодилось мне ничуть не меньше, чем все, чему меня научили в Кембридже. Надо тебе сказать, что ни отца, ни матери у Сирила не было. Они погибли, когда их яхта потерпела ужасное крушение у берегов острова Уайт. Отец его был на дипломатической службе и женился на дочери — кстати, единственной — старого лорда Кредитона, который по смерти родителей Сирила стал его опекуном. Не думаю, чтобы лорд Кредитон очень любил Сирила. Он так до конца и не простил дочери, что она вышла замуж за человека без титула. Это был чудаковатый старый аристократ, который ругался, как уличный торговец, а манерами походил на деревенского

мужлана. Помню, как однажды я повстречался с ним в Актовый день. Он что-то буркнул, сунул мне в руку сверток и выразил пожелание, чтобы я не вырос «дрянным радикалом» вроде моего отца. Сирил не питал к нему особой привязанности и весьма охотно проводил большую часть каникул у нас в Шотландии. Да и вообще, с дедом они никогда не ладили. Сирил считал его грубияном, а он его — изнеженным мальчишкой. Наверное, в некоторых отношениях Сирил и вправду был изнежен, что, впрочем, не мешало ему превосходно ездить верхом и отменно фехтовать. Собственно, великолепно владеть рапирой он научился еще в Итоне. Однако вид он имел женственно-томный, немало гордился своей красотой и испытывал глубокую неприязнь к футболу. Две вещи доставляли ему истинное наслаждение — поэзия и актерская игра. В Итоне он имел обыкновение наряжаться в старинный костюм и читать из Шекспира, а когда мы отправились продолжать учебу в Тринити-колледж, он в первом же семестре вступил в Любительское театральное общество. Помнится, я всегда очень завидовал его искусству. Я был до нелепого привязан к Сирилу — вероятно, потому, что в чем-то мы были так несхожи. Я был нескладным хилым юношей с огромными ступнями и ужасно веснушчатым лицом. В шотландских семьях веснушки передаются из поколения в поколение, как в английских — подагра. Сирил, однако, говорил, что из этих двух напастей предпочитает все же подагру. Внешности он действительно придавал до смешного большое значение и однажды даже прочел в нашем дискуссионном обществе эссе, в котором доказывал, что лучше хорошо выглядеть, чем хорошо поступать. Сам он был, право же, изумительно красив. Люди, не любившие Сирила, — пошлые глупцы, университетские наставники и студенты, готовившиеся к духовному поприщу, — говорили, что он миловиден, и только, но на самом деле в лице его было нечто гораздо большее, нежели обыкновенная миловидность. Я никогда, кажется, не знал более обворожительного создания, и сравниться с ним в грациозности движений и изяществе манер не мог решительно никто. Он очаровывал всех, кого стоило очаровывать, и очень многих, кто этого не заслуживал. Часто он бывал своенравен и капризен, я же считал его чудовищно неискренним. Последнее, полагаю, было в основном следствием его безмерного желанья нравиться. Бедный Сирил! Как-то я сказал ему, что он находит удовольствие в успехах весьма невысокого сорта, но он лишь расхохотался в ответ.

Он был ужасающе испорчен. Думаю, впрочем, что все обаятельные люди испорчены. В этом и кроется секрет их привлекательности.

Однако пора рассказать об игре Сирила. Тебе, конечно, известно, что женщин в Любительское театральное общество не принимают. Во всяком случае, так было в мое время. Не знаю, как обстоит дело сейчас. Ну и, разумеется, женские роли всегда доставались Сирилу. Когда ставили «Как вам это понравится», он играл Розалинду. В этой роли он был великолепен. Собственно говоря, Сирил Грэхэм был единственной безупречной Розалиндой из тех, что мне довелось видеть. Невозможно описать тебе всю прелесть, всю утонченность, всю изысканность его игры. Она произвела невообразимую сенсацию, и скверный маленький театрик, где тогда давала представления труппа, каждый вечер был переполнен. Даже сейчас, читая пьесу, я не могу не думать о Сириле. Она была точно специально для него написана. На следующий год он окончил университет и уехал в Лондон готовиться к поступлению на дипломатическую службу. Но душа у него не лежала к занятиям. Целыми днями он читал сонеты Шекспира, а по вечерам отправлялся в театр. Разумеется, больше всего на свете он хотел стать актером. Однако я и лорд Кредитон сделали все, что в наших силах, чтобы ему помешать. Кто знает, пойдя Сирил на сцену, возможно, он был бы жив до сих пор. Давать советы, знаешь ли, вообще глупо, разумные же советы — просто губительно. Надеюсь, ты не совершишь подобной ошибки. А если все-таки совершишь, то очень в этом раскаешься.

Впрочем, перейду к тому, что составляет суть этой истории. Однажды я получил от Сирила письмо с просьбой в тот же вечер приехать к нему на квартиру. Он занимал несколько прекрасных комнат на Пикадилли, выходявших окнами на Грин-парк. Поскольку я и так бывал у него каждый день, меня, признаться, удивило то, что он дал себе труд написать мне. Я, конечно, приехал и застал моего друга в состоянии величайшего волнения. Он объявил, что разгадал наконец тайну шекспировских сонетов, что все знатоки и критики пошли по совершенно ложному пути и что он первый, опираясь лишь на сведения, содержащиеся в самих сонетах, открыл, кто был в действительности господин У. Г. Он был прямо-таки вне себя от восторга и долго не хотел объяснять, в чем заключается его теория. В конце концов он принес целую кипу заметок, взял с камин

томик Шекспира, устроился в кресле и прочел мне длинную лекцию по столь заинтересовавшему его предмету.

В самом начале он указал на то, что молодой человек, которому Шекспир посвятил эти полные необычайной страсти стихи, должен быть кем-то, кто сыграл поистине исключительную роль в развитии его драматического таланта, и что подобного нельзя сказать ни о лорде Пемброке, ни о лорде Саутгемптоне. Кто бы он ни был, он не мог принадлежать к знатному роду, о чем достаточно ясно свидетельствует двадцать пятый сонет, где Шекспир, сравнивая себя с «любимцами сиятельных вельмож», прямо говорит:

Пускай обласканный счастливою звездой  
Гордится титулом и блеском славных дел,  
А мне, лишенному даров таких судьбою,  
Мне почеть высшая досталась в удел,—

и в конце сонета радуется тому, что человек, внушивший ему такое обожание, из простого сословия, и дружбе их не грозят капризы фортуны:

Но я любим, любя, и жребий мой ценю,  
Он не изменит мне, и я не изменю<sup>1</sup>.

Этот сонет, заявил Сирил, был бы совершенно непонятен, если предположить, что адресован он лорду Пемброку или графу Саутгемптону,—ведь и тот, и другой стояли на высшей ступени английского общества и могли быть с полным основанием названы «сиятельными вельможами». В подтверждение своей точки зрения он прочел мне сто двадцать четвертый и сто двадцать пятый сонеты, где Шекспир говорит, что его любовь не «дита удачи» и что ее «не создал случай»<sup>2</sup>. Я слушал с живым интересом, ибо не думаю, чтобы кто-нибудь раньше обратил внимание на эти факты, однако дальнейшее было еще любопытнее и, как мне показалось тогда, лишало всяких оснований притязания Пемброка. Миерс передает, что сонеты были написаны до 1598 года, а из сонета сто четвертого явствует, что дружба Шекспира с господином У. Г. началась тремя годами раньше. Но лорд Пемброк, родившийся в 1580 году, не бывал в Лондоне до восемнадцати лет, то есть до 1598 года; Шекспир же, видимо, познакомился с господином У. Г. в

<sup>1</sup> Перевод В. Мазуркевича.

<sup>2</sup> Перевод С. Маршака.

1594 или, самое позднее, в 1595 году и, следовательно, не мог встречаться с лордом Пемброком до того, как были написаны сонеты.

Сирил отметил также, что отец Пемброка умер только в 1601 году, тогда как строка:

Был у тебя отец, так стань и ты отцом...—

ясно говорит о том, что в 1598 году отца господина У. Г. уже не было в живых. Помимо всего прочего, было бы нелепо думать, будто в те времена какой-либо издатель,— а посвящение написано именно издателем,— дерзнул бы обратиться к Уильяму Герберту, графу Пемброку, как к «господину У. Г.». То, что лорда Бакхерста однажды назвали просто «господином Сэквиллом», едва ли может служить уместным примером, ибо лорд Бакхерст был не пэром, а лишь младшим сыном пэра и носил всего только «титул учтивости», да и то место в «Английском Парнасе», где его так называют, упоминая лишь вскользь, никак нельзя сравнить с торжественным официальным посвящением. Так было покончено с лордом Пемброком, чьи воображаемые притязания Сирил легко развеял в прах; я слушал в изумлении. Лорд Саутгемптон доставил ему еще меньше затруднений. Уже в ранней юности Саутгемптон стал любовником Элизабет Вернон и потому не нуждался в столь настойчивых уговорах подумать о продолжении рода; он не был красив или похож на мать, как господин У. Г.:

Для матери твоей ты зеркало такое же.  
Она в тебе апрель свой дивный узнает<sup>1</sup>,—

и, самое главное, получил при крещении имя Генри, в то время как постросенные на игре слов сонеты сто тридцать пятый и сто сорок третий подсказывают, что друга Шекспира звали так же, как его самого,— Уилл.

С другими, весьма неудачными догадками, высказанными комментаторами,— что инициалы искажены опечаткой, и читать следует «господину У. Ш.», то есть «Уильяму Шекспиру», что господин У. Г.— это Уильям Гэсауэй, или что после слова «желает» нужно поставить точку, превратив тем самым господина У. Г. из человека, которому посвящены сонеты, в автора посвящения,— Сирил расправился очень быстро, и нет нужды приводить здесь его аргументы, хотя,

<sup>1</sup> Перевод В. Лихачева.



помнится, он до колик рассмешил меня, прочтя вслух (к счастью, не в оригинале) несколько выдержек из какого-то немецкого комментатора по имени Барншторф, который настойчиво доказывал, что господин У. Г. не кто иной, как господин «Уильям Самолично»<sup>1</sup>. Ни на минуту не допускал он и мысли о том, что сонеты простая пародия на произведения Дрейтона и Джона Дэвиса Герфорда. Сирилу, как, впрочем, и мне, стихи эти казались исполненными глубокого и трагического чувства, вобравшего в себя всю горечь, исторгнутую шекспировским сердцем, и всю сладость, излитую его устами. Еще менее он склонен был признать сонеты философской аллегорией, в которой Шекспир обращается к своему идеальному «Я», или к идеальному Мужскому Образу, Духу Красоты, Разуму, Божественному Логосу, Католической Церкви. Он чувствовал, как и все мы, что стихи адресованы определенному лицу, некоему юноше, чей образ почему-то рождал в душе Шекспира безумную радость и столь же безумное отчаяние.

Как бы подготовив себе почву сказанным, Сирил попросил меня выбросить из головы любые предвзятые мнения, какие могли сложиться у меня по поводу сонетов, и выслушать с вниманием и беспристрастием его собственную теорию. Вопрос, сказал он, состоит в следующем: кто был тот юноша, современник Шекспира, который, не будучи благороден ни по рождению, ни даже по натуре, был воспет им с таким пламенным обожанием, что остается лишь дивиться этому странному преклонению, почти страхась приподнять завесу, скрывающую тайну, что жила в сердце поэта? Кто был он, обладавший красотой столь удивительной, что она наполнила собой все шекспировское искусство, стала источником его вдохновения, воплощением самой сокровенной его мечты? Смотреть на него только как на героя лирических стихов — значит совершенно их не понимать. Ведь, говоря в сонетах об искусстве, Шекспир подразумевает не сами сонеты, ибо для него они были лишь тайным и мимолетным увлечением, — нет, речь в них идет о его драматическом искусстве, и тот, кому Шекспир сказал:

Искусство все — в тебе; мой стих простой  
Возвысил ты своею красотой,—

тот, кому он сулил бессмертие:

---

<sup>1</sup> Англ. W(illiam) H(imself).

Ты будешь жить, земной покинув прах,  
Там, где живет дыханье,— на устах<sup>1</sup>,—

был, конечно же, не кем иным, как юношей-актером, для которого он создал Виолу и Имоджену, Джульетту и Розалинду, Порцию, Дездемону и даже Клеопатру. В этом и состояла теория Сирила Грэхэма, которую, как видишь, он построил на основании одних только сонетов и которая опиралась не столько на логические умозаключения и формальные доказательства, сколько на своего рода духовную и художественную интуицию, ибо лишь с ее помощью, утверждал он, возможно постичь подлинный смысл этих стихов. Я помню, он прочел мне прекрасный сонет:

Неужто музе не хватает темы,  
Когда ты можешь столько подарить  
Чудесных дум, которые не все мы  
Достойны на бумаге повторить.  
И если я порой чего-то стою,  
Благодари себя же самого.  
Тот поражен душевной немотою,  
Кто в честь твою не скажет ничего.  
Для нас ты будешь музою десятой  
И в десять раз прекрасней остальных,  
Чтобы стихи, рожденные когда-то,  
Мог пережить тобой внушенный стих<sup>2</sup>,—

обратив мое внимание на то, как убедительно эти строки подтверждают его теорию. И действительно, тщательно проанализировав сонеты, он показал или воображал, что показал, как в свете нового объяснения их значения все, что казалось ранее непонятным, или дурным, или преувеличенным, обретает ясность, стройность и высокий художественный смысл, иллюстрируя шекспировское представление об истинных отношениях между искусством актера и искусством драматурга.

Совершенно очевидно, что в труппе Шекспира был великолепный юный актер редкостной красоты, которому он доверял воплощать на подмостках благородных героинь своих пьес — ведь Шекспир был не только вдохновенным поэтом, но и театральным антрепренером. И Сирилу удалось узнать имя этого актера. Его звали Уилл, или, как предпочитал называть его сам Сирил, Уилли Гюз. Имя он, разумеется, обнаружил в каламбурных сонетах сто тридцать

---

<sup>1, 2</sup> Перевод С. Маршака.

пять и сто сорок три; фамилия же, по его мнению, скрывалась в восьмой строке двадцатого сонета, где господин У. Г. описывается так:

Красавец в цвете лет и весь он — цвет творенья...

В первом издании сонетов слово «Цвет»<sup>1</sup> напечатано с заглавной буквы и курсивом, а это, утверждал он, явно указывает на желание автора вложить в созвучие двойное значение. Такое предположение во многом подтверждается теми сонетами, где встречаются любопытные каламбуры со словами «use» и «usugu»<sup>2</sup>. Сирил, конечно, сразу обратил меня в свою веру, и Уилли Гьюз стал для меня не менее реальным лицом, чем сам Шекспир. Я нашел возразить лишь то, что имени Уилли Гьюза нет в дошедшем до нас списке актеров шекспировской труппы. Однако Сирил ответил, что отсутствие в списке этого имени, напротив, только подкрепляет его теорию, так как из восьмьдесят шестого сонета понятно, что Уилли Гьюз покинул труппу Шекспира и стал играть в одном из конкурирующих театров — возможно, в каких-то пьесах Чапмена. Именно это Шекспир имеет в виду, когда в своем замечательном сонете о Чапмене говорит, обращаясь к Уилли Гьюзу:

...его стихи украсил твой привет,  
И мой слабеет стих, и слов уж больше нет<sup>3</sup>.

Строка «его стихи украсил твой привет» подразумевает, видимо, что своей красотой молодой актер добавил прелести чапменовским стихам, наполнил их жизнью и правдой. Та же мысль высказана и в семьдесят девятом сонете:

Когда один я находил истоки  
Поэзии в тебе, блистал мой стих.  
Но как теперь мои померкли строки  
И голос музы немощной затих!

А в предыдущем сонете, где Шекспир говорит:

Поэты, переняв мою затею,  
Свои стихи украсили тобой<sup>4</sup>,—

---

<sup>1</sup> Английское слово «цвет» звучит так же, как имя «Гьюз».

<sup>2</sup> «Пользование» и «ростовщичество» — оба слова созвучны имени «Гьюз».

<sup>3</sup> Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

<sup>4</sup> Переводы С. Маршак.

разумеется, очевидна игра слов use — Hughes<sup>1</sup>, и фраза «свои стихи украсили тобой» означает: «своим актерским искусством ты помогаешь успеху их пьес».

Это был чудесный вечер, и мы засиделись чуть ли не до рассвета, читая и перечитывая сонеты. Однако с течением времени я начал понимать, что сделать теорию всеобщим достоянием в совершенно законченном виде можно, лишь получив неоспоримые доказательства существования юного актера по имени Уилли Гьюз. Если бы удалось их отыскать, не осталось бы никаких оснований сомневаться в том, что он и господин У. Г. — одно и то же лицо; в противном случае теория просто рухнет. Эти соображения я со всей возможной убедительностью изложил Сирилу, который был немало раздосадован тем, что назвал моим «филистерским складом ума», и вообще очень обиделся и расстроился. Тем не менее я заставил его пообещать, что, в своих же собственных интересах, он не предаст огласке сделанного открытия до тех пор, пока не будут полностью рассеяны все сомнения. Многие и многие недели мы рылись в метрических записях лондонских церквей, в аллеиновских рукописях в Даллидже, в Государственном архиве, в Архиве лорда-гофмейстера — словом, везде, где была хоть какая-то надежда встретить упоминание об Уилли Гьюзе. Поиски наши, как и следовало ожидать, не увенчались успехом, и идея с каждым днем казалась все неправдоподобнее. Сирил пребывал в ужасном состоянии: изо дня в день он вновь и вновь объяснял мне свою теорию, умоляя в нее поверить. Но я отлично видел единственный изъян в его рассуждениях и отказывался с ними согласиться, прежде чем существование Уилли Гьюза, юноши-актера, жившего во времена королевы Елизаветы, не станет безусловно и неопровержимо доказанным фактом.

Однажды Сирил уехал из города. Я решил, что он отправился навещать своего деда, и лишь позже узнал от лорда Кредитона, что это было не так.

Недели через две от Сирила пришла телеграмма, посланная из Уорика — он просил меня непременно приехать и пообедать с ним в тот же вечер в восемь часов. Встретил он меня такими словами: «Единственный апостол, который не заслуживал, чтобы ему представили доказательства существования божьего, был святой Фома, но получил

---

<sup>1</sup> Англ. «use», здесь: «затяг» — созвучно имени «Гьюз» (Hughes).

их он один». На мой вопрос, как это понимать, он ответил, что ему удалось не только удостовериться в том, что в шестнадцатом веке действительно жил юноша-актер по имени Уилли Гьюз, но и окончательно доказать, что он и есть тот самый господин У. Г., которому посвящены сонеты. Ничего больше он в тот момент сказать не захотел, однако после обеда торжественно показал мне картину, которую ты только что видел, сообщив, что обнаружил ее по чистой случайности: портрет был прибит гвоздями к внутренней стенке старинной шкапулки, купленной им у какого-то фермера в Уорикшире. Самоё шкапулку — замечательный образец ремесленного искусства конца шестнадцатого века — он, разумеется, тоже захватил с собой. На передней стенке, в самом центре, были отчетливо вырезаны инициалы «У. Г.». Именно эта монограмма и привлекла его внимание, хотя более тщательно осмотреть шкапулку изнутри ему пришлось в голову лишь спустя несколько дней после ее приобретения. Как-то утром он заметил, что одна из стенок гораздо толще остальных, и, присмотревшись, обнаружил прикрепленную к ней доску в раме. Это и была та самая картина, которая лежит сейчас на диване. Ее покрывал густой слой грязи и плесени, но Сирил сумел их счистить и, к величайшей своей радости, увидел, что совершенно случайно нашел как раз то, что искал. Перед ним был подлинный портрет господина У. Г., рука которого покоилась на томике сонетов, открытом на странице с посвящением, а на потускневшем золоте рамы можно было с трудом различить имя молодого человека, выведенное черными унциальными буквами: «Молодой Уилл Гьюз».

Что мне было сказать? Я и на миг не мог вообразить, что Сирил Грэхэм задумал сыграть со мной шутку или пытается доказать свою теорию с помощью подделки.

— Так это все же подделка? — спросил я.

— Разумеется, — сказал Эрскин. — Подделка превосходная, но тем не менее подделка. Уже тогда, правда, мне показалось, что Сирил отнесся к находке чересчур уж спокойно, однако я вспомнил, как он не раз говорил, что самому ему не нужны подобного рода доказательства и что теория вполне убедительна и без них. Смеясь, я отвечал, что без них вся его теория рухнет, как карточный домик, — и теперь искренне поздравил своего друга с блестящим открытием. Мы договорились заказать гравюру или репро-

дукцию с портрета, чтобы поместить ее на фронтисписе нового издания сонетов, которое решил подготовить Сирил, и в течение трех месяцев занимались только тем, что кропотливо, строчку за строчкой, изучали каждый сонет, пока не были преодолены все неясности текста или смысла. И вот одним несчастливим днем я забрел в какой-то магазин гравюр в Холборне, где внимание мое привлекли несколько прекрасных рисунков серебряным карандашом. Они так мне понравились, что я их купил, а владелец магазинчика, некий Ролингс, сказал мне, что рисунки сделал молодой художник по имени Эдвард Мертон — человек очень талантливый, но бедный, как церковная мышь. Через несколько дней я поехал повидать Мертона, чей адрес взял у торговца гравюрами. Меня встретил интересный молодой человек с бледным лицом и его жена, довольно вульгарная на вид женщина, которая, как я узнал потом, была его натурщицей. Я сказал, что восхищен его рисунками, чем кажется, доставил ему большое удовольствие, и спросил, не покажет ли он мне еще что-нибудь из своих работ. Но когда мы стали одну за другой их рассматривать, — а у него оказалось множество, право же, чудесных вещей, ибо этот Мертон и в самом деле был великолепным и тонким мастером, — взгляд мой совершенно неожиданно упал... на рисунок с портрета господина У. Г. Сомнений не было. Я держал в руках почти точную копию — с той лишь разницей, что маски Трагедии и Комедии лежали не перед мраморным столиком, как на картине, а у ног юноши.

«Каким образом к вам попало это?» — воскликнул я.

Явно смешавшись, Мертон пробормотал: «Так, какой-то случайный набросок. Не знаю даже, как он здесь оказался. Безделка, не более».

«Это же тот самый эскиз, который ты сделал для Сирила Грэхэма! — вмешалась его жена. — И если джентльмен хочет его купить, пусть покупает».

«Для Сирила Грэхэма? — повторил я. — Так это вы написали портрет господина У. Г?»

«Я не понимаю, что вы имеете в виду», — ответил он, заливаясь краской.

Случилось ужасное. Его жена обо всем проболталась. Уходя, я украдкой дал ей пять фунтов. Сейчас вспомнить об этом невыносимо, но, конечно же, я был взбешен. Я тотчас поспешил к Сирилу, прождал три часа у него на квартире, и, когда он наконец вернулся, явившись мне, точно олицетворение этой отвратительной лжи, я сообщил

ему, что обнаружил подделку. Он сильно побледнел и сказал:

«Я сделал это только ради тебя. Убедить тебя иным способом было невозможно. Однако достоверности теории это не умаляет».

«Достоверность теории! — воскликнул я. — Чем меньше мы будем говорить об этом, тем лучше! Ты даже сам никогда в нее не верил. Иначе бы не прибег к подделке, чтобы ее доказать».

Мы наговорили друг другу резкостей и страшно поссорились. Пожалуй, я был несправедлив. На следующее утро его нашли мертвым.

— Мертвым?! — вскричал я.

— Да. Он застрелился из револьвера. Брызги крови попали на раму картины, как раз на то место, где написано имя. Когда я приехал — слуга Сирила сейчас же послал за мной, — там уже была полиция. Сирил оставил для меня письмо, написанное, судя по всему, в величайшем смятении и расстройстве чувств.

— Что же он в нем говорил?

— О, что он абсолютно убежден в существовании Уилли Гьюза, что подделка была лишь уступкой мне и ни в малейшей степени не лишает теорию правоты и что, желая доказать мне, как глубока и непоколебима его вера в идею, он приносит свою жизнь в жертву тайне сонетов. Это было безумное, исступленное письмо. Помню, в конце он писал, что завещает теорию об Уилли Гьюзе мне, что именно я должен рассказать о ней людям и разгадать тайну Шекспировой души.

— Какая трагическая история, — проговорил я. — Но почему же ты не исполнил его желания?

Эрскин пожал плечами.

— Да потому, что теория эта от начала и до конца совершенно ошибочна.

— Мой милый Эрскин, — сказал я, вставая с кресла, — на сей счет ты явно заблуждаешься. Эта теория — единственный верный ключ к пониманию сонетов Шекспира. Она продумана во всех деталях. Лично я верю в Уилли Гьюза.

— Не говори так, — глухо отозвался Эрскин. — Мне кажется, что в этой идее есть что-то роковое, с точки же зрения логики сказать в ее пользу нечего. Я тщательно во всем разобрался и уверяю тебя, теория совершенно безосновательна. Правдоподобной она кажется только до известного предела. Дальше — тупик. Ради всего святого,

дружище, оставь всякую мысль об Уилли Гьюзе. Иначе тебе не миновать беды.

— Эрскин, — ответил я, — твой долг — сообщить миру об этой теории. И если этого не сделаешь ты, сделаю я. Скрывая ее, ты грешишь перед памятью Сирила Грэхэма — самого юного и самого прекрасного из мучеников искусства. Умоляю тебя! Ведь этого требует справедливость. Он не пожалел жизни ради идеи — так пусть же смерть его не будет напрасна.

Эрскин посмотрел на меня в изумлении.

— Полно, тебя просто захватили чувства, вызванные всей этой историей. Однако ты забываешь, что вера не становится истиной только потому, что кто-то за нее умирает. Я любил Сирила Грэхэма, и его смерть была для меня страшным ударом. Оправиться от него я не мог многие годы. Наверное, я не оправился от него вовсе. Но Уилли Гьюз? Нет, Уилли Гьюз — идея пустая. Такого человека никогда не было. Рассказать обо всем людям, говоришь ты? Но ведь люди думают, что Сирил Грэхэм погиб от несчастного случая. Единственное доказательство его самоубийства — адресованное мне письмо, но о нем никто ничего не знает. Лорд Кредитон и по сей день уверен, что тогда прозошел несчастный случай.

— Сирил Грэхэм пожертвовал жизнью во имя великой идеи, — возразил я. — И если ты не хочешь поведать о его мученичестве, расскажи хоть о его вере.

— Его вера, — ответил Эрскин, — основывалась на ложном представлении, на представлении порочном, на представлении, которое не задумываясь отверг бы любой исследователь творчества Шекспира. Да его теорию просто подняли бы на смех! Не будь же глупцом и оставь этот путь, он никуда не ведет. Ты исходишь из уверенности в существовании того самого человека, чье существование как раз и надо сперва доказать. И потом, всем известно, что сонеты посвящены лорду Пемброку. С этим вопросом покончено раз и навсегда.

— Нет, не покончено! — воскликнул я. — Я продолжу начатое Сирилом Грэхэмом и докажу всем, что он был прав.

— Безумный мальчишка! — пробормотал Эрскин. — Отправляйся-ка лучше домой — уже третий час. И выбрось из головы Уилли Гьюза. Я жалею, что рассказал тебе обо всем этом, и еще больше — что убедил тебя в том, чему не верю сам.



— О нет, ты дал мне ключ к величайшей загадке современной литературы, — ответил я, — и я не успокоюсь до тех пор, пока не заставлю тебя признать — пока не заставлю всех признать, что Сирил Грэхэм был самым тонким из современных знатоков Шекспира.

Я шел домой через Сент-Джеймс-парк, а над Лондоном занималась заря. Белые лебеди покойно дремали на полированной глади озера; высокие башни дворца на фоне бледно-зеленого неба отливали багрянцем. Я подумал о Сириле Грэхэме, и глаза мои наполнились слезами.

## II

Когда я проснулся, шел уже первый час пополудни, и сквозь занавеси на окнах в комнату струились косые золотистые лучи солнца, в которых плясали мириады пылинок. Сказав слуге, что меня ни для кого нет дома, и выпив чашку шоколада с булочкой, я взял с полки томик сонетов Шекспира и стал внимательно читать. Каждый сонет, казалось, подтверждал теорию Сирила Грэхэма. Я точно положил руку на Шекспирово сердце, явственно ощутив трепет и биение переполнявших его страстей. Мысли мои обратились к прекрасному юноше-актеру, и в каждой строчке мне стало видеться его лицо. Помню, особенно меня поразили два сонета — 53-й и 67-й. В первом из них, восхищаясь сценической разнохарактерностью Уилли Гьюза, многообразием исполняемых им ролей — от Розалинды до Джульетты и от Беатриче до Офелии, — Шекспир восклицает:

Какою ты стихией порожден?  
Все по одной отбрасывают тени,  
А за тобою вьется миллион  
Твоих теней, подобий, отражений<sup>1</sup>.

Строки эти были бы непонятны, если бы не были обращены к актеру, ибо во времена Шекспира слово «тень» имело и более узкое значение, связанное с театром<sup>2</sup>. «И лучшие среди них — всего лишь тени», — говорит об актерах Тезей из «Сна в летнюю ночь», и подобные выражения часто встречаются в литературе тех дней. Эти два сонета при-

<sup>1</sup> Перевод С. Маршака.

<sup>2</sup> То есть «образ», «отображение», «сценический персонаж».

надлежат, очевидно, к числу тех, где Шекспир размышляет о природе актерского искусства, о том странном и редкостном душевном темпераменте, без которого нет настоящего актера. «Как тебе удастся быть столь многоликим?» — спрашивает Шекспир Уилли Гьюза. И заключает — красота его такова, что способна вдохнуть жизнь в любую форму или оттенок фантазии, воплотить любую мечту, рожденную воображением художника. Развивая эту идею в следующем сонете, он высказывает в первых его строках замечательную мысль:

Прекрасное прекрасней во сто крат,  
Увенчанное правдой драгоценной<sup>1</sup>, —

и зовет нас убедиться в том, как правда актерской игры, правда зримого сценического действия усиливает волшебное очарование поэзии, одушевляя ее красоту и сообщая реальность ее идеальной форме. И тем не менее в 67-м сонете Шекспир призывает Уилли Гьюза покинуть сцену с ее искусственностью, с фальшивыми гримасами размалеванных лиц и нелепыми костюмами, ее безнравственными влияниями и идеями, ее удаленностью от истинного мира благородных дел и правдивого слова:

О, для чего он будет жить бесславно,  
С бесчестьем, с позором и с грехом  
Вступать в союз и им служить щитом?  
Зачем румяна спорить будут явно  
С его румянцем нежным и зачем тайком  
Фальшивых роз искать ему тщеславно,  
Когда цветут живые розы в нем?<sup>2</sup>

Возможно, покажется странным, что такой великий драматург, как Шекспир, чей художественный гений и гуманистическое мироощущение обрели выражение именно в идеальной сфере сценического творчества, мог подобным образом писать о театре. Однако вспомним, что в сонетах 110 и 111 он говорит, как устал жить в царстве марионеток, как стыдится того, что превратился в «площадного шута». Горечь эта особенно ощущается в 111-м сонете:

О как ты прав, судьбу мою браня,  
Виновницу дурных моих деяний,  
Богиню, осудившую меня  
Зависеть от публичных подаяний.

---

<sup>1</sup> Перевод С. Маршак.

<sup>2</sup> Перевод А. Федорова.

Красильщик скрыть не в силах ремесло,  
Так на меня проклятое занятие  
Печатью несмываемой легло.  
О, помоги мне смыть мое проклятье <sup>1</sup>,—

и признаки этого чувства, признаки, столь знакомые тем, кто действительно знает Шекспира, обнаруживают себя и во многих других его сонетах.

Читая сонеты, я был чрезвычайно озадачен одним обстоятельством, и минули дни, прежде чем мне удалось найти ему верное толкование, которое, видимо, ускользнуло даже от Сирила Грэхэма. Я никак не мог понять, отчего Шекспир так сильно желал, чтобы его друг женился. Сам он женился в ранней молодости, что сделало его несчастным, и едва ли стал бы требовать, чтобы Уилли Гьюз совершил ту же ошибку. Юному актеру, игравшему Розалинду, нечего было ждать ни от брака, ни от познания страстей, властвующих в реальной жизни. И потому в первых сонетах, где Шекспир со странной настойчивостью упрасивает его обзавестись потомством, мне слышалась какая-то нарушающая гармонию нота. Объяснение пришло неожиданно — я нашел его в необычном посвящении к сонетам. Как известно, звучит оно так:

*ТОМУ ЕДИНСТВЕННОМУ, КОМУ ОБЯЗАНЫ  
ПОЯВЛЕНИЕМ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ СОНЕТЫ  
Г-Н[У] У. Г. ВСЯКОГО СЧАСТЬЯ  
И ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ  
ОБЕЩАННОЙ  
НАШИМ БЕССМЕРТНЫМ ПОЭТОМ  
ЖЕЛАЕТ  
БЛАГОРАСПОЛОЖЕННЫЙ И  
УПОВАЮЩИЙ НА УДАЧУ  
ИЗДАТЕЛЬ.*

Т. Т.

Некоторые исследователи предполагали, что выражение «...кому обязаны появлением...» подразумевает просто того человека, который передал сонеты их издателю, Томасу Торпу. Однако к настоящему времени большинство отказалось от такого взгляда, и наиболее уважаемые авторитеты согласны, что толковать эти слова следует как обращение к вдохновителю сонетов, усматривая здесь метафору, по-

<sup>1</sup> Перевод С. Маршака.

строенную на аналогии с появлением на свет живого существа. Вскоре я заметил, что эту метафору Шекспир использует в сонетах постоянно, и это натолкнуло меня на правильный путь. В итоге я сделал свое великое открытие. Любовный союз, к которому Шекспир побуждает Уилли Гьюза, — это «союз с его Музой» — выражение, употребленное вполне определенно в 82-м сонете, где, изливая горькую обиду, причиненную вероломным бегством юного актера, для которого он написал лучшие роли в своих пьесах, поэт начинает жалобу словами:

Увы, но с Музой моей не связан ты союзом вечным...

А дети, которых Шекспир просит его произвести на свет, суть не существа из плоти и крови, но более долговечные создания, рожденные слиянием иных начал, чей союз осеняет нетленная слава. Весь же цикл ранних сонетов проникнут, по сути, одним стремлением — убедить Уилли Гьюза пойти на подмостки, стать актером. Сколь напрасна и бесплодна будет твоя красота, говорит Шекспир, если ты ею не воспользуешься:

Когда чело твое избородят  
Глубокими следами сорок зим,—  
Кто будет помнить царственный наряд,  
Гнушаясь жалким рубищем твоим?

И на вопрос: «Где прячутся сейчас  
Остатки красоты веселых лет?» —  
Что скажешь ты? На дне угасших глаз?  
Но злой насмешкой будет твой ответ<sup>1</sup>.

Ты должен творить: мои стихи «твои и рождены тобою»; внемли мне и «в строках этих переживешь лета и веки», населив подобиями своего образа воображаемый мир театра. Создания твои не угаснут, как угасают смертные существа, — ты навеки пребудешь в них и в моих пьесах, лишь только

Подобие свое создай хоть для меня,  
Чтоб красота твоя жила в тебе иль близ тебя<sup>2</sup>.

Я собрал все отрывки, которые как будто подтверждали мою догадку, и они произвели на меня глубокое впечатление, показав, насколько справедлива теория Сирила Грэхэма. Я увидел также, как легко отличить строки, в которых

---

<sup>1</sup> Перевод С. Маршака.

<sup>2</sup> Перевод Н. Гербея.

Шекспир говорит о самих сонетах, от тех, где он ведет речь о своих великих драматических произведениях. Никто из критиков до Сирила Грэхэма не обратил внимания на это обстоятельство. А ведь оно чрезвычайно важно. К сонетам Шекспир был более или менее равнодушен, не связывая с ними помыслов о славе. Для него они были творениями «мимолетней музыки», как он называет их сам, предназначенными, по свидетельству Миерса, для весьма и весьма узкого круга друзей. Напротив, в художественной ценности своих пьес он отдавал себе ясный отчет и высказывал гордую веру в свой драматический гений. Когда он говорил Уилли Гьюзу:

А у тебя не убывает день,  
Не увядает солнечное лето.  
И смертная тебя не скроет тень,—  
Ты будешь вечно жить в строках поэта.

Среди живых ты будешь до тех пор,  
Доколе дышит грудь и видит взор<sup>1</sup>,—

слова «Ты будешь вечно жить в строках поэта», несомненно, относятся к одной из его пьес, которую он тогда собирался послать своему другу,— точно так же, как последнее двустихие свидетельствует о его убеждении в том, что написанное им для театра будет жить всегда. В обращении к Музе (сонеты 100 и 101) звучит то же чувство:

Где Муза? Что молчат ее уста  
О том, кто вдохновлял ее полет?  
Иль, песенкой дешевой занята,  
Она ничтожным славой создает? —

вопрошает он и, укоряя владычицу Трагедии и Комедии за то, что она «отвергла Правду в блеске Красоты», говорит:

Да, совершенству не нужна хвала,  
Но ты ни слов, ни красок не жалея,  
Чтоб в славе красота пережила  
Свой золотом покрытый мавзолей.  
Нетронутым — таким, как в наши дни,  
Прекрасный образ миру сохрани!<sup>2</sup>

Однако наиболее полно эта идея выражена, пожалуй, в 55-м сонете. Воображать, будто «могучим стихом» названы строки самого сонета,— значит совершенно неправильно

---

<sup>1, 2</sup> Перевод С. Маршака.

понимать мысль Шекспира. Общий характер сонета создал у меня впечатление, что речь в нем идет о какой-то определенной пьесе и что пьеса эта — «Ромео и Джульетта»:

Надгробьям пышным, гордым изваяньям  
Не пережить могучий этот стих.  
Он охранит красы твоей сиянье  
От язв и глена, что разрушат их.  
И пусть падут столпы и рухнут стены  
В горниле битв от Марсова меча,  
Пребудет образ твой живой, нетленный  
В глазах людей и в пламенных речах.  
Смерть победив и немоту забвенья,  
Пройдешь ты сквозь бесчисленные года,  
Стяжашь славу в дальних поколениях  
И встретишь день последнего суда.  
Итак, пока не грянет труб небесных зов,  
В очах живи влюбленных, в звуке этих слов.

Весьма примечательно также, что здесь, как и в других сонетах, Шекспир обещает Уилли Гьюзу бессмертие, открытое глазам людей, то есть бессмертие в зримой форме, в произведении, предназначенном для сцены.

Две недели я без устали трудился над сонетами, почти не выходя из дому и отказываясь от всех приглашений. Каждый день приносил новое открытие, и вскоре Уилли Гьюз поселился в моей душе, точно призрак, и образ его завладел всеми моими мыслями. Временами мне даже чудилось, что я вижу его в полумраке моей комнаты, — так ярко нарисовал его Шекспир — с золотистыми волосами, нежного и стройного, словно цветок, с глубокими мечтательными глазами и лилейно-белыми руками. Даже имя его завораживало меня. Уилли Гьюз! Уилли Гьюз! Какая дивная музыка! О да! Кто, как не он, мог быть властелином и властительницей шекспировских страстей, повелителем его любви, которому он был предан, как верный вассал, изящным баловнем наслаждений, совершеннейшим на свете созданием, глашатаем весны в блистающих одеждах молодости, прелестным юношей, чей голос звучал сладко, точно струны лютни, а красота чудным покровом облекала душу Шекспира и была главным источником силы его драматического таланта?

Какой же жестокой трагедией казалось теперь бегство и позорная измена актера — скрашенная и облагороженная его колдовским очарованием, — но тем не менее измена. И все же, если Шекспир простил его, не простить ли его и нам? Мне, во всяком случае, не хотелось заглядывать в тайну его грехопадения.

Другое дело — его уход из шекспировского театра; это событие я исследовал со всей тщательностью. И в конце концов пришел к выводу, что Сирил Грэхэм ошибался, предполагая в соперничающем драматурге из 80-го сонета Чапмена. Речь, по всей видимости, шла о Марло. Ибо в тот период, когда писались сонеты, выражение «Его ли стих — могучий шум ветрил» не могло относиться к творчеству Чапмена, как бы ни было оно применимо к стилю его поздних пьес, написанных уже в годы правления короля Якова I. Нет, именно Марло был тем соперником на драматургическом поприще, которому Шекспир расточает такие похвалы, а

...дружественный дух —  
Его ночной советчик бестелесный <sup>1</sup>,—

это Мефистофель из его «Доктора Фауста». Без сомнения, Марло пленила красота и изящество юного актера, и он переманил его из театра «Блэкфрайерс» к себе, чтобы дать ему роль Гейвстона в своем «Эдуарде II». То, что Шекспир имел законное право не отпустить Уилли Гьюза, ясно из 87-го сонета, где он говорит:

Прощай! Ты для меня бесценное владенье,  
Но стала для тебя ясней твоя цена —  
И *хартии твоей* приносят письма  
От *власти* временной моей освобожденье,  
По милости твоей владел лишь я тобой:  
Чем мог я заслужить такое наслажденье?  
Но права на тебя мне не дано судьбой:  
*Бессилен договор*, напрасно принужденье.  
Мои достоинства неверно оцеля,  
Отдавши мне себя в минутном заблужденье,  
Свой драгоценный дар, по строгом обсужденье,  
Теперь ты хочешь взять обратно у меня...  
Во сне был я король. Стал нищим в пробужденье <sup>2</sup>.

Но удерживать силой того, кого не смог удержать любовью, он не захотел. Уилли Гьюз поступил в труппу лорда Пемброка и стал играть — быть может, во дворе таверны «Красный Бык» — роль изнеженного фаворита короля Эдуарда. После смерти Марло он, по-видимому, вернулся к Шекспиру, который, что бы ни думали на этот счет его товарищи по театру, не замедлил простить своенравного и вероломного юношу.

<sup>1</sup> Перевод С. Маршака.

<sup>2</sup> Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

И, опять-таки, как точно описал Шекспир характер актера! Уилли Гюз был одним из тех,

Кто двигает других, но, как гранит,  
Неколебим и не подвержен страсти...<sup>1</sup>

Он мог сыграть любовь, но был не способен испытать ее в жизни, мог изображать страсть, не зная ее.

Есть лица, что души лукавой  
Несут печать в гримасах и морщинах...

Однако Уилли Гюз был не таков.

«Но небо,— говорит Шекспир в сонете, полном безумного обожания,—

...иначе создать тебя сумело;  
И только прелести полны твои черты,  
Какие б ни были в душе твоей мечты,—  
В глазах всегда любовь и нежность без предела<sup>2</sup>.

В его «непостоянстве чувств» и «лукавой душе» легко узнать неискренность и вероломство, присущие артистическим натурам, как в его тщеславии — ту жажду немедленно-го признания, что свойственна всем актерам. И все же Уилли Гюзю, которому в этом смысле посчастливилось больше, чем другим актерам, суждено было обрести бессмертие. Неотделимый от шекспировских пьес, его образ продолжал жить в них.

Ты сохранишь и жизнь, и красоту,  
А от меня ничто не сохранится.  
На кладбище покой я обрету,  
А твой приют — открытая гробница.  
Твой памятник — восторженный мой стих.  
Кто не рожден, еще его услышит.  
И мир повторит повесть дней твоих,  
Когда умрут все те, кто ныне дышит<sup>3</sup>.

Шекспир беспрестанно говорит и о власти, которой обладал Уилли Гюз над зрителями — «очевидцами», как называл их поэт. Но, пожалуй, самое лучшее описание его изумительного владения актерским мастерством я нашел в «Жалобе влюбленной»:

Уловки хитрости соединились в нем  
С притворством редкого, тончайшего искусства.  
Он то бледнел, как воск, то вспыхивал огнем,  
То, не окончив слов, он вдруг лишался чувства.

---

1. 2. 3 Перевод С. Маршака.



И быстро до того менял свой вид притом,  
Что было бы нельзя не верить тем страданиям,  
Слезам, и бледности, и искренним рыданиям.

\* \* \*

Искусством говорить владел он вдохновенно:  
Лишь отомкнет уста — уж ждет его успех.  
Смутить ли, убедить, пленить — умел он всех.  
Он находил слова, чтоб превратить мгновенно

Улыбку — в горечь слез, рыдания — в звонкий смех.  
И смелой волею — все чувства, думы, страсти,  
Поймав в ловушку слов, в своей держал он власти<sup>1</sup>.

Однажды мне показалось, что я в самом деле обнаружил упоминание об Уилли Гьюзе в книге елизаветинских времен. В удивительно ярком описании последних дней славного графа Эссекса его духовник, Томас Нелл, рассказывает, что вечером, накануне смерти, «граф призвал к себе Уильяма Гьюза, бывшего у него музыкантом, чтобы он сыграл на верджинеле и спел. «Сыграй, — сказал он, — мою песню, Уилл Гюз, а я спою ее сам себе». Так он и сделал, пропев ее весьма весело, — не как лебедь, склонивший голову и заунывным криком оплакивающий близкий свой конец, но подобно чудному жаворонку, простерши руки и возведши очи к господину своему, — и с нею вознесся к хрустальному своду небес и неутомимым гласом своим достиг до самой вершины высочайших эмпиреев». Сомнений нет! Юноша, игравший на клавесине умирающему отцу Сиднеевой Стеллы, был не кто иной, как Уилл Гюз, которому Шекспир посвятил свои сонеты и чей голос сам «был музыке подобен». Однако лорд Эссекс скончался в 1576 году, когда самому Шекспиру было всего двадцать лет. Нет, его музыкант не мог быть «господином У. Г.» из сонетов. Но, возможно, юный друг Шекспира был сыном того Гьюза? Так или иначе, имя Гюзов, как выяснилось, в ту пору встречалось, и это было уже нечто. Более того, оно, судя по всему, было тесно связано с музыкой и театром. Вспомним, что первой женщиной-актрисой в Англии была очаровательная Маргарет Гюз, внушившая столь безумную страсть принцу Руперту. И разве не естественно предположить, что в годы, разделявшие музыканта графа Эссекса и ее, жил юноша-актер, игравший в шекспировских пьесах? Но доказательства, связующие звенья — где они? Увы, их я найти не мог. Мне казалось, что я все время стою на пороге

---

<sup>1</sup> Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

открытия, которое окончательно подтвердит теорию, но что совершить его мне не суждено.

От предположений о жизни Уилли Гьюза я вскоре перешел к размышлениям о его смерти, пытаюсь представить, какой его постиг конец.

Быть может, он попал в число тех английских актеров, что в 1604 году отправились за море, в Германию и играли перед великим герцогом Генрихом-Юлием Брауншвейгским, который и сам был драматургом немалого дарования, или при дворе загадочного курфюрста Бранденбургского, который столь боготворил красоту, что, говорят, заплатил проезжему греческому купцу за его прекрасного сына столько янтаря, сколько весил юноша, а потом устраивал в честь своего раба пышные карнавалы в тот страшный голодный год, когда истощенные люди падали замертво прямо на улицах и на протяжении семи месяцев не пролилось ни капли дождя. Известно, во всяком случае, что «Ромео и Джульетту» поставили в Дрездене в 1613 году вместе с «Гамлетом» и «Королем Лиром», и, конечно, именно Уилли Гьюзу в 1615 году кем-то из свиты английского посла была привезена посмертная маска Шекспира — печальное свидетельство кончины великого поэта, так нежно его любившего. В самом деле, было бы глубоко символично, если бы актер, чья красота являлась столь важным элементом шекспировского реализма и романтики, первым принес в Германию семена новой культуры и стал, таким образом, предвестником «Aufklärung», или Просвещения восемнадцатого века — прославленного движения, которое, хотя и было начато Лессингом и Гердером, а полного и блистательного расцвета достигло благодаря Гете, в немалой степени обязано своим развитием другому актеру, Фридриху Шредеру, пробудившему умы людей и показавшему посредством воображаемых театральных страстей и переживаний теснейшую, нерасторжимую связь жизни с литературой. Если так произошло в действительности, — а противоречащих этому свидетельств нет, — то совсем не исключено, что Уилли Гьюз находился среди тех английских комедиантов («*minae quidam ex Britannia*»<sup>1</sup>, как называет их старинная летопись), которые были убиты в Нюрнберге во время народного бунта и тайно погребены в маленьком винограднике за пределами города некими молодыми людьми, «каковые находили удовольствие в их лицедействе и из коих иные желали

---

<sup>1</sup> Лицедеев из Британии (лат.).

обучиться у них тайнствам нового искусства». Разумеется, более подходящего места, чем маленький виноградник за городской стеной, нельзя было бы и найти для того, кому Шекспир сказал: «Искусство все — в тебе». Ибо не из Дионисовых ли страданий возникла Трагедия? И не из уст ли сицилийских виноградарей впервые зазвенел жизнерадостный смех комедии с ее беспечным весельем и искрометным остроловием? А пурпур и багрянец пенной влаги, брызжущей на лица, руки, одежду, — не это ли впервые открыло людям глаза на колдовство и очарование масок, внушив стремление к самосокрытию, и не тогда ли ощущение смысла реального бытия проявилось в грубых начатках драматического искусства? Впрочем, где бы ни покоились его останки — на крошечном ли винограднике у готических ворот старинного немецкого города или на каком-нибудь безвестном лондонском кладбище, затерявшемся в грохоте и сумятице нашей огромной столицы, — последнее его пристанище не отмечено великолепным надгробьем. Истинной его усыпальницей, как и пророчил поэт, стали шекспировские стихи, а подлинным памятником ему — вечная жизнь театра. Он разделил судьбу тех, чья красота дала новый толчок творческой фантазии их эпохи. Лилейное тело вифинского раба истлело в зеленом иле нильских глубин, а прах юного афинянина развеян ветром по желтым холмам Керамика, но Антиной и поныне живет в скульптурах, а Хармид — в философских творениях.

### III

По прошествии трех недель я решил обратиться к Эрскину с самым настойчивым призывом отдать дань памяти Сирила Грэхэма и сообщить миру о его блестящем толковании сонетов — единственном толковании, всецело объясняющем их загадку. У меня не сохранилось, к сожалению, копии этого письма, не удалось вернуть и оригинал, но помню, что я подробнейшим образом проанализировал всю теорию и на многих страницах с пылом и страстью повторил все аргументы и доказательства, подсказанные моими исследованиями. Мне казалось тогда, что я не просто возвращаю Сирилу Грэхэму принадлежащее ему по праву место в истории литературы, но спасаю честь самого Шекспира от докучных отголосков банальной интриги. В письмо это я вложил весь жар души, всю мою убежденность.

Однако не успел я его отослать, как мной овладело странное чувство. Словно, написав это письмо, я отдал ему всю свою веру в Уилли Гьюза, героя шекспировских сонетов, словно вместе с несколькими листками бумаги ушла частица меня самого, без которой я был совершенно равнодушен к некогда волновавшей меня идее. Но что же произошло? Ответить трудно. Быть может, дав полное выражение страсти, я исчерпал и самую страсть? Ведь духовные силы, как и силы физические, не беспредельны. Быть может, пытаюсь убедить другого, каким-то образом жертвуешь собственной способностью верить? Быть может, наконец, я просто устал от всего этого, и, когда угас душевный порыв, в свои права вступил бесстрастный рассудок? Как бы там ни было — а найти объяснение случившемуся я не смог, — несомненно одно: Уили Гюз вдруг превратился для меня просто в миф, в бесплодную мечту, в мальчишескую фантазию юнца, который, подобно очень многим пылким натурам, больше стремился доказать свою правоту другим, нежели себе самому.

Поскольку в своем письме я наговорил Эрскину много несправедливого и обидного, я решил немедленно с ним повидаться и принести извинения за свое поведение. На другое же утро я отправился на Бердкейдж-Уок, где нашел Эрскина в библиотеке. Он сидел, глядя на стоявший перед ним поддельный портрет Уилли Гьюза.

— Дражайший Эрскин, — воскликнул я, — я приехал, чтобы перед тобой извиниться.

— Извиниться? — повторил он. — Помилуй, за что?

— За мое письмо, — ответил я.

— Тебе вовсе незачем жалеть о своем письме, — сказал он. — Напротив, ты оказал мне величайшую услугу, какую только мог. Ты показал мне, что теория Сирила Грэхэма абсолютно разумна.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что веришь в Уили Гьюза? — вскричал я.

— Почему бы и нет? — отозвался он. — Ты вполне меня убедил. Неужели, по-твоему, я не в состоянии оценить силу доказательств?

— Но ведь нет же никаких доказательств, — простонал я, падая в кресло. — Когда я писал тебе, мной владел какой-то глупейший энтузиазм. Я был тронут рассказом о смерти Сирила Грэхэма, очарован его романтической теорией, пленен прелестью и новизной всей этой идеи. Однако теперь я вижу, что его теория возникла из заблуждения. Един-

ственное доказательство существования Уилли Гьюза — картина, на которую ты смотришь, и картина эта — подделка. Ты не должен поддаваться эмоциям. Что бы ни нашептывали об Уилли Гьюзе романтические чувства, разум совершенно этого не приемлет.

— Я отказываюсь тебя понимать, — сказал Эрскин, с удивлением глядя на меня. — Не ты ли сам уверил меня своим письмом в том, что Уилли Гьюз — неопровержимая реальность? Что же заставило тебя переменить мнение? Или все, что ты говорил, только шутка?

— Это трудно объяснить, — ответил я, — но сейчас я вижу ясно, что толкование Сирила Грэхэма лишено смысла. Сонеты действительно посвящены лорду Пемброку. И ради всевышнего, не трать попусту времени на безумные попытки отыскать в веках юного актера, которого никогда не было, и возложить на голову призрачной марионетки венки великих шекспировских сонетов.

— Ты, видно, просто не понимаешь теории, — возразил он.

— Ну, полно, милый Эрскин, — воскликнул я. — Не понимаю? Да мне уже кажется, что я сам ее сочинил. Из моего письма ты наверняка понял, что я не только тщательно ее изучил, но и предложил множество всякого рода доказательств. Так вот, единственный изъян теории в том, что она исходит из уверенности в существовании человека, реальность которого и есть главный предмет спора. Если допустить, что в труппе Шекспира и вправду был юноша-актер по имени Уилли Гьюз, то совсем не трудно сделать его героем сонетов. Но поскольку мы знаем, что актер с таким именем в театре «Глобус» никогда не играл, продолжать поиски бессмысленно.

— Но этого-то мы как раз и не знаем, — не уступал Эрскин. — Действительно, такого актера нет в списке труппы, но, как заметил Сирил, это скорее свидетельствует в пользу существования Уилли Гьюза, а не наоборот, если помнить о его предательском бегстве к другому антрепренеру и драматургу.

Мы проспорили несколько часов, но никакие мои аргументы не могли заставить Эрскина отказаться от веры в толкование Сирила Грэхэма. Он заявил, что намерен посвятить всю жизнь доказательству теории и полон решимости воздать должное памяти Сирила Грэхэма. Я увещевал его, смеялся над ним, умолял — но все было напрасно. Наконец мы расстались — не то чтобы поссорившись, но с явным

отчуждением. Он думал, что я поверхностен, я — что он безрассуден. Когда я пришел к нему в следующий раз, слуга сказал мне, что он уехал в Германию.

Прошло два года. И вот однажды, когда я приехал в свой клуб, привратник вручил мне письмо с иностранным штемпелем. Оно было от Эрскина и отправлено из гостиницы «Англетер» в Каннах. Прочитав его, я содрогнулся от ужаса, хотя до конца и не поверил, что у Эрскина хватит безрассудства привести в исполнение свое намерение,— ибо, испробовав все средства доказать теорию об Уилли Гьюзе и потерпев неудачу, он, помня о том, что Сирил Грэхэм отдал за нее жизнь, решил принести и свою жизнь в жертву той же идее. Письмо заканчивалось словами: «Я по-прежнему верю в Уилли Гьюза, и к тому времени, когда ты получишь это письмо, меня уже не будет на свете: я лишу себя жизни собственной рукой во имя Уилли Гьюза — во имя него и во имя Сирила Грэхэма, которого довел до смерти своим бездумным скептицизмом и слепым неверием. Однажды истина открылась и тебе, но ты отверг ее. Ныне она возвращается к тебе, омытая кровью двух людей. Не отворачивайся же от нее!»

То было страшное мгновение. Я испытывал мучительную боль и все же не мог в это поверить. Умереть за веру — самое худшее, что можно сделать со своей жизнью, но отдать ее за литературную теорию! Нет, это просто невыносимо.

Я взглянул на дату. Письмо было отправлено неделю назад. По несчастливой случайности я не заходил в клуб несколько дней,— получи я письмо раньше, я, возможно, успел бы спасти Эрскина. Но, может быть, еще не поздно? Я бросился домой, поспешно уложил вещи и в тот же вечер выехал почтовым поездом с Чаринг-Кросс. Путешествие показалось мне нестерпимо долгим. Я думал, что оно никогда не кончится. Прямо с вокзала я поспешил в «Англетер». Там мне сказали, что Эрскина похоронили двумя днями раньше на английском кладбище. В произошедшей трагедии было что-то чудовищно нелепое. Не помня себя, я нес невесть что, и люди, в вестибюле гостиницы, стали с любопытством поглядывать в мою сторону.

Неожиданно среди них появилась одетая в глубокий траур леди Эрскин. Заметив меня, она подошла и, пробормотав что-то о своем несчастном сыне, разрыдалась. Я проводил ее в номер. Там ее дожидался какой-то пожилой джентльмен. Это был местный английский врач.

Мы много говорили об Эрскине, однако я ни словом не

обмолвился о мотивах его самоубийства. Было очевидно, что он ничего не сказал матери о причине, толкнувшей его на столь роковой, столь безумный поступок. Наконец леди Эрскин поднялась и сказала:

— Джордж оставил кое-что для вас. Вещь, которой он очень дорожил. Сейчас я ее принесу.

Как только она вышла, я обернулся к доктору и сказал:

— Какой ужасный удар для леди Эрскин! Поистине удивительно, как стойко она его переносит.

— О, она уже несколько месяцев знала, что это произойдет.

— Знала, что это произойдет?! — вскричал я. — Но почему же она его не остановила? Почему не послала следить за ним? Ведь он, должно быть, просто сошел с ума!

Доктор посмотрел на меня изумленным взглядом.

— Я вас не понимаю, — пробормотал он.

— Но если мать знает, что сын ее хочет покончить с собой...

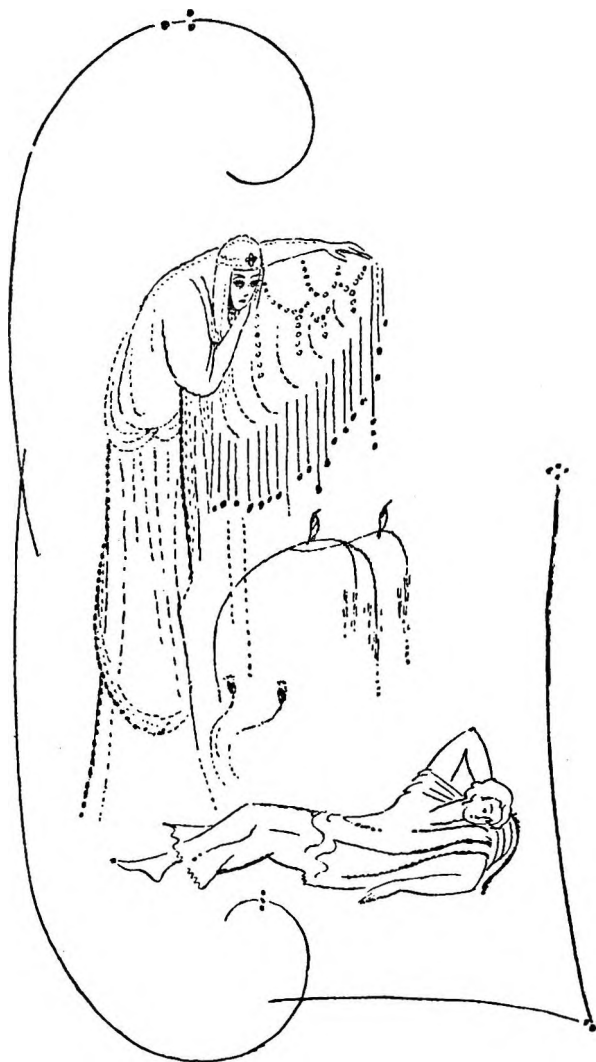
— Покончить с собой! — воскликнул он. — Но бедняга Эрскин вовсе не покончил с собой. Он умер от чахотки. Он и приехал сюда, чтобы умереть. Я понял, что он обречен, как только его увидел. От одного легкого почти ничего не осталось, другое было очень серьезно поражено. За три дня до смерти он спросил меня, есть ли какая-нибудь надежда. Я не стал скрывать правды и сказал, что ему осталось жить считанные дни. Он написал несколько писем и совершенно смирился со своей участью, сохранив ясность ума до последнего мгновения.

В этот момент вошла леди Эрскин с роковым портретом Уилли Гьюза в руках.

— Умирая, Джордж просил передать вам это, — промолвила она.

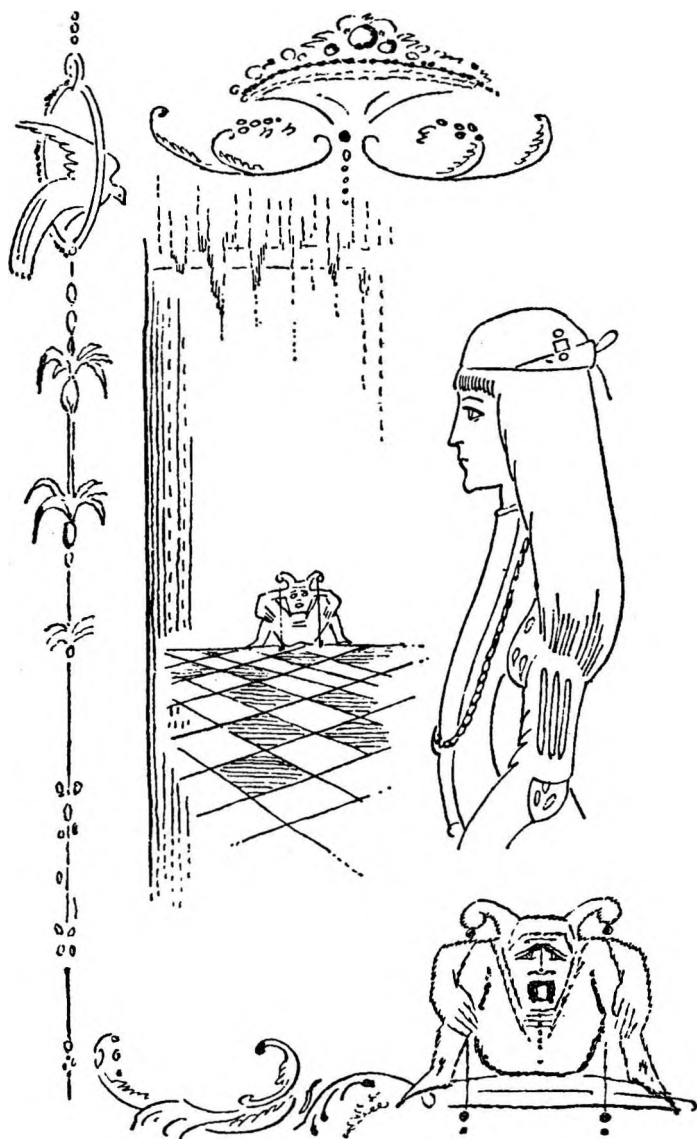
Когда я брал портрет, на руку мне упала ее слеза.

Теперь картина висит у меня в библиотеке, вызывая восторги моих знающих толк в искусстве друзей. Они пришли к выводу, что это не Клуэ, а Уври. У меня никогда не являлось желания рассказать им подлинную историю портрета. Но временами, глядя на него, я думаю, что в теории об Уилли Гьюзе и сонетах Шекспира определенно что-то есть.



СКАЗКИ







## СЧАСТЛИВЫЙ ПРИНЦ

На высокой колонне, над городом, стояла статуя Счастливого Принца. Принц был покрыт сверху донизу листочками чистого золота. Вместо глаз у него были сапфиры, и крупный рубин сиял на рукоятке его шпаги.

Все восхищались Принцем.

— Он прекрасен, как флюгер-петух! — изрек Городской Советник, жаждавший прослыть за тонкого ценителя искусств. — Но, конечно, флюгер куда полезнее! — прибавил он тотчас же, опасаясь, что его обвинят в непрактичности; а уж в этом он не был повинен.

— Постарайся быть похожим на Счастливого Принца! — убеждала разумная мать своего мальчугана, который все

плакал, чтобы ему дали луну.— Счастливый Принц никогда не капризничает!

— Я рад, что на свете нашелся хоть один счастливец! — пробормотал гонимый судьбой горемыка, взирая на эту прекрасную статую.

— Ах, он совсем как ангел! — восхищались Приютские Дети, толпою выходя из собора в ярко-пунцовых пелерниках и белоснежных передниках.

— Откуда вы это знаете? — возразил Учитель Математики.— Ведь ангелов вы никогда не видали.

— О, мы их видим во сне! — отозвались Приютские Дети, и Учитель Математики нахмурился и сурово взглянул на них: ему не нравилось, что дети видят сны.

Как-то ночью пролетала тем городом Ласточка. Ее подруги вот уже седьмая неделя как улетели в Египет, а она отстала от них, потому что была влюблена в гибкий красивый Тростник. Еще ранней весной она увидела его, гоняясь за желтым большим мотыльком, да так и застыла, внезапно прельщенная его стройным станом.

— Хочешь, я полюблю тебя? — спросила Ласточка с первого слова, так как любила во всем прямоту; и Тростник поклонился ей в ответ.

Тогда Ласточка стала кружиться над ним, изредка касаясь воды и оставляя за собой на воде серебристую рябь. Так она выражала любовь. И так продолжалось все лето.

— Что за нелепая связь! — щебетали остальные ласточки.— Ведь у Тростника ни гроша за душой и целая куча родственников.

Действительно, вся эта речка густо заросла тростниками. Потом наступила осень, и ласточки улетели.

Когда они улетели, Ласточка почувствовала себя сиротой, и эта привязанность к Тростнику показалась ей очень тягостной.

— Боже, ведь он как немой, ни слова от него не добьешься,— говорила с упреком Ласточка,— и я боюсь, что он очень кокетлив: заигрывает с каждым ветерком.

И правда, чуть только ветер, Тростник так и гнется, так и кланяется.

— Пускай он домосед, но ведь я-то люблю путешествовать, и моему мужу не мешало бы тоже любить путешествия.

— Ну что же, полетишь ты со мною? — наконец спросила она, но Тростник только головой покачал: он был так привязан к дому!

— Ах, ты играл моею любовью! — крикнула Ласточка. — Прощай же, я лечу к пирамидам!

И она улетела.

Целый день летела она и к ночи прибыла в город.

«Где бы мне здесь остановиться? — задумалась Ласточка. — Надеюсь, город уже приготовился достойно встретить меня?»

Тут она увидела статую на высокой колонне.

— Вот и отлично. Я здесь и устроюсь: прекрасное место и много свежего воздуха.

И она приютилась у ног Счастливого Принца.

— У меня золотая спальня! — разнеженно сказала она, озираясь.

И она уже расположилась ко сну и спрятала головку под крыло, как вдруг на нее упала тяжелая капля.

— Как странно! — удивилась она. — На небе ни облачка. Звезды такие чистые, ясные, — откуда же взяться дождю? Климат на севере Европы просто ужасен. Мой Тростник любил дождь, но ведь он такой эгоист.

Тут упала другая капля.

— Какая же польза от статуй, если она даже от дождя не способна укрыть. Поищу-ка себе пристанища где-нибудь у трубы на крыше. — И Ласточка решила улететь.

Но не успела она расправить крылья, как упала третья капля.

Ласточка посмотрела вверх, и что же увидела она!

Глаза Счастливого Принца были наполнены слезами. Слезы катились по его золоченым щекам. И так прекрасно было его лицо в лунном сиянии, что Ласточка преисполнилась жалостью.

— Кто ты такой? — спросила она.

— Я Счастливый Принц.

— Но зачем же ты плачешь? Ты меня промочил насквозь.

— Когда я был жив и у меня было живое человеческое сердце, я не знал, что такое слезы, — ответила статуя. — Я жил во дворце Sans Souci<sup>1</sup>, куда скорби вход воспрещен. Днем я забавлялся в саду с друзьями, а вечером я танцевал в Большом Зале. Сад был окружен высокой стеной, и я ни разу не догадался спросить, что же происходит за ней. Вокруг меня все было так прекрасно! «Счастливый Принц» — величали меня приближенные, и вправду,

<sup>1</sup> Беззаботности (фр.).

я был счастлив, если только в наслаждениях счастье. Так я жил, так и умер. И вот теперь, когда я уже неживой, меня поставили здесь, наверху, так высоко, что мне видны все скорби и вся нищета моей столицы. И хотя сердце теперь у меня оловянное, я не могу удержаться от слез.

«А, так ты не весь золотой!» — подумала Ласточка, но, конечно, не вслух, потому что была достаточно вежлива.

— Там, далеко, в узкой улочке, я вижу убогий дом, — продолжила статуя тихим мелодическим голосом. — Одно окошко открыто, и мне видна женщина, сидящая у стола. Лицо у нее изможденное, руки огрубевшие и красные, они сплошь исколоты иглой, потому что она швея. Она вышивает страстоцветы на шелковом платье прекраснейшей из фрейлин королевы для ближайшего придворного бала. А в постельке, поближе к углу, ее больное дитя. Ее мальчик лежит в лихорадке и просит, чтобы ему дали апельсинов. Но у матери нет ничего, только речная вода. И вот этот мальчик плачет. Ласточка, Ласточка, маленькая Ласточка! Не снесешь ли ты ей рубин из моей шпаги? Ноги мои прикованы к пьедесталу, и я не в силах сдвинуться с места.

— Меня ждут не дождутся в Египте, — ответила Ласточка. — Мои подруги кружатся над Нилом и беседуют с пышными лотосами. Скоро они полетят на ночлег в усыпальницу Великого Царя. Там почивает он сам, в своем роскошном гробу. Он закутан в желтые ткани и набальзамирован благовонными травами. Шея у него обвита бледно-зеленой нефритовой цепью, а руки его как осенние листья.

— Ласточка, Ласточка, маленькая Ласточка. Останься здесь на одну только ночь и будь моей посланницей. Мальчику так хочется пить, а мать его так печальна.

— Не очень-то мне по сердцу мальчики. Прошлым летом, когда я жила над рекою, дети мельника, злые мальчишки, всегда швыряли в меня камнями. Конечно, где им попасть! Мы, ласточки, слишком увертливы. К тому же мои предки славились особой ловкостью, но все-таки это было очень непочтительно.

Однако Счастливый Принц был так опечален, что Ласточка пожалела его.

— Здесь очень холодно, — сказала она, — но ничего, эту ночь я останусь с тобой и выполню твое поручение.

— Благодарю тебя, маленькая Ласточка, — молвил Счастливый Принц.

И вот Ласточка выклевала большой рубин из шпаги Счастливого Принца и полетела с этим рубином над городскими крышами. Она пролетела над колокольной собора, где стоят беломраморные изваяния ангелов. Она пролетела над королевским дворцом и слышала звуки музыки. На балкон вышла красивая девушка, и с нею ее возлюбленный.

— Какое чудо эти звезды,— сказал ей возлюбленный,— и как чудесна власть любви!

— Надеюсь, мое платье поспеет к придворному балу,— ответила она.— Я велела на нем вышить страстоцветы, но швеи такие лентяйки.

Ласточка пролетела над рекою и увидела огни на корабельных мачтах. Она пролетела над Гетто и увидела старых евреев, заключавших между собою сделки и взвешивавших монеты на медных весах. И наконец она прилетела к убогому дому и заглянула туда. Мальчик метался в жару, а мать его крепко заснула — она так была утомлена. Ласточка пробралась в каморку и положила рубин на стол, рядом с наперстком швеи. Потом она стала беззвучно кружиться над мальчиком, навевая на его лицо прохладу.

— Как мне стало хорошо! — сказал ребенок.— Значит, я скоро поправлюсь.— И он впал в приятную дремоту.

А Ласточка возвратилась к Счастливому Принцу и рассказала ему обо всем.

— И странно,— заключила она свой рассказ,— хотя на дворе стужа, мне теперь несколько не холодно.

— Это потому, что ты сделала доброе дело! — объяснил ей Счастливый Принц.

И Ласточка задумалась над этим, но тотчас же заснула. Стоило ей задуматься, и она засыпала.

На рассвете она полетела на речку купаться.

— Странное, необъяснимое явление! — сказал Профессор Орнитологии, проходивший в ту пору по мосту.— Ласточка — среди зимы!

И он напечатал об этом пространное письмо в местной газете. Все цитировали это письмо; оно было полно таких слов, которых никто не понимал.

«Сегодня же ночью — в Египет!» — подумала Ласточка, и сразу ей стало весело.

Она посетила все памятники и долго сидела на шпиге соборной колокольной. Куда бы она ни явилась, воробьи принимались чирикать: «Что за чужак! Что за чужак!» —

и звали ее знатной иностранкой, что было для нее чрезвычайно лестно.

Когда же взошла луна, Ласточка вернулась к Счастливому Принцу.

— Нет ли у тебя поручений в Египет? — громко спросила она. — Я сию минуту улетаю.

— Ласточка, Ласточка, маленькая Ласточка! — взмолился Счастливый Принц. — Останься на одну только ночь.

— Меня ожидают в Египте, — ответила Ласточка. — Завтра подруги мои полетят на вторые пороги Нила. Там в камышах лежат гиппопотамы, и на великом гранитном престоле восседает там бог Мемнон. Всю ночь он глядит на звезды, а когда засияет денница, он приветствует ее радостным кликом. В полдень желтые львы сходят к реке на водопой. Глаза их подобны зеленым бериллам, а рев их громче, чем рев водопада.

— Ласточка, Ласточка, маленькая Ласточка! — сказал ей Счастливый Принц. — Там, далеко, за городом я вижу в мансарде юношу. Он склонился над столом, над бумагами. Перед ним в стакане увядшие фиалки. Его губы алы, как гранаты, его каштановые волосы вьются, а глаза его большие и мечтательные. Он торопится закончить свою пьесу для Директора Театра, но он слишком озяб, огонь догорел у него в очаге, и от голода он вот-вот лишится чувств.

— Хорошо, я останусь с тобой до утра! — сказала Ласточка Принцу. У нее было предоброе сердце. — Где же у тебя другой рубин?

— Нет у меня больше рубинов, увы! — молвил Счастливый Принц. — Мои глаза — это все, что осталось. Они сделаны из редкостных сапфиров и тысячу лет назад были привезены из Индии. Выключь один из них и отнеси тому человеку. Он продаст его ювелиру и купит себе еды и дров и закончит свою пьесу.

— Милый Принц, я не могу сделать это! — И Ласточка стала плакать.

— Ласточка, Ласточка, маленькая Ласточка! Исполни волю мою!

И вылевала Ласточка у Счастливого Принца глаз и полетела к жилищу поэта. Ей было нетрудно проникнуть туда, ибо крыша была дырявая. Сквозь эту крышу и пробралась Ласточка в комнату. Юноша сидел, закрыв лицо руками, и не слышал трепетания крыльев. Только потом он заметил сапфир в кучке увядших фиалок.

— Однако меня начинают ценить! — радостно воскликнул он. — Это от какого-нибудь знатного поклонника. Теперь-то я могу закончить свою пьесу. — И счастье было на его лице.

А утром Ласточка отправилась в гавань. Она села на мачту большого корабля и стала оттуда смотреть, как матросы вытаскивают на веревках из трюма какие-то ящики.

— Дружнее! Дружнее! — кричали они, когда ящик поднимался вверх.

— Я улетаю в Египет! — сообщила им Ласточка, но на нее никто не обратил внимания.

Только вечером, когда взошла луна, Ласточка возвратилась к Принцу.

— Я пришла попрощаться с тобой! — издали закричала она.

— Ласточка, Ласточка, маленькая Ласточка! — взмолился Счастливый Принц. — Не останешься ли ты до утра?

— Теперь зима, — ответила Ласточка, — и скоро здесь пойдет холодный снег. А в Египте солнце согревает зеленые листья пальм и крокодилы вытянулись в тине и лениво глядят по сторонам. Мои подруги выют уже гнезда в Баальбековом храме, а белые и розовые голуби смотрят на них и воркуют. Милый Принц, я не могу остаться, но я никогда не забуду тебя, и, когда наступит весна, я принесу тебе из Египта два драгоценных камня вместо тех, которые ты отдал. Краснее, чем красная роза, будет рубин у тебя, и сапфир голубее морской волны.

— Внизу, на площади, — сказал Счастливый Принц, — стоит маленькая девочка, которая торгует спичками. Она уронила их в канаву, они испортились, и отец ее придет, если она возвратится без денег. Она плачет. У нее ни башмаков, ни чулок, и голова у нее непокрыта. Выключи другой мой глаз, отдай его девочке, и отец не побьет ее.

— Я могу остаться с тобою еще одну ночь, — ответила Ласточка, — но выклевать твой глаз не могу. Ведь тогда ты будешь совсем слепой.

— Ласточка, Ласточка, маленькая Ласточка, — молвил Счастливый Принц, — исполни волю мою!

И она выклевала у Принца второй глаз, и подлетела к девочке, и уронила ей в руку чудесный сапфир.

— Какое красивое стеклышко! — воскликнула маленькая девочка и, смеясь, побежала домой.

Ласточка возвратилась к Принцу.

— Теперь, когда ты слепой, я останусь с тобой навеки.



— Нет, моя милая Ласточка,— ответил несчастный Принц,— ты должна отправиться в Египет.

— Я останусь с тобой навеки,— сказала Ласточка и уснула у его ног.

С утра целый день просидела она у него на плече и рассказывала ему о том, что видела в далеких краях: о розовых ибисах, которые длинной фалангой стоят на отмелях Нила и клювами вылавливают золотых рыбок; о Сфинксе, старом как мир, живущем в пустыне и знающем все; о купцах, которые медленно шествуют рядом со своими верблюдами и перебирают янтарные четки; о Царе Лунных гор, который черен, как черное дерево, и поклоняется большому осколку хрусталя; о великом Зеленом Змее, спящем в пальмовом дереве, где двадцать жрецов кормят его медовыми пряниками; о пигмеях, что плавают по озеру на плоских широких листьях и вечно сражаются с бабочками.

— Милая Ласточка,— отозвался Счастливый Принц,— все, о чем ты говоришь, удивительно. Но самое удивительное в мире — это людские страдания. Где ты найдешь им разгадку? Облети же мой город, милая Ласточка, и расскажи мне обо всем, что увидишь.

И Ласточка пролетела над всем огромным городом, и она видела, как в пышных палатах ликут богатые, а бедные сидят у их порогов. В темных закоулках побывала она и видела бледные лица истощенных детей, печально глядящих на черную улицу. Под мостом два маленьких мальчика лежали обнявшись, стараясь согреть друг друга.

— Нам хочется есть! — повторяли они.

— Здесь не полагается валяться! — кричал Полицейский.

И снова они вышли под дождь.

Ласточка возвратилась к Принцу и поведала все, что видела.

— Я весь позолоченный,— сказал Счастливый Принц.— Сними с меня золото, листок за листком, и раздай его бедным. Люди думают, что в золоте счастье.

Листок за листком Ласточка снимала со статуи золото, покуда Счастливый Принц не сделался тусклым и серым. Листок за листком раздавала она его чистое золото бедным, и детские щеки розовели, и дети начинали смеяться и затевали на улицах игры.

— А у нас есть хлеб! — кричали они.

Потом выпал снег, а за снегом пришел и мороз. Улицы засеребрились и стали сверкать; сосульки, как хрустальные

кинжалы, повисли на крышах домов; все закуталось в шубы, и мальчики в красных шапочках катались по льду на коньках.

Ласточка, бедная, зябла и мерзла, но не хотела покинуть Принца, так как очень любила его. Она украдкой подбирала у булочной крошки и хлопала крыльями, чтобы согреться. Но наконец она поняла, что настало время умирать. Только и хватало у нее силы — в последний раз взобраться Принцу на плечо.

— Прощай, милый Принц! — прошептала она. — Ты позволишь мне поцеловать твою руку?

— Я рад, что ты наконец улетаешь в Египет, — ответил Счастливый Принц. — Ты слишком долго здесь оставалась; но ты должна поцеловать меня в губы, потому что я люблю тебя.

— Не в Египет я улетаю, — ответила Ласточка. — Я улетаю в Обитель Смерти. Смерть и Сон не родные ли братья?

И она поцеловала Счастливого Принца в уста и упала мертвая к его ногам.

И в ту же минуту странный треск раздался у статуи внутри, словно что-то разорвалось. Это расколосось оловянное сердце. Воистину был жестокий мороз.

Рано утром внизу на бульваре гулял Мэр Города, а с ним Городские Советники. Проходя мимо колонны Принца, Мэр посмотрел на статую.

— Боже! Какой стал оборвыш этот Счастливый Принц! — воскликнул Мэр.

— Именно, именно оборвыш! — подхватили Городские Советники, которые всегда во всем соглашались с Мэром.

И они приблизились к статуе, чтобы осмотреть ее.

— Рубина уже нет в его шпаге, глаза его выпали, и позолота с него сошла, — продолжал Мэр. — Он хуже любого нищего!

— Именно хуже нищего! — подтвердили Городские Советники.

— А у ног его валяется какая-то мертвая птица. Нам следовало бы издать постановление: птицам здесь умирать воспрещается.

И Секретарь городского совета тотчас же занес это предложение в книгу.

И свергли статую Счастливого Принца.

— В нем уже нет красоты, а стало быть, нет и пользы! — говорил в Университете Профессор Эстетики.

И расплавили статую в горне, и созвал Мэр городской совет, и решили, что делать с металлом.

— Сделаем новую статую! — предложил Мэр.— И эта новая статуя пусть изображает меня!

— Меня! — сказал каждый советник, и все они стали ссориться.

Недавно мне довелось слышать о них: они и сейчас еще ссорятся.

— Удивительно! — сказал Главный Литейщик.— Это разбитое оловянное сердце не хочет расплавляться в печи. Мы должны выбросить его прочь.

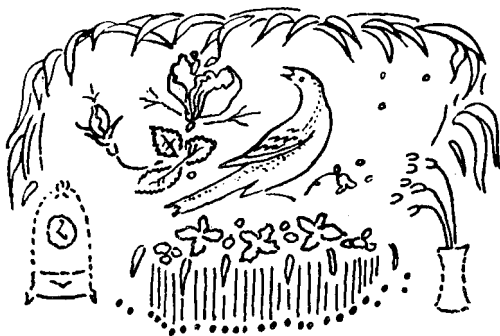
И швырнули его в кучу сора, где лежала мертвая Ласточка.

И повелел господь ангелу своему:

— Принеси мне самое ценное, что ты найдешь в этом городе.

И принес ему ангел оловянное сердце и мертвую птицу.

— Правильно ты выбрал,— сказал господь.— Ибо в моих райских садах эта малая пташка будет петь во веки веков, а в моем сияющем чертоге Счастливый Принц будет воздавать мне хвалу.



## СОЛОВЕЙ И РОЗА

— Она сказала, что будет танцевать со мной, если я принесу ей красных роз,— воскликнул молодой Студент,— но в моем саду нет ни одной красной розы.

Его услышал Соловей, в своем гнезде на Дубе, и, удивленный, выглянул из листвы.

— Ни единой красной розы во всем моем саду! — продолжал сетовать Студент, и его прекрасные глаза наполнились слезами.— Ах, от каких пустяков зависит порою счастье! Я прочел все, что написали мудрые люди, я постиг все тайны философии,— а жизнь моя разбита из-за того только, что у меня нет красной розы.

— Вот он наконец-то, настоящий влюбленный,— сказал себе Соловей.— Ночь за ночью я пел о нем, хотя и не знал его, ночь за ночью я рассказывал о нем звездам, и наконец я увидел его. Его волосы темны, как темный гиацинт, а губы его красны, как та роза, которую он ищет; но страсть сделала его лицо бледным, как слоновая кость, и скорбь наложила печать на его чело.

— Завтра вечером принц дает бал,— шептал молодой Студент,— и моя милая приглашена. Если я принесу ей красную розу, она будет танцевать со мной до рассвета. Если я принесу ей красную розу, я буду держать ее в своих объятиях, она склонит голову ко мне на плечо, и моя рука будет сжимать ее руку. Но в моем саду нет красной розы, и мне придется сидеть в одиночестве, а она пройдет мимо.

Она даже не взглянет на меня, и сердце мое разорвется от горя.

— Это настоящий влюбленный,— сказал Соловей.— То, о чем я лишь пел, он переживает на деле; что для меня радость, то для него страдание. Воистину любовь — это чудо. Она драгоценнее изумруда и дороже прекраснейшего опала. Жемчуга и гранаты не могут купить ее, и она не выставляется на рынке. Ее не приторгуешь в лавке и не выменяешь на золото.

— На хорах будут сидеть музыканты,— продолжал молодой Студент.— Они будут играть на арфах и скрипках, и моя милая будет танцевать под звуки струн. Она будет носиться по зале с такой легкостью, что ноги ее не коснутся паркета, и вокруг нее будут толпиться придворные в расшитых одеждах. Но со мной она не захочет танцевать, потому что у меня нет для нее красной розы.

И юноша упал ничком на траву, закрыл лицо руками и заплакал.

— О чем он плачет? — спросила маленькая зеленая Ящерица, которая проползала мимо него, помахивая хвостиком.

— Да, в самом деле, о чем? — подхватила Бабочка, порхавшая в погоне за солнечным лучом.

— О чем? — спросила Маргаритка нежным шепотом свою соседку.

— Он плачет о красной розе,— ответил Соловей.

— О красной розе! — воскликнули все.— Ах, как смешно!

А маленькая Ящерица, несколько склонная к цинизму, беззастенчиво расхохоталась.

Один только Соловей понимал страдания Студента, он тихо сидел на Дубе и думал о тайнстве любви.

Но вот он расправил свои темные крылышки и взвился в воздух. Он пролетел над рощей, как тень, и, как тень, пронесся над садом.

Посреди зеленой лужайки стоял пышный Розовый Куст. Соловей увидел его, подлетел к нему и спустился на одну из его веток.

— Дай мне красную розу,— воскликнул он,— и я спою тебе свою лучшую песню!

Но Розовый Куст покачал головой.

— Мои розы белые,— ответил он,— они белы, как морская пена, они белее снега на горных вершинах. Поди

к моему брату, что растет возле старых солнечных часов,— может быть, он даст тебе то, чего ты просишь.

И Соловей полетел к Розовому Кусту, что рос возле старых солнечных часов.

— Дай мне красную розу,— воскликнул он,— и я спою тебе свою лучшую песню!

Но Розовый Куст покачал головой.

— Мои розы желтые,— ответил он,— они желты, как волосы сирены, сидящей на янтарном престоле, они желтее золота на нескошенном лугу. Поди к моему брату, что растет под окном у Студента, может быть, он даст тебе то, чего ты просишь.

И Соловей полетел к Розовому Кусту, что рос под окном у Студента.

— Дай мне красную розу,— воскликнул он,— и я спою тебе свою лучшую песню!

Но Розовый Куст покачал головой.

— Мои розы красные,— ответил он,— они красны, как лапки голубя, они краснее кораллов, что колышутся, как веер, в пещерах на дне океана. Но кровь в моих жилах застыла от зимней стужи, мороз побил мои почки, буря поломала мои ветки, и в этом году у меня совсем не будет роз.

— Одну только красную розу — вот все, чего я прошу,— воскликнул Соловей.— Одну-единственную красную розу! Знаешь ты способ получить ее?

— Знаю,— ответил Розовый Куст,— но он так страшен, что у меня не хватает духу открыть его тебе.

— Открой мне его,— попросил Соловей,— я не боюсь.

— Если ты хочешь получить красную розу,— молвил Розовый Куст,— ты должен сам создать ее из звуков песни при лунном сиянии, и ты должен обагрить ее кровью сердца. Ты должен петь мне, прижавшись грудью к моему шипу. Всю ночь ты должен мне петь, и мой шип пронзит твоё сердце, и твоя живая кровь перельется в мои жилы и станет моею кровью.

— Смерть — дорогая цена за красную розу,— воскликнул Соловей.— Жизнь мила каждому! Как хорошо, сидя в лесу, любоваться солнцем в золотой колеснице и луною в колеснице из жемчуга. Сладко благоухание боярышника, милы синие колокольчики в долине и вереск, цветущий на холмах. Но Любовь дороже Жизни, и сердце какой-то пташки — ничто в сравнении с человеческим сердцем!

И, взмахнув своими темными крылышками, Соловей

взвился в воздух. Он пронесся над садом, как тень, и, как тень, пролетел над рощей.

А Студент все еще лежал в траве, где его оставил Соловей, и слезы еще не высохли в его прекрасных глазах.

— Радуйся! — крикнул ему Соловей. — Радуйся, будет у тебя красная роза. Я создам ее из звуков моей песни при лунном сиянии и обаярю ее горячей кровью своего сердца. В награду я прошу у тебя одного: будь верен своей любви, ибо, как ни мудра Философия, в Любви больше Мудрости, чем в Философии, — и как ни могущественна Власть, Любовь сильнее любой Власти. У нее крылья цвета пламени, и пламенем окрашено тело ее. Уста ее сладки, как мед, а дыхание подобно ладану.

Студент привстал на локтях и слушал, но он не понял того, что говорил ему Соловей, ибо он знал только то, что написано в книгах.

А Дуб понял и опечалился, потому что очень любил эту малую пташку, которая свила себе гнездышко в его ветвях.

— Спой мне в последний раз твою песню, — прошептал он. — Я буду сильно тосковать, когда тебя не станет.

И Соловей стал петь Дубу, и пение его напоминало журчание воды, льющейся из серебряного кувшина.

Когда Соловей кончил петь, Студент поднялся с травы, вынул из кармана карандаш и записную книжку и сказал себе, направляясь домой из рощи:

— Да, он мастер формы, это у него отнять нельзя. Но есть ли у него чувство? Боюсь, что нет. В сущности, он подобен большинству художников: много виртуозности и ни капли искренности. Он никогда не принесет себя в жертву другому. Он думает лишь о музыке, а всякий знает, что искусство эгоистично. Впрочем, нельзя не признать, что иные из его трелей удивительно красивы. Жаль только, что в них нет никакого смысла и они лишены практического значения.

И он пошел к себе в комнату, лег на узкую койку и стал думать о своей любви; вскоре он погрузился в сон.

Когда на небе засияла луна, Соловей прилетел к Розовому Кусту, сел к нему на ветку и прижался к его шипу. Всю ночь он пел, прижавшись грудью к шипу, и холодная хрустальная луна слушала, склонив свой лик. Всю ночь он пел, а шип вонзался в его грудь все глубже и глубже, и из нее по каплям сочилась теплая кровь.

Сперва он пел о том, как прокрадывается любовь в сердце мальчика и девочки. И на Розовом Кусте, на самом

верхнем побеге, начала распускаться великолепная роза. Песня за песней — лепесток за лепестком. Сперва роза была бледная, как легкий туман над рекою, — бледная, как стопы зари, и серебристая, как крылья рассвета. Отражение розы в серебряном зеркале, отражение розы в недвижной воде — вот какова была роза, расцветавшая на верхнем побеге Куста.

А Куст кричал Соловью, чтобы тот еще крепче прижался к шипу.

— Крепче прижмись ко мне, милый Соловушка, не то день придет раньше, чем заалет роза!

Все крепче и крепче прижимался Соловей к шипу, и песня его звучала все громче и громче, ибо он пел о зарождении страсти в душе мужчины и девушки.

И лепестки розы окрасились нежным румянцем, как лицо жениха, когда он целует в губы свою невесту. Но шип еще не проник в сердце Соловья, и сердце розы оставалось белым, ибо только живая кровь соловьиного сердца может обогреть сердце розы.

Опять Розовый Куст крикнул Соловью, чтобы тот крепче прижался к шипу.

— Крепче прижмись ко мне, милый Соловушка, не то день придет раньше, чем заалет роза!

Соловей еще сильнее прижался к шипу, и острое коснулось наконец его сердца, и все тело его вдруг пронзила жестокая боль. Все мучительнее и мучительнее становилась боль, все громче и громче раздавалось пенье Соловья, ибо он пел о Любви, которая обретает совершенство в Смерти, о той Любви, которая не умирает в могиле.

И стала алой великолепная роза, подобно утренней заре на востоке. Алым стал ее венчик, и алым, как рубин, стало ее сердце.

А голос Соловья все слабел и слабел, и вот крылышки его судорожно затрепыхались, а глазки заволокло туманом. Песня его замирала, и он чувствовал, как что-то сжимает его горло.

Но вот он испустил свою последнюю трель. Бледная луна услышала ее и, забыв о рассвете, застыла на небе. Красная роза услышала ее и, вся затрепетав в экстазе, раскрыла свои лепестки навстречу прохладному дуновению утра. Эхо понесло эту трель к своей багряной пещере в горах и разбудило спавших там пастухов. Трель прокатилась по речным камышам, и те отдали ее морю.

— Смотри! — воскликнул Куст. — Роза стала красной!



Но Соловей ничего не ответил. Он лежал мертвый в высокой траве, и в сердце у него был острый шип.

В полдень Студент распахнул окно и выглянул в сад.

— Ах, какое счастье! — воскликнул он. — Вот она, красная роза. В жизни не видал такой красивой розы! У нее, наверное, какое-нибудь длинное латинское название.

И он высунулся из окна и сорвал ее.

Потом он взял шляпу и побежал к Профессору, держа розу в руках.

Профессорская дочь сидела у порога и наматывала голубой шелк на катушку. Маленькая собачка лежала у нее в ногах.

— Вы обещали, что будете со мной танцевать, если я принесу вам красную розу! — воскликнул Студент. — Вот самая красная роза на свете. Приколите ее вечером поближе к сердцу, и, когда мы будем танцевать, она расскажет вам, как я люблю вас.

Но девушка нахмурилась.

— Боюсь, что эта роза не подойдет к моему туалету, — ответила она. — К тому же племянник камергера прислал мне настоящие каменья, а всякому известно, что каменья куда дороже цветов.

— Как вы неблагоприятны! — с горечью сказал Студент и бросил розу на землю.

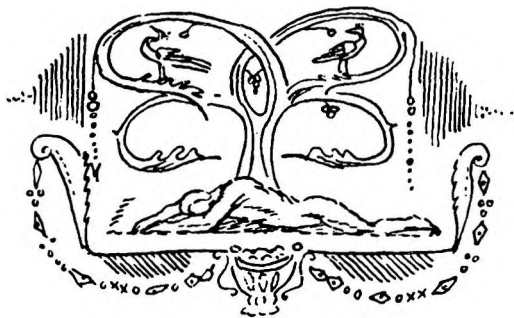
Роза упала в колею, и ее раздавило колесом телеги.

— Неблагодарна? — повторила девушка. — Право же, какой вы грубиян! Да и кто вы такой, в конце концов? Всего-навсего студент. Не думаю, чтоб у вас были такие серебряные пряжки к туфлям, как у камергерова племянника.

И она встала с кресла и ушла в комнаты.

— Какая глупость — эта Любовь, — размышлял Студент, возвращаясь домой. — В ней и наполовину нет той пользы, какая есть в Логике. Она ничего не доказывает, всегда обещает несбыточное и заставляет верить в невозможное. Она удивительно непрактична, а так как наш век — век практический, то вернусь я лучше к Философии и буду изучать Метафизику.

И он вернулся к себе в комнату, вытащил большую запыленную книгу и принялся ее читать.



## ВЕЛИКАН-ЭГОИСТ

Каждый день, возвращаясь из школы, дети, как повелось, заходили в сад Великана поиграть. Это был большой красивый сад, и трава там была зеленая и мягкая. Из травы тут и там, словно звезды, выглядывали венчики прекрасных цветов, а двенадцать персиковых деревьев, которые росли в этом саду, весной покрывались нежным жемчужно-розовым цветом, а осенью приносили сочные плоды. На деревьях сидели птицы и пели так сладко, что дети бросали игры, чтобы послушать их пение.

— Как хорошо нам здесь! — радостно кричали дети друг другу.

Но вот однажды Великан вернулся домой. Он навещал своего приятеля — корнуэльского Великана-людоеда и пробыл у него в гостях семь лет. За семь лет он успел поговорить обо всем, о чем ему хотелось поговорить, ибо был не слишком словоохотлив, после чего решил возвратиться в свой замок, а возвратившись, увидел детей, которые играли у него в саду.

— Что вы тут делаете? — закричал он страшным голосом, и дети разбежались.

— Мой сад — это мой сад, — сказал Великан, — и каждому это должно быть ясно, и, уж конечно, нико-

му, кроме самого себя, я не позволю здесь играть. И он обнес свой сад высокой стеной и прибил объявление:

ВХОД ВОСПРЕЩЕН.  
НАРУШИТЕЛИ БУДУТ НАКАЗАНЫ.

Он был большим эгоистом, этот Великан.

Бедным детям теперь негде было играть. Они попробовали поиграть на дороге, но там оказалось очень много острых камней и пыли, и им не понравилось там играть. Теперь после школы они обычно бродили вокруг высокой стены и вспоминали прекрасный сад, который за ней скрывался.

— Как хорошо нам было там,— говорили они друг другу.

А потом пришла Весна, и повсюду на деревьях появились маленькие почки и маленькие птички, и только в саду Великана-эгоиста по-прежнему была Зима. Птицы не хотели распевать там своих песен, потому что в саду не было детей, а деревья забыли, что им пора цвести. Как-то раз один хорошенький цветочек выглянул из травы, но увидел объявление и так огорчился за детей, что тут же спрятался обратно в землю и заснул. Только Снегу и Морозу все это очень пришлось по душе.

— Весна позабыла прийти в этот сад,— воскликнули они,— и мы теперь будем царить здесь круглый год!

Снег покрыл траву своим толстым белым плащом, а Мороз расписал все деревья серебряной краской. После этого Снег и Мороз пригласили к себе в гости Северный Ветер, и он прилетел. С головы до пят он был закутан в меха и целый день бушевал в саду и завывал в печной трубе.

— Какое восхитительное местечко! — сказал Северный Ветер.— Мы должны пригласить в гости Град.

И тогда явился и Град. Изю дня в день он часами стучал по кровле замка, пока не перебил почти всей черепицы, а потом что было мочи носился по саду. На нем были серые одежды, а дыхание его было ледяным.

— Не понимаю, почему так запаздывает Весна, пора бы уж ей прийти,— сказал Великан-эгоист, сидя у окна и поглядывая на свой холодный, белый сад.— Надеюсь, погода скоро переменится.

Но Весна так и не пришла, не пришло и Лето. Осень принесла золотые плоды в каждый сад, но даже не заглянула в сад Великана.

— Он слишком большой эгоист, — сказала Осень. И в саду Великана всегда была Зима, и только Северный Ветер да Снег, Град и Мороз плясали и кружились между деревьев.

Однажды Великан, проснувшись в своей постели, услышал нежную музыку. Эта музыка показалась ему такой сладостной, что он подумал, не идут ли мимо его замка королевские музыканты. На самом-то деле это была всего лишь маленькая коноплянка, которая запела у него под окном, но Великан так давно не слышал пения птиц в своем саду, что щебет коноплянки показался ему самой прекрасной музыкой на свете. И тут Град перестал выплывать у него над головой, и Северный Ветер прекратил свои завывания, а в приотворенное окно долетел восхитительный аромат.

— Должно быть, Весна все-таки пришла наконец, — сказал Великан, выскочил из постели и глянул в окно.

И что же он увидел?

Он увидел совершенно необычайную картину. Дети проникли в сад сквозь небольшое отверстие в стене и залезли на деревья. Они сидели на всех деревьях. Куда бы Великан не бросил взгляд — на каждом дереве он видел какого-нибудь ребенка. И деревья были так рады их возвращению, что сразу зацвели и стояли, тихонько покачивая ветвями над головками детей. А птицы порхали по саду и щебетали от восторга, и цветы выглядывали из зеленой травы и улыбались. Это было очаровательное зрелище, и только в одном углу сада все еще стояла Зима. Это был самый укромный уголок, и Великан увидел там маленького мальчика. Он был так мал, что не мог дотянуться до ветвей дерева и только ходил вокруг него и горько плакал. И бедное деревце было все до самой верхушки еще покрыто инеем и снегом, а над ним кружился и завывал Северный Ветер.

— Взберись на меня, мальчик! — сказала Дерево и склонило ветви почти до самой земли.

Но мальчик не мог дотянуться до них — он был слишком мал.

И сердце Великана растаяло, когда он глядел в окно.

— Какой же я был эгоист! — сказал он. — Теперь я знаю, почему Весна не хотела прийти в мой сад. Я посажу этого маленького мальчика на верхушку дерева и сломаю ствол, и мой сад на веки вечные станет местом детских игр. Он и в самом деле был очень расстроен тем, что натворил.

И вот он на цыпочках спустился по лестнице, тихонько отомкнул парадную дверь своего замка и вышел в сад.

Но как только дети увидели Великана, они так испугались, что тут же бросились врассыпную, и в сад снова пришла Зима. Не убежал один только маленький мальчик, потому что глаза его были полны слез, и он даже не заметил появления Великана. А Великан тихонько подкрался к нему сзади, осторожно поднял с земли и посадил на дерево. И дерево тотчас зацвело, и к нему слетелись птицы и запели песни, порхая с ветки на ветку, а маленький мальчик обхватил Великана руками за шею и поцеловал. И тогда другие дети, увидав, что Великан перестал быть злым, прибежали обратно, а вместе с ними возвратилась и Весна.

— Теперь этот сад ваш, дети, — сказал Великан и взял большой топор и снес стену.

И жители, направляясь в полдень на рынок, видели Великана, который играл с детьми в самом прекрасном саду, какой только есть на свете.

Весь день дети играли в саду, а вечером они подошли к Великану, чтобы пожелать ему доброй ночи.

— А где же ваш маленький приятель? — спросил Великан. — Мальчик, которого я посадил на дерево? — Он особенно пришелся по душе Великану, потому что поцеловал его.

— Мы не знаем, — отвечали дети. — Он куда-то ушел.

— Непременно передайте ему, чтобы он не забыл прийти сюда завтра, — сказал Великан.

Но дети отвечали, что они не знают, где живет этот мальчик, так как ни разу не видели его раньше, и тогда Великан очень опечалился.

Каждый день после уроков дети приходили поиграть с Великаном, но маленький мальчик, который так полюбился Великану, ни разу больше не пришел в сад. Великан был теперь очень добр ко всем детям, но тосковал о своем маленьком друге и часто о нем вспоминал.

— Как бы мне хотелось повидать его! — то и дело говорил Великан.

Год проходил за годом, и Великан состарился и одряхлел. Он уже не мог больше играть в саду и только сидел в глубоком кресле, смотрел на детей и на их игры да любовался своим садом.

— У меня много прекрасных цветов, — говорил он, — но нет на свете цветов прекраснее, чем дети.

Как-то раз зимним утром Великан, одеваясь, взглянул в окно. Он теперь не испытывал неприязни к Зиме, — ведь он знал, что Весна просто уснула, а цветы отдыхают.

И вдруг он стал тереть глаза и все смотрел и смотрел в окно, словно увидел чудо. А глазам его и вправду открылось волшебное зрелище. В самом укромном уголке сада стояло дерево, сплошь покрытое восхитительным белым цветом. Ветви его были из чистого золота, и на них висели серебряные плоды, а под деревом стоял маленький мальчик, который когда-то так полюбился Великану.

Не помня себя от радости, побежал Великан вниз по лестнице и ринулся в сад. Быстрым шагом прошел он по траве прямо к ребенку. Но когда он подошел совсем близко, лицо его побагровело от гнева, и он спросил:

— Кто посмел нанести тебе эти раны?

Ибо на ладонях мальчика он увидел раны от двух гвоздей, и на детских его ступнях были раны от двух гвоздей тоже.

— Кто посмел нанести тебе эти раны? — вскричал Великан. — Скажи мне, и я возьму мой большой меч и поражу виновного.

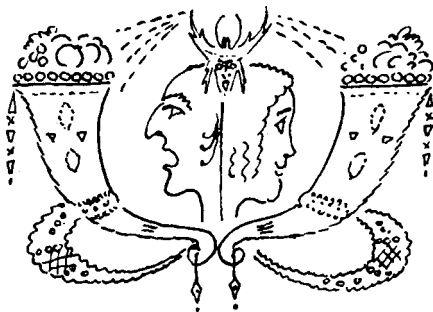
— Нет! — ответствовало дитя. — Ведь эти раны породила Любовь.

— Скажи — кто ты? — спросил Великан, и благоговейный страх обуял его, и он пал перед ребенком на колени.

А дитя улыбнулось Великану и сказало:

— Однажды ты позволил мне поиграть в твоём саду, а сегодня я поведу тебя в свой сад, который зовется Раем.

И на другой день, когда дети прибежали в сад, они нашли Великана мертвым: он лежал под деревом, которое было все осыпано белым цветом.



## ПРЕДАННЫЙ ДРУГ

Однажды утром старая Водяная Крыса высунула голову из своей норы. Глаза у нее были как блестящие бусинки, усы серые и жесткие, а черный хвост ее походил на длинный резиновый шнур. Маленькие утята плавали в пруду, желтые, точно канарейки, а их мать, белая-пребелая, с ярко-красными лапами, старалась научить их стоять в воде вниз головой.

— Если вы не научитесь стоять на голове, вас никогда не примут в хорошее общество, — приговаривала она и время от времени показывала им, как это делается.

Но утята даже не глядели на нее. Они были еще слишком малы, чтобы понять, как важно быть принятым в обществе.

— Какие непослушные дети! — воскликнула Водяная Крыса. — Право, их стоит утопить.

— Отнюдь нет, — возразила Утка. — Всякое начало трудно, и родителям надлежит быть терпеливыми.

— Ах, мне родительские чувства неведомы, — сказала Водяная Крыса, — у меня нет семьи. Замужем я не была, да и выходить не собираюсь. Любовь, конечно, вещь по-своему хорошая, но дружба куда возвышеннее. Право же, ничего нет на свете прелестнее и возвышеннее преданной дружбы.

— А что, по-вашему, следует требовать от преданного друга? — заинтересовалась зелененькая Коноплянка, сидевшая на соседней иве и слышавшая весь этот разговор.

— Вот-вот, что именно? Меня это ужасно интересует, — сказала Утка, а сама отплыла на другой конец пруда и пе-

ревернулась там вниз головой, чтобы подать добрый пример своим детям.

— Что за глупый вопрос! — воскликнула Водяная Крыса. — Конечно же, преданный друг должен быть мне предан.

— Ну а вы что предложили бы ему взамен? — спросила птичка, покачиваясь на серебристой веточке и взмахивая крохотными крылышками.

— Я вас не понимаю, — ответила Водяная Крыса.

— Позвольте рассказать вам по этому поводу одну историю, — сказала Коноплянка.

— Обо мне? — спросила Водяная Крыса. — Если да, то я охотно послушаю: я ужасно люблю изящную словесность.

— Моя история применима и к вам, — ответила Коноплянка и, спорхнув с ветки, опустилась на берег и принялась рассказывать историю о Преданном Друге.

— Жил-был когда-то в этих краях, — начала Коноплянка, — славный паренек по имени Ганс.

— Он был человек выдающийся? — спросила Водяная Крыса.

— Нет, — ответила Коноплянка, — по-моему, он ничем таким не отличался, разве что добрым сердцем и забавным круглым веселым лицом. Жил он один-одинешенек в своей маленькой избушке и день-деньской копался у себя в саду. Во всей округе не было такого прелестного садика. Тут росли и турецкая гвоздика, и левкой, и пастушья сумка, и садовые лютики. Были тут розы — алые и желтые, крокусы — сиреневые и золотистые, фиалки — лиловые и белые. Водосбор и луговой сердечник, майоран и дикий базилик, первоцвет и касатик, нарцисс и красная гвоздика распускались и цвели каждый своим чередом. Месяцы сменяли один другой, и одни цветы сменялись другими, и всегда его сад радовал взор и напоен был сладкими ароматами.

У Маленького Ганса было множество друзей, но самым преданным из всех был Большой Гью-Мельник. Да, богатый Мельник так был предан Маленькому Гансу, что всякий раз, как проходил мимо его сада, перевешивался через забор и набирал букет цветов или охапку душистых трав или, если наступала пора плодов, набивал карманы сливами и вишнями.

«У настоящих друзей все должно быть общее», — говаривал Мельник, а Маленький Ганс улыбался и кивал головой: он очень гордился, что у него есть друг с такими благородными взглядами.

Правда, соседи иногда удивлялись, почему богатый Мельник, у которого шесть дойных коров и целое стадо



длинношерстных овец, а на мельнице сотня мешков с мукой, никогда ничем не отблагодарит Ганса. Но Маленький Ганс ни над чем таким не задумывался и не ведал большего счастья, чем слушать замечательные речи Мельника о самоотверженности истинной дружбы.

Итак, Маленький Ганс все трудился в своем саду. Весною, летом и осенью он не знал горя. Но зимой, когда у него не было ни цветов, ни плодов, которые можно было отнести на базар, он терпел холод и голод и частенько ложился в постель без ужина, удовлетвовавшись несколькими сушеными грушами или горсточкой твердых орехов. К тому же зимой он бывал очень одинок — в эту пору Мельник никогда не навещал его.

«Мне не следует навещать Маленького Ганса, пока не стает снег,— говорил Мельник своей жене.— Когда человеку приходится тужо, его лучше оставить в покое и не докучать ему своими посещениями. Так, по крайней мере, я понимаю дружбу, и я уверен, что прав. Подожду до весны и тогда загляну к нему. Он наполнит мою корзину первоцветом, и это доставит ему такую радость!»

«Ты всегда думаешь о других,— отозвалась жена, сидевшая в покойном кресле у камина, где ярко пылали сосновые поленья,— только о других! Просто наслаждение слушать, как ты рассуждаешь о дружбе! Наш священник и тот, по-моему, не умеет так красно говорить, хоть и живет в трехэтажном доме и носит на мизинце золотое кольцо».

«А нельзя ли пригласить Маленького Ганса сюда? — спросил Мельника его младший сынишка.— Если бедному Гансу плохо, я поделюсь с ним кашей и покажу ему своих белых кроликов».

«До чего же ты глуп! — воскликнул Мельник.— Право, не знаю, стоит ли посылать тебя в школу. Все равно ничему не научишься. Ведь если бы Ганс пришел к нам и увидел наш теплый очаг, добрый ужин и славный бочонок красного вина, он, чего доброго, позавидовал бы нам, а на свете нет ничего хуже зависти, она любого испортит. А я никак не хочу, чтобы Ганс стал хуже. Я ему друг и всегда буду печься о нем и следить, чтобы он не подвергался соблазнам. К тому же, если б Ганс пришел сюда, он, чего доброго, попросил бы меня дать ему в долг немного муки, а я не могу этого сделать. Мука — одно, а дружба — другое, и нечего их смешивать. Эти слова и пишутся по-разному и означают разное. Каждому ясно».

«До чего же хорошо ты говоришь! — промолвила жена

Мельника, наливая себе большую кружку подогретого эля.— Я даже чуть не задремала. Ну точно как в церкви!»

«Многие хорошо поступают,— отвечал Мельник,— но мало кто умеет хорошо говорить. Значит, говорить куда труднее, а потому и много достойнее».

И он через стол строго глянул на своего сынишку, который до того застыдился, что опустил голову, весь покраснел, и слезы его закапали прямо в чай. Но не подумайте о нем дурно — он был еще так мал!

— Тут и конец вашей истории? — осведомилась Водяная Крыса.

— Что вы! — ответила Коноплянка.— Это только начало.

— Видно, вы совсем отстали от века,— заметила Водяная Крыса.— Нынче каждый порядочный рассказчик начинает с конца, потом переходит к началу и кончает серединой. Это самая новая метода. Так сказывал один критик, который гулял на днях возле нашего пруда с каким-то молодым человеком. Он долго рассуждал на эту тему и, бесспорно, был прав, потому что у него была лысая голова и синие очки на носу, и стоило только юноше что-нибудь возразить, как он кричал ему: «Гиль!» Но, прошу вас, рассказывайте дальше. Мне ужасно нравится Мельник. Я сама преисполнена возвышенных чувств и прекрасно его понимаю!

— Итак,— продолжала Коноплянка, прыгая с ноги на ногу,— едва миновала зима и первоцвет раскрыл свои бледно-желтые звездочки, Мельник объявил жене, что идет проведать Маленького Ганса.

«У тебя золотое сердце! — воскликнула жена.— Ты всегда думаешь о других. Не забудь, кстати, захватить с собою корзину для цветов».

Мельник привязал крылья ветряной мельницы тяжелой железной цепью к скобе и спустился с холма с пустою корзиной в руках.

«Здравствуй, Маленький Ганс»,— сказал Мельник.

«Здравствуйте»,— отвечал Маленький Ганс, опираясь на лопату и улыбаясь во весь рот.

«Ну, как ты провел зиму?» — спросил Мельник.

«До чего же любезно, что вы меня об этом спрашиваете! — воскликнул Маленький Ганс.— Признаться, мне подчас приходилось тужо. Но весна наступила. Теперь и мне хорошо, и моим цветочкам».

«А мы зимой частенько вспоминали о тебе, Ганс,— молвил Мельник,— все думали, как ты там».

«Это было очень мило с вашей стороны,— ответил Ганс.— А я уж начал бояться, что вы меня забыли».

«Ты меня удивляешь, Ганс,— сказал Мельник,— друзей не забывают. Тем и замечательна дружба. Но ты, боюсь, не способен оценить всю поэзию жизни. Кстати, как хороши твои первоцветы!»

«Они и в самом деле удивительно хороши,— согласился Ганс.— Мне повезло, что их столько уродилось. Я отнесу их на базар, продам дочери бургомистра и на эти деньги выкуплю свою тачку».

«Выкупишь? Уж не хочешь ли ты сказать, что заложил ее? Вот глупо!»

«Что поделаешь,— ответил Ганс,— нужда. Зимой, видите ли, мне пришлось несладко, время уж такое — не на что было даже хлеба купить. Вот я и заложил сперва серебряные пуговицы с воскресной куртки, потом серебряную цепочку, потом свою большую трубку и, наконец, тачку. Но теперь я все это выкупаю».

«Ганс,— сказал Мельник,— я подарю тебе свою тачку. правда, она немного не в порядке. У нее, кажется, не хватает одного борта и со спицами что-то не ладно, но я все-таки подарю тебе. Я понимаю, как я щедр, и многие скажут, что я делаю ужасную глупость, расставаясь с тачкой, но я не такой, как все. Без щедрости, по-моему, нет дружбы, да к тому же я купил себе новую тачку. Так что ты теперь о тачке не беспокойся. Я подарю тебе свою».

«Вы и вправду очень щедры! — отозвался Маленький Ганс, и его забавное круглое лицо прямо засияло от радости.— У меня есть доска, и я без труда ее починю».

«У тебя есть доска! — воскликнул Мельник.— А я как раз ищу доску, чтобы починить крышу на амбаре. Там большая дыра, и, если я ее не заделаю, у меня все зерно отсыреет. Хорошо, что ты вспомнил про доску! Просто удивительно, как одно доброе дело порождает другое. Я подарил тебе свою тачку, а ты решил подарить мне доску. Правда, тачка много дороже, но истинные друзья на это не смотрят. Достань-ка ее поскорее, и я сегодня же примусь за работу».

«Сию минуту!» — воскликнул Ганс, и он тут же побежал в сарай и притащил доску.

«Да, невелика доска, невелика,— заметил Мельник, осматривая ее.— Боюсь, что, когда я починю крышу, на тачку ничего не останется. Но это уж не моя вина. А теперь, раз я подарил тебе тачку, ты, наверно, захочешь подарить

мне побольше цветов. Вот корзина, наполни ее до самого верха».

«До самого верха?» — с грустью переспросил Ганс. Корзина была очень большая, и он увидел, что, если наполнить ее доверху, не с чем будет идти на рынок, а ему так хотелось выкупить свои серебряные пуговицы.

«Ну, знаешь ли, — отозвался Мельник, — я подарил тебе тачку и думал, что могу попросить у тебя немного цветочков. Я считал, что настоящая дружба свободна от всякого расчета. Значит, я ошибся».

«Дорогой мой друг, лучший мой друг! — воскликнул Маленький Ганс. — Забирайте хоть все цветы из моего сада! Ваше доброе мнение для меня гораздо важнее каких-то там серебряных пуговиц».

И он побежал и срезал все свои дивные первоцветы и наполнил ими корзину для Мельника.

«До свидания, Маленький Ганс!» — сказал Мельник и пошел на свой холм с доской на плече и большой корзиной в руках.

«До свидания!» — ответил Маленький Ганс и принялся весело работать лопатой: он очень радовался тачке.

На другой день, когда Маленький Ганс прибывал побеги жимолости над своим крылечком, он вдруг услышал голос окликавшего его Мельника. Он спрыгнул с лесенки, подбежал к забору и выглянул на дорогу.

Там стоял Мельник с большим мешком муки на спине.

«Милый Ганс, — сказал Мельник, — не снесешь ли ты на базар этот мешок с мукой?»

«Ах, мне так жаль, — ответил Ганс, — но я, право, очень занят сегодня. Мне нужно поднять все вьюнки, полить цветы и подстричь траву».

«Это не по-дружески, — сказал Мельник. — Я собираюсь подарить тебе тачку, а ты отказываешься мне помочь».

«О, не говорите так! — воскликнул Маленький Ганс. — Я ни за что на свете не хотел поступить не по-дружески».

И он сбегал в дом за шапкой и поплелся на базар с большим мешком на плечах.

День был очень жаркий, дорога пыльная, и Ганс, не дойдя еще до шестого милевого камня, так утомился, что присел отдохнуть. Собравшись с силами, он двинулся дальше и наконец добрался до базара. Скоро он продал муку за хорошие деньги и тут же пустился в обратный путь, потому что боялся повстречаться с разбойниками, если слишком замешкается.

«Трудный нынче выдался денек,— сказал себе Ганс, укладываясь в постель.— Но все же я рад, что не отказал Мельнику. Как-никак он мой лучший друг и к тому же обещал подарить мне свою тачку».

На следующий день Мельник спозаранку явился за своими деньгами, но Маленький Ганс так устал, что был еще в постели.

«До чего ж ты, однако, ленив,— сказал Мельник.— Я ведь собираюсь отдать тебе свою тачку, и ты, думаю, мог бы работать поусерднее. Нерадивость — большой порок, и мне б не хотелось иметь другом бездельника и лентяя. Не обижайся, что я с тобой так откровенен. Мне б и в голову не пришло так с тобой разговаривать, не будь я твоим другом. Что проку в дружбе, если нельзя сказать все, что думаешь? Болтать разные приятности, льстить и поддакивать может всякий, но истинный друг говорит только самое неприятное и никогда не постоит за тем, чтобы доставить тебе огорчение. Друг всегда предпочтет досадить тебе, ибо знает, что тем самым творит добро».

«Не сердитесь,— сказал Маленький Ганс, протирая глаза и снимая ночной колпак,— но я так вчера устал, что мне захотелось понежиться в постели и послушать пение птиц. Я, право же, всегда лучше работаю, когда слушаю пение птиц».

«Что ж, если так, я рад,— ответил Мельник, похлопывая Ганса по спине,— я ведь пришел сказать тебе, чтоб ты, как встанешь, отправлялся на мельницу починить крышу на моем амбаре».

Бедному Гансу очень хотелось поработать в саду — ведь он уже третий день не поливал своих цветов,— но ему неловко было отказать Мельнику, который был ему таким добрым другом.

«А это будет очень не по-дружески, если я скажу, что мне некогда?» — спросил он робким, нерешительным голосом.

«Разумеется,— отозвался Мельник.— Я, мне кажется, прошу у тебя не слишком много, особенно если припомнить, что я намерен подарить тебе свою тачку. Но раз ты не хочешь, я пойду и сам почию».

«Что вы, как можно!» — воскликнул Ганс и, мигом вскочив с постели, оделся и пошел чинить амбар.

Ганс трудился до самого заката, а на закате Мельник пришел взглянуть, как идет у него работа.

«Ну что, Ганс, как моя крыша?» — крикнул он весело.

«Готова!» — ответил Ганс и спустился с лестницы.

«Ах, нет работы приятнее той, которую мы делаем для других», — сказал Мельник.

«Что за наслаждение слушать вас, — ответил Ганс, присаживаясь и отирая пот со лба. — Великое наслаждение! Только, боюсь, у меня никогда не будет таких возвышенных мыслей, как у вас».

«О, это придет! — ответил Мельник. — Нужно лишь постараться. До сих пор ты знал только практику дружбы, когда-нибудь овладеешь и теорией».

«Вы правда так думаете?» — спросил Ганс.

«И не сомневаюсь, — ответил Мельник. — Но крыша теперь в порядке, и тебе пора домой. Отдохни хорошенько, потому что завтра тебе надо будет отвести моих овец в горы».

Бедный Маленький Ганс не решился что-нибудь возразить и наутро, когда Мельник пригнал к его домику своих овец, отправился с ними в горы. Целый день у него пошел на то, чтобы отогнать овец на пастбище и пригнать обратно, и он вернулся домой такой усталый, что заснул прямо в кресле и проснулся уже при ярком свете дня.

«Ну, сегодня я на славу потружусь в своем садике!» — сказал он и тотчас принялся за работу.

Но как-то все время выходило, что ему не удавалось заняться своими цветами. Его друг Мельник то и дело являлся к нему и отсылал его куда-нибудь с поручением или уводил с собою помочь на мельнице. Порой Маленький Ганс приходил в отчаяние и начинал бояться, как бы цветочки не решили, что он совсем позабыл о них, но он утешал себя мыслью, что Мельник — его лучший друг. «К тому же он собирается подарить мне тачку, — добавлял он в подобных случаях, — а это удивительная щедрость с его стороны».

Так и работал Маленький Ганс на Мельника, а тот говорил красивые слова о дружбе, которые Ганс записывал в тетрадочку и перечитывал по ночам, потому что он был очень прилежный ученик.

И вот однажды вечером, когда Маленький Ганс сидел у своего камелька, раздался сильный стук в дверь. Ночь была бурная, и ветер так страшно завывал и ревел вокруг, что Ганс поначалу принял этот стук за шум бури. Но в дверь снова постучали, а потом и в третий раз, еще громче.

«Верно, какой-нибудь несчастный путник», — сказал себе Ганс и бросился к двери.

На пороге стоял Мельник с фонарем в одной руке и толстой палкой в другой.

«Милый Ганс! — воскликнул Мельник. — У меня большая беда. Мой сынишка упал с лестницы и расшибся, и я иду за Доктором. Но Доктор живет так далеко, а ночь такая непогожая, что мне подумалось: не лучше ли тебе сходить за Доктором вместо меня. Я ведь собираюсь подарить тебе тачку, и ты, по справедливости, должен отплатить мне услугой за услугу».

«Ну конечно! — воскликнул Маленький Ганс. — Это такая честь, что вы пришли прямо ко мне! Я сейчас же побегу за Доктором. Только одолжите мне фонарь. На дворе очень темно, и я боюсь свалиться в канаву».

«Я бы с удовольствием, — ответил Мельник, — но фонарь у меня новый, и вдруг с ним что-нибудь случится?»

«Ну ничего, обойдусь и без фонаря!» — воскликнул Маленький Ганс. Он закутался в большую шубу, надел на голову теплую красную шапочку, повязал шею шарфом и двинулся в путь.

Какая была ужасная буря! Темень стояла такая, что Маленький Ганс почти ничего не видел перед собой, а ветер налетал с такой силой, что Ганс едва держался на ногах. Но мужество не покидало его, и часа через три он добрался до дома, в котором жил Доктор, и постучался в дверь.

«Кто там?» — спросил Доктор, высовываясь из окна спальни.

«Это я, Доктор, — Маленький Ганс».

«А что у тебя за дело ко мне, Маленький Ганс?»

«Сынишка Мельника упал с лестницы и расшибся, и Мельник просит вас поскорее приехать».

«Ладно!» — ответил Доктор, велел подать лошадь, сапоги и фонарь, вышел из дому и поехал к Мельнику, а Ганс потащился за ним следом.

Ветер все крепчал, дождь лил как из ведра. Маленький Ганс не поспевал за лошадью и брел наугад. Он сбился с дороги и попал в очень опасное болото, где на каждом шагу были глубокие топи. Там бедный Ганс и утонул.

На другой день пастухи нашли Маленького Ганса в большой яме, залитой водою, и отнесли его тело к нему домой.

Все пришли на похороны Маленького Ганса, потому что все его любили. Но больше всех горевал Мельник.

«Я был его лучшим другом, — говорил он, — и, по справедливости, я должен идти первым».

И он шел во главе погребальной процессии, в длинном черном плаще, и время от времени вытирал глаза большим платком.

«Смерть Маленького Ганса — большая утрата для всех нас», — сказал Кузнец, когда после похорон все собрались в уютном трактире и попивали там душистое вино, закусывая его сладкими пирожками.

«Во всяком случае, для меня, — отозвался Мельник. — Я ведь уже, можно считать, подарил ему свою тачку и теперь ума не приложу, что мне с ней делать: дома она только место занимает, а продать — так ничего не дадут, до того она изломана. Впредь буду осмотрительнее. Теперь у меня никто ничего не получит. Щедрость всегда человеку во вред».

— Ну, а дальше? — спросила, помолчав, Водяная Крыса.

— Это все, — ответила Коноплянка.

— А что случилось с Мельником?

— Понятия не имею, — ответила Коноплянка. — Да мне, признаться, и не интересно.

— Оно и видно, что вы существо черствое, — заметила Водяная Крыса.

— Боюсь, что мораль этого рассказа будет вам неясна, — обронила Коноплянка.

— Что будет неясно? — переспросила Водяная Крыса.

— Мораль.

— Ах, так в этом рассказе есть мораль?

— Разумеется, — ответила Коноплянка.

— Однако же, — промолвила Водяная Крыса в крайнем раздражении. — По-моему, вам следовало сказать мне об этом наперед. Тогда я просто не стала бы вас слушать. Крикнула бы «Гиль!», как тот критик, и все. А впрочем, и теперь не поздно.

И она во всю глотку завопила: «Гиль!», взмахнула хвостом и спряталась в нору.

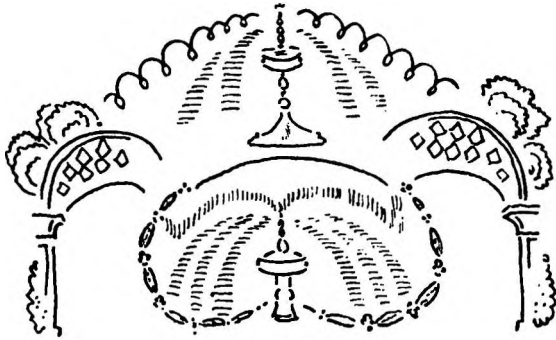
— Скажите, а как вам нравится эта Водяная Крыса? — осведомилась Утка, приплывая обратно. — У нее, конечно, много хороших качеств, но во мне так сильно материнское чувство, что стоит мне увидеть убежденную старую деву, как у меня слезы навертываются на глаза.

— Боюсь, она на меня обиделась, — ответила Коноплянка. — Понимаете, я рассказала ей историю с моралью.

— Что вы, это опасное дело! — сказала Утка.

И я с ней вполне согласен.





## ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ РАКЕТА

Королевский сын намерен был сочетаться браком, и по этому поводу ликовал и стар и млад. Приезда своей невесты Принц дождался целый год, и вот наконец она прибыла. Это была русская Принцесса, и весь путь от самой Финляндии она проделала в саних, запряженных шестеркой оленей. Сани были из чистого золота и имели форму лебедя, а меж крыльев лебедя возлежала маленькая Принцесса. Она была закутана до самых пят в длинную горностаевую мантию, голову ее покрывала крошечная шапочка из серебряной ткани, и Принцесса была бела, как снежный дворец, в котором она жила у себя на родине. Так бледно было ее лицо, что весь народ дивился, глядя на нее, когда она проезжала по улицам.

— Она похожа на Белую розу! — восклицали все и осыпали ее цветами с балконов.

Принц вышел к воротам замка, чтобы встретить невесту. У него были мечтательные фиалковые глаза и волосы как чистое золото. Увидав Принцессу, он опустился на одно колено и поцеловал ей руку.

— Ваш портрет прекрасен, — прошептал он, — но вы прекраснее во сто крат!

И щеки маленькой Принцессы заалели.

— Она была похожа на Белую розу, — сказал молодой Паж кому-то из придворных, — но теперь она подобна Алой розе.

И это привело в восхищение весь двор. Три дня кряду все ходили и восклицали:

— Белая роза, Алая роза, Алая роза, Белая роза,— и Король отдал приказ, чтобы Пажу удвоили жалованье.

Так как Паж не получал никакого жалованья вовсе, то пользы от этого ему было мало, но зато очень много чести, и потому об этом было своевременно оповещено в Придворной Газете.

По прошествии трех дней отпраздновали свадьбу. Это была величественная церемония: жених с невестой, держась за руки, стояли под балдахином из пунцового бархата, расшитого мелким жемчугом, а потом был устроен пир на весь мир, который длился пять часов. Принц и Принцесса сидели во главе стола в Большом зале и пили из прозрачной хрустальной чаши. Только истинные влюбленные могли пить из этой чаши, ибо стоило лживым устам прикоснуться к ней, как хрусталь становился тусклым, мутным и серым.

— Совершенно ясно, что они любят друг друга,— сказал маленький Паж.— Это так же ясно, как ясен хрусталь этой чаши!

И Король вторично удвоил ему жалованье.

— Какой почет! — хором воскликнули придворные.

\* \* \*

После пира состоялся бал. Жениху и невесте предстояло протанцевать Танец розы, а Король вызвался поиграть на флейте. Он играл из рук вон плохо, но никто ни разу не осмелился сказать ему это, потому что он был Король. В сущности, он знал только две песенки и никогда не был уверен, какую именно исполняет, но это не имело ни малейшего значения, так как, что бы он ни делал, все восклицали:

— Восхитительно! Восхитительно!

\* \* \*

Программа празднеств должна была закончиться грандиозным фейерверком, которому надлежало состояться ровно в полночь. Маленькая Принцесса еще никогда в жизни не видала фейерверка, и поэтому Король отдал приказ, чтобы Королевский пиротехник самолично занялся фейерверком в день свадьбы.

— Фейерверк? А на что это похоже? — спросила

Принцесса у своего жениха, прогуливаясь утром по террасе.

— Это похоже на Северное Сияние — сказал Король, который всегда отвечал на все вопросы, адресованные к другим лицам, — только гораздо натуральнее. Фейерверк так же прекрасен, как моя игра на флейте, и я лично предпочитаю его огни звездам, потому что, по крайней мере, знаешь наверняка, когда эти огни зажгутся. Словом, вам непременно нужно полюбоваться на него.

И вот в углу королевского сада был воздвигнут большой помост, и как только Королевский пиротехник разложил все, что требовалось, по местам, огни фейерверка вступили в разговор друг с другом.

— Как прекрасен мир! — воскликнула маленькая Шутиха. — Вы только взгляните на эти желтые тюльпаны. Даже если бы это были настоящие фейерверочные огни, и тогда они не могли бы быть прелестней. Я счастлива, что мне удалось совершить путешествие. Путешествия удивительно облагораживают душу и помогают освободиться от предрассудков.

— Королевский сад — это еще далеко не весь мир, глупая ты Шутиха, — сказала Большая Римская Свеча. — Мир огромен, и меньше чем за три дня с ним нельзя основательно ознакомиться.

— То место, которое мы любим, заключает в себе для нас весь мир, — мечтательно воскликнул Огненный Фонтан, который на первых порах был крепко привязан к старой сосновой дощечке и гордился своим разбитым сердцем. — Но любовь вышла из моды, ее убили поэты. Они так много писали о ней, что все перестали им верить, и, признаться, это меня несколько не удивляет. Истинная любовь страдает молча. Помнится, когда-то я... Впрочем, теперь это не имеет значения. Романтика отошла в прошлое.

— Чепуха! — сказала Римская Свеча. — Романтика никогда не умирает. Это как луна — она вечна. Наши жених и невеста, например, нежно любят друг друга. Мне все рассказала о них сегодня утром бумажная гильза от патрона, которая случайно попала в один ящик со мной и знала все последние придворные новости.

Но Огненный Фонтан только покачал головой.

— Романтика умерла, Романтика умерла, Романтика умерла, — прошептал он. Он принадлежал к тому сорту людей, которые полагают, что если долго твердить одно и то же, то в конце концов это станет истиной.

Вдруг раздалось резкое сухое покашливание, и все оглянулись.

Кашляла длинная, высокомерная с виду Ракета, прикрепленная к концу длинной палки. Она всегда начинала свою речь с покашливания, дабы привлечь к себе внимание.

— Кхе! Кхе! — кашлянула она, и все обратились в слух, за исключением бедняги Огненного Фонтана, который продолжал покачивать головой и шептать:

— Романтика умерла.

— Внимание! Внимание! — закричал Бенгальский Огонь.

Он увлекался политикой, всегда принимал деятельное участие в местных выборах и поэтому очень умело пользовался всеми парламентскими выражениями.

— Умерла безвозвратно, — прошептал Огненный Фонтан, начиная дремать.

Как только воцарилась тишина, Ракета кашлянула в третий раз и заговорила. Она говорила медленно, внятно, словно диктовала мемуары, и всегда смотрела поверх головы собеседника. Словом, она отличалась самыми изысканными манерами.

— Какая удача для сына Короля, — сказала она, — что ему предстоит сочетаться браком в тот самый день, когда меня запустят в небо. В самом деле, если бы даже все это было обдуманно заранее, и тогда не могло бы получиться удачнее. Но ведь Принцам всегда везет.

— Вот так так! — сказала маленькая Шутиха. — А мне казалось, что все как раз наоборот; это нас будут пускать в воздух в честь бракосочетания Принца.

— Вас-то, может, и будут, — сказала Ракета. — Я даже не сомневаюсь, что с вами поступят именно так, а я — другое дело. Я весьма замечательная Ракета и происхожу от весьма замечательных родителей. Мой отец был в свое время самым знаменитым Огненным Колесом и прославился грацией танца. Во время своего знаменитого выступления перед публикой он девятнадцать раз повернулся вокруг собственной оси, прежде чем погаснуть, и при каждом повороте выбрасывал из себя семь розовых звезд. Он был три фута с половиной в диаметре и сделан из самого лучшего пороха. А моя мать была Ракета, как и я, и притом французского происхождения. Она взлетела так высоко, что все очень испугались — а вдруг она не вернется обратно. Но она вернулась, потому что у нее был очень кроткий характер, и возвращение ее было ослепительно эффект-

ным — она рассыпалась дождем золотых звезд. Газеты с большой похвалой отозвались о ее публичном выступлении. Придворная Газета назвала ее триумфом Пилотехнического искусства.

— Пиротехнического — хотели вы сказать, Пиротехнического, — отозвался Бенгальский Огонь. — Я знаю, что это называется Пиротехникой, потому что прочел надпись на своей собственной коробке.

— А я говорю Пилотехнического, — возразила Ракета таким свирепым тоном, что Бенгальский Огонь почувствовал себя уничтоженным и тотчас стал задира́ть маленьких Шутих, дабы показать, что он тоже имеет вес.

— Итак, я говорила, — продолжала Ракета, — я говорила... о чем же я говорила?

— Вы говорили о себе, — отвечала Римская Свеча.

— Ну разумеется. Я помню, что обсуждала какой-то интересный предмет, когда меня так невежливо прервали. Я не выношу грубости и дурных манер, ибо я необычайно чувствительна. Я уверена, что на всем свете не сыщется другой столь же чувствительной особы, как я.

— А что это такое — чувствительная особа? — спросила Петарда у Римской Свечи.

— Это тот, кто непременно будет отдавливать другим мозоли, если он сам от них страдает, — шепнула Римская Свеча на ухо Петарде, и та чуть не взорвалась со смеху.

— Над чем это вы смеетесь, позвольте узнать? — осведомилась Ракета. — Я же не смеюсь.

— Я смеюсь, потому что чувствую себя счастливой, — отвечала Петарда.

— Это весьма эгоистическая причина, — сердито промолвила Ракета. — Какое вы имеете право чувствовать себя счастливой? Вам следовало бы подумать о других. Точнее, вам следовало бы подумать обо мне. Я всегда думаю о себе и от других жду того же. Это называется отзывчивостью, а отзывчивость — высокая добродетель, и я обладаю ею в полной мере. Допустим, например, что сегодня ночью со мной что-нибудь случится, — представляете, какое это будет несчастье для всех! Принц и Принцесса уже никогда не смогут быть счастливы, и вся их супружеская жизнь пойдет прахом. А что касается Короля, то я знаю, что он не оправится после такого удара. Право, когда я начинаю думать о том, сколь ответственно занимаемое мною положение, я едва удерживаюсь от слез.

— Если вы хотите доставить другим удовольствие, —

вскричала Римская Свеча,— так уж постарайтесь хотя бы не отсыреть.

— Ну конечно,— воскликнул Бенгальский Огонь, который уже несколько воспринял духом,— это же подсказывает простой здравый смысл.

— Простой здравый смысл! — возмущенно фыркнула Ракета.— Вы забываете, что я совсем не простая, а весьма замечательная. Здравым смыслом может обладать кто угодно, при условии отсутствия воображения. А у меня очень богатое воображение, потому что я никогда ничего не представляю себе таким, как это есть на самом деле. Я всегда представляю себе все совсем наоборот. А что касается того, чтобы бояться отсыреть, то здесь, по-видимому, никто не в состоянии понять, что такое эмоциональная натура. По счастью, меня это мало трогает. Единственное, что меня поддерживает в течение всей жизни,— это сознание моего неоспоримого превосходства над всеми, а это качество я всегда развивала в себе по мере сил. Но ни у кого из вас нет сердца. Вы смеетесь и веселитесь так, словно Принц и Принцесса и не думали сочетаться браком.

— Как так? — воскликнул маленький Огненный Шар.— А почему бы нет? Это же самое радостное событие, и, поднявшись в воздух, я непременно сообщу о нем звездам. Вы увидите, как они будут подмигивать мне, когда я шепну им, как прелестна невеста.

— Боже! Какой тривиальный взгляд на вещи! — сказала Ракета.— Но ничего другого я и не ждала. В вас же решительно ничего нет — одна пустота. А что, если Принц и Принцесса поселятся где-нибудь в сельской местности и, может статься, там будет протекать глубокая река, а у Принца и Принцессы может родиться сын, маленький, белокурый мальчик с фиалковыми глазами, как у отца, и, быть может, он пойдет однажды погулять со своей няней, и няня заснет под большим кустом бузины, а маленький мальчик упадет в глубокую реку и утонет? Какое страшное горе! Несчастные отец и мать — потерять единственного сына! Это же ужасно! Я этого просто не переживу.

— Но они же еще не потеряли своего единственного сына,— сказала Римская Свеча.— Никакого несчастья с ними еще не произошло.

— А разве я говорила, что они потеряли? — возразила Ракета.— Я сказала только, что они могут потерять. Если бы они уже потеряли единственного сына, не было бы никакого смысла об этом говорить. Снявши голову —

по волосам не плачут, и я терпеть не могу тех, кто не придерживается этого правила. Но когда я думаю о том, что Принц и Принцесса могут потерять своего единственного сына, меня это, разумеется, чрезвычайно удручает.

— Что верно, то верно! — вскричал Бенгальский Огонь. — По правде говоря, такой удрученной особы, как вы, мне еще никогда не доводилось видеть.

— А мне никогда еще не доводилось видеть такого грубияна, как вы, — сказала Ракета. — И вы совершенно не способны понять моего дружеского расположения к Принцессе.

— Да ведь вы даже незнакомы с ней, — буркнула Римская Свеча.

— А разве я сказала, что я с ней знакома? — возразила Ракета. — Позвольте вам заметить, что я никогда не стала бы ее другом, будь я с ней знакома. Это очень опасная вещь — хорошо знать своих собственных друзей.

— Все же вы бы лучше постарались не отсыреть, — сказал Огненный Шар. — Вот что самое главное.

— Для вас, конечно, это самое главное, можно не сомневаться, — возразила Ракета, — а я вот возьму и заплачу, если мне захочется. — И она и вправду залилась самыми настоящими слезами, и они, словно капли дождя, побежали по ее палке и едва не затопили двух маленьких жучков, которые только что задумали обзавестись своим домом и подыскивали хорошее сухое местечко.

— Должно быть, это действительно очень романтическая натура, — сказал Огненный Фонтан, ведь она плачет абсолютно без всякой причины, и он испустил тяжелый вздох, вспомнив свою сосновую дощечку.

Но Римская Свеча и Бенгальский Огонь были очень возмущены и долго восклицали во весь голос:

— Вздор! Вздор! — Они были чрезвычайно здравомыслящие особы, и, когда им что-нибудь приходилось не по вкусу, они всегда говорили, что это вздор.

Тут взошла луна, похожая на сказочный серебряный щит, и на небе одна за другой зажглись звезды, а из дворца долетели звуки музыки.

Принц с Принцессой открыли бал, и танец их был так прекрасен, что высокие белые лилии, желая полюбоваться им, встали на цыпочки и заглянули в окна, а большие красные маки закивали в такт головами.

Но вот пробило десять часов, а потом одиннадцать и, наконец, двенадцать, и с последним ударом часов, возвестив-

ших полночь, все вышли из дворца на террасу, а Король послал за Королевским пиротехником.

— Повелеваю зажечь фейерверк,— сказал Король, и Королевский пиротехник отвесил низкий поклон и направился в глубину сада. За ним следовали шесть помощников, каждый из которых нес горящий факел, прикрепленный к концу длинного шеста, и это было поистине величественное зрелище.

Пшш! Пшш! — зашипел, воспламеняясь, Огненный Фонтан.

Бум! Бум! — вспыхнула Римская Свеча.

А за ними и Шутихи заплясали по саду, и Бенгальские Огни озарили все алым блеском.

— Прощайте! — крикнул Огненный Шар, взмывая ввысь и рассыпая крошечные голубые искорки.

Хлоп! Хлоп! — вторили ему Петарды, которые веселились от души. Все участники фейерверка имели большой успех, за исключением замечательной Ракеты. Она настолько отсырела от слез, что ее так и не удалось запустить. Самой существенной частью ее был порох, а он намок, и от него не было никакого толку. А все бедные родственники Ракеты, которых она даже никогда не удостоивала разговором, разве что презрительной усмешкой, взлетели к небу и распустились волшебными огненными цветами на золотых стеблях.

— Ура! Ура! — закричали Придворные, а маленькая Принцесса засмеялась от удовольствия.

— Вероятно, они прибегают ко мне для особо торжественного случая,— сказала Ракета.— Это несомненно так.— И она исполнилась еще большего высокомерия.

На следующий день в сад пришли слуги, чтобы привести его в порядок.

— По-видимому, это делегация,— сказала Ракета.— Надо принять их так, чтобы не уронить своего достоинства.— И она задрала нос кверху и сердито нахмурилась, делая вид, что размышляет о весьма важных материях. Но слуги даже не заметили ее, и только когда они уже собрались уходить, она случайно попала на глаза одному из них.

— Гляньте! — крикнул этот слуга.— Тут какая-то негодная Ракета! — И он швырнул ее за ограду, прямо в канаву.

— Негодная Ракета? Негодная Ракета? — воскликнула она, перелетая через ограду.— Этого не может быть!



Превосходная Ракета — вот что, должно быть, сказал этот человек. Негодная и Превосходная звучат почти одинаково, да, в сущности, очень часто и означают одно и то же.— И с этими словами она шлепнулась прямо в грязь.

— Не очень-то приятное место,— сказала она,— но это, без сомнения, какой-нибудь модный лечебный курорт, и они отправили меня сюда для укрепления здоровья. Что говорить, нервы у меня действительно расшатаны, и отдых мне крайне необходим.

Тут к ней подплыл маленький Лягушонок с блестящими, как драгоценные камни, глазами, одетый в зеленый пятнистый мундир.

— А! Что я вижу! К нам кто-то прибыл! Что ж, в конце концов, грязь лучшее, что есть на свете. Дайте мне хорошую дождливую погоду и канаву, и я буду вполне счастлив. Как вы полагаете, к вечеру соберется дождь? Я все-таки не теряю надежды, хотя небо синее и на нем ни облачка. Такая обида!

— Кхе! Кхе! — произнесла Ракета и раскашлялась.

— Какой у вас приятный голос! — воскликнул Лягушонок.— Он очень напоминает кваканье, а разве кваканье не самая приятная музыка на свете? Сегодня вечером вы услышите выступление нашего многоголосого хора. Мы сидим в старом утином пруду, что возле фермерского дома, и, как только всходит луна, начинаем наш концерт. Это нечто настолько умопомрачительное, что никто не может уснуть — все слушают нас. Да не далее как вчера жена фермера говорила своей матушке, что она из-за нас не сомкнула глаз всю ночь. Очень приятно сознавать, что ты пользуешься таким признанием, — это доставляет большое удовлетворение.

— Кхе! Кхе! — сердито кашлянула Ракета. Она была очень раздосадована тем, что ей не дают вымолвить ни слова.

— Нет, в самом деле, какой восхитительный голос,— продолжал Лягушонок.— Я надеюсь, что вы посетите наш утиный пруд. Я отправляюсь на поиски своих дочерей. У меня шесть красавиц дочерей, и я очень боюсь, как бы их не увидела Щука. Это настоящее чудовище, она позавтракает ими — и глазом не моргнет. Итак, до свидания. Наша беседа доставила мне огромное удовольствие, поверьте.

— По-вашему, это называется беседой? — сказала Ракета.— Только вы один и говорили все время, не закрывая рта. Хороша беседа!

— Кто-то же должен слушать,— возразил Лягушонок,— а говорить я люблю сам. Это экономит время и предупреждает разногласия.

— Но я люблю разногласия,— сказала Ракета.

— Ну что вы,— миролюбиво заметил Лягушонок.— Разногласия нестерпимо вульгарны. В хорошем обществе все придерживаются абсолютно одинаковых взглядов. Еще раз до свидания, я вижу вдали моих дочерей.— И маленький Лягушонок поплыл прочь.

— Вы чрезвычайно нудная особа,— сказала Ракета,— и очень дурно воспитаны. Я не выношу людей, которые, подобно вам, все время говорят о себе, в то время как другому хочется поговорить о себе. Как мне, например. Я это называю эгоизмом, а эгоизм — чрезвычайно отталкивающее свойство, особенно для людей моего склада,— ведь общеизвестно, что у меня очень отзывчивая натура. Словом, вам бы следовало взять с меня пример, едва ли вам встретится еще когда-нибудь образец более достойный подражания. И раз уж представился такой счастливый случай, я бы посоветовала вам воспользоваться им, ибо в самом непродолжительном времени я отправлюсь ко двору. Если хотите знать, я в большом фаворе при дворе: не далее как вчера Принц и Принцесса сочтались браком в мою честь. Вам это, конечно, никак не может быть известно, поскольку вы типичный провинциал.

— Нет никакого смысла говорить ему все это,— сказала Стрекоза, сидевшая на верхушке длинной коричневой камышины.— Совершенно никакого смысла, ведь он уже уплыл.

— Тем хуже для него,— отвечала Ракета.— Я не собираюсь молчать только потому, что он меня не слушает,— мне-то что до этого. Я люблю слушать себя. Для меня это одно из самых больших удовольствий. Порой я веду очень продолжительные беседы сама с собой, и, признаюсь, я настолько образованна и умна, что иной раз не понимаю ни единого слова из того, что говорю.

— Тогда вам, безусловно, необходимо выступать с лекциями по Философии,— сказала Стрекоза и, расправив свои прелестные газовые крылышки, поднялась в воздух.

— Как это глупо, что она улетела! — сказала Ракета.— Я уверена, что ей не часто предоставляется такая возможность расширить свой кругозор. Мне-то, конечно, все равно. Такие гениальные умы, как я, рано или поздно

получают признание.— И тут она еще чуть глубже погрузилась в грязь.

Через некоторое время к Ракете подплыла большая Белая Утка. У нее были желтые перепончатые лапки, и она слыла красавицей благодаря своей грациозной походке.

— Кряк, кряк, кряк,— сказала Утка,— какое у вас странное телосложение! Осмелюсь спросить, это от рождения или результат несчастного случая?

— Сразу видно, что вы всю жизнь провели в деревне,— отвечала Ракета,— иначе вам было бы известно, кто я такая. Но я прощаю вам ваше невежество. Было бы несправедливо требовать от других, чтобы они были столь же выдающимися личностями, как ты сама. Вы, без сомнения, будете поражены, узнав, что я могу взлететь к небу и пролиться на землю золотым дождем.

— Велика важность,— сказала Утка.— Какой кому от этого прок? Вот если бы вы могли пахать землю, как вол, или возить телегу, как лошадь, или стеречь овец, как овчарка, тогда от вас еще была бы какая-нибудь польза.

— Я вижу, уважаемая,— воскликнула Ракета высокомерно-снисходительным тоном,— я вижу, что вы принадлежите к самым низшим слоям общества. Особы моего круга никогда не приносят никакой пользы. Мы обладаем хорошими манерами, и этого вполне достаточно. Я лично не питаю симпатии к полезной деятельности какого бы то ни было рода, а уж меньше всего — к такой, какую вы изволили рекомендовать. По правде говоря, я всегда придерживалась того мнения, что в тяжелой работе ищут спасения люди, которым ничего другого не остается делать.

— Ну хорошо, хорошо,— сказала Утка, отличавшаяся покладистым нравом и не любившая препираться попусту.— О вкусах не спорят. Я буду очень рада, если вы решите обосноваться тут, у нас.

— Да ни за что на свете! — воскликнула Ракета.— Я здесь гость, почетный гость, и только. Откровенно говоря, этот курорт кажется мне довольно унылым местом. Тут нет ни светского общества, ни уединения. По-моему, это чрезвычайно смахивает на предместье. Я, пожалуй, возвращусь ко двору, ведь я знаю, что мне суждено произвести сенсацию и прославиться на весь свет.

— Когда-то я тоже подумывала заняться общественной деятельностью,— заметила Утка.— Очень многое еще нуждается в реформах. Не так давно я даже открывала

собрание, на котором мы приняли резолюцию, осуждающую все, что нам не по вкусу. Однако не заметно, чтобы это имело какие-нибудь серьезные последствия. Так что теперь я целиком посвятила себя домоводству и заботам о своей семье.

— Ну, а я создана для общественной жизни, — сказала Ракета, — так же как все представители нашего рода, вплоть до самых незначительных. Стоит нам где-нибудь появиться, и мы тотчас привлекаем к себе всеобщее внимание. Мне самой пока еще ни разу не приходилось выступать публично, но, когда это произойдет, зрелище будет ослепительное. Что касается домоводства, то от него быстро стареют и оно отвлекает ум от размышлений о возвышенных предметах.

— Ах! Возвышенные предметы — как это прекрасно! — сказала Утка. — Это напомнило мне, что я основательно проголодалась. — И она поплыла вниз по канаве, восклицая: — Кряк, кряк, кряк.

— Куда же вы! Куда! — взвизгнула Ракета. — Мне еще очень многое необходимо вам сказать. — Но Утка не обратила никакого внимания на ее призыв. — Я очень рада, что она оставила меня в покое, — сказала Ракета. — У нее необычайно мещанские взгляды. — И она погрузилась еще чуть-чуть глубже в грязь и начала раздумывать о том, что одиночество — неизбежный удел гения, но тут откуда-то появились два мальчика в белых фартучках. Они бежали по краю канавы с котелком и вязанками хвороста в руках.

— Это, вероятно, делегация, — сказала Ракета и постаралась придать себе как можно более величественный вид.

— Гляди-ка! — крикнул один из мальчиков. — Вон какая-то грязная палка! Интересно, как она сюда попала. — И он вытащил Ракету из канавы.

— Грязная Палка! — сказала Ракета. — Неслыханно! Грозная Палка — хотел он, по-видимому, сказать. Грозная Палка — это звучит очень лестно. Должно быть, он принял меня за одного из придворных Сановников.

— Давай положим ее в костер, — сказал другой мальчик. — Чем больше дров, тем скорее закипит котелок.

И они свалили хворост в кучу, а сверху положили Ракету и разожгли костер.

— Но это же восхитительно! — воскликнула Ракета. — Они собираются запустить меня среди бела дня, так, чтобы всем было видно.

— Ну, теперь мы можем немножко соснуть, — сказали мальчики. — А когда проснемся, котелок уже закипит. — И они растянулись на траве и закрыли глаза.

Ракета очень отсырела и поэтому долго не могла воспламениться. Наконец ее все же охватило огнем.

— Ну, сейчас я взлечу! — закричала она, напыжилась и распрямилась. — Я знаю, что взлечу выше звезд, выше луны, выше солнца. Словом, я взлечу так высоко... Пшш! Пшш! Пшш! — И она взлетела вверх. — Упоительно! — вскричала она. — Я буду лететь вечно! Воображаю, какой я сейчас произвожу фурор.

Но никто ее не видел.

Тут она почувствовала странное ощущение щекотки во всем теле.

— А теперь я взорвусь! — закричала она. — И я охвачу огнем всю землю и наделаю такого шума, что ни о чем другом никто не будет говорить целый год. — И тут она и в самом деле взорвалась. Бум! Бум! Бум! — вспыхнул порох. В этом не могло быть ни малейшего сомнения.

Но никто ничего не услышал, даже двое мальчиков, потому что они спали крепким сном.

Теперь от Ракеты осталась только палка, и она упала прямо на спину Гусыни, которая вышла прогуляться вдоль канавы.

— Господи помилуй! — вскричала Гусыня. — Кажется, начинает крапывать... палками! — И она поспешно плюхнулась в воду.

— Я знала, что произведу сенсацию, — прошипела Ракета и погасла.



## МОЛОДОЙ КОРОЛЬ

*Посвящается Маргарет леди Брук, рани Сарвака*

Вечером накануне дня Коронации молодой Король сидел один в своей великолепной спальне. Придворные уже удалились, отвешивая ему низкие поклоны согласно чопорным обычаям того времени, и вернулись в Большой Дворцовый Зал, дабы получить последние наставления у Профессора Этикета, — ведь кое-кто из них еще не утратил естественности манер, а вряд ли стоит напоминать, что у царедворца это серьезный порок.

Юношу — а Король был юношей, которому едва минуло шестнадцать лет — не огорчил уход придворных: с глубоким вздохом облегчения откинулся он на мягкие подушки роскошного ложа и так лежал, приоткрыв рот и глядя перед собою пугливыми глазами, подобно смуглолицему лесному фавну или молодому зверю, который попался в расставленную охотниками западню.

Его и в самом деле нашли охотники, ненароком повстречавшие юношу, когда тот, босиком и со свирелью в руке, гнал стадо бедного пастуха, который взрастил его и сыном которого он всегда себя почитал. Сын единственной дочери старого Короля, родившийся от тайного союза с человеком, стоявшим много ниже ее, — с чужеземцем, как говорили одни, который дивными чарами своей лютни заслужил любовь юной Принцессы, или, как говорили другие, с художником из Римини, которому Принцесса оказала много, пожалуй, слишком много внимания и кото-

рый внезапно исчез из города, так и не закончив роспись в Соборе, — он, когда была ему от роду неделя, был похищен у матери, пока та спала, и отдан на попечение простого крестьянина и его жены, не имевших своих детей и живших в глухом лесу, больше чем в дне езды от города. Через час после пробуждения родившая его белокурая девушка умерла от горя, или от чумы, как утверждал придворный медик, или от молниеносного итальянского яда, подмешанного в чашу вина с пряностями, как поговаривали люди, и между тем как верный гонец, увезший младенца в седле, спешил со взмыленного коня и постучал в грубо сколоченную дверь пастушьей хижины, тело Принцессы опустили в могилу, вырытую на заброшенном кладбище за городскими воротами, в могилу, где, как рассказывали, уже лежало тело юноши, наделенного чудесной чужеземной красотой, с руками, стянутыми за спиной веревками, и грудью, испещренной алыми кинжальными ранами.

Так, по крайней мере, гласила молва. А верно то, что на смертном одре старый Король то ли раскаялся в своем великом грехе, то ли просто пожелал сохранить королевство за своими потомками, послал за юношей и в присутствии Совета провозгласил его своим наследником.

И кажется, что в первое же мгновение юноша выказал знаки той странной страсти к прекрасному, которой суждено было столь сильно повлиять на его жизнь. Те, что сопровождали юношу в отведенные для него покои, не раз повествовали о том, как с уст его сорвался крик радости, когда он увидел приготовленные для него изящные одежды и драгоценные камни, и о том, с каким почти яростным наслаждением сбросил он с себя грубую кожаную тунику и плащ из овчины. Порою, правда, ему недоставало свободной лесной жизни, и он, случалось, досадовал на докучные дворцовые церемонии, ежедневно отнимавшие столько времени, но чудесный дворец — или, как его называли, Joyeuse<sup>1</sup>, — хозяином которого стал юноша, представлялся ему новым миром, словно нарочно созданным для наслаждения, и стоило ему ускользнуть с заседания Совета или аудиенции, как он сбегал по широкой лестнице со ступенями из яркого порфира и бронзовыми львами по сторонам и, блуждая по анфиладам комнат и галереям, словно бы пытался красотой умерить боль и исцелиться от недуга.

В этих, как говорил он сам, странствиях в неведомое —

---

<sup>1</sup> Радостный, счастливый (фр.).

ибо воистину для него это были путешествия по волшебной стране — его иногда сопровождали стройные и белокурые дворцовые пажи в развевающихся плащах и пестрых трепещущих лентах, но чаще он бродил один, понимая благодаря какому-то острому инстинкту, почти озарению, что тайны искусства должно познавать втайне и что Красота, подобно Мудрости, любит, когда ей поклоняются в одиночестве.

Много загадочного рассказывали о нем в ту пору. Говорили, что доблестный Бургомистр, прибывший к нему, дабы произнести витийственное приветствие от имени горожан, узрел юношу коленопреклоненным в неподдельном восторге перед картиной, только что присланной из Венеции, и это, казалось, возвещало почитание новых богов. В другой раз он исчез на несколько часов, и после продолжительных поисков его нашли в каморке, в одной из северных башен дворца, где он, оцепенев, любовался греческой геммой с изображением Адониса. Молва гласила, что видели, как прижимался он горячими губами к мраморному челу античной статуи, на которой было начертано имя вифинского раба, принадлежавшего Адриану, и которую обнаружили на дне реки при постройке каменного моста. Целую ночь провел он, следя, как играет лунный свет на серебряном лице Эндимиона.

Все, что было редко и драгоценно, постоянно влекло юношу, и в погоне за редкостями он посылал в путь множество купцов: одних — торговать янтарь у грубых рыбаков северного моря, иных — в Египет, искать ту необыкновенную зеленую бирюзу, которая заключена в одних лишь могилах фараонов и обладает, говорят, чудодейственными свойствами, иных — в Персию, за шелковыми коврами и расписной посудой, прочих же — в Индию, покупать кисею и раскрашенную слоновую кость, лунные камни и браслеты из нефрита, сандал, лазурную финифть и тонкие шерстяные шали.

Но больше всего иного занимало его одеяние из тканого золота, предназначенное для коронации, усеянная рубинами корона и скипетр, покрытый полосками и ободками жемчугов. Именно об этом думал он в тот вечер, лежа на своем роскошном ложе и глядя, как догорает в камине большое сосновое полено. Уже много месяцев назад вручили ему эскизы, выполненные знаменитейшими художниками того времени, и он распорядился, чтобы ремесленники ночью



и днем трудились над его одеянием и чтобы по всему миру искали драгоценные камни, достойные их труда. Он вообразил себя в прекрасном королевском облачении перед высоким алтарем Собора, и на его детских губах подолгу играла улыбка, озаряя ярким блеском его темные лесные глаза.

Немного погодя он встал и, опершись о резную полку над камином, оглядел погруженную в полумрак спальню. По стенам висели дорогие гобелены, изображавшие Торжество Красоты. В углу стоял большой шкаф, инкрустированный агатами и ляписом-лазурью, а напротив окна находился поставец редкой работы, с лаковыми панно, украшенными золотыми блестками и мозаикой, на котором были расставлены хрупкие кубки венецианского стекла и чаша из оникса с темными прожилками. Шелковое покрывало на ложе было расшито бледными маками, которые, казалось, не смогли удержать ослабевшие руки сна, и стройные тростинки резной слоновой кости поддерживали бархатный балдахин, а над ним белой пеной вздымались страусовые перья, достигая бледно-серебристого лепного потолка. Смеющийся Нарцисс из зеленоватой бронзы держал над головой полированное зеркало. На столе стояла плоская аметистовая чаша.

Из окна открывался вид на огромный купол Собора, нависший громадным шаром над призрачными домами, да на усталых часовых, шагавших взад-вперед по террасе, едва различимой в речном тумане. Далеко в саду запел соловей. Слабый запах жасмина донесся из открытого окна. Юноша откинул со лба темные кудри и, взяв лютню, коснулся пальцами струн. Отяжелевшие веки его опустились, и им овладела странная истома. Никогда прежде не ощущал он с такой остротой и утонченной радостью таинство и волшебство прекрасных вещей.

Когда часы на башне пробили полночь, он коснулся рукой колокольчика, и вошли его пажы и, согласно церемонии, сняли с него одежды, окропили его руки розовой водой и усыпали его подушку цветами. Затем они оставили спальню, и несколько мгновений спустя юноша уснул.

И он спал, и видел сон, и вот что приснилось ему. Ему привиделось, что он — под самой крышей, в душной мастерской, и вокруг шумит и стучит множество ткацких станков. Чахлый свет пробивался сквозь зарешеченные окна,

и в его отблесках молодой Король видел склонившихся над станками изможденных ткачей. Бледные, больные на вид дети съевшись сидели на толстых поперечинах станков. Когда челноки проскакивали сквозь основу, дети поднимали тяжелые рейки, а когда челноки останавливались, они опускали рейки и оправляли нити. От голода щеки у детей втянулись, а исхудалые руки тряслись и дрожали. За столом сидели несколько изнуренных женщин и шили. Чудовищный запах стоял в мастерской. Воздух был тяжелый и нездоровый, а с заплесневелых стен сочилась влага.

Молодой Король подошел к одному из ткачей и, стоя рядом, смотрел на него.

И ткач сердито взглянул на юношу и сказал:

— Отчего ты смотришь за мной? Не соглядатай ли ты, приставленный к нам хозяином?

— Кто твой хозяин? — спросил молодой Король.

— Хозяин? — с горечью воскликнул ткач. — Он такой же человек, как я. Воистину разница меж нами лишь в том, что он носит добрую одежду, а я хожу в лохмотьях, что я ослабел от голода, а он немало страдает от обжорства.

— В нашей стране все свободны, — сказал молодой Король, — и ты не раб.

— На войне, — отвечал ткач, — сильный порабощает слабого, но наступит мир, и богатый порабощает бедного. Мы работаем, чтобы выжить, но нам платят так скудно, что мы умираем. Целыми днями мы трудимся на богачей, и они набивают сундуки золотом, и наши дети увядают раньше времени, и лица любимых суровеют и ожесточаются. Мы давим виноград, но вино пьют другие. Мы сеем хлеб, но пусто у нас на столе. На нас оковы, но их никто не видит; мы рабы, но зовемся свободными.

— Все ли живут так? — спросил молодой Король.

— Все живут так, — ответил ткач, — молодые и старые, женщины и мужчины, малые дети и старики. Нас грабят купцы, но нам приходится соглашаться на их цены. Священник проезжает мимо, перебирая четки, и никому нет до нас дела. Наши не знающие солнца закоулки обходит, озираясь голодными глазами, Нищета, и Грех с бесчувственным от пьянства лицом следует за нею. Горе будит нас по утрам, и Стыд сидит подле нас ночью. Но что тебе в том? Ты не из нас. Твое лицо слишком радостно.

И ткач отвернулся, и пропустил челнок через основу, и молодой Король увидел, что его уток — золотая нить. И объял его великий страх, и он сказал ткачу:

— Что за одеяние ты ткешь?

— Это наряд для коронации молодого Короля,— ответил ткач.— Что тебе в том?

И молодой Король издал громкий крик и проснулся — и вот он снова лежал в своих покоех и, глянув в окно, увидел медвяную луну, висевшую в сумрачном небе.

И он снова уснул, и видел сон, и вот что приснилось ему.

Ему привиделось, что он лежит на палубе огромной галеры, приводимой в движение сотней рабов-гребцов. Рядом с ним на ковре сидел капитан галеры. Он был черен, как эбеновое дерево, и тюрбан его был из алого шелка. Большие серебряные серьги оттягивали мочки его ушей, и в руках у него были весы из слоновой кости.

На рабах были лишь ветхие набедренные повязки, и каждый из них был прикован цепью к соседу. Над галерой полыхало жаркое солнце, а меж рабами бегали негры и полосовали их сыромятными ремнями. Рабы напрягали тощие руки и погружали тяжелые весла в воду. Из-под весел взлетали соленые брызги.

Наконец, достигнув маленькой бухты, они принялись промеривать глубину. Легкий ветерок дул в сторону моря и покрывал палубу и большой латинский парус мелкой красной пылью. Прискакали три араба на диких ослах и метнули в них копьа. Капитан галеры поднял разноцветный лук, и его стрела вонзилась в горло одного из арабов. Тот плашмя рухнул в прибой, а его товарищи ускакали. Женщина в желтой чадре медленно двинулась за ними на верблюде, то и дело оглядываясь на мертвое тело.

Как только был брошен якорь и спущен парус, негры сошли в трюм и вынесли оттуда длинную веревочную лестницу с тяжелыми свинцовыми грузилами. Капитан галеры перебросил лестницу через борт и закрепил ее концы на двух железных стойках. Потом негры схватили самого молодого из рабов, и сбили с его ног кандалы, и запечатали его ноздри и уши воском, и привязали к его поясу тяжелый камень. Раб медленно спустился по лестнице и исчез в море. В том месте, где он погрузился в воду, поднялись пузырьки. Другие рабы с любопытством глядели за борт. На носу галеры сидел заклинатель акул и монотонно бил в барабан.

Спустя некоторое время ныряльщик показался из воды и, тяжело дыша, уцепился за лестницу, и в правой руке

держал он жемчужину. Негры отобрали ее и столкнули раба обратно в воду. Другие рабы дремали за веслами.

Ныряльщик являлся снова и снова и каждый раз приносил прекрасный жемчуг. Капитан галеры взвешивал жемчужины и прятал их в кошелек зеленой кожи.

Молодой Король хотел заговорить, но губы его не слушались и язык, казалось, присох к небу. Негры болтали друг с другом и ссорились из-за нитки разноцветных бус. Два журавля кругами летали над судном.

Затем ныряльщик появился в последний раз, и принесенная им жемчужина была прекраснее всех жемчугов Ормуза, ибо она была подобна полной луне и казалась белее утренней звезды. Но лицо ныряльщика было до странности бледным, и, когда он упал на палубу, кровь хлынула из его ушей и ноздрей. Он вздрогнул и замер. Негры пожалы плечами и бросили тело за борт.

И капитан галеры засмеялся, и, протянув руку, взял жемчужину, и, посмотрев на нее, он прижал ее ко лбу и поклонился.

— Эта жемчужина, — сказал он, — украсит скипетр молодого Короля. — И дал неграм знак поднимать якорь.

И, услышав это, молодой Король пронзительно вскрикнул и проснулся, и за окном он увидел длинные тусклые персты зари, вцепившиеся в бледнеющие звезды.

И он снова уснул, и видел сон, и вот что приснилось ему.

Ему привиделось, что он бредет по сумрачному лесу, а вокруг растут странные плоды и прекрасные ядовитые цветы. Вслед ему шипели гадюки, и разноцветные полугаи крича перелетали с ветки на ветку. Грузные черепахи спали в теплой тине. На деревьях сидело множество обезьян и павлинов.

Он шел и шел, пока не достиг опушки, и там увидел он великое множество людей, работавших в русле высохшей реки. Толпами взбирались они на утесы, подобно муравьям. Они рыли глубокие колодцы в почве и спускались туда. Одни из них огромными топорами раскалывали камни, другие рылись в песке. Они с корнями вырвали кактус и растоптали алые цветы. Они спешили, перекликались, и не один не оставался без дела.

Из темной пещеры на них взирали Смерть и Корысть, и Смерть сказала:

— Я устала. Отдай мне треть этих людей, и я уйду. Но Корысть покачала головой.

— Нет, они мои слуги,— сказала она.

И Смерть молвила:

— Что у тебя в руке?

— Три пшеничных зерна,— ответила Корысть.— Что тебе в том?

— Дай мне одно! — воскликнула Смерть.— Я посею его в моем саду. Одно лишь зерно, и тогда я уйду.

— Ничего я не дам тебе,— сказала Корысть и спрятала руку в складках одежды.

И Смерть засмеялась, и взяла чашу, и окунула ее в лужу, и из чаши восстала Лихорадка. Лихорадка обошла все великое множество людей, и каждый третий упал замертво. За нею тянулся холодный туман, и водяные змеи ползли у нее по бокам.

И когда Корысть увидела, что треть всех людей мертва, она стала бить себя в грудь и рыдать. Она била себя в иссохшую грудь и громко кричала.

— Ты убила треть моих слуг! — возопила она.— Иди же прочь. В горах Татарии идет война, и цари воюющих племен взывают к тебе. Афганцы зарезали черного быка и выступили в поход. Они надели железные шлемы и барабанят копьями по щитам. На что тебе моя долина, зачем медлишь ты здесь? Иди же прочь и более не возвращайся.

— Нет,— ответила Смерть,— пока не дашь мне пшеничного зерна, я не уйду.

Но Корысть сжала ладонь и стиснула зубы.

— Ничего не дам я тебе,— пробормотала она.

И Смерть засмеялась, и подняла черный камень, и бросила его в лес, и из зарослей дикого болиголова в огненном одеянии явилась Горячка. Она обошла все великое множество людей и касалась их рукой, и кого коснулась она — тот умирал. И под ногами ее увядала трава.

И задрожала Корысть, и осыпала пеплом свою главу.

— Ты безжалостна,— возопила она,— ты безжалостна. В индийских городах голод, и колодцы Самарканда иссякли. В египетских городах голод, и саранча пришла из пустыни. Нил вышел из берегов, и жрецы возносят молитву Исиде и Осирису. Иди к ждущим тебя и оставь моих слуг.

— Нет,— ответила Смерть,— пока не дашь мне пшеничного зерна, я не уйду.

— Ничего не дам я тебе,— сказала Корысть.

И снова засмеялась Смерть, и, вложив пальцы в рот, свистнула, и на свист прилетела по воздуху женщина. «Чума» было написано на ее челе, и стая тощих стервятников кружилась вокруг нее. Они распростирали свои крыла над долиной, и все люди упали замертво.

И Корысть с пронзительным криком бросилась в лес, а Смерть вскочила на своего красного коня и ускакала, и скакала она быстрее ветра.

И из слизи, скопившейся на дне долины, выползли драконы и чешуйчатые чудовища, и шакалы забегали по песку, ощупывая ноздрями воздух.

И молодой Король заплакал и сказал:

— Кто были те люди и чего искали они?

— Они искали рубины для королевской короны,— ответил тот, кто стоял у него за спиной.

И молодой Король вздрогнул и, повернувшись, увидел человека в одеждах паломника и с серебряным зеркалом в руках.

И молодой Король побледнел и спросил:

— Чья это корона?

И паломник ответил:

— Посмотри в это зеркало и увидишь чья.

И юноша глянул в зеркало и, узрев там свое лицо, пронзительно вскрикнул и проснулся, и яркий солнечный свет лился в его покои, и на деревьях в саду пели птицы.

И пошли Гофмейстер и главные сановники Государства и поклонились ему, и пажи поднесли ему облачение, тканное золотом, и положили пред ним корону и скипетр.

И молодой Король посмотрел на это облачение, и оно было прекрасно. Оно было прекраснее всего, что он видывал раньше. Но он вспомнил, что снилось ему, и сказал вельможам:

— Унесите это, ибо этого я не приму.

И придворные изумились, и иные из них засмеялись, решив, что он шутит.

Но он остался непреклонен и сказал снова:

— Уберите это и спрячьте от меня. Хотя сегодня день моей коронации, я этого не приму. Ибо одеяние это соткано на ткацком стане Скорби белыми руками Боли. В сердце рубина — Кровь, и в сердце жемчуга — Смерть.

И он поведал им три своих сна.

И, услышав их, царедворцы, переглядываясь и перешептываясь, говорили:

— Воистину он лишился рассудка, ибо сон не есть ли просто сон, а видение — просто видение? Разве явь они, чтобы их остерегаться? И что нам жизнь тех, кто трудится на нас? И воздерживаться ли от хлеба, пока не увидишь пахаря, и от вина, пока не молвишь слова с виноградарем?

И Гофмейстер обратился к молодому Королю и сказал:

— Государь мой, прошу тебя: оставь эти черные мысли, и надень это прекрасное облачение, и возложи корону на голову. Ибо как народу знать, что ты король, если не будешь облачен по-королевски?

И посмотрел на него молодой Король.

— Воистину ли так? — спросил он. — И не узнают во мне короля, если не облачусь по-королевски?

— Не узнают, мой государь, — воскликнул Гофмейстер.

— Я думал прежде, что иным дан королевский облик, — ответил молодой Король. — Но может быть и так, как говоришь. Однако я не хочу ни этого одеяния, ни этой короны, но каким вошел во дворец, таким и выйду из него.

И молодой Король отослал всех прочь, кроме одного паж, отрока, который был моложе его на год и был оставлен им себе в сотоварищи. Его оставил он служить себе, и, совершив омовение прозрачной водой, открыл большой крашенный сундук, и оттуда достал кожаную тунику и накидку из грубой овчины, которые носил, когда стерег на склонах холмов длиннорунных коз пастуха. Он надел тунику и плащ и взял грубый пастуший посох.

И маленький паж, удивляясь, широко раскрыл синие глаза и с улыбкой сказал ему:

— Государь мой, вот одеяние твое и скипетр, но я не вижу короны.

И молодой Король сорвал побег дикого вереска, обвинившего балкон, и сделал из него венец и возложил его на голову.

— Вот корона, — ответил он.

И, так облачась, он вышел из своих покоев в Большой Зал Дворца, где ждали его придворные.

И развеселились придворные, и иные закричали ему:

— Государь, народ ждет короля, ты же явишься ему нищим.

И разгневались другие и сказали:

— Он навлек бесчестье на наше королевство и не достоин править нами.

Но он не сказал им ни слова, а пошел далее, и спустился по лестнице из блистающего порфира, и вышел из бронзовых ворот, и сел на коня, и поскакал к Собору, а маленький паж бежал следом за ним.

И народ смеялся и говорил:

— Вот едет королевский шут, — и потешался над ним.

И он натянул поводья и сказал:

— Не шут я, но Король.

И он поведал им три своих сна.

И вышел из толпы человек, и обратился к нему, и с горечью сказал:

— Государь, не зиждется ли жизнь бедного на роскоши богатого? Ваше великолепие кормит нас, и ваши пороки дают нам хлеб. Работать на хозяина горько, но когда работать не на кого — еще горше. Думаешь ли, что вороны нас прокормят? И знаешь ли от этого лекарство? Велишь ли покупающему, да купит за столько-то, и продающему, да продаст за столько-то? Не может такое случиться. Потому воротись во Дворец и облачись в пурпур и тонкие ткани. Что тебе мы и наши страдания?

— Не братья ли богатый и бедный? — спросил молодой Король.

— Братья, — ответил тот, — и имя богатому — Каин.

И глаза молодого Короля наполнились слезами, и он тронулся в путь под ропот толпы, и маленький паж испугался и оставил его.

И когда он достиг соборных врат, стражи выставили свои алебарды и сказали:

— Чего тебе надобно здесь? Никто, кроме Короля, да не войдет в эти двери.

И лицо его покраснело от гнева, и он сказал им:

— Я Король, — и он отвел в сторону их алебарды и вошел.

И когда старый епископ увидел его, одетого пастухом, то в изумлении поднялся со своего места, и пошел навстречу ему, и сказал:

— Сын мой, в королевском ли ты облачении? И какой короной буду венчать тебя, и какой скипетр вложу в твою руку? Воистину се день твоей радости, а не унижения.

— Должно ли Радости облачиться в сотканное Горем? — спросил молодой Король.

И он поведал ему три своих сна. Епископ же, услышав их, нахмурил брови и сказал:



— Сын мой, я стар и на склоне лет знаю, что много зла творится в мире. Беспощадные разбойники спускаются с гор, и уносят малых детей, и продают их маврам. Львы подстерегают караваны и набрасываются на верблюдов. Дикае вепри вытаптывают посеы на равнинах, и лисы обгладывают виноградники на склонах гор. Пираты опустошают морское побережье, и жгут рыбацкие лодки, и отнимают у рыбаей сети. Прокаженные обитают в солончаках и плетут тростниковые хижины, и никто не смеет приблизиться к ним. Нищие бродят по городам и едят вместе с псами. Можешь ли ты сделать, чтобы этого не было? Положишь ли к себе в постель прокаженного, посадишь ли нищего с собой за стол? Послушает ли лев твою просьбу и покорится ли тебе кабан? Разве Тот, кто создал нищету, не мудрее тебя? Потому не хвалю тебя за то, что ты содеял, но прошу: поезжай во Дворец, и да будет на лице твоём веселье, и на тебе — одежда, подобающие королю, и я возложу на твою голову золотую корону и вложу в твою руку жемчужный скипетр. Что же до твоих снов, не помышляй о них более. Бремя мира сего не вынести одному человеку, и скорбь мира сего не выстрадать одному сердцу.

— В чем доме говоришь ты это? — сказал молодой Король, и прошел мимо епископа, и поднялся по ступеням алтаря, и предстал перед ликом Христовым.

Он стоял перед ликом Христовым, и ошую и одесную от него были чудесные золотые сосуды — потир с янтарным вином и чаша с миррой. Он преклонил колени перед ликом Христовым, и ярко горели высокие свечи вокруг усеянной драгоценными камнями святыни, и благовонный дым курясь поднимался к куполу тонкими голубыми венчиками. Склонив голову, он молился, и священнослужители неслышно отошли от алтаря в своих неуклюжих ризах.

И вдруг в дверях послышался страшный шум, и в храм вошли придворные с обнаженными мечами, и перья покачивались на их шляпах, а стальные щиты сверкали.

— Где этот сновидец? — кричали они. — Где этот Король, ряженный нищим, этот мальчишка, покрывший позором наше королевство? Воистину мы убьем его, ибо он недостойн править нами.

И молодой Король вновь опустил голову, и молился, и, окончив молитву, встал, и, обернувшись, печально смотрел на них.

И вот через оконные витражи на него хлынул солнечный свет и лучи солнца соткали вокруг него облачение

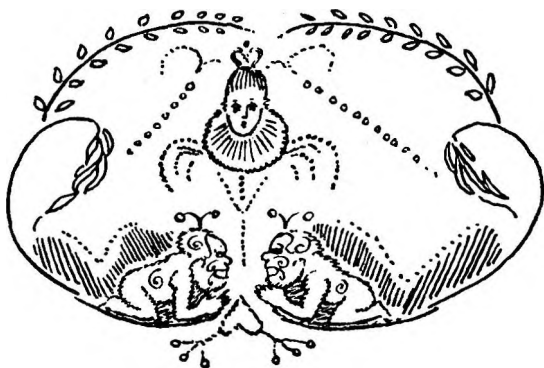
прекраснее того, что сделали ради его роскоши. Мертвый посох расцвел, и на нем распустились лилии, которые были белее жемчуга. Сухой шип расцвел, и на нем распустились розы, которые были краснее рубинов. Белее отборных жемчужин были лилии, и стебли их были чистого серебра. Краснее кровавых рубинов были розы, и листья их были чеканного золота.

Он стоял в королевском облачении, и врата изукрашенного драгоценными камнями алтаря отверзлись, и из хрустальных граней дароносицы полился таинственный, дивный свет. Он стоял в королевском облачении, и святые, казалось, ожили в глубоких нишах. В прекрасном королевском облачении предстал он пред ними, и загудел орган, и затрубили в свои трубы трубачи, и запели певчие.

И народ в страхе преклонил колени, и придворные вложили мечи в ножны и присягнули ему на верность, и лицо епископа побледнело, а руки его задрожали.

— Тот, кто выше меня, венчал тебя! — воскликнул он и встал перед ним на колени.

И молодой Король спустился со ступеней алтаря и, пройдя сквозь толпу, пошел во Дворец. Но никто не смел взглянуть ему в лицо, ибо оно было подобно ангельскому лику.



## ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИНФАНТЫ

*Г-же Гренфелл из Теплоу Корт (леди Десборо)*

То был день рождения Инфанты. Ей исполнилось двенадцать лет, и солнце ярко светило в дворцовом парке. Хотя она была самой настоящей Принцессой и Инфантой Испанской, день рождения у нее бывал раз в году, совсем как у детей бедных родителей; само собой разумеется, для всей страны было очень важно, чтобы этот день удался на славу. День и правда удался на славу. Высокие полосатые тюльпаны навывтяжку стояли на своих стеблях, словно длинные шеренги солдат, и заодно поглядывали через газон на розы, говоря: «Теперь и мы не хуже!» Вокруг порхали пурпурные бабочки с золотистой пылью на крыльях и не пропускали ни одного цветка; ящерики повывлежали из расщелин стены и лежа грелись в ослепительном белом блеске солнца; плоды гранатов, трескаясь и лопаясь от зноя, обнажали свои кровоточащие красные сердца. Даже бледно-желтые лимоны, в таком изобилии висевшие на расшатанных решетках и в тени аркад, казались, обрели под чудесным солнечным светом более насыщенный оттенок, а магнолии раскрыли свои большие шарообразные цветы, словно выточенные из слоновой кости, и наполнили воздух густым сладостным ароматом.

Сама маленькая Принцесса прогуливалась по террасе со своею свитой и играла в прятки возле каменных вазонов и старых, замшелых статуй. В обычные дни ей дозволялось играть только с детьми королевского достоинства, и потому

ей всегда приходилось проводить время в одиночестве, но в день ее рождения было сделано исключение, и, согласно распоряжениям Короля, она могла пригласить в гости тех своих юных друзей, которые ей по нраву, и веселиться вместе с ними. Была величаява прелесть в прогуливавшихся с нею изящных испанских детях: на мальчиках были шляпы с плюмажем и короткие развевающиеся плащи, девочки придерживали шлейфы длинных парчовых платьев и закрывали глаза от солнца массивными веерами цвета черненого серебра. Но Инфанта была прелестнее всех, и платье на ней было в лучшем вкусе, согласно несколько тяжеловесной моде того времени. На ней был серый атласный наряд, юбка и широкие рукава буфами расшиты были серебром, а жесткий корсаж усеян рядами прекрасных жемчужин. При каждом шаге из-под платья выглядывали туфельки с большими розовыми помпонами. Ее веер из розовой кисеи покрывал жемчужины, а в волосах, которые бледно-золотым ореолом обрамляли ее лицо, была прекрасная белая роза.

Из дворцового окна на детей смотрел печальный, погруженный в меланхолию Король. За спиною у него стоял ненавистный ему брат, дон Педро Арагонский, а рядом с ним сидел его исповедник, Великий Инквизитор Гранады. И был Король печальнее обычного, ибо, глядя, как Инфанта с детской серьезностью отвечает на поклоны придворных или, закрывшись веером, смеется над мрачной Герцогиней Альбукеркской, всегда ее сопровождавшей, он вспомнил ее мать, молодую Королеву, которая еще совсем недавно — так казалось ему — приехала из веселой французской земли и увяла в мрачном великолепии Испанского Двора, скончавшись всего через полгода после рождения дочери и не успев во второй раз увидеть, как цветет миндаль в саду, и собрать второй урожай со старой кривой смоковницы, стоящей посреди двора, ныне поросшего травой. Так велика была любовь Короля, что он не потерпел, чтобы могила скрыла от него Королеву. Ее тело бальзамировал мавританский врач, и в награду за эту услугу ему была дарована жизнь, на которую, как поговаривали, за еретичество и по подозрению в колдовстве уже покушалась Святая Инквизиция, и тело Королевы по-прежнему пребывало на застланном гобеленами ложе в черной мраморной часовне Дворца таким же, каким внесли его туда монахи в тот ветреный мартовский день двенадцать лет назад. Раз в месяц Король, завернувшись в темный плащ и

держа в руке потайной фонарь, входил в часовню и опускался на колени рядом с Королевой, взывая: «*Mi reina! Mi reina!*»<sup>1</sup> — а порой, поправ формальный этикет, который в Испании царит надо всем, что делает человек, и ставит предел даже скорби Короля, он в безумном припадке горя сжимал ее бледные, украшенные перстнями руки и пытался неистовыми поцелуями разбудить холодное раскрашенное лицо.

Сегодня он, казалось, снова видел ее такой, какой встретил впервые, в замке Фонтенбло, когда ему едва исполнилось пятнадцать лет, а она была еще моложе. Тогда они по всей форме были обручены Папским Нунцием в присутствии французского Короля и всего Двора, и он воротился в Эскуриал, унося с собою колечко светлых волос и воспоминание о детских губах, поцеловавших его руку, когда он садился в карету. Потом была свадьба, спешно совершившаяся в Бургосе, маленьком городке на границе двух государств, и торжественный въезд в Мадрид, где согласно обычаю отслужили молебен в церкви Ла Аточа и с большим, чем обычно, размахом провели аутодафе, на котором для сожжения в руки светских властей было передано около трехсот еретиков, и среди них — много англичан.

Да, он безумно любил ее — и, как считали многие, во вред собственной стране, воевавшей в то время с Англией за владения в Новом Свете. Он не отпускал ее от себя ни на шаг; ради нее он забыл — или казалось, что забыл, — все важные государственные дела и с ужасающей слепотой, которой награждает своих служителей страсть, не замечал, что хитроумные церемонии, которыми он хотел порадовать ее, лишь усиливали ту непонятную болезнь, от которой она страдала. Когда она умерла, Король на какое-то время словно лишился разума. Он несомненно отрекся бы от престола и удалился в большой монастырь трапистов в Гранаде, почетным настоятелем которого он был, если бы не боялся оставить маленькую Инфанту на милость брата, который, даже по испанским меркам, славился жестокостью и которого многие подозревали в том, что это он умертвил Королеву с помощью пары отравленных перчаток, поднесенных ей в честь ее приезда в его замок в Арагоне. Даже по истечении официального трехлетнего траура, объявленного во всех владениях Короля особым эдиктом, он и слушать не хотел, когда министры заговаривали о новом супружестве,

---

<sup>1</sup> Моя Королева! Моя Королева! (исп.)

и когда сам Император направил к нему послов и предложил ему руку очаровательной Эрцгерцогини Богемской, племянницы Императрицы, он велел послам ответить их повелителю, что Король Испании уже обвенчан со Скорбью, и, хотя она не принесет ему потомства, он любит ее сильнее Красоты; этот ответ стоил его короне богатых нидерландских провинций, которые, вняв подстрекательствам Императора, вскоре восстали против Короля, руководимые фанатиками реформистской церкви.

Вся его супружеская жизнь с неистово-жгучими радостями и ужасной агонией ее внезапного конца сегодня, казалось, возвращалась к нему, когда он смотрел на Инфанту, играющую на террасе. Ей была присуща милая порывистость Королевы, она так же своевольно скидывала голову, так же горделиво кривила прекрасные губы, так же чудесно улыбалась, воистину *vrai sourire de France*<sup>1</sup>, когда время от времени поглядывала на окно или протягивала ручку для поцелуя величавым испанским придворным. Но громкий смех детей резал ему ухо, и яркое безжалостное солнце потешалось над его печалью, и неясный запах тех странных снадобий, которые применяются при бальзамировании, осквернял — или ему только это чудилось — чистый утренний воздух. Он закрыл лицо руками, и когда Инфанта вновь подняла глаза, занавесь была задернута и Король уже удался.

Она строила разочарованную гримаску и пожала плечами. Король, конечно, мог бы побыть с нею в день ее рождения. Кому нужны эти глупые государственные дела? Или же он направился в ту мрачную часовню, где всегда горят свечи и куда ее никогда не пускают? Как это нелепо — ведь ярко светит солнце, и все так счастливы! И потом, он пропустит шуточный бой быков, на который уже зовет труба, не говоря о кукольном театре и прочих чудесах. То ли дело ее дядя и Великий Инквизитор! Они вышли на террасу и наговорили ей милых комплиментов. И вот, вскинув головку, она взяла дон Педро под руку и, спустившись по ступеням, медленно пошла к большому шатру пурпурного шелка, а другие дети, пропуская вперед более знатных, последовали за нею, и первыми шли те, кто носил самые длинные имена.

Навстречу ей вышла процессия юных дворян, одетых в фантастические костюмы тореадоров, и молодой граф

---

<sup>1</sup> Настоящей французской улыбкой (фр.).

Тьерра-Нуэва, поразительно красивый отрок лет четырнадцати, обнажив голову со всей грацией урожденного испанского идадьго и гранда, торжественно подвел ее к маленькому креслу из золота и слоновой кости, стоявшему на помосте над ареной. Дети, перешептываясь и обмахиваясь веерами, встали вокруг, а дон Педро и Великий Инквизитор, посмеиваясь, остановились у входа. Даже Герцогиня — или, как называли ее, Старшая Камерера — сухопарая дама с резкими чертами лица, в платье с жестким плоским воротником, и та, казалось, пребывала не в столь скверном настроении, как обычно, и подобие ледяной улыбки промелькнуло на ее сморщенном лице и pokrивило ее тонкие, бескровные губы.

Бой быков, по мнению Инфанты, великолепно удался и был куда лучше настоящего, который она видела в Севилье, когда к ее отцу приехал Герцог Пармский. Одни мальчики гарцевали на покрытых роскошными чепраками игрушечных лошадках и потрясали длинными копьями, к которым были привязаны яркие, пестрые ленты; другие, спешившись, помахивали перед быком алыми плащами, а когда он бросался на них — легко перепрыгивали через барьер; что до самого быка, он был совсем как настоящий, хотя сделан был из плетеных прутьев, на которые натянули шкуру, и то и дело норовил встать на задние ноги, что и в голову не придет живому быку. Этот бык бился просто великолепно, и дети пришли в такой восторг, что повскакали на скамьи и, размахивая кружевными платками, закричали: «Bravo toro! Bravo toro!»<sup>1</sup> — столь же уместно, сколь это делают взрослые. В конце концов, после продолжительного боя, в ходе которого несколько игрушечных лошадок были подняты на рога, а их хозяева спешили, юный граф Тьерра-Нуэва все же повалил быка на колени и, получив разрешение Инфанты нанести coup de grâce<sup>2</sup>, вонзил деревянную шпагу в шею животного с такой силой, что голова отвалилась и показалось смеющееся личико маленького мосье де Лоррена, сына французского Посланника в Мадриде.

Затем раздались громкие рукоплескания, арену очистили, и два пажа-мавра в черно-желтых ливреях торжественно выволокли павших игрушечных лошадок, а после корот-

---

<sup>1</sup> Bravo, бык! Bravo, бык! (исп.) — традиционный возглас поощрения во время корриды.

<sup>2</sup> Букв.: удар милосердия (фр.). Удар, которым добивают умирающее животное.

кой интерлюдии, во время которой французский жонглер показал свое искусство на туго натянутом канате, на сцене маленького театра, нарочно построенного с этой целью, итальянские марионетки разыграли полуклассическую трагедию «Софонисба». Они играли так хорошо и движения их были столь естественны, что к концу представления на глазах Инфанты навернулись слезы. Некоторые дети даже плакали по-настоящему, и их пришлось утешить сладостями, и даже сам Великий Инквизитор, расчувствовавшись, признался дону Педро, что ему кажется невыносимым, чтобы простые куклы из дерева и крашеного воска, да вдобавок управляемые проволочками, были столь несчастны и обречены на такие ужасные невзгоды.

Потом появился африканский фокусник, который вынес большую плоскую корзину, накрытую красной тканью, и, поставив ее посреди арены, извлек из своего тюрбана диковинную тростниковую дудочку и подул в нее. Вдруг ткань зашевелилась, дудочка заиграла громче — и вот две золотисто-зеленые змеи выставили свои странные клинообразные головки и стали медленно подниматься, разворачиваясь, подобно водорослям на дне. Однако детей испугали их пятнистые капюшоны и быстрые жала, и им было куда приятнее, когда по воле фокусника из песка выросло апельсиновое деревце, на котором появились белые цветы и настоящие плоды; а когда он взял веер у маленькой дочки маркиза де Ла-Торрес и превратил его в синюю птицу, восторгу и изумлению детей не было предела. Очарователем был и торжественный менуэт, исполненный маленькими танцорами из церкви Нуэстра Сеньора дель Пилар. Никогда прежде не видела Инфанта этой чудесной церемонии, происходящей каждый год в мае перед высоким алтарем пресвятой Девы и в ее честь: дело в том, что никто из испанской королевской семьи не переступил порога сарагосского собора с тех пор, когда обезумевший священник, подкупленный, как полагали многие, Елизаветой Английской, попытался подать отравленную облатку Принцу Астурийскому. Поэтому Инфанта только понаслышке знала о «танце во славу девы Марии», как его именовали, а это, несомненно, было прекрасное зрелище. На мальчиках были старомодные придворные костюмы белого бархата, серебряная бахрома и большие плюмажи из страусовых перьев украшали их диковинные треуголки, и пока они танцевали под ярким солнцем, их смуглые лица и длинные черные волосы еще сильнее под-



черкивали ослепительную белизну их нарядов. Все были очарованы важностью и достоинством, с которыми они исполняли замысловатые фигуры танца, изысканным изяществом их движений и плавными поклонами, и, когда, окончив танец, они сняли свои великолепные шляпы с перьями перед Инфантой, что она милостиво приняла и дала обет отправить к алтарю Богоматери дель Пилар большую восковую свечу в благодарность за удовольствие, которое та ей доставила.

Потом на арену вышли египтянки — так тогда называли цыганок, — сели, скрестив ноги, в кружок и начали тихо наигрывать на цитрах, покачиваясь в такт музыке и едва слышно напевая тихую задумчивую мелодию. Когда они заметили дон Педро, то нахмурились, а иные и испугались, потому что не прошло и месяца, как он повесил двух их соплеменниц за колдовство на рыночной площади Севильи, но их обворожила маленькая Инфанта, которая откинулась в кресле и глядела на них из-за веера своими большими голубыми глазами, и они уверились в том, что такое прелестное создание, как она, не может быть жестока ни с кем. Потому они продолжали чуть слышно играть, едва касаясь струн пальцами с длинными острыми ногтями, и их головы то и дело падали, будто их клонило ко сну. Внезапно, с громким криком, от которого все дети вздрогнули, а дон Педро схватился за агатовую рукоять кинжала, они вскочили на ноги и, потрясая бубнами, безумным вихрем понеслись по кругу и запели какую-то варварскую любовную песню на своем странном гортанном языке. Затем, снова издав клич, они опять бросились на землю и лежали совершенно неподвижно — тишину нарушало только тихое бречание цитр. Так повторилось еще несколько раз, а потом они на мгновение удалились и вернулись, ведя за собою на цепи косматого бурого медведя и неся на плечах маленьких барбарийских обезьянок. Медведь, сохраняя величайшее достоинство, стоял на голове, а обезьянки со сморщенными личиками выделывали забавные штуки с двумя цыганятами, которые, видно, были их хозяевами, — бились на крохотных шпагах, стреляли из мушкетов, изображая крохотных королевских гвардейцев. В общем, цыгане имели огромный успех.

Но самой потешной частью всего утреннего представления, несомненно, был танец маленького Карлика. Когда он вышел на арену, спотыкаясь, переваливаясь на кривых ножках и мотая из стороны в сторону огромной уродливой

головой, дети громко закричали от восторга, и сама Инфанта так смеялась, что Камерера вынуждена была напомнить ей, что, хотя в Испании было множество случаев, когда дочь Короля плакала в присутствии равных ей, не случилось еще такого, чтобы Принцесса королевской крови так веселилась в присутствии тех, кто ниже ее по рождению. Однако Карлик действительно был совершенно неотразим, и даже при Испанском Дворе, славившемся своим утонченным пристрастием к ужасам, еще никогда не видывали такого фантастического уродца. Кроме того, это было первое его выступление. Днем раньше двое придворных, которым случилось охотиться в глухом пробковом лесу, окружавшем город, обнаружили Карлика, когда тот стремглав бежал через чашу, и доставили его во дворец как сюрприз для Инфанта; его отец, бедный угольщик, был только рад отделаться от столь уродливого и бесполезного отпрыска. Быть может, всего забавнее в Карлике было то, что он знать не знал о своей гротескной наружности. Казалось даже, что он совершенно счастлив и находится в самом бодром расположении духа. Когда смеялись дети, он смеялся вместе с ними, столь же свободно и от души, а в конце каждого танца отвечивал зрителям презабавные поклоны, улыбаясь и кивая им, как если бы он был одним из них, а не маленьким уродцем, которого Природа из шалости сотворила на потеху другим. Инфанта совершенно пленила его. Он глаз от нее не мог отвести и, казалось, плясал для нее одной, и когда в конце представления Инфанта, вспомнив, как на ее глазах знатные придворные дамы бросали букеты знаменитому итальянскому дисканту Каффарелли, которого Папа Римский прислал из своей капеллы в Мадрид, чтобы он своим сладостным пением излечил Короля от меланхолии, вынула из волос прекрасную белую розу и отчасти шутки ради, отчасти чтобы подразнить Камереру, нежно улыбаясь, бросила цветок на арену, то Карлик воспринял это с полной серьезностью, прижал розу к толстым своим, безобразным губам, приложил руку к сердцу, стал перед Инфантой на одно колено, улыбаясь во весь рот, и его маленькие блестящие глазки засверкали от удовольствия.

Это настолько вывело Инфанту из равновесия, что она еще долго смеялась, после того как маленький Карлик убежал с арены, и выразила своему дяде желание, чтобы танец был немедленно повторен. Однако Камерера, сославшись на усиливающийся зной, решила, что будет лучше, если Ее Величество незамедлительно проследует во Дворец,

где ее уже ожидает великолепный пир, в том числе и самый настоящий праздничный пирог, на котором разноцветным сахаром выведены ее инициалы, а на верхушке поставлен хорошенький серебряный флажок. Поэтому Инфанта с большим достоинством встала и, распорядившись, чтобы маленький Карлик танцевал перед ней после снесты, выразила свою благодарность юному графу Тьерра-Нуэва за прекрасный прием и удалилась в свои покои, а дети удалились за нею в том же порядке, в каком пришли.

Карлик же, слышавший, что он должен во второй раз танцевать перед Инфантой, к тому же по ее настойчивому требованию, был так горд, что убежал в сад, в нелепом восторге целуя белую розу и выражая свою радость самыми неуклюжими и нескладными жестами.

Цветы были крайне возмущены его бесцеремонным вторжением в их прекрасную обитель, а когда увидели, как он носится по аллеям и несуразно размахивает над головой руками, то не смогли больше сдерживать свое негодование.

— Недопустимо, чтобы такой урод играл рядом с нами! — воскликнули Тюльпаны.

— Напоить его маковым соком — пусть спит тысячу лет, — промолвили большие алые Лилии и так и запыхали от злости.

— Вот так чудище! — завизжал Кактус. — Недомерок скрюченный! Голова как тыква — при таких-то ножках! У меня колючки так и чешутся: пусть только подойдет, я пушу их в ход.

— А в руках-то у него мой лучший цветок, — воскликнул Куст Белых Роз. — Сегодня утром я сам подарил его Инфанте на день рождения, а он украл. — И Куст завопил что есть мочи: — Держи вора! Держи вора!

Даже красивые Герани, которые обычно не важничали и, как известно, сами имели множество бедных родственников, и те, увидев Карлика, сморщились от отвращения, а когда Фиалки кротко заметили, что, хотя Карлик и выглядит в высшей степени непривлекательно, он в этом неповинен, Герани с полным правом возразили, что в том-то и заключается его главный недостаток и если кто-то неизлечим, это еще не основание, чтобы им восхищаться; да и некоторые Фиалки сами понимали, что уродство маленького Карлика уж чересчур откровенное и что он обнаружил бы

куда больше вкуса, если бы погрузился в печаль или по меньшей мере в задумчивость, вместо того чтобы весело скакать и принимать столь гротескные и несуразные позы.

Что до старых Солнечных Часов, которые представляли собой весьма замечательную личность и показывали время дня самому Императору Карлу Пятому, то они были настолько ошарашены наружностью маленького Карлика, что чуть не забыли отмерить целых две минуты своим длинным тенистым пальцем, и, не сдержавшись, заметили большому молочно-белому павлину, гревшемуся на солнышке на балюстраде, что, как каждому известно, королевские дети — и сами короли, а дети угольщиков — угольщиками и останутся и что нелепо делать вид, будто это не так; павлин целиком и полностью согласился с этим мнением и даже прокричал: «Еще бы, еще бы!» — столь пронзительно, что золотые рыбки, обитавшие в прохладном фонтане, высунули головы из воды и спросили у больших каменных тритонов, на какой это почве возник спор.

А вот птицам он почему-то понравился. Они часто видели, как он, приплясывая подобно эльфу, гонялся в лесу за кружащимися листьями или залезал в дупло старого дуба и делился орехами с белками. Его уродство их не смущало. Ведь даже сам соловей, который так сладко поет по ночам в апельсиновых рощах, что порою Луна опускается пониже, чтобы его послушать, и тот, в конце концов, невесть как красив; а кроме того, Карлик был к ним добр и в ту страшную морозную зиму, когда не осталось ягод на кустах, и как железо застыла земля, и волки приходили к самым городским воротам в поисках пищи, — в ту пору он ни разу не забыл о птицах, но всегда крошил им свой черный ломоть и делил с ними самый свой бедный завтрак.

Поэтому птицы вились вокруг маленького Карлика и, пролетая мимо, касались его щеки крыльями и щебетали, а маленькому Карлику было так весело, что он показал им свою прекрасную белую розу и рассказал им, что цветок ему дала сама Инфанта, потому что полюбила его.

Они не поняли ни единого его слова, но это не имело никакого значения — ведь они наклоняли головы набок и принимали умный вид, а это ничуть не хуже, чем что-то понимать, и куда как проще.

Ящерицам он тоже очень понравился, и, когда, устав от беготни, он бросился на траву, они принялись играть и возиться на нем и изо всех сил старались его развлечь. «Не всем дано быть такими же красивыми, как ящерицы, —

шумели они. — Это было бы чересчур. Пусть это звучит нелепо, но он, по сути дела, не так уж уродлив, особенно если закрыть глаза и на него не смотреть». Ящерицы по природе своей были философами и часто проводили целые часы в размышлениях — когда больше нечего было делать или приходилось прятаться от дождя.

Однако Цветы были весьма раздражены поведением ящериц и птиц. «Отсюда ясно, — говорили они, — как неприлична вся эта беготня и суета. Воспитанные люди стоят на месте, как мы. Кто видел, чтобы мы скакали по дорожкам или носились как безумные по газонам за стрекозами? Если нам хочется переменить обстановку, мы посылаем за садовником, и он переносит нас на другую клумбу. Это и благородно, и прилично. Но птицам и ящерицам не хватает усидчивости, а у птиц даже постоянного адреса нет. Это попросту бродяги, вроде цыган, и обращаться с ними следует точно так же». Тут цветы задрали носы с высокомерным видом и были совершенно счастливы, когда через некоторое время убедились, что маленький Карлик неуклюже поднимается с травы и через террасу направляется к Дворцу.

— Лучше бы он сидел взаперти до конца дней, — сказали они. — Вы только посмотрите на его горбатую спину и кривые ножки. — И они захихикали.

Но маленький Карлик обо всем этом и не подозревал. Он очень любил птиц и ящериц, а про цветы думал, что они — самые чудесные создания на свете, разумеется, после Инфанты, но она ведь подарила ему прекрасную белую розу и полюбила его, а это совсем другое дело. Вот бы оказаться рядом с нею! Она бы посадила его справа от себя, и он всегда был бы поблизости, и играл бы с ней, и научил бы ее разным чудесным проделкам. Ибо, хотя прежде он ни разу не бывал во Дворце, он знал множество удивительных вещей. Он мог построить из тростника крошечные клетки и посадить в них стрекожущих кузнечиков или смастерить из длинных трубок бамбука свирель, которую любит слушать пан. Он знал голоса всех птиц, и на его зов слетали с верхушки дерева скворцы и с озера прилетала цапля. Он ведал следы всех зверей и узнавал зайца по нежным отпечаткам лапок, а кабана — по истоптанной листве. Знал он и все танцы природы: неистовую осеннюю пляску в багровых одеждах, невесомый танец в голубых сандалиях на ниве, зимний танец в белых венчиках снега, и танец цветения в весенних садах. Он знал, где выют гнезда дикие голуби,

и как-то раз, когда птицелов поймал в силок голубей-родителей, он сам выкормил птенцов и устроил для них маленькую голубятню в дупле подстриженного вяза. Он приучил птенцов, и каждое утро они ели из его рук. Они понравятся Принцессе, как и кролики, спующие в высоких папоротниках, и черноклювые сойки в отливающем сталью оперении, и ежи, умеющие свернуться колючим клубком, и большие мудрые черепахи, которые неторопливо переползают с места на место, кивая головой и пощипывая молодую травку. Да, Инфанта непременно должна прийти в лес и поиграть с ним. Он уступит ей свою кровать, а сам до зари просидит под окном, оберегая ее от свирепых лосей и не подпуская к хижине тощих волков. А на заре он постучит в ставни и разбудит ее, и они уйдут в лес и будут плясать там до вечера. Ведь в лесу вовсе не пусто! Порой проедет через лес на своем белом муле Епископ, читая книгу с разноцветными буквицами. Порой пройдут сокольничьи в зеленых бархатных шляпах и куртках из дубленой оленьей шкуры, держа на руке соколов в колпачках. Созреет виноград, и появятся в лесу давилыщики с красными от сока руками и ногами, в венках из глянцевого плюща, и понесут мехи, сочащиеся вином; и угольщики рассыдутя ночью вокруг огромных жаровен, глядя на медленно обугливающиеся на огне сухие поленья и жаря в золе каштаны, и выберутся из пещер разбойники и будут веселиться вместе с ними. А однажды маленький Карлик видел великолепную процессию, по пыльной извилистой дороге направляющуюся в Толедо. Впереди с песнопениями шли монахи, неся разноцветные хоругви и золотые распятия, за ними в серебристой броне, с мушкетами и пиками шагали солдаты, а между ними выступали босиком трое в странных желтых одеждах, разрисованных удивительными ликами, и с горящими свечами в руках. Конечно же, в лесу есть на что подивиться, а когда Инфанта устанет, он уложит ее на мягкий мох или понесет ее на руках, потому что он очень сильный, хотя и знает, что не вышел ростом. Он сделает ей ожерелье из красных ягод брионии — они ничуть не хуже тех белых ягод, что украшают ее платье, а когда ей надоест это ожерелье, пусть выбросит: он отыщет других ягод. Он принесет ей чашечки желудей, и покрытые росой анемоны, и маленьких светлячков, чтобы они, как звездочки, засияли в бледном золоте ее волос.

Но где она? Он спросил у белой розы, но она не ответила. Казалось, весь Дворец спит, и даже там, где ставни не были

затворены, тяжелые занавеси наглухо закрывали окна от ослепительного света. Маленький Карлик побродил вокруг Дворца в поисках входа и наконец заметил оставшуюся открытой маленькую дверцу. Он проскользнул внутрь и очутился в великолепном зале, увы, куда более великолепно, чем лес: золота здесь было гораздо больше, и даже пол был покрыт разноцветными каменными плитами, образовывавшими геометрический узор. Но маленькой Инфанты не было — лишь чудесные белые статуи взирали на него с яшмовых пьедесталов печальными пустыми глазами и кривили губы в странной улыбке.

В глубине зала висел богато расшитый занавес черного бархата, испещренный солнцами и лунами, излюбленными эмблемами Короля, вышитыми по ткани его любимого цвета. Быть может, она прячется там? Так или иначе, надо проверить.

И вот он тихонько пересек зал и отдернул занавес. Нет, за занавесом начинался новый зал, хотя и красивее, как ему подумалось, чем тот, из которого он только что вышел. Стены здесь были увешаны зелеными гобеленами ручной работы, со множеством фигур, изображавших сцену охоты, — произведение фламандских мастеров, потративших на этот труд более семи лет. Некогда это была спальня Jean Le Fou<sup>1</sup>, как его прозвали, — безумного Короля, который так любил охоту, что нередко пытался в бреду оседлать могучих, вставших на дыбы коней и, трубя в охотничий рог, поразить кинжалом убегающего бледно-зеленого оленя. Теперь в этих покоях заседал Совет, и на стоявшем посередине столе лежали красные портфели министров с оттиснутыми на них золотыми тюльпанами Испании и гербами и эмблемами дома Габсбургов.

Маленький Карлик в изумлении оглядывался по сторонам и не сразу решился идти дальше. Странные молчаливые всадники, быстро и бесшумно мчавшиеся по широким полянам, напомнили ему о тех ужасающих фантомах, про которые рассказывали угольщики, — о компрачос, которые охотятся только по ночам, а встретив человека, превращают его в оленя и устраивают за ним погоню. Но тут маленький Карлик вспомнил об Инфанте и собрался с духом. Он хотел застать ее одну и сказать ей, что он тоже любит ее. Быть может, она в соседней комнате?

Пробежав через зал по мягким мавританским коврам,

---

<sup>1</sup> Жана Безумного (фр.).

он отворил дверь. Нет! И здесь ее не было. Следующий зал был пуст.

То был тронный зал, где принимали иноземных послов, когда Король — что в последнее время случалось нечасто — соглашался дать им аудиенцию, тот самый зал, куда много лет назад явились посланцы из Англии, чтобы стовориться о браке их Королевы, тогда еще — одной из католических монархинь Европы, со старшим сыном Императора. Стены были обиты позолоченной кордовской кожей, а под черным в белую клетку потолок висела тяжелая золоченая люстра на триста восковых свечей. Под большим золотым балдахином, по которому мелким жемчугом были вышиты львы и башни Кастилии, стоял трон, покрытый черным бархатом, который был усеян серебряными тюльпанами и искусно окаймлен серебром и жемчугами. На второй ступени трона стояла скамеечка с подушкой из серебристой ткани, на которую вставала на коленях Инфанта, а еще ниже, в отдалении от балдахина, помещалось кресло Папского Нунция, который один имел право сидеть в присутствии Короля во время любого публичного церемониала; его кардинальская шапка с плетеными алыми кистями лежала перед креслом на красном табурете. На стене лицом к трону висел портрет, изображавший Карла V во весь рост, в охотничьем костюме и с большим мастифом, а середину другой стены занимала картина, на которой Филипп II принимал вассальную дань Нидерландов. Между окон стоял секретер черного дерева, инкрустированный слоновой костью, на котором была выгравирована Гольбейнова «Пляска смерти», притом, как говорили, рукою самого знаменитого мастера.

Но маленький Карлик остался безразличен ко всему этому великолепию. Он не отдал бы своей розы за все жемчуга на балдахине и одного белого лепестка — за весь трон. Он хотел только увидеть Инфанту, прежде чем она придет в шатер, и попросить ее уйти вместе с ним, когда он закончит танец. Здесь, во Дворце, воздух удушливый и тяжелый, а в лесу вее вольный ветер и солнечный свет чуткими золотыми пальцами раздвигает трепещущую листву. И потом, в лесу есть цветы, пусть не такие великолепные, как в парке, но пахнут они нежнее: ранней весной — гиацинты, заливающие волной багрянца тенистые овражки и поросшие травой холмы; желтоватый первоцвет, которым поросли дубовые корни; яркий чистотел, голубая вероника и сиреневые и золотые ирисы. На орешнике — серые сережки, а наперстянка гнется под тяжестью пестрых чаше-



чек, так и притягивающих пчел. На каштане — белозвездные шпильки, а на боярышнике — прекрасные бледные луны. Ну, конечно же, она пойдет с ним, если только удастся ее разыскать! Она пойдет с ним в прекрасный лес, и день-деньской он будет танцевать для нее. Маленький Карлик вообразил это, улыбка зажглась в его глазах, и он вошел в следующую комнату.

Эта комната была наряднее и красивее других. Стены покрывал шелк из Лукки, весь в розовых цветах, птицах и прелестных серебряных бутонах; мебель литого серебра украшали гирлянды и венки с порхающими купидонами; перед двумя большими каминами стояли экраны, расшитые попугаями и павлинами, а пол из оникса цвета морской волны, казалось, простирается вдаль. Теперь он был не один. Он увидел, что кто-то смотрит на него, стоя в тени приоткрытой двери напротив. Сердце его дрогнуло, с губ сорвался крик радости, и он шагнул на яркий свет. В это время фигурка в глубине комнаты тоже шагнула вперед, и он ясно разглядел ее.

Инфанта! То было чудовище, самое гротескное чудовище, какое приходилось ему видеть. Не стройное, как другие люди, но горбатое и кривоногое, с огромной, болтающейся головой в гриве черных волос. Маленький Карлик нахмурился — нахмурилось и чудовище. Он засмеялся — засмеялось и оно и опустило руки точь-в-точь, как он сам. Он отвесил чудовищу насмешливый поклон — и оно ответило ему низким поклоном. Он пошел ему навстречу, и чудовище двинулось к нему, повторяя каждый его шаг и замирая, когда останавливался он. Маленький Карлик вскрикнул от изумления и побежал к чудовищу, и протянул руку, и коснулся руки чудовища, и была она холодна как лед. Испугавшись, он опустил руку, и оно повторило его движение. Он хотел было шагнуть вперед, но что-то гладкое и твердое преградило ему путь. Теперь лицо чудовища вплотную приблизилось к его лицу и, казалось, было полно ужаса. Он поднял рукою прядь со лба. Оно сделало то же. Он ударил чудовище, и оно ответило ударом на удар. Он исполнился ненависти, и оно скорчило в ответ отвратительную гримасу. Он сделал шаг назад, и оно отступило.

Кто это? Маленький Карлик задумался и обвел взглядом комнату. Странно, но все вокруг, казалось, имело своего двойника за этой невидимой стеной, прозрачной как вода. Да, ложу отвечало ложе, а картине — картина. У спящего Фавна, лежащего в алькове у дверей, был брат-

близнец, который тоже дремал, а озаренная солнцем серебряная Венера протягивала руки к Венере, столь же прелестной, как и она сама.

Не Эхо ли это? Однажды маленький Карлик окликнул Эхо в долине, и оно повторило за ним все слово в слово. Может ли оно вторить виду, как вторит голосу? Может ли оно сотворить мир подобий, неотличимый от мира действительного? Могут ли тени обрести цвет, и жизнь, и движение подлинных вещей? Может ли случиться так, что...

Он содрогнулся и, сняв с груди прекрасную белую розу, обернулся и поцеловал ее. У чудовища тоже была роза, такая же, как у него! Оно так же целовало ее и с омерзительными гримасами прижимало ее к сердцу.

Когда истина осенила его, он издал дикий вопль отчаяния и в слезах рухнул наземь. Так это он — уродливый, горбатый, гнусный на вид монстр. Он и есть чудовище, и это над ним потешались дети, и маленькая Принцесса, которая, как он верил, полюбила его, тоже просто насмеялась над его безобразием и издевалась над его кривыми ножками. Почему не оставили его в лесу, где нет зеркала, способного рассказать ему, как он мерзок? Почему отец не убил его, а продал на позор? Горячие слезы побежали по его щекам, и он разорвал на клочки белую розу. Осевшее на пол чудовище поступило так же и отшвырнуло слабые лепестки. Оно простерлось ниц, и, когда маленький Карлик посмотрел на него, лицо чудовища было искажено болью. Как раненое животное, Карлик со стоном отполз в тень.

В это мгновение с террасы вошла Инфанта со своими спутниками, и когда они увидели, что маленький уродец лежит и самым фантастическим и абсурдным образом колотит по полу сжатыми кулачками, все так и покатались со смеху и, окружив его, принялись его разглядывать.

— Танцевал он забавно, — сказала Инфанта, — а лицедействует еще забавнее. Право, он представляет не хуже марионеток, хотя, конечно, не так натурально.

И она принялась обмахиваться веером, а потом захлопала в ладоши.

Но маленький Карлик все не поднимал головы, а рыдания его делались все тише и тише, и вдруг он странно вздохнул и схватился за бок. Потом голова его вновь упала, и он остался недвижим.

— Превосходно, молодец! — сказала Инфанта, помолчав. — А теперь танцуй для меня.

— Да! — закричали дети. — Вставай и танцуй, ты ведь

такой же ловкий, как барбарийские обезьянки, только куда как потешней.

Но маленький Карлик не отвечал.

И Инфанта топнула ножкой, и позвала своего дядю, который прогуливался по террасе с Камергером и читал последние депеши из Мексики, где недавно учредили Святую Инквизицию.

— Мой смешной маленький Карлик дуется, — кричала она. — Растормоши его и вели ему танцевать для меня.

Дядя и Камергер улыбнулись друг другу и не спеша вошли в комнату, и дон Педро наклонился и похлопал Карлика по щеке вышитой перчаткой:

— Танцуй, — сказал он, — танцуй же, *petit monstre*<sup>1</sup>. Инфанте Испании и обеих Индий угодно развлечься.

Но маленький Карлик не шевелился.

— Надо его высечь, — устало сказал дон Педро и вышел на террасу.

Но Камергер нахмурился и стал на колени рядом с маленьким Карликом и приложил руку к его сердцу. А потом он пожал плечами, встал и с низким поклоном обратился к Инфанте:

— *Mi bella Princesa*<sup>2</sup>, ваш смешной Карлик никогда больше не будет танцевать. А жаль — ведь он так уродлив, что развеселил бы и самого Короля.

— Почему же он не будет больше танцевать? — улыбаясь, спросила Инфанта.

— Потому что сердце его разорвалось, — ответил Камергер.

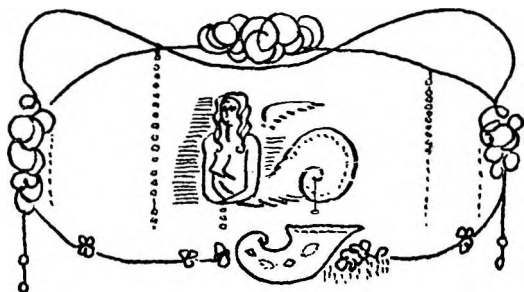
И Инфанта нахмурилась, и ее прелестные губки, подобные розовым лепесткам, покривились в очаровательной презрительной гримаске.

— Впредь да не будет сердца у тех, кто приходит со мной играть! — воскликнула она и убежала в сад.

---

<sup>1</sup> Уродец (фр.).

<sup>2</sup> Моя прекрасная принцесса (исп.).



## РЫБАК И ЕГО ДУША

Каждый вечер выходил молодой Рыбак на ловлю и забрасывал в море сети.

Когда ветер был береговой, у Рыбака ничего не ловилось или ловилось, но мало, потому что это злобный ветер, у него черные крылья, и буйные волны вздымаются навстречу ему. Но когда ветер был с моря, рыба поднималась из глубин, сама заплывала в сети, и Рыбак относил ее на рынок и там продавал ее.

Каждый вечер выходил молодой Рыбак на ловлю, и вот однажды такую тяжелою показалась ему сеть, что трудно было поднять ее в лодку. И Рыбак, усмехаясь, подумал: «Видно, я выловил из моря всю рыбу, или попало мне, на удивление людям, какое-нибудь глупое чудо морское, или моя сеть принесла мне такое страшилище, что великая наша королева пожелает увидеть его».

И, напрягая силы, он налег на грубые канаты, так что длинные вены, точно нити голубой эмали на бронзовой вазе, означились у него на руках. Он потянул тонкие бечевки, и ближе и ближе большим кольцом подплыли к нему плоские пробки, и сеть наконец поднялась на поверхность воды.

Но не рыба оказалась в сети, не страшилище, не подводное чудо, а маленькая Дева морская, которая крепко спала.

Ее волосы были подобны влажному золотому руно, и каждый отдельный волос был как тонкая нить из золота, опущенная в хрустальный кубок. Ее белое тело было как из слоновой кости, а хвост жемчужно-серебряный. Жемчужно-серебряный был ее хвост, и зеленые водоросли обвивали его. Уши ее были похожи на раковины, а губы — на морские кораллы. Об ее холодные груди бились холодные волны, и на ресницах ее искрилась соль.

Так прекрасна была она, что, увидев ее, исполненный восхищения юный Рыбак потянул к себе сети и, перегнувшись через борт челнока, охватил ее стан руками. Но только он к ней прикоснулся, она вскрикнула, как испугнутая чайка, и пробудилась от сна, и в ужасе взглянула на него аметистово-лиловыми глазами, и стала биться, стараясь вырваться. Но он не отпустил ее и крепко прижал к себе.

Видя, что ей не уйти, заплакала Дева морская.

— Будь милостив, отпусти меня в море, я единственная дочь Морского царя, и стар и одинок мой отец.

Но ответил ей юный Рыбак:

— Я не отпущу тебя, покуда ты не дашь мне обещания, что на первый мой зов ты поднимешься ко мне из глубины и будешь петь для меня свои песни: потому что нравится рыбам пение Обитателей моря, и всегда будут полны мои сети.

— А ты и вправду отпустишь меня, если дам тебе такое обещание? — спросила Дева морская.

— Воистину так, отпущу, — ответил молодой Рыбак.

И она дала ему обещание, которого он пожелал, и подкрепила свое обещание клятвою Обитателей моря, и разомкнул тогда Рыбак свои объятия, и, все еще трепеща от какого-то странного страха, она опустила на дно.

\* \* \*

Каждый вечер выходил молодой Рыбак на ловлю и звал к себе Деву морскую. И она поднималась из вод и пела ему свои песни. Вокруг нее резвились дельфины, и дикие чайки летали над ее головой.

И она пела чудесные песни. Она пела о Жителях моря, что из пещеры в пещеру гоняют свои стада и носят детенышей у себя на плечах; о Тритонах, зеленобородых, с волосатою грудью, которые трубят в витые раковины во время шествия Морского царя; о царском янтарном

чертоге — у него изумрудная крыша, а полы из ясного жемчуга; о подводных садах, где колышутся целыми днями широкие кружевные веера из кораллов, а над ними проносятся рыбы, подобно серебряным птицам; и льнут анемоны к скалам, и розовые пескари гнездятся в желтых бороздках песка. Она пела об огромных китах, приплывающих из северных морей, с колючими сосульками на плавниках; о Сиренах, которые рассказывают такие чудесные сказки, что купцы затыкают себе уши воском, чтобы не броситься в воду и не погибнуть в волнах; о затонувших галерах, у которых длинные мачты, за их снасти ухватились матросы, да так и закоченели навек, а в открытые люки всплывает макрель и свободно выплывает оттуда; о малых ракушках, великих путешественниках: они присасываются в киях кораблей и объезжают весь свет; о каракатицах, живущих на склонах утесов: она простирает свои длинные черные руки, и стоит им захотеть, будет ночь. Она пела о моллюске-наутилусе: у него свой собственный опаловый ботик, управляемый шелковым парусом; и о счастливых Тритонах, которые играют на арфе и чарами могут усыпить самого Осминога Великого; и о маленьких детях моря, которые поймают черепаху и со смехом катаются на ее скользкой спине; и о Девах морских, что нежатся в белеющей пене и простирают руки к морякам; и о моржах с кривыми клыками, и о морских конях, у которых развеивается грива.

И пока она пела, стаи тунцов, чтобы послушать ее, выплывали из морской глубины, и молодой Рыбак ловил их, окружая своими сетями, а иных убивал острогою. Когда же челнок у него наполнялся, Дева морская, улыбнувшись ему, погружалась в море.

И все же она избегала к нему приближаться, чтобы он не коснулся ее. Часто он молил ее и звал, но она не подплывала ближе. Когда же он пытался схватить ее, она ныряла, как ныряют тюлени, и больше в тот день не показывалась. И с каждым днем ее песни все сильнее пленяли его. Так сладостен был ее голос, что Рыбак забывал свой челнок, свои сети, и добыча уже не прельщала его. Мимо него проплывали целыми стаями золотоглазые, с алыми плавниками, тунцы, а он и не замечал их. Праздно лежала у него под рукой острога, и его корзины, сплетенные из ивовых прутьев, оставались пустыми. Полураскрыв уста и с затуманенным от упоения взором неподвижно сидел он в челноке, и слушал, и слушал, пока

не подкрадывались к нему туманы морские и блуждающий месяц не пятнал серебром его загорелое тело.

В один из таких вечеров он вызвал ее и сказал:

— Маленькая Дева морская, маленькая Дева морская, я люблю тебя. Будь моей женою, потому что я люблю тебя.

Но Дева морская покачала головой и ответила:

— У тебя чело­вечья душа! Прогони свою душу прочь, и мне можно будет тебя полюбить.

И сказал себе юный Рыбак:

— На что мне моя душа? Мне не дано ее видеть. Я не могу прикоснуться к ней. Я не знаю, какая она. И вправду: я прогоню ее прочь, и будет мне великая радость.

И он закричал от восторга и, встав в своем расписном челноке, протер руки к Деве морской.

— Я прогоню свою душу,— крикнул он,— и ты будешь моей юной женой, и мужем я буду тебе, и мы поселимся в пучине, и ты покажешь мне все, о чем пела, и я сделаю все, что захочешь, и жизни наши буду навек неразлучны.

И засмеялась от радости Дева морская, и закрыла лицо руками.

— Но как же мне прогнать мою душу? — закричал молодой Рыбак.— Научи меня, как это делается, и я выполню все, что ты скажешь.

— Увы! Я сама не знаю! — ответила Дева морская.— У нас, Обитателей моря, никогда не бывало души.

И, горестно взглянув на него, она погрузилась в пучину.

\* \* \*

На следующий день рано утром, едва солнце поднялось над холмом на высоту ладони, юный Рыбак подошел к дому Священника и трижды постучался в его дверь.

Послушник взглянул через решетку окна и, когда увидал, кто пришел, отодвинул засов и сказал:

— Войди!

И юный Рыбак вошел и преклонил колени на душистые тростники, покрывавшие пол, и обратился к Священнику, читавшему Библию, и сказал ему громко:

— Отец, я полюбил Деву морскую, но между мною и ею встала моя душа. Научи, как избавиться мне от души, ибо поистине она мне не надобна. К чему мне моя душа? Мне не дано ее видеть. Я не могу прикоснуться к ней. Я не знаю, какая она.

— Горе! Горе тебе, ты лишился рассудка. Или ты отравлен ядовитыми травами? Душа есть самое святое в человеке и дарована нам господом богом, чтобы мы достойно владели ею. Нет ничего драгоценнее, чем душа человеческая, и никакие блага земные не могут сравниться с нею. Она стоит всего золота на свете и ценнее царских рубинов. Поэтому, сын мой, забудь свои помыслы, ибо это неискупимый грех. А Обитатели моря прокляты, и прокляты все, кто вздумает с ними знаться. Они, как дикие звери, не знают, где добро и где зло, и не за них умирал Искупитель.

Выслушав жестокое слово Священника, юный Рыбак разрыдался и, поднявшись с колен, сказал:

— Отец, Фавны обитают в чаще леса — и счастливы! и на скалах сидят Тритоны с арфами из червонного золота. Позволь мне быть таким, как они, — умоляю тебя! — ибо жизнь их как жизнь цветов. А к чему мне моя душа, если встала она между мной и той, кого я люблю?

— Мерзостна плотская любовь! — нахмурив брови, воскликнул Священник. — И мерзостны и пагубны те твари языческие, которым господь попустил блуждать по своей земле. Да будут прокляты Фавны лесные, и да будут прокляты эти морские певцы! Я сам их слышал по ночам, они тщились меня обольстить и отторгнуть меня от моих молитвенных четок. Они стучатся ко мне в окно и хохочут. Они шептывают мне в уши слова о своих погибельных радостях. Они искушают меня искушениями, и, когда я хочу молиться, они корчат мне рожи. Они погибшие, говорю я тебе, и воистину им никогда не спастись. Для них нет ни рая, ни ада, и ни в раю, ни в аду им не будет дано славословить имя господне.

— Отец! — вскричал юный Рыбак. — Ты не знаешь, о чем говоришь. В сети мои уловил я недавно Морскую царевну. Она прекраснее, чем утренняя звезда, она белее, чем месяц. За ее тело я отдал бы душу и за ее любовь откажусь от вечного блаженства в раю. Открой же мне то, о чем я тебя молю, и отпусти меня с миром.

— Прочь! — закричал Священник. — Та, кого ты любишь, отвергнута богом, и ты будешь вместе с нею отвергнут.

И не дал ему благословения, и прогнал от порога своего.

И пошел молодой Рыбак на торговую площадь, и медленна была его поступь, и голова была опущена на грудь, как у того, кто печален.



И увидели его купцы и стали меж собою шептаться, и один из них вышел навстречу и, окликнув его, спросил:

— Что ты принес продавать?

— Я продам тебе душу,— ответил Рыбак.— Будь добр, купи ее, ибо она мне в тягость. К чему мне душа? Мне не дано ее видеть. Я не могу прикоснуться к ней. Я не знаю, какая она.

Но купцы посмеялись над ним.

— На что нам душа человеческая? Она не стоит ломаного гроша. Продай нам в рабство тело твое, и мы облачим тебя в пурпур и украсим твой палец перстнем, и ты будешь любимым рабом королевы. Но не говори о душе, ибо для нас она ничто и не имеет цены.

И сказал себе юный Рыбак:

— Как это все удивительно! Священник убеждает меня, что душа ценнее, чем все золото в мире, а вот купцы говорят, что она не стоит и гроша.

И он покинул торговую площадь, и спустился на берег моря, и стал размышлять о том, как ему надлежит поступить.

\* \* \*

К полудню он вспомнил, что один его товарищ, собиратель морского укропа, рассказывал ему о некоей искусной в делах колдовства юной Ведьме, живущей в пещере у входа в залив. Он тотчас вскочил и пустился бежать, так ему хотелось поскорее избавиться от своей души, и облако пыли бежало за ним по песчаному берегу. Юная Ведьма узнала о его приближении, потому что у нее почесалась ладонь, и с хохотом распустила свои рыжие волосы. И, распустив свои рыжие волосы, окружившие все ее тело, она встала у входа в пещеру, и в руке у нее была цветущая ветка дикой цыкуты.

— Чего тебе надо? Чего тебе надо? — закричала она, когда, изнемая от бега, он взобрался вверх и упал перед ней.— Не нужна ли сетям твоим рыба, когда буйствует яростный ветер? Есть у меня камышовая дудочка, и стоит мне дунуть в нее, голавли заплывают в залив. Но это не дешево стоит, мой хорошенький мальчик, это не дешево стоит. Чего тебе надо? Чего тебе надо? Не надобен ли тебе ураган, который разбил бы суда и выбросил бы на берег сундуки с богатым добром? Мне подвластно больше ураганов, чем ветру, ибо я служу тому, кто сильнее, чем ветер, и одним только ситом и ведерком воды я могу

отправить в пучину морскую самые большие галеры. Но это не дешево стоит, мой хорошенький мальчик, это не дешево стоит. Чего тебе надо? Чего тебе надо? Я знаю цветок, что растет в долине. Никто не знает его, одна только я. У него пурпурные лепестки, и в его сердце звезда, и молочно-бел его сок. Прикоснись этим цветком к непреклонным устам королевы, и на край света пойдет за тобою она. Она покинет ложе короля и на край света пойдет за тобою. Но это не дешево стоит, мой хорошенький мальчик, это не дешево стоит. Чего тебе надо? Чего тебе надо? Я в ступе могу истолочь жабу, и сварю из нее чудесное снадобье, и рукою покойника помешаю его. И когда твой недруг заснет, брызни в него этим снадобьем, и обратится он в черную ехидну, и родная мать раздавит его. Моим колесом я могу свести с неба Луну и в кристалле покажу тебе Смерть. Чего тебе надо? Чего тебе надо? Открой мне твое желание, и я исполню его, и ты заплатишь мне, мой хорошенький мальчик, ты заплатишь мне красную цену.

— Невелико мое желание,— ответил юный Рыбак,— но Священник разгневался на меня и прогнал меня прочь. Малого я желаю, но купцы осмеяли меня и отвергли меня. Затем и пришел я к тебе, хоть люди и зовут тебя злою. И какую цену ты ни спросишь, я заплачу тебе.

— Чего же ты хочешь? — спросила Ведьма и подошла к нему ближе.

— Избавиться от своей души,— сказал он.

Ведьма побледнела, и стала дрожать, и прикрыла лицо синим плащом.

— Хорошенький мальчик, мой хорошенький мальчик,— пробормотала она,— страшного же ты захотел!

Он тряхнул своими темными кудрями и засмеялся в ответ.

— Я отлично обойдусь без души. Ведь мне не дано ее видеть. Я не могу прикоснуться к ней. Я не знаю, какая она.

— Что же ты дашь мне, если я научу тебя? — спросила Ведьма, глядя на него сверху вниз прекрасными своими глазами.

— Я дам тебе пять золотых, и мои сети, и расписной мой челнок, и тростниковую хижину, в которой живу. Только скажи мне скорее, как избавиться мне от души, и я дам тебе все, что имею.

Ведьма захохотала насмешливо и ударила его веткой цикуты.

— Я умею обращать в золото осенние листья, лунные

лучи могу превратить в серебро. Всех земных царей богаче тот, кому я служу, и ему подвластны их царства.

— Что же я дам тебе, если тебе не нужно ни золота, ни серебра?

Ведьма погладила его голову тонкой и белой рукой.

— Ты должен сплясать со мною, мой хорошенький мальчик,— тихо прошептала она и улыбнулась ему.

— Только и всего? — воскликнул юный Рыбак в изумлении и тотчас вскочил на ноги.

— Только и всего,— ответила она и снова улыбнулась ему.

— Тогда на закате солнца, где-нибудь в укромном местечке, мы спляшем с тобою вдвоем,— сказал он,— и сейчас же, чуть кончится пляска, ты откроешь мне то, что я жажду узнать.

Она покачала головою.

— В полнолуние, в полнолуние,— прошептала она.

Потом она оглянулась вокруг и прислушалась. Какая-то синяя птица с диким криком взвилась из гнезда и закружила над дюнами, и три пестрые птицы зашуршали в серой и жесткой траве и стали меж собой пересвистываться. И больше не было слышно ни звука, только волны плескались внизу, перекатывая у берега гладкие камешки. Ведьма протянула руку и привлекла своего гостя к себе и в самое ухо шепнула ему сухими губами:

— Нынче ночью ты должен прийти на вершину горы. Нынче Шабаш, и Он будет там.

Вздрыгнул юный Рыбак, поглядел на нее, она оскалила белые зубы и засмеялась опять.

— Кто это Он, о ком говоришь ты? — спросил у нее Рыбак.

— Не все ли равно? Приходи туда нынче ночью и встань под ветвями белого граба и жди меня. Если набросится на тебя черный пес, ударь его ивовой палкой,— и он убежит от тебя. И если скажет тебе что-нибудь филин, не отвечай ему. В полнолуние я приду к тебе, и мы пропляшем вдвоем на траве.

— Но можешь ли ты мне поклясться, что тогда ты научишь меня, как избавиться мне от души?

Она вышла из пещеры на солнечный свет, и рыжие ее волосы заструились под ветром.

— Клянусь тебе копытами козла! — ответила она.

— Ты самая лучшая ведьма! — закричал молодой Рыбак.— И, конечно, я приду и буду с тобой танцевать

нынче ночью на вершине горы. Поистине я предпочел бы, чтобы ты спросила с меня серебра или золота. Но если такова твоя цена, ты получишь ее, ибо она не велика.

И, сняв шапку, он низко поклонился колдунье и, исполненный великою радостью, побежал по дороге в город.

А Ведьма не спускала с него глаз, и, когда он скрылся из вида, она вернулась в пещеру и, вынув зеркало из резного кедрового ларчика, поставила его на подставку и начала жечь перед зеркалом на горящих угольях вербену и вглядываться в клубящийся дым.

Потом в бешенстве стиснула руки.

— Он должен быть моим, — прошептала она. — Я так же хороша, как и та.

\* \* \*

Едва только показалась луна, взобрался юный Рыбак на вершину горы и стал под ветвями граба. Словно металлический полированный щит, лежало у ног его округлое море, и тени рыбацких лодок скользили вдали по заливу. Финн, огромный, с желтыми глазами, окликнул его по имени, но он ничего не ответил. Черный рычащий пес набросился на него; Рыбак ударил его ивовой палкой, и, взвизгнув, пес убежал.

К полночи, как летучие мыши, стали слетаться ведьмы.

— Фью! — кричали они, чуть только спускались на землю. — Здесь кто-то чужой, мы не знаем его!

И они нюхали воздух, перешептывались и делали какие-то знаки. Молодая Ведьма явилась сюда последней, и рыжие волосы ее струились по ветру. На ней было платье из золотой парчи, расшитое павлиньими глазками, и маленькая шапочка из зеленого бархата.

— Где он? Где он? — заголосили ведьмы, когда увидели ее, но она только засмеялась в ответ, и подбежала к белому грабу, и схватила Рыбака за руку, и вывела его на лунный свет, и принялась танцевать.

Они оба кружились вихрем, и так высоко прыгала Ведьма, что были ему видны красные каблучки ее башмаков. Вдруг до слуха танцующих донесся топот коня, но коня не было видно нигде, и Рыбак почувствовал страх.

— Быстрее! — кричала Ведьма и, обхватив его шею руками, жарко дышала в лицо. — Быстрее! Быстрее! — кричала она, и, казалось, земля завертелась у него под ногами, в голове у него помутилось, и великий ужас напал на него, будто под взором какого-то злобного дьявола, и

наконец он заметил, что под сенью утеса скрывается кто-то, кого раньше там не было.

То был человек, одетый в бархатный черный испанский костюм. Лицо у него было до странности бледно, но уста его были похожи на алый цветок. Он казался усталым и стоял, прислонившись к утесу, небрежно играя рукоятью кинжала. Невдалеке на траве виднелась его шляпа с пером и перчатками для верховой езды. Они были оторочены золотыми кружевами, и мелким жемчугом был вышит на них какой-то невиданный герб. Короткий плащ, обшитый соболями, свешивался с его плеча, а его холеные белые руки были украшены перстнями; тяжелые веки скрывали его глаза.

Как замороженный смотрел на него юный Рыбак. Наконец их глаза встретились, и потом, где бы юный Рыбак ни плясал, ему чудилось, что взгляд незнакомца неотступно следит за ним. Он слышал, как Ведьма засмеялась, и обхватил ее стан, и завертел в неистовой пляске.

Вдруг в лесу залаяла собака; танцующие остановились, и пара за парой пошли к незнакомцу, и, преклоняя колена, припадали к его руке. При этом на его гордых губах заиграла легкая улыбка, как играет вода от трепета птичьих крыльев. Но было в той улыбке презрение. И он продолжал смотреть только на молодого Рыбака.

— Пойдем же, поклонимся ему! — шепнула Ведьма и повела его вверх, и сильное желание сделать именно то, о чем говорила она, охватило его всего, и он пошел вслед за нею. Но когда он подошел к тому человеку, он внезапно, не зная и сам почему, осенил себя крестным знамением и призвал имя господне.

И тотчас же ведьмы, закричав, словно ястребы, улетели куда-то, а бледное лицо, что следило за ним, передернулось судорогой боли. Человек отошел к роще и свистнул. Испанский жеребец в серебряной сбруе выбежал навстречу ему. Человек вскочил на коня, оглянулся и грустно посмотрел на юного Рыбака.

И рыжеволосая Ведьма попыталась улететь вместе с ним, но юный Рыбак схватил ее за руки и крепко держал.

— Отпусти меня, дай мне уйти! — взмолилась она. — Ибо ты назвал такое имя, которое не подобает называть, и сделал такое знамение, на которое не подобает смотреть.

— Нет, — ответил он ей, — не пущу я тебя, покуда не откроешь мне тайну.

— Какую тайну? — спросила она, вырываясь от него, словная дикая кошка, и кусая запястья губы.

— Ты знаешь сама,— сказал он.

Ее глаза, зеленые, как полевая трава, вдруг замутились слезами, и она сказала в ответ:

— Что хочешь проси, но не это!

Он засмеялся и сжал ее крепче.

И, увидев, что ей не вырваться, она прошептала ему:

— Я так же пригожа, как дочери моря, я так же хороша, как и те, что живут в голубых волнах,— и она стала ласкаться к нему и приблизила к нему свое лицо.

Но он нахмурился, оттолкнул ее и сказал:

— Если не исполнишь своего обещания, я убью тебя, Ведьма-обманщица.

Лицо у нее сделалось серым, как цветок иудина дерева, и, вздрогнув, она тихо ответила:

— Будь по-твоему. Душа не моя, а твоя. Делай с нею что хочешь.

И она вынула из-за пояса маленький нож и подала ему. Рукоятка у ножа была обтянута зеленой змеиной кожей.

— Для чего он мне надобен? — спросил удивленный Рыбак.

Она помолчала недолго, и ужас исказил ее лицо. Потом она откинула с чела свои рыжие волосы и, странно улыбаясь, сказала:

— То, что люди называют своей тенью, не тень их тела, а тело их души. Выйди на берег моря, стань спиною к луне и отрежь у самых своих ног свою тень, это тело твоей души, и повели ей покинуть тебя, и она исполнит твое повеление.

Молодой Рыбак задрожал.

— Это правда? — прошептал он.

— Истинная правда, и лучше б я не открывала ее,— воскликнула Ведьма, рыдая и цепляясь за его колени.

Он отстранил ее, и там она осталась, в буйных травах, и, дойдя до склона горы, он сунул этот нож за пояс и, хватаясь за выступы, начал быстро спускаться вниз.

И бывшая в нем Душа воззвала к нему и сказала:

— Слушай! Все эти годы жила я с тобою и верно служила тебе. Не гони же меня теперь. Какое зло я причинила тебе?

Но юный Рыбак засмеялся.

— Зла я от тебя не видел, но ты мне не надобна. Мир велик, и есть еще Рай, есть и Ад, есть и сумрачная серая обитель, которая между Раем и Адом. Иди же, куда хочешь, отстань, моя милая давно уже кличет меня.

Душа жалобно молила его, но он даже не слушал ее.

Он уверенно, как дикий козел, прыгал вниз со скалы на скалу; наконец он спустился к желтому берегу моря.

Стройный, весь как из бронзы, словно статуя, изваянная эллином, он стоял на песке, повернувшись спиною к луне, а из пены уже простирались к нему белые руки, и вставали из волн какие-то смутные призраки, и слышался их неясный привет.

Прямо перед ним лежала его тень, тело его Души, а там, позади, висела луна в воздухе, золотистом, как мед.

И Душа сказала ему:

— Если и вправду ты должен прогнать меня прочь от себя, дай мне с тобой твое сердце. Мир жесток, и без сердца я не хочу уходить.

Он улыбнулся и покачал головой.

— А чем же я буду любить мою милую, если отдам тебе сердце?

— Будь добр,— молила Душа,— дай мне с собой твое сердце: мир очень жесток, и мне страшно.

— Мое сердце отдано милой! — ответил Рыбак.— Не мешкай же и уходи поскорее.

— Разве я не любила бы вместе с тобою? — спросила его Душа.

— Уходи, тебя мне не надобно! — крикнул юный Рыбак и, выхватив маленький нож с зеленою рукояткой из змеиной кожи, отрезал свою тень у самых ног, и она поднялась и предстала пред ним, точно такая, как он, и взглянула ему в глаза.

Он отпрянул назад, заткнул за пояс нож, и чувство ужаса охватило его.

— Ступай,— прошептал он,— и не показывайся мне на глаза!

— Нет, мы снова должны встретиться! — сказала Душа.

Негромкий ее голос был как флейта, и губы ее чуть шевелились.

— Но как же мы встретимся? Где? Ведь не пойдешь ты за мной в морские глубины! — воскликнул юный Рыбак.

— Каждый год я буду являться на это самое место и призывать тебя,— ответила Душа.— Кто знает, ведь может случиться, что я понадобится тебе.

— Ну зачем ты мне будешь нужна? — воскликнул юный Рыбак.— Но все равно, будь по-твоему!

И он бросился в воду, и Тритоны затрубили в свои раковины, а маленькая Дева морская выплыла навстречу ему, обвила его шею руками и поцеловала в самые губы.

А Душа стояла на пустынном побережье, смотрела на них и, когда они скрылись в волнах, рыдая, побрела по болотам.

\* \* \*

И когда миновал первый год, Душа сошла на берег моря и стала звать юного Рыбака, и он поднялся из пучины и спросил:

— Зачем ты зовешь меня?

И Душа ответила:

— Подойди ко мне ближе и послушай меня, ибо я видела много чудесного.

И подошел он ближе, и лег на песчаной отмели, и, опершись головою на руку, стал слушать.

\* \* \*

И сказала ему Душа:

— Когда я покинула тебя, я повернулась лицом к Востоку и отправилась в дальний путь. С Востока приходит все мудрое. Шесть дней была я в пути, и наутро седьмого дня я подошла к холму, что находится в землях Татарии. Чтобы укрыться от солнца, я уселась в тени тамариска. Почва была сухая и выжжена зноем. Как ползают мухи по медному гладкому диску, так двигались люди по этой равнине.

В полдень багряное облако пыли поднялось от ровного края земли. Когда жители Татарии увидели его, они натянули расписные свои луки, вскочили на приземистых коней и галопом поскакали навстречу. Женщины с визгом побежали к кибиткам и спрятались за висящими войлоками.

В сумерки татары вернулись, но пятерых не хватало, а из вернувшихся немало было раненых. Они впрягли своих коней в кибитки и торопливо снялись с места. Три шакала вышли из пещеры и посмотрели им вслед. Потом они понюхали воздух и рысью побежали в обратную сторону.

Когда же взошла луна, я увидела на равнине костер и пошла прямо на него. Вокруг костра на коврах сидели какие-то купцы. Их верблюды были привязаны позади, а негры-прислужники разбивали палатки из дубленой кожи на песке и воздвигали высокую изгородь из колючего кактуса.

Когда я приблизилась к ним, их предводитель поднялся и, обнажив меч, спросил, что мне надо.



Я ответила, что была у себя на родине Принцем и что теперь бегу от Татар, которые хотели обратить меня в рабство. Предводитель усмехнулся и показал мне пять человеческих голов, насаженных на длинные бамбуковые шесты.

Потом он спросил меня, кто был пророк бога на земле, и я ответила: Магомет.

Услыхавши имя лжепророка, он склонил голову и взял меня за руку и посадил рядом с собою. Негр принес мне кумысу в деревянной чашке и кусок жареной баранины.

На рассвете мы двинулись в путь. Я ехала на рыжем верблюде рядом с предводителем отряда, а перед нами бежал скороход, и в руке у него было копье. Воины были и справа и слева, а сзади следовали мулы, нагруженные разными товарами. Верблюдов в караване было сорок, а мулов было дважды столько.

Мы прошли из страны Татарики к тем, которые проклинаят Луну. Мы видели Грифов, стерегущих свое золото в белых скалах, мы видели чешуйчатых Драконов, которые спали в пещерах. Когда мы проходили через горные кряжи, мы боялись дохнуть, чтобы снеговые лавины не сверглись на нас, и каждый повязал глаза легкой вуалью из газа. Когда мы проходили по долинам, в нас метали стрелы Пигмеи, таившиеся в дупле деревьев, а по ночам мы слышали, как дикие люди били в свои барабаны. Подойдя к Башне Обезьян, мы положили пред ними плоды, и они не тронули нас. Когда же мы подошли к Башне Змей, мы дали им теплого молока в медных чашах, и они пропустили нас. Трижды во время пути выходили мы на берег Окса. Мы переплывали его на деревянных плотках с большими мехами из воловьих шкур, надутых воздухом. Бегемоты яростно бросались на нас и хотели нас растерзать. Верблюды дрожали, когда видели их.

Цари каждого города вжимали с нас пошлину, но не впускали в городские ворота. Они бросали нам еду из-за стен, — медовые оладьи из маиса и пирожки из мельчайшей муки, начиненные финиками. За каждую сотню корзин мы давали им по янтарному шарiku.

Когда обитатели сел видели, что мы приближаемся, они отравляли колодцы и убегали на вершины холмов.

Мы должны были сражаться с Магадаями, которые рождаются старыми и, что ни год, становятся моложе и умирают младенцами; мы сражались с Лактроями, которые считают себя порождением тигров и раскрашивают себя черными и желтыми полосами. Мы сражались с Аурантами,

которые хоронят своих мертвецов на вершинах деревьев, а сами прячутся в темных пещерах, чтобы Солнце, которое считается у них божеством, не убило их; и с Кримнийцами, которые поклоняются крокодилу и приносят ему в дар серьги из зеленой травы и кормят его маслом и молодыми цыплятами; и с Агазонбаями, у коих песьи морды; и с Сибанами на лошадиных ногах, более быстрых, чем ноги коней. Третью нашего отряда погибла в битвах и треть нашего отряда погибла от лишений. Прочие роптали на меня и говорили, что я принесла им несчастье. Я взяла из-под камня рогатую ехидну и дала ей ужалить меня. Увидев, что я невредима, они испугались.

На четвертый месяц мы достигли города Иллель. Была ночь, когда мы приблизились к роше за городскими стенами, и воздух был душный, ибо Луна находилась в созвездии Скорпиона.

Мы срывали спелые гранаты с деревьев, и разламывали их, и пили их сладкий сок. Потом мы легли на ковры и дожидались рассвета.

И на рассвете мы встали и постучались в городские ворота. Из кованой красной меди были эти городские ворота, и на них были морские драконы, а также драконы крылатые. Стража, наблюдавшая с бойниц, спросила, чего нам надо. Толмач каравана ответил, что мы с острова Сирии пришли сюда с богатыми товарами. Они взяли у нас заложников и сказали, что в полдень откроют ворота, и велели ждать до полудня.

В полдень они открыли ворота, и люди толпами выбегали из домов, чтобы поглядеть на пришельцев, и глашатай помчался по улицам города, крича в раковину о нашем прибытии. Мы остановились на базаре, и едва только негры развязали тюки узорчатых тканей и раскрыли резные ларцы из смоковницы, купцы выставили напоказ свои диковинные товары: навощенные льняные ткани из Египта, крашеное полотно из земли Эфиопов, пурпурные губки из Тира, синие сидонские занавеси, прохладные янтарные чаши, тонкие стеклянные сосуды и еще сосуды из обожженной глины, очень причудливой формы. С кровли какого-то дома женщины смотрели на нас. У одной на лице была маска из позолоченной кожи.

И в первый день пришли к нам жрецы и выменивали наши товары. Во второй день пришли знатные граждане. В третий день пришли ремесленники и рабы. Таков их обычай со всеми купцами, пока те пребывают в их городе.

И в течение одной луны мы оставались там, и, когда луна пошла на убыль, торговля наскучила мне, и я стала скитаться по улицам города и приблизилась к тому саду, который был садом их бога. Жрецы, одетые в желтое, безмолвно двигались меж зеленью деревьев, и на черных мраморных плитах стоял красный, как роза, дворец, в котором и жил этот бог. Двери храма были покрыты глазурью, и их украшали белестящие золотые барельефы, изображавшие быков и павлинов. Изразцовая крыша была сделана из фарфора цвета морской воды, и по ее краям висели целые гирлянды колокольчиков. Белые голуби, пролетая, задевали колокольчики крыльями, и колокольчики от трепета крыльев звенели.

Перед храмом был бассейн прозрачной воды, выложенный испещренным прожилками ониксом. Я легла у бассейна и бледными пальцами трогала широкие листья. Один из жрецов подошел ко мне и стал у меня за спиной. На ногах у него были сандалии, одна из мягкой змеиной кожи, другая из птичьих перьев. На голове у него была войлочная черная митра, украшенная серебряными полумесяцами. Семь узоров желтого цвета были вытканы на его одеянии, и сурьюю были выкрашены его курчавые волосы.

Помолчав, он обратился ко мне и спросил, что мне угодно.

Я сказала, что мне угодно видеть бога.

— Бог на охоте,— ответил жрец, как-то странно глядя на меня узкими косыми глазами.

— Скажи мне, в каком он лесу, и я буду охотиться с ним.

Он расправил мягкую бахрому своей туники длинными и острыми ногтями.

— Бог спит!

— Скажи, на каком он ложе, и я буду охранять его сон.

— Бог за столом, он пирует.

— Если вино его сладко, я буду пить вместе с ним; а если вино его горько, я также буду пить вместе с ним.

Он склонил в изумлении голову и, взяв меня за руку, помог мне подняться и ввел меня в храм.

И в первом покое я увидела идола, сидевшего на яшмовом троне, окаймленном крупными жемчугами Востока. Идол был из черного дерева, и рост его был рост человека. На челе у него был рубин, и густое масло струилось с его волос на бедра. Его ноги были красны от крови только

что убитого козленка, а чресла его были опоясаны медным поясом с семью бериллами.

И я сказала жрецу:

— Это бог?

И он ответил:

— Это бог.

— Покажи мне бога! — крикнула я. — Или ты будешь убит!

И я коснулась его руки, и рука у него отсохла.

И взмолился жрец, говоря:

— Пусть повелитель исцелит раба своего, и я покажу ему бога.

Тогда я дохнула на руку жреца, и снова она стала живою, и он задрожал и ввел меня в соседний покой, и я увидела идола, стоявшего на нефритовом лотосе, который был украшен изумрудами. Он был выточен из слоновой кости, и рост его был как два человеческих роста. На челе у него был хризолит, а грудь его была умащена корицей и миррой. В одной руке у него был извилистый нефритовый жезл, а в другой хрустальная держава. Его обувь были котурны из меди, а тучную шею обвивало селенитовое ожерелье.

И я сказала жрецу:

— Это бог?

И он ответил:

— Это бог.

— Покажи мне бога! — крикнула я. — Или ты будешь убит!

И я тронула рукой его веки, и глаза его тотчас ослепли.

И взмолился жрец:

— Пусть исцелит повелитель раба своего, и я покажу ему бога.

Тогда я дохнула на его ослепшие очи, и они опять стали зрячими, и, весь дрожа, он ввел меня в третий покой, и там не было идола, не было никаких кумиров, а было только круглое металлическое зеркало, стоящее на каменном жертвеннике.

И я сказала жрецу:

— Где же бог?

И он ответил:

— Нет никакого бога, кроме зеркала, которое ты видишь перед собой, ибо это Зеркало Мудрости. И в нем отражается все, что в небе и что на земле. Только лицо смотрящего в него не отражается в нем. Оно не отражается в нем,

чтобы смотрящийся в него стал мудрецом. Много есть всяких зеркал, но те зеркала отражают лишь Мысли глядящего в них. Только это зеркало — Зеркало Мудрости. Кто обладает этим Зеркалом Мудрости, тому ведомо все на земле, и ничто от него не скрыто. Кто не обладает этим зеркалом, тот не обладает и Мудростью. Посему это зеркало и есть бог, которому мы поклоняемся.

И я посмотрела в зеркало, и все было так, как говорил мне жрец.

И я совершила необычайный поступок, но что я совершила — не важно, и вот в долине, на расстоянии дня пути, спрятала я Зеркало Мудрости. Позволь мне снова войти в тебя и быть твоей рабою, — ты будешь мудрее всех мудрых, и вся Мудрость будет твоя. Позволь мне снова войти в тебя, и никакой мудрец не сравнится с тобою.

Но юный Рыбак засмеялся.

— Любовь лучше Мудрости, — вскричал он, — а маленькая Дева морская любит меня.

— Нет, Мудрость превыше всего, — сказала ему Душа.

— Любовь выше ее! — ответил Рыбак и погрузился в пучину, а душа, рыдая, побрела по болотам.

\* \* \*

И по прошествии второго года Душа снова пришла на берег моря и позвала Рыбака, и он вышел из глубины и сказал:

— Зачем ты зовешь меня?

И Душа ответила:

— Подойди ко мне ближе и послушай меня, ибо я видела много чудесного.

И подошел он ближе, и лег на песчаной отмели, и, опершись головою на руку, стал слушать.

\* \* \*

И Душа сказала ему:

— Когда я покинула тебя, я обратилась к Югу и отправилась в дальний путь. С Юга приходит все, что на свете есть драгоценного. Шесть дней я была в пути, шла по большим дорогам, ведущим к городу Аштер, по красным, пыльным дорогам, по которым бредут паломники, и наутро седьмого дня я подняла свои взоры, и вот у ног моих распростерся город, ибо этот город в долине.

У города девять ворот, и у каждого ворот стоит бронзовый конь, и кони эти ржут, когда Бедуины спускаются с гор. Стены города обиты красной медью, и башни на этих стенах покрыты бронзой. В каждой башне стоит стрелок, и в руках у каждого лук. При восходе солнца каждый пускает стрелу в гонг, а на закате трубит в рог.

Когда я пыталась проникнуть в город, стража задержала меня и спросила, кто я. Я ответила, что я Дервиш и теперь направляюсь в Мекку, где находится зеленое покрывало, на котором ангелы вышили серебром Коран. И стража исполнилась удивления и просила меня войти в город.

Город был подобен базару. Поистине жаль, что тебя не было вместе со мною. В узких улицах веселые бумажные фонарики колышутся, как большие бабочки. Когда ветер пронесется по кровлям, фонарики качаются под ветром, словно разноцветные пузыри. У входа в лавчонки на шелковых ковриках восседают купцы. У них прямые черные бороды, чалмы их усыпаны золотыми цехинами; и длинные нити янтарных четок и точеных персиковых косточек скользят в их холодных пальцах. Иные торгуют гилбаном, и нардом, и какими-то неведомыми духами с островов Индийского моря, и густым маслом из красных роз, из мирры и мелкой гвоздики. Если кто-нибудь остановится и вступит с ними в беседу, они бросают на жаровню щепотки ладана, и воздух становится сладостным. Я видела сирийца, который держал в руке прут, тонкий, подобный тростинке. Серые нити дыма выходили из этого прута, и его запах, пока он горел, был как запах розового миндаля по весне. Иные продают серебряные браслеты, усеянные млечно-голубой бирюзой, и запястья из медной проволоки, окаймленные мелким жемчугом, и тигровые когти и когти диких кошек — леопардов, оправленные в золото, и серьги из просверленных изумрудов, и кольца из выдолбленного нефрита. Из чайных слышатся звуки гитары, и бледнолицые курильщики опия с улыбкой глядят на прохожих.

Поистине жаль, что тебя не было вместе со мною. С большими черными бурдюками на спинах протискиваются там сквозь толпу продавцы вина. Чаще всего торгуют они сладким, как мед, вином Ширази. Они подают его в маленьких металлических чашах и сыплют туда лепестки роз. На базаре стоят продавцы и продают все плоды, какие есть на свете: спелые фиги с пурпурной мякотью;

дыни, пахнувшие мускусом и желтые, как топазы; померанцы и розовые яблоки, и гроздь белого винограда; круглые красно-золотые апельсины и продолговатые зелено-золотые лимоны. Однажды я видела слона, проходящего мимо. Его хобот был расписан шафраном и киноварью, и на ушах у него была сетка из шелковых алых шнурков. Он остановился у одного шалаша и стал пожирать апельсины, а торговец только смеялся. Ты и представить себе не можешь, какой это странный народ. Когда у них радость, они идут к торгующим птицами, покупают птицу, заключенную в клетку, и выпускают на волю, дабы умножить веселье; а когда у них горе, они бичуют себя терновником, чтобы скорбь их не стала слабее.

Однажды вечером мне навстречу попались какие-то негры; они несли по базару тяжелый паланкин. Он был весь из позолоченного бамбука, ручки у него были красные, покрытые глазурью и украшенные медными павлинами. На окнах висели тонкие муслиновые занавески, расшитые крыльями жуков и усеянные мельчайшими жемчужинками, а когда паланкин поравнялся со мною, оттуда выглянула бледнолицая черкешенка и улыбнулась мне. Я последовала за паланкином. Негры ускорили шаг и сердито посмотрели на меня. Но я пренебрегла их угрозами. Великое любопытство охватило меня.

Наконец они остановились у четырехугольного белого дома. В этом доме не было окон, только маленькая дверь, словно дверь, ведущая в гробницу. Негры опустили паланкин на землю и медным молотком постучали три раза. Армянин в зеленом сафьяновом кафтане выглянул через решетку дверного окошечка и, увидев их, отпер дверь, разостлал на земле ковер, и женщина покинула носилки. У входа в дом она оглянулась и снова послала мне улыбку. Я никогда еще не видала такого бледного лица.

Когда на небе показалась луна, я снова пришла на то место и стала искать тот дом, но его уже не было там. Тогда я догадалась, кто была эта женщина и почему она мне улыбнулась.

Воистину жаль, что тебя не было вместе со мною. На празднике Новолуния юный Султан выезжал из дворца и следовал в мечеть для молитвы. Его борода и волосы были окрашены листьями розы, а щеки были напудрены мелким золотым порошком. Его ладони и ступни его ног были желты от шафрана.

На восходе солнца он вышел из своего дворца

в серебряной одежде, а на закате вернулся в одежде из золота. Люди падали ниц перед ним и скрывали свое лицо, но я не упала ниц. Я стояла у лотка торговца финиками и ждала. Когда Султан увидел меня, он поднял свои крашенные брови и остановился. Но я стояла спокойно и не поклонилась ему. Люди удивлялись моей дерзости и советовали скрыться из города. Я пренебрегла их советами и пошла и села рядом с продавцами чужеземных богов; этих людей презирают, так как презирают их промысел. Когда я рассказала им о том, что я сделала, каждый подарил мне одного из богов и умолял удалиться.

В ту же ночь, едва я простерлась на ложе в чайном домике, что на улице Гранатов, вошли телохранители Султана и повели меня во дворец. Они замыкали за мною каждую дверь и вешали на нее железную цепь. Внутри был обширный двор, весь окруженный аркадами. Стены были алебастровые, белые, с зелеными и голубыми изразцами, колонны были из зеленого мрамора, а мраморные плиты под ногою были такого же цвета, как лепестки персикового дерева. Подобного я не видала никогда.

Пока я проходила этот двор, две женщины, лица которых были закрыты чадрами, посмотрели на меня с балкона и послали мне след проклятие. Телохранители ускорили шаг, и их копыта забряцали по гладкому полу. Наконец они открыли ворота, выточенные из слоновой кости, и я очутилась в саду, расположенном на семи террасах. Сад был обильно орошаем водой. В нем были посажены тюльпаны, ночные красавицы и серебристый алоэ. Как тонкая хрустальная тростинка, повисла во мгlistом воздухе струйка фонтана. И кипарисы стояли, точно догоревшие факелы. На ветвях одного кипариса распевал соловей.

В конце сада была небольшая беседка. Когда мы приблизились к ней, навстречу нам вышли два внука. Их тучные тела колыхались, и они с любопытством оглядели меня из-под желтых век. Один из них ответил начальника стражи в сторону и тихим голосом шепнул ему что-то. Другой продолжал все время жевать какие-то душистые лепешки, которые жеманным движением руки доставал из эмаливой овальной коробочки лилового цвета.

Через несколько минут начальник стражи велел солдатам уйти. Они пошли обратно во дворец, за ними медленно последовали внуки, срывая по пути с деревьев сладкие тутовые ягоды. Тот внук, который постарше, глянул на меня и улыбнулся зловещей улыбкой.



Затем начальник стражи подвел меня к самому входу в беседку. Я бестрепетно шагала за ним и, отдернув тяжелый полог, вошла.

Юный Султан возлежал на крашеных львиных шкурах, на руке у него сидел сокол. За спиной Султана стоял нубиец в украшенном медью тюрбане, обнаженный до пояса и с грузными серьгами в проколотых ушах. Тяжелая кривая сабля лежала на столе у ложа.

Султан нахмурился, увидев меня, и сказал:

— Кто ты такой? Скажи свое имя. Или тебе неизвестно, что я властелин этого города?

Но я ничего не ответила.

Султан указал на кривую саблю, и нубиец схватил ее и, подавшись вперед, со страшной силой ударил меня. Лезвие со свистом прошло сквозь меня, но я осталась жива и невредима. Нубиец растянулся на полу, и, когда поднялся, его зубы стучали от ужаса, и он спрятался за ложе Султана.

Султан вскочил на ноги и, выхватив дротик из оружейной подставки, метнул его в меня. Я поймала его на лету и разломала пополам. Султан выстрелил в меня из лука, но я подняла руки, и стрела остановилась в полете. Тогда из-за белого кожаного пояса выхватил он кинжал и воткнул его в горло нубийцу, чтобы раб не мог рассказать о позоре своего господина. Нубиец стал корчиться, как раздавленная змея, и красная пена пузырями выступила у него на губах.

Как только он умер, Султан обратился ко мне и сказал, отирая платком из пурпурного расшитого шелка блестящую на челе испарину:

— Уж не пророк ли ты божий, ибо вот я не властен причинить тебе какое-нибудь зло, или, может быть, сын пророка, ибо мое оружие не в силах уничтожить тебя. Прошу тебя, удались отсюда, потому что, покуда ты здесь, я не властелин моего города.

И я ответила ему:

— Я уйду, если ты мне отдашь половину твоих сокровищ. Отдай мне половину сокровищ, и я удалюсь отсюда.

Он взял меня за руку и повел в сад. Начальник стражи, увидев меня, изумился. Но когда меня увидели внухи, их колени дрогнули, и они в ужасе пали на землю.

Есть во дворце восьмистенная зала, вся из багряного порфира, с чешуйчатым медным потолком, с которого свисают светильники. Султан коснулся стены; она разверз-

лась, и мы пошли каким-то длинным ходом, освещаемым многими факелами. В нишах, справа и слева, стояли винные кувшины, наполненные доверху серебряными монетами. Когда мы дошли до середины коридора, Султан произнес какое-то заповедное слово, и на потайной пружине распахнулась гранитная дверь; Султан закрыл лицо руками, чтобы его глаза не ослепли.

Ты не поверишь, какое это было чудесное место. Там были большие черепаховые панцири, полные жемчуга, и выдолбленные огромные лунные камни, полные красных рубинов. В сундуках, обитых слоновьими шкурами, было червонное золото, а в сосудах из кожи был золотой песок. Там были опалы и сапфиры: опалы в хрустальных чашах, а сапфиры в чашах из нефрита. Зеленые крупные изумруды рядами были разложены на тонких блюдах из слоновой кости, а в углу стояли шелковые тюки, одни набитые бирюзой, другие — бериллами. Охотничьи рога из слоновой кости были полны до краев пурпурными аметистами, а рога, которые были из меди, — халцедонами и карнерилами. Колонны из кедрового дерева были увешаны нитками рысьих глаз<sup>1</sup>, на овальных плоских щитах там были груды карбункулов, иные такого цвета, как вино, другие такого, как трава. И все же я описала едва ли десятую часть того, что было в этом тайном чертоге.

И сказал мне Султан, отнимая руки от лица:

— Здесь хранятся все мои сокровища. Половина сокровищ твоя, как и было обещано мною. Я дам тебе верблюдов и погонщиков, которые будут покорны тебе и отвезут твою долю, куда только ты пожелаешь. Все это будет исполнено нынче же ночью, ибо я не хочу, чтобы отец мой, Солнце, увидел, что живет в моем городе тот, кого я не в силах убить.

Но я сказала Султану в ответ:

— Золото это твое, и серебро это тоже твое, и твои эти драгоценные камни и все эти несметные богатства. Этого ничего мне не надобно. Я ничего не возьму от тебя, только этот маленький перстень на пальце твоей руки.

Нахмурился Султан и сказал:

— Это простое свинцовое кольцо. Оно не имеет никакой цены. Бери же свою половину сокровищ и скорее покинь мой город.

— Нет, — ответила я, — я не возьму ничего, только этот

---

<sup>1</sup> Рысьи глаза — драгоценный камень.

свинцовый перстень, ибо я знаю, какие на нем начертания и для чего они служат.

И, вздрогнув, взмолился Султан:

— Бери все сокровища, какие только есть у меня, только покинь мой город. Я отдаю тебе также и свою половину сокровищ.

И странное я совершила деяние, но о нем не стоит говорить,— и вот в пещере, на расстоянии дня отсюда, я спрятала Перстень Богатства. Туда только день пути, и этот перстень ожидает тебя. Владующий этим перстнем богаче всех на свете царей. Поди же возьми его, и все сокровища мира — твои.

Но юный Рыбак засмеялся.

— Любовь лучше Богатства! — крикнул он. — А маленькая Дева морская любит меня.

— Нет, лучше всего Богатство! — сказала ему Душа.

— Любовь лучше! — ответил Рыбак и погрузился в пучину, а Душа, рыдая, побрела по болотам.

\* \* \*

И снова, по прошествии третьего года, Душа пришла на берег моря и позвала Рыбака, и он вышел из пучины и сказал:

— Зачем ты зовешь меня?

И Душа ответила:

— Подойди ко мне ближе, чтоб я могла с тобой побеседовать, ибо я видела много чудесного.

И подошел он ближе, и лег на песчаной отмели, и, опершись головою на руку, стал слушать.

И Душа сказала ему:

— Я знаю один город. Там есть над рекою харчевня. Там я сидела с матросами. Они пили вина обоих цветов, ели мелкую соленую рыбу с лавровым листом и уксусом и хлеб из ячменной муки. Мы сидели там и веселились, и вошел какой-то старик, и в руках у него был кожаный коврик и лютня с двумя янтарными колышками. Разостлав на полу коврик, он ударил перышком по металлическим струнам своей лютни, и вбежала девушка, у которой лицо было закрыто чадрой, и стала плясать перед ними. Лицо ее было закрыто кисейной чадрой, а ноги у нее были нагие. Нагие были ноги ее, и они порхали по этому ковру, как два голубя. Ничего чудеснее я никогда не видала, и тот город, где она пляшет, отсюда на расстоянии дня.

Услышав эти слова своей Души, вспомнил юный Рыбак, что маленькая Дева морская совсем не имела ног и не могла танцевать. Страстное желание охватило его, и он сказал себе самому: «Туда только день пути, и я могу вернуться к моей милой».

И он засмеялся, и встал на отмели, и шагнул к берегу.

И когда он дошел до берега, он засмеялся опять и протянул руки к своей Душе. А Душа громко закричала от радости, и побежала навстречу ему, и вселилась в него, и молодой Рыбак увидел, что тень его тела простерлась опять на песке, а тень тела — это тело Души.

И сказала ему Душа:

— Не будем мешкать, нужно тотчас же удалиться отсюда, ибо Боги Морские ревнивы, и есть у них много чудовищ, которые повинуются им.

\* \* \*

И они поспешно удалились, и шли под луною всю ночь, и весь день они шли под солнцем, и, когда закатилось, приблизились к какому-то городу.

И сказала Душа ему:

— Это не тот, а другой. Но все же войдем в него.

И они вошли в этот город и пошли бродить по его улицам, и, когда проходили по улице Ювелиров, молодой Рыбак увидел прекрасную серебряную чашу, выставленную в какой-то лавчонке.

И Душа его сказала ему:

— Возьми эту серебряную чашу и спрячь.

И взял он серебряную чашу и спрятал ее в складках своей туники, и они поспешно удалились из города.

И когда они отошли на расстояние мили, молодой Рыбак напустился, и отшвырнул эту чашу, и сказал Душе:

— Почему ты велела мне украсть эту чашу и спрятать ее? То было недоброе дело.

— Будь покоен, — ответила Душа, — будь покоен.

К вечеру следующего дня они приблизились к какому-то городу, и молодой Рыбак снова спросил у Души:

— Не это ли город, где пляшет та, о которой ты мне говорила?

И Душа ответила ему:

— Это не тот, а другой. Но все же войдем в него.

И они вошли в этот город и пошли по улицам его, и, когда проходили по улице Продающих Сандалии, молодой Рыбак увидел ребенка, стоящего у кувшина с водой.

И сказала ему его Душа:

— Ударь этого ребенка.

И он ударил ребенка, и ребенок заплакал; тогда они поспешно покинули город.

И когда они отошли на расстояние мили от города, молодой Рыбак насупился и сказал Душе:

— Почему ты повелела мне ударить ребенка? То было недоброе дело.

— Будь покоен, — ответила Душа, — будь покоен!

И к вечеру третьего дня они приблизились к какому-то городу, и молодой Рыбак сказал своей Душе:

— Не это ли город, где пляшет та, о которой ты мне говорила?

И Душа сказала ему:

— Может быть, и тот, войдем в него.

И они вошли в этот город и пошли по улицам его, но нигде не мог молодой Рыбак найти ни реки, ни харчевни. И жители этого города с любопытством взирали на него, и ему стало жутко, и сказал он своей Душе:

— Уйдем отсюда, ибо та, которая пляшет белыми ногами, не здесь.

Но его Душа ответила ему:

— Нет, мы останемся здесь, потому что ночь теперь темная и нам встретятся на дороге разбойники.

И он уселся на площади рынка и стал отдыхать, и вот прошел мимо него купец, и голова его была закрыта капюшоном плаща, а плащ был из татарского сукна, и на длинной камышине держал он фонарь из коровьего рога.

И сказал ему этот купец:

— Почему ты сидишь на базаре? Ты видишь: все лавки закрыты и тюки обвязаны веревками.

И молодой рыбак ответил ему:

— Я не могу в этом городе отыскать заезжего двора, и нет у меня брата, который приютит бы меня.

— Разве не все мы братья? — сказал купец. — Разве мы созданы не единым Творцом? Пойдем же со мною, у меня есть комната для гостей.

И встал молодой Рыбак, и пошел за купцом в его дом. И когда, через гранатовый сад, он вошел под кров его дома, купец принес ему в медной лохани розовую воду для омовения рук и спелых дынь для утоления жажды и поставил перед ним блюдо рису и жареного молодого козленка.

По окончании трапезы купец повел его в покой для

гостей и предложил ему отдохнуть и опочить. И молодой Рыбак благодарил его, и облобызал кольцо, которое было у него на руке, и бросился на ковры из козьей крашеной шерсти. И когда он укрылся покровом из черной овечьей шерсти, сон охватил его.

И за три часа до рассвета, когда была еще ночь, его Душа разбудила его и сказала ему:

— Встань и поди к купцу, в ту комнату, где он почивает, и убей его, и возьми у него его золото, ибо мы нуждаемся в золоте.

И встал молодой Рыбак, и прокрался в опочивальню купца, и в ногах купца был какой-то кривой меч, и рядом с купцом, на подносе, было девять кошелей золота. И он протянул свою руку и коснулся меча, но, когда он коснулся его, вздрогнул купец и, воспрянув, сам ухватился за меч и крикнул молодому Рыбаку:

— Злом платишь ты за добро и пролитием крови за милость, которую я оказал тебе?

И сказала Рыбаку его Душа:

— Бей!

И он так ударил купца, что купец упал мертвый, а он схватил все девять кошелей золота и поспешно убежал через гранатовый сад, и к звезде обратил лицо, и была та звезда — звезда Утренняя.

И, отойдя от города, молодой Рыбак ударил себя в грудь и сказал своей Душе:

— Почему ты повелела убить этого купца и взять у него золото? Поистине ты злая Душа!

— Будь покоен,— ответила она,— будь покоен!

— Нет,— закричал молодой Рыбак,— я не могу быть покоен, и все, к чему ты понуждала меня, для меня ненавистно. И ты ненавистна мне, и потому я прошу, чтобы ты мне сказала, зачем ты так поступила со мной?

И его Душа ответила ему:

— Когда ты отослал меня в мир и прогнал меня прочь от себя, ты не дал мне сердца, потому и научилась я этим деяниям и полюбила их.

— Что ты говоришь! — вскричал Рыбак.

— Ты знаешь,— ответила его Душа,— ты сам хорошо это знаешь. Или ты позабыл, что ты не дал мне сердца? Полагаю, что ты не забыл. И посему не тревожь ни себя, ни меня, но будь покоен, ибо не будет той скорби, от которой бы ты не избавился, и не будет того наслаждения, которого бы ты не изведal.

И когда молодой Рыбак услышал эти слова, он задрожал и сказал:

— Ты злая, ты злая, ты заставила меня забыть мою милую, ты соблазнила меня искушениями и направила мои стопы на путь греха.

И его Душа отвечала:

— Ты помнишь, что, когда ты отсылал меня в мир, ты не дал мне сердца. Пойдем же куда-нибудь в город и будем там веселиться, потому что мы обладаем теперь девятью кошельками золота.

Но молодой Рыбак взял эти девять кошельков золота и бросил на землю и стал их топтать.

— Нет! — кричал он. — Мне нечего делать с тобою, и я с тобою не пойду никуда, но как некогда я прогнал тебя, так я прогоню и теперь, ибо ты причинила мне зло.

И он повернулся спиною к луне и тем же коротким ножом с рукоятью, обмотанной зеленой змеиной кожей, попытался отрезать свою тень у самых ног. Тень тела — это тело Души.

Но Душа не ушла от него и не слушала его повелений.

— Чары, данные тебе Ведьмою, — сказала она, — уже утратили силу: я не могу отойти от тебя, и ты не можешь меня отогнать. Только однажды за всю свою жизнь может человек отогнать от себя свою Душу, но тот, кто вновь обретает ее, да сохранит ее во веки веков, и в этом его наказание, и в этом его наказание, и в этом его награда.

И стал бледен молодой Рыбак, сжал кулаки и воскликнул:

— Проклятая Ведьма обманула меня, ибо умолчала об этом!

— Да, — ответила Душа, — она была верна тому, кому служит и кому вечно будет служить.

И когда узнал молодой Рыбак, что нет ему избавления от его Души и что она злая Душа и останется с ним навсегда, он пал на землю и горько заплакал.

\* \* \*

И когда был уже день, встал молодой Рыбак и сказал своей Душе:

— Вот я свяжу мои руки, дабы не исполнять твоих велений, и вот я сомкну мои уста, дабы не говорить твоих слов, и я вернусь к тому месту, где живет любимая мною. К тому самому морю вернусь я, к маленькой бухте, где поет

она свои песни, и я позову ее и расскажу ей о зле, которое я совершил и которое внушено мне тобою.

И его Душа, искушая его, говорила:

— Кто она, любимая тобою, и стоит ли к ней возвращаться? Есть многие прекраснее ее. Есть танцовщицы-самарисски, которые в танцах своих подражают каждой птице и каждому зверю. Ноги их окрашены лавзонией, и в руках у них медные бубенчики. Когда они пляшут, они смеются, и смех у них звонок, подобно смеху воды. Пойдем со мною, и я покажу их тебе. Зачем сокрушаться тебе о грехах? Разве то, что приятно вкушать, не создано для вкушающего? И в том, что сладостно пить, разве заключается отрава? Забудь же твою печаль, и пойдем со мной в другой город. Есть маленький город неподалеку отсюда, и в нем есть сад из тюльпанных деревьев. В этом прекрасном саду есть павлины белого цвета и павлины с синею грудью. Хвосты у них, когда они распускают их при сиянии солнца, подобны дискам из слоновой кости, а также позолоченным дискам. И та, что дает им корм, пляшет, чтобы доставить им радость; порою она пляшет на руках. Глаза у нее насурьмленные; ноздри как крылья ласточки. К одной из ее ноздрей подвешен цветок из жемчуга. Она смеется, когда пляшет, и серебряные запястья звенят у нее на ногах бубенцами. Забудь же твою печаль, и пойдем со мной в этот город.

Но ничего не ответил молодой Рыбак своей Душе, на уста он наложил печать молчания и крепкою веревкою связал свои руки, и пошел обратно к тому месту, откуда он вышел, к той маленькой бухте, где обычно любимая пела ему свои песни. И непрестанно Душа искушала его, но он не отвечал ничего и не совершил дурных деяний, к которым она побуждала его. Так велика была сила его любви.

И когда пришел он на берег моря, он снял со своих рук веревку, и освободил уста от печати молчания, и стал звать маленькую Деву морскую. Но она не вышла на зов, хотя он звал ее от утра до вечера и умолял ее выйти к нему.

И Душа насмеялась над ним, говоря:

— Мало же радостей приносит тебе любовь. Ты подобен тому, кто во время засухи льет воду в разбитый сосуд. Ты отдаешь, что имеешь, и тебе ничего не дается взамен. Лучше было бы тебе пойти со мною, ибо я знаю, где Долина Веселий и что совершается в ней.

Но молодой Рыбак ничего не ответил Душе. В расселине утеса построил он себе из прутьев шалаш и жил там в течение



года. И каждое утро он звал Деву морскую, и каждый полдень он звал ее вновь, и каждую ночь призывал ее снова. Но она не поднималась из моря навстречу ему, и нигде во всем море не мог он найти ее, хотя искал и в пещерах, и в зеленой воде, и в оставленных приливом затонах, и в ключах, которые клокочут на дне.

И его Душа неустанно искушала его грехом и шептала о страшных деяниях, но не могла соблазнить его, так велика была сила его любви.

И когда этот год миновал, Душа сказала себе: «Злом я искушала моего господина, и его любовь оказалась сильнее меня. Теперь я буду искушать его добром, и, может быть, он пойдет со мною».

И она сказала молодому Рыбаку:

— Я говорила тебе о радостях мира сего, но не слышало меня ухо твое. Дозволь мне теперь рассказать тебе о скорбях человеческой жизни, и, может быть, ты услышишь меня. Ибо поистине Скорбь есть владычица этого мира, и нет ни одного человека, кто избег бы ее сетей. Есть такие, у которых нет одежды, и такие, у которых нет хлеба. В пурпур одеты иные вдовицы, а иные одеты в рубище. Прокаженные бродят по болотам, и они жестоки друг к другу. По большим дорогам скитаются нищие, и сумы их пусты. В городах по улицам гуляет Голод, и Чума сидит у городских ворот. Пойдем же, пойдем — избавим людей от всех бедствий, чтобы в мире больше не было горя. Зачем тебе медлить здесь и звать свою милую? Ты ведь видишь, она не приходит. И что такое любовь, что ты ценишь ее так высоко?

Но юный Рыбак ничего не ответил, ибо велика была сила его любви. И каждое утро он звал Деву морскую, и каждый полдень он звал ее вновь, и по ночам он призывал ее снова. Но она не поднималась навстречу ему, и нигде во всем море не мог он ее отыскать, хотя искал ее в реках, впадающих в море, и в долинах, которые скрыты волнами, и в море, которое становится пурпурным ночью, и в море, которое рассвет оставляет во мгле.

И прошел еще один год, и как-то ночью, когда юный Рыбак одиноко сидел у себя в шалаше, его Душа обратилась к нему и сказала:

— Злом я искушала тебя, и добром я искушала тебя, но любовь твоя сильнее, чем я. Отныне я не буду тебя искушать, но я умоляю тебя, дозволь мне войти в твое сердце чтобы я могла слиться с тобою, как и прежде.

— И вправду, ты можешь войти,— сказал юный Рыбак,— ибо мне сдается, что ты испытала немало страданий, когда скиталась по миру без сердца.

— Увы! — воскликнула Душа.— Я не могу найти входа, потому что окутано твое сердце любовью.

— И все же мне хотелось бы оказать тебе помощь,— сказал молодой Рыбак.

И только он это сказал, послышался громкий вопль, тот вопль, который доносится к людям, когда умирает какой-нибудь из Обитателей моря. И вскочил молодой Рыбак, и покинул свой плетеный шалаш, и побежал на побережье. И черные волны быстро бежали к нему и несли с собою какую-то ношу, которая была белее серебра. Бела, как пена, была эта ноша, и, подобно цветку, колыхалась она на волнах. И волны отдали ее прибою, и прибой отдал ее пене, и берег принял ее, и увидел молодой Рыбак, что тело Девы морской простерто у ног его. Мертвое, оно было простерто у ног.

Рыдая, как рыдают пораженные горем, бросился Рыбак на землю, и лобызал холодные алые губы, и перебирал ее влажные янтарные волосы. Лежа рядом с ней на песке и содрогаясь, как будто от радости, он прижимал своими темными руками ее тело к груди. Губы ее были холодными, но он целовал их. Мед ее волос был соленым, но он вкушал его с горькою радостью. Он лобызал ее закрытые веки, и бурные брызги на них не были такими солеными, как его слезы.

И мертвой принес он свое покаяние. И терпкое вино своих речей он влил в ее уши, подобные раковинам. Ее руками он обвил свою шею и ласкал тонкую, нежную трость ее горла. Горько, горько было его ликование, и какое-то странное счастье было в скорби его.

Ближе придвинулись черные волны, и стон белой пены был как стон прокаженного. Белоснежными когтями своей пены море вонзалось в берег. Из чертога Морского Царя снова донесся вопль, и далеко в открытом море Тритоны хрипло протрубили в свои раковины.

— Беги прочь,— сказала Душа,— ибо все ближе надвигается море, и, если ты будешь медлить, оно погубит тебя. Беги прочь, ибо я охвачена страхом. Ведь сердце твое для меня недоступно, так как слишком велика твоя любовь. Беги в безопасное место. Не захочешь же ты, чтобы, лишенная сердца, я перешла в иной мир.

Но Рыбак не внял своей Душе; он взывал к маленькой Деве морской.

— Любовь,— говорил он,— лучше мудрости, ценнее богатства и прекраснее, чем ноги у дочерей человеческих. Огнями не сжечь ее, водами не погасить. Я звал тебя на рассвете, но ты не пришла на мой зов. Луна слышала имя твое, но ты не внимала мне. На горе я покинул тебя, на погибель свою я ушел от тебя. Но всегда любовь к тебе пребывала во мне, и была она так несокрушимо могуча, что все было над нею бессильно, хотя я видел и злое и доброе. И ныне, когда ты мертва, я тоже умру с тобою.

Его Душа умоляла его отойти, но он не пожелал и остался, ибо так велика была его любовь. И море надвинулось ближе, стараясь покрыть его волнами, и, когда он увидел, что близок конец, он поцеловал безумными губами холодные губы морской Девы, и сердце у него разорвалось. От полноты любви разорвалось его сердце, и Душа нашла туда вход, и вошла в него, и стала с ним, как и прежде, одина. И море своими волнами покрыло его.

\* \* \*

А наутро вышел Священник, чтобы осенить своею молитвою море, ибо оно сильно волновалось. И пришли с ним монахи, и клир, и прислужники со свечами, и те, что кадят кадильницами, и большая толпа молящихся.

И когда Священник приблизился к берегу, он увидел, что утонувший Рыбак лежит на волне прибоя, и в его крепких объятьях тело маленькой Девы морской.

И Священник отступил, и нахмурился, и, осенив себя крестным знамением, громко возопил и сказал:

— Я не пошлю благословения морю и тому, что находится в нем. Проклятие Обитателям моря и тем, которые водятся с ними! А этот, лежащий здесь со своей возлюбленной, отрекшийся ради любви от господа и убитый правым господним судом,— возьмите тело его и тело его возлюбленной и схороните их на Погосте Отверженных, в самом углу, и не ставьте знака над ними, дабы никто не знал о месте их упокоения. Ибо прокляты они были в жизни, прокляты будут и в смерти.

И люди сделали, как им было велено, и на Погосте Отверженных, в самом углу, где растут только горькие травы, они вырыли глубокую могилу и положили в нее мертвые тела.

И прошло три года, и в день праздничный Священник

пришел во храм, чтобы показать народу раны господни и сказать ему проповедь о гневе господнем.

И когда он облачился в свое облачение, и вошел в алтарь, и пал ниц, он увидел, что престол весь усыпан цветами, дотоле никем не виданными. Странными они были для взора, чудесна была их красота, и красота эта смутила Священника, и сладостен был их аромат. И безотчетная радость охватила его.

Он открыл ковчег, в котором была дарохранительница, покадил перед нею ладаном, показал молящимся прекрасную облатку и покрыл ее священным покровом, и обратился к народу, желая сказать ему проповедь о гневе господнем. Но красота этих белых цветов волновала его, и сладостен был их аромат для него, и другое слово пришло на уста к нему, и заговорил он не о гневе господнем, но о боге, чье имя — Любовь. И почему была его речь такова, он не знал.

И когда он кончил свое слово, все бывшие во храме зарыдали, и пошел Священник в ризницу, и глаза его были полны слез. И дьяконы вошли в ризницу, и стали разоблачать его, и сняли с него стихарь, и пояс, и орарь, и епитрахиль. И он стоял как во сне.

И когда они разоблачили его, он посмотрел на них и сказал:

— Что это за цветы на престоле и откуда они?

И те ответили ему:

— Что это за цветы, мы не можем сказать, но они с Погоста Отверженных. Там растут они в самом углу.

И задрожал Священник, и вернулся в свой дом молиться.

И утром, на самой заре, вышел он с монахами, и клиром, и прислужниками, несущими свечи, и с теми, которые кадят кадильницами, и с большою толпою молящихся, и пошел он к берегу моря, и благословил он море и дикую тварь, которая водится в нем. И Фавнов благословил он, и Гномов, которые пляшут в лесах, и тех, у которых сверкают глаза, когда они глядят из-за листьев. Всем созданиям божьего мира дал он свое благословение; и народ дивился и радовался. Но никогда уже не зацветают цветы на Погосте Отверженных, и по-прежнему весь Погост остается нагим и бесплодным. И Обитатели моря уже никогда не заплывают в залив, как бывало, ибо они удалились в другие области этого моря.



## МАЛЬЧИК-ЗВЕЗДА

Как-то раз двое бедных Лесорубов возвращались домой, пробиваясь через густой сосновый бор. Была зимняя ночь, стоял лютый мороз. И на земле и на деревьях лежал толстый снежный покров. Когда Лесорубы продирались сквозь чащу, маленькие обледеневшие веточки обламывались от их движений, а когда они приблизились к Горному Водопаду, то увидели, что он неподвижно застыл в воздухе, потому что его поцеловала Королева Льда.

Мороз был так лют, что даже звери и птицы совсем растерялись от неожиданности.

— Уф! — проворчал Волк, прыгая между кустами, поджав хвост. — Какая чудовищная погода. Не понимаю, куда смотрит правительство.

— Фью! Фью! Фью! — просвирители зеленые Коноплянки. — Старушка-Земля умерла, и ее одели в белый саван.

— Земля готовится к свадьбе, а это ее подвенечный наряд, — прошептали друг другу Горлинки. Их маленькие розовые ножки совершенно окоченели от холода, но они считали своим долгом придерживаться романтического взгляда на вещи.

— Вздор! — проворчал Волк. — Говорю вам, что во всем виновато правительство, а если вы мне не верите, я вас съем. — Волк обладал очень трезвым взглядом на вещи и в споре никогда не лез за словом в карман.

— Ну, что касается меня,— сказал Дятел, который был прирожденным философом,— я не нуждаюсь в физических законах для объяснений явлений. Если вещь такова сама по себе, то она сама по себе такова, а сейчас адски холодно.

Холод в самом деле был адский. Маленькие Белочки, жившие в дупле высокой ели, все время терли друг другу носы, чтобы хоть немного согреться, а Кролики съежились в комочек в своих норках и не смели выглянуть наружу. И только большие рогатые Совы — одни среди всех живых существ — были, по-видимому, довольны. Их перья так обледенели, что стали совершенно твердыми, но это нисколько не тревожило Сов; они таращили свои огромные желтые глаза и перекликались друг с другом через весь лес:

— У-уу! У-уу! У-уу! У-уу! Какая нынче восхитительная погода!

А двое Лесорубов все шли и шли через бор, ожесточенно дую на замерзшие пальцы и топая по обледеневшему снегу тяжелыми, подбитыми железом сапогами. Один раз они провалились в глубокий, занесенный снегом овраг и вылезли оттуда белые, как мукомолы, когда те стоят у крутящихся жерновов; а в другой раз они поскользнулись на твердом гладком льду замерзшего болота, их вязанки хвороста рассыпались, и пришлось им собирать их и заново увязывать; а еще как-то им почудилось, что они заблудились, и на них напал великий страх, ибо им было известно, что Снежная Дева беспощадна к тем, кто засыпает в ее объятиях. Но они возложили свои надежды на заступничество Святого Мартина, который благоприятствует всем путешественникам, и вернулись немного обратно по своим следам, а дальше шли с большей осмотрительностью и в конце концов вышли на опушку и увидели далеко внизу в Долине огни своего селения.

Они очень обрадовались, что выбрались наконец из леса, и громко рассмеялись, а Долина показалась им серебряным цветком, и Луна над ней — цветком золотым

Но, посмеявшись, они снова стали печальны, потому что вспомнили про свою бедность, и один из них сказал другому:

— С чего это мы так развеселились? Ведь жизнь хороша только для богатых, а не для таких, как мы с тобой. Лучше бы нам замерзнуть в бору или стать добычей диких зверей.

— Ты прав,— отвечал его товарищ.— Одним дано очень много, а другим — совсем мало. В мире царит несправедливость, и благами она одаряет лишь немногих, а вот горе отмеряет щедрой рукой.

Но пока они сетовали так на свою горькую долю, произошло нечто удивительное и странное. Прекрасная и необычайно яркая звезда упала с неба. Она покатилась по небосводу между других звезд, и, когда изумленные Лесорубы проводили ее взглядом, им показалось, что она упала за старыми ветлами возле небольшой овчарни, неподалеку от того места, где они стояли.

— Слушай! Да ведь это же кусок золота, надо его разыскать! — разом закричали оба и тут же припустились бежать — такая жажда золота их обуяла.

Но один из них бежал быстрее другого, перегнал своего товарища, пробрался между ветлами... и что же он увидел? На белом снегу и вправду лежало что-то, сверкающее, как золото. Лесоруб подбежал, наклонился, поднял этот предмет с земли и увидел, что он держит в руках плащ из золотой ткани, причудливо расшитый звездами и ниспадающий пышными складками. И он крикнул своему товарищу, что нашел сокровище, упавшее с неба, и тот поспешил к нему, и они опустились на снег и расправили складки плаща, чтобы достать оттуда золото и разделить его между собой. Но увы! В складках плаща они не обнаружили ни золота, ни серебра, ни других сокровищ, а увидели только спящее дитя.

И один Лесоруб сказал другому:

— Все наши надежды пошли прахом, нет нам с тобой удачи! Ну какая польза человеку от ребенка? Давай оставим его здесь и пойдем своим путем, ведь мы люди бедные, у нас и своих детей хватает, и мы не можем отнимать у них хлеб, чтобы отдавать его другим.

Но другой Лесоруб ответил так:

— Нет, нельзя совершить такое злое дело — оставить это дитя замерзать тут на снегу, и, хоть я не богаче тебя и у меня еще больше ртов просят хлеба, а в горшках тоже не густо, все равно я отнесу этого ребенка к себе домой, и моя жена позаботится о нем.

И он осторожно поднял ребенка, завернул его в плащ, чтобы защитить от жгучего мороза, и зашагал вниз с холма к своему селению, а его товарищ очень подивился про себя такой его глупости и мягкосердечию.

А когда они пришли в свое селение, его товарищ сказал ему:

— Ты взял себе ребенка, так отдай мне плащ, ты же должен поделиться со мной находкой.

Но тот отвечал ему:

— Нет, не отдам, потому что этот плащ не твой и не мой, а принадлежит только ребенку,— и, пожелав ему доброго здоровья, подошел к своему дому и постучал в дверь.

Когда жена отворила дверь и увидела, что это ее муженек возвратился домой целый и невредимый, она обвила руками его шею, и поцеловала его, и сняла с его спины вязанку хвороста, и отряхнула снег с его сапог, и пригласила его войти в дом.

Но Лесоруб сказал жене:

— Я нашел кое-что в лесу и принес тебе, чтобы ты позаботилась о нем,— и он не переступил порога.

— Что же это такое? — воскликнула жена.— Покажи скорее, ведь у нас в доме пусто, и мы очень во многом нуждаемся.— И тогда он распахнул плащ и показал ей спящее дитя.

— Увы мне! — горестно прошептала жена.— Разве у нас нет собственных детей! Что это тебе, хозяин, понадобилось сажать к нашему очагу подкидыша? А может, он принесет нам несчастье? И кто его знает, как надо за ним ухаживать? — И она очень рассердилась на мужа.

— Да ты послушай, ведь это Дитя-звезда,— отвечал муж и рассказал жене всю удивительную историю о том, как он нашел этого ребенка.

Но это ее не успокоило, и она начала насмехаться над ним и бранить его и закричала:

— Наши дети сидят без хлеба, а мы будем кормить чужого ребенка? А кто позаботится о нас? Кто нам даст поесть?

— Но ведь господь заботится даже о воробьях и дает им пропитание,— отвечал муж.

— А мало воробьев погибает от голода зимой? — спросила жена.— И разве сейчас не зима?

На это муж ничего не ответил ей, но и не переступил порога.

И тут злой ветер, прилетев из леса, ворвался в распахнутую дверь, и жена вздрогнула, поежилась и сказала мужу:

— Почему ты не затворишь дверь? Смотри, какой студеный ветер, я совсем замерзла.

— В доме, где живут люди с каменными сердцами, всегда будет стужа,— сказал муж.

И жена не ответила ему ничего, только ближе пододвинулась к огню.

Но прошло еще немного времени, и она обернулась к мужу и поглядела на него, и ее глаза были полны слез.



И тогда он быстро вошел в дом и положил ребенка ей на колени. А она, поцеловав ребенка, опустила его в колыбельку рядом с младшим из своих детей. А на другое утро Лесоруб взял необыкновенный плащ из золота и спрятал его в большой сундук, а его жена сняла с шеи ребенка янтарное ожерелье и тоже спрятала его в сундук.

Итак, Дитя-звезда стал расти вместе с детьми Лесоруба, и ел за одним с ними столом, и играл с ними. И с каждым годом он становился все красивее и красивее, и жители селения дивились его красоте, ибо все они были смуглые и черноволосые, а у него лицо было белое и нежное, словно выточенное из слоновой кости, и золотые кудри его были как лепестки нарцисса, а губы — как лепестки алой розы, и глаза — как фиалки, отраженные в прозрачной воде ручья. И он был строен, как цветок, выросший в густой траве, где не ступала нога косца.

Но красота его принесла ему только зло, ибо он вырос себялюбивым, гордым и жестоким. На детей Лесоруба, да и на всех прочих детей в селении он смотрел сверху вниз, потому что, говорил он, все они низкого происхождения, в то время как он знатного рода, ибо происходит от Звезды. И он помыкал детьми и называл их своими слугами. Он не испытывал сострадания к беднякам или к слепым, недужным и увечным, но швырял в них камнями и прогонял их из селения на проезжую дорогу и кричал им, чтобы они шли побираться в другое место, после чего ни один из нищих, кроме каких-нибудь самых отчаявшихся, не осмеливался вторично прийти в это селение за милостыней. И он был точно околдован своей красотой и высмеивал всех, кто был жалок и безобразен, и выставлял их на посмешище. Себя же он очень любил и летом в безветренную погоду часто лежал у водоема в фруктовом саду священника и глядел на свое дивное отражение, и смеялся от радости, любясь своей красотой.

Лесоруб и его жена не раз бранили его, говоря:

— Мы-то ведь не так поступили с тобой, как поступаешь ты с этими несчастными, обездоленными судьбой, у которых нет ни одной близкой души на свете. Почему ты так жесток к тем, кто нуждается в участии?

И старик священник не раз посылал за ним и пытался научить его любви ко всем божьим тварям, говоря:

— Мотылек — твой брат, не причиняй ему вреда. Птицы, что летают по лесу, — свободные создания. Не ставляй им силков для своей забавы. Бог создал земляного

червя и крота и определил каждому из них его место. Кто ты такой, что осмеливаешься приносить страдания в сотворенный богом мир? Ведь даже скот, пасущийся в лугах, прославляет божье имя.

Но Мальчик-звезда не внимал ничьим словам, только хмурился и усмехался презрительно, а потом бежал к своим сверстникам и помыкал ими как хотел. И его сверстники слушались его, потому что он был красив, быстроног и умел плясать, и петь, и наигрывать на свирели. И куда бы Мальчик-звезда ни повел их, они следовали за ним, и что бы он ни приказал им сделать, они ему повиновались. И когда он проткнул острой тростинкой подслеповатые глаза крота, они смеялись, и когда он швырял камнями в прокаженного, они смеялись тоже. Всегда и во всем он был их вожаком, и они стали столь же жестокосердны, как он.

\* \* \*

И вот как-то раз через селение проходила одна несчастная нищенка. Одежда ее была в лохмотьях, босые ноги, израненные об острые камни дороги, все в крови, словом, была она в самом бедственном состоянии. Изнемогая от усталости, она присела отдохнуть под каштаном.

Но тут увидел ее Мальчик-звезда и сказал своим товарищам:

— Гляньте! Под прекрасным зеленолистым деревом сидит отвратительная грязная нищенка. Пойдем прогоним ее, потому что она противна и безобразна.

И с этими словами он подошел к ней поближе и начал швырять в нее камнями и насмехаться над ней, а она поглядела на него, и в глазах ее отразился ужас, и она не могла отвести от него взгляда. Но тут Лесоруб, который стругал жерди под навесом, увидел, что делает Мальчик-звезда, подбежал к нему и стал его бранить, говоря:

— Воистину у тебя каменное сердце, и жалость тебе неведома. Что сделала тебе эта бедная женщина, почему ты гонишь ее отсюда?

Тогда Мальчик-звезда покраснел от злости, топнул ногой и сказал:

— А кто ты такой, чтобы спрашивать меня, почему я так поступаю? Я тебе не сын и не обязан тебя слушаться.

— Это верно, — отвечал Лесоруб, — однако я пожалел тебя, когда нашел в лесу.

И когда нищая услышала эти слова, она громко вскрикнула и упала без чувств. Тогда Лесоруб поднял ее и отнес к себе в дом, а его жена принялась ухаживать за ней, и, когда женщина очнулась, Лесоруб и его жена поставили перед ней еду и питье и сказали, что они рады предоставить ей кров.

Но женщина не хотела ни есть, ни пить и сказала Лесорубу:

— Верно ли ты сказал, что нашел этого мальчика в лесу? И с того дня минуло десять лет, не так ли?

И Лесоруб ответил:

— Да, так оно и было, я нашел его в лесу, и с того дня минуло уже десять лет.

— А не нашел ли ты вместе с ним еще чего-нибудь? — воскликнула женщина. — Не было ли у него на шее янтарного ожерелья? И не был ли он закутан в золотой плащ, расшитый звездами?

— Все верно, — отвечал Лесоруб. И он вынул плащ и янтарное ожерелье из сундука, в котором они хранились, и показал их женщине.

И когда женщина увидела эти вещи, она расплакалась от радости и сказала:

— Этот ребенок — мой маленький сын, которого я потеряла в лесу. Прошу тебя, пошли за ним скорее, ведь в поисках его я обошла весь мир.

И Лесоруб с женой вышли из дома и стали звать Мальчика-звезду и сказали ему:

— Войди в дом, там ты найдешь свою мать, которая ждет тебя.

И Мальчик-звезда, исполненный радости и изумления, вбежал в дом. Но когда он увидел ту, что ждала его там, он презрительно рассмеялся и сказал:

— Ну, а где же моя мать? Я не вижу здесь никого, кроме этой противной нищенки.

И женщина ответила ему:

— Я — твоя мать.

— Ты, должно быть, лишилась рассудка, — гневно вскричал Мальчик-звезда. — Я не твой сын, ведь ты же нищенка, ты уродлива и одета в лохмотья. Ну-ка убирайся отсюда, чтобы я не видел твоего мерзкого лица.

— Но ведь ты же в самом деле мой маленький сынок, которого я родила в лесу, — вскричала женщина и, упав перед ним на колени, простерла к нему руки. — Разбойники украли тебя и оставили погибать в лесу, — плача, прогово-

рила она.— Но я сразу узнала тебя, как только увидела, и узнала вещи, по которым тебя можно опознать,— золотой плащ и янтарное ожерелье. И я молю тебя, пойдём со мной, ведь, разыскивая тебя, я обошла весь свет. Пойдём со мной, мой сын, потому что я нуждаюсь в твоей любви.

Но Мальчик-звезда не шевельнулся; он наглухо затворил свое сердце, чтобы ее жалобы не могли туда проникнуть, и в наступившей тишине слышны были только стенания женщины, рыдавшей от горя.

Наконец он заговорил, и его голос звучал холодно и прерительно.

— Если это правда, что ты моя мать,— сказал он,— лучше бы тебе не приходить сюда и не позорить меня, ведь я думал, что моей матерью была Звезда, а не какая-то нищенка, как это ты говоришь мне. Поэтому убирайся отсюда, чтобы я никогда тебя больше не видел.

— Увы, сын мой! — вскричала женщина.— Неужели ты не поцелуешь меня на прощанье? Ведь я столько претерпела мук, чтобы найти тебя.

— Нет,— сказал Мальчик-звезда,— ты слишком омерзительна, и мне легче поцеловать гадюку или жабу, чем тебя.

Тогда женщина встала и, горько рыдая, скрылась в лесу, а Мальчик-звезда, увидав, что она ушла, очень обрадовался и побежал играть со своими товарищами.

Но те, поглядев на него, начали смеяться над ним и сказали:

— Да ведь ты мерзок, как жаба, и отвратителен, как гадюка. Убирайся отсюда, мы не хотим, чтобы ты играл с нами.— И они выгнали его из сада. Тогда Мальчик-звезда задумался и сказал себе:

— Что такое они говорят? Я пойду к водоему и погляжусь в него, и он скажет мне, что я красив.

И он пошел к водоему и поглядел в него, но что же он увидел! Лицом он стал похож на жабу, а тело его покрылось чешуей, как у гадюки. И он бросился ничком на траву и заплакал и сказал:

— Не иначе как это мне наказание за мой грех. Ведь я отрекся от моей матери и прогнал ее, я возгордился перед ней и был с ней жесток. Теперь я должен отправиться на поиски и обойти весь свет, пока не найду ее. А до тех пор я не буду знать ни отдыха, ни покоя.

Тут подошла к нему маленькая дочка Лесоруба, и положила ему руку на плечо, и сказала:

— Это еще не беда, что ты утратил свою красоту. Оставайся с нами, и я никогда не буду дразнить тебя.

Но он сказал ей:

— Нет, я был жесток к моей матери, и в наказание со мной случилось это несчастье. Поэтому я должен уйти отсюда и бродить по свету, пока не найду свою мать и не вымолю у нее прощенья.

И он побежал в лес и начал громко призывать свою мать, прося ее вернуться к нему, но не услышал ответа. Весь день он звал ее, а когда солнце закатилось, прилег на груду листьев и уснул, и все птицы и звери оставили его, потому что знали, как жестоко он поступил, и только жаба разделяла его одиночество и охраняла его сон, да гадюка медленно проползла мимо.

А наутро он встал, сорвал несколько кислых ягод с дерева, съел их и побрел через дремучий лес, горько плача. И всех, кто бы ни повстречался ему на пути, он спрашивал, не видали ли они его матери.

Он спросил Крота:

— Ты роешь свои ходы под землей. Скажи, не видал ли ты моей матери?

Но Крот отвечал:

— Ты выколот мне глаза, как же я мог ее увидеть?

Тогда он спросил у Коноплянки:

— Ты взлетаешь выше самых высоких деревьев и можешь видеть оттуда весь мир. Скажи, не видала ли ты моей матери?

Но Коноплянка отвечала:

— Ты подрезал мне крылья ради забавы. Как же могу я теперь летать?

И маленькую Белочку, которая жила в дупле ели одинешенька, он спросил:

— Где моя мать?

И Белочка отвечала:

— Ты убил мою мать, может быть, ты разыскиваешь свою, чтобы убить ее тоже?

И Мальчик-звезда опустил голову, и заплакал, и стал просить прощенья у всех божьих тварей, и углубился дальше в лес, продолжая свои поиски. А на третий день, пройдя через весь лес, он вышел на опушку и спустился в долину.

И когда он проходил через селение, дети дразнили его и бросали в него камнями, и крестьяне не позволяли ему даже соснуть в амбаре, боясь, что от него может сесть

плесень на зерно, ибо он был очень гадок с виду, и приказывали работникам прогнать его прочь, и ни одна душа не сжалась над ним. И нигде не мог он ничего узнать о нищенке, которая была его матерью, хотя вот уже три года бродил он по свету, и не раз казалось ему, что он видит ее впереди на дороге, и тогда он принимался звать ее и бежать за ней, хотя острый щебень ранил его ступни и из них сочилась кровь. Но он не мог ее догнать, а те, кто жил поблизости, утверждали, что они не видели ни ее, ни кого-либо похожего с виду, и потешались над его горем.

Три полных года бродил он по свету, и нигде никогда не встречал ни любви, ни сострадания, ни милосердия; весь мир обошелся с ним так же, как поступал он сам в дни своей гордыни.

И вот однажды вечером он подошел к городу, расположенному на берегу реки и обнесенному высокой крепостной стеной, и приблизился к воротам, и, хотя он очень устал и натрудил ноги, все же он хотел войти в город. Но воины, стоявшие у ворот на страже, скрестили свои алебарды и грубо крикнули ему:

— Что тебе нужно в нашем городе?

— Я разыскиваю мою мать, — отвечал он, — и молю вас, разрешьте мне войти в город, ведь может случиться, что она там.

Но они стали насмеяться над ним, и один из них, тряся черной бородой, поставил перед ним свой щит и закричал:

— Воистину твоя мать возрадуется, увидав тебя, ведь ты безобразней, чем жаба в болоте или гадюка, выползшая из топи. Убирайся отсюда! Убирайся! Твоей матери нет в нашем городе.

А другой, тот, что держал в руке древко с желтым стягом, сказал ему:

— Кто твоя мать и почему ты разыскиваешь ее?

И он отвечал:

— Моя мать живет подаяниями, так же как и я, и я обошелся с ней очень дурно и молю тебя: дай мне пройти, чтобы я мог испросить у нее прощения, если она живет в этом городе.

Но они не захотели его пропустить и стали колоть своими пиками.

А когда он с плачем повернул обратно, некто в кольчуге, разукрашенной золотыми цветами, и в шлеме с гребнем в

виде крылатого льва приблизился к воротам и спросил воинов, кто тут просил дозволения войти в город. И воины отвечали ему:

— Это нищий и сын нищенки, и мы прогнали его прочь.

— Ну нет, — рассмеявшись, сказал тот, — мы продадим это мерзкое создание в рабство, и цена его будет равна цене чаши сладкого вина.

А в это время мимо проходил какой-то страшный и злой с виду старик и, услышав эти слова, сказал:

— Я заплачу за него эту цену. — И, заплатив ее, взял Мальчика-звезду за руку и повел в город.

Они прошли много улиц и подошли наконец к маленькой калитке в стене, затененной большим гранатовым деревом. И старик коснулся калитки яшмовым перстнем, и она отворилась, и они спустились по пяти бронзовым ступеням в сад, где цвели черные маки и стояли зеленые глиняные кувшины. И тогда старик вынул из своего тюрбана узорчатый шелковый шарф, и завязал им глаза Мальчику-звезде, и побел его куда-то, толкая перед собой. А когда он снял повязку с его глаз, Мальчик-звезда увидел, что он находится в темнице, которая освещалась фонарем, повешенным на крюк.

И старик положил перед ним на деревянный лоток ломоть заплесневелого хлеба и сказал:

— Ешь.

И поставил перед ним чашу с солоноватой водой и сказал:

— Пей.

И когда Мальчик-звезда поел и попил, старик ушел и запер дверь темницы на ключ и закрепил железной цепью.

\* \* \*

На следующее утро старик, который на самом деле был одним из самых искусных и коварных волшебников Ливии и научился своему искусству у другого волшебника, обитавшего в гробнице на берегу Нила, вошел в темницу, хмуро поглядел на Мальчика-звезду и сказал:

— В том лесу, что неподалеку от ворот этого города гяуров, скрыты три золотые монеты — из белого золота, из желтого золота и из красного золота. Сегодня ты должен принести мне монету из белого золота, а если не принесешь, получишь сто плетей. Поспеши, на закате солнца я буду ждать тебя у калитки моего сада. Смотри принеси мне

монету из белого золота, или тебе будет плохо, потому что ты мой раб, и я уплатил за тебя цену целой чаши сладкого вина.— И он завязал глаза Мальчику-звезде шарфом узорчатого шелка, и вывел его из дома в сад, где росли черные маки, и, заставив подняться на пять медных бронзовых ступенек, отворил с помощью своего перстня калитку.

И Мальчик-звезда вышел из калитки, прошел через город и вступил в лес, о котором говорил ему Волшебник.

А лес этот издали казался очень красивым, и мнилось, что он полон певчих птиц и ароматных цветов, и Мальчик-звезда радостно углубился в него. Но ему не довелось насладиться красотой леса, ибо, куда бы он ни ступил, повсюду перед ним поднимался из земли колючий кустарник, полный острых шипов, и ноги его обжигала злая крапива, и чертополох колот его своими острыми, как кинжал, колючками, и Мальчику-звезде приходилось очень плохо. А главное, он нигде не мог найти монету из белого золота, о которой говорил ему Волшебник, хотя и разыскивал ее с самого утра до полудня и от полудня до захода солнца. Но вот солнце село, и он побрел домой, горько плача, ибо знал, какая участь его ожидает.

Но когда он подходил к опушке леса, из чащи до него долетел крик,— казалось, кто-то зывает о помощи. И, позабыв про свою беду, он побежал на этот крик и увидел маленького Зайчонка, который попал в силок, расставленный каким-то охотником.

И Мальчик-звезда сжалился над Зайчонком, и освободил его из силка, и сказал ему:

— Сам я всего лишь раб, но тебе я могу даровать свободу.

А Зайчонок ответил ему так:

— Да, ты даровал мне свободу, скажи, чем могу я отблагодарить тебя?

И Мальчик-звезда сказал ему:

— Я ищу монету из белого золота, но нигде не могу найти ее, а если я не принесу ее своему хозяину, он побьет меня.

— Ступай за мной,— сказал Зайчонок,— и я отведу тебя туда, куда тебе нужно, потому что я знаю, где спрятана эта монета и зачем.

Тогда Мальчик-звезда последовал за маленьким Зайчонком, и что же он увидел? В дупле большого дуба лежала монета из белого золота, которую он искал.



И Мальчик-звезда несказанно обрадовался, схватил ее и сказал Зайчонку:

— За услугу, которую я оказал тебе, ты отблагодарил меня сторицей, и за добро, что я для тебя сделал, ты воздал мне стократ.

— Нет,— отвечал Зайчонок,— как ты поступил со мной, так и я поступил с тобой.— И он проворно поскакал прочь, а Мальчик-звезда направился в город.

Теперь следует сказать, что у городских ворот сидел прокаженный. Лицо его скрывал серый холщовый капюшон, и глаза его горели в прорезях, словно угли, и, когда он увидел приближавшегося к воротам Мальчика-звезду, он загремел своей деревянной миской, и зазвонил в свой колокольчик, и крикнул ему так:

— Подай мне милостыню, или я должен буду умереть с голоду. Ибо они изгнали меня из города, и нет никого, кто бы сжалился надо мной.

— Увы! — вскричал Мальчик-звезда.— У меня в кошельке есть только одна-единственная монета, и если я не отнесу ее моему хозяину, он прибьет меня, потому что я его раб.

Но прокаженный стал просить его и умолять и делал это до тех пор, пока Мальчик-звезда не сжалился над ним и не отдал ему монету из белого золота.

Когда же он подошел к дому Волшебника, тот отворил калитку, и впустил его в сад, и спросил его:

— Ты принес монету из белого золота?

И Мальчик-звезда ответил:

— Нет, у меня ее нет.

И тогда Волшебник набросился на него, и стал его колотить, и поставил перед ним пустой деревянный лоток для хлеба, и сказал:

— Ешь.— И поставил перед ним пустую чашку и сказал:— Пей.— И снова бросил его в темницу.

А наутро Волшебник пришел к нему и сказал:

— Если сегодня ты не принесешь мне монету из желтого золота, ты навсегда останешься моим рабом и получишь от меня триста плетей.

Тогда Мальчик-звезда направился в лес и целый день искал там монету из желтого золота, но не мог нигде найти ее. А когда закатилось солнце, он опустился на землю и заплакал, и пока он сидел так, проливая слезы, к нему прибежал маленький Зайчонок, которого он освободил из силка.

И Зайчонок спросил его:

— Почему ты плачешь? И чего ты ищешь в лесу?

И Мальчик-звезда отвечал:

— Я ищу монету из желтого золота, которая здесь спрятана, и, если я не найду ее, мой хозяин побьет меня и навсегда оставит у себя в рабстве.

— Следуй за мной!— крикнул Зайчонок и поскакал через лес, пока не прискакал к небольшому озеру. А на дне озера лежала монета из желтого золота.

— Как мне благодарить тебя?— сказал Мальчик-звезда.— Ведь вот уж второй раз, как ты выручаешь меня.

— Ну и что ж, зато ты первый сжалился надо мной,— сказал Зайчонок и проворно поскакал прочь.

И Мальчик-звезда взял монету из желтого золота, положил ее в свой кошелек и поспешил в город. Но прокаженный увидел его на дороге, и побежал ему навстречу, и упал перед ним на колени, крича:

— Подай мне милостыню, или я умру с голоду!

Но Мальчик-звезда сказал ему:

— У меня в кошельке нет ничего, кроме монеты из желтого золота, но если я не принесу ее моему хозяину, он побьет меня и навеки оставит у себя в рабстве.

Но прокаженный молил его сжалиться над ним, и Мальчик-звезда пожалел его и отдал ему монету из желтого золота.

\* \* \*

А когда он подошел к дому Волшебника, тот отворил калитку, и впустил его в сад, и спросил его:

— Ты принес монету из желтого золота?

И Мальчик-звезда ответил:

— Нет, у меня ее нет.

И Волшебник набросился на него, и стал его избивать, и заковал его в цепи, и снова вверг в темницу.

А наутро Волшебник пришел к нему и сказал:

— Если сегодня ты принесешь мне монету из красного золота, я отпущу тебя на свободу, а если не принесешь, я убью тебя.

И Мальчик-звезда отправился в лес и целый день разыскивал там монету из красного золота, но нигде не мог ее найти. Когда же стемнело, он сел и заплакал, и, пока он сидел так, проливая слезы, к нему прибежал маленький Зайчонок.

И Зайчонок сказал ему:

— Монета из красного золота, которую ты ищешь, находится в пещере, что у тебя за спиной. Так что перестань плакать и возрадуйся.

— Как могу я отблагодарить тебя!— воскликнул Мальчик-звезда.— Ведь уже третий раз ты выручаешь меня из беды.

— Но ты первый сжалился надо мной,— сказал Зайчонок и проворно ускакал прочь.

А Мальчик-звезда вошел в пещеру и в глубине ее увидел монету из красного золота. Он положил ее в свой кошелек и поспешил вернуться в город. Но когда прокаженный увидел его, он стал посреди дороги и громко закричал, взывая к нему:

— Отдай мне монету из красного золота, или я умру!

И Мальчик-звезда снова пожалел его и отдал ему монету из красного золота, сказав:

— Твоя нужда больше моей.

Однако сердце его сжалось от тоски, ибо он знал, какая страшная судьба его ожидает.

\* \* \*

Но чудо! Когда проходил он городские ворота, воины низко склонились перед ним, отдавая ему почести и восклицая:

— Как прекрасен господин наш!

А толпа горожан следовала за ним, и все твердили:

— Воистину не найдется никого прекраснее во всем мире!

И Мальчик-звезда заплакал и сказал себе:

— Они смеются надо мной и потешаются над моей бедой.

Но так велико было стечение народа, что он сбился с дороги и пришел на большую площадь, где стоял королевский дворец.

И ворота дворца распахнулись, и навстречу Мальчику-звезде поспешили священнослужители и знатнейшие вельможи города и, смиренно поклонившись ему, сказали:

— Ты наш господин, которого мы давно ожидаем, и сын нашего государя.

А Мальчик-звезда сказал им в ответ:

— Я не королевский сын, я сын бедной нищенки. И зачем говорите вы, что я прекрасен, когда я знаю, что вид мой мерзок?

И тогда тот, чья кольчуга была разукрашена золотыми цветами и на чьем шлеме гребень был в виде крылатого льва, поднял свой щит и вскричал:

— Почему господин мой не верит, что он прекрасен?

И Мальчик-звезда посмотрел в щит, и что же он увидел? Его красота вернулась к нему, и лицо его стало таким же, каким было прежде, только в глазах своих он заметил что-то новое, чего раньше никогда в них не видел.

А священнослужители и вельможи преклонили перед ним колена и сказали:

— Было давнее пророчество, что в день этот придет к нам тот, кому суждено править нами. Так пусть же господин наш возьмет эту корону и этот скипетр и станет нашим королем, справедливым и милосердным.

Но Мальчик-звезда отвечал им:

— Я недостойн этого, ибо я отрекся от матери, которая носила меня под сердцем, и теперь ишу ее, чтобы вымолить у нее прощение, и не будет мне покоя, пока я не найду ее. Так отпустите же меня, ибо должен я вновь отправиться странствовать по свету, и нельзя мне медлить здесь, хоть вы и предлагаете мне корону и скипетр.

И, сказав это, он отвернулся от них и обратил свое лицо к улице, тянувшейся до самых городских ворот. И что же он увидел? Среди толпы, оттеснившей стражу, стояла нищенка, которая была его матерью, а рядом с ней стоял прокаженный.

И крик радости сорвался с его уст, и, бросившись к своей матери, он осыпал поцелуями раны на ее ногах и оросил их слезами. Он склонил свою голову в дорожную пыль и, рыдая так, словно сердце его разрывалось, сказал:

— О мать моя! Я отрекся от тебя в дни моей гордыни. Не отринь же меня в час моего смирения. Мать моя, я дал тебе ненависть. Одари же меня любовью. Мать моя, я отверг тебя. Прими же свое дитя.

Но нищенка не ответила ему ни слова.

И он простер руки к прокаженному и припал к его стопам, говоря:

— Трижды оказал я тебе милосердие. Умоли же мою мать ответить мне хоть единый раз.

Но прокаженный хранил безмолвие.

И снова зарыдал Мальчик-звезда и сказал:

— О мать моя, это страдание мне не по силам. Даруй мне свое прощение и позволь вернуться в наш бор.

И нищенка положила руку на его голову и сказала:

— Встань!

И прокаженный положил руку на его голову и тоже сказал:

— Встань!

И он встал с колен и посмотрел на них. И что же! Перед ним были Король и Королева.

И Королева сказала ему:

— Вот твой отец, которому ты помог в час нужды.

А Король сказал:

— Вот твоя мать, чьи ноги ты омыл своими слезами.

И они пали в его объятия, и осыпали его поцелуями, и отвели во дворец, где облекли его в дивные одежды, и возложили на его голову корону и дали ему в руки скипетр, и он стал властелином города, который стоял на берегу реки. И он был справедлив и милосерд ко всем. Он изгнал злого Волшебника, а Лесорубу и его жене послал богатые дары, а сыновей их сделал вельможами. И он не позволял никому обращаться жестоко с птицами и лесными зверями и всех учил добру, любви и милосердию. И он кормил голодных и сирых и одевал нагих, и в стране его всегда царили мир и благоденствие.

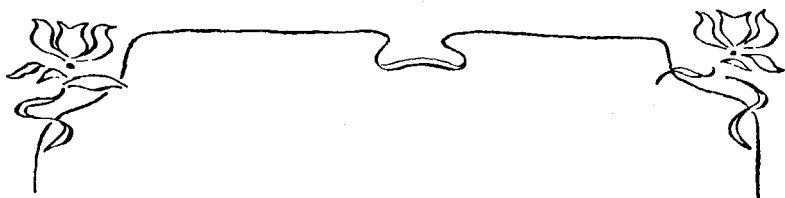
Но правил он недолго. Слишком велики были его муки, слишком тяжкому подвергся он испытанию — и спустя три года он умер. А преемник его был тираном.



# ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ

КОМЕДИЯ В ЧЕТЫРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

*Перевод О. Холмской*



## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Граф Кавершем, кавалер ордена Подвязки.

Лорд Горинг, его сын.

Сэр Роберт Чилтерн, баронет, товарищ министра иностранных дел.

Виконт де Нанжак, атташе французского посольства в Лондоне.

Мистер Монфорд.

Мэсон, дворецкий сэра Роберта Чилтерна.

Фиппс, дворецкий лорда Горинга.

Джеймс } лакеи.  
Харольд }

Леди Чилтерн.

Леди Маркби.

Графиня Бэзилдон.

Миссис Марчмонт.

Мисс Мейбл Чилтерн, сестра сэра Роберта Чилтерна.

Миссис Чивли.

Действие первое — восьмиугольный зал в доме сэра Роберта Чилтерна на Гровенор-сквер.

Действие второе — малая гостиная в доме сэра Роберта Чилтерна.

Действие третье — библиотека в доме лорда Горинга на Керзон-стрит.

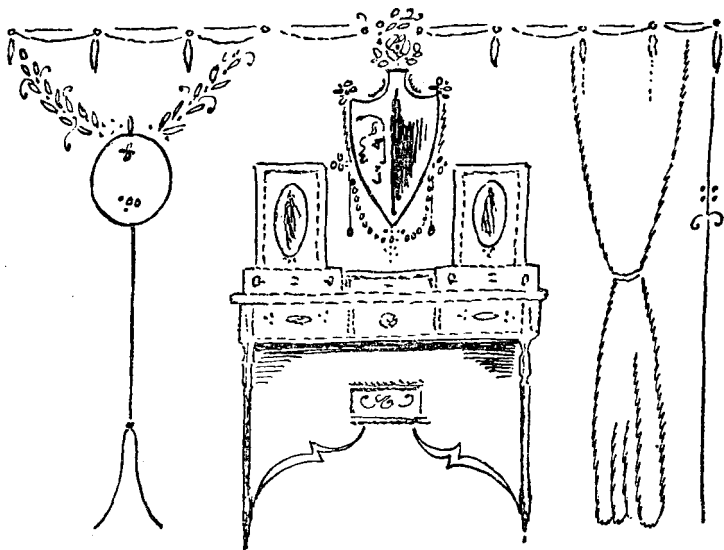
Действие четвертое — обстановка второго действия.

Время действия — наши дни.

Место действия — Лондон.

Все события пьесы совершаются в течение двадцати четырех часов.





*Фрэнку Гаррису  
Скромное приношение  
талантливому и утонченному художнику,  
рыцарственному и благородному другу*

### ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Восьмиугольный зал в доме сэра Роберта Чилтерна на Гроенор-сквер. Комната ярко освещена и полна гостей. Наверху лестницы стоит леди Чилтерн. Ей лет двадцать семь, она очень хороша собой — тип строгой классической красоты. Она встречает поднимающихся вверх гостей. С потолка над лестницей спускается люстра с восковыми свечами; свет ее падает на затягивающий стену вдоль лестницы большой французский гобелен XVIII века, изображающий «Торжество любви» по рисункам Буше. Справа дверь в музыкальный зал, откуда слабо слышны звуки струнного квартета. Слева дверь в другие парадные комнаты. Миссис Марчмонт и леди Бэзилдон сидят рядом на диванчике в стиле Людовика XVI. Обе очень хорошенькие, хрупкие, воздушные. Некоторая аффектация манер придает им тонкое очарование. Ватто охотно написал бы их портреты.

Миссис Марчмонт. Поедете сегодня к Хартлокам, Оливия?

Леди Бэзилдон. Вероятно. А вы?

Миссис Марчмонт. Я тоже. У них всегда такая скука, правда?

Леди Бэзилдон. Ужас! Не понимаю, зачем я к ним еду. Не понимаю, зачем я вообще куда-нибудь еду.

Миссис Марчмонт. Я еду сюда, чтобы узнать что-нибудь полезное.



Леди Бэзилдон. Ах, я так не люблю узнавать что-нибудь полезное.

Миссис Марчмонт. Я тоже. Это ставит нас на один уровень с деловыми кругами, вы не находите? Но милая Гертруда Чилтерн всегда говорит, что мне нужно иметь серьезную цель в жизни. Ну, я и пришла сюда в надежде ее найти.

Леди Бэзилдон (*оглядывает гостей в лорнет*). Но я никого здесь не вижу, кто мог бы стать серьезной целью в жизни. Этот господин, что вел меня к столу, все время говорил о своей жене.

Миссис Марчмонт. Какая пошлость!

Леди Бэзилдон. Ужасная! А ваш кавалер о чем говорил?

Миссис Марчмонт. Обо мне.

Леди Бэзилдон (*томно*). Вам было интересно?

Миссис Марчмонт (*покачивая головой*). Ни капельки.

Леди Бэзилдон. Какие мы с вами мученицы, милая Маргарет!

Миссис Марчмонт (*вставая*). И как это нам идет, Оливия!

Обе встают и направляются к дверям в музыкальный зал. Виконт де Нанжак, молодой атташе, известный своими галстуками и своей англоманией, подходит к ним с низким поклоном; завязывается разговор.

Мэсон (*стоя на площадке, докладывает о новых гостях*). Мистер Барфорд и леди Джейн Барфорд. Лорд Кавершем.

Входит лорд Кавершем, представительный джентльмен лет семидесяти, с лентой и орденом Подвязки на шее. Тип старого вига. Напоминает портрет кисти Лоуренса.

Лорд Кавершем. Добрый вечер, леди Чилтерн! Что, этот бездельник, мой сын, еще у вас не был?

Леди Чилтерн (*с улыбкой*). Нет, лорд Горинг, кажется, еще не появлялся.

Мейбл Чилтерн (*подходя к лорду Кавершему*). Почему вы называете лорда Горинга бездельником?

Мейбл Чилтерн — совершенный образчик английской женской красоты, бело-розовой, как цвет яблони. В ней благоуханность и свежесть цветка. Волосы отливают золотом, словно в них запутались солнечные лучи, маленький рот полуоткрыт, как у ребенка, который ждет чего-то приятного. Ей присущ пленительный деспотизм юности и ошеломляющая прямота невинности. Здравомыслящим людям она не напоминает никаких произведений искусства, но, если разобраться, она похожа на танагрскую статуэтку, хотя такой комплимент вряд ли пришелся бы ей по вкусу.

Лорд Кавершем. Потому что он ведет такой праздничный образ жизни.

Мейбл Чилтерн. Ну как вы можете это говорить! Каждое утро, в десять часов, он катается верхом в Хайд-парке; три раза в неделю бывает в опере, переодевается по меньшей мере пять раз в день и каждый вечер обедает в гостях. А вы говорите — праздничный образ жизни!

Лорд Кавершем (*смотрит на нее с добродушной усмешкой в глазах*). Вы весьма очаровательная молодая леди!

Мейбл Чилтерн. Как это мило с вашей стороны, лорд Кавершем! Приходите к нам почаще. Мы всегда дома по средам. А вы такой красивый с этой звездой!

Лорд Кавершем. Никуда не хожу. Не выношу лондонского общества. Не возражаю, если мне представят моего собственного портного, — он всегда голосует за кого следует. Но не согласен вести к столу модистку моей жены. Всегда считал, что шляпки леди Кавершем верх безобразия.

Мейбл Чилтерн. А мне нравится лондонское общество. По-моему, за последнее время оно изменилось к лучшему. И теперь почти сплошь состоит из красивых идиотов и остроумных сумасбродов. Как раз то, чем и должно быть общество.

Лорд Кавершем. Гм! А кто же Горинг? Красивый идиот или... вот то, другое?

Мейбл Чилтерн (*с важностью*). Пока мне пришлось зачислить лорда Горинга в особую категорию. Но он быстро развивается.

Лорд Кавершем. В какую сторону?

Мейбл Чилтерн (*с легким рсверансом*). Надеюсь, что вскоре смогу вам сообщить, лорд Кавершем!

Мэсон (*докладывает*). Леди Маркби. Миссис Чивли.

Входят леди Маркби и миссис Чивли. Леди Маркби приятная пожилая дама; седые волосы уложены в прическу à la marquize; носит великоленные кружева; добродушна и пользуется всеобщей симпатией. Сопровождающая ее миссис Чивли высока и худощава. Сухие, сильно накрашенные губы яркой чертой перерезают бледное лицо. Золотисто-рыжие волосы, орлиный нос, длинная шея. Румяна только подчеркивает ее природную бледность. Серо-зеленые беспокойные глаза. Платье цвета гелиотропа, бриллианты. Похожа на орхидею и возбуждает любопытство. Все движения очень грациозны. В целом она — произведение искусства, но со следами влияния слишком многих школ.

Леди Маркби. Добрый вечер, милая Гертруда! Я воспользовалась вашей любезностью и привела моего друга, миссис Чивли. Две такие прелестные женщины должны быть знакомы.

Леди Чилтерн (с приветливой улыбкой идет навстречу миссис Чивли, но вдруг останавливается и сдержанно кланяется). Мы, кажется, уже встречались с миссис Чивли. Я не знала, что она вторично вышла замуж.

Леди Маркби (добродушно). Да, теперь женщины стараются как можно чаще выходить замуж. Это сейчас в моде. (Обращаясь к герцогине Мэриборо.) Добрый вечер, милая герцогиня. А как здоровье герцога? Все еще страдает слабоумием? Ну, этого следовало ожидать, его покойный отец был такой же. Старинный род, знаете ли. Чистота крови — это великая вещь!

Миссис Чивли (играет веером). Разве мы уже встречались, леди Чилтерн? Но где? Что-то не помню. Я так давно не была в Англии.

Леди Чилтерн. Мы вместе учились в школе, миссис Чивли.

Миссис Чивли (свысока). Вот как? А я уже забыла свои школьные годы. Помню только, что они были очень неприятные.

Леди Чилтерн (холодно). Это меня не удивляет.

Миссис Чивли (самым любезным тоном). Заранее предвкушаю удовольствие от знакомства с вашим блестящим мужем, леди Чилтерн. С тех пор как он стал товарищем министра иностранных дел, в Вене только о нем и говорят. В газетах даже научились правильно писать его фамилию. Одно это уже доказательство его славы.

Леди Чилтерн. Вряд ли у вас найдется много общего с моим мужем, миссис Чивли. (Отходит.)

Виконт де Нанжак. Ma chère madame, quelle surprise! <sup>1</sup> Давно вас не видал! В последний раз мы, кажется, встречались в Берлине?

Миссис Чивли. Да. В Берлине. Пять лет назад.

Виконт де Нанжак. А вы с тех пор стали еще моложе, еще прекраснее! Чем вы этого добились?

Миссис Чивли. Тем, что взяла себе за правило разговаривать только с такими очаровательными людьми, как вы, виконт.

Виконт де Нанжак. Вы мне льстите. Вы меня маслите, как здесь говорят.

Миссис Чивли. Неужто здесь так говорят? Это ужасно!

---

<sup>1</sup> Какая приятная неожиданность! (фр.)

Виконт де Нанжак. Да, у них тут очень интересный язык. Я считаю, он достоин самого широкого распространения.

Входит сэр Роберт Чилтерн. Ему сорок лет, но выглядит моложе. Бритый, с тонкими чертами лица, темноглазый и темноволосый. Ярко выраженная индивидуальность. Не внушает симпатии — выдающиеся люди редко ее внушают, — но некоторые преклоняются перед ним, и все его уважают. Безукоризненные манеры с оттенком надменности. Видно, что он сознает, каких успехов достиг в жизни, и этим гордится. Нервный темперамент, вид усталый. Поразителен контраст между твердыми линиями рта и подбородка и мечтательным выражением глубоко посаженных глаз. Эта противоречивость внешнего облика заставляет подозревать такое же противоречие в душевной жизни; догадываешься, что страсти и разум, мысль и чувство живут в нем раздельно, запертые каждое в своей сфере насильственным приказанием воли. Тонкие ноздри, бледные худые руки с заостренными пальцами тоже говорят о нервности. Было бы неточно сказать, что у него своеобразная внешность, — палата общин стирает всякое своеобразие, — но Ван Дейк не отказался бы написать его портрет.

Сэр Роберт Чилтерн. Добрый вечер, леди Маркби! Надеюсь, сэр Джон с вами?

Леди Маркби. Я привела вам гораздо более приятную гостью, чем мой супруг. С тех пор как сэр Джон всерьез занялся политикой, у него стал невыносимый характер. Право же, ваша палата общин чем больше старается быть полезной, тем больше приносит вреда.

Сэр Роберт Чилтерн. Надеюсь, не такой уж большой вред, леди Маркби. Мы, во всяком случае, прилагаем все усилия к тому, чтобы как можно больше времени тратить зря. Но кто же эта очаровательная гостья, которую вы так любезно к нам привели?

Леди Маркби. Ее зовут миссис Чивли. Кажется, она из дорсетширских Чивли. А впрочем, не знаю. Сейчас все так перепуталось. Каждый оказывается в конце концов кем-то другим.

Сэр Роберт Чилтерн. Миссис Чивли? Я как будто слышал это имя.

Леди Маркби. Она только сейчас из Вены.

Сэр Роберт Чилтерн. А! Ну тогда я знаю, о ком вы говорите.

Леди Маркби. Ну конечно. У нее там множество знакомых, и она про всех рассказывает такие забавные истории. На будущий год непременно поеду в Вену. Надеюсь, в посольстве есть хороший повар?

Сэр Роберт Чилтерн. Если нет, мы отзовем посла. Будьте добры, покажите мне миссис Чивли. Я хотел бы на нее посмотреть.

Леди Маркби. Разрешите, я вас представляю. (К миссис Чивли.) Дорогая, сэр Роберт Чилтерн жаждет с вами познакомиться.

Сэр Роберт Чилтерн (с поклоном). Все жаждут познакомиться с блистательной миссис Чивли. Наши атташе в Вене только о ней нам и пишут.

Миссис Чивли. Благодарю вас, сэр Роберт. Если знакомство начинается с комплимента, оно имеет все шансы превратиться в прочную дружбу. Потому что начало было правильное. К тому же, как выяснилось, мы с леди Чилтерн старые знакомые.

Сэр Роберт Чилтерн. Вот как?

Миссис Чивли. Да. Она только что напомнила мне, что мы вместе учились в школе. Тогда и я вспомнила. Она всегда получала награды за хорошее поведение. Да, я отлично помню: леди Чилтерн всегда получала награды за хорошее поведение!

Сэр Роберт Чилтерн (улыбаясь). А вы за что получали награды, миссис Чивли?

Миссис Чивли. Мои награды пришли несколько позже. И вряд ли они были за хорошее поведение. Я уже забыла за что!

Сэр Роберт Чилтерн. Во всяком случае, за что-нибудь очаровательное!

Миссис Чивли. А разве женщин награждают за то, что они очаровательны? По-моему, их за это наказывают. Сколько есть прелестных женщин, которые состарились раньше времени только оттого, что их поклонники были так им верны! Иначе я не могу объяснить совершенно замученный вид ваших лондонских красавиц.

Сэр Роберт Чилтерн. Какая мрачная философия! Я понимаю, миссис Чивли, попытаться вас классифицировать было бы дерзостью. Но скажите все-таки — в глубине души вы пессимистка или оптимистка? У вас ведь только и осталось что эти две модные религии.

Миссис Чивли. Ну нет, я ни то, ни другое. Оптимизм — это улыбка до ушей, а пессимизм — синие очки. К тому же и то и другое только поза.

Сэр Роберт Чилтерн. Вы предпочитаете быть естественной?

Миссис Чивли. Иногда. Но это очень трудная поза — долго не выдержишь!

Сэр Роберт Чилтерн. А что сказали бы о такой

теории авторы психологических романов, о которых мы сейчас столько слышим?

Миссис Чивли. Ах, сила женщины в том, что ее не объяснишь с помощью психологии. Мужчин можно анализировать, женщин... только обожать.

Сэр Роберт Чилтерн. Вы считаете, что наука не может совладать с проблемой женщины?

Миссис Чивли. Наука не может совладать с иррациональным. Вот почему в нашем мире у науки нет будущего.

Сэр Роберт Чилтерн. А женщины в нашем мире представляют собой иррациональное?

Миссис Чивли. Да — те, что хорошо одеваются.

Сэр Роберт Чилтерн *(с учтивым поклоном)*. Боюсь, что тут я не могу с вами согласиться. Но, прошу вас, сядьте. И расскажите мне, что побудило вас покинуть веселую Вену ради нашего скучного Лондона? Или это нескромный вопрос?

Миссис Чивли. Вопросы не бывают нескромными. Ответы иногда бывают.

Сэр Роберт Чилтерн. Все-таки скажите, что вас привело сюда — политика или жажда развлечений?

Миссис Чивли. Политика мое единственное развлечение. Теперь ведь женщине не разрешается флиртовать раньше сорока лет и питать романтические чувства раньше сорока пяти. Так что нам, кто еще не достиг, — или говорит, что не достиг, — тридцатилетнего возраста, остается только благотворительность и политика. Но благотворительность — это последнее прибежище для тех, кто любит допекать своих ближних. Я предпочитаю политику. По-моему, это как-то... изящнее.

Сэр Роберт Чилтерн. Политика — благородное поприще!

Миссис Чивли. Да. Иногда. А иногда это азартная игра, сэр Роберт. А иногда страшная скука.

Сэр Роберт Чилтерн. А вы что в ней нашли?

Миссис Чивли. Я?.. Всего понемножку. *(Роняет веер.)*

Сэр Роберт Чилтерн *(наклоняется за веером)*. Позвольте, я... *(Подает ей веер.)*

Миссис Чивли. Благодарю вас.

Сэр Роберт Чилтерн. Но вы все-таки не сказали, почему вы так вдруг решили оказать нам честь своим посещением? Лондонский сезон уже идет к концу...

Миссис Чивли. Меня не интересует лондонский сезон. Он у вас какой-то чересчур... matrimониальный. Женщины все либо ловят мужей, либо прячутся от них. Нет, дело в том, сэр Роберт, что я хотела вас видеть. Сознаюсь откровенно. Вы знаете, как женщины любопытны. Почти как мужчины! Я очень хотела вас видеть и... обратиться к вам с просьбой.

Сэр Роберт Чилтерн. Надеюсь, просьба не маленькая, миссис Чивли? Маленькие просьбы всегда так трудно исполнять.

Миссис Чивли (*подумав*). Нет, это, пожалуй, не маленькая просьба.

Сэр Роберт Чилтерн. Очень рад. Скажите же, какая?

Миссис Чивли. Потом. (*Встает.*) А сейчас, если позволите, я хотела бы посмотреть ваш чудесный дом. Я слышала о вашей картинной галерее. Барон Арнгейм — вы помните барона? — он говорил мне, что в вашей коллекции есть несколько превосходных Коро.

Сэр Роберт Чилтерн (*чуть заметно вздрогнув*). Вы хорошо знали барона Арнгейма?

Миссис Чивли (*усмехаясь*). Да. Очень близко. А вы?

Сэр Роберт Чилтерн. Одно время мы были знакомы.

Миссис Чивли. Правда, замечательный человек?

Сэр Роберт Чилтерн (*после паузы*). Да, весьма замечательный — во многих отношениях.

Миссис Чивли. Как жаль, что он не писал мемуаров. Вот было бы интересно!

Сэр Роберт Чилтерн. Да, он, как древние греки, знал многих людей и посетил многие города.

Миссис Чивли. И не имел такой обуви, как ждущая его дома Пенелопа.

Мэсон (*докладывает*). Лорд Горинг.

Входит лорд Горинг. Ему тридцать четыре года, но он всегда говорит, что ему меньше. Совершенно лишенное выражения лицо — маска благовоспитанности. Умен, но всячески это скрывает. Безукоризненный денди, он больше всего боится, как бы его не заподозрили в чувствительности. Жизнь для него игра, и он в полном ладу с миром. Ему нравится быть непонятым. Это как бы возвышает его над окружающими.

Сэр Роберт Чилтерн. Здравствуйте, дорогой мой Артур! Миссис Чивли, разрешите представить вам лорда Горинга, самого праздного человека в Лондоне.

Миссис Чивли. Мы уже встречались с лордом Горингом.

Лорд Горинг (кланяется). Вот уж не думал, что вы меня помните, миссис Чивли.

Миссис Чивли. У меня прекрасная память — на то, что я хочу помнить. А вы все еще не женаты?

Лорд Горинг. Кажется... нет.

Миссис Чивли. Как романтично!

Лорд Горинг. Ах нет, я совсем не романтик. Для этого я недостаточно стар. Предоставляю романтику старшим по возрасту.

Сэр Роберт Чилтерн. Лорд Горинг типичный продукт своего клуба, миссис Чивли.

Миссис Чивли. Он делает честь этому учреждению.

Лорд Горинг. Можно узнать, долго ли вы еще будете в Лондоне?

Миссис Чивли. Это зависит отчасти от погоды, отчасти от лондонской кухни и отчасти от сэра Роберта.

Сэр Роберт Чилтерн. Но вы, надеюсь, не собираетесь свергнуть нас в европейскую войну?

Миссис Чивли. О нет. Эта опасность вам не угрожает. (Кивает лорду Горингу с насмешливой искоркой в глазах и выходит из залы в сопровождении сэра Роберта Чилтерна.)

Лорд Горинг не спеша подходит к Мейбл Чилтерн.

Мейбл Чилтерн. Как вы поздно!

Лорд Горинг. А вы скучали по мне?

Мейбл Чилтерн. Ужасно!

Лорд Горинг. Жаль, я не знал, а то бы я еще больше задержался. Я люблю, когда по мне скучают.

Мейбл Чилтерн. Какой вы эгоист!

Лорд Горинг. Да, я ужасный эгоист.

Мейбл Чилтерн. Вы всегда рассказываете мне о своих дурных качествах, лорд Горинг!

Лорд Горинг. Я еще и половины вам не рассказал, мисс Мейбл.

Мейбл Чилтерн. А те, о которых вы не рассказали, тоже очень плохие?

Лорд Горинг. Чудовищные! Когда я ночью вспоминаю о них, я сейчас же опять засыпаю.

Мейбл Чилтерн. А мне нравятся ваши дурные качества. Я не хочу, чтобы вы исправлялись.

Лорд Горинг. Как это мило с вашей стороны. Но вы



всегда милы. Кстати, я хочу вас спросить. Кто привел сюда эту миссис Чивли? Вон ту, в сиреновом платье, что сейчас вышла с вашим братом?

Мейбл Чилтерн. Она, кажется, приехала с леди Маркби. Почему вы спрашиваете?

Лорд Горинг. Да так просто. Я уже много лет ее не видал.

Мейбл Чилтерн. Что за нелепая причина?

Лорд Горинг. Все причины нелепы.

Мейбл Чилтерн. А что она за женщина?

Лорд Горинг. Она?.. Днем гений, вечером красавица.

Мейбл Чилтерн. Не нравится она мне.

Лорд Горинг. Это показывает, что у вас хороший вкус.

Виконт де Нанжак (*подходит к ним*). А у английской девушки пропасть — нет, как это? — английская девушка — это пропасть на хороший вкус. Настоящая пропасть на хороший вкус.

Лорд Горинг. Да, именно так пишут в газетах.

Виконт де Нанжак. Я читаю все ваши английские газеты. Они очень интересны.

Лорд Горинг. Ну, значит, дорогой мой Нанжак, вы читаете между строк.

Виконт де Нанжак. Я бы очень хотел, но мой учитель английского языка мне запрещает. (*К Мейбл Чилтерн.*) Разрешите проводить вас в музыкальный зал, мисс Чилтерн?

Мейбл Чилтерн (*очень огорчена*). С удовольствием, виконт, с большим удовольствием! (*Оглядывается на лорда Горинга.*) Вы тоже идете в музыкальный зал?

Лорд Горинг. Только если там сейчас нет музыки, мисс Мейбл.

Мейбл Чилтерн (*строго*). Музыка будет по-немецки. Вы все равно не поймете. (*Выходит с виконтом де Нанжак.*)

Лорд Кавершем (*подходит к сыну*). Ну, сэр? А вы что тут делаете? Прожигаете жизнь, по обыкновению? Вам давно пора быть в постели. Нельзя ложиться так поздно. Я слышал, вы третьего дня танцевали у леди Реффорд и уехали в четыре часа утра.

Лорд Горинг. Было всего без четверти четыре, отец.

Лорд Кавершем. Не понимаю, как вы выносите теперешнее лондонское общество. Толпа ничтожеств, которые говорят ни о чем!

Лорд Горинг. Я люблю говорить ни о чем, отец. Это единственное, о чем я что-нибудь знаю.

Лорд Кавершем. Вы, кажется, живете только для удовольствия.

Лорд Горинг. А для чего же еще жить, отец? Для счастья? Но ничто так не старит человека, как счастье.

Лорд Кавершем. Вы бессердечны, сэр, совершенно бессердечны.

Лорд Горинг. Ну, что вы отец. Добрый вечер, леди Бэзилдон.

Леди Бэзилдон (*выгибает свои красивые брови*). И вы тут? Я не знала, что вы посещаете политические салоны.

Лорд Горинг. Я обожаю политические салоны. Это единственное место, где не говорят о политике.

Леди Бэзилдон. Я очень люблю говорить о политике. Иногда целый день говорю. Но терпеть не могу слушать, когда о ней говорят другие. Не понимаю, как эти несчастные в парламенте выдерживают свои бесконечные прения.

Лорд Горинг. Так они же никогда не слушают.

Леди Бэзилдон. Нет, правда?

Лорд Горинг (*самым серьезным тоном*). Конечно, Ведь слушать — это очень опасно: тебя могут убедить. А человек, который позволяет убедить себя доводами разума, очень неразумное существо.

Леди Бэзилдон. Ах, это объясняет мне многое в мужчинах, чего я раньше не понимала, и многое в женщинах, чего их мужья совсем не ценят.

Миссис Марчмонт (*со вздохом*). Наши мужья ничего в нас не ценят. За этим приходится обращаться к другим.

Леди Бэзилдон (*с чувством*). Да, всегда к другим!.. Всегда к другим!

Лорд Горинг (*улыбается*). И это говорят две женщины, у которых, как вам известно, лучшие мужья во всем Лондоне!

Миссис Марчмонт. В том-то и беда. Мой Реджинальд безнадежно добродетелен. Иногда это просто невыносимо. В знакомстве с таким человеком нет ни малейшего интереса!

Лорд Горинг. Какой ужас! Об этом надо говорить!

Леди Бэзилдон. Мой Бэзилдон тоже не лучше. Он так любит сидеть дома, как будто он холостяк.

Миссис Марчмонт (*пожимает руку леди Бэзил-*

дон). Бедная моя Оливия! Мы с вами вышли замуж за примерных мужей и вот теперь страдаем.

Лорд Горинг. Я думал, что в таких случаях страдают мужья.

Миссис Марчмонт (*оскорбленно выпрямляется*). Как бы не так! Они совершенно счастливы и довольны. А уж до чего они нам верят — это просто трагедия!

Леди Бэзилдон. Да, истинная трагедия!

Лорд Горинг. А может быть, комедия, леди Бэзилдон?

Леди Бэзилдон. Комедия, лорд Горинг? Как вам не стыдно так говорить!

Миссис Марчмонт. Боюсь, что лорд Горинг, как всегда, в стане врагов. Я видела, он разговаривал с этой миссис Чивли.

Лорд Горинг. Она очень красива, эта миссис Чивли.

Леди Бэзилдон (*натянуто*). Пожалуйста, не хвалите других женщин в нашем присутствии. Могли бы подождать, пока мы ее похвалим.

Лорд Горинг. Я и ждал.

Миссис Марчмонт. Ну так не дождетесь. Мы не собираемся хвалить миссис Чивли. Мне рассказывали — она в понедельник была в опере и сказала Томми Реффорду, что лондонское общество — это сплошь куклы и пешки.

Лорд Горинг. И она права. Мужчины все пешки, а женщины все прелестны, как куколки.

Миссис Марчмонт (*после паузы*). Вы думаете, она это хотела сказать?

Лорд Горинг. Конечно. И, по-моему, это довольно-таки разумное замечание.

Входит Мейбл Чилтерн.

Мейбл Чилтерн (*подходя к ним*). Почему вы говорите о миссис Чивли? Все только о ней и говорят. Лорд Горинг сказал... что вы сказали о миссис Чивли, лорд Горинг? А, вспомнила: что днем она гений, а вечером красавица.

Леди Бэзилдон. Какое отвратительное сочетание! Совершенно противоестественное.

Миссис Марчмонт (*мечтательно*). Я люблю смотреть на гениев и слушать красавцев.

Лорд Горинг. Ну, это уже извращение, миссис Марчмонт!

Миссис Марчмонт (*просияв от удовольствия*). Как я рада это слышать! Мы с Марчмонтом семь лет жена-

ты, и он ни разу не сказал мне, что я извращена. Мужчины так ненаблюдательны!

Леди Бэзилдон (*поворачиваясь к ней*). Я всегда говорила, милая Маргарет, что вы самая извращенная женщина во всем Лондоне.

Миссис Марчмонт. Да, но вы ведь всегда так добры ко мне, Оливия!

Мейбл Чилтерн. Скажите, а это извращение, если человек хочет есть? Я ужасно хочу есть. Не поведете ли вы меня ужинать, лорд Горинг?

Лорд Горинг. С удовольствием, мисс Мейбл.

Отходят вместе.

Мейбл Чилтерн. Хороши вы, нечего сказать! Даже ни разу не поговорили со мной за весь вечер.

Лорд Горинг. А как я мог? Вы ушли с этим дипломатическим младенцем.

Мейбл Чилтерн. Вы могли пойти за нами. Навязчивость в данном случае была бы только учтивой. Вы мне сегодня совсем не нравитесь.

Лорд Горинг. А вы мне бесконечно нравитесь.

Мейбл Чилтерн. Ну так показали бы это как-нибудь более заметно!

Уходят вниз по лестнице.

Миссис Марчмонт. Оливия, я как-то странно себя чувствую — такая слабость! Я бы, пожалуй, поужинала. Да, я положительно не прочь поужинать.

Леди Бэзилдон. Я умираю от голода, Маргарет!

Миссис Марчмонт. Мужчины так бессердечны — никогда не думают о таких вещах.

Леди Бэзилдон. У них низменные инстинкты, дорогая. Грубые материалисты!

Виконт де Нанжак вместе с другими выходит из музыкального зала. Внимательно оглядев всех присутствующих, подходит к леди Бэзилдон.

Виконт де Нанжак. Разрешите пригласить вас к ужину, контесса?

Леди Бэзилдон (*холодно*). Благодарю вас, я никогда не ужинаю, виконт.

Он хочет уйти.

(*Видя это, она проворно встает и берет его под руку.*) Но я охотно пройду с вами в столовую.

Виконт де Нанжак. Я очень люблю есть! У меня совершенно английские вкусы.

Леди Бэзилдон. Вы и по виду совсем англичанин, виконт. Как две капли воды!

Уходят. К миссис Марчмонт подходит безукоризненно одетый молодой щеголь, мистер Монфорд.

Мистер Монфорд. Хотите ужинать, миссис Марчмонт?

Миссис Марчмонт (томно). Благодарю вас, мистер Монфорд, я никогда не ужинаю. (Послушно встает и берет его под руку.) Но я посижу возле вас и буду на вас смотреть.

Мистер Монфорд. Знаете, мне как-то не очень нравится, если на меня смотрят, когда я ем.

Миссис Марчмонт. Ну, я буду смотреть на кого-нибудь другого.

Мистер Монфорд. А уж это мне совсем не нравится.

Миссис Марчмонт (строго). Пожалуйста, не устраивайте мне публично таких ужасных сцен ревности, мистер Монфорд!

Спускаются по лестнице вместе с другими гостями. Навстречу им поднимаются сэр Роберт Чилтерн и миссис Чивли и входят в зал.

Сэр Роберт Чилтерн. Предполагаете погостить у кого-нибудь за городом до вашего отъезда из Англии, миссис Чивли?

Миссис Чивли. О нет! В ваших английских поместьях всегда такая скука. Там даже пытаются острить за завтраком. Бог знает что! Только абсолютные тупицы острят за завтраком. А какой-нибудь фамильный скелет еще читает молитву перед едой. Нет уж, увольте. Мой отъезд из Англии, сэр Роберт, целиком зависит от вас. (Садится на диванчик.)

Сэр Роберт Чилтерн (садится рядом). Серьезно?

Миссис Чивли. Вполне серьезно. Мне нужно поговорить с вами об одном очень важном политическом и финансовом предприятии. А именно об акционерной компании по сооружению Аргентинского канала.

Сэр Роберт Чилтерн. Неужто вас интересуют такие скучные, практические темы, миссис Чивли?

Миссис Чивли. Я очень люблю скучные, практические темы. Чего я не люблю, это скучных, практических лю-

дей. Но это не одно и то же. Кроме того, я знаю, что и вы интересуетесь каналами. Вы ведь были секретарем лорда Рэдли, когда наше правительство скупило акции Суэцкого канала?

Сэр Роберт Чилтерн. Да. Но Суэцкий канал — это совсем другое дело. Это был очень важный и вполне реальный план. Он открывал нам прямую дорогу в Индию. В интересах империи необходимо было взять его в свои руки. А эта аргентинская затея — обыкновенное биржевое мошенничество.

Миссис Чивли. Спекуляция, сэр Роберт! Смелая, блестящая спекуляция!

Сэр Роберт Чилтерн. Поверьте мне, миссис Чивли, чистейшее мошенничество. Будем называть вещи своими именами. Это упрощает дело. У нас в министерстве все известно об этом канале. Я даже направил туда специальную комиссию, чтобы она негласно все разузнала, и они нам сообщили, что земляные работы еще только начаты, а собранные деньги уже неизвестно куда девались. Это вторая Панама — а шансов на успех имеет еще меньше. Надеюсь, вы не вложили в него денег? Вы слишком умны для этого.

Миссис Чивли. Я очень много в него вложила.

Сэр Роберт Чилтерн. Кто вам посоветовал такую глупость?

Миссис Чивли. Ваш бывший друг — и мой.

Сэр Роберт Чилтерн. Кто?

Миссис Чивли. Барон Арнгейм.

Сэр Роберт Чилтерн (*нахмурившись*). А!.. Да, я помню, — когда он умер, ходили слухи, что он как-то связан с этой аферой.

Миссис Чивли. Это был его последний роман. Точнее — предпоследний.

Сэр Роберт Чилтерн (*встает*). Но вы еще не видели моих Коро. Мы их повесили в музыкальном зале. Коро так подходит к музыке, правда? Разрешите, я вам их покажу?

Миссис Чивли (*качает головой*). Нет, я сейчас не в настроении любоваться серебряными сумерками и розовыми рассветами. Я хочу говорить о деле. (*Жестом указывает ему место рядом с собой на диванчике.*)

Сэр Роберт Чилтерн. Боюсь, что могу дать вам только один совет, миссис Чивли, — впредь помещать свои деньги в менее рискованные предприятия. Конечно, судьба этого канала зависит от того, какую позицию займет Анг-

лия. И завтра вечером я представляю в парламент доклад комиссии.

Миссис Чивли. Вот этого вы и не должны делать. В ваших собственных интересах — не говоря уже о моих.

Сэр Роберт Чилтерн (*удивленно глядит на нее*). В моих собственных интересах? Дорогая миссис Чивли, что вы этим хотите сказать? (*Садится рядом с ней.*)

Миссис Чивли. Хорошо, сэр Роберт, будем говорить начистоту. Я хочу, чтобы вы сняли свой доклад в парламенте — на том основании, что комиссия была плохо информирована или небеспристрастна в своих выводах, или по какому-либо другому причине. И чтобы вы сказали несколько слов о том, что правительство намерено пересмотреть этот вопрос и что Аргентинский канал, когда его закончат, будет иметь огромное международное значение. Ну, вы знаете, что в таких случаях говорят министры. Несколько общих мест. В наше время ничто не производит такого благоприятного впечатления на слушателей, как хорошее, совершенно затертое общее место. Все вдруг ощущают некое родство душ. Вы сделаете это для меня, сэр Роберт?

Сэр Роберт Чилтерн. Миссис Чивли! Не может быть, чтобы вы всерьез делали мне такое предложение!

Миссис Чивли. И еще как всерьез!

Сэр Роберт Чилтерн (*холодно*). Разрешите мне все-таки думать, что это шутка.

Миссис Чивли (*говорит очень веско и выразительно*). Нет, это не шутка. И если вы исполните мою просьбу, я... хорошо вам заплачу.

Сэр Роберт Чилтерн. Заплатите?.. Мне?..

Миссис Чивли. Вам.

Сэр Роберт Чилтерн. Кажется, я вас все-таки не понимаю.

Миссис Чивли (*откидывается на спинку диванчика и смотрит на сэра Роберта*). Как жаль!.. А я-то приехала сюда из Вены именно для того, чтобы вы меня поняли как следует.

Сэр Роберт Чилтерн. Отказываюсь понимать.

Миссис Чивли (*самым любезным тоном*). Дорогой мой сэр Роберт, вы же деловой человек, и, стало быть, вас можно купить. В наши дни всякого можно купить. Только некоторые очень дороги. Я, например. Ну а вы, надеюсь, не будете слишком дорожить.

Сэр Роберт Чилтерн (*встает в негодовании*). Если позволите, я вызову вашу карету. Вы так долго жили

за границей, миссис Чивли, — вы, очевидно, сейчас просто не понимаете, что говорите с английским джентльменом.

Миссис Чивли (*останавливает его, прикоснувшись веером к его руке, и держит так веер, пока говорит*). Я очень хорошо понимаю, что говорю с человеком, который заложил основу своих успехов тем, что продал государственную тайну биржевому спекулянту.

Сэр Роберт Чилтерн (*прикусив губу*). Что это значит?..

Миссис Чивли (*встав и глядя ему в лицо*). Это значит, что мне известно истинное происхождение вашего богатства — и вашей карьеры — и что ваше письмо в моих руках.

Сэр Роберт Чилтерн. Какое письмо?..

Миссис Чивли (*презрительно*). То, которое вы написали барону Арнгейму, когда были секретарем лорда Рэдли. То, в котором вы советуете барону покупать акции Суэцкого канала. А написано оно было за три дня до того, как правительство объявило о своем решении скупить акции.

Сэр Роберт Чилтерн (*хриплым голосом*). Это ложь.

Миссис Чивли. Вы думали, письмо уничтожено? Какая наивность! Оно у меня.

Сэр Роберт Чилтерн. Это была просто спекуляция. Билль еще не прошел в парламент. Его могли отвергнуть.

Миссис Чивли. Это было мошенничество, сэр Роберт. Будем называть вещи своими именами. Это упрощает дело. А теперь я хочу продать вам это письмо. И в оплату требую, чтобы вы публично поддержали аргентинский проект. Вы разбогатели на одном канале. Помогите мне и моим друзьям разбогатеть на другом.

Сэр Роберт Чилтерн. Вы хотите, чтобы я... Но это же подлость... подлость!

Миссис Чивли. Нет. Игра. Та игра, сэр Роберт, в которую всем нам рано или поздно приходится играть.

Сэр Роберт Чилтерн. Я не могу это сделать.

Миссис Чивли. То есть вы не можете этого не сделать. Вы отлично знаете, что стоите на краю пропасти. Не вам диктовать условия. Вам остается только их принять. Допустим, вы откажетесь...

Сэр Роберт Чилтерн. Что тогда?

Миссис Чивли. Да, дорогой сэр Роберт, что тогда? Тогда вы погибли, только и всего. Вспомните, до чего вы тут дошли, с вашим пуританством! В прежнее время никто



не старался быть лучше своих ближних. Это даже считалось дурным тоном, мещанством. Но теперь вы все помешаны на морали. Каждый должен быть образцом чистоты, неподкупности и прочих семи смертных добродетелей. А результат? Вы все валитесь, как кегли, одни за другим. Года не проходит, чтобы кто-нибудь не исчез с горизонта. Раньше скандальная история придавала еще больший шарм человеку или хоть делала его интереснее, а теперь это гибель. А ваш скандальчик будет очень некрасивый. Вам после этого не уцелеть. Если станет известно, что вы в молодости, будучи секретарем такого важного и всеми уважаемого министра, за большие деньги продали государственную тайну, — ну, вас затравят! Носу никуда нельзя будет показать. А с какой стати вам жертвовать всем своим будущим, вместо того чтобы заключить дипломатическое соглашение с врагом? Потому что сейчас я ваш враг, это верно. И я гораздо сильнее вас. Большие батальоны на моей стороне. Вы, правда, занимаете высокое положение, но это-то и делает вас уязвимым. Трудно обороняться. А я атакую. И, заметьте, я не читаю вам мораль. Тут я вас пощадила, скажите мне за это спасибо. Ну так вот. Много лет тому назад вы совершили бесчестный, но очень выгодный для вас поступок. Получили все, чего хотели, — богатство, положение в обществе. А теперь надо за это платить. За все приходится платить, рано или поздно. Вам — вот сейчас. Прежде чем я уйду отсюда, вы должны мне пообещать, что снимете ваш доклад и выступите завтра в парламенте в защиту аргентинского проекта.

Сэр Роберт Чилтерн. Вы требуете невозможного.

Миссис Чивли. А вы сделайте, чтобы оно стало возможным. Вам же ничего другого не остается. Сэр Роберт, вы знаете, что такое ваши английские газеты. Предположим, что я прямо отсюда поеду в редакцию какой-нибудь газеты? Все расскажу и представлю доказательства? Подумайте, как они возрадуются, с каким восторгом стащат вас в грязь и обольют помоями! Какой-нибудь жирный ханжа с самодовольной усмешкой будет писать о вас передовицу, и как он все это размажет и заклеит вас позором!

Сэр Роберт Чилтерн. Перестаньте!.. Вы хотите, чтобы я снял доклад и произнес короткую речь в палате о том, что этот проект, по-моему, имеет будущее?

Миссис Чивли (садясь на диван). Да, таковы мои условия.

Сэр Роберт Чилтерн (понижив голос). Я дам вам денег — любую сумму, какую вы назначите.

Миссис Чивли. Даже вы, сэр Роберт, недостаточно богаты, чтобы выкупить свое прошлое. Никто этого не может.

Сэр Роберт Чилтерн. Я не сделаю того, что вы просите...

Миссис Чивли. Придется. А если нет... *(Встает.)*

Сэр Роберт Чилтерн *(он растерян и сбит с толку)*. Подождите! А вы-то что мне предлагаете? Вы сказали, что вернете мне письмо?..

Миссис Чивли. Да. И вы можете положиться на мое слово. Завтра вечером в половине двенадцатого я буду в парламенте, на балконе для посетителей. Если к этому времени вы сделаете такое сообщение, какое мне желательно, — а возможностей для этого будет достаточно, — я вручу вам ваше письмо — с благодарностью и наилучшими или хоть наиболее подходящими к случаю пожеланиями. Я веду с вами честную игру. Всегда надо играть честно... когда козыри у тебя на руках. Барон Арнгейм научил меня этому... и еще многому другому.

Сэр Роберт Чилтерн. Дайте мне подумать.

Миссис Чивли. Нельзя. Решайте сейчас.

Сэр Роберт Чилтерн. Неделю! Три дня!

Миссис Чивли. Нет. Я должна сегодня же телеграфировать в Вену.

Сэр Роберт Чилтерн. Господи! Что привело вас на мою дорогу?..

Миссис Чивли. Обстоятельства. *(Направляется к двери.)*

Сэр Роберт Чилтерн. Не уходите. Я согласен. Доклад будет снят. И я устрою, чтобы мне задали вопрос о канале.

Миссис Чивли. Благодарю вас. Я же знала, что мы договоримся. Я сразу поняла ваш характер. Я вас анализировала, хоть вы меня и не обожали. А теперь вызовите, пожалуйста, мою карету, сэр Роберт. Ваши гости уже возвращаются с ужина, а вы, англичане, всегда впадаете в сентиментальность после еды, чего я совершенно не выношу.

Сэр Роберт Чилтерн уходит. Входят гости, среди них леди Чилтерн, леди Маркби, лорд Кавершем, леди Бэзилдон, мистер Мармонт, виконт де Нанжак, мистер Монфорд.

Леди Маркби. Ну, дорогая миссис Чивли, надеюсь, вы приятно провели время. Сэр Роберт такой занятный собеседник!

Миссис Чивли. Чрезвычайно занятный. Я получила огромное удовольствие от разговора с ним.

Леди Маркби. Он сделал такую блестящую карьеру. И так удачно женился. Леди Чилтерн замечательная женщина. У нее такие строгие принципы. Я уж стара и не берусь служить примером для других — слишком хлопотливо. Но очень уважаю тех, кто это делает. А леди Чилтерн оказывает на людей прямо-таки облагораживающее влияние. Хотя обеды у нее скучноваты. Но нельзя иметь все, правда? А теперь, милочка, мне пора домой. Заехать к вам завтра?

Миссис Чивли. Буду очень рада.

Леди Маркби. Поедем в пять часов кататься в парк. Там сейчас все выглядит так свежо.

Миссис Чивли. Кроме людей.

Леди Маркби. Да, люди, пожалуй, немножко выдохлись. Я замечала, что в конце сезона у многих делается что-то вроде размягчения мозгов. Но и то лучше, чем высокая интеллигентность. Она очень портит наружность. У интеллигентных девушек почему-то всегда становятся большие носы. И очень трудно выдать их замуж — мужчинам не нравится. Доброй ночи, дорогая! *(К леди Чилтерн.)* Доброй ночи, Гертруда! *(Уходит, опираясь на руку лорда Кавершема.)*

Миссис Чивли. Какой у вас прелестный дом, леди Чилтерн! И какой очаровательный вечер я провела! Было так интересно побеседовать с вашим мужем.

Леди Чилтерн. Почему вы хотели познакомиться с моим мужем, миссис Чивли?

Миссис Чивли. Я вам скажу. Мне хотелось заинтересовать его Аргентинским каналом — вы, наверно, о нем слышали. И ваш муж оказался очень податливым — то есть податливым к доводам рассудка. Это так редко в мужчинах. Я мигом его уговорила. Завтра на вечернем заседании он выступит в пользу этого проекта. Мы обе должны пойти в палату и послушать его речь. Это будет событие!

Леди Чилтерн. Вы, наверно, ошиблись. Мой муж не станет поддерживать эту аферу.

Миссис Чивли. Да нет, уверяю вас, это дело решенное. Теперь я уже не жалею, что совершила такую утомительную поездку из Вены. Она увенчалась полным успехом. Но пока это, конечно, секрет.

Леди Чилтерн *(сдержанно)*. Секрет? Между кем и кем?

Миссис Чивли (с насмешливым блеском в глазах).  
Между мной и вашим мужем.

Сэр Роберт Чилтерн (подходя к ним). Ваша карета подана, миссис Чивли.

Миссис Чивли. Благодарю! Прощайте, леди Чилтерн. Доброй ночи, лорд Горинг! Я остановилась в отеле Кларидж. Может быть, нанесете мне визит?

Лорд Горинг. Если вам угодно, миссис Чивли.

Миссис Чивли. Ах, не будьте так церемонны! Не то мне самой придется нанести вам визит. А в Англии это, кажется, не принято. За границей мы уже более цивилизованны. Вы проводите меня, сэр Роберт? Теперь у нас с вами есть общие интересы, и, я надеюсь, мы будем друзьями! (Выплывает из зала, опираясь на руку сэра Роберта Чилтерна.)

Леди Чилтерн идет к лестнице и смотрит им вслед, пока они спускаются по ступенькам. Лицо ее выражает смущение и тревогу. Потом к ней подходит кто-то из гостей, и они вместе уходят в левую дверь.

Мейбл Чилтерн. До чего она противная, эти миссис Чивли!

Лорд Горинг. Вам пора спать, мисс Мейбл.

Мейбл Чилтерн. Лорд Горинг!

Лорд Горинг. Мой отец еще час назад посоветовал мне идти спать. А теперь я вам советую то же самое. Я всегда так поступаю с добрыми советами: передаю их другим. Больше с ними нечего делать — мне самому от них никогда нет толку.

Мейбл Чилтерн. Лорд Горинг, вы всегда высылаете меня из комнаты. Это очень смело с вашей стороны. Тем более что я вовсе не намерена идти спать. (Идет к диванчику.) Если желаете, можете сесть рядом и говорить о чем угодно, кроме Королевской академии, миссис Чивли и романов на шотландском диалекте. Эти темы не возвышают душу. (Замечает на диване какую-то вещьцу, завалившуюся за подушки.) Что это? Смотрите, кто-то потерял бриллиантовую брошку. Какая изящная, правда? (Показывает лорду Горингу.) Мне бы такую! Но Гертруда разрешает мне носить только жемчуг, а я его терпеть не могу. В жемчугах я такая скромница, умница, пай-девочка. Интересно, чья эта брошка.

Лорд Горинг. Да, и мне интересно, кто ее обронил.

Мейбл Чилтерн. Красивая брошка!

Лорд Горинг. Да, красивый браслет.

Мейбл Чилтерн. Это не браслет, это брошка.

Лорд Горинг. Ее можно носить и как браслет. *(Берет брошку, достает зеленый бумажник, аккуратно укладывает ее туда и прячет во внутренний карман. Все это он проделывает с полным хладнокровием.)*

Мейбл Чилтерн. Что вы делаете?

Лорд Горинг. Мисс Мейбл, я хочу обратиться к вам с несколько странной просьбой.

Мейбл Чилтерн *(с живостью)*. Ах, наконец-то! Я целый вечер этого ждала.

Лорд Горинг *(в первое мгновение сконфужен, но быстро овладевает собой)*. Никому не говорите, что я взял эту брошку. А если кто-нибудь напишет или вообще будет ее искать, сейчас же сообщите мне.

Мейбл Чилтерн. Действительно странная просьба.

Лорд Горинг. Видите ли, когда-то, очень давно, я подарил эту брошку одной особе.

Мейбл Чилтерн. Вы?..

Лорд Горинг. Я.

Входит леди Чилтерн, одна. Гости уже разъехались.

Мейбл Чилтерн. В таком случае мне, конечно, ничего не остается, как только пожелать вам спокойной ночи. Доброй ночи, Гертруда! *(Уходит.)*

Леди Чилтерн. Доброй ночи, милочка! *(Лорду Горингу.)* Вы видели, кого к нам привела леди Маркби?

Лорд Горинг. Да. Неприятный сюрприз. Зачем она сюда явилась?

Леди Чилтерн. По-видимому, затем, чтобы соблазнить Роберта и заставить его поддержать дутое предприятие, в котором сама заинтересована. Аргентинский канал.

Лорд Горинг. А! Не поняла, с кем имеет дело.

Леди Чилтерн. Где уж ей понять такую чистую, возвышенную натуру, как мой муж!

Лорд Горинг. Да. Видно, ей туго пришлось, если она вздумала ловить Роберта в свои сети. Удивительно, какие ошибки совершают иной раз умные женщины!

Леди Чилтерн. Вы называете это умом? По-моему, это глупость.

Лорд Горинг. Часто это одно и то же. Спокойной ночи, леди Чилтерн!

Леди Чилтерн. Спокойной, ночи!

Входит сэр Роберт Чилтерн.

Сэр Роберт Чилтерн. Уже уходите, Артур? Посидите еще немножко.

Лорд Горинг. К сожалению, не могу. Обещал еще заглянуть к Хартлокам. У них там лиловый венгерский оркестр исполняет лиловую венгерскую музыку. До скорого свиданья. Всего хорошего. (*Уходит.*)

Сэр Роберт Чилтерн. Какая ты сегодня красавица, Гертруда!

Леди Чилтерн. Роберт, скажи, ведь это неправда? Ты не станешь поддерживать эту аргентинскую спекуляцию? Ты на это не способен!

Сэр Роберт Чилтерн (*отшатнулся*). Кто тебе сказал?

Леди Чилтерн. Эта женщина, которая только что ушла. Миссис Чивли, как она теперь себя называет. Она это говорила с издевкой, как будто смеялась надо мной. Роберт, я знаю эту женщину. А ты не знаешь. Мы вместе учились в школе. Она и тогда была лживой, бесчестной, она дурно влияла на всех, кто верил ей или дружил с ней. Я ненавидела ее и презирала. Она крада вещи. Ее выгнали из школы за воровство. А ты позволяешь ей в чем-то тебя уговаривать!

Сэр Роберт Чилтерн. Гертруда, все это, может быть, и верно, но ведь это было очень давно. Не лучше ли об этом забыть? Миссис Чивли могла с тех пор измениться. Нельзя судить человека только по его прошлому.

Леди Чилтерн (*с глубоким убеждением*). Наше прошлое — это мы сами. Как же еще судить о людях, если не по их прошлому?

Сэр Роберт Чилтерн. Это жестоко, Гертруда!

Леди Чилтерн. Это справедливо, Роберт. Знаешь ли ты, что она хвастала, будто ты обещал ей поддержать своим влиянием — своим именем! — эту аргентинскую спекуляцию, о которой я знаю с твоих собственных слов, что это бессовестное мошенничество?

Сэр Роберт Чилтерн (*кусает губы*). Я, может быть, ошибался. Мы все иногда ошибаемся.

Леди Чилтерн. Но ты только вчера говорил мне, что получил доклад комиссии и что она решительно осуждает этот проект!

Сэр Роберт Чилтерн (*ходит взад и вперед по комнате*). У меня есть основания думать, что члены комиссии были предубеждены или, во всяком случае, плохо информированы. И кроме того, Гертруда, политика и частная

жизнь — это разные области. В них действуют разные законы, они преследуют разные цели.

Леди Чилтерн. И в той и в другой—человек должен быть на высоте. Я не вижу разницы.

Сэр Роберт Чилтерн (*останавливается*). Ну так считай, что в данном случае — в этом чисто практическом вопросе — я изменил свое мнение. Вот и все.

Леди Чилтерн. Все?..

Сэр Роберт Чилтерн (*жестко*). Да.

Леди Чилтерн. Роберт! Это ужасно, что я задаю тебе такой вопрос, но... ты сказал мне *всю правду*?

Сэр Роберт Чилтерн. Почему ты спрашиваешь?

Леди Чилтерн (*после паузы*). Почему ты не отвечаешь?

Сэр Роберт Чилтерн (*садится*). Гертруда, правда — очень сложная вещь, а политика — очень сложный механизм. Там все связано, все цепляется одно за другое. Бывает, что тебе оказали услугу и за это надо отплатить такой же услугой. В политике часто приходится идти на компромисс. Все так делают.

Леди Чилтерн. На компромисс?.. Роберт, почему ты сегодня говоришь совсем не то, что я привыкла от тебя слышать? Почему ты вдруг так изменился?

Сэр Роберт Чилтерн. Я не изменился. Но обстоятельства иногда сильнее человека.

Леди Чилтерн. Никакие обстоятельства не могут быть сильнее нравственного закона.

Сэр Роберт Чилтерн. Ну, а если я скажу тебе...

Леди Чилтерн. Что?

Сэр Роберт Чилтерн. Что я вынужден так поступить. Что это необходимо.

Леди Чилтерн. Не может быть необходимым то, что бесчестно. А если оно необходимо, так что же я любила в тебе! Но это не так, Роберт, скажи, что это не так! Зачем тебе это делать? Что это тебе даст? Деньги? Но нам не нужны деньги. Да еще такие! Деньги из нечистого источника пятнают человека. Власть? Но власть сама по себе ничто. Только власть делать добро дает удовлетворение. Так зачем же?.. Роберт, скажи, зачем ты хочешь совершить эту низость?

Сэр Роберт Чилтерн. Гертруда, ты не имеешь права так говорить. Я уже объяснил тебе, что это просто разумный компромисс. Не больше.

Леди Чилтерн. Роберт, все это хорошо для других, для тех, кто в жизни ищет только корысти. Но не для тебя,

Роберт, не для тебя! Ты не то что другие. Ты всегда стоял особняком. Грязь жизни до тебя не досягала. Для всех, как и для меня, ты был идеалом чести и благородства. Так останься же этим идеалом! Не отказывайся от этого высокого наследия, не разрушай эту башню из слоновой кости. Роберт, мужчина может любить женщину, даже если она ниже его, даже если она запятнана, опозорена, бесчестна. Но для нас, женщин, любовь — это преклонение; и если нет преклонения, нет и любви. Ах, не убивай мою любовь к тебе, не убивай!

Сэр Роберт Чилтерн. Гертруда!

Леди Чилтерн. Я знаю, есть люди с отвратительными тайнами в прошлом,—бывает, что человек когда-то совершил бесчестный поступок, а потом за это надо платить другим бесчестным поступком — о! Не говори мне, что и ты такой! Роберт, есть в твоей жизни какой-нибудь тайный позор или бесчестие? Скажи, скажи мне сейчас же! Потому что тогда...

Сэр Роберт Чилтерн. Что тогда?

Леди Чилтерн. Тогда мы должны расстаться.

Сэр Роберт Чилтерн. Расстаться?..

Леди Чилтерн. Да. Совсем и навсегда. Так будет лучше для нас обоих.

Сэр Роберт Чилтерн. Гертруда, в моей прошлой жизни нет ничего такого, чего тебе нельзя знать.

Леди Чилтерн. Я это знала, Роберт, я была уверена. Но зачем ты сегодня говорил такие ужасные вещи, так непохожие на тебя? Ну хорошо, не будем больше об этом говорить. Ты ведь напишешь миссис Чивли, что не станешь поддерживать этот мошеннический проект? Если ты ей обещал, так возьми обещание назад, только и всего.

Сэр Роберт Чилтерн. Непременно надо написать?

Леди Чилтерн. Как же иначе?

Сэр Роберт Чилтерн. Я могу повидаться с ней и сказать.

Леди Чилтерн. Ты не должен больше видаться с ней. Ни видаться, ни говорить. Она недостойна разговаривать с таким человеком, как ты. Нет, напиши ей — сейчас, сию минуту,— и напиши так, чтобы она поняла, что твое решение неизменно.

Сэр Роберт Чилтерн. Написать сию минуту!..

Леди Чилтерн. Да.

Сэр Роберт Чилтерн. Но уж поздно. Скоро двенадцать.



Леди Чилтерн. Это ничего не значит. Она должна сейчас же узнать, что ошиблась в тебе, что ты не способен ни на что низкое, непорядочное, нечестное. Вот, сядь за этот стол. Напиши, что отказываешься поддерживать этот проект, за который она ратует, потому что считаешь его бесчестным. Так и напиши — бесчестным. Уж ей-то понятно это слово.

Сэр Роберт Чилтерн садится и пишет письмо.

(Берет его и читает.) Да, так будет хорошо. (Звонит.) А теперь конверт.

Он медленно надписывает конверт. Входит Мэсон.

Сейчас же отошлите это письмо в отель Кларидж. Ответа не надо.

Мэсон уходит.

(Опускается на колени рядом с мужем и обнимает его.) Роберт, любовь делает человека мудрым. Я чувствую, что сегодня спасла тебя от чего-то, что могло принести тебе страшный вред, из-за чего люди стали бы меньше уважать тебя. Мне кажется, ты сам не понимаешь, насколько благодаря тебе стала чище вся атмосфера нашей политической жизни — благодаря твоей неподкупности, твоему бескорыстию, твоему всегдашнему стремлению к серьезным целям и высоким идеалам! А я это понимаю, и за это я люблю тебя, Роберт!

Сэр Роберт Чилтерн. Люби меня, Гертруда, люби меня всегда!

Леди Чилтерн. Я буду всегда любить тебя, потому что ты всегда будешь достоин моей любви. Как не любить то, что безусловно! (Целует его и выходит из зала.)

Сэр Роберт Чилтерн некоторое время ходит взад и вперед; потом садится и закрывает лицо руками. Входит дворецкий и начинает гасить лампы.

Сэр Роберт Чилтерн (поднимает голову). Гасите свет, Мэсон, гасите свет!

Дворецкий гасит лампы. В комнате становится темно. Осталась только люстра над лестницей; свет от нее падает на гобелен, изображающий «Торжество любви».

Занавес

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Малая гостиная в доме сэра Роберта Чилтерна.

Лорд Горинг, одетый по последней моде, полулежит в кресле. Сэр Роберт Чилтерн стоит перед камином, прислонившись спиной к каминной доске. Он, по-видимому, в сильном волнении и тревоге. В течение разговора он несколько раз принимается ходить по комнате

Лорд Горинг. Дорогой мой Роберт, это очень неприятная история. Очень. Надо было все рассказать жене. Иметь тайны от чужих жен — это в наше время необходимая роскошь. Так по крайней мере мне не раз объясняли в клубе умудренные опытом старцы с лысиной во всю голову — уж они-то должны знать. Но пытаться что-нибудь скрыть от своей жены — это непростительное легкомыслие. Она же все равно узнает. У женщин на этот счет поразительный нюх. Они все видят, кроме очевидного.

Сэр Роберт Чилтерн. Артур, я не мог сказать жене. Когда я мог бы сказать? Вчера? Это значило бы разлучиться с ней навсегда, потерять любовь единственной женщины, которую я боготворю, единственной женщины, которая пробудила любовь в моем сердце. Нет, вчера это было невозможно. Она с ужасом отвернулась бы от меня... с ужасом и презрением.

Лорд Горинг. Леди Чилтерн до такой степени добродетельна?

Сэр Роберт Чилтерн. Да, моя жена до такой степени добродетельна.

Лорд Горинг (*снимает перчатку с левой руки*). Очень жаль. Простите, дорогой, я не то хотел сказать. Гм! Но если так, то мне очень хотелось бы серьезно поговорить с леди Чилтерн. О жизни.

Сэр Роберт Чилтерн. Это бесполезно.

Лорд Горинг. А можно попробовать?

Сэр Роберт Чилтерн. Пожалуйста. Но ничто не заставит ее изменить свои взгляды.

Лорд Горинг. Ну что ж, на худой конец это будет психологический эксперимент.

Сэр Роберт Чилтерн. Такие эксперименты очень опасны.

Лорд Горинг. Все, милый мой, опасно. Кабы не так, не стоило бы и жить... Да. По-моему, Роберт, вы должны были давным-давно все ей рассказать.

Сэр Роберт Чилтерн. Когда? При нашей помолвке? Так неужели вы думаете, что она вышла бы за меня замуж, если бы знала, откуда пошло мое богатство и с чего началась моя карьера, — если бы знала, что я совершил поступок, который большинство людей назвали бы постыдным и бесчестным?

Лорд Горинг (*медленно*). Да. Люди именно так это и назовут. В этом можно не сомневаться.

Сэр Роберт Чилтерн (*с горечью*). Те самые люди, которые каждый день совершают еще худшие поступки. У которых есть тайны еще похуже моей.

Лорд Горинг. Потому-то они так и любят разоблачать чужие тайны. Это отвлекает внимание от их собственных.

Сэр Роберт Чилтерн. Да кому я в конце концов сделал зло этим поступком? Никому.

Лорд Горинг (*пристально глядя на него*). Только себе, Роберт.

Сэр Роберт Чилтерн (*после молчания*). Ну хорошо. У меня были секретные сведения о некоторых действиях, которые тогдашнее правительство собиралось предпринять. Я их использовал. Но точно так же слагались почти все нынешние крупные состояния. Секретные сведения — их обычное начало.

Лорд Горинг (*постукивая тростью по своему башмаку*). И публичный скандал — их обычный конец.

Сэр Роберт Чилтерн (*ходит по комнате*). Артур, и вы считаете, что это справедливо — ставить мне сейчас в упрек то, что я сделал восемнадцать лет тому назад? Справедливо, чтобы вся моя карьера рухнула из-за того, что я сделал, когда был чуть ли не мальчишкой? Мне тогда было двадцать два года, я был знатного происхождения и беден — две вины, которых в нашем обществе не прощают. Разве справедливо за ошибку или пусть даже грех молодости — если уж люди желают называть это грехом, — разве справедливо за одно это разбивать такую жизнь, как моя, — уничтожать все, ради чего я столько трудился, разрушать все, что я с такими усилиями создал?

Лорд Горинг. Жизнь никогда не бывает справедливой, Роберт. И, пожалуй, так оно и лучше для большинства из нас.

Сэр Роберт Чилтерн. Всякий, в ком есть честолюбие, вынужден бороться оружием своего времени. Оружие нашего времени — деньги. Кумир нашего времени —

деньги. Для того чтобы в наше время чего-нибудь добыть — положения, власти, — нужны деньги. Деньги, деньги — во что бы то ни стало!

Лорд Горинг. Вы слишком низко себя цените, Роберт. Поверьте, вы и без денег добились бы того же.

Сэр Роберт Чилтерн. Да, может быть, — к старости. Когда уже во мне угасла бы жажда власти, когда я уже не сумел бы ею насладиться. Когда я уже был бы дряхлым, усталым, разочарованным. Нет, мне нужен был успех, пока я молод. Когда же он нужен, как не в молодости? Я не мог ждать.

Лорд Горинг. Да, вы добились успеха еще молодым, это верно. Никто в наши дни не делал такой блестящей карьеры. В сорок лет — товарищ министра иностранных дел, — трудно желать большего.

Сэр Роберт Чилтерн. А если теперь у меня все это отнимут? Если я все потеряю из-за безобразного публичного скандала? Если всякая общественная деятельность будет для меня закрыта!..

Лорд Горинг. Роберт, как вы могли продаться за деньги!

Сэр Роберт Чилтерн (*взволнованно*). Я не продавался за деньги. Я купил успех дорогой ценой. Вот и все.

Лорд Горинг (*серьезно*). Да, вы дорогой ценой за него заплатили. Но кто вас впервые навел на эту мысль?

Сэр Роберт Чилтерн. Барон Арнгейм.

Лорд Горинг. Этот мерзавец!

Сэр Роберт Чилтерн. Нет, это был человек тонкого и острого ума. Человек с большой культурой, с огромным обаянием, с изысканными манерами. Один из самых умных людей, каких я знал.

Лорд Горинг. Ох, я предпочитаю честных дураков. В пользу глупости можно многое сказать. Я лично преклоняюсь перед глупыми людьми. У меня это, надо полагать, родственное чувство. Но как он за это взялся? Расскажите мне все по порядку.

Сэр Роберт Чилтерн (*бросается в кресло возле письменного стола*). Однажды вечером, после обеда у лорда Рэдли, барон заговорил об успехе и о том, что для достижения его в наше время есть точные правила, что это совершенно точная наука. Своим вкрадчивым, тихим голосом он излагал нам самую страшную из всех философий — философию силы — и проповедовал нам самое чудесное из всех евангелий — евангелие золота. Должно быть, он заме-

тил, какое впечатление произвел на меня, потому что спустя несколько дней я получил от него письмо, в котором он приглашал меня зайти. Он жил тогда на Парк-лейн в том доме, где сейчас живет лорд Вулком. Я помню, как он меня встретил — со странной улыбкой на своих бледных, изогнутых губах, как повел меня в свою великолепную картинную галерею, показал мне свои гобелены, эмали, драгоценные камни, резные изделия из слоновой кости — дал мне почувствовать всю прелесть роскоши, среди которой жил, а затем сказал, что роскошь — это только фон, только декорация в пьесе, а единственное, ради чего стоит жить, — это власть, власть над другими людьми, власть над миром, что это высшее наслаждение, доступное человеку, и единственная радость, которая никогда не приедается. И что в наше время путь к власти только один — богатство!

Лорд Горинг (*медленно, упирая на каждое слово*). Очень мелкая философия.

Сэр Роберт Чилтерн. Тогда я так не думал. Да и сейчас не думаю. Богатство дало мне огромную силу. В самом начале жизни оно дало мне свободу, а свобода — это все. Вы никогда не были бедны, и вам незнакомо честолюбие. Вам не понять, какие горизонты открыл передо мною барон. Людям редко выпадает такая удача.

Лорд Горинг. К счастью для них, если судить по результатам. Но скажите, как он все-таки уговорил вас сделать этот... эту... ну, одним словом, то, что вы сделали?

Сэр Роберт Чилтерн. Уже прощаясь со мною, он сказал, что, если я когда-нибудь смогу доставить ему ценные сведения — никому еще не известные и действительно ценные, — он сделает меня очень богатым человеком. Я был тогда ослеплен блестящими перспективами, которыми он меня поманил, а честолюбие и жажда власти во мне были непомерные. Месяца полтора спустя через мои руки проходили некоторые секретные документы...

Лорд Горинг (*глядя на ковер у своих ног*). Правительственные документы?

Сэр Роберт Чилтерн. Да.

Лорд Горинг (*вздыхает, потом проводит рукой по лбу и поднимает глаза*). Не думал я, Роберт, что вы — именно вы — окажетесь таким слабым... и не устоите перед соблазном.

Сэр Роберт Чилтерн. Слабым? А, бросьте. Мне противно слушать эти избитые слова. Противно, когда я сам говорю это о других. Слабым? Вы в самом деле

думаете, что только слабые люди поддаются соблазну? Уверю вас, есть такие страшные соблазны, что для того, чтобы им поддаться, нужна сила, сила и мужество. Поставить всю жизнь на карту, всем рискнуть в одно мгновение — все равно, ради власти или ради удовольствия, — нет, это не слабость! Для этого нужно дьявольское мужество. У меня оно было. В тот же вечер я сел и написал письмо барону Арнгейму — то самое письмо, что сейчас в руках у этой женщины. Он нажил на этом без малого миллион.

Лорд Горинг. А вы?

Сэр Роберт Чилтерн. Я получил от него сто десять тысяч фунтов.

Лорд Горинг. Вы продешевили, Роберт.

Сэр Роберт Чилтерн. Нет. Эти деньги дали мне именно то, чего я хотел: власть над другими людьми. Я тотчас прошел в парламент. Барон и после время от времени давал мне финансовые советы. За пять лет я почти утроил свое состояние. Мне все удавалось, за что я ни брался. Во всем, связанном с деньгами, мне так везло, что иногда даже страшно становилось. Помню, я где-то прочитал, в какой-то старинной книге, что когда боги хотят погубить человека, они исполняют его желания.

Лорд Горинг. И вы никогда не жалели о том, что сделали?

Сэр Роберт Чилтерн. Нет. Я боролся оружием своего времени — и победил.

Лорд Горинг. Вам казалось, что вы победили.

Сэр Роберт Чилтерн. Да, тогда мне так казалось. *(После продолжительного молчания.)* Вы, верно, презираете меня, Артур, теперь, когда я вам все рассказал.

Лорд Горинг *(с глубоким чувством)*. Мне жаль вас, Роберт, жаль от всего сердца.

Сэр Роберт Чилтерн. Не скажу, чтобы я когда-нибудь испытывал угрызения совести. Во всяком случае, не в обычном смысле этого слова. Нет. Но я много раз пытался откупиться... умиловить судьбу. За эти годы я пожертвовал на благотворительные цели вдвое больше, чем получил тогда от барона Арнгейма.

Лорд Горинг *(поднимает к нему глаза)*. На благотворительность! Бог мой! Сколько зла вы, должно быть, натворили, Роберт!

Сэр Роберт Чилтерн. Не говорите так, Артур. Не надо.

Лорд Горинг. Простите, Роберт. Я постоянно говорю чего не надо. Должно быть, потому, что обычно говорю то, что думаю. А в наше время это рискованно. Люди всё понимают наоборот. Ну, а что касается этой скверной истории, вы можете рассчитывать на мою помощь. Сделаю все, что смогу. Да вы и сами это знаете.

Сэр Роберт Чилтерн. Спасибо, Артур, спасибо. Но что делать? Что тут можно сделать?

Лорд Горинг (*откидывается на спинку кресла, засунув руки в карманы*). Гм! Вообще-то говоря, англичане терпеть не могут, если человек твердит, что он прав, но очень любят, если он кается в своих ошибках. Это у нас неплохая черта. Но в вашем случае, Роберт, покаяние не годится. Эти деньги... вы простите меня, Роберт, но из-за этих денег получается как-то... щекотливо. Кроме того, если вы во всем покаетесь, вы уже никогда не сможете проповедовать нравственность. А в Англии, если человек не может по крайней мере два раза в неделю разглагольствовать о нравственности перед обширной и вполне безнравственной аудиторией, политическое поприще для него закрыто. В смысле профессии ему остается только ботаника или церковь. Нет, каяться вам нельзя. Это вас погубит.

Сэр Роберт Чилтерн. Да, это меня погубит. Артур, мне остается только одно: бороться до конца!

Лорд Горинг (*встает*). Я ждал, что вы это скажете, Роберт. Да! Бороться! И начать надо с того, что все рассказать жене.

Сэр Роберт Чилтерн. Этого я не могу.

Лорд Горинг. Роберт, поверьте мне, вы не правы.

Сэр Роберт Чилтерн. Не могу. Это убьет ее любовь ко мне. Лучше расскажите мне об этой женщине, миссис Чивли. Как мне защититься от нее? Вы ведь, кажется, ее раньше знали?

Лорд Горинг. Да.

Сэр Роберт Чилтерн. Хорошо знали?

Лорд Горинг (*поправляет галстук*). Настолько плохо, что чуть было не женился на ней, когда гостил у Тенби. Наша помолвка продолжалась... дай бог памяти... кажется, трое суток.

Сэр Роберт Чилтерн. А почему расстроилась?

Лорд Горинг (*небрежно*). Сейчас уж не помню. Да это и не важно. Кстати, вы не пробовали предлагать ей денег? Когда-то она была очень падкой на деньги.

Сэр Роберт Чилтерн. Пробовал. Я предлагал ей любую сумму, какую она назовет. Она отказалась.

Лорд Горинг. А! Выходит, чудесное евангелие золота не всеильно? Богатые не все могут?

Сэр Роберт Чилтерн. Да, выходит, что не все. Вы правы. Артур, я чувствую — мне не избежать публичного позора. Это будет, будет! Раньше я не знал, что такое страх. Теперь знаю. Как будто ледяная рука сжимает тебе сердце. Как будто оно бьется в пустоте и все слабее, слабее... вот-вот остановится...

Лорд Горинг (*ударяет кулаком по столу*). Роберт, вы должны бороться с ней! Бороться с ней до конца!

Сэр Роберт Чилтерн. Но как?

Лорд Горинг. Пока еще не знаю. Понятия не имею. Но у каждого есть слабое место. Каждый в чем-нибудь да уязвим. (*Подходит к камину и разглядывает себя в зеркале.*) Мой отец говорит, что даже у меня есть недостатки. Может быть. Не знаю.

Сэр Роберт Чилтерн. В борьбе с миссис Чивли я имею право пускать в ход любое оружие? Как вы считаете?

Лорд Горинг (*все еще глядя в зеркало*). На вашем месте я не стал бы проявлять чрезмерную щепетильность. Она сама отнюдь не беззащитная овечка.

Сэр Роберт Чилтерн (*садится к столу и берет перо*). Ну так я сейчас же пошлю зашифрованную телеграмму в наше посольство в Вене с просьбой сообщить, что им о ней известно. Может быть, за ней водятся какие-нибудь грешки, разоблачения которых она побоится.

Лорд Горинг (*поправляя цветок в петлице*). Помоему, миссис Чивли одна из тех весьма современных женщин, которые считают, что новый скандалчик им так же к лицу, как новая шляпка, и выставляют то и другое напоказ каждый день на прогулке в парке в пять тридцать вечера. Я уверен, что она обожает скандалы, и если чем огорчается, так только тем, что их у нее еще недостаточно.

Сэр Роберт Чилтерн (*пишет*). Почему вы так думаете?

Лорд Горинг. А видите ли, вчера на ней румян было очень много, а платья очень мало. В женщине это всегда признак отчаяния.

Сэр Роберт Чилтерн (*звонит*). Но телеграфировать в Вену все-таки стоит?



Лорд Горинг. Спросить всегда стоит. Отвечать — не всегда.

Входит Мэсон.

Сэр Роберт Чилтерн. Мистер Траффорд у себя?  
Мэсон. Да, сэр Роберт.

Сэр Роберт Чилтерн (*вкладывает записку в конверт и тщательно его заклеивает*). Скажите ему, чтобы сейчас же зашифровал это и отослал. Немедленно.

Мэсон. Слушаю, сэр Роберт.

Сэр Роберт Чилтерн. Пойдите. Дайте сюда. (*Что-то надписывает на конверте и возвращает Мэсону.*)

Мэсон уходит с письмом.

Видно, она имела какую-то власть над бароном Арнгеймом. Интересно почему.

Лорд Горинг (*усмехаясь*). М-мда. Интересно.

Сэр Роберт Чилтерн. Я буду бороться с ней насмерть! Только бы моя жена ничего не узнала.

Лорд Горинг (*с силой*). Вы все равно должны с ней бороться!

Сэр Роберт Чилтерн (*с жестом отчаяния*). Если жена узнает, мне не для чего будет бороться. Так вот — как только я получу ответ из Вены, я вам сообщу. Надежда очень слабая, но я все-таки надеюсь. Буду бороться с ней ее собственным оружием. Это только справедливо. Уверен, что у нее есть прошлое.

Лорд Горинг. Как у большинства красивых женщин. Вопрос в том, какое? На прошлое тоже есть мода, как и на платья. Возможно, что прошлое миссис Чивли просто несколько слишком... декольтировано. А это теперь модно. Кроме того, дорогой мой Роберт, не очень-то надейтесь, что вам удастся запугать миссис Чивли. Насколько я понимаю, она не из пугливых. Она пережила всех своих кредиторов, и она никогда не теряет голову.

Сэр Роберт Чилтерн. Я сейчас только и живу надеждой. Хватаюсь за соломинку. Я как человек на тонущем корабле. Вода уже поднялась ему до колен, кругом ревет буря... Тсс! Моя жена! Ее голос.

Входит леди Чилтерн, одетая как для прогулки.

Леди Чилтерн. Здравствуйте, лорд Горинг.

Лорд Горинг. Здравствуйте, леди Чилтерн. Вы были в парке?

Леди Чилтерн. Нет, я прямо с заседания либеральной женской ассоциации, где, кстати, твое имя, Роберт, было встречено громкими аплодисментами. А теперь я пришла пить чай. (*Лорду Горингу.*) Вы еще посидите, да? И выпьете с нами чаю.

Лорд Горинг. Немножко еще посижу, спасибо.

Леди Чилтерн. Я сейчас приду, только сниму шляпу.

Лорд Горинг (*очень серьезно*). Пожалуйста, не снимайте. Она вам так идет. Прелестная шляпка. Надеюсь, либеральная женская ассоциация встретила ее громкими аплодисментами.

Леди Чилтерн (*улыбаясь*). У нас есть дела поважнее, чем разглядывать чужие шляпки, лорд Горинг.

Лорд Горинг. Не может быть! Какие же?

Леди Чилтерн. Ах, очень скучные, очень полезные, но и очень увлекательные дела. Например: фабричное законодательство, восьмичасовой рабочий день, женские избирательные права... одним словом, все для вас совершенно неинтересное. Вот о чем мы говорим на наших заседаниях, лорд Горинг.

Лорд Горинг. И никогда — о шляпках?

Леди Чилтерн (*с притворным негодованием*). Никогда! (*Уходит в дверь, ведущую в ее будуар.*)

Сэр Роберт Чилтерн (*берет лорда Горинга за руку*). Вы настоящий друг, Артур! Настоящий друг!

Лорд Горинг. Пока я еще очень мало сделал для вас, Роберт. Ничем не сумел вам помочь. Я весьма разочарован в себе.

Сэр Роберт Чилтерн. Вы помогли мне сказать правду. Это уже кое-что. До сих пор я никому не смел ее сказать, и она меня душила...

Лорд Горинг. Ну, правда — это такая вещь, от которой я всегда стараюсь как можно скорее избавиться. Дурная привычка, кстати сказать. Очень вредит мне в глазах более пожилых членов клуба. Они говорят, что это у меня от сомнения. Может быть, и так.

Сэр Роберт Чилтерн. Как я хотел бы всегда говорить правду... жить по правде! Да, выше этого ничего нет — жить по правде! (*Вздыхает и идет к двери.*) Мы с вами еще увидимся, Артур?

Лорд Горинг. Конечно. Когда хотите. Сегодня я собираюсь на бал холостяков, если не подвернется ничего поинтересней. Но я загляну к вам завтра утром. А если за-

хотите еще сегодня меня видеть, пошлите записочку ко мне на Керзон-стрит.

Сэр Роберт Чилтерн. Спасибо.

Когда он уже у двери, из будуара выходит леди Чилтерн.

Леди Чилтерн. Ты уходишь, Роберт?

Сэр Роберт Чилтерн. Мне нужно написать несколько писем, дорогая.

Леди Чилтерн (*идет к нему*). Ты слишком много работаешь. Совсем не думаешь о себе, а у тебя такой усталый вид!

Сэр Роберт Чилтерн. Это ничего, дорогая. Пустяки! (*Целует ее и уходит.*)

Леди Чилтерн (*лорду Горингу*). Садитесь, пожалуйста. Я так рада, что вы зашли. Мне нужно поговорить с вами... Только не о шляпках и не о женской ассоциации. Первое вас слишком интересует, а второе — недостаточно.

Лорд Горинг. Вы хотите поговорить со мною о миссис Чивли?

Леди Чилтерн. Да. Вы угадали. Вчера, после того как вы ушли, я выяснила, что она говорила правду. Разумеется, я сейчас же заставила Роберта написать ей и отказать от своего обещания.

Лорд Горинг. Да, он мне говорил.

Леди Чилтерн. Если б он сдержал свое обещание, это было бы первое пятно на его незапятнанной репутации. А Роберт должен быть безупречен. Он не то, что другие. Он не может поступать, как другие.

Она смотрит на лорда Горинга. Тот молчит.

Вы не согласны со мной? Вы же лучший друг Роберта. Вы наш самый близкий друг, лорд Горинг. Никто, кроме меня, не знает Роберта лучше, чем вы. У него нет тайн от меня, и, я думаю, у него нет тайн от вас.

Лорд Горинг. Да. От меня у него нет тайн. То есть так мне кажется.

Леди Чилтерн. Так разве я не права в моем мнении о нем? Я знаю, что я права. Но все-таки скажите мне откровенно!

Лорд Горинг (*глядя ей в глаза*). Совершенно откровенно?

Леди Чилтерн. Конечно. Ведь вам же нечего скрывать?

Лорд Горинг. Нечего. Но, дорогая моя леди Чилтерн, я думаю, если уж позволите мне говорить откровенно, что в практической жизни...

Леди Чилтерн (с улыбкой). О которой вы так мало знаете, лорд Горинг...

Лорд Горинг. О которой я ничего не знаю из собственного опыта, но кое-что знаю из наблюдений над другими людьми. Я думаю, что в практической жизни успех — большой успех — всегда требует некоторой неразборчивости в средствах. Честолюбие всегда несколько неразборчиво в средствах. Если человек твердо решил добраться до вершины, его ничто не остановит. Надо карабкаться по круче — он будет карабкаться. Надо пройти по грязи...

Леди Чилтерн. Ну?..

Лорд Горинг. Он пройдет по грязи. Я, конечно, говорю так, вообще.

Леди Чилтерн (с ударением). Надеюсь. Почему вы так странно смотрите на меня, лорд Горинг?

Лорд Горинг. Леди Чилтерн, я часто думал... что вы слишком уж строги в своих суждениях. Мне кажется, вы... слишком уж нетерпимы. А ведь если покопаться, так у каждого есть слабости... а то и что-нибудь похуже. Допустим, например, что какой-нибудь видный политический деятель — ну, хотя бы мой отец, или лорд Мертон, или Роберт — когда-то давно написал кому-то опрометчивое письмо...

Леди Чилтерн. Что значит — опрометчивое?

Лорд Горинг. Такое, которое его сильно компрометирует. Я, конечно, разбираю воображаемый случай.

Леди Чилтерн. Роберт не способен на опрометчивый поступок. Тем более на дурной поступок.

Лорд Горинг (после долгого молчания). Всякий способен на опрометчивый поступок. И всякий способен на дурной поступок.

Леди Чилтерн. Вы стали пессимистом, лорд Горинг? А что скажут все прочие денди, ваши подражатели? Им всем придется надеть траур.

Лорд Горинг (встает). Нет, леди Чилтерн, я не пессимист. Да я и не знаю толком, что такое пессимизм. Но я очень хорошо знаю, что понять людей можно, только если иметь к ним милосердие. Жить с людьми можно, только имея к ним милосердие. Потому что любовь, а не немецкая философия, — основа жизни. По крайней мере нашей земной жизни. Не знаю, как насчет небесной. И я

хочу кое-что сказать вам, леди Чилтерн. Если когда-нибудь вас постигнет беда... если вы окажетесь в трудном положении... помните, что я всегда готов вам помочь. Доверьтесь мне — и я сделаю все, что в моих силах. Напишите мне только два слова — «хочу видеть», и я брошу все и поспешу к вам. Или придите ко мне сами. Но очень прошу вас — сейчас же обратитесь ко мне.

Леди Чилтерн (*удивленно смотрит на него*). Как серьезно вы это говорите, лорд Горинг! Никогда еще не видела вас серьезным!

Лорд Горинг (*смеется*). Простите, леди Чилтерн. Больше не буду.

Леди Чилтерн. Но вы мне нравитесь, когда вы серьезны.

Входит Мейбл Чилтерн в восхитительном платье.

Мейбл Чилтерн. Милая Гертруда, не говорите таких нелепостей лорду Горингу! Серьезность ему совсем не идет. Здравствуйте, лорд Горинг. И пожалуйста, будьте как можно легкомысленней.

Лорд Горинг (*оборачивается к ней*). Я бы рад, мисс Мейбл... но сегодня что-то не выходит. Выбился из колеи. Да мне уж и пора уходить.

Мейбл Чилтерн. Как раз когда я пришла! Что за ужасные манеры! Вы очень плохо воспитаны.

Лорд Горинг. Очень.

Мейбл Чилтерн. Жаль, что не я вас воспитывала.

Лорд Горинг. И мне жаль.

Мейбл Чилтерн. А теперь уж, наверно, поздно?

Лорд Горинг (*улыбается*). А может, и нет.

Мейбл Чилтерн. Вы завтра поедете кататься?

Лорд Горинг. Да. В десять.

Мейбл Чилтерн. Смотрите не забудьте.

Лорд Горинг. Как я могу забыть! Кстати, леди Чилтерн, сегодня в «Морнинг пост» нет списка ваших вчерашних гостей. Должно быть, их вытеснил отчет о заседании городского совета, или о церковной конференции, или еще что-нибудь столь же скучное. У вас не сохранился список приглашенных? Я бы хотел посмотреть. У меня на то есть особые причины.

Леди Чилтерн. Хорошо, я скажу мистеру Траффорду. Он вам придет.

Лорд Горинг. Благодарю вас.

Мейбл Чилтерн. Томми самый полезный человек в Лондоне.

Лорд Горинг (*оборачивается к ней*). А кто самый очаровательный?

Мейбл Чилтерн (*с торжеством*). Я!

Лорд Горинг. Вот умница, что догадались. (*Берет свою шляпу и трость.*) До свидания, леди Чилтерн. Вы не забудете то, что я вам сказал?

Леди Чилтерн. Нет, не забуду. Но я не понимаю, почему вы это сказали.

Лорд Горинг. Я и сам не очень-то понимаю. До свидания, мисс Мейбл.

Мейбл Чилтерн (*с гримаской разочарования*). А я хотела рассказать... у меня сегодня было четыре изумительных приключения. Даже четыре с половиной. Остались бы, послушать.

Лорд Горинг. Целых четыре и даже с половиной! Это уж эгоизм с вашей стороны. Ничего не оставить на мою долю!

Мейбл Чилтерн. Но я вовсе не хочу, чтобы у вас были приключения. Это вам вредно.

Лорд Горинг. В первый раз вы жестоки ко мне, мисс Мейбл. Но как мило вы это сказали! Так, значит, завтра в десять.

Мейбл Чилтерн. Ровно в десять.

Лорд Горинг. Ровно. Но не берите с собой мистера Траффорда.

Мейбл Чилтерн (*тряхнув головой*). Нет, Томми я не возьму. Томми сейчас в немилости.

Лорд Горинг. Рад это слышать. (*Кланяется и уходит.*)

Мейбл Чилтерн. Гертруда, поговорили бы вы с Томми Траффордом.

Леди Чилтерн. В чем на этот раз провинился бедный мистер Траффорд? Роберт говорит, что лучшего секретаря у него еще не бывало.

Мейбл Чилтерн. Томми опять сделал мне предложение. Он только это и делает. Вчера он сделал мне предложение во время концерта, когда я была совершенно беззащитна, потому что исполняли какое-то сложное трио и я не смела даже рот открыть. Музыканты ведь такой неразумный народ. Хотят, чтобы мы были немые, как раз когда больше всего хочется быть глухим. А сегодня утром он сделал мне предложение на улице перед этой кошмарной статуей

Ахиллеса. Возле этого произведения искусства постоянно происходят какие-нибудь ужасы. Не понимаю, куда смотрит полиция. За вторым завтраком я по блеску в глазах Томми поняла, что он опять собирается сделать мне предложение. Но я вовремя его остановила, заявив, что я биметаллистка. Я, правда, не знаю, что такое биметаллизм. И, по-моему, никто не знает. Но это заставило Томми замолчать на добрых десять минут. Вид у него был совсем растерянный. Еще если б он как-нибудь поинтереснее делал мне предложение — ну, например, громко, во весь голос, — это хоть произвело бы впечатление на окружающих. А то шепчет на ухо, никому не слышно. Когда Томми впадает в сентиментальность, он сейчас же начинает говорить, как врач у одра больного. Я очень люблю Томми, но у него совершенно устарелая манера делать предложение. Поговорите с ним, Гертруда. Объясните ему, что незачем делать предложение чаще чем раз в неделю, и если уж делать, так по крайней мере во всеуслышание.

Леди Чилтерн. Мейбл, милочка, не болтай вздора. Ты знаешь, Роберт очень высоко ценит мистера Траффорда. Он считает, что у него блестящее будущее.

Мейбл Чилтерн. Вот уж никогда бы не вышла замуж за человека с блестящим будущим!

Леди Чилтерн. Мейбл!

Мейбл Чилтерн. Я знаю, знаю. Вы сами вышли замуж за человека с будущим. Ну так ведь Роберт гений, а у вас такая возвышенная, самоотверженная натура. Вы даже гениев можете выносить. А я ни к чему такому не способна, и Роберт единственный гений, которого я выношу. А как правило, они невыносимы. Очень уж много говорят, правда? Дурная привычка! И всегда думают о себе, когда я хочу, чтобы они думали обо мне. Ох, мне уже пора на репетицию к леди Бэзилдон. Вы не забыли, что мы устраиваем живые картины? Торжество чего-то... не помню чего. Надеюсь, это будет мое торжество. Единственное торжество, которое меня сейчас интересует. *(Целует леди Чилтерн и уходит, но тут же бегом возвращается.)* Гертруда, знаете, кто к вам приехал? Эта противная миссис Чивли! В снюгшибательном платье. Вы ее приглашали?

Леди Чилтерн *(встает)*. Миссис Чивли? Ко мне? Не может быть!

Мейбл Чилтерн. А я вам говорю, это она — в натуральную величину, хотя и не совсем в натуральном виде. Она уже поднимается по лестнице.

Леди Чилтерн. Ты иди, Мейбл, не задерживайся. Не забывай, что тебя ждет леди Бэзилдон.

Мейбл Чилтерн. Я только поздороваюсь с леди Маркби. Она такая милая. Я люблю, когда она меня бранит.

Входит Мэсон.

Мэсон (докладывает). Леди Маркби. Миссис Чивли.

Входят леди Маркби и миссис Чивли.

Леди Чилтерн (идет им навстречу). Дорогая леди Маркби, как я рада вас видеть! (Пожимает руку леди Маркби и холодно кланяется миссис Чивли.) Садитесь, пожалуйста, миссис Чивли.

Миссис Чивли. Благодарю вас. А это мисс Чилтерн? Я очень хотела бы с ней познакомиться.

Леди Чилтерн. Мейбл, миссис Чивли хочет познакомиться с тобой.

Мейбл Чилтерн коротко кивает.

Миссис Чивли (садится). Вчера на вас было прелестное платье, мисс Чилтерн. Такое простенькое... и приличное.

Мейбл Чилтерн. Неужели? Непременно скажу моей портнихе. То-то она удивится! До свидания, леди Маркби!

Леди Маркби. Уже уходите?

Мейбл Чилтерн. К сожалению. Спешу на репетицию. Я там должна стоять на голове в каких-то живых картинах.

Леди Маркби. На голове, дитя мое? Не советую. Это, кажется, очень вредно. (Садится на диван рядом с леди Чилтерн.)

Мейбл Чилтерн. Но это с благотворительной целью, леди Маркби. В пользу недостойных бедняков. Единственная категория бедняков, которым я сочувствую. Я у них секретарь, а Томми Траффорд — казначей.

Миссис Чивли. А лорд Горинг?

Мейбл Чилтерн. Лорд Горинг — председатель.

Миссис Чивли. Самый подходящий человек для этой роли — если только он не изменился с тех пор, как я его знала.

Леди Маркби (задумчиво). Вы очень современная девица, Мейбл. Пожалуй, даже чересчур современная. А это опасно. Можно вдруг выйти из моды. Я видела тому много примеров.



Мейбл Чилтерн. Какая ужасная перспектива!

Леди Маркби. Ах, милочка, вам-то нечего бояться. Вы всегда будете хорошенькой. А это самая прочная мода. И единственная, которую установила Англия.

Мейбл Чилтерн (*делает реверанс*). Благодарю вас, леди Маркби, за Англию... и за себя. (*Уходит.*)

Леди Маркби (*обращаясь к леди Чилтерн*). Милая Гертруда, мы, собственно, заехали узнать, не нашлась ли бриллиантовая брошка миссис Чивли.

Леди Чилтерн. У нас?

Миссис Чивли. Да. Я хватилась ее, когда вернулась к себе в отель, и подумала — может быть, я ее здесь обронила.

Леди Чилтерн. Я ничего об этом не слышала. Но сейчас позову дворецкого и спрошу. (*Звонит.*)

Миссис Чивли. Ах, ради бога, не беспокойтесь, леди Чилтерн. Наверно, я потеряла ее в театре, еще до того, как приехала к вам.

Леди Маркби. Да, наверно, в театре. Мы все теперь так суетимся и толкаемся, что удивительно, как на нас еще хоть что-нибудь остается к концу вечера. Мне всегда кажется, когда я выхожу из чьей-нибудь гостиной, что на мне ровно ничего не осталось, кроме обрывков приличной репутации, и только одно это мешает представителям низших классов делать иронические замечания, заглядывая в окна кареты. По-моему, светское общество страдает от перенаселения. Надо бы организовать правильную эмиграцию. Выдавать им подъемные, что ли. Кто-нибудь должен этим заняться. Это будет очень полезное дело.

Миссис Чивли. Я совершенно с вами согласна, леди Маркби. Я шесть лет не была в Лондоне, и, должна сказать, светское общество стало с тех пор ужасно пестрым. Всюду встречаешь каких-то странных субъектов.

Леди Маркби. Сушая правда, милочка. Но, знаете, с ними можно не знакомиться. Я, например, незнакома с доброй половиной из тех, кто бывает у меня в доме. И вряд ли хотела бы познакомиться, судя по тому, что я о них слышу.

Входит Мэсон.

Леди Чилтерн. Какая она на вид, эта брошка, что вы потеряли, миссис Чивли?

Миссис Чивли. Змейка из бриллиантов, а в голове у нее рубин. Довольно крупный.

Леди Маркби. А не сапфир? Вы, кажется, говорили — сапфир.

Миссис Чивли (*улыбаясь*). Нет, леди Маркби. Рубин.

Леди Маркби (*кивает*). А-а, рубин. Очень... мило.

Леди Чилтерн. Мэсон, когда убирала сегодня утром, не находилась бриллиантовая брошка с рубином?

Мэсон. Нет, миледи.

Миссис Чивли. Право же, это не важно, леди Чилтерн. Мне так совестно, что я вас затрудняю.

Леди Чилтерн (*холодно*). Какое же затруднение. Это все, Мэсон. Можете подавать чай.

Мэсон уходит.

Леди Маркби. Всегда так досадно, когда что-нибудь теряешь. Помню, раз в Бате, много лет назад, я потеряла в курзале очень красивый браслет с камеей, который мне подарил сэр Джон. И больше он, кажется, ничего мне не дарил. За последнее время он очень изменился к худшему. Эта ужасная палата общин невероятно портит наших мужей. Нет ничего губительнее для семейного счастья, чем парламентская деятельность. То есть не было, пока не придумали этот еще худший кошмар, который называется более высокое образование для женщин.

Леди Чилтерн (*улыбается*). В нашем доме это ересь, леди Маркби. Роберт горячий сторонник более высокого образования для женщин. И я тоже.

Миссис Чивли. Более высокое образование у мужчин — вот на что я хотела бы поглядеть. Им его так недостает.

Леди Маркби. Вы совершенно правы, милочка. Но боюсь, что это безнадежно. По-моему, мужчина не способен к развитию. Он уже достиг высшей точки — и это не бог знает как высоко, не правда ли? А что касается женщин — ну, вы, Гертруда, принадлежите к молодому поколению, и, наверно, все это правильно, раз вы это одобряете. В мое время было иначе. Нас учили ничего не понимать. В этом и заключалась прежняя система воспитания. И это было очень занятно. Мы с сестрой столько должны были не понимать — даже перечислить невозможно. Я всегда сбивалась. А современные женщины, говорят, все понимают.

Миссис Чивли. Кроме своих мужей. Это единственное, чего не понимают современные женщины.

Леди Маркби. И очень хорошо, что не понимают.

А то вряд ли уцелел бы хоть один счастливый брак. К вам, Гертруда, это, конечно, не относится. У вас примерный супруг. Хотела бы я о себе сказать то же самое! Но с тех пор как сэр Джон стал регулярно посещать все парламентские заседания, чего в доброе старое время он никогда не делал, у него выработался совершенно чудовищный язык. Ему все кажется, что он в парламенте, и поэтому, когда он начинает рассуждать о положении сельскохозяйственных рабочих, или о методистской церкви, или еще о чем-нибудь, столь же непристойном, мне приходится высылать слуг из комнаты. Ведь неприятно видеть, как твой собственный дворецкий, прослуживший у тебя двадцать три года, краснеет, стоя возле буфета, а лакеи корчатся по углам, словно акробаты в цирке. И не знают, чем все это кончится, если только сэра Джона не введут немедленно в палату лордов. Тогда уж он перестанет интересоваться политикой, правда? Палата лордов такое здравомыслящее учреждение. Настоящие джентльмены. Но сейчас сэр Джон — это тяжелое испытание. Не дальше как сегодня за завтраком он вдруг стал в позу перед камином и принялся во весь голос звать к английскому народу. Я, конечно, сейчас же встала из-за стола, как только допила вторую чашку чаю. Но его скандальные речи были слышны всему дому. Неужели и ваш Роберт такой?

Леди Чилтерн. Но я сама очень интересуюсь политикой, леди Маркби. Я очень люблю, когда Роберт говорит о политике.

Леди Маркби. Неужели? Ну, я все-таки надеюсь, что он хоть не так увлекается Синими книгами. сэра Джона от них не оторвешь. А это, по-моему, никому не может быть полезно.

Миссис Чивли (томно). Я никогда не читала Синих книг. Я предпочитаю книги... в желтых обложках.

Леди Маркби (с полной наивностью). Ну да, желтый гораздо более веселый цвет. Я в молодости часто носила желтое. И теперь бы носила, но сэр Джон постоянно делает такие бестактные замечания о моих туалетах. А что мужчины в этом понимают!..

Миссис Чивли. Наоборот, леди Маркби, они-то и есть настоящие судьи.

Леди Маркби. Да-а?.. Гм! Вот уж не сказала бы, если судить по тем шляпам, что они носят.

Входит дворецкий в сопровождении лакея. Они расставляют чайный прибор на столике возле леди Чилтерн.

Леди Чилтерн. Можно предложить вам чаю, миссис Чивли?

Миссис Чивли. Благодарю вас.

Лакей подает ей чашку на подносе.

Леди Чилтерн. А вам, леди Маркби?

Леди Маркби. Нет, дорогая, спасибо.

Слуги уходят.

Дело в том, что я обещала заглянуть на минутку к бедной леди Бранкастер. У нее ужасное несчастье. Ее дочь — и ведь такая милая девушка, вполне благовоспитанная! — выходит замуж за помощника приходского священника в Шропшире. Грустно, очень грустно. Не понимаю я этого теперешнего увлечения сельским духовенством. В мое время они, конечно, иногда попадались нам на глаза — они же там всюду шныряют, как кролики, — но мы не обращали на них ни малейшего внимания. А теперь, говорят, светское общество в провинции ими просто кишит. Я считаю, что это неуважение к религии. А старший сын леди Бранкастер поссорился с отцом, и мне рассказывали, что, когда они встречаются в клубе, лорд Бранкастер всегда прячется за финансовым листком «Таймса». Но теперь это сплошь да рядом, так что всем клубам на Сент-Джеймс-стрит пришлось увеличить подписку на «Таймс» — столько развелось сыновей, которые не желают иметь ничего общего со своими отцами, и столько отцов, которые не разговаривают с сыновьями. По-моему, это очень плохо.

Миссис Чивли. По-моему, тоже. Отцы могли бы многому научиться от своих сыновей.

Леди Маркби. Вы думаете? Чему же?

Миссис Чивли. Искусству жить. Это единственное изящное искусство, созданное нашим поколением.

Леди Маркби. Ох, насчет этого искусства лорд Бранкастер и сам не промах. Его бедная жена еще не все знает! (К леди Чилтерн.) Вы ведь знакомы с леди Бранкастер, милочка?

Леди Чилтерн. Очень мало. Она прошлой осенью была у Лэнгтонов, когда и мы тоже там гостили.

Леди Маркби. Ну, значит, вы ее видели. Как все тучные женщины, она выглядит так, словно счастливее ее нет на свете. А между тем у них в семье столько трагедий! Не одна эта история со священником. Ее родная сестра,

миссис Джекилл, тоже была очень несчастлива в браке и, к сожалению, не по своей вине. И так отчаялась под конец, что даже пошла... вот не помню, не то в монастырь, не то в оперетку. Ах нет, она занялась декоративными вышивками. В общем, потеряла всякий вкус к жизни. *(Встает.)* А теперь, Гертруда, разрешите, я вам подкину миссис Чивли, а через четверть часа за ней заеду. А может быть, дорогая миссис Чивли, вы посидите в коляске, пока я буду у леди Бранкастер? Мне ведь только выразить ей свое соболезнование, так что я не задержусь.

Миссис Чивли. Я ничего не имею против того, чтобы посидеть в коляске, если будет кому на меня смотреть.

Леди Маркби. Да вот, говорят, этот священник там все время крутится.

Миссис Чивли. Спасибо. Я никогда не любила... пресных блюд.

Леди Чилтерн *(встает)*. Я буду очень рада, если миссис Чивли посидит у нас. Мне хотелось бы с ней поговорить.

Миссис Чивли. Благодарю вас, леди Чилтерн, вы так любезны! Я тоже буду счастлива с вами побеседовать.

Леди Маркби. Ну да, у вас же есть общие воспоминания. О детстве, о школьных годах. Так приятно! До свидания, милая Гертруда. Вы будете сегодня у леди Бонар? Она откопала какого-то нового гения. Он... вот забыла, что он делает. Кажется, ничего. Это большое облегчение, правда?

Леди Чилтерн. Мы с Робертом сегодня обедаем дома, а я и после никуда не поеду. Роберт, конечно, должен быть на вечернем заседании в парламенте. Но там не будет ничего интересного.

Леди Маркби. Обедаете дома? Наедине? Благо-разумно ли это? Ах, я все забываю, что ваш муж исключение. Мой — общее правило. А ничто так не старит женщину, как все время иметь перед глазами общее правило. *(Уходит.)*

Миссис Чивли. Замечательная женщина эта леди Маркби, правда? Наговорит с три короба, а ничего не скажет. Она прямо создана быть оратором. Гораздо больше, чем ее муж, хоть он и типичный англичанин, неизменно скучный и по большей части грубый.

Леди Чилтерн продолжает стоять и ничего не отвечает. Долгая пауза. Затем глаза обеих женщин встречаются. Леди Чилтерн бледна, лицо строгое. Миссис Чивли усмехается.

Леди Чилтерн. Миссис Чивли, скажу вам откровенно: если бы я знала, кто вы, я вчера не пригласила бы вас к себе.

Миссис Чивли (*с вызывающей улыбкой*). Неужели?

Леди Чилтерн. Я не могла бы это сделать.

Миссис Чивли. Я вижу, вы за все эти годы ничуть не изменились, Гертруда.

Леди Чилтерн. Я никогда не меняюсь.

Миссис Чивли (*поднимает брови*). Так значит, жизнь вас ничему не научила?

Леди Чилтерн. Она научила меня помнить, что человек, некогда совершивший бесчестный поступок, может опять совершить такой поступок и что таких людей надо избегать.

Миссис Чивли. И вы ко всем применяете это правило?

Леди Чилтерн. Ко всем без исключения.

Миссис Чивли. В таком случае мне очень жаль вас, Гертруда. Очень жаль.

Леди Чилтерн. Теперь вы, надеюсь, видите, что по многим причинам дальнейшее знакомство между нами невозможно.

Миссис Чивли (*откидывается в кресле*). Осуждаете меня, Гертруда? Да? Пожалуйста. Сколько вам угодно. Я не обижаюсь. Ведь это только поза, в которую мы становимся перед теми, кого не любим. Вы меня не любите, я знаю. А я всегда вас ненавидела. И все-таки пришла сюда, чтобы оказать вам услугу.

Леди Чилтерн (*презрительно*). Должно быть, вроде той услуги, что вы вчера хотели оказать моему мужу? Слава богу, я избавила его от ваших услуг.

Миссис Чивли (*вскакивает*). Так это вы заставили его написать мне это наглое письмо? Вы заставили его разрушить слово?

Леди Чилтерн. Да.

Миссис Чивли. Так сделайте же так, чтобы он его сдержал. Даю вам срок до завтрашнего утра. Если к этому времени он не заявит публично о своей готовности поддерживать этот блестящий проект, в котором я заинтересована...

Леди Чилтерн. Эту мошенническую спекуляцию...

Миссис Чивли. Называйте ее как хотите. Ваш муж у меня в руках, и, если в вас есть хоть капля разума, вы заставите его сделать то, что я вею.

Леди Чилтерн (*идет к ней*). Вы очень дерзки. Что общего у моего мужа с вами? С такой женщиной, как вы?

Миссис Чивли (*с горьким смехом*). Да то, что мы с ним одного поля ягоды. Ваш муж сам бесчестный обманщик, вот почему нам с ним так легко столкнуться. Между ним и вами — пропасть. А мы с ним ближе, чем друзья. Мы враги, скованные одной цепью. Одним и тем же преступлением.

Леди Чилтерн. Как вы смеете равнять себя с моим мужем? Как вы смеете грозить ему — или мне? Уходите из моего дома! Вы недостойны переступить мой порог!

Сзади входит сэр Роберт Чилтерн, слышит последние слова жены и видит, к кому они обращены. Он бледнеет как полотно.

Миссис Чивли. Вашего дома! Дома, купленного ценой бесчестия. Дома, в котором за все заплачено деньгами, полученными за предательство. (*Оборачивается и видит сэра Роберта Чилтерна.*) Спросите его, откуда у него богатство! Пусть он вам расскажет, как продал министерский секрет биржевому спекулянту. Узнайте от него, чему вы обязаны своим положением!

Леди Чилтерн. Это неправда! Роберт! Это неправда!

Миссис Чивли (*указывает на него пальцем*). Посмотрите на него! Что же он не отрицает, а? Не смеет!

Сэр Роберт Чилтерн. Уходите. Сейчас же. Вы уж сделали все, что могли.

Миссис Чивли. Все? Ну нет, я еще с вами не кончила. Ни с вами, ни с ней. Даю вам обоим срок до завтра. Если до завтра, до двенадцати часов дня, не будет сделано то, что я приказываю, весь мир узнает правду о карьере Роберта Чилтерна.

Сэр Роберт Чилтерн звонит. Входит Мэсон.

Сэр Роберт Чилтерн. Проводите миссис Чивли.

Миссис Чивли вздрагивает, как от удара. Затем с преувеличенной вежливостью кланяется леди Чилтерн; та не отвечает на поклон. Проходя мимо сэра Роберта Чилтерна, который стоит ближе к двери, миссис Чивли на мгновение останавливается и смотрит ему в лицо.

Потом выходит.

Слуга идет сзади и притворяет за собой дверь. Супруги остаются одни. Леди Чилтерн стоит в оцепенении. Потом оборачивается и смотрит на мужа странным взглядом, как будто видит его впервые.

Леди Чилтерн. Ты продал государственную тайну за деньги. Ты начал жизнь с обмана. Ты построил свою карьеру на бесчестии. Скажи, что это неправда! Солги мне! Солги! Скажи, что это неправда!

Сэр Роберт Чилтерн. Это правда. Эта женщина сказала правду. Но, Гертруда, выслушай меня! Ты не знаешь, какое это было искушение... Позволь мне все рассказать! (*Идет к ней.*)

Леди Чилтерн. Не подходи ко мне. Не трогай меня. Ты вымарал меня в грязи. Все эти годы ты носил маску. Лживую, раскрашенную маску! Ты продался за деньги. Впрочем, вором быть и то лучше! Ты продал себя тому, кто дал больше. Тебя купили с аукциона. Ты лгал всему миру. А мне ты не хочешь солгать!..

Сэр Роберт Чилтерн (*бросаясь к ней*). Гертруда! Гертруда!

Леди Чилтерн (*отстраняет его вытянутыми вперед руками*). Не говори... не говори ничего. Я не могу слышать твой голос... он пробуждает во мне воспоминания... страшные воспоминания... обо всем, за что я тебя любила... о всех словах, которые ты мне говорил... и за которые я тебя полюбила. Я не хочу об этом помнить, теперь все это... мерзко мне. А как я тебя любила! Я молилась на тебя! Ты был для меня что-то высшее, вне повседневной жизни, — чистое, благородное, честное, без единого пятнышка. Я верила: мир стал лучше оттого, что ты живешь в нем, добродетель не пустое слово, потому что ты есть на свете. А теперь... Подумать только, кого я избрала своим идеалом! Идеалом всей моей жизни!

Сэр Роберт Чилтерн. Вот это и есть твоя ошибка. Твое заблуждение! Как у всех женщин. Почему вы, женщины, не можете любить нас такими, как мы есть, со всеми нашими недостатками? Зачем вы ставите нас на пьедестал? У нас у всех ноги из глины, как у женщин, так и у мужчин; но мужчина любит женщину, зная все ее слабости, все ее причуды и несовершенства, — и, может быть, за них-то он ее больше всего и любит. И это правильно. Потому что не тот нуждается в любви, кто силен, а тот, кто слаб. Вот когда мы раним себя или другие нас ранят, тогда должна прийти любовь и исцелить наши раны. А иначе зачем любовь? Истинная любовь прощает все преступления, кроме преступления против любви. Она освящает всякую жизнь, кроме жизни без любви. Такова любовь мужчины. Она шире, добрее, человечнее, чем любовь женщины.



Вы думаете, что делаете из нас идеал. А вы только творите себе ложные кумиры. Ты из меня сотворила себе ложный кумир. А у меня недостало мужества сойти вниз, показать тебе мои раны, признаться в своих слабостях. Я боялся потерять твою любовь — и недаром, — потому что вот же я ее потерял! А чем все это кончилось? Вчера ты разбила мне жизнь. Да, разбила! То, чего требовала эта женщина, ничто по сравнению с тем, что она предлагала. Она предлагала мне безопасность, спокойствие, жизнь без страха. Грех моей юности, который я считал похороненным, вдруг встал передо мной — страшный, омерзительный — и схватил меня за горло. Я мог убить его, загнать обратно в могилу, изгладить самую память о нем, смечь единственное свидетельство против меня. Ты мне помешала. Ты, ты, никто другой как ты, ты это знаешь. И теперь у меня нет ничего впереди — только публичный позор, гибель всех надежд, стыд, смех толпы: одинокая жизнь где-нибудь в глухом углу, с клеймом позора и, может быть, такая же одинокая смерть средь общего презрения. Нет уж, пусть лучше женщины не делают из нас идеала! Пусть не воздвигают нам алтарей и не преклоняют перед нами колени! А не то они погубят еще много человеческих жизней — так же как ты, которую я так страстно любил, погубила мою жизнь! (Уходит.)

Леди Чилтерн бросается за ним, но дверь захлопывается. Бледная, растерянная, без сил, она стоит, качаясь, как стебель в воде. Ее простертые руки трепещут, как цветы на ветру. Потом она опускается на пол перед диваном и прячет лицо в подушки. Ее рыдания звучат жалобно и беспомощно, как плач ребенка.

*Занавес*

## ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Библиотека в доме лорда Горинга. Мебель и внутреннее убранство в стиле Адам. Направо дверь в холл, налево — в курительную. В задней стене двустворчатая дверь в гостиную. Топится камин. Дворецкий Фиппс раскладывает газеты на письменном столе. Главная отличительная черта Фиппса — бесстрашие: некоторые энтузиасты даже называют его идеальным дворецким. Сфинкс более разговорчив и общителен, чем он. Фиппс — это маска с безукоризненными манерами. О его умственной и эмоциональной жизни ничего не известно. Он воплощение господства формы.

Входит лорд Горинг. Он во фраке, с бутоньеркой в петлице, в цилиндре и белых перчатках, на плечи накинут плащ, в руках трость в стиле Людовика XVI — не упущен ни единый атрибут современной моды. Видно, что он с ней теснейшим образом связан, сам ее создает и, таким образом, возвышается над нею. В истории человеческой мысли он первый философ, умеющий хорошо одеваться.

Лорд Горинг. Что, принесли уже мою вторую бутоньерку, Фиппс?

Фиппс. Да, милорд. *(Берет у него цилиндр, трость и плащ и подает на подносе новую бутоньерку.)*

Лорд Горинг. Довольно изящная! В настоящее время, Фиппс, из всех сколько-нибудь приметных людей в Лондоне только я один ношу бутоньерки.

Фиппс. Да, милорд. Я это заметил.

Лорд Горинг *(вынимает старую бутоньерку из петлицы)*. Видите ли, Фиппс, модно то, что носишь ты сам. А немодно то, что носят другие.

Фиппс. Да, милорд.

Лорд Горинг. Так же как вульгарность — это просто-напросто поведение других людей.

Фиппс. Да, милорд.

Лорд Горинг *(вдевает новую бутоньерку в петлицу)*. А ложь — это правда других людей.

Фиппс. Да, милорд.

Лорд Горинг. Другие — это вообще кошмарная публика. Единственное хорошее общество — это ты сам.

Фиппс. Да, милорд.

Лорд Горинг. Любовь к себе — это начало романа, который длится всю жизнь, Фиппс.

Фиппс. Да, милорд.

Лорд Горинг *(глядится в зеркало)*. Мне все-таки не совсем нравится эта бутоньерка, Фиппс. Чутьочку старит меня. Я выгляжу с ней почти как мужчина в цвете лет. А, Фиппс?

Ф и п с. Я не нахожу никаких перемен в вашей внешности, милорд.

Л о р д Г о р и н г. Не находите, Фиппс?

Ф и п с. Нет, милорд.

Л о р д Г о р и н г. А я нахожу. Да. Положительно. Распорядитесь, чтобы впредь по четвергам, для вечера, мне составляли более легкомысленные бутоньерки.

Ф и п с. Я поговорю с хозяйкой цветочного магазина, милорд. У нее недавно умер кто-то из родственников. Возможно, этим объясняется недостаток легкомыслия в ее бутоньерках.

Л о р д Г о р и н г. Удивительное это свойство у наших английских низших сословий — у них вечно умирают родственники.

Ф и п с. Да, милорд. Им необыкновенно везет в этом отношении.

Л о р д Г о р и н г (*оборачивается и смотрит на него. Фиппс сохраняет невозмутимость*). Гм!.. Письма были, Фиппс?

Ф и п с. Три, милорд. (*Подает письма на подносе.*)

Л о р д Г о р и н г (*берет их*). Через двадцать минут мне нужен будет кеб, Фиппс.

Ф и п с. Слушаю, милорд. (*Идет к двери.*)

Л о р д Г о р и н г (*показывает ему письмо в розовом конверте*). Э-гм! Фиппс! Когда пришло это письмо?

Ф и п с. Его принес посыльный сейчас же после вашего отъезда в клуб, милорд.

Л о р д Г о р и н г. Хорошо. Можете идти.

Фиппс уходит.

Почерк леди Чилтерн и розовая бумага леди Чилтерн. Странно! Я ждал, что Роберт напишет. А что может мне писать леди Чилтерн? (*Садится к столу, вскрывает письмо и читает.*) «Верю. Хочу видеть. Приду. Гертруда». (*Откладывает письмо, удивленно подняв брови. Снова берет его и медленно перечитывает.*) «Верю. Хочу видеть. Приду». Так. Значит, она все узнала! Бедняжка! Бедняжка! (*Вынимает часы, смотрит на них.*) Однако поздний час для визита. Десять часов! А я собирался к Беркширам. Придется отложить. Ну, это не важно. Всегда приятно не прийти туда, где тебя ждут. А в клубе холостяков меня не ждут, вот я туда и поеду. Да. Постараюсь уговорить ее, чтобы она не покидала мужа. Ее место возле мужа. Как и всякой жены. Беда, когда у женщины высоко развито моральное

чувство. От этого брак и стал таким безнадежным, однобоким учреждением. Десять часов. Вероятно, скоро придет. Надо сказать Фиппсу, что ни для кого другого меня нет дома. (*Идет к звонку.*)

Входит Ф и п п с.

Ф и п п с. Лорд Кавершем.

Лорд Горинг. Господи, ну почему родители всегда являются не вовремя? Это какой-то просчет природы.

Входит лорд Кавершем.

Дорогой отец, как я рад вас видеть! (*Идет ему навстречу.*)

Лорд Кавершем. Помогите мне снять пальто.

Лорд Горинг. Стоит ли вам раздеваться, отец?

Лорд Кавершем. Конечно, стоит, сэр. Какое тут самое удобное кресло?

Лорд Горинг. Вот это. Я всегда сам в нем сижу, когда у меня гости.

Лорд Кавершем. Благодарю. Надеюсь, тут нет сквозняков?

Лорд Горинг. Нет, отец.

Лорд Кавершем (*садится*). Рад это слышать. Не выношу сквозняков. Дома у нас никогда не бывает сквозняков.

Лорд Горинг. Но иногда бывают бури, не правда ли?

Лорд Кавершем. А? Что? Не понимаю, что вы хотите сказать. Мне нужно серьезно поговорить с вами, сэр.

Лорд Горинг. Ну что вы, отец! В такой час?

Лорд Кавершем. Сейчас десять. Чем вам плох этот час? По-моему, час очень хороший.

Лорд Горинг. Простите, отец, но сегодня не мой день для серьезных разговоров. Очень сожалею, но... не мой день.

Лорд Кавершем. Это еще что значит, сэр?

Лорд Горинг. Во время сезона я веду серьезные разговоры только по первым вторникам каждого месяца, от четырех до семи.

Лорд Кавершем. Ну так считайте, что сегодня вторник. Считайте, что вторник.

Лорд Горинг. Но сейчас уже больше семи, отец, а мой доктор запретил мне вести серьезные разговоры после семи часов вечера. От этого я потом разговариваю во сне.

Лорд Кавершем. Разговариваете во сне? Ну и что? Какое это имеет значение? Вы ведь не женаты.

Лорд Горинг. Да, отец, я не женат.

Лорд Кавершем. Гм! Об этом я и хотел с вами по-

говорить. Вы должны жениться. Немедленно! В вашем возрасте, сэр, я уже три месяца был безутешным вдовцом и уже начинал ухаживать за вашей матерью. Да вы просто обязаны жениться. Это ваш долг, сэр! Нельзя жить только для удовольствия! В наше время все порядочные люди женятся. Холостяки больше не в моде. Дискредитированная публика. О них слишком много известно. Вам нужна жена. Посмотрите, чего достиг ваш друг Роберт Чилтерн — честностью, усердным трудом и разумной женитьбой на хорошей женщине! Почему вы не делаете, как он? Почему не возьмете его себе за образец?

Лорд Горинг. Пожалуй, я так и сделаю, отец.

Лорд Кавершем. Очень будет хорошо. Тогда я успокоюсь. А сейчас я отравляю жизнь вашей бедной матери — и все из-за вас. Вы бессердечны, сэр, совершенно бессердечны.

Лорд Горинг. Ну что вы, отец.

Лорд Кавершем. Давно пора вам жениться. Вам уже тридцать четыре года, сэр.

Лорд Горинг. Да, отец. Но я всегда говорю, что мне тридцать два. Даже тридцать один с половиной — когда у меня хорошая бутоньерка. Эта недостаточно... легкомысленна.

Лорд Кавершем. Вздор. Вам тридцать четыре, сэр. И, кроме того, в этой комнате сквозняк. Это еще ухудшает ваше поведение. Почему вы сказали, что здесь нет сквозняка? Здесь сквозит, я чувствую.

Лорд Горинг. Я тоже. Ужасный сквозняк. Давайте я лучше зайду к вам завтра. И мы обо всем поговорим. Разрешите, я вам подам пальто.

Лорд Кавершем. Нет, сэр. Я пришел сюда с определенным намерением и не уйду, пока его не выполню. Хотя бы даже ценой моего здоровья. Или вашего. Оставьте мое пальто, сэр.

Лорд Горинг. Хорошо, отец. Но перейдем по крайней мере в другую комнату. (Звонит.) В этой страшно сквозит.

Входит Ф и п п с.

Фиппс, вы затопили камин в курительной?

Ф и п п с. Да, милорд.

Лорд Горинг. Пойдемте туда, отец. Вы так чихаете, что у меня сердце разрывается.

Лорд Кавершем. Надеюсь, я имею право чихать, если мне нравится?

Лорд Горинг (*виноватым тоном*). Без сомнения, отец. Я только хотел выразить вам свое сочувствие.

Лорд Кавершем. На что мне ваше сочувствие. Этого добра на свете и так слишком много.

Лорд Горинг. Совершенно согласен с вами, отец. Если бы люди меньше сочувствовали друг другу, меньше было бы неприятностей.

Лорд Кавершем (*направляясь в курительную*). Это парадокс, сэр. Ненавижу парадоксы.

Лорд Горинг. Я тоже, отец. В наше время что ни человек, то парадокс. Это очень скучно. Всех насквозь видно как стеклышко.

Лорд Кавершем (*оборачивается и смотрит на сына из-под нависших бровей*). Вы всегда понимаете то, что говорите?

Лорд Горинг (*после некоторого колебания*). Да, отец. Если внимательно слушаю.

Лорд Кавершем (*возмущенно*). Если внимательно слушаете!.. Ха! Нахальный щенок! (*Ворча себе под нос, уходит в курительную.*)

Входит Фиппс.

Лорд Горинг. Фиппс, ко мне скоро должна прийти дама. По делу. Когда она придет, проводите ее в гостиную. Понятно?

Фиппс. Да, милорд.

Лорд Горинг. У нее ко мне очень важное дело, Фиппс.

Фиппс. Понимаю, милорд.

Лорд Горинг. И больше никого не принимать. Ни под каким видом.

Фиппс. Понимаю, милорд.

Слышен звонок.

Лорд Горинг. А! Это, наверно, она. Я сам ее встречу. (*Идет к двери.*)

В эту минуту из курительной выглядывает лорд Кавершем.

Лорд Кавершем. Ну, сэр? Долго я вас буду дожидаться?

Лорд Горинг (*в смущении*). Я сейчас, отец. Простите.

Лорд Кавершем скрывается.

Так помните, Фиппс,— прямо в гостиную.

Ф и п с. Слушаю, милорд.

Лорд Горинг уходит в курительную. Лакей Гарольд вводит миссис Чивли. Она вся в зеленом с серебром и, более чем когда-либо, эмесподобна. На плечах черное атласное манто, подбитое шелком цвета увядшей розы.

Гарольд. Как прикажете о вас доложить, сударыня?  
Миссис Чивли (*Фипсу, который подходит к ней*).  
А где же лорд Горинг? Мне сказали, он дома.

Ф и п с. Его милость сейчас заняты с лордом Кавершемом, сударыня. (*Обращает на Гарольда холодный, уничтожающий взгляд, и тот немедленно ретируется.*)

Миссис Чивли (*про себя*). Какой примерный сын!

Ф и п с. Его милость велел мне проводить вас в гостиную, сударыня. И просить вас — не будете ли вы так добры подождать минутку. Он сейчас туда придет.

Миссис Чивли (*удивлена*). Лорд Горинг меня ждал?

Ф и п с. Да, сударыня.

Миссис Чивли. Вы не ошибаетесь?

Ф и п с. Его милость велел мне, если придет дама, просить ее подождать в гостиной. (*Идет к дверям в гостиную и распахивает их.*) Я имею вполне точные указания.

Миссис Чивли (*про себя*). Какая заботливость! Ждать неожиданного — это поистине современный ум! (*Идет к двери и заглядывает в гостиную.*) Ух! До чего в них всегда неуютно, в этих холостяцких гостиных! Придется мне все тут переделать.

Фипс берет лампу с письменного стола и хочет нести ее в гостиную.

Нет, не надо лампы. Слишком резкий свет. Лучше зажгите несколько свечей.

Ф и п с (*ставит лампу обратно*). Слушаю, сударыня.

Миссис Чивли. Надеюсь, у свечей приятные абажуры?

Ф и п с. Пока никто не жаловался, сударыня. (*Переходит в гостиную и начинает зажигать свечи.*)

Миссис Чивли (*про себя*). Интересно, какую это даму он ждет. Вот бы застигнуть его на любовном свидании! У мужчин всегда такой глупый вид, когда они попадают. А они вечно попадают. (*Оглядывает комнату и подходит к письменному столу.*) А эта комната недурна. И картины какие интересные. Ну-ка посмотрим, что у него тут за переписка. (*Перебирает бумаги на столе.*) Фу, какая скука! Счета и визитные карточки. Долги и вдовствующие герцо-

гини! А кто это пишет ему на розовой бумаге? Смешно — розовая записочка! Похоже на начало мещанского романа. Роман не должен начинаться с излияния чувств. Он должен начинаться с трезвого расчета и кончаться дарственной записью. *(Откладывает письма, потом снова их берет.)* А ведь я знаю этот почерк. Это почерк Гертруды Чилтерн. Я его хорошо помню. Десять заповедей в каждом росчерке пера и высоконравственность в каждой строчке. Интересно, что она ему пишет. Наверно, какие-нибудь гадости обо мне. До чего я ненавижу эту женщину! *(Читает).* «Верю. Хочу видеть. Приду. Гертруда». «Верю. Хочу видеть. Приду...» *(Лицо ее освещается торжеством. Она уже хочет украсть письмо.)*

Но в эту минуту входит Ф и п п с.

Ф и п п с. Свечи в гостиной зажжены, сударыня, как вы велели.

Миссис Чивли. Благодарю. *(Поспешно встает, сунув письмо под большой отделанный серебром бювар, лежащий на столе.)*

Ф и п п с. Надеюсь, абажуры вам понравятся, сударыня. Это лучшие, какие у нас есть. Его милость всегда при них одевается к обеду.

Миссис Чивли *(с улыбкой)*. Ну, тогда они, конечно, само совершенство.

Ф и п п с *(с важностью)*. Благодарю вас, сударыня.

Миссис Чивли удаляется в гостиную. Фиппс затворяет за ней дверь и уходит. Затем дверь приотворяется, миссис Чивли выходит и крадучись идет к столу. Внезапно из курительной доносятся громкие голоса. Миссис Чивли бледнеет и застывает на месте. Голоса становятся еще слышнее, и она, кусая губы, вновь скрывается в гостиной. Входят лорд Горинг и лорд Кавершем.

Лорд Горинг *(протестуя)*. Но, дорогой мой отец, если уж я должен жениться, то хоть позвольте мне самому выбрать время, место и жену. В особенности жену.

Лорд Кавершем *(сухо)*. Ничего подобного, сэр. Вы не сумеете выбрать. Это я буду решать, а не вы. Тут замешаны имущественные интересы. А чувства тут ни при чем. Чувства в браке приходят позже.

Лорд Горинг. Да. Когда муж и жена ничего уже не чувствуют друг к другу, кроме отвращения. *(Подает пальто лорду Кавершему.)*

Лорд Кавершем. Конечно, сэр. То есть конечно нет, сэр. Вы сегодня глупости болтаете. Я только хотел сказать, что главное в браке — здравый смысл.

Лорд Горинг. Но женщины, обладающие здравым



смыслом, все почему-то дурнушки. Вы не замечали? Я, конечно, так говорю с чужих слов.

Лорд Кавершем. Ни одна женщина, красавица или дурнушка, не обладает здравым смыслом. Здравый смысл — это преимущество мужского пола.

Лорд Горинг. Да. И мы, мужчины, настолько скромны, что никогда им не пользуемся.

Лорд Кавершем. Я пользуюсь, сэр. Только им и ничем другим.

Лорд Горинг. Да, так и мама мне говорила.

Лорд Кавершем. В этом секрет ее счастья, сэр. Вы бессердечны, сэр, совершенно бессердечны.

Лорд Горинг. Ну что вы, отец.

Выходят. Через мгновение лорд Горинг, весьма смущенный, возвращается. С ним сэр Роберт Чилтерн.

Сэр Роберт Чилтерн. Дорогой мой Артур, вот хорошо, что вы как раз вышли! Ваш дворецкий с чего-то взял, что вас нет дома. Очень странно!

Лорд Горинг. Да видите ли, Роберт, я сегодня очень занят, ну и велел ему всем говорить, что меня нет. Мой отец и тот сегодня встретил у меня довольно холодный прием. Так что даже все время жаловался на сквозняки.

Сэр Роберт Чилтерн. Но меня вы должны принять, Артур. Вы мой лучший друг. А завтра, может быть, будете единственным моим другом. Моя жена все узнала.

Лорд Горинг. А! Я так и думал!

Сэр Роберт Чилтерн (смотрит на него). Вы так думали? Почему?

Лорд Горинг (после некоторого колебания). Да так, догадался по выражению вашего лица, когда вы вошли. А кто ей сказал?

Сэр Роберт Чилтерн. Сама миссис Чивли. И теперь женщина, которую я люблю, знает, что моя карьера началась с обмана и бесчестия, что я построил свою жизнь на песке позора, что я, как обыкновенный торгаш, продал тайну, которую мне доверили как человеку чести. Слава богу, лорд Рэдли вовремя умер, не узнав, что я его предал. Лучше бы я сам тогда умер, чем поддаться искушению и так низко пасть! (Закрывает лицо руками.)

Лорд Горинг (после паузы). А из Вены еще не ответили?

Сэр Роберт Чилтерн. Ответили. Сегодня в восемь часов я получил телеграмму от первого секретаря посольства.

Лорд Горинг. Ну?

Сэр Роберт Чилтерн. Против нее ничего нет. Наоборот, в тамошнем обществе она довольно видная фигура. Всем, правда, известно, что барон Арнгейм оставил ей большую часть своего огромного состояния. Но, кроме этого, мне ничего не удалось узнать.

Лорд Горинг. Значит, она не шпионка?

Сэр Роберт Чилтерн. Э, кому теперь нужны шпионы. Вымирающая профессия. За них теперь все делают газеты.

Лорд Горинг. И даже очень неплохо делают.

Сэр Роберт Чилтерн. Артур, я умираю от жажды. Можно, я позвоню, чтобы мне чего-нибудь принесли? Рейнвейна с зельтерской?

Лорд Горинг. Конечно. Позвольте, я сам. *(Звонит.)*

Сэр Роберт Чилтерн. Спасибо. Я не знаю, что мне делать, Артур, я не знаю, что мне делать, и вы мой единственный друг. Но зато какой друг! Друг, которому можно верить. Ведь вам я могу верить, Артур?

Входит Фиппс.

Лорд Горинг. Ну конечно же, дорогой мой Роберт. *(Фиппсу.)* Принесите рейнвейна с зельтерской.

Фиппс. Слушаю, милорд.

Лорд Горинг. Ах да! Фиппс!

Фиппс. Что прикажете, милорд?

Лорд Горинг. Извините, Роберт, я вас оставлю на минутку. Мне нужно распорядиться.

Сэр Роберт Чилтерн. Пожалуйста.

Лорд Горинг. Когда эта дама придет, скажите, что меня сегодня нет и не будет. Скажите, что меня срочно вызвали и я уехал из города. Понимаете?

Фиппс. Дама в гостиной, милорд. Ведь вы велели проводить ее в гостиную, милорд.

Лорд Горинг. Вы поступили совершенно правильно, Фиппс.

Фиппс уходит.

Вот так история! Ну, ничего. Выпутаюсь. Сделаю ей внутренние сквозь дверь. Трудное, однако, положение.

Сэр Роберт Чилтерн. Артур, скажите, что мне делать? У меня сейчас такое чувство, как будто все кругом развалилось... все спуталось. Я как корабль без руля в ночи без звезд.

Лорд Горинг. Роберт, вы ведь любите свою жену?

Сэр Роберт Чилтерн. Я люблю ее больше всего на свете. Раньше я думал, что главное в жизни — честолюбие. Это неверно. Главное в жизни любовь. Любовь — это все. И я люблю свою жену. Но я опозорен в ее глазах. Я унижен в ее глазах. Она узнала, каков я есть. И осудила бесповоротно.

Лорд Горинг. Но неужели она не может простить вас? Разве сама она никогда не оступалась? Может быть, и сама она когда-нибудь, под влиянием минуты, совершила опрометчивый или нескромный поступок?

Сэр Роберт Чилтерн. Моя жена? Никогда! Она не знает, что такое слабость или искушение. Я — прах земной, как все мужчины. А она вознесена высоко над нами, как большинство хороших женщин. И она безжалостна в своей правоте, холодна, сурова и не ведает сострадания. Но я люблю ее, Артур. У нас нет детей, и мне некого любить, кроме нее, и меня некому любить. Если бы бог дал нам ребенка, может быть, она была бы добрее ко мне. Но мой дом пуст. А она — она разорвала мне сердце пополам. Не будем говорить об этом. Сегодня я был очень груб с ней. Но когда грешники разговаривают со святыми, они, наверно, всегда бывают грубы. Я ей бог знает чего наговорил — правду, в общем, но такую измененную правду, мужскую. Не будем говорить об этом.

Лорд Горинг. Ваша жена простит вас. Может быть, сейчас, вот в эту минуту, она уже вас простила. Она любит вас, Роберт. Как же она может не простить?

Сэр Роберт Чилтерн. Дай бог! Дай бог! (*Закрывает лицо руками.*) Но я хочу еще что-то сказать вам, Артур.

Входит Фиппс с подносом.

Фиппс (*Подавая сэру Роберту Чилтерну.*) Рейнвейн с зельтерской, сэр.

Сэр Роберт Чилтерн. Спасибо.

Лорд Горинг. Коляска ждет вас, Роберт?

Сэр Роберт Чилтерн. Нет, я пришел пешком из клуба.

Лорд Горинг. Сэр Роберт возьмет мой кеб, Фиппс.

Фиппс. Слушаю, милорд. (*Уходит.*)

Лорд Горинг. Вы не обижаетесь, Роберт, что я вас выгоняю?

Сэр Роберт Чилтерн. Потерпите еще пять минут, Артур. Слушайте. Я решил, что скажу сегодня в палате.

Прения по вопросу об Аргентинском канале начинаются в одиннадцать.

В гостиной падает стул.

Что это?

Лорд Горинг. Ничего.

Сэр Роберт Чилтерн. Я слышал — в комнате рядом упал стул. Там кто-то подслушивает.

Лорд Горинг. Нет, нет. Там никого нет.

Сэр Роберт Чилтерн. Там кто-то есть. В комнате свет, дверь приотворена. Кто-то подслушал все тайны моей жизни. Артур, что это значит?

Лорд Горинг. Роберт, вы волнуетесь, расстроены, вам послышалось. Я вам говорю — там никого нет. Сядьте, Роберт.

Сэр Роберт Чилтерн. Вы даете мне слово, что там никого нет?

Лорд Горинг. Да.

Сэр Роберт Чилтерн. Ваше честное слово? (*Садится.*)

Лорд Горинг. Да.

Сэр Роберт Чилтерн (*встает*). Артур, дайте, я сам посмотрю.

Лорд Горинг. Нет. Нет.

Сэр Роберт Чилтерн. Если там никого нет, почему мне нельзя посмотреть? Артур, позвольте, я сам пойду и удостоверюсь. Я должен быть уверен, что никакой соглядатай не проник в тайну моей жизни. Вы не знаете, что я переживаю.

Лорд Горинг. Роберт, перестаньте. Я сказал, что там никого нет, — и довольно.

Сэр Роберт Чилтерн (*бросается к дверям в гостиную*). Нет, не довольно! Я желаю войти в эту комнату. Вы сказали, там никого нет, так почему же вы меня не пускаете?

Лорд Горинг. Ради бога, не надо! Там кто-то есть. Кто-то, кого вы не должны видеть.

Сэр Роберт Чилтерн. А! Так я и знал!

Лорд Горинг. Я запрещаю вам входить в эту комнату!

Сэр Роберт Чилтерн. Прочь с дороги! На карте моя жизнь! И плевать мне, что я кого-то там не должен видеть. Я узнаю, кому я открыл свою тайну и свой позор! (*Входит в гостиную.*)

Лорд Горинг. Боже мой! Там его жена!

Сэр Роберт Чилтерн возвращается. Лицо его выражает презрение и гнев.

Сэр Роберт Чилтерн. Как вы объясните присутствие здесь этой женщины?

Лорд Горинг. Роберт, клянусь вам, она чиста и невинна перед вами.

Сэр Роберт Чилтерн. Подлая, низкая тварь!

Лорд Горинг. Не говорите так, Роберт! Она пришла сюда только ради вас. Только затем, чтобы посоветоваться со мною, как спасти вас. Она любит только вас и никого другого.

Сэр Роберт Чилтерн. Вы с ума сошли. Какое мне дело до ваших интрижек с этой женщиной. Пусть остается вашей любовницей. Прекрасная будет парочка! Она — бестыжая, развратная, а вы — вероломный друг, предатель, хуже врага...

Лорд Горинг. Это неправда, Роберт. Видит бог, это неправда. Пойдемте. При вас и при ней я все объясню.

Сэр Роберт Чилтерн. Пропустите меня, сэр. Довольно вы уже мне лгали! Вы — и ваше честное слово!.. (Уходит.)

Лорд Горинг устремляется к дверям гостиной. Навстречу ему выходит миссис Чивли, сияя насмешливой улыбкой.

Миссис Чивли (делает ему реверанс). Добрый вечер, лорд Горинг.

Лорд Горинг. Миссис Чивли! Бог мой!.. Позвольте узнать, что вы делали в моей гостиной?

Миссис Чивли. Подслушивала. Обожаю подслушивать сквозь замочные скважины. Узнаешь столько интересного.

Лорд Горинг. А вам не кажется, что это значит — искушать providение?

Миссис Чивли. Ах, его уже столько раз искушали. Оно уж, наверно, привыкло. (Жестом предлагает ему снять с нее манто, что он и делает.)

Лорд Горинг. Очень рад, что вы зашли. Я хочу дать вам добрый совет.

Миссис Чивли. Ради бога, не надо. Никогда не надо дарить женщине то, чего она не может носить по вечерам.

Лорд Горинг. Я вижу, вы так же упрямы, как когда-то.

Миссис Чивли. Больше! Я очень усовершенствовалась. Приобрела опыт.

Лорд Горинг. Слишком большой опыт — опасная вещь. Не угодно ли папиросу? Половина красивых женщин в Лондоне курит. Лично я предпочитаю другую половину.

Миссис Чивли. Спасибо, я не курю. Это не понравилось бы моей портнихе. А первый долг женщины — угождать своей портнихе. В чем состоит ее второй долг, до сих пор не выяснено.

Лорд Горинг. Вы пришли, чтобы продать мне письмо Роберта Чилтерна?

Миссис Чивли. Предложить его вам — на некоторых условиях. Почему вы догадались?

Лорд Горинг. Потому что вы об этом молчите. Оно с вами?

Миссис Чивли. О нет. В хорошо сшитых платьях нет карманов.

Лорд Горинг. Ваша цена?

Миссис Чивли. До чего же вы англичанин! Англичанин думает, что чековая книжка все решает. Милый мой Артур, у меня денег гораздо больше, чем у вас. Почти столько же, как у Роберта Чилтерна. Мне нужны не деньги.

Лорд Горинг. А что же, миссис Чивли?

Миссис Чивли. Почему вы не зовете меня Лорой?

Лорд Горинг. Не люблю этого имени.

Миссис Чивли. А когда-то любили.

Лорд Горинг. Да. Именно поэтому теперь не люблю.

Миссис Чивли жестом приглашает его сесть рядом с собой. Он улыбается и садится.

Миссис Чивли. Артур, когда-то вы были влюблены в меня.

Лорд Горинг. Да.

Миссис Чивли. И просили меня быть вашей женой.

Лорд Горинг. Это был естественный результат моей влюбленности.

Миссис Чивли. А потом бросили меня — и все из-за того, что будто бы видели, как покойный лорд Мортлейк очень уж страстно флиртовал со мной в зимнем саду у Тенби.

Лорд Горинг. Насколько я помню, мой адвокат уладил с вами это дело на известных условиях... которые вы сами продиктовали.

Миссис Чивли. Я тогда была бедна. А вы богаты.

Лорд Горинг. Совершенно верно. И поэтому вы притворялись, что меня любите.

Миссис Чивли (пожимает плечами). Потешный был старик этот лорд Мортлейк! У него были только две темы для разговора: его подагра и его жена. И я никогда не могла

понять, о которой из двух идет речь. Он так страшно ругал и ту и другую. В общем, вы очень глупо сделали, Артур. Лорд Мортлейк был для меня только развлечение. Одно из тех унылых развлечений, которым поневоле предаешься, когда гостишь в английском помещичьем доме. Мало ли чего там не сделаешь от скуки! За это никого нельзя винить.

Лорд Горинг. Да. Многие так считают.

Миссис Чивли. Я любила вас, Артур.

Лорд Горинг. Дорогая миссис Чивли, вы всегда были слишком умны, чтобы кого-нибудь любить.

Миссис Чивли. А вот вас любил. И вы меня любили. Не спорьте, любили. А любовь — удивительное чувство. Если мужчина когда-то любил женщину, ведь он все сделает для нее, правда? Кроме только одного: продолжать любить ее. *(Касается его руки.)*

Лорд Горинг *(осторожно убирает руку)*. Да. Все, кроме этого.

Миссис Чивли *(после молчания)*. Мне надоело жить за границей. Я хочу вернуться в Лондон. Иметь здесь уютный дом. Устраивать приемы. Если б можно было англичан научить говорить, а ирландцев слушать, лондонское общество стало бы вполне цивилизованным. Кроме того, я уже вступила в романтический возраст. Когда я вчера увидела вас у Чилтернов, я поняла, Артур, что если кого любила, так только вас. Так вот, утром того дня, когда мы с вами поженимся, я вам отдам письмо Роберта Чилтерна. Таково мое предложение. Даже сейчас отдам, если вы обещаете на мне жениться.

Лорд Горинг. Сейчас?

Миссис Чивли *(улыбается)*. Завтра.

Лорд Горинг. Вы это серьезно?

Миссис Чивли. Вполне.

Лорд Горинг. Из меня выйдет плохой муж.

Миссис Чивли. Я не боюсь плохих мужей. У меня уже два было. Они меня ужас как забавляли.

Лорд Горинг. Вы хотите сказать, что сами ужас как забавлялись?

Миссис Чивли. Что вы знаете о моей замужней жизни?

Лорд Горинг. Ничего. Но я читаю в ней как в книге.

Миссис Чивли. Какой еще книге?

Лорд Горинг. Книге Числ.

Миссис Чивли. По-вашему, это деликатно — оскорблять женщину, когда она пришла к вам в дом?

Лорд Горинг. Когда женщина столь очаровательна, как вы, миссис Чивли, пол для нее не защита. Это вызов, который она бросает мужчине.

Миссис Чивли. Вы, кажется, думаете, что сказали мне комплимент. Но, милый мой Артур, женщин нельзя обзоружить комплиментами. Мужчин — да. В этом разница.

Лорд Горинг. Насколько я знаю женщин, их ничем не обезоружить.

Миссис Чивли (*помолчав*). Так, значит, вы скорее согласны видеть, как ваш лучший друг, Роберт Чилтерн, гибнет, чем жениться на женщине, далеко еще не лишенной привлекательности? Я думала, вы возвыситесь до самопожертвования. Подумайте, как было бы хорошо! Вы тогда могли бы весь остаток жизни восхищаться собой.

Лорд Горинг. Ну, это я и так делаю. А самопожертвование следовало бы запретить законом. Оно развращает тех, кому приносят жертву. Они всегда сбиваются с пути.

Миссис Чивли. Как будто можно чем-нибудь развратить Роберта Чилтерна! Вы забываете, что я знаю его истинную сущность.

Лорд Горинг. То, что вы о нем знаете, это не его истинная сущность. Это опрометчивый поступок, совершенный им в юности, — дурной поступок, согласен, скверный поступок, согласен, недостойный его поступок... и потому не его истинная сущность.

Миссис Чивли. Как вы, мужчины, всегда защищаете друг друга!

Лорд Горинг. Как вы, женщины, всегда нападаете друг на друга!

Миссис Чивли (*раздраженно*). Я нападаю только на одну женщину. На Гертруду Чилтерн. Я ее ненавижу. Сейчас еще больше, чем всегда.

Лорд Горинг. Должно быть, потому, что превратили ее жизнь в трагедию.

Миссис Чивли (*с насмешкой*). Ах, в жизни женщины есть только одна настоящая трагедия. То, что для нее прошлое — это всегда ее любовник, а будущее — это, как правило, ее муж.

Лорд Горинг. Леди Чилтерн не имеет понятия о той жизни, на которую вы намекаете.

Миссис Чивли. Женщина, которая носит перчатки размером семь и три четверти, вообще ни о чем не имеет понятия. Вы знаете, что Гертруда всегда носила перчатки семь и три четверти? Это, вероятно, одна из причин, почему



у нас с ней нет ничего общего... Ну что же, Артур, значит, наше романтическое свидание кончено. Но вы согласны, что оно все-таки романтическое? Подумайте, за право быть вашей женой я готова была пожертвовать моим главным выигрышем, венцом моей дипломатической карьеры! Вы отказались. Хорошо. Если сэр Роберт не поддержит мой аргентинский проект, я его разоблачу. *Voilà tout*<sup>1</sup>.

Лорд Горинг. Не делайте этого. Это подло, низко, бессовестно.

Миссис Чивли (*пожимает плечами*). Ах, к чему такие громкие слова. Они же ничего не значат. Это коммерческая сделка. Только и всего. И нечего припутывать сюда сантименты. Я предложила Роберту Чилтерну кое-что у меня купить. Он считает, что я прошу слишком дорого. Ну что ж, обществу он заплатит дороже. И больше не о чем говорить. А теперь мне пора. Прощайте! Вы не хотите пожать мне руку?..

Лорд Горинг. Вам? Нет. Я бы еще простил вам ваши махинации с Робертом Чилтерном — эту отвратительную коммерческую сделку, достойную нашего отвратительного коммерческого века. Но вы, кажется, забыли, что осмелились здесь говорить о любви... Вы, чьи уста оскверняют самое имя любви, вы, для кого любовь — книга за семью печатями, вы сегодня пришли в дом одной из самых благородных и честных женщин, какие есть на свете, пришли нарочно для того, чтобы унижить ее мужа в ее глазах, чтобы убить ее любовь к нему, влить яд в ее сердце и внести раздор в ее жизнь, разбить ее кумир и, может быть, растлить ее душу! Этого я не могу вам простить. Это гнусно. Этому нет прощения.

Миссис Чивли. Артур, вы несправедливы ко мне. Уверяю вас, вы несправедливы! Я вовсе не затем к ним пошла, чтобы посмеяться над Гертрудой. Даже в мыслях не было. Мы с леди Маркби заехали, только чтобы спросить об одной вещице — драгоценности, которую я вчера где-то потеряла, — и думала, что, может быть, у Чилтернов. Если не верите, спросите леди Маркби. Она подтвердит. Потом, когда леди Маркби уехала, у нас, правда, вышла неприятная сцена. Но Гертруда сама ее вызвала своими дерзостями и насмешками. А я — ну, может, во мне и была капелька злости, — но главное, я хотела узнать, не нашлась ли моя брошь. А с этого и началось.

---

<sup>1</sup> Вот и все (фр.).

Лорд Горинг. Бриллиантовая змейка с рубином?  
Миссис Чивли. Да. Почему вы знаете?

Лорд Горинг. Потому что она нашлась. Я сам ее и нашел, но, уходя, забыл сказать дворецкому. (*Идет к письменному столу и начинает выдвигать ящики.*) Она в этом ящике. Нет, в этом. Эта брошка, да? (*Показывает ее миссис Чивли.*)

Миссис Чивли. Да. Как я рада, что она нашлась. Это... подарок.

Лорд Горинг. Вы ее наденете?

Миссис Чивли. Конечно. Если вы мне приколете.

Лорд Горинг внезапно защелкивает браслет на ее руке.

Что вы делаете?.. Я и не знала, что ее можно носить как браслет.

Лорд Горинг. Не знали?

Миссис Чивли (*вытягивает свою красивую руку, любуясь*). Нет. Но так тоже неплохо. Посмотрите, как он хорош на мне!

Лорд Горинг. Да. Гораздо лучше, чем когда я в последний раз его видел.

Миссис Чивли. Когда вы его видели?

Лорд Горинг (*невозмутимо*). Десять лет назад. На леди Беркшир, у которой вы его украли.

Миссис Чивли (*отшатывается*). Что?.. Что вы этим хотите сказать?

Лорд Горинг. Я хочу сказать, что вы украли этот браслет у моей кузины, Мэри Беркшир, которой я подарил его к свадьбе. Подозрение пало на служанку, ее выгнали с позором. Вчера я его сразу узнал. И решил ничего не говорить, пока не найду вора. Теперь я нашел воровку и слышал ее признание.

Миссис Чивли (*вскидывает голову*). Это неправда.

Лорд Горинг. Нет, правда. Сами знаете. Да у вас сейчас на лице написано — воровка!

Миссис Чивли. Я буду все отрицать с начала до конца. Скажу, что никогда не видела этого мерзкого браслета. Никогда и в руках не держала.

Миссис Чивли пытается снять браслет. Лорд Горинг смотрит на нее с улыбкой. Пальцы ее тщетно дергают браслет. У нее вырывается проклятие.

Лорд Горинг. Воровство тем невыгодно, миссис Чивли, что иной раз сам не представляешь себе, что ты

украл. Этот браслет нельзя снять, если не знаешь, где пружинка. А вы, я вижу, не знаете. Ее не так легко найти.

Миссис Чивли. Подлец! Скотина! (Опять старается расстегнуть браслет, но безуспешно.)

Лорд Горинг. К чему такие громкие слова. Они же ничего не значат.

Миссис Чивли (в ярости, с невнятными выкриками, рвет браслет. Потом останавливается и смотрит на лорда Горинга). Что вы намерены делать?

Лорд Горинг. Позвонить дворецкому. Он образцовый слуга, сейчас же приходит на звонок. А когда он придет, я пошлю его за полицией.

Миссис Чивли (дрожа). За полицией?.. Зачем?

Лорд Горинг. Завтра Беркширы привлекут вас к суду. А пока что я заявлю в полицию. Она для того и существует.

Миссис Чивли (подавлена страхом. Лицо ее искажено, рот перекосился. С нее спала маска. В эту минуту на нее страшно смотреть). Не надо! Я все сделаю, что вы хотите. Все на свете.

Лорд Горинг. Отдайте письмо Роберта Чилтерна.

Миссис Чивли. Нет!.. Подождите. Дайте мне подумать.

Лорд Горинг. Отдайте письмо Роберта Чилтерна.

Миссис Чивли. Его нет со мной. Я отдам вам завтра.

Лорд Горинг. Ложь! Давайте сейчас.

Миссис Чивли достает письмо и протягивает ему. Она бледна как смерть.

Это оно?

Миссис Чивли (хрипло). Да.

Лорд Горинг (берет письмо, просматривает его, вздыхает и сжигает его над лампой). Приятно, миссис Чивли, что такая эlegantная женщина, как вы, не лишена все же здравого смысла. Поздравляю вас.

Миссис Чивли (замечает на столе письмо леди Чилтерн — уголок его высовывается из-под бювара). Дайте мне, пожалуйста воды.

Лорд Горинг. Сюю минуту.

Лорд Горинг идет в другой конец комнаты и наливает стакан воды. Пока он стоит спиной, миссис Чивли выкрадывает письмо. Когда он вновь подходит к ней со стаканом, она жестом его отстраняет.

Миссис Чивли. Спасибо, не надо. Вы поможете мне одеться?

Лорд Горинг. С удовольствием. *(Подает ей манто.)*

Миссис Чивли. Благодарю. Я больше никогда не буду делать зло Роберту Чилтерну.

Лорд Горинг. Вы, к счастью, не можете, миссис Чивли.

Миссис Чивли. Даже если б могла, я бы не стала. Наоборот, я хочу оказать ему большую услугу.

Лорд Горинг. Рад это слышать. В вас, очевидно, произошел душевный переворот.

Миссис Чивли. Да. Мне просто больно видеть, что такого честного человека, истинного английского джентльмена, так бессовестно обманывают. И поэтому...

Лорд Горинг. Ну?

Миссис Чивли. Да видите ли, у меня в кармане каким-то образом очутился прелюбопытный документ. Последние слова и предсмертная исповедь Гертруды Чилтерн.

Лорд Горинг. Что это значит?

Миссис Чивли *(с ноткой злобного торжества в голосе)*. Это значит, что я намерена послать Роберту Чилтерну любовное письмо, которое вам написала его жена.

Лорд Горинг. Любовное письмо?..

Миссис Чивли *(со смехом)*. «Верю. Хочу видеть. Приду. Гертруда».

Лорд Горинг *(делает шаг к столу, хватая конверт, видит, что он пуст. Оборачивается)*. Несчастливая! Не можете не воровать! Отдайте письмо. Не то я отниму силой. Не выйдете из комнаты, пока не отдадите. *(Бросается к ней.)*

Но миссис Чивли в тот же миг нажимает кнопку электрического звонка на столе. Пронзительный звон раскатывается по дому.

Входит Ф и п п с.

Миссис Чивли *(после паузы)*. Лорд Горинг позволил, чтобы вы меня проводили. Спокойной ночи, лорд Горинг! *(Уходит в сопровождении Фиппса. Лицо ее сияет злобной радостью. Глаза искрятся. К ней словно вернулась молодость. Ее прощальный взгляд быстр как стрела.)*

Лорд Горинг стоит, кусая губы; потом закуривает папиросу.

Занавес

## ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Обстановка как во втором действии.

Лорд Горинг стоит спиной к камину, засунув руки в карманы, со скучающим видом.

Лорд Горинг (*достает часы, разглядывает их, потом звонит*). Экая досада. Никого нет, не с кем поговорить. А у меня столько интересных новостей. Я сейчас как экстренный выпуск какой-нибудь газеты.

Входит л а к е й Д ж е й м с.

Д ж е й м с. Сэр Роберт еще в министерстве иностранных дел, милорд.

Лорд Горинг. А леди Чилтерн еще не сходила вниз?

Д ж е й м с. Ее милость у себя. Мисс Чилтерн только что вернулась с прогулки верхом.

Лорд Горинг (*про себя*). А, ну это уже кое-что.

Д ж е й м с. Лорд Кавершем дожидается сэра Роберта в библиотеке. Я сказал ему, что вы здесь, милорд.

Лорд Горинг. Благодарю вас. Не будете ли вы добры сказать ему, что я уже ушел?

Д ж е й м с (*с поклоном*). Будет сделано, милорд. (*Уходит.*)

Лорд Горинг. Три дня подряд встречаться со своим отцом — нет, это уж слишком, даже для самого любящего сына. Чересчур много радостных волнений. Не дай бог, он еще сюда явится. Отцов вообще не должно быть ни видно, ни слышно. Только на этой основе можно построить прочную семью. Матери другое дело. Матери — душки. (*Садится в кресло, берет газету и начинает читать.*)

Входит л о р д К а в е р ш е м.

Лорд Кавершем. Ну, сэр, что вы тут делаете? Тратите время зря, по обыкновению?

Лорд Горинг (*бросает газету и встает*). Дорогой мой отец, когда человек приходит в гости, он тратит время хозяев, а не свое.

Лорд Кавершем. Вы подумали о том, что я вам вчера говорил?

Лорд Горинг. Только об этом и думаю.

Лорд Кавершем. Ну и что же? Вы уже помолвлены?

Лорд Горинг (*благодушно*). Пока еще нет, но к завтраку, вероятно, буду.

Лорд Кавершем (*саркастически*). Можете отложить до обеда, если это для вас удобнее.

Лорд Горинг. Очень благодарен, но я уж решил закончить это дело до завтрака.

Лорд Кавершем. Гм!.. Никогда не могу понять, серьезно вы говорите или нет.

Лорд Горинг. Я это тоже не всегда понимаю, отец.

Пауза.

Лорд Кавершем. Сегодняшний «Таймс» читали?

Лорд Горинг (беспечно). «Таймс»? Ну нет. Я читаю исключительно «Морнинг пост». Единственное, что надо знать человеку, — это где сейчас та или другая герцогиня. Все остальное только засоряет мозг.

Лорд Кавершем. Как! Вы не читали передовицы в «Таймс» о карьере Роберта Чилтерна?

Лорд Горинг. Бог мой! Нет. Что там сказано?..

Лорд Кавершем. Что там сказано? Конечно, все самое похвальное. Вчерашняя речь Чилтерна об Аргентинском канале — это блеск! Вершина ораторского искусства. Таких речей не было в палате со времени Каннинга.

Лорд Горинг. А-а! Не знаю, кто такой Каннинг. И не интересуюсь знать. И что же... Роберт Чилтерн... поддержал этот проект?..

Лорд Кавершем. Поддержал! Плохо же вы его знаете. Он его разнес в пух и прах. Разгромил! И попутно всю нынешнюю систему финансирования подобных предприятий. Это выступление будет поворотным пунктом в его карьере. Так говорит «Таймс». Нет, вы должны прочитать эту статью. (Развертывает «Таймс».) «Сэр Роберт Чилтерн... самый выдающийся из наших молодых государственных деятелей... Блестящий оратор... Безупречная репутация... Известная всем честность и неподкупность... Воплощение всего лучшего в английской общественной жизни... Разительный контраст с низким моральным уровнем иностранных политиков...» Про вас такого не скажу, сэр.

Лорд Горинг. Боже упаси! Я к этому не стремлюсь, отец. Но как я рад это слышать о Роберте Чилтерне. Я прямо в восторге. Это показывает, что у него есть мужество.

Лорд Кавершем. Больше, сэр! Гений!

Лорд Горинг. Я предпочитаю мужество. Гениями сейчас хоть пруд пруди. А мужество — редкость.

Лорд Кавершем. Почему вы сами не пройдете в парламент?

Лорд Горинг. Дорогой отец, только скучные люди проходят в парламент. И только тупицы там преуспевают.

Лорд Кавершем. Почему не займетесь чем-нибудь полезным?

Лорд Горинг. Я еще слишком молод, отец.

Лорд Кавершем (*сухо*). Терпеть не могу, когда человек носитя со своей молодостью. Все сейчас прикидываются молодыми. Дурацкая мода!

Лорд Горинг. Молодость — это не мода, отец. Молодость — это искусство.

Лорд Кавершем. Почему вы не сделаете предложения этой хорошенькой мисс Чилтерн?

Лорд Горинг. У меня слабые нервы. Особенно по утрам.

Лорд Кавершем. Ну да, у вас нет никаких шансов, что она его примет.

Лорд Горинг. Я еще не знаю, как я сегодня котируюсь.

Лорд Кавершем. Дурочка будет, если примет.

Лорд Горинг. А я именно хочу жениться на дурочке. Умная жена за полгода довела бы меня до полного идиотизма.

Лорд Кавершем. Вы ее не стоите.

Лорд Горинг. Если бы мы, мужчины, женились только на тех женщинах, которых стоим, плохо бы нам пришлось!

Входит Мейбл Чилтерн.

Мейбл Чилтерн. Ах!.. Здравствуйте, лорд Кавершем! А как здоровье леди Кавершем?

Лорд Кавершем. Леди Кавершем чувствует себя... как обычно. Как обычно.

Лорд Горинг. Доброе утро, мисс Мейбл!

Мейбл Чилтерн (*совершенно его игнорирует и обращается исключительно к лорду Кавершему*). А как пожидают шляпки леди Кавершем? Им не хуже?

Лорд Кавершем. Недавно было резкое ухудшение. Тяжелый рецидив.

Лорд Горинг. Доброе утро, мисс Мейбл!

Мейбл Чилтерн (*по-прежнему обращаясь только к лорду Кавершему*). Надеюсь, не потребуетя операция?

Лорд Кавершем (*усмехаясь ее задору*). Если потребуетя, мы дадим наркоз леди Кавершем. Иначе она не позволит коснуться ни единого перышка.

Лорд Горинг (*с нажимом*). Доброе утро, мисс Мейбл.

Мейбл Чилтерн (*оборачивается, с притворным*

удивлением). Ах, это вы тут? Вы, конечно, понимаете, что, после того как вы опоздали на свидание, я уж больше никогда не буду с вами говорить?

Лорд Горинг. Не будьте так жестоки, мисс Мейбл! Вы единственный человек в Лондоне, которого я с таким удовольствием... заставляю себя слушать.

Мейбл Чилтерн. Знаете, я не верю ни единому слову из того, что вы мне говорите... или я вам.

Лорд Кавершем. И вы совершенно правы, моя дорогая, совершенно правы... То есть в том, что касается его.

Мейбл Чилтерн. Вы не могли бы заставить своего сына хоть изредка вести себя прилично — ну просто для разнообразия?

Лорд Кавершем. К сожалению, мисс Чилтерн, я не имею ни малейшего влияния на своего сына. И это очень грустно. А то я знаю, что я заставил бы его сделать.

Мейбл Чилтерн. Он, очевидно, из тех крайне слабых натур, которые не поддаются никакому влиянию.

Лорд Кавершем. Он бессердечен, совершенно бессердечен.

Лорд Горинг. Я, кажется, тут лишний?

Мейбл Чилтерн. Вам полезно почувствовать себя лишним и узнать, что люди говорят о вас за вашей спиной.

Лорд Горинг. Но я совсем не хочу знать, что люди говорят за моей спиной. Это слишком мне льстит.

Лорд Кавершем. Я вижу, дорогая моя, мне пора с вами проститься.

Мейбл Чилтерн. Неужели вы оставите меня вдвоем с лордом Горингом? Да еще в такой ранний час!

Лорд Кавершем. Боюсь, я не могу взять его с собой на Даунинг-стрит. Премьер-министр сегодня не принимает безработных. *(Пожимает руку Мейбл Чилтерн, берет свою трость и шляпу и уходит, бросив негодующий взгляд на лорда Горинга.)*

Мейбл Чилтерн *(берет розы и начинает вставлять их в вазу на столе)*. Люди, которые не приходят на свидание, отвратительны.

Лорд Горинг. Просто негодяя.

Мейбл Чилтерн. Рада, что вы это признаете. Но не понимаю, почему у вас при этом такой довольный вид.

Лорд Горинг. Ничего не могу сделать. У меня всегда довольный вид, когда я с вами.

Мейбл Чилтерн *(огорченно)*. Тогда, вероятно, мой долг — остаться с вами?



Лорд Горинг. Разумеется.

Мейбл Чилтерн. Но я никогда не делаю того, что является моим долгом. Из принципа. Всякая обязанность меня угнетает. Так что очень жаль, но я вынуждена вас покинуть.

Лорд Горинг. Ради бога, не уходите, мисс Мейбл. Мне нужно сказать вам что-то очень важное.

Мейбл Чилтерн (в восторге). Вы хотите сделать мне предложение?

Лорд Горинг (слегка ошарашен). Я... То есть... Ну да, хочу.

Мейбл Чилтерн (со вздохом удовольствия). Как я рада! Сегодня это уже второе.

Лорд Горинг (возмущенно). Сегодня уже второе? Какой нахальный осел... какой беспардонный наглец осмелился сделать вам предложение раньше меня?

Мейбл Чилтерн. Томми Траффорд, кто же еще! Это его день. Во время сезона он всегда делает мне предложение по вторникам и четвергам.

Лорд Горинг. Надеюсь, вы ему отказали?

Мейбл Чилтерн. Я всегда отказываю Томми Траффорду. Потому-то он и не перестает делать мне предложение. Но сегодня я так была на вас сердита, что чуть было не согласилась. Хороший был бы урок вам обоим. Авось оба научились бы вести себя приличней.

Лорд Горинг. Провались Томми Траффорд! Томми просто осел. Я люблю вас.

Мейбл Чилтерн. Я знаю. И считаю, что вам давно уж надо было это сказать. Кажется, в случаях у вас не было недостатка!

Лорд Горинг. Ну будьте же серьезны, Мейбл! Умоляю вас!

Мейбл Чилтерн. Мужчина всегда говорит это девушке, пока на ней не женился. А после уж никогда не говорит.

Лорд Горинг (хватает ее за руку). Мейбл, я ска- зал, что люблю вас. А вы... любите меня хоть немножко?

Мейбл Чилтерн. Ах, глупенький Артур! Если б вы хоть чуточку были умнее — хоть самую капельку, — вы давно бы знали, что я вас обожаю. Все в Лондоне это знают, кроме вас. Ведь это просто скандал — до чего я вас обожаю. Последние полгода я только и делала, что всем говорила, как я вас обожаю. Удивляюсь, что вы еще разговариваете со мной. Я же совсем погубила свою репутацию.

Во всяком случае, я сейчас так счастлива, что, наверно, у меня нет никакой репутации!

Лорд Горинг хватается ее в объятия и осыпает поцелуями. Потом наступает блаженное затишье.

Лорд Горинг. Милая! Знаешь, я так боялся, что ты мне откажешь!

Мейбл Чилтерн (*поднимая к нему глаза*). Но, Артур, неужели тебе когда-нибудь отказывали? Не могу себе представить, чтобы кто-нибудь мог тебе отказать!

Лорд Горинг (*после новых поцелуев*). Я, конечно, мизинца твоего не стою, Мейбл.

Мейбл Чилтерн (*прижимаясь к нему*). Я очень рада, милый. А то я боялась — вдруг ты именно стоишь... мизинца.

Лорд Горинг (*с некоторым колебанием*). И... и... мне уже немного за тридцать.

Мейбл Чилтерн. Милый, ты выглядишь на целый месяц моложе.

Лорд Горинг (*в восторге*). Какая ты прелесть, что так говоришь! И еще, Мейбл, должен откровенно признаться: я ужасно расточителен.

Мейбл Чилтерн. Так ведь и я тоже, Артур. Так что у нас будет полное согласие. А теперь я должна пойти поздороваться с Гертрудой.

Лорд Горинг. Неужели должна?.. (*Целует ее.*)

Мейбл Чилтерн. Да.

Лорд Горинг. Так скажи ей, что мне необходимо ее видеть. По важному делу. Я тут целое утро жду, чтобы поговорить либо с ней, либо с Робертом.

Мейбл Чилтерн. Как? Ты, значит, пришел по делу? А не специально затем, чтобы сделать мне предложение?

Лорд Горинг (*победоносно*). Нет, это был порыв вдохновения.

Мейбл Чилтерн. Рада это слышать. Ну, побудь здесь. Я вернусь через пять минут. И не поддавайся никаким соблазнам, пока меня не будет.

Лорд Горинг. Милая Мейбл, когда тебя нет, нет и соблазнов. Это ужасно, между прочим, — я так от тебя завишу.

Входит леди Чилтерн.

Леди Чилтерн. С добрым утром, милочка. Какая ты сегодня хорошенькая!

Мейбл Чилтерн. А вы сегодня какая бледная, Гертруда. Но это вам идет.

Леди Чилтерн. Доброе утро, лорд Горинг!

Лорд Горинг (с поклоном). Доброе утро, леди Чилтерн.

Мейбл Чилтерн (вполголоса, лорду Горингу). Я буду в зимнем саду. Под второй пальмой слева.

Лорд Горинг. Второй слева?

Мейбл Чилтерн (с веселой насмешкой). Ну да! Под нашей обычной. (Посылает ему воздушный поцелуй тайком от леди Чилтерн и уходит.)

Лорд Горинг. Леди Чилтерн, у меня есть для вас хорошие вести. Вчера вечером миссис Чивли отдала мне письмо Роберта, и я его сжег. Роберту больше ничто не угрожает.

Леди Чилтерн (опускается на диван). Не угрожает! О! Господи, как я рада. Какое счастье, что у Роберта есть такой друг, как вы! Вы спасли его... спасли нас.

Лорд Горинг. Но теперь другому человеку угрожает опасность.

Леди Чилтерн. Кому?

Лорд Горинг (садится рядом с ней). Вам.

Леди Чилтерн. Мне? Опасность? Каким образом?

Лорд Горинг. Опасность — это, пожалуй, слишком сильно сказано. Я неправильно выразился. Но есть все-таки одно обстоятельство, которое может вас встревожить. Меня оно ужасно тревожит. Вчера вечером вы написали мне письмо — прекрасное, трогательное письмо, в котором просили меня о помощи. Вы написали мне как одному из своих старых друзей — одному из старых друзей вашего мужа. Миссис Чивли выкрала это письмо у меня из комнаты.

Леди Чилтерн. Да на что оно ей? Почему это вас тревожит?

Лорд Горинг (встает). Леди Чилтерн, я буду с вами откровенен. Миссис Чивли вкладывает в это письмо некоторый особый смысл. И намерена послать это письмо вашему мужу.

Леди Чилтерн. Да какой особый смысл она в него вкладывает?.. О! Нет! Только не это! Только не это! Если я — в трудную минуту — написала, что верю вам, что приду... чтобы вы посоветовали мне... помогли... Неужели есть на свете такие ужасные женщины?.. И она хочет послать мужу? Расскажите мне все! Все, как было.

Лорд Горинг. Миссис Чивли спряталась в комнате рядом с библиотекой. Я об этом не знал. Я думал, там вы, —

ждете, чтобы поговорить со мной. Вдруг пришел Роберт. В той комнате упал стул. Роберт ворвался туда и увидел... эту особу. У нас с ним произошел крупный разговор. Я все еще думал, что там вы. Он ушел в ярости. В конце концов миссис Чивли завладела вашим письмом — попросту выкрала его, хотя не понимаю, когда и как.

Леди Чилтерн. В котором часу это было?

Лорд Горинг. В половине одиннадцатого. Я считаю, что мы должны сейчас же все рассказать Роберту.

Леди Чилтерн (смотрит на него с изумлением, почти с ужасом). Вы хотите, чтобы я сказала Роберту, что вы ждали меня, а не миссис Чивли? И думали, что это я прячусь у вас в доме в половине одиннадцатого ночи? Вы хотите, чтобы я это ему сказала?

Лорд Горинг. По-моему, лучше, если он будет знать всю правду.

Леди Чилтерн (встает). Я не могу! Не могу!

Лорд Горинг. Ну давайте я скажу.

Леди Чилтерн. Нет.

Лорд Горинг (серьезно). Вы не правы, леди Чилтерн.

Леди Чилтерн. Нет. Это письмо надо перехватить. Вот и все. Но как? Письма приходят чуть ли не каждый час. Секретарь их вскрывает и передает Роберту. Я не смею просить слуг, чтобы мне приносили его письма. Это невозможно. Ах, да скажите же, что мне делать?..

Лорд Горинг. Успокойтесь, леди Чилтерн. И ответьте мне на несколько вопросов. Вы говорите — письма вскрывает секретарь?

Леди Чилтерн. Да.

Лорд Горинг. А кто сегодня дежурит? Мистер Траффорд?

Леди Чилтерн. Нет. Кажется, мистер Монфорд.

Лорд Горинг. Вы можете ему довериться?

Леди Чилтерн (с жестом отчаяния). Почему я знаю!..

Лорд Горинг. Но если вы его о чем-нибудь попросите, он сделает?

Леди Чилтерн. Вероятно.

Лорд Горинг. Ваше письмо было на розовой бумаге. Ведь он может узнать его, не читая? По цвету?

Леди Чилтерн. Вероятно.

Лорд Горинг. Он сейчас здесь?

Леди Чилтерн. Да.

Лорд Горинг. Так я пойду к нему и скажу, что в течение дня на имя Роберта придет письмо на розовой бумаге

и что это письмо ни в коем случае не должно попасть ему в руки. (*Идет к двери и открывает ее.*) О! Роберт сам идет сюда с письмом. Оно уже пришло.

Леди Чилтерн (*с криком боли*). Ах! Вы спасли его жизнь, но что вы сделали с моей!

Входит сэр Роберт Чилтерн. В руке он держит письмо и читает его. Он направляется прямо к жене, не замечая лорда Горинга.

Сэр Роберт Чилтерн. «Верю. Хочу видеть. Приду. Гертруда». Любовь моя! Это правда? Ты веришь мне, ты хочешь меня видеть? Но зачем ты пишешь — приду? Это я должен прийти к тебе, а не ты ко мне — если бы знал, я давно бы пришел! Гертруда, твое письмо вдохнуло в меня такую силу! Теперь я ничего не боюсь, что бы со мной ни случилось! Ты хочешь меня видеть, Гертруда?

Лорд Горинг, за спиной сэра Роберта Чилтерна, делает знаки леди Чилтерн, умоляя ее воспользоваться таким оборотом событий и не рассеивать заблуждения мужа.

Леди Чилтерн. Да.

Сэр Роберт Чилтерн. Ты веришь мне, Гертруда?

Леди Чилтерн. Да.

Сэр Роберт Чилтерн. Ах!.. Но почему ты не прибавила, что любишь меня?

Леди Чилтерн (*протягивая ему руку*). Потому что я... люблю тебя.

Лорд Горинг уходит в зимний сад.

Сэр Роберт Чилтерн (*целует жену*). Гертруда, ты не знаешь, что я чувствую. Когда Монфорд передал мне твое письмо через стол, — он его вскрыл по ошибке, не заметил, должно быть, чей почерк на конверте, — и я прочитал, — с этого мгновения я уже не думал о том, какое мне грозит разоблачение, какой страшный позор, я думал только о том, что ты все еще меня любишь!

Леди Чилтерн. Тебе ничто не грозит, Роберт, — не будет ни разоблачений, ни позора. Миссис Чивли отдала те письмо лорду Горингу, и он его уничтожил.

Сэр Роберт Чилтерн. Это верно, Гертруда?

Леди Чилтерн. Да. Лорд Горинг мне только что сам сказал.

Сэр Роберт Чилтерн. Значит, я спасен! Ах, какое это дивное чувство — не бояться! Двое суток я жил в смертельном страхе. А теперь я спасен. Скажи, как именно Артур уничтожил это письмо? Что он с ним сделал?

Леди Чилтерн. Сжег.

Сэр Роберт Чилтерн. Жаль, я не видел, как единственный грех моей юности обращался в пепел. Сколько есть людей на свете, которым тоже хотелось бы обратиться в пепел свое прошлое! Артур еще здесь?

Леди Чилтерн. Да. Он в зимнем саду.

Сэр Роберт Чилтерн. Я рад, что вчера произнес эту речь в палате. Когда я говорил, я был уверен, что обрушиваю на себя позор и гибель. Но получилось иначе.

Леди Чилтерн. Новые почести получились и еще больший успех.

Сэр Роберт Чилтерн. Да, кажется, так. Я этого даже боюсь. Потому что, Гертруда... хоть мне теперь и не грозит разоблачение... и единственное свидетельство против меня уничтожено... наверно, я все-таки должен отказаться от политической карьеры? *(Вопросительно и тревожно смотрит на жену.)*

Леди Чилтерн *(горячо)*. Да, Роберт, да! Это твой долг.

Сэр Роберт Чилтерн. Столько потерять!

Леди Чилтерн. Ты еще больше приобретешь, Роберт.

Сэр Роберт Чилтерн *(ходит взад и вперед по комнате с тревожным выражением лица. Потом подходит к жене и кладет руку ей на плечо)*. И ты согласна жить со мной за границей или где-нибудь в глуши, в деревне, — вдали от Лондона, вдали от света? Ты не пожалеешь?

Леди Чилтерн. Нет, Роберт. Никогда.

Сэр Роберт Чилтерн *(с грустью)*. А твои честолюбивые мечты? Ведь ты мечтала об успехе — для меня?

Леди Чилтерн. Ах, мои мечты!.. Теперь я только об одном мечтаю: чтобы мы любили друг друга. А честолюбие... Ты видишь, куда оно тебя завело. Не надо больше честолюбия.

Из зимнего сада выходит лорд Горинг с сияющим лицом и новой бутоньеркой в петлице, которую кто-то для него составил.

Сэр Роберт Чилтерн *(идет ему навстречу)*. Артур, как я вам признателен за все, что вы для меня сделали! Чем мне вас отблагодарить! *(Пожимает ему руку.)*

Лорд Горинг. А я вам скажу. Вы это можете, дорогой, — даже сейчас, сию минуту. Только что под второй пальмой слева — нашей обычной... то есть в зимнем саду...

Входит Мэсон.

Мэсон. Лорд Кавершем.

Лорд Горинг. Мой драгоценный родитель прямо-таки завел привычку являться в самый неподходящий момент! Это бессердечно с его стороны, совершенно бессердечно!

Входит лорд Кавершем. Мэсон уходит.

Лорд Кавершем. Доброе утро, леди Чилтерн! Примите мои горячие поздравления, Чилтерн. Вы вчера произнесли блестящую речь. Я только что от премьера. Вам предлагают портфель министра.

Сэр Роберт Чилтерн (*радуясь и торжествуя*). Портфель министра!

Лорд Кавершем. Да. Вот письмо премьера. (*Подает ему письмо.*)

Сэр Роберт Чилтерн (*берет письмо и читает*). Портфель министра!

Лорд Кавершем. Да. И вы его вполне заслужили. У вас есть то, что нам сейчас так необходимо в нашей общественной жизни,— безупречная репутация, высокий моральный уровень, твердые принципы. (*Лорду Горингу.*) Все, чего у вас нет, сэр, и никогда не будет.

Лорд Горинг. Я не люблю принципов, отец. Мне больше нравятся предрассудки.

Сэр Роберт Чилтерн (*уже готов принять предложение премьер-министра, но встречается взглядом с женой, видит ее ясные, правдивые глаза и понимает, что это невозможно*). Я не могу принять это предложение, лорд Кавершем. Я вынужден отказаться.

Лорд Кавершем. Отказаться!..

Сэр Роберт Чилтерн. Я решил уйти от политики.

Лорд Кавершем (*в гневе*). Отказаться от портфеля министра и уйти от политики! В жизни не слышал такой чепухи! Черт знает что! Простите, леди Чилтерн. Прошу прощения, Чилтерн. (*Лорду Горингу.*) Что вы ухмыляетесь, сэр?

Лорд Горинг. Даже не думаю, отец.

Лорд Кавершем. Леди Чилтерн, вы разумная женщина, самая разумная в Лондоне, самая разумная из всех, кого я встречал. Вы не позволите мужу сделать такую... говорить такое... Вразумите его хоть вы, леди Чилтерн!

Леди Чилтерн. Я считаю, лорд Кавершем, что мой муж прав в своем решении. Я его одобряю.

Лорд Кавершем. Одобряете?.. Гос-с-споди помилуй!

Леди Чилтерн (*берет мужа за руку*). Я уважаю его за это. Преклоняюсь перед ним. Как никогда раньше. Он даже лучше, чем я думала. (*Сэру Роберту Чилтерну*.) Ты ведь напишешь премьер-министру? Сейчас же, не откладывая? Не надо колебаться, Роберт.

Сэр Роберт Чилтерн (*с оттенком горечи*). Да раз уж так, то к чему откладывать. Дважды таких предложений не делают! Извините, лорд Кавершем, я вас покину на минутку.

Леди Чилтерн. Я пойду с тобой, Роберт. Можно?  
Сэр Роберт Чилтерн. Пойдем, Гертруда.

Уходят.

Лорд Кавершем. Что это с ними, а? Тут что-нибудь? (*Постукивает себя пальцем по лбу*.) Идиотизм? Очевидно, наследственное. Да еще оба сразу. И муж и жена. Прискорбно. Весьма прискорбно. А ведь они даже не из старинного рода. Не понимаю!

Лорд Горинг. Это не идиотизм, отец.

Лорд Кавершем. А что же?

Лорд Горинг (*после раздумья*). Да вот то самое, что сейчас называют высоким моральным уровнем.

Лорд Кавершем. Терпеть не могу новомодных словечек. Пятьдесят лет назад мы это называли идиотизмом. Не желаю больше оставаться в этом доме.

Лорд Горинг (*берет его за локоть*). Подождите, отец. Пройдите, пожалуйста, вон в ту дверь. Под третьей пальмой слева... нашей обычной.

Лорд Кавершем. Что, сэр?

Лорд Горинг. Простите, отец, я забыл — в зимний сад, отец, пройдите, пожалуйста, в зимний сад. Там ждет одна молодая девица, с которой вам необходимо поговорить.

Лорд Кавершем. О чем, сэр?

Лорд Горинг. Обо мне, отец.

Лорд Кавершем (*мрачно*). Эта тема не располагает к красноречию.

Лорд Горинг. Нет, конечно. Но эта молодая девица, как я. Она не любит красноречия в других. Считает это несколько... дурным тоном.

Лорд Кавершем уходит в зимний сад.

Входит леди Чилтерн.

Леди Чилтерн, зачем вы, играете на руку миссис Чивли?

Леди Чилтерн (*поражена*). Я вас не понимаю.

Лорд Горинг. Миссис Чивли пыталась разбить жизнь



вашего мужа. Поставить его в такое положение, что ему пришлось бы либо стать изгнанником, либо пойти против совести. От этого второго несчастья вы его спасли. На первое вы его теперь сами толкаете. Зачем вы делаете то, что хотела сделать миссис Чивли, но ей не удалось?

Леди Чилтерн. Лорд Горинг, я...

Лорд Горинг (*собирается с духом для предстоящей ему задачи; в нем обнаруживается философ, скрытый под внешностью денди*). Леди Чилтерн, разрешите мне сказать. Вчера вы написали мне письмо, в котором говорили, что верите мне и просите у меня помощи. Сейчас как раз та минута, когда вам действительно нужна моя помощь, когда вы должны мне поверить и принять мой совет. Вы любите Роберта. Так неужели вы хотите убить его любовь к вам? Чем станет его жизнь, если вы отнимете у него плоды его честолюбия и славу большой политической карьеры, отрежете ему все пути к общественному действию, обречете его на бесплодие и поражение — его, созданного для побед и успеха? Назначение женщины не в том, чтобы судить нас, а в том, чтобы нас прощать, когда мы нуждаемся в прощении. Ее дело миловать, а не карать. Зачем вам наказывать его за грех, совершенный им в юности, когда он еще не знал вас, не знал самого себя? Жизнь мужчины имеет иную цену, чем жизнь женщины. У него шире поле деятельности, крупнее масштабы, он посягает на большее и большего может добиться. Женщина живет чувством, увлекаемая его круговоротом. Мужчина живет интеллектом, двигаясь вперед к намеченной цели. Леди Чилтерн, не совершайте такой ужасной ошибки. Если женщина сумела внушить любовь мужчине и сама его любит, она сделала все, что нужно от нее миру, все, чего он может от нее потребовать.

Леди Чилтерн (*смущена и колеблется*). Но мой муж сам хочет уйти от политики. Он считает, что это его долг. Он первый это сказал.

Лорд Горинг. Да, чтобы сохранить вашу любовь, он сейчас готов на все — даже выбросить за борт всю свою карьеру. Он приносит вам страшную жертву. Послушайте моего совета, леди Чилтерн, не принимайте от него такой огромной жертвы. Иначе вы потом горько раскаетесь. Никто из нас, ни мужчина, ни женщина, не должен принимать таких жертв. Мы их недостойны. А Роберт, кроме того, уже достаточно наказан.

Леди Чилтерн. Мы оба наказаны. Я ставила его слишком высоко.

Лорд Горинг (с глубоким чувством). Так не ставьте его теперь слишком низко. Если он упал с алтаря, не топите его в болоте. Он захлебнется в этой стоячей воде. Его призвание — власть. Отнимите это — и все в нем замрет, даже его любовь к вам. Леди Чилтерн, вы сейчас держите в руках жизнь вашего мужа, вы держите в руках любовь вашего мужа. Не разрушайте и то и другое.

Входит сэр Роберт Чилтерн.

Сэр Роберт Чилтерн. Гертруда, я написал. Прочитай тебе?

Леди Чилтерн. Дай, я сама.

Сэр Роберт подает ей письмо. Она читает, потом страстным жестом разрывает письмо.

Сэр Роберт Чилтерн. Что ты делаешь?..

Леди Чилтерн. Жизнь мужчины имеет иную цену, чем жизнь женщины. У него шире поле деятельности, крупнее масштабы, он посягает на большее и большего может добиться. Мы живем чувством, увлекаемые его круговоротом. Мужчина живет интеллектом, двигаясь вперед к намеченной цели. Этому — и еще многому другому — меня только что научил лорд Горинг. И я не стану портить тебе жизнь, и не позволю тебе ее испортить — я не приму от тебя этой жертвы, этой ненужной жертвы!

Сэр Роберт Чилтерн. Гертруда! Гертруда!

Леди Чилтерн. Ты забудешь. Мужчины легко забывают. А я простила. Это и есть наше участие в жизни мира. Теперь я это понимаю.

Сэр Роберт Чилтерн (глубоко взволнованный, обнимает ее). Жена моя! Жена моя! (Лорду Горингу.) Артур, мне суждено вечно быть у вас в долгу!

Лорд Горинг. Ну что вы, Роберт. Не у меня вы в долгу — у леди Чилтерн.

Сэр Роберт Чилтерн. Нет, я вам многим обязан. А теперь скажите — о чем вы хотели у меня просить, когда вошел лорд Кавершем?

Лорд Горинг. Роберт, вы опекун своей сестры. Мне нужно ваше согласие на брак с ней. Вот и все.

Леди Чилтерн. Ах, как я рада! Как я рада! (Пожимает руку лорду Горингу.)

Лорд Горинг. Благодарю вас, леди Чилтерн.

Сэр Роберт Чилтерн (в смущении). Вы хотите жениться на моей сестре?

Лорд Горинг. Да.

Сэр Роберт Чилтерн (*с твердостью*). Артур, мне очень жаль, но это невозможно. Я обязан заботиться о счастье Мейбл. А я не верю, что с вами она будет счастлива. Я не могу принести ее в жертву.

Лорд Горинг. В жертву?..

Сэр Роберт Чилтерн. Да! Это значило бы загубить ее жизнь. Брак без любви — страшная вещь. Но есть нечто худшее, чем даже брак без любви. Это брак, в котором есть любовь, но только с одной стороны; есть верность, но только с одной стороны; есть преданность, но только с одной стороны. В таком браке одно из сердец непременно будет разбито.

Лорд Горинг. Но я люблю Мейбл. В моей жизни нет никакой другой женщины.

Леди Чилтерн. Роберт, если они любят друг друга, почему бы им не пожениться?

Сэр Роберт Чилтерн. Артур не может дать Мейбл такую любовь, какой она заслуживает.

Лорд Горинг. Какие у вас основания так думать?

Сэр Роберт Чилтерн (*помолчав*). Вы в самом деле хотите, чтобы я сказал?

Лорд Горинг. Конечно.

Сэр Роберт Чилтерн. Хорошо. Будь по-вашему. Когда я вчера зашел к вам, я обнаружил, что у вас в соседней комнате спрятана миссис Чивли. Это было в одиннадцатом часу ночи. Я не хочу входить в подробности. Мне нет дела до ваших отношений с миссис Чивли, я это еще вчера сказал. Когда-то вы собирались на ней жениться. Очевидно, те чувства, которые вы к ней тогда питали, теперь вновь ожили. Вчера вы говорили о ней как о женщине чистой и невинной, как о женщине, которую вы уважаете и чтите. Пусть так. Но я не могу вверить вам жизнь моей сестры. Не имею права. Это было бы несправедливо — чудовищно несправедливо по отношению к ней.

Лорд Горинг. Мне больше нечего сказать.

Леди Чилтерн. Роберт, вчера вечером лорд Горинг ждал не миссис Чивли.

Сэр Роберт Чилтерн. Не миссис Чивли? А кого же?

Лорд Горинг. Леди Чилтерн!

Леди Чилтерн. Твою жену. Роберт, вчера лорд Горинг сказал мне — еще днем, когда был у нас, — что, если меня когда-нибудь постигнет беда, я могу обратиться

к нему за помощью, как к нашему давнишнему и самому близкому другу. Потом, после этой ужасной сцены, что разыгралась тут, в этой комнате, я написала ему письмо, в котором говорила, что верю ему, что мне нужно его видеть, что я приду к нему за помощью и советом.

Сэр Роберт достает письмо из кармана.

Да, это самое письмо. В конце концов я не пошла к лорду Горингу. Я решила, что только мы сами можем себе помочь. Это гордость во мне говорила. И как раз в это время, пока он меня ждал, пришла миссис Чивли. Она выкрала мое письмо и сегодня послала его тебе — для того чтобы ты подумал... чтобы ты заподозрил... Нет, я не могу сказать, какое подозрение она хотела тебе внушить!..

Сэр Роберт Чилтерн. Как? Неужели я так низко пал в твоих глазах? Неужели ты могла хоть на миг подумать, что я способен в тебе усомниться? Гертруда, ты для меня живой образ всего самого лучшего, самого чистого, что есть на земле, грех не может тебя коснуться. Артур, идите к Мейбл, и дай вам бог счастья! Нет, подождите... В этом письме нет обращения. Неизвестно, кому оно адресовано. Миссис Чивли при всей своей хитрости этого, видно, не заметила. Тут должно стоять имя.

Леди Чилтерн. Дай я поставлю твое. Это тебе я верю, это ты мне нужен. Только ты — и никто другой.

Лорд Горинг. Позвольте, леди Чилтерн, это мое письмо. Я хочу получить его обратно.

Леди Чилтерн (*улыбаясь*). Нет. Вместо него вы получите Мейбл. (*Берет письмо и надписывает на нем имя своего мужа.*)

Лорд Горинг. Если только она не передумала. Ведь уже двадцать минут прошло с тех пор, как я ее видел.

Входят Мейбл Чилтерн и лорд Кавершем.

Мейбл Чилтерн. Лорд Горинг, беседовать с вашим отцом гораздо интереснее, чем с вами. Впредь я буду говорить только с ним. И всегда под нашей обычной пальмой.

Лорд Горинг. Милая! (*Целует ее.*)

Лорд Кавершем. Что это значит, сэр? Неужели эта милая, умная девушка сделала такую глупость — согласилась стать вашей женой?

Лорд Горинг. Конечно, отец. А Чилтерн сделал умную вещь — согласился стать министром.

Лорд Кавершем. Очень рад это слышать, Чилтерн... поздравляю вас. И если Англия не пойдет прахом и не попадет в руки радикалов, вы еще когда-нибудь будете премьером.

Входит Мэсон.

Мэсон. Завтрак подан, миледи.

Мэсон уходит.

Мейбл Чилтерн. Вы ведь позавтракаете с нами, лорд Кавершем?

Лорд Кавершем. С удовольствием. А потом отвезу вас на Даунинг-стрит, Чилтерн. У вас блестящее будущее, блестящее! (Лорду Горингу.) Хотел бы я сказать то же самое о вас, сэр. Но боюсь, что ваше будущее ограничится домашним кругом.

Лорд Горинг. И очень хорошо. Я лучшего не желаю.

Лорд Кавершем. И если вы не будете для этой девочки идеальным мужем, я вас лишу наследства.

Мейбл Чилтерн. Идеальным мужем! Но я совсем не хочу, чтобы он был идеальным мужем. Это что-то такое... ненастоящее. Чего и нет на этом свете, а разве только на том.

Лорд Кавершем. А чем вы хотите чтобы он был?

Мейбл Чилтерн. Пусть будет чем хочет. А я сама хочу только одного... быть ему настоящей женой.

Лорд Кавершем. И, честное слово, в этом есть большая доля здравого смысла, леди Чилтерн.

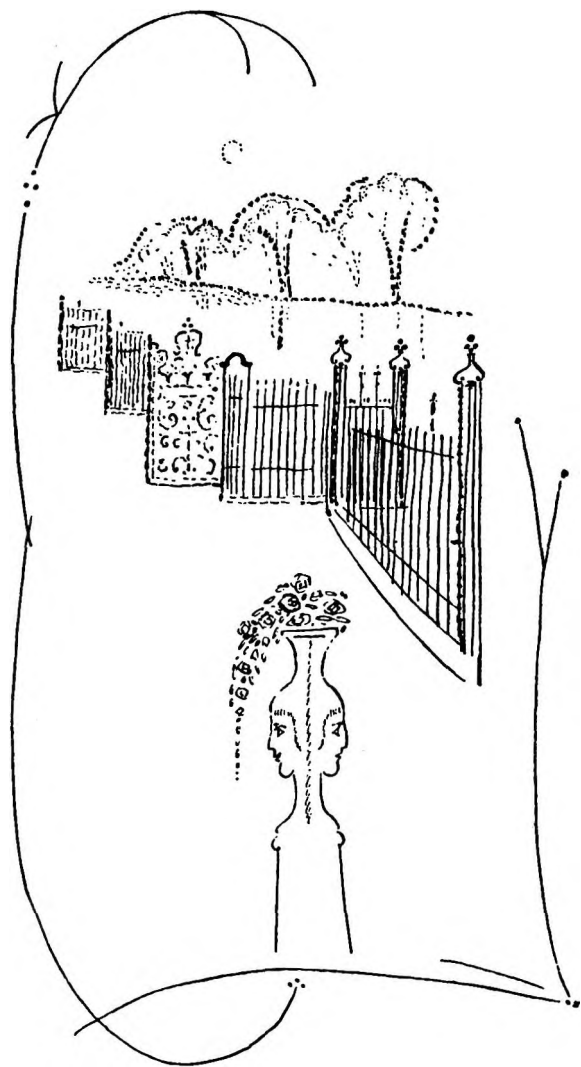
Все уходят, кроме сэра Роберта Чилтерна. Он опускается на стул и сидит задумавшись. Немного погодя входит леди Чилтерн.

Леди Чилтерн (подходит к нему сзади и наклоняется над спинкой его стула). Разве ты не пойдешь завтракать, Роберт?

Сэр Роберт Чилтерн (берет ее за руку). Гертруда, что ты чувствуешь ко мне — любовь или только жалость?

Леди Чилтерн (целует его). Любовь, Роберт. Любовь — и только любовь. Для нас обоих начинается новая жизнь.

Занавес



# КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ

ЛЕГКОМЫСЛЕННАЯ КОМЕДИЯ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ЛЮДЕЙ

*Перевод И. Кашкина*



## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Джон Уординг, землевладелец, почетный мировой судья.

Алджернон Монкриф.

Его преподобие каноник Чезюбл, доктор богословия.

Мерримен, дворецкий.

Лэйн, лакей Монкрифа.

Леди Брэкнелл.

Гвендолен Ферфакс, ее дочь.

Сесили Кардью.

Мисс Призм, ее гувернантка.

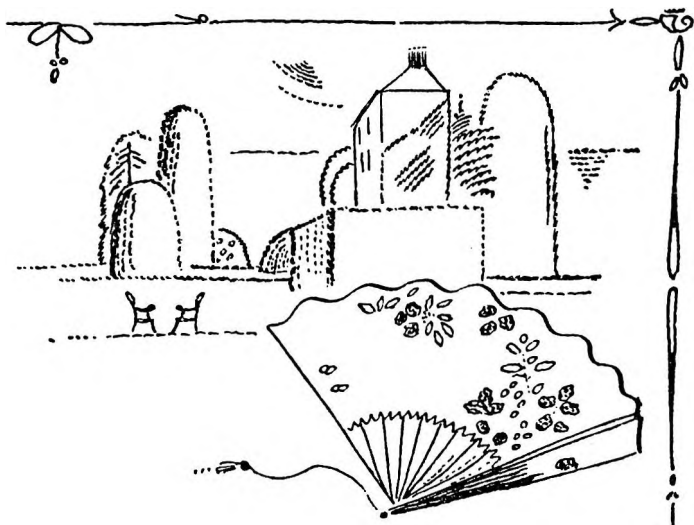
### Место действия:

Действие первое — квартира Алджернона Монкрифа на Хаф-Мун-стрит,  
Вест-Энд.

Действие второе — сад в поместье м-ра Уординга, Вултон.

Действие третье — гостиная в поместье м-ра Уординга. Вултон.  
Время действия — наши дни.





## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Гостиная в квартире Алджернона на Хаф-Мун-стрит. Комната обставлена роскошно и со вкусом. Из соседней комнаты слышатся звуки фортепьяно. Лэйн накрывает стол к чаю. Музыка умолкает, и входит Алджернон.

Алджернон. Вы слышали, что я играл, Лэйн?

Лэйн. Я считаю невежливым подслушивать, сэр.

Алджернон. Очень жаль. Конечно, вас жаль, Лэйн. Я играю не очень точно — точность доступна всякому, — но я играю с удивительной экспрессией. И поскольку дело касается фортепьяно — чувство, вот в чем моя сила. Научную точность я приберегаю для жизни.

Лэйн. Да, сэр.

Алджернон. А уж если говорить о науке жизни, Лэйн, вы приготовили сэндвичи с огурцом для леди Брэкнелл?

Лэйн. Да, сэр. *(Протягивает блюдо с сэндвичами.)*

Алджернон *(осматривает их, берет два и садится на диван)*. Да... кстати, Лэйн, я вижу по вашим записям, что в четверг, когда у меня обедали лорд Шормэн и ми-



стер Уординг, в счет поставлено восемь бутылок шампанского.

Лэй н. Да, сэр; восемь бутылок и пинта пива.

Алджернон. Почему это у холостяков шампанское, как правило, выпивают лакей? Это я просто для сведения.

Лэй н. Отношу это за счет высокого качества вина, сэр. Я часто отмечал, что в семейных домах шампанское редко бывает хороших марок.

Алджернон. Боже мой, Лэй н! Неужели семейная жизнь так развращает нравы?

Лэй н. Возможно, в семейной жизни много приятного, сэр. Правда, в этом отношении у меня самого опыт небольшой. Я был женат только один раз. И то в результате недоразумения, возникшего между мной и одной молодой особой.

Алджернон (томно). Право же, ваша семейная жизнь меня не очень интересует, Лэй н.

Лэй н. Конечно, сэр, это не очень интересно. Я и сам об этом никогда не вспоминаю.

Алджернон. Вполне естественно! Можете идти, Лэй н, благодарю вас.

Лэй н. Благодарю вас, сэр.

Лэй н уходит.

Алджернон. Взгляды Лэй на семейную жизнь не слишком-то нравственны. Ну, а если низшие сословия не будут подавать нам пример, какая от них польза? У них, по-видимому, нет никакого чувства моральной ответственности.

Входит Лэй н.

Лэй н. Мистер Эрнест Уординг.

Входит Дже к. Лэй н уходит.

Алджернон. Как дела, дорогой Эрнест? Что привело тебя в город?

Дже к. Развлечения, развлечения! А что же еще? Как всегда, жуешь, Алджи?

Алджернон (сухо). Насколько мне известно, в хорошем обществе в пять часов принято слегка подкрепляться. Где ты пропадал с самого четверга?

Дже к (располагается на диване). За городом.

Алджернон. А что ты делал за городом?

Дже к (снимая перчатки). В городе — развлекаешься сам. За городом развлекаешь других. Такая скука!

Алджернон. А кого именно ты развлекаешь?

Джек (небрежно). А! Соседей, соседей.

Алджернон. И симпатичные у вас там соседи, в Шропшире?

Джек. Невыносимые. Я никогда с ними не разговариваю.

Алджернон. Да, этим ты им, конечно, доставляешь большое развлечение. (Подходит к столу и берет сэндвич.) Кстати, я не ошибся, это действительно Шропшир?

Джек. Что? Шропшир? Да, конечно. Но послушай. Почему этот сервиз? Почему сэндвичи с огурцами? К чему такая расточительность у столь молодого человека? Кого ты ждешь к чаю?

Алджернон. Никого, кроме тети Августы и Гвендолен.

Джек. Отлично!

Алджернон. Да, все это очень хорошо, но боюсь, тетя Августа не очень-то одобрит твое присутствие.

Джек. А собственно, почему?

Алджернон. Милый Джек, твоя манера флиртовать с Гвендолен совершенно неприлична. Не меньше чем манера Гвендолен флиртовать с тобой.

Джек. Я люблю Гвендолен. Я и в город вернулся, чтобы сделать ей предложение.

Алджернон. Ты же говорил — чтобы развлечься... А ведь это дело.

Джек. В тебе нет ни капли романтики.

Алджернон. Не нахожу никакой романтики в предложении. Быть влюбленным — это действительно романтично. Но предложить руку и сердце? Предложение могут принять. Да обычно и принимают. Тогда прощай все очарование. Суть романтики в неопределенности. Если мне суждено жениться, я, конечно, постараюсь позабыть, что я женат.

Джек. Ну, в этом я не сомневаюсь, дружище. Бракоразводный суд был создан специально для людей с плохой памятью.

Алджернон. А! Что толку рассуждать о разводах. Разводы совершаются на небесах.

Джек протягивает руку за сэндвичем.

(Тотчас же одергивает его.) Пожалуйста, не трогай сэндвичей с огурцом. Они специально для тети Августы. (Берет сэндвичи и ест.)

Джек. Но ты же все время их ешь.

Алджернон. Это совсем другое дело. Она моя тетка. *(Достаёт другое блюдо.)* Вот хлеб с маслом. Он для Гвендолен. Гвендолен обожает хлеб с маслом.

Джек *(придвигаясь к столу и берясь за хлеб с маслом)*. А хлеб действительно очень вкусный.

Алджернон. Но только, дружище, не вздумай уплести все без остатка. Ты ведешь себя так, словно Гвендолен уже твоя жена. А она еще не твоя жена, да и вряд ли будет.

Джек. Почему ты так думаешь?

Алджернон. Видишь ли, девушки никогда не выходят замуж за тех, с кем флиртуют. Они считают, что это не принято.

Джек. Какая чушь!

Алджернон. Вовсе нет. Истинная правда. И в этом разгадка, почему всюду столько холостяков. А кроме того, я не дам разрешения.

Джек. Ты не дашь разрешения?!

Алджернон. Милый Джек, Гвендолен — моя кузина. И я разрешу тебе жениться на ней, только когда ты объяснишь мне, в каких ты отношениях с Сесили. *(Звонит.)*

Джек. Сесили! О чем ты говоришь? Какая Сесили? Я не знаю никакой Сесили.

Входит Лэйн.

Алджернон. Лэйн, принесите портсигар, который мистер Уординг забыл у нас в курительной, когда обедал на той неделе.

Лэйн. Слушаю, сэр. *(Уходит.)*

Джек. Значит, мой портсигар все время был у тебя? Но почему же ты меня не известил об этом? А я-то бомбардирую Скотленд-Ярд запросами. Я уже готов был предложить большую награду тому, кто найдет его.

Алджернон. Ну что же, вот и выплати ее мне. Деньги мне сейчас нужны до зарезу.

Джек. Какой смысл предлагать награду за уже найденную вещь?

Лэйн вносит портсигар на подносе. Алджернон сразу берет его. Лэйн уходит.

Алджернон. Не очень-то благородно с твоей стороны, Эрнест. *(Раскрывает портсигар и разглядывает его.)* Но, судя по надписи, это вовсе и не твой портсигар.

Дже к. Разумеется, мой. *(Протягивает руку.)* Ты сотни раз видел его у меня в руках и, во всяком случае, не должен читать, что там написано. Джентльмену не следует читать надписи в чужом портсигаре.

Алджернон. Всякие правила насчет того, что следует и чего не следует читать, просто нелепы. Современная культура более чем наполовину зиждется на том, чего не следует читать.

Дже к. Пусть будет по-твоему. Я вовсе не собираюсь дискутировать о современной культуре. Это не предмет для частной беседы. Я просто хочу получить свой портсигар.

Алджернон. Да, но портсигар вовсе не твой. Это подарок некоей Сесили, а ты сказал, что не знаешь никакой Сесили.

Дже к. Ну, если хочешь знать, у меня есть тетка, которую зовут Сесили.

Алджернон. Тетка!

Дже к. Да. Чудесная старушка. Живет в Тэнбридж-Уэллс. Ну, давай сюда портсигар, Алджернон.

Алджернон *(отступая за диван)*. Но почему она называет себя маленькой Сесили, если она твоя тетка и живет в Тэнбридж Уэллс? *(Читает.)* «От маленькой Сесили. В знак нежной любви...»

Дже к *(подступая к дивану и упираясь в него коленом)*. Ну что в этом непонятного? Есть тетки большие, есть тетки маленькие. Уж это, кажется, можно предоставить на усмотрение самой тетки. Ты думаешь, что все тетки непременно похожи на твою? Какая ерунда! А теперь отдай мой портсигар! *(Преследует Алджернона.)*

Алджернон. Так. Но почему это твоя тетка зовет тебя дядей? «От маленькой Сесили. В знак нежной любви дорогому дяде Джеку». Допустим, тетушка может быть маленькой, но почему тетушке, независимо от ее размера и роста, называть собственного племянника дядей, этого я в толк не возьму. А кроме того, тебя зовут вовсе не Джек, а Эрнест.

Дже к. Вот совсем Эрнест, а Джек.

Алджернон. А ведь ты всегда говорил мне, что тебя зовут Эрнест! Я представлял тебя всем как Эрнеста. Ты отзывался на имя Эрнест. Ты серьезен, как настоящий Эрнест. Никому на свете так не подходит имя Эрнест. Что за нелепость отказываться от такого имени! Наконец, оно стоит на твоих визитных карточках. Вот. *(Берет визитную кар-*

точку из портсигара.) «Мистер Эрнест Уординг, Б-4, Олбени». Я сохранию это как доказательство, что твое имя Эрнест, на случай если ты вздумаешь отпираться при мне, при Гвендолен или при ком угодно. (Кладет визитную карточку в карман.)

Джек. Ну что ж, в городе меня зовут Эрнест, в деревне — Джек, а портсигар мне подарили в деревне.

Алджернон. И все-таки это не объяснение, почему твоя маленькая тетушка Сесили из Тэнбридж Уэллс называет тебя дорогим дядей Джеком. Полно, дружище, лучше уж выкладывай все сразу.

Джек. Дорогой Алджи, ты уговариваешь меня точь-в-точь как дантист. Что может быть пошлее, чем говорить так, не будучи дантистом. Это вводит в заблуждение.

Алджернон. А дантисты именно это и делают. Ну, не упрямясь, расскажи все как есть. Признаюсь, я всегда подозревал в тебе тайного и ревностного бенбериста и теперь окончательно убедился в этом.

Джек. Бенберист? А что это значит?

Алджернон. Я тебе тотчас же объясню, что значит этот незаменимый термин, как только ты объяснишь мне, почему ты Эрнест в городе и Джек в деревне.

Джек. Отдай сначала портсигар.

Алджернон. Изволь. (Передает ему портсигар.) А теперь объясняй, только постарайся как можно неправдоподобнее. (Садится на диван.)

Джек. Дорогой мой, здесь нет ничего неправдоподобного. Все очень просто. Покойный мистер Томас Кардью, который усыновил меня, когда я был совсем маленьким, в своем завещании назначил меня опекуном своей внучки мисс Сесили Кардью. Сесили называет меня дядей из чувства уважения, которое ты, видимо, не способен оценить, и живет в моем загородном доме под надзором почтенной гувернантки мисс Призм.

Алджернон. А между прочим, где этот твой загородный дом?

Джек. Тебе это не к чему знать, мой милый. Не надейся на приглашение... Во всяком случае, могу сказать, что это не в Шропшире.

Алджернон. Я так и думал, мой милый. Я два раза бенберировал по всему Шропширу. Но все-таки, почему же ты Эрнест в городе и Джек в деревне?

Джек. Дорогой Алджи, я надеюсь, что ты поймешь истинные причины. Ты для этого недостаточно серьезен.

Когда вдруг оказываешься опекуном, приходится рассуждать обо всем в высоконравственном духе. Это становится твоим долгом. А так как высоконравственный дух отнюдь не способствует ни здоровью, ни благополучию, то, чтобы вырваться в город, я всегда говорю, что еду к своему младшему брату Эрнесту, который живет в Олбени и то и дело попадает в страшные передряги. Вот, мой дорогой Алджи, вся правда, и притом чистая правда.

А л д ж е р н о н. Вся правда редко бывает чистой. Иначе современная жизнь была бы невыносимо скучна. А современная литература и вообще не могла бы существовать.

Д ж е к. И мы ничего бы от этого не потеряли.

А л д ж е р н о н. Литературная критика вовсе не твое призвание, дружище. Не становись на этот путь. Предоставь это тем, кто не обучался в университете. Они с таким успехом занимаются этим в газетах. По натуре ты природный бенберист. Я имел все основания называть тебя так. Ты один из самых законченных бенберистов на свете.

Д ж е к. Объясни, бога ради, что ты хочешь сказать.

А л д ж е р н о н. Ты выдумал очень полезного младшего брата по имени Эрнест, для того чтобы иметь повод навещать его в городе, когда тебе вздумается. Я выдумал неоценимого вечно больного мистера Бенбери, для того чтобы навещать его в деревне, когда мне вздумается. Мистер Бенбери — это сущая находка. Если бы не его слабое здоровье, я не мог бы, например, сегодня пообедать с тобой у Виллиса, так как тетя Августа пригласила меня на сегодня еще неделю назад.

Д ж е к. Да я и не приглашал тебя обедать.

А л д ж е р н о н. Ну еще бы, ты удивительно забывчив. И напрасно. Нет ничего хуже, как не получать приглашений.

Д ж е к. Ты бы лучше отобедал у твоей тети Августы.

А л д ж е р н о н. Не имею ни малейшего желания. Начать с того, что я обедал у нее в понедельник, а обедать с родственниками достаточно и один раз в неделю. А кроме того, когда я там обедаю, со мной обращаются как с родственником, и я оказываюсь то вовсе без дамы, то сразу с двумя. И, наконец, я прекрасно знаю, с кем меня собираются посадить сегодня. Сегодня меня посадят с Мэри Фаркэр, а она все время флиртует через стол с собственным мужем. Это очень неприятно. Я сказал бы — даже неприлично... А это, между прочим, входит в моду. Просто

безобразии, сколько женщин в Лондоне флиртует с собственными мужьями. Это очень противно. Все равно что на людях стирать чистое белье. Кроме того, теперь, когда я убедился, что ты заядлый бенберист, я, естественно, хочу с тобой поговорить об этом. Изложить тебе все правила?

Джек. Да никакой я не бенберист. Если Гвендолен согласится, я тут же прикончу своего брата; впрочем, я покончу с ним в любом случае. Сесили что-то слишком заинтересована им. Это несносно. Так что от Эрнеста я отделаюсь. И тебе я искренне советую сделать то же с мистером... ну с твоим большим другом, забыл, как его там.

Алджернон. Ничто не заставит меня расстаться с мистером Бенбери, и если ты когда-нибудь женишься, что представляется мне маловероятным, то советую и тебе познакомиться с мистером Бенбери. Женатый человек, если он не знаком с мистером Бенбери, готовит себе очень скучную жизнь.

Джек. Глупости. Если я женюсь на такой очаровательной девушке, как Гвендолен, а она единственная девушка, на которой я хотел бы жениться, то поверь, я и знать не захочу твоего мистера Бенбери.

Алджернон. Тогда твоя жена захочет. Ты, должно быть, не отдаешь себе отчета в том, что в семейной жизни втроем весело, а вдвоем скучно.

Джек (*назидательно*). Мой дорогой Алджи! Безнравственная французская драма насаждает эту теорию уже полвека.

Алджернон. Да, и счастливая английская семья усвоила ее за четверть века.

Джек. Ради бога, не старайся быть циником. Это так легко.

Алджернон. Ничто не легко в наши дни, мой друг. Во всем такая жестокая конкуренция. (*Слышен продолжительный звонок.*) Вот, должно быть, тетя Августа. Только родственники и кредиторы звонят так по-вагнеровски. Так вот, если я займу ее на десять минут, чтобы тебе на свободе сделать предложение Гвендолен, могу я рассчитывать сегодня на обед у Виллиса?

Джек. Если так — конечно.

Алджернон. Но только без твоих шуточек. Ненавижу, когда несерьезно относятся к еде. Это неосновательные люди, и притом пошлые.

Входит Лэйн.

Лэй н. Леди Брэкнелл и мисс Ферфакс.

Алджернон идет встречать их. Входят леди Брэкнелл и  
Гвендолен.

Леди Брэкнелл. Здравствуй, мой милый Алджернон. Надеюсь, ты хорошо себя ведешь?

Алджернон. Я хорошо себя чувствую, тетя Августа.

Леди Брэкнелл. Это вовсе не то же самое. Более того, это редко совпадает... (Замечает Джека и весьма холодно кивает ему.)

Алджернон (к Гвендолен). Черт возьми, как ты элегантна. Не правда ли, мистер Уординг?

Джек. Вы просто совершенство, мисс Ферфакс.

Гвендолен. О! Надеюсь, что нет. Это лишило бы меня возможности совершенствоваться, а я намерена совершенствоваться во многих отношениях.

Гвендолен и Джек усаживаются в уголке.

Леди Брэкнелл. Извини, что мы запоздали, Алджернон, но мне надо было навестить милую леди Харбери. Я не была у нее с тех пор, как умер бедный ее муж. И я никогда не видела, чтобы женщина так изменилась. Она выглядит на двадцать лет моложе. А теперь я бы выпила чашку чаю и отведала твоих знаменитых сэндвичей с огурцом.

Алджернон. Ну разумеется, тетя Августа. (Идет к столику.)

Леди Брэкнелл. Иди к нам, Гвендолен.

Гвендолен. Но, мама, мне и тут хорошо.

Алджернон (при виде пустого блюда). Силы небесные! Лэй н! Где же сэндвичи с огурцом? Я ведь их специально заказывал!

Лэй н (невозмутимо). Сегодня на рынке не было огурцов, сэр. Я два раза ходил.

Алджернон. Не было огурцов?

Лэй н. Нет, сэр. Даже за наличные.

Алджернон. Хорошо, Лэй н, благодарю вас.

Лэй н. Благодарю вас, сэр. (Уходит.)

Алджернон. К моему величайшему сожалению, тетя Августа, огурцов не оказалось, даже за наличные.

Леди Брэкнелл. Ну, ничего, Алджернон. Леди Харбери угостила меня пышками. Она, по-видимому, сейчас ни в чем себе не отказывает.

Алджернон. Я слышал, что волосы у нее стали совсем золотые от горя.



Леди Брэкнелл. Да, цвет волос у нее изменился, хотя, право, не скажу, отчего именно.

Алджернон подает ей чашку чаю.

Спасибо, мой милый. А у меня для тебя сюрприз. За обедом я хочу посадить тебя с Мэри Фаркэр. Такая прелестная женщина и так внимательна к своему мужу. Приятно смотреть на них.

Алджернон. Боюсь, тетя Августа, что я вынужден буду пожертвовать удовольствием обедать у вас сегодня.

Леди Брэкнелл (хмурясь). Надеюсь, ты передумаешь, Алджернон. Это расстроит мне весь стол. Ведь твоему дядюшке придется обедать у себя. К счастью, он уже к этому привык.

Алджернон. Мне очень досадно, и, конечно, я очень огорчен, но я только что получил телеграмму с известием, что мой бедный друг Бенбери снова опасно болен. (Переглянувшись с Джеком.) Там все ждут моего приезда.

Леди Брэкнелл. Странно. Этот твой мистер Бенбери, как видно, очень слаб здоровьем.

Алджернон. Да, бедный мистер Бенбери совсем инвалид.

Леди Брэкнелл. Я должна сказать тебе, Алджернон, что, по-моему, мистеру Бенбери пора уже решить, жить ему или умирать. Колебаться в таком важном вопросе просто глупо. Я по крайней мере не увлекаюсь современной модой на инвалидов. Я считаю ее нездоровой. Поощрять болезни едва ли следует. Быть здоровым — это наш первейший долг. Я не устаю повторять это твоему бедному дяде, но он не обращает на мои слова никакого внимания... по крайней мере судя по состоянию его здоровья. Ты меня очень обяжешь, если от моего имени попросишь мистера Бенбери поправиться к субботе, потому что я рассчитываю на твою помощь в составлении музыкальной программы. У меня это последний вечер в сезоне, и надо же дать какие-то темы для разговора, особенно в конце сезона, когда все уже выговорились, сказали все, что у них было за душой, а ведь чаще всего запас этот очень невелик.

Алджернон. Я передам ваше пожелание мистеру Бенбери, тетя Августа, если только он еще в сознании, и ручаюсь вам, что он постарается поправиться к субботе. Конечно, с музыкой много трудностей. Если музыка хорошая — ее никто не слушает, а если плохая — невозможно

вести разговор. Но я покажу вам программу, которую я наметил. Проходите в кабинет.

Леди Брэкнелл. Спасибо, Алджернон, что помнишь свою тетку. *(Встает и идет за Алджерноном.)* Я уверена, что программа будет прелестная, если ее слегка почистить. Французских шансонеток я не допущу. Гости всегда либо находят их неприличными и возмущаются, и это такое мешанство, либо смеются, а это еще хуже. Я пришла к убеждению, что немецкий язык звучит гораздо приличнее. Гвендолен, идем со мной.

Гвендолен. Иду, мама.

Леди Брэкнелл и Алджернон выходят. Гвендолен остается на месте.

Джек. Не правда ли, сегодня чудесная погода, мисс Ферфакс.

Гвендолен. Пожалуйста, не говорите со мной о погоде, мистер Уординг. Каждый раз, когда мужчины говорят со мной о погоде, я знаю, что на уме у них совсем другое. И это действует мне на нервы.

Джек. Я хочу сказать о другом.

Гвендолен. Ну вот видите. Я никогда не ошибаюсь.

Джек. И мне хотелось бы воспользоваться отсутствием леди Брэкнелл, чтобы...

Гвендолен. И я бы вам это посоветовала. У мамы есть привычка неожиданно появляться в комнате. Об этом мне уже приходилось ей говорить.

Джек *(нервно)*. Мисс Ферфакс, с той самой минуты, как я вас увидел, я восторгался вами больше, чем всякой другой девушкой... какую я встречал... с тех пор как я встретил вас.

Гвендолен. Я это прекрасно знаю. Жаль только, что хотя бы на людях вы не показываете этого более явно. Мне вы всегда очень нравились. Даже до того, как мы с вами встретились, я была к вам равнодушна.

Джек смотрит на нее с изумлением.

Мы живем, как вы, надеюсь, знаете, мистер Уординг, в век идеалов. Это постоянно утверждают самые фешенебельные журналы, и, насколько я могу судить, это стало темой проповедей в самых захолустных церквях. Так вот, моей мечтой всегда было полюбить человека, которого зовут Эрнест. В этом имени есть нечто внушающее абсолютное доверие. Как только Алджернон сказал мне, что у него есть друг Эрнест, я сейчас же поняла, что мне суждено полюбить вас.

Джек. И вы действительно любите меня, Гвендолен?  
Гвендолен. Страстно!

Джек. Милая! Вы не знаете, какое это для меня счастье.

Гвендолен. Мой Эрнест!

Джек. А скажите, вы действительно не смогли бы полюбить меня, если бы меня звали не Эрнест?

Гвендолен. Но вас ведь зовут Эрнест.

Джек. Да, конечно. Но если бы меня звали как-нибудь иначе? Неужели вы меня не полюбили бы?

Гвендолен (*не задумываясь*). Ну, это ведь только метафизическое рассуждение, и, как прочие метафизические рассуждения, оно не имеет ровно никакой связи с реальной жизнью, такой, какой мы ее знаем.

Джек. Сказать по правде, мне совсем не нравится имя Эрнест... По-моему, оно мне вовсе не подходит.

Гвендолен. Оно подходит вам больше, чем кому-либо. Чудесное имя. В нем есть какая-то музыка. Оно вызывает вибрации.

Джек. Но, право же, Гвендолен, по-моему, есть много имен гораздо лучше. Джек, например, — прекрасное имя.

Гвендолен. Джек? Нет, оно вовсе не музыкально. Джек — нет, это не волнует, не вызывает никаких вибраций... Я знала нескольких Джеков, и все они были один другого ordinarily. А кроме того, Джек — ведь это уменьшительное от Джон. И мне искренне жаль всякую женщину, которая вышла бы замуж за человека по имени Джон. Она, вероятно, никогда не испытает упительного наслаждения — побыть хоть минутку одной. Нет, единственное надежное имя — это Эрнест.

Джек. Гвендолен, мне необходимо сейчас же креститься... то есть я хотел сказать — жениться. Нельзя терять ни минуты.

Гвендолен. Жениться, мистер Уординг?

Джек (*в изумлении*). Ну да... конечно. Я люблю вас, и вы дали мне основание думать, мисс Ферфакс, что вы не совсем равнодушны ко мне.

Гвендолен. Я обожаю вас. Но вы еще не делали мне предложения. О женитьбе не было ни слова. Этот вопрос даже не поднимался.

Джек. Но... но вы разрешите сделать вам предложение?

Гвендолен. Я думаю, сейчас для этого самый подходящий случай. И чтобы избавить вас от возможного разоча-

рования, мистер Уординг, я должна вам заявить с полной искренностью, что я твердо решила ответить вам согласием.

Джек. Гвендолен!

Гвендолен. Да, мистер Уординг, так что же вы хотите мне сказать?

Джек. Вы же знаете все, что я могу вам сказать.

Гвендолен. Да, но вы не говорите.

Джек. Гвендолен, вы согласны стать моей женой? (Становится на колени.)

Гвендолен. Конечно, согласна, милый. Как долго вы собирались! Я думаю, вам не часто приходилось делать предложение.

Джек. Но, дорогая, я никого на свете не любил, кроме вас.

Гвендолен. Да, но мужчины часто делают предложение просто для практики. Вот, например, мой брат Джеральд. Все мои подруги говорят мне это. Какие у вас чудесные голубые глаза, Эрнест. Совершенно, совершенно голубые. Надеюсь, вы всегда будете смотреть на меня вот так, особенно при людях.

Входит леди Брэкнелл.

Леди Брэкнелл. Мистер Уординг! Встаньте! Что за полусогбенное положение! Это в высшей степени неприлично!

Гвендолен. Мама!

Джек пытается встать. Она его удерживает.

Пожалуйста, обождите в той комнате. Вам здесь нечего делать. Кроме того, мистер Уординг еще не кончил.

Леди Брэкнелл. Чего не кончил, осмелюсь спросить?

Гвендолен. Я помолвлена с мистером Уордингом, мама.

Они встают оба.

Леди Брэкнелл. Извини, пожалуйста, но ты еще ни с кем не помолвлена. Когда придет время, я или твой отец, если только здоровье ему позволит, сообщим тебе о твоей помолвке. Помолвка для молодой девушки должна быть неожиданностью, приятной или неприятной — это уже другой вопрос. И нельзя позволять молодой девушке решать такие вещи самостоятельно... Теперь, мистер Уординг, я хочу задать вам несколько вопросов. А ты, Гвендолен, подождешь меня внизу в карете.

Гвендолен (с упреком). Мама!  
Леди Брэкнелл. В карету, Гвендолен!

Гвендолен идет к двери. На пороге они с Джеком обмениваются воздушным поцелуем за спиной у леди Брэкнелл.

(Озирается в недоумении, словно не понимая, что это за звук. Потом оборачивается.) В карету!

Гвендолен. Да, мама. (Уходит, оглядываясь на Джека.)

Леди Брэкнелл (усаживаясь.) Вы можете сесть, мистер Уординг. (Роется в кармане, ища записную книжечку и карандаш.)

Джек. Благодарю вас, леди Брэкнелл, я лучше постою.

Леди Брэкнелл (вооружившись книжкой и карандашом). Вынуждена отметить: вы не значите в моем списке женихов, хотя он в точности совпадает со списком герцогини Болтон. Мы с ней в этом смысле работаем вместе. Однако я готова внести вас в список, если ваши ответы будут соответствовать требованиям заботливой матери. Вы курите?

Джек. Должен признаться, курю.

Леди Брэкнелл. Рада слышать. Каждому мужчине нужно какое-нибудь занятие. И так уж в Лондоне слишком много бездельников. Сколько вам лет?

Джек. Двадцать девять.

Леди Брэкнелл. Самый подходящий возраст для женитьбы. Я всегда придерживалась того мнения, что мужчина, желающий вступить в брак, должен знать все или ничего. Что вы знаете?

Джек (после некоторого колебания). Ничего, леди Брэкнелл.

Леди Брэкнелл. Рада слышать это. Я не одобряю всего, что нарушает естественное неведение. Неведение подобно нежному экзотическому цветку: дотроньтесь до него, и он завянет. Все теории современного образования в корне порочны. К счастью, по крайней мере у нас, в Англии, образование не оставляет никаких следов. Иначе оно было бы чрезвычайно опасно для высших классов и, быть может, привело бы к террористическим актам на Гровенор-сквер. Ваш доход?

Джек. От семи до восьми тысяч в год.

Леди Брэкнелл (делая пометки в книжке). В акциях или в земельной ренте?

Джек. Главным образом в акциях.

Леди Брэкнелл. Это лучше. Всю жизнь платишь налоги, и после смерти с тебя их берут, а в результате земля не дает ни дохода, ни удовольствия. Правда, она дает положение в обществе, но не дает возможности пользоваться им. Такова моя точка зрения на землю.

Джек. У меня есть загородный дом, ну, и при нем земля — около полутора тысяч акров; но не это основной источник моего дохода. Мне кажется, что пользу из моего поместья извлекают только браконьеры.

Леди Брэкнелл. Загородный дом! А сколько в нем спален? Впрочем, это мы выясним позднее. Надеюсь, у вас есть дом и в городе? Такая простая, неиспорченная девушка, как Гвендолен, не может жить в деревне.

Джек. У меня дом на Белгрэйв-сквер, но его из года в год арендует леди Блоксхэм. Конечно, я могу отказать ей, предупредив за полгода.

Леди Брэкнелл. Леди Блоксхэм? Я такой не знаю.

Джек. Она редко выезжает. Она уже довольно пожилая.

Леди Брэкнелл. Ну, в наше время это едва ли может служить гарантией порядочного поведения. А какой номер на Белгрэйв-сквер?

Джек. Сто сорок девять.

Леди Брэкнелл (*покачивая головой*). Не модная сторона. Так я и знала, что не обойдется без дефекта. Но это легко изменить.

Джек. Что именно — моду или сторону?

Леди Брэкнелл (*строго*). Если понадобится — и то и другое. А каковы ваши политические взгляды?

Джек. Признаться, у меня их нет. Я либерал-юнионист.

Леди Брэкнелл. Ну, их можно считать консерваторами. Их даже приглашают на обеды. Во всяком случае на вечера. А теперь перейдем к менее существенному. Родители ваши живы?

Джек. Нет. Я потерял обоих родителей.

Леди Брэкнелл. Потерю одного из родителей еще можно рассматривать как несчастье, но потерять обоих, мистер Уординг, похоже на небрежность. Кто был ваш отец? Видимо, он был человек состоятельный. Был ли он, как выражаются радикалы, представителем крупной буржуазии или же происходил из аристократической семьи?

Джек. Боюсь, не смогу ответить вам на этот вопрос. Дело в том, леди Брэкнелл, что я неточно выразился, сказав, что я потерял родителей. Вернее было бы сказать,

что родители меня потеряли... По правде говоря, я не знаю своего происхождения. Я... найденыш.

Леди Брэкнелл. Найденыш!

Джек. Покойный мистер Томас Кардью, весьма добросердечный и щедрый старик, нашел меня и дал мне фамилию Уординг, потому что у него в кармане был тогда билет первого класса до Уординга. Уординг, как вы знаете, морской курорт в Сассексе.

Леди Брэкнелл. И где же этот добросердечный джентльмен с билетом первого класса до Уординга нашел вас?

Джек (*серьезно*). В саквояже.

Леди Брэкнелл. В саквояже?

Джек (*очень серьезно*). Да, леди Брэкнелл. Я был найден в саквояже — довольно большом черном кожаном саквояже с прочными ручками, — короче говоря, в самом обыкновенном саквояже.

Леди Брэкнелл. И где именно этот мистер Джемс или Томас Кардью нашел этот самый обыкновенный саквояж?

Джек. В камере хранения на вокзале Виктория. Ему выдали этот саквояж по ошибке вместо его собственного.

Леди Брэкнелл. В камере хранения на вокзале Виктория?

Джек. Да, на Брайтонской платформе.

Леди Брэкнелл. Платформа не имеет значения. Мистер Уординг, должна вам признаться, я несколько смущена тем, что вы мне сообщили. Родиться или пусть даже воспитываться в саквояже, независимо от того, какие у него ручки, представляется мне забвением всех правил приличия. Это напоминает мне худшие эксцессы времен французской революции. Я полагаю, вам известно, к чему привело это злосчастное возмущение. А что касается места, где был найден саквояж, то хотя камера хранения и может хранить тайны нарушения общественной морали — что, вероятно, и бывало не раз, — но едва ли она может обеспечить прочное положение в обществе.

Джек. Но что же мне делать? Не сомневайтесь, что я готов на все, лишь бы обеспечить счастье Гвендолен.

Леди Брэкнелл. Я очень рекомендую вам, мистер Уординг, как можно скорей обзавестись родственниками — постараться во что бы то ни стало достать себе хотя бы одного из родителей — все равно, мать или отца, — и сделать это еще до окончания сезона.

Дже к. Но, право же, я не знаю, как за это взяться. Саквоаж я могу предъявить в любую минуту. Он у меня в гардеробной, в деревне. Может быть, этого вам будет достаточно, леди Брэкнелл?

Ле ди Бр э к н е л л. Мне, сэ р! Какое это имеет отношение ко мне? Неужели вы воображаете, что мы с лордом Брэкнелл допустим, чтобы наша единственная дочь — девушка, на воспитание которой положено столько забот, — была отдана в камеру хранения и обручена с саквоажем? Прощайте, мистер Уординг! *(Исполненная негодования, величаво выплывает из комнаты.)*

Дже к. Прощайте!

В соседней комнате Алджернон играет свадебный марш.

*(В бешенстве подходит к дверям.)* Бога ради, прекрати эту идиотскую музыку, Алджернон! Ты совершенно невыносим.

Марш обрывается, и, улыбаясь, вбегает Алджернон.

А л д ж е р н о н. А что, разве не вышло, дружище? Неужели Гвендолен отказала тебе? С ней это бывает. Она всем отказывает. Такой уж у нее характер.

Дже к. Нет! С Гвендолен все в порядке. Что касается Гвендолен, то мы можем считать себя помолвленными. Ее мамаша — вот в чем загвоздка. Никогда не видывал такой мегеры... Я, собственно, не знаю, что такое мегера, но леди Брэкнелл сущая мегера. Во всяком случае, она чудовище, и вовсе не мифическое, а это гораздо хуже... Прости меня, Алджернон, я, конечно, не должен был так отзываться при тебе о твоей тетке.

А л д ж е р н о н. Дорогой мой, обожаю, когда так отзываются о моих родных. Это единственный способ как-то примириться с их существованием. Родственники — скучнейший народ, они не имеют ни малейшего понятия о том, как надо жить, и никак не могут догадаться, когда им следует умереть.

Дже к. Ну, это чепуха!

А л д ж е р н о н. Нисколько.

Дже к. Я вовсе не намерен с тобой спорить. Ты всегда обо всем споришь.

А л д ж е р н о н. Да все на свете для этого и создано.

Дже к. Ну, знаешь ли, если так считать, то лучше застрелиться... *(Пауза.)* А ты не думаешь, Алджи, что лет через полтора Гвендолен станет очень похожа на свою мать?



А л д ж е р н о н. Все женщины со временем становятся похожи на своих матерей. В этом их трагедия. Ни один мужчина не бывает похож на свою мать. В этом его трагедия.

Д ж е к. Это что, остроумно?

А л д ж е р н о н. Это отлично сказано и настолько же верно, насколько любой афоризм нашего цивилизованного века.

Д ж е к. Я сыт по горло остроумием. Теперь все остроумны. Шага нельзя ступить, чтобы не встретить умного человека. Это становится поистине общественным бедствием. Чего бы я не дал за несколько настоящих дураков. Но их нет.

А л д ж е р н о н. Они есть. Сколько угодно.

Д ж е к. Хотел бы повстречаться с ними. О чем они говорят?

А л д ж е р н о н. Дураки? Само собой, об умных людях.

Д ж е к. Какие дураки!

А л д ж е р н о н. А кстати, ты сказал Гвендолен всю правду про то, что ты Эрнест в городе и Джек в деревне?

Д ж е к (покровительственным тоном). Дорогой мой, вся правда — это совсем не то, что следует говорить красивой, милой, очаровательной девушке. Что у тебя за превратные представления о том, как вести себя с женщиной!

А л д ж е р н о н. Единственный способ вести себя с женщиной — это ухаживать за ней, если она красива, или за другой, если она некрасива.

Д ж е к. Ну, это чепуха!

А л д ж е р н о н. А все-таки как быть с твоим братцем? С беспутным Эрнестом?

Д ж е к. Не пройдет недели, и я навсегда разделаюсь с ним. Я объявлю, что он умер в Париже от апоплексического удара. Ведь многие скоропостижно умирают от удара, не так ли?

А л д ж е р н о н. Да, но это наследственное, мой милый. Это поражает целые семьи. Не лучше ли острая простуда?

Д ж е к. А ты уверен, что острая простуда — это не наследственное?

А л д ж е р н о н. Ну конечно, уверен.

Д ж е к. Хорошо. Мой бедный брат Эрнест скоропостижно скончался в Париже от острой простуды. И кончено.

А л д ж е р н о н. Но мне казалось, ты говорил... Ты говорил, что мисс Кардью не на шутку заинтересована твоим братом Эрнестом? Как она перенесет такую утрату?

Джек. Ну, это не важно. Сесили, смею тебя уверить, не мечтательница. У нее превосходный аппетит, она любит большие прогулки и вовсе не примерная ученица.

Алджернон. А мне хотелось бы познакомиться с Сесили.

Джек. Постараюсь этого не допустить. Она очень хорошая, и ей только что исполнилось восемнадцать.

Алджернон. А ты сказал Гвендолен, что у тебя есть очень хорошая воспитанница, которой только что исполнилось восемнадцать?

Джек. К чему разглашать такие подробности? Сесили и Гвендолен непременно подружатся. Поручусь чем угодно, что через полчаса после встречи они назовут друг друга сестрами.

Алджернон. Женщины приходят к этому только после того, как обзовут друг друга совсем иными именами. Ну, а теперь, дружище, надо сейчас же переодеться. Иначе мы не захватим хорошего столика у Виллиса. Ведь уже скоро семь.

Джек (*раздраженно*). У тебя постоянно скоро семь.

Алджернон. Ну да, я голоден.

Джек. А когда ты не бываешь голоден?

Алджернон. Куда мы после обеда? В театр?

Джек. Нет, ненавижу слушать глупости.

Алджернон. Ну тогда в клуб.

Джек. Ни за что. Ненавижу болтать глупости.

Алджернон. Ну тогда к десяти в варьете.

Джек. Не выношу смотреть глупости. Уволь!

Алджернон. Ну так что же нам делать?

Джек. Ничего.

Алджернон. Это очень трудное занятие. Но я не против того, чтобы потрудиться, если только это не ради какой-то цели.

Входит Лэйн.

Лэйн. Мисс Ферфакс.

Входит Гвендолен. Лэйн уходит.

Алджернон. Гвендолен! Какими судьбами?

Гвендолен. Алджи, пожалуйста, отвернись. Я должна по секрету поговорить с мистером Уордингом.

Алджернон. Знаешь, Гвендолен, в сущности, я не должен разрешать тебе этого.

Гвендолен. Алджи, ты всегда занимаешь аморальную позицию по отношению к самым простым вещам. Ты еще слишком молод для этого.

Алджернон отходит к камину.

Джек. Любимая!

Гвендолен. Эрнест, мы никогда не сможем пожениться. Судя по выражению маминого лица, этому не быть. Теперь родители очень редко считаются с тем, что говорят им дети. Былое уважение к юности быстро отмирает. Какое-либо влияние на маму я утратила уже в трехлетнем возрасте. Но даже если она помешает нам стать мужем и женой и я выйду еще за кого-нибудь, и даже не один раз, — ничто не сможет изменить моей вечной любви к вам.

Джек. Гвендолен, дорогая!

Гвендолен. История вашего романтического происхождения, которую мама рассказала мне в самом непривлекательном виде, потрясла меня до глубины души. Ваше имя мне стало еще дороже. А ваше простодушие для меня просто непостижимо. Ваш городской адрес в Олбени у меня есть. А какой ваш адрес в деревне?

Джек. Поместье Вултон. Хартфордшир.

Алджернон, который прислушивается к разговору, улыбается и записывает адрес на манжете. Потом берет со стола железнодорожное расписание.

Гвендолен. Надеюсь, почтовая связь у вас налажена. Возможно, нам придется прибегнуть к отчаянным мерам. Это, конечно, потребует серьезного обсуждения. Я буду сноситься с вами ежедневно.

Джек. Душа моя!

Гвендолен. Сколько вы еще пробудете в городе?

Джек. До понедельника.

Гвендолен. Прекрасно! Алджи, можешь повернуться.

Алджернон. А я уже повернулся.

Гвендолен. Можешь также позвонить.

Джек. Вы позволите мне проводить вас до кареты, дорогая?

Гвендолен. Само собой.

Джек (вошедшему Лэйн). Я провожу мисс Ферфакс.

Лэйн. Слушаю, сэр.

Джек и Гвендолен уходят. Лэйн держит на подносе несколько писем. Видимо, это счета, потому что Алджернон, взглянув на конверты, рвет их на кусочки.

А л д ж е р н о н. Стакан хересу, Лэйн.

Л э й н. Слушаю, сэр.

А л д ж е р н о н. Завтра, Лэйн, я отправляюсь бенбери-ровать.

Л э й н. Слушаю, сэр.

А л д ж е р н о н. Вероятно, я не вернусь до понедельника. Уложите фрак, смокинг и все для поездки к мистеру Бенбери.

Л э й н. Слушаю, сэр. *(Подает херес.)*

А л д ж е р н о н. Надеюсь, завтра будет хорошая погода, Лэйн.

Л э й н. Погода никогда не бывает хорошей, сэр.

А л д ж е р н о н. Лэйн, вы законченный пессимист.

Л э й н. Стараюсь по мере сил, сэр.

Входит Д ж е к. Лэйн уходит.

Д ж е к. Вот разумная, мыслящая девушка. Единственная в моей жизни.

Алджернон без удержу хохочет.

Чего это ты так веселишься?

А л д ж е р н о н. Просто вспомнил о бедном мистере Бенбери.

Д ж е к. Если ты не одумаешься, Алджи, помяни мое слово, попадешь ты с этим Бенбери в переделку!

А л д ж е р н о н. А мне это как раз нравится. Иначе скучно было бы жить на свете.

Д ж е к. Какая чушь, Алджи. От тебя слышишь одни глупости.

А л д ж е р н о н. А от кого их не услышишь?

Джек с возмущением глядит на него, потом выходит. Алджернон закуривает папиросу, читает адрес на манжете и улыбается.

*Занавес*

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Сад в поместье м-ра Уординга. Серая каменная лестница ведет к дому. По-старомодному распланированный сад, полный роз. Время — июль. В тени большого тиса соломенные стулья, стол, заваленный книгами. Мисс Призм сидит за столом. Сесили в глубине поливает цветы.

Мисс Призм. Сесили, Сесили! Такое утилитарное занятие, как поливка цветов, это скорее обязанность Мольтона, чем ваша. Особенно сейчас, когда вас ожидают интеллектуальные наслаждения. Ваша немецкая грамматика у вас на столе. Раскройте страницу пятнадцатую. Мы повторим вчерашний урок.

Сесили (*подходя очень медленно*). Но я ненавижу немецкий. Противный язык. После немецкого урока у меня всегда ужасный вид.

Мисс Призм. Дитя мое, вы знаете, как озабочен ваш опекун тем, чтобы вы продолжали свое образование. Уезжая вчера в город, он особенно обращал мое внимание на немецкий язык. И каждый раз, уезжая в город, он напоминает о немецком языке.

Сесили. Дорогой дядя Джек такой серьезный! Иногда я боюсь, что он не совсем здоров.

Мисс Призм (*выпрямляясь*). Ваш опекун совершенно здоров, и строгость его поведения особенно похвальна в таком сравнительно молодом человеке. Я не знаю никого, кто превосходил бы его в сознании долга и ответственности.

Сесили. Может быть, поэтому он и скучает, когда мы остаемся тут втроем.

Мисс Призм. Сесили! Вы меня удивляете. У мистера Уординга много забот. Праздная и легкомысленная болтовня ему не к лицу. Вы же знаете, какие огорчения доставляет ему его несчастный младший брат.

Сесили. Я хотела бы, чтобы дядя позволил этому несчастному младшему брату хоть иногда гостить у нас. Мы бы могли оказать на него хорошее влияние, мисс Призм. Я уверена, что вы, во всяком случае, могли бы. Вы знаете немецкий и геологию, а такие познания могут перевоспитать человека. (*Что-то записывает в своем дневнике.*)

Мисс Призм (*покачивая головой*). Не думаю, чтобы даже я могла оказать влияние на человека, который, по словам собственного брата, обладает таким слабым и неустой-

чивым характером. Да я и не уверена, что взялась бы за его исправление. Я вовсе не одобряю современной мании мгновенно превращать дурного человека в хорошего. Что он посеял, пускай и пожнет. Закройте ваш дневник, Сесили. Вообще вам совсем не следует вести дневник.

С е с и л и. Я веду дневник для того, чтобы поверять ему самые удивительные тайны моей жизни. Без записей я, вероятно, позабыла бы их.

М и с с П р и з м. Память, моя милая, — вот дневник, которого у нас никто не отнимет.

С е с и л и. Да, но обычно запоминаются события, которых на самом деле не было и не могло быть. Я думаю, именно памяти мы обязаны трехтомными романами, которые нам присылают из библиотеки.

М и с с П р и з м. Не хулите трехтомные романы, Сесили. Я сама когда-то сочинила такой роман.

С е с и л и. Нет, в самом деле, мисс Призм? Какая вы умная! И, надеюсь, конец был несчастливый? Я не люблю романов со счастливым концом. Они меня положительно угнетают.

М и с с П р и з м. Для хороших там все кончалось хорошо, а для плохих — плохо. Это и называется беллетристикой.

С е с и л и. Может быть, и так. Но это несправедливо. А ваш роман был напечатан?

М и с с П р и з м. Увы! Нет. Рукопись, к несчастью, была мною утрачена.

Сесили делает удивленный жест.

Я хочу сказать — забыта, потеряна. Но примемся за работу, дитя мое, время уходит у нас на пустые разговоры.

С е с и л и (с улыбкой). А вот и доктор Чезюбл идет к нам.

М и с с П р и з м (встав и идя навстречу). Доктор Чезюбл! Как приятно вас видеть!

Входит каноник Чезюбл.

Чезюбл. Ну, как мы сегодня поживаем? Надеюсь, вы в добром здравии, мисс Призм?

С е с и л и. Мисс Призм только что жаловалась на головную боль. Мне кажется, ей помогла бы небольшая прогулка с вами, доктор.

М и с с П р и з м. Сесили! Но я вовсе не жаловалась на головную боль.

С е с и л и. Да, мисс Призм, но я чувствую, что голова у вас болит. Когда вошел доктор Чезюбл, я думала как раз об этом, а не об уроке немецкого языка.

Ч е з ю б л. Надеюсь, Сесили, что вы внимательно относитесь к вашим урокам?

С е с и л и. Боюсь, что не очень.

Ч е з ю б л. Не понимаю. Если бы мне посчастливилось быть учеником мисс Призм, я бы не отрывался от ее уст.

Мисс Призм негодует.

Я говорю метафорически — моя метафора заимствована у пчел. Да! Мистер Уординг, я полагаю, еще не вернулся из города?

М и с с П р и з м. Мы ждем его не раньше понедельника.

Ч е з ю б л. Да, верно, ведь он предпочитает проводить воскресные дни в Лондоне. Не в пример его несчастному младшему брату, он он не из тех, для кого единственная цель — развлечения. Но я не стану больше мешать Эгерии и ее ученице.

М и с с П р и з м. Эгерия? Меня зовут Летиция, доктор.

Ч е з ю б л (отвешивая поклон). Классическая аллюзия, не более того; заимствована из языческих авторов. Я, без сомнения, увижу вас вечером в церкви?

М и с с П р и з м. Я все-таки, пожалуй, немножко пройду с вами, доктор. Голова у меня действительно побаливает, и прогулка мне поможет.

Ч е з ю б л. С удовольствием, мисс Призм, с величайшим удовольствием. Мы пройдем до школы и обратно.

М и с с П р и з м. Восхитительно! Сесили, в мое отсутствие вы приготовите политическую экономию. Главу о падении рупии можете опустить. Это чересчур злободневно. Даже финансовые проблемы имеют драматический резонанс. (Уходит по дорожке, сопровождаемая доктором Чезюблом.)

С е с и л и (хватает одну книгу за другой и швыряет их обратно на стол.). Ненавижу политическую экономию! Ненавижу географию. Ненавижу, ненавижу немецкий.

Входит М е р р и м е н с визитной карточкой на подносе.

М е р р и м е н. Сейчас со станции прибыл мистер Эрнест Уординг. С ним его чемоданы.

С е с и л и (берет карточку и читает). «Мистер Эрнест Уординг, Б-4, Олбени, зап.». Несчастный брат дяди Джека! Вы ему сказали, что мистер Уординг в Лондоне?

М е р р и м е н. Да, мисс. Он, по-видимому, очень огор-

чился. Я заметил, что вы с мисс Призм сейчас в саду. Он сказал, что хотел бы побеседовать с вами.

С е с и л и. Просите мистера Эрнеста Уординга сюда. Я думаю, надо сказать экономке, чтобы она приготовила для него комнату.

М е р р и м е н. Слушаю, мисс. *(Уходит.)*

С и с и л и. Никогда в жизни я не встречала по-настоящему беспутного человека! Мне страшно. А вдруг он такой же, как все?

Входит А л д ж е р н о н, очень веселый и добродушный.

Да, такой же!

А л д ж е р н о н *(приподнимая шляпу)*. Так это вы моя маленькая кузина Сесили?

С е с и л и. Тут какая-то ошибка. Я совсем не маленькая. Напротив, для своих лет я даже слишком высока.

Алджернон несколько смущен.

Но я действительно ваша кузина Сесили. А вы, судя по визитной карточке, брат дяди Джека, кузен Эрнест, мой беспутный кузен Эрнест.

А л д ж е р н о н. Но я вовсе не беспутный, кузина. Пожалуйста, не думайте, что я беспутный.

С е с и л и. Если это не так, то вы самым непростительным образом вводили нас в заблуждение. Надеюсь, вы не ведете двойной жизни, прикидываясь беспутным, когда на самом деле вы добродетельны. Это было бы лицемерием.

А л д ж е р н о н *(глядя на нее с изумлением)*. Гм! Конечно, я бывал весьма легкомысленным.

С е с и л и. Очень рада, что вы это признаете.

А л д ж е р н о н. Если вы уж заговорили об этом, должен признаться, что шалил я достаточно.

С е с и л и. Не думаю, что вам следует этим хвастаться, хотя, вероятно, это вам доставляло удовольствие.

А л д ж е р н о н. Для меня гораздо большее удовольствие быть здесь, с вами.

С е с и л и. Я вообще не понимаю, как вы здесь очутились. Дядя Джек вернется только в понедельник.

А л д ж е р н о н. Очень жаль. Я должен уехать в понедельник первым же поездом. У меня деловое свидание, и мне очень хотелось бы... избежать его.

С е с и л и. А вы не могли бы избежать его где-нибудь в Лондоне?

А л д ж е р н о н. Нет, свидание назначено в Лондоне.



С е с и л и. Конечно, я понимаю, как важно не выполнить деловое обещание, если хочешь сохранить чувство красоты и полноты жизни, но все-таки вам лучше дождаться приезда дяди Джека. Я знаю, он хотел поговорить с вами относительно вашей эмиграции.

А л д ж е р н о н. Относительно чего?

С е с и л и. Вашей эмиграции. Он поехал покупать вам дорожный костюм.

А л д ж е р н о н. Никогда не поручил бы Джеку покупать мне костюм. Он не способен выбрать даже галстук.

С е с и л и. Но вам едва ли понадобятся галстуки. Ведь дядя Джек отправляет вас в Австралию.

А л д ж е р н о н. В Австралию! Лучше на тот свет!

С е с и л и. Да, в среду за обедом он сказал, что вам предстоит выбирать между этим светом, тем светом и Австралией.

А л д ж е р н о н. Вот как! Но сведения, которыми я располагаю об Австралии и о том свете, не очень заманчивы. Для меня и этот свет хорош, кузина.

С е с и л и. Да, но достаточно ли вы хороши для него?

А л д ж е р н о н. Боюсь, что нет. Поэтому я и хочу, чтобы вы взялись за мое исправление. Это могло бы стать вашим призванием, — конечно, если б вы этого захотели, кузина.

С е с и л и. Боюсь, что сегодня у меня на это нет времени.

А л д ж е р н о н. Ну тогда хотите, чтобы я сам исправился сегодня же?

С е с и л и. Едва ли это вам по силам. Но почему не попробовать?

А л д ж е р н о н. Непременно попробую. Я уже чувствую, что становлюсь лучше.

С е с и л и. Но вид у вас стал хуже.

А л д ж е р н о н. Это потому, что я голоден.

С е с и л и. Ах, как это мне не пришло в голову! Конечно, тот, кто собирается возродиться к новой жизни, нуждается в регулярном и здоровом питании. Пройдемте в дом.

А л д ж е р н о н. Благодарю вас. Но можно мне цветок в петлицу? Без цветка в петлице мне и обед не в обед.

С е с и л и. Маршалль Ниель? *(Берется за ножницы.)*

А л д ж е р н о н. Нет, лучше пунцовую.

С е с и л и. Почему? *(Срезает пунцовую розу.)*

А л д ж е р н о н. Потому что вы похожи на пунцовую розу, Сесили.

С е с и л и. Я думаю, вам не следует так говорить со мной. Мисс Призм никогда со мной так не говорит.

А л д ж е р н о н. Значит, мисс Призм просто близорукая старушка.

Сесили вдевает розу ему в петлицу.

Вы на редкость хорошенькая девушка, Сесили.

Сесили. Мисс Призм говорит, что красота — это только ловушка.

А л д ж е р н о н. Это ловушка, в которую с радостью попался бы всякий здравомыслящий человек.

Сесили. Ну, я вовсе не хотела бы поймать здравомыслящего человека. О чем с ним разговаривать?

Они уходят в дом. Возвращаются мисс Призм и доктор Чезюбл.

Мисс Призм. Вы слишком одиноки, дорогой доктор. Вам следовало бы жениться. Мизантроп — это я еще понимаю, но женотропа понять не могу.

Чезюбл (*филологическое чувство которого потрясено*). Поверьте, я не заслуживаю такого неологизма. Как теория, так и практика церкви первых веков христианства высказывалась против брака.

Мисс Призм (*нравоучительно*). Поэтому церковь первых веков христианства и не дожила до нашего времени. И вы, должно быть, не отдаете себе отчета, дорогой доктор, что, упорно отказываясь от женитьбы, человек является всеобщим соблазном. Мужчинам следует быть осмотрительнее, слабых духом безбрачие способно сбить с пути истинного.

Чезюбл. Но разве женатый мужчина менее привлекателен?

Мисс Призм. Женатый мужчина привлекателен только для своей жены.

Чезюбл. Увы, даже для нее, как говорят, не всегда.

Мисс Призм. Это зависит от интеллектуального уровня женщины. Зрелый возраст в этом смысле всего надежней. Спелости можно довериться. А молодые женщины — это еще зеленый плод.

Доктор Чезюбл делает удивленный жест.

Я говорю агрикультурно. Моя метафора заимствована из садоводства. Но где же Сесили?

Чезюбл. Может быть, она тоже пошла пройтись до школы и обратно?

Из глубины сада медленно приближается Джек. Он облачен в глубокий траур, с крепом на шляпе и в черных перчатках.

Мисс Призм. Мистер Уординг!

Чезюбл. Мистер Уординг!

Мисс Призм. Какой сюрприз! А мы вас не ждали раньше понедельника.

Джек (с трагической миной жмет руку мисс Призм). Да, я вернулся раньше, чем предполагал. Доктор Чезюбл, здравствуйте.

Чезюбл. Дорогой мистер Уординг! Надеюсь, это скорбное одеяние не означает какой-нибудь ужасной утраты?

Джек. Мой брат.

Мисс Призм. Новые долги и безрассудства?

Чезюбл. В тенетах зла и наслаждения?

Джек (качая головой). Умер.

Чезюбл. Ваш брат Эрнест умер?

Джек. Да, умер. Совсем умер.

Мисс Призм. Какой урок для него! Надеюсь, это ему пойдет на пользу.

Чезюбл. Мистер Уординг, приношу вам мои искренние соболезнования. Для вас остается по крайней мере утешением, что вы были самым великодушным и щедрым из братьев.

Джек. Брат Эрнест! У него было много недостатков, но это тяжкий удар.

Чезюбл. Весьма тяжкий. Вы были с ним до конца?

Джек. Нет. Он умер за границей! В Париже. Вчера вечером пришла телеграмма от управляющего Гранд-отеля.

Чезюбл. И в ней упоминается причина смерти?

Джек. По-видимому, острая простуда.

Мисс Призм. Что посеешь, то и пожнешь.

Чезюбл (воздевая руки горе). Милосердие, дорогая мисс Призм, милосердие! Никто из нас не совершенен. Я сам в высшей степени подвержен простуде. А погребение предполагается здесь, у нас?

Джек. Нет. Он, кажется, завещал, чтобы его похоронили в Париже.

Чезюбл. В Париже! (Покачивает головой.) Да! Значит, он до самого конца не проявил достаточной серьезности. Вам, конечно, желательно, чтобы я упомянул об этой семейной драме в моей воскресной проповеди?

Джек горячо пожимает ему руку.

Моя проповедь о манне небесной в пустыне пригодна для любого события, радостного или, как в данном случае, печального.

Все вздыхают.

Я произносил ее на празднике урожая, при крещении, конфирмации, в дни скорби и в дни ликования. В последний раз я произнес ее в соборе на молебствии в пользу Общества предотвращения недовольства среди высших классов. При существовавший при этом епископ был поражен злободневностью некоторых моих аналогий.

Джек. А кстати! Вы, кажется, упомянули крещение, доктор Чезюбл. Вы, конечно, умеете крестить?

Доктор Чезюбл в недоумении.

Я хочу сказать, вам часто приходится крестить?

Мисс Призм. К сожалению, в нашем приходе это одна из главных обязанностей пастора. Я часто говорила по этому поводу с беднейшими из прихожан. Но они, как видно, понятия не имеют об экономии.

Чезюбл. Смею спросить, мистер Уординг, разве вы заинтересованы в судьбе какого-нибудь ребенка? Ведь сколько мне известно, брат ваш был холост?

Джек. Да.

Мисс Призм (с горечью). Таковы обычно все живущие исключительно ради собственного удовольствия.

Джек. Дело касается не ребенка, дорогой доктор. Хотя я и очень люблю детей. Нет! В данном случае я сам хотел бы подвергнуться обряду крещения, и не позднее чем сегодня,— конечно, если вы свободны.

Чезюбл. Но, мистер Уординг, ведь вас уже крестили.

Джек. Не помню.

Чезюбл. Значит, у вас на этот счет имеются сомнения?

Джек. Если нет, так будут. Но, конечно, я не хотел бы затруднять вас. Может быть, мне уже поздно креститься?

Чезюбл. Нисколько. Окропление и даже погружение взрослых предусмотрено каноническими правилами.

Джек. Погружение?

Чезюбл. Не беспокойтесь. Окропления будет вполне достаточно. Оно даже предпочтительно. Погода у нас такая ненадежная. И в котором часу вы предполагаете совершить обряд?

Джек. Да я мог бы заглянуть часов около пяти, если вам удобно.

Чезюбл. Вполне! Вполне! Как раз около этого часа я собираюсь совершить еще два крещения. Это двойня, недавно рожденная у одного из ваших арендаторов. У Джен-

кинса, того, знаете, возчика и весьма работающего человека.

Джек. Мне совсем не улыбается креститься заодно с другими младенцами. Это было бы ребячеством. Не лучше ли тогда в половине шестого?

Чезюбл. Чудесно! Чудесно! *(Вынимая часы.)* А теперь, мистер Уординг, позвольте мне покинуть сию обитель скорби. И я от всей души посоветовал бы вам не сгибаться под бременем горя. То, что представляется нам тяжкими испытаниями, иногда на самом деле — скрытое благо.

Мисс Призм. Мне оно кажется очень даже явным благом.

Из дома выходит Сесили.

Сесили. Дядя Джек! Как хорошо, что вы вернулись. Но что за ужасный костюм? Скорее идите переоденьтесь!

Мисс Призм. Сесили!

Чезюбл. Дитя мое! Дитя мое!

Сесили подходит к Джеку, он с грустью целует ее в лоб.

Сесили. В чем дело, дядя? Улыбнитесь. У вас такой вид, словно зубы болят, а у меня для вас есть сюрприз. Кто бы вы думали сейчас у нас в столовой? Ваш брат!

Джек. Кто?

Сесили. Ваш брат, Эрнест. Он приехал за полчаса до вас.

Джек. Что за чушь! У меня нет никакого брата.

Сесили. О, не надо так говорить! Как бы дурно он ни вел себя в прошлом, он все-таки ваш брат. Зачем вы так суровы? Не надо отречься от него. Я сейчас позову его сюда. И вы пожмете ему руку, не правда ли, дядя Джек? *(Бежит в дом.)*

Чезюбл. Какое радостное известие!

Мисс Призм. Теперь, когда мы уже примирились с утратой, его возвращение вызывает особую тревогу.

Джек. Мой брат в столовой? Ничего не понимаю. Какая-то нелепость.

Входит Алджернон за руку с Сесили.

Они медленно идут к Джеку.

Силы небесные! *(Делает знак Алджернону, чтобы тот ушел.)*

Алджернон. Дорогой брат, я приехал из Лондона, чтобы сказать тебе, что я очень сожалею о всех причиненных тебе огорчениях и что я намерен в будущем жить совсем по-иному.

Джек бросает на него грозный взгляд и не берет протянутой руки.

Сесили. Дядя Джек, неужели вы оттолкнете руку вашего брата?

Джек. Ничто не заставит меня пожать ему руку. Его приезд сюда — просто безобразие. Он знает сам почему.

Сесили. Дядя Джек, будьте снисходительны. В каждом есть крупица добра. Эрнест сейчас рассказывал мне о своем бедном больном друге Бенбери, которого он часто навещает. И, конечно, есть доброе чувство в том, кто отказывается от всех удовольствий Лондона для того, чтобы сидеть у одра больного.

Джек. Как! Он тебе рассказывал о Бенбери?

Сесили. Да, он рассказал мне о бедном Бенбери и его ужасной болезни.

Джек. Бенбери! Я не желаю, чтобы он говорил с тобой о Бенбери и вообще о чем бы то ни было. Это слишком!

Алджернон. Признаюсь, виноват. Но я не могу не сознаться, что холодность брата Джона для меня особенно тяжела. Я надеялся на более сердечный прием, особенно в мой первый приезд сюда.

Сесили. Дядя Джек, если вы не протянете руку Эрнесту, я вам этого никогда не прощу!

Джек. Никогда не простишь?

Сесили. Никогда, никогда!

Джек. Ну хорошо, в последний раз. *(Пожимает руку Алджернону и угрожающе глядит на него.)*

Чезюбл. Как утешительно видеть такое искреннее примирение. Теперь, я думаю, нам следует оставить братьев наедине.

Мисс Призм. Сесили, идите со мной.

Сесили. Сейчас, мисс Призм. Я рада, что помогла их примирению.

Чезюбл. Сегодня вы совершили благородный поступок, дитя мое.

Мисс Призм. Не будем поспешны в наших суждениях.

Сесили. Я очень счастлива!

Все, кроме Джека и Алджернона, уходят.

Джек. Алджи, перестань озорничать. Ты должен убраться отсюда сейчас же. Здесь я не разрешаю бенбериловать!

Входит Мерримен.

Мерримен. Я поместил вещи мистера Эрнеста в комнату рядом с вашей, сэр. Полагаю, так и следует, сэр?

Джек. Что?

Мерримен. Чемоданы мистера Эрнеста, сэр. Я внес их в комнату рядом с вашей спальней и распаковал.

Джек. Его чемоданы?

Мерримен. Да, сэр. Три чемодана, несессер, две шляпных картонки и большая корзина с провизией.

Алджернон. Боюсь, на этот раз я не смогу пробыть больше недели.

Джек. Мерримен, велите сейчас же подать кабриолет. Мистера Эрнеста срочно вызывают в город.

Мерримен. Слушаю, сэр. *(Уходит в дом.)*

Алджернон. Какой ты выдумщик, Джек. Никто меня не вызывает в город.

Джек. Нет, вызывает.

Алджернон. Понятия не имею, кто именно.

Джек. Твой долг джентльмена.

Алджернон. Мой долг джентльмена никогда не мешает моим удовольствиям.

Джек. Готов тебе поверить.

Алджернон. А Сесили — прелестна.

Джек. Не смей в таком тоне говорить о мисс Кардью. Мне это не нравится.

Алджернон. А мне, например, не нравится твой костюм. Ты просто смешон. Почему ты не пойдешь и не переоденешься? Чистое ребячество носить траур по человеку, который собирается целую неделю провести у тебя в качестве гостя. Это просто нелепо!

Джек. Ты ни в коем случае не пробудешь у меня целую неделю ни в качестве гостя, ни в ином качестве. Ты должен уехать поездом четыре пять.

Алджернон. Я ни в коем случае не оставляю тебя, пока ты в трауре. Это было бы не по-дружески. Если бы я был в трауре, ты, полагаю, не покинул бы меня? Я бы считал тебя черствым человеком, если бы ты поступил иначе.

Джек. А если я переоденусь, тогда ты уедешь?

А л д ж е р н о н. Да, если только ты не будешь очень копать. Ты всегда страшно копаешься перед зеркалом, и всегда без особого толку.

Д ж е к. Уж во всяком случае это лучше, чем быть всегда расфуфыренным вроде тебя.

А л д ж е р н о н. Если я слишком хорошо одет, я искупаю это тем, что я слишком хорошо воспитан.

Д ж е к. Твое тщеславие смехотворно, твое поведение оскорбительно, а твое присутствие в моем саду нелепо. Однако ты еще поспеешь на поезд четыре пять и, надеюсь, совершишь приятную поездку в город. На этот раз твое бенбериование не увенчалось успехом. *(Идет в дом.)*

А л д ж е р н о н. А по-моему, увенчалось, да еще каким. Я влюблен в Сесили, а это самое главное.

В глубине сада появляется С е с и л и, она берет лейку и начинает поливать цветы.

Но я должен повидать ее до отъезда и условиться о следующей встрече. А, вот она!

С е с и л и. Я пришла полить розы. Я думала, вы с дядей Джеком.

А л д ж е р н о н. Он пошел распорядиться, чтобы мне подали кабриолет.

С е с и л и. Вы поедете с ним кататься?

А л д ж е р н о н. Нет, он хочет отослать меня.

С е с и л и. Так, значит, нам предстоит разлука?

А л д ж е р н о н. Боюсь, что да. И мне это очень грустно.

С е с и л и. Всегда грустно расставаться с теми, с кем только что познакомился. С отсутствием старых друзей можно легко примириться. Но даже недолгая разлука с теми, кого только что узнал, почти невыносима.

А л д ж е р н о н. Спасибо за эти слова.

Входит М е р р и м е н.

М е р р и м е н. Экипаж подан, сэр.

Алджернон умоляюще глядит на Сесили.

С е с и л и. Пусть подождет, Мерримен, ну, минут ... минут пять.

М е р р и м е н. Слушаю, мисс. *(Уходит.)*

А л д ж е р н о н. Надеюсь, Сесили, я не оскорблю вас, если скажу честно и прямо, что в моих глазах вы зримое воплощение предельного совершенства.



С е с и л и. Ваша искренность делает вам честь, Эрнест. Если вы позволите, я запишу ваши слова в свой дневник. *(Идет к столу и начинает записывать.)*

А л д ж е р н о н. Так вы действительно ведете дневник? Чего бы я не дал за то, чтобы заглянуть в него. Можно?

С е с и л и. О нет! *(Прикрывает его рукой.)* Видите ли, это всего только запись мыслей и переживаний очень молодой девушки, и, следовательно, это предназначено для печати. Вот когда мой дневник появится отдельным изданием, тогда непременно купите его. Но прошу вас, Эрнест, продолжайте. Я очень люблю писать под диктовку. Я дописала до «предельного совершенства». Продолжайте. Я готова.

А л д ж е р н о н *(несколько озадаченно)*. Хм! Хм!

С е с и л и. Не кашляйте, Эрнест. Когда диктуешь, надо говорить медленно и не кашлять. А к тому же я не знаю, как записать кашель. *(Записывает, по мере того как Алджернон говорит.)*

А л д ж е р н о н *(говорит очень быстро)*. Сесили, как только я увидел вашу поразительную и несравненную красоту, я осмелился полюбить вас безумно, страстно, преданно, безнадежно.

С е с и л и. По-моему, вам не следует говорить мне, что вы любите меня безумно, страстно, преданно, безнадежно. А кроме того, безнадежно сюда вовсе не подходит.

А л д ж е р н о н. Сесили!

Входит М е р р и м е н.

М е р р и м е н. Экипаж ожидает вас, сэр.

А л д ж е р н о н. Скажите, чтобы его подали через неделю в это же время.

М е р р и м е н *(смотрит на Сесили, которая не опровергает слов Алджернона)*. Слушаю, сэр.

Мерримен уходит.

С е с и л и. Дядя Джек будет сердиться, когда узнает, что вы уедете только через неделю в это же время.

А л д ж е р н о н. Мне нет дела до Джека. Мне нет дела ни до кого, кроме вас. Я люблю вас, Сесили. Согласны вы быть моей женой?

С е с и л и. Какой вы глупый! Конечно. Мы ведь обручены уже около трех месяцев.

А л д ж е р н о н. Около трех месяцев?!

С е с и л и. Да, в четверг будет ровно три месяца.

Алджернон. Но каким образом это произошло?

Сесили. С тех пор как дядя Джек признался нам, что у него есть младший брат, беспутный и порочный, вы стали, конечно, предметом наших разговоров с мисс Призм. И, конечно, тот, о ком так много говорят, становится особенно привлекательным. Должно же в нем быть что-то выдающееся. Может быть, это очень глупо с моей стороны, но я полюбила вас, Эрнест.

Алджернон. Милая! Но все-таки когда состоялось обручение?

Сесили. Четырнадцатого февраля. Не в силах больше вынести того, что вы даже не знаете о моем существовании, я решила так или иначе уладить этот вопрос и после долгих колебаний обручилась с вами под этим старым милым деревом. На другой день я купила вот это колечко, ваш подарок, и этот браслет с узлом верности и дала обещание не снимать их.

Алджернон. Так, значит, это мои подарки? А ведь недурны, правда?

Сесили. У вас очень хороший вкус, Эрнест. За это я вам всегда прощала ваш беспутный образ жизни. А вот шкатулка, в которой я храню ваши милые письма. *(Нагибается за шкатулкой, открывает ее и достает пачку писем, перевязанных голубой ленточкой.)*

Алджернон. Мои письма? Но, моя дорогая Сесили, я никогда не писал вам писем.

Сесили. Не надо напоминать мне об этом. Я слишком хорошо помню, что мне пришлось писать ваши письма за вас. Я писала их три раза в неделю, а иногда и чаще.

Алджернон. Позвольте мне прочитать их, Сесили.

Сесили. Ни в коем случае. Вы слишком возгордились бы. *(Убирает шкатулку.)* Три письма, которые вы написали мне после нашего разрыва, так хороши и в них так много орфографических ошибок, что я до сих пор не могу удержаться от слез, когда перечитываю их.

Алджернон. Но разве наша помолвка расстроилась?

Сесили. Ну, конечно. Двадцать второго марта. Вот, можете посмотреть дневник. *(Показывает дневник.)* «Сегодня я расторгла нашу помолвку с Эрнестом. Чувствую, что так будет лучше. Погода по-прежнему чудесная».

Алджернон. Но почему, почему вы решились на это? Что я сделал? Я ничего такого не сделал, Сесили! Меня в самом деле очень огорчает то, что вы расторгли нашу помолвку. Да еще в такую чудесную погоду.

С е с и л и. Какая же это по-настоящему прочная помолвка, если ее не расторгнуть хоть раз. Но я простила вас уже на той же неделе.

А л д ж е р н о н (подходя к ней и становясь на колени). Вы ангел, Сесили!

С е с и л и. Мой милый сумасброд!

Он целует ее, она ерошит его волосы.

Надеюсь, волосы у вас вьются сами?

А л д ж е р н о н. Да, дорогая, с небольшой помощью парикмахера.

С е с и л и. Я так рада.

А л д ж е р н о н. Больше вы никогда не расторгнете нашей помолвки, Сесили?

С е с и л и. Мне кажется, что теперь, когда я вас узнала, я этого не смогла бы. А к тому же ваше имя...

А л д ж е р н о н (нервно). Да, конечно.

С е с и л и. Не смейтесь надо мной, милый, но моей девической мечтой всегда было выйти за человека, которого зовут Эрнест.

Алджернон встает. Сесили тоже.

В этом имени есть нечто внушающее абсолютное доверие. Я так жалею бедных женщин, мужья которых носят другие имена.

А л д ж е р н о н. Но, дорогое дитя мое, неужели вы хотите сказать, что не полюбили бы меня, если бы меня звали по-другому?

С е с и л и. Как, например?

А л д ж е р н о н. Ну, все равно, хотя бы — Алджернон.

С е с и л и. Но мне вовсе не нравится имя Алджернон.

А л д ж е р н о н. Послушайте, дорогая, милая, любимая девочка. Я не вижу причин, почему бы вам возражать против имени Алджернон. Это вовсе не плохое имя. Более того, это довольно аристократическое имя. Половина ответчиков по делам о банкротстве носит это имя. Нет, шутки в сторону, Сесили... (Подходя ближе.) Если бы меня звали Алджи, неужели вы не могли бы полюбить меня?

С е с и л и (вставая). Я могла бы уважать вас, Эрнест. Я могла бы восхищаться вами, но, боюсь, что не смогла бы все свои чувства безраздельно отдать только вам.

А л д ж е р н о н. Гм! Сесили! (Хватаясь за шляпу.) Ваш пастор, вероятно, вполне сведущ по части церковных обрядов и церемоний?

С е с и л и. О, конечно, доктор Чезюбл весьма сведущий человек. Он не написал ни одной книги, так что вы можете себе представить, сколько у него сведений в голове.

А л д ж е р н о н. Я должен сейчас же повидаться с ним... и поговорить о неотложном крещении... я хочу сказать — о неотложном деле.

С е с и л и. О!

А л д ж е р н о н. Я вернусь не позже чем через полчаса.

С е с и л и. Принимая во внимание, что мы с вами обручены с четырнадцатого февраля и что встретились мы только сегодня, я думаю, что вам не следовало бы покидать меня на такой продолжительный срок. Нельзя ли через двадцать минут?

А л д ж е р н о н. Я мигом вернусь! *(Целует ее и убегает через сад.)*

С е с и л и. Какой он порывистый! И какие у него волосы! Нужно записать, что он сделал мне предложение.

Входит М е р р и м е н.

М е р р и м е н. Некая мисс Ферфакс хочет видеть мистера Уординга. Говорит, что он нужен ей по очень важному делу.

С е с и л и. А разве мистер Уординг не у себя в кабинете?

М е р р и м е н. Мистер Уординг недавно прошел по направлению к дому доктора Чезюбла.

С е с и л и. Попросите эту леди сюда. Мистер Уординг, вероятно, скоро вернется. И принесите, пожалуйста, чаю.

М е р р и м е н. Слушаю, мисс. *(Выходит.)*

С е с и л и. Мисс Ферфакс? Вероятно, одна из тех пожилых дам, которые вместе с дядей Джеком занимаются благотворительными делами в Лондоне. Не люблю дам-филантропок. Они слишком много на себя берут.

Входит М е р р и м е н.

М е р р и м е н. Мисс Ферфакс.

Входят Г в е н д о л е н. Мерримен уходит.

С е с и л и *(идя ей навстречу)*. Позвольте вам представиться. Меня зовут Сесили Кардью.

Г в е н д о л е н. Сесили Кардью? *(Идет к ней и пожимает руку.)* Какое милое имя! Я уверена, мы с вами подружимся. Вы мне и сейчас ужасно нравитесь. А первое впечатление меня никогда не обманывает.

С е с и л и. Как это мило с вашей стороны, мы ведь с вами так сравнительно недавно знакомы. Пожалуйста, садитесь.

Г в е н д о л е н (*все еще стоя*). Можно мне называть вас Сесили?

С е с и л и. Ну конечно!

Г в е н д о л е н. А меня зовите просто Гвендолен.

С е с и л и. Если вам это приятно.

Г в е н д о л е н. Значит, решено? Не так ли?

С е с и л и. Надеюсь.

Пауза. Обе одновременно садятся.

Г в е н д о л е н. Теперь, я думаю, самое подходящее время объяснить вам, кто я такая. Мой отец — лорд Брэкнелл. Вы, должно быть, никогда не слышали о папе, не правда ли?

С е с и л и. Нет, не слыхала.

Г в е н д о л е н. К счастью, он совершенно неизвестен за пределами тесного семейного круга. Это вполне естественно. Сферой деятельности для мужчины, по-моему, должен быть домашний очаг. И как только мужчины начинают пренебрегать своими семейными обязанностями, они становятся такими изнеженными. А я этого не люблю. Это делает мужчину слишком привлекательным. Моя мама, которая смотрит на воспитание крайне сурово, развила во мне большую близорукость: это входит в ее систему. Так что вы не возражаете, Сесили, если я буду смотреть на вас в лорнет?

С е с и л и. Нет, что вы, Гвендолен, я очень люблю, когда на меня смотрят!

Г в е н д о л е н (*тщательно обзрев Сесили через лорнет*). Вы здесь гостите, не так ли?

С е с и л и. О, нет. Я здесь живу.

Г в е н д о л е н (*строго*). Вот как? Тогда здесь находится, конечно, ваша матушка или хотя бы какая-нибудь пожилая родственница?

С е с и л и. Нет. У меня нет матери, да и родственниц никаких нет.

Г в е н д о л е н. Что вы говорите?

С е с и л и. Мой дорогой опекун с помощью мисс Призм взял на себя тяжкий труд заботиться о моем воспитании.

Г в е н д о л е н. Ваш опекун?

С е с и л и. Да, я воспитанница мистера Уординга.

Г в е н д о л е н. Странно! Он никогда не говорил мне, что у него есть воспитанница. Какая скрытность! Он становится интереснее с каждым часом. Но я не сказала бы, что эта

новость вызывает у меня восторг. (*Встает и направляется к Сесили.*) Вы мне очень нравитесь, Сесили. Вы мне понравились с первого взгляда, но должна сказать, что сейчас, когда я узнала, что вы воспитанница мистера Уордига, я бы хотела, чтобы вы были... ну, чуточку постарше и чуточку менее привлекательной. И знаете, если уж говорить откровенно...

С е с и л и. Говорите! Я думаю, если собираются сказать неприятное, надо говорить откровенно.

Г в е н д о л е н. Так вот, говоря откровенно, Сесили, я хотела бы, чтобы вам было не меньше чем сорок два года, а с виду и того больше. У Эрнеста честный и прямой характер. Он воплощенная искренность и честь. Неверность для него так же невозможна, как и обман. Но даже самые благородные мужчины до чрезвычайности подвержены женским чарам. Новая история, как и древняя, дает тому множество плачевных примеров. Если бы это было иначе, то историю было бы невозможно читать.

С е с и л и. Простите, Гвендолен, вы, кажется, сказали — Эрнест?

Г в е н д о л е н. Да.

С е с и л и. Но мой опекун вовсе не мистер Эрнест Уординг — это его брат, старший брат.

Г в е н д о л е н (*снова усаживаясь*). Эрнест никогда не говорил мне, что у него есть брат.

С е с и л и. Как ни грустно, но они долгое время не ладили.

Г в е н д о л е н. Тогда понятно. А к тому же я никогда не слыхала, чтобы мужчины говорили о своих братьях. Тема эта для них, по-видимому, крайне неприятна. Сесили, вы успокоили меня. Я уже начинала тревожиться. Как ужасно было бы, если бы облако омрачило такую дружбу, как наша. Но вы совершенно, совершенно уверены, что ваш опекун не мистер Эрнест Уординг?

С е с и л и. Совершенно уверена. (*Пауза.*) Дело в том, что я сама собираюсь его опекать.

Г в е н д о л е н (*не веря ушам*). Что вы сказали?

С е с и л и (*смущенно и как бы по секрету*). Дорогая Гвендолен, у меня нет никаких оснований держать это в тайне. Ведь даже наша местная газета объявит на будущей неделе о моей помолвке с мистером Эрнестом Уордингом.

Г в е н д о л е н (*вставая, очень вежливо*). Милочка моя, тут какое-то недоразумение. Мистер Эрнест Уординг обру-

чен со мной. И об этом будет объявлено в «Морнинг пост» не позднее субботы.

Сесили (*вставая и не менее вежливо*). Боюсь, вы ошибаетесь. Эрнест сделал мне предложение всего десять минут назад. (*Показывает дневник.*)

Гвендолен (*внимательно читает дневник сквозь лорнет*). Очень странно, потому что он просил меня быть его женой не далее как вчера в пять тридцать пополудни. Если вы хотите удостовериться в этом, пожалуйста. (*Достает свой дневник.*) Я никуда не выезжаю без дневника. В поезде всегда надо иметь для чтения что-нибудь захватывающее. Весьма сожалею, дорогая Сесили, если это вас огорчит, но боюсь, что я первая.

Сесили. Я была бы очень огорчена, дорогая Гвендолен, если бы причинила вам душевную или физическую боль, но все же приходится разъяснить вам, что Эрнест явно передумал после того, как сделал вам предложение.

Гвендолен (*размышляя вслух*). Если кто-то вынудил моего бедного жениха дать какие-то опрометчивые обещания, я считаю своим долгом немедленно и со всей решимостью прийти к нему на помощь.

Сесили (*задумчиво и грустно*). В какую бы предательскую ловушку ни попал мой дорогой мальчик, я никогда не попрекну его этим после свадьбы.

Гвендолен. Не на меня ли вы намекаете, мисс Кардью, упоминая о ловушке? Вы чересчур самонадеянны. Говорить правду в подобных случаях не только моральная потребность. Это удовольствие.

Сесили. Не меня ли вы обвиняете, мисс Ферфакс, в том, что я вынудила у Эрнеста признание? Как вы смеете? Теперь не время носить маску внешних приличий. Если я вижу лопату, я и называю ее лопатой.

Гвендолен (*насмешливо*). Рада довести до вашего сведения, что я никогда в жизни не видела лопаты. Совершенно ясно, что мы вращаемся в различных социальных сферах.

Входит Мерримен, за ним лакей с подносом, скатертью и подставкой для чайника, Сесили уже готова возразить, но присутствие слуг заставляет ее сдержаться, так же как и Гвендолен.

Мерримен. Чай накрывать здесь, как всегда, мисс?  
Сесили (*сурово, но спокойно*). Да, как всегда.

Мерримен начинает освобождать стол и накрывать к чаю. Продолжительная пауза. Сесили и Гвендолен яростно глядят друг на друга.

Гвендолен. Есть у вас тут интересные прогулки, мисс Кардью?

Сесили. О да, сколько угодно. С вершины одного из соседних холмов видно пять графств.

Гвендолен. Пять графств! Я бы этого не вынесла. Ненавижу тесноту!

Сесили (*очень любезно*). Именно поэтому вы, вероятно, живете в Лондоне.

Гвендолен (*закусывает губу и нервно постукивает зонтиком по ноге, озираясь*). Очень милый садик, мисс Кардью.

Сесили. Рада, что он вам нравится, мисс Ферфакс.

Гвендолен. Я и не предполагала, что в деревне могут быть цветы.

Сесили. О, цветов тут столько же, сколько в Лондоне людей.

Гвендолен. Лично я не могу понять, как можно жить в деревне, — конечно, если ты не полное ничтожество. На меня деревня всегда нагоняет скуку.

Сесили. Да? Это как раз то, что газеты называют сельскохозяйственной депрессией. Мне кажется, аристократы именно сейчас особенно часто страдают от этой болезни. Как мне рассказывали, среди них это своего рода эпидемия. Не угодно ли чаю, мисс Ферфакс?

Гвендолен (*с подчеркнутой вежливостью*). Благодарствуйте. (*В сторону.*) Несносная девчонка! Но мне хочется чаю.

Сесили (*очень любезно*). Сахару?

Гвендолен (*надменно*). Нет, благодарю вас. Сахар сейчас не в моде.

Сесили (*сердито смотрит на нее, берет щипцы и кладет в чашку четыре куска сахара, сурово*). Вам пирога или хлеба с маслом?

Гвендолен (*со скучающим видом*). Хлеба, пожалуйста. В хороших домах сейчас не принято подавать сладкие пироги.

Сесили (*отрезает большой кусок сладкого пирога и кладет на тарелочку*). Передайте это мисс Ферфакс.

Мерримен выполняет приказание и уходит, сопровождаемый лакеем.

Гвендолен (*пьет чай и морщится. Отставив чашку, она протягивает руку за хлебом и видит, что это пирог; вскакивает в негодование*). Вы наложили мне полную чашку сахара, и хотя я совершенно ясно просила у вас хлеба, вы



подсунули мне пирог. Всем известны моя деликатность и мягкость характера, но предупреждаю вас, мисс Кардью, вы заходите слишком далеко.

С е с и л и (в свою очередь вставая). Чтобы спасти моего бедного, ни в чем не повинного, доверчивого мальчика от происков коварной женщины, я готова на все!

Г в е н д о л е н. С той самой минуты, как я увидела вас, вы мне внушили недоверие. Я почувствовала, что вы притворица и обманщица. Меня вам не провести. Мое первое впечатление никогда меня не обманывает.

С е с и л и. Мне кажется, мисс Ферфакс, я злоупотребляю вашим драгоценным временем. Вам, вероятно, предстоит сделать еще несколько таких же визитов в нашем графстве.

Входит Д ж е к.

Г в е н д о л е н (заметив его). Эрнест! Мой Эрнест!

Д ж е к. Гвендолен!.. Милая! (Хочет поцеловать ее.)

Г в е н д о л е н (отстраняясь). Минуточку! Могу ли я спросить — обручены ли вы с этой молодой леди? (Указывает на Сесили.)

Д ж е к (смеясь). С милой крошкой Сесили? Ну конечно нет. Как могла возникнуть такая мысль в вашей хорошенькой головке?

Г в е н д о л е н. Благодарю вас. Теперь можно. (Подставляет щеку.)

С е с и л и (очень мягко). Я так и знала, что тут какое-то недоразумение, мисс Ферфакс. Джентльмен, который сейчас обнимает вас за талию, это мой дорогой опекун, мистер Джон Уординг.

Г в е н д о л е н. Как вы сказали?

С е с и л и. Да, это дядя Джек.

Г в е н д о л е н (отступая). Джек! О!

Входит А л д ж е р н о н.

С е с и л и. А вот это Эрнест!

А л д ж е р н о н (никого не замечая, идет прямо к Сесили). Любимая моя! (Хочет ее поцеловать.)

С е с и л и (отступая). Минуточку, Эрнест. Могу ли я спросить вас — вы обручены с этой молодой леди?

А л д ж е р н о н (озираясь). С какой леди? Силы небесные, Гвендолен!

С е с и л и. Вот именно, силы небесные, Гвендолен. С этой самой Гвендолен!

Алджернон (смеясь). Ну конечно нет. Как могла возникнуть такая мысль в вашей хорошенькой головке?

Сесили. Благодарю вас. (Подставляет щеку для поцелуя.) Теперь можно.

Алджернон целует ее.

Гвендолен. Я чувствовала, что тут что-то не так, мисс Кардью. Джентльмен, который сейчас обнимает вас,— мой кузен, мистер Алджернон Монкриф.

Сесили (отстраняясь от Алджернона). Алджернон Монкриф? О!

Девушки идут друг к другу и обнимаются за талию, как бы ища защиты друг у друга.

Сесили. Так вас зовут Алджернон?

Алджернон. Не могу отрицать.

Сесили. О!

Гвендолен. Вас действительно зовут Джон?

Джек (горделиво). При желании я мог бы это отрицать. При желании я мог бы отрицать все, что угодно. Но меня действительно зовут Джон. И уже много лет.

Сесили (обращаясь к Гвендолен). Мы обе жестоко обмануты.

Гвендолен. Бедная моя оскорбленная Сесили!

Сесили. Дорогая обиженная Гвендолен!

Гвендолен (медленно и веско). Называй меня сестрой, хочешь?

Они обнимаются. Джек и Алджернон вздыхают и прохаживаются по дорожке.

Сесили (спохватившись). Есть один вопрос, который я хотела бы задать моему опекуну.

Гвендолен. Прекрасная идея! Мистер Уординг, я хотела бы задать вам один вопрос. Где ваш брат Эрнест? Мы обе обручены с вашим братом Эрнестом, и нам весьма важно знать, где сейчас находится ваш брат Эрнест.

Джек (медленно и запинаясь). Гвендолен, Сесили...

Мне очень жаль, но надо открыть вам всю правду. Я в первый раз в жизни оказался в таком затруднительном положении, мне никогда не приходилось говорить правду. Но я признаюсь вам по чистой совести, что у меня нет никакого брата Эрнеста. У меня вообще нет брата. Никогда в жизни у меня не было брата, и у меня нет ни малейшего желания обзаводиться им в будущем.

С е с и л и (с изумлением). Никакого брата?

Д ж е к (весело). Ровно никакого.

Г в е н д о л е н (сурово). И никогда не было?

Д ж е к. Никогда.

Г в е н д о л е н. Боюсь, Сесили, что обе мы ни с кем не обручены.

С е с и л и. Как неприятно для молодой девушки оказаться в таком положении. Не правда ли?

Г в е н д о л е н. Пойдемте в дом. Они едва ли осмелятся последовать за нами.

С е с и л и. Ну что вы, мужчины так трусливы.

Полные презрения, они уходят в дом.

Д ж е к. Так это безобразие и есть то, что ты называешь бенбериованием?

А л д ж е р н о н. Да, и притом исключительно удачным. Так замечательно бенбериовать мне еще ни разу в жизни не приходилось.

Д ж е к. Так вот, бенбериовать здесь ты не имеешь права.

А л д ж е р н о н. Но это же нелепо. Каждый имеет право бенбериовать там, где ему вздумается. Всякий серьезный бенберист знает это.

Д ж е к. Серьезный бенберист! Боже мой!

А л д ж е р н о н. Надо же в чем-то быть серьезным, если хочешь наслаждаться жизнью. Я, например, бенберирую серьезно. В чем ты серьезен, этого я не успел установить. Полагаю — во всем. У тебя такая ординарная натура.

Д ж е к. Что мне нравится во всей этой истории — это то, что твой друг Бенбери лопнул. Теперь тебе не удастся так часто спасаться в деревне, дорогой мой. Оно и к лучшему.

А л д ж е р н о н. Твой братец тоже слегка полинял, дорогой Джек. Теперь тебе не удастся пропадать в Лондоне, как ты это проделывал раньше. Это тоже неплохо.

Д ж е к. А что касается твоего поведения с мисс Кардью, то я должен тебе заявить, что обольщать такую милую, простую, невинную девушку совершенно недопустимо. Не говоря уже о том, что она под моей опекой.

А л д ж е р н о н. А я не вижу никакого оправдания тому, что ты обманываешь такую блестящую, умную и многоопытную молодую леди, как мисс Ферфакс. Не говоря уже о том, что она моя кузина.

Д ж е к. Я хотел обручиться с Гвендолен, вот и все. Я люблю ее.

Алджернон. Ну и я просто хотел обручиться с Сесили. Я ее обожаю.

Джек. Но у тебя нет никаких шансов жениться на мисс Кардью.

Алджернон. Еще менее вероятно то, что тебе удастся обручиться с мисс Ферфакс.

Джек. Это не твое дело.

Алджернон. Будь это моим делом, я бы и говорить не стал. (Принимается за слобные лепешки.) Говорить о собственных делах очень вульгарно. Этим занимаются только биржевые маклеры, да и то больше на званых обедах.

Джек. И как тебе не стыдно преспокойно уплетать лепешки, когда мы оба попали в такую беду? Бессердечный эгоист!

Алджернон. Но не могу же я есть лепешки волнуясь. Я бы запачкал маслом манжеты. Лепешки надо есть спокойно. Это единственный способ есть лепешки.

Джек. А я говорю, что при таких обстоятельствах вообще бессердечно есть лепешки.

Алджернон. Когда я расстроен, единственное, что меня успокаивает, это еда. Люди, которые меня хорошо знают, могут засвидетельствовать, что при крупных неприятностях я отказываю себе во всем, кроме еды и питья. Вот и сейчас я ем лепешки потому, что несчастлив. Ну, и кроме того, я очень люблю деревенские лепешки. (Встает.)

Джек (встает). Но это еще не причина, чтобы уничтожить их все без остатка. (Отнимает у Алджернона блюдо с лепешками.)

Алджернон (подставляя ему пирог). Может быть, ты возьмешь пирога? Я не люблю пироги.

Джек. Черт возьми! Неужели человек не может есть свои собственные лепешки в своем собственном саду?

Алджернон. Но ты только что утверждал, что есть лепешки — бессердечно.

Джек. Я говорил, что при данных обстоятельствах это бессердечно с твоей стороны. А это совсем другое дело.

Алджернон. Может быть! Но лепешки-то ведь те же самые. (Отбирает у Джека блюдо с лепешками.)

Джек. Алджи, прошу тебя, уезжай.

Алджернон. Не можешь ты выпроводить меня без обеда. Это невысказано. Я никогда не уйду, не пообедав. На это способны лишь вегетарианцы. А кроме того, я только что договорился с доктором Чезублом. Он окрестит меня, и без четверти шесть я стану Эрнестом.

Джек. Дорогой мой, чем скорей ты выкинешь из головы эту блажь, тем лучше. Я сегодня утром договорился с доктором Чезюблом, в половине шестого он окрестит меня и, разумеется, даст мне имя Эрнест. Гвендолен этого требует. Не можем мы оба принять имя Эрнест. Это нелепо. Кроме того, я имею право креститься. Нет никаких доказательств, что меня когда-либо крестили. Весьма вероятно, что меня и не крестили, доктор Чезюбл того же мнения. А с тобой дело обстоит совсем иначе. Ты-то уж наверно был крещен.

Алджернон. Да, но с тех пор меня ни разу не крестили.

Джек. Положим, но один раз ты был крещен. Вот что важно.

Алджернон. Это верно. И теперь я знаю, что могу это перенести. А если ты не уверен, что уже подверглся этой операции, то это для тебя очень рискованно. Это может причинить тебе большой вред. Не забывай, что всего неделю назад твой ближайший родственник чуть не скончался в Париже от острой простуды.

Джек. Да, но ты сам сказал, что простуда — болезнь не наследственная.

Алджернон. Так считали прежде, это верно, но так ли это сейчас? Наука идет вперед гигантскими шагами.

Джек (отбирая блюдо с лепешками). Глупости, ты всегда говоришь глупости!

Алджернон. Джек, ты опять принялся за лепешки! А как же я? Там только две и осталось. (Берет их.) Я же сказал тебе, что люблю лепешки.

Джек. А я ненавижу сладкий пирог.

Алджернон. С какой же стати ты позволяешь угощать твоих гостей пирогом? Странное у тебя представление о гостеприимстве.

Джек. Алджернон, я уже говорил тебе — уезжай. Я не хочу, чтобы ты оставался. Почему ты не уходишь?

Алджернон. Я еще не допил чай, и надо же мне достать лепешку.

Джек со стоном опускается в кресло. Алджернон продолжает есть.

## ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Гостиная в поместье м-ра Уординга. Гвендолен и Сесили, стоя у окна, смотрят в сад.

Гвендолен. То, что они сразу не пошли за нами в дом, как можно было ожидать, доказывает, по-моему, что у них еще сохранилась капля стыда.

Сесили. Они едят лепешки. Это похоже на раскаяние.

Гвендолен (помолчав). Они, видимо, не замечают нас. Может быть, вы попробуете кашлянуть?

Сесили. Но у меня нет кашля.

Гвендолен. Они смотрят на нас. Какая дерзость!

Сесили. Они идут сюда. Как самонадеянно с их стороны!

Гвендолен. Будем хранить горделивое молчание.

Сесили. Конечно. Ничего другого не остается.

Входит Джек, за ним Алджернон. Они насвистывают мотив какой-то ужасающей арии из английской оперы.

Гвендолен. Горделивое молчание приводит к печальным результатам.

Сесили. Очень печальным.

Гвендолен. Но мы не можем заговорить первыми.

Сесили. Конечно, нет.

Гвендолен. Мистер Уординг, у меня к вам личный вопрос. Многое зависит от вашего ответа.

Сесили. Гвендолен, ваш здравый смысл меня просто восхищает. Мистер Монкриф, будьте добры ответить мне на следующий вопрос. Для чего вы пытались выдать себя за брата моего опекуна?

Алджернон. Чтобы иметь предлог познакомиться с вами.

Сесили (обращаясь к Гвендолен). Мне кажется, это удовлетворительное объяснение. Как по-вашему?

Гвендолен. Да, моя дорогая, если только ему можно верить.

Сесили. Я не верю. Но это не умаляет удивительного благородства его ответа.

Гвендолен. Это так. В важных вопросах главное не искренность, а стиль. Мистер Уординг, чем вы объясните вашу попытку выдумать себе брата? Не затем ли вы на это пошли, чтобы иметь предлог как можно чаще бывать в Лондоне и видеть меня?

Джек. Неужели вы можете сомневаться в этом, мисс Ферфакс?

Гвендолен. У меня на этот счет большие сомнения. Но я решила ими пренебречь. Сейчас не время для скептицизма в духе немецких философов. *(Подходит к Сесили.)* Их объяснения кажутся мне удовлетворительными, особенно объяснение мистера Уординга. Оно звучит правдиво.

Сесили. Мне более чем достаточно того, что сказал мистер Монкриф. Один его голос внушает мне абсолютное доверие.

Гвендолен. Так вы думаете — мы можем простить их?

Сесили. Да. То есть нет.

Гвендолен. Верно! Я совсем позабыла. На карту поставлен принцип, и нам нельзя уступать. Но кто из нас скажет им это? Обязанность не из приятных.

Сесили. А не можем ли мы сказать это вместе?

Гвендолен. Прекрасная идея! Я почти всегда говорю одновременно со своим собеседником. Только держите такт.

Сесили. Хорошо.

Гвендолен отбивает такт рукой.

Гвендолен и Сесили *(говоря вместе)*. Неодолимым препятствием по-прежнему являются ваши имена. Так и знайте!

Джек и Алджернон *(говоря вместе)*. Наши имена? И только-то? Но нас окрестят сегодня же.

Гвендолен *(Джеку)*. И вы ради меня идете на такое испытание?

Джек. Иду!

Сесили *(Алджернону)*. Чтобы сделать мне приятное, вы согласны это перенести?

Алджернон. Согласен!

Гвендолен. Как глупы все разговоры о равенстве полов. Когда дело доходит до самопожертвования, мужчины неизмеримо выше нас.

Джек. Вот именно! *(Пожимает руку Алджернону.)*

Сесили. Да, порой они проявляют такое физическое мужество, о каком мы, женщины, и понятия не имеем.

Гвендолен *(Джеку)*. Милый!

Алджернон *(Сесили)*. Милая!

Все четверо обнимаются. Входит Мерримен. Поняв ситуацию, он вежливо покашливает.

Мерримен. Хм! Хм! Леди Брэкнелл.  
Джек. Силы небесные!..

Входит леди Брэкнелл. Влюбленные испуганно отстраняются друг от друга. Мерримен уходит.

Леди Брэкнелл. Гвендолен! Что это значит?  
Гвендолен. То, что я помолвлена с мистером Уордингом. Только и всего, мама.

Леди Брэкнелл. Поди сюда, сядь. Сядь сейчас же. Нерешительность — это признак душевного упадка у молодых и физического угасания у пожилых. (*Повертываясь к Джеку.*) Поставленная в известность о внезапном исчезновении моей дочери ее доверенной горничной, чье усердие я раз и навсегда обеспечила посредством небольшой денежной mzды, я тотчас же последовала за ней в товарном поезде. Ее бедный отец воображает, что она находится сейчас на несколько затянувшейся популярной лекции о влиянии, которое рента оказывает на развитие мысли. И это очень хорошо. Я не намерена разуверять его. Я стараюсь никогда не разуверять его ни в чем. Я бы считала это недостойным себя. Но вы, конечно, понимаете, что обязаны отныне прекратить всякие отношения с моей дочерью. И немедленно! В этом вопросе, как, впрочем, и во всех других я не пойду ни на какие уступки.

Джек. Я обручен с Гвендолен, леди Брэкнелл.

Леди Брэкнелл. Ничего подобного, сэръ. А что касается Алджернона.. Алджернон!

Алджернон. Да, тетя Августа?

Леди Брэкнелл. Скажи мне, не в этом ли доме обитает твой больной друг мистер Бенбери?

Алджернон (*запинаясь*). Да нет, Бенбери живет не здесь. Сейчас Бенбери здесь нет. По правде говоря, Бенбери умер.

Леди Брэкнелл. Умер? А когда именно скончался мистер Бенбери? Судя по всему, он умер скоропостижно

Алджернон (*беззаботно*). О, Бенбери я сегодня убил. Я хочу сказать — бедняга Бенбери умер сегодня днем.

Леди Брэкнелл. А что было причиной его смерти?

Алджернон. Бенбери?.. Он.. он лопнул, взорвался..

Леди Брэкнелл. Взорвался? Может быть, он стал жертвой террористического акта? А я не предполагала, что мистер Бенбери интересуется социальными проблемами. Ну, а если так, поделом ему за такие нездоровые интересы.



Алджернон. Дорогая тетя Августа, я хочу сказать, что его вывели на чистую воду. То есть доктора установили, что жить он больше не может, вот Бенбери и умер.

Леди Брэкнелл. По-видимому, он придавал слишком большое значение диагнозу своих врачей. Но, во всяком случае, я рада, что он наконец-то избрал какую-то определенную линию поведения и до конца не был лишен медицинской помощи. Но теперь, когда мы наконец избавились от этого мистера Бенбери, могу я спросить, мистер Уординг, что это за молодая особа, которую сейчас держит за руку мой племянник Алджернон совершенно неподобающим, с моей точки зрения, образом.

Джек. Эта леди — мисс Сесили Кардью, моя воспитанница.

Леди Брэкнелл холодно кланяется Сесили.

Алджернон. Я помолвлен с Сесили, тетя Августа.

Леди Брэкнелл. Как ты сказал?

Сесили. Мистер Монкриф и я помолвлены, леди Брэкнелл.

Леди Брэкнелл (*вздвинув, проходит к дивану и садится*). Не знаю, может быть, воздух этой части Хартфоршира действует как-то особенно возбуждающе, но только число обручений, здесь заключенных, кажется мне много выше той нормы, которую предписывает нам статистическая наука. Я считаю, с моей стороны уместно будет задать несколько предварительных вопросов. Мистер Уординг, мисс Кардью тоже имеет отношение к одному из главных лондонских вокзалов? Мне нужны только факты. До вчерашнего дня я не предполагала, что есть фамилии или лица, происхождение которых ведет начало от конечной станции.

Джек (*вне себя от ярости, но сдерживается, звонко и холодно*). Мисс Кардью — внучка покойного мистера Томаса Кардью — Белгрэйв-сквер 149, Ю.-З.; Джервез-парк, Доркинг в Сэррее; и Спорран, Файфшир, Северная Англия.

Леди Брэкнелл. Это звучит внушительно. Три адреса всегда вызывают доверие к их обладателю, даже если это поставщик. Но где гарантия, что адреса не вымышлены?

Джек. Я нарочно сохранил «Придворный альманах» за те годы. Они доступны для вашего обозрения, леди Брэкнелл.

Леди Брэкнелл (*угрюмо*). Мне попадались странные опечатки в этом издании.

Джек. Делами мисс Кардью занимается фирма Маркби, Маркби и Маркби.

Леди Брэкнелл. Маркби, Маркби и Маркби. Фирма, пользующаяся авторитетом в своем кругу. Мне даже говорили, что одного из господ Маркби иногда встречают на званых обедах. Ну что ж, пока это весьма удовлетворительно.

Джек (*крайне раздраженно*). Как это мило с вашей стороны, леди Брэкнелл. К вашему сведению, могу добавить, что я располагаю свидетельствами о рождении мисс Кардью и ее крещении, справками о кори, коклюше, прививке оспы, принятии причастия, а также о краснухе и желтухе.

Леди Брэкнелл. О, какая богатая приключениями жизнь, даже, может быть, слишком бурная для такой молодой особы. Я, со своей стороны, не одобряю преждевременной опытности. (*Встает, смотрит на часы.*) Гвендолен, время нашего отъезда приближается. Нам нельзя терять ни минуты. Хотя это всего-навсего проформа, мистер Уординг, но я должна еще осведомиться, не располагает ли мисс Кардью каким-либо состоянием.

Джек. Да. Около ста тридцати тысяч фунтов в государственной ренте. Вот и все. Прощайте, леди Брэкнелл. Очень приятно было поговорить с вами.

Леди Брэкнелл (*снова усаживается*). Минуточку, минуточку, мистер Уординг. Сто тридцать тысяч! И в государственной ренте. Мисс Кардью при ближайшем рассмотрении представляется мне весьма привлекательной особой. В наше время немногие девушки обладают по-настоящему солидными качествами, долговечными и даже улучшающимися от времени. К сожалению, должна сказать, что мы живем в поверхностный век. (*Обращаясь к Сесили.*) Подойдите, милочка.

Сесили подходит.

Бедное дитя, платье у вас такое простенькое и волосы почти такие же, какими их создала природа. Но это все поправимо. Опытная французская камеристка в очень короткий срок добьется удивительных результатов. Помню, я рекомендовала камеристку леди Лансинг-младшей, и через три месяца ее не узнавал собственный ее муж.

Джек. А через шесть месяцев ее уже никто не мог узнать.

Леди Брэкнелл (бросает грозный взгляд на Джека, а потом с заученной улыбкой обращается к Сесили). Пожалуйста, повернитесь, дитя мое.

Сесили поворачивается к ней спиной.

Нет, нет, в профиль.

Сесили становится в профиль.

Именно этого я и ожидала. В вашем профиле есть данные. С таким профилем можно иметь успех в обществе. Два наиболее уязвимых пункта нашего времени — это отсутствие принципов и отсутствие профиля. Подбородок чуть повыше, дорогая моя. Стиль в значительной степени зависит от того, как держать подбородок. Теперь его держат очень высоко, Алджернон!

Алджернон. Да, тетя Августа?

Леди Брэкнелл. С таким профилем мисс Кардью может рассчитывать на успех в обществе.

Алджернон. Сесили самая милая, дорогая, прелестная девушка во всем свете. И какое мне дело до ее успехов в обществе.

Леди Брэкнелл. Никогда не говори неуважительно об обществе, Алджернон. Так поступают только те, кому закрыт доступ в высший свет. (Обращается к Сесили.) Дитя мое, вы, конечно, знаете, что у Алджернона нет ничего, кроме долгов. Но я не сторонница браков по расчету. Когда я выходила за лорда Брэкнелла, у меня не было никакого приданого. Однако я и мысли не допускала, что это может послужить препятствием. Поэтому я думаю, что могу благословить ваш брак.

Алджернон. Благодарю вас, тетя Августа!

Леди Брэкнелл. Сесили, поцелуйте меня, дорогая.

Сесили (целует). Благодарю вас, леди Брэкнелл.

Леди Брэкнелл. Можете впредь называть меня тетя Августа.

Сесили. Благодарю вас, тетя Августа.

Леди Брэкнелл. Свадьбу, я думаю, не стоит откладывать.

Алджернон. Благодарю вас, тетя Августа.

Сесили. Благодарю вас, тетя Августа.

Леди Брэкнелл. Я, по правде говоря, не одобряю длительных помолвок. Это дает возможность узнать характер другой стороны, что, по-моему, не рекомендуется.

**Д ж е к.** Прошу прощения, что прерываю вас, леди Брэкнелл, но ни о какой помолвке в данном случае не может быть и речи. Я опекун мисс Кардью, и до совершеннолетия она не может выйти замуж без моего согласия. А дать такое согласие я решительно отказываюсь.

**Л е д и Б р э к н е л л.** По какой причине, смею вас спросить? Алджернон вполне подходящий, более того — завидный жених. У него нет ни гроша, а с виду он кажется миллионером. Чего же лучше?

**Д ж е к.** Мне очень жаль, но приходится говорить в открытую, леди Брэкнелл. Дело в том, что я решительно не одобряю моральный облик вашего племянника. Я подозреваю, что он двуличен.

Алджернон и Сесили смотрят на него изумленно и негодующе.

**Л е д и Б р э к н е л л.** Двуличен? Мой племянник Алджернон? Немыслимо! Он учился в Оксфорде!

**Д ж е к.** Боюсь, что в этом не может быть никакого сомнения. Сегодня, во время моей недолгой отлучки в Лондон по весьма важному для меня личному делу, он проник в мой дом, прикинувшись моим братом. Прикрываясь вымышленным именем, он выпил, как мне только что стало известно от дворецкого, целую бутылку моего «Перье-Жуэ-Брю» тысяча восемьсот восемьдесят девятого года; вино, которое я хранил специально для собственного пользования. Продолжая свою недостойную игру, он в один день покорила сердце моей единственной воспитанницы. Оставшись пить чай, он уничтожил все лепешки до единой. И поведение его тем более непростительно, что он все время прекрасно знал, что у меня нет брата, что у меня никогда не было брата и что я не имею ни малейшего желания обзаводиться каким бы то ни было братом. Я совершенно определенно сказал ему об этом еще вчера.

**Л е д и Б р э к н е л л.** Гм! Мистер Уординг, всесторонне обсудив этот вопрос, я решила оставить без всякого внимания обиды, нанесенные вам моим племянником.

**Д ж е к.** Весьма великодушно с вашей стороны, леди Брэкнелл. Но мое решение неизменно. Я отказываюсь дать согласие.

**Л е д и Б р э к н е л л** (*обращаясь к Сесили*). Подойдите ко мне, милое дитя.

Сесили подходит.

Сколько вам лет, дорогая?

С е с и л и. По правде сказать, мне только восемнадцать, но на вечерах я всегда говорю — двадцать.

Л е д и Б р э к н е л л. Вы совершенно правы, внося эту маленькую поправку. Женщина никогда не должна быть слишком точной в определении своего возраста. Это отзывается педантством... (Раздумчиво.) Восемнадцать, но двадцать на вечерах. Ну что ж, не так уж долго ждать совершеннолетия и полной свободы от опеки. Не думаю, чтобы согласие вашего опекуна имело бы такое значение.

Д ж е к. Простите, я снова прерву вас, леди Брэкнелл. Но я считаю своим долгом сообщить вам, что по завещанию деда мисс Кардью, срок опеки над нею установлен до тридцатипятилетнего возраста.

Л е д и Б р э к н е л л. Ну это не кажется мне серьезным препятствием. Тридцать пять — это возраст расцвета. Лондонское общество полно женщин самого знатного происхождения, которые по собственному желанию много лет кряду остаются тридцатипятилетними. Леди Дамблтон, например. Сколько мне известно, ей все еще тридцать пять с тех самых пор, как ей исполнилось сорок, а это было уже много лет назад. Я не вижу причин, почему бы нашей дорогой Сесили не быть еще более привлекательной в указанном вами возрасте. К тому времени ее состояние значительно увеличится.

С е с и л и. Алджи, вы можете ждать, пока мне исполнится тридцать пять лет?

А л д ж е р н о н. Ну, конечно, могу, Сесили. Вы знаете, что могу.

С е с и л и. Да, я так и чувствовала, но я-то не смогу ждать. Я не люблю ждать кого-нибудь даже пять минут. Это меня всегда раздражает. Сама я не отличаюсь точностью, это правда, но в других люблю пунктуальность и ждать — пусть даже нашей свадьбы — для меня невыносимо.

А л д ж е р н о н. Так что же делать, Сесили?

С е с и л и. Не знаю, мистер Монкриф.

Л е д и Б р э к н е л л. Дорогой мистер Уординг, так как мисс Кардью положительно утверждает, что она не может ждать до тридцати пяти лет, — замечание, которое, должна сказать, свидетельствует о несколько нетерпеливом характере, — я просила бы вас пересмотреть ваше решение.

Д ж е к. Но дорогая леди Брэкнелл, вопрос этот всецело зависит от вас. В ту самую минуту, как вы согласитесь на

мой брак с Гвендолен, я с великой радостью разрешу вашему племяннику сочетаться браком с моей воспитанницей.

Леди Брэкнелл (*вставая и горделиво выпрямляясь*). Вы прекрасно знаете: то, что вы предложили, — немислимо.

Джек. Тогда безбрачие — вот наш удел.

Леди Брэкнелл. Не такую судьбу мы готовили для Гвендолен. Алджернон, конечно, может решать за себя. (*Достает часы*). Идем, дорогая.

Гвендолен встает.

Мы уже пропустили пять, а то и шесть поездов. Если мы пропустим еще один — это может вызвать нежелательные толки на станции.

Входит доктор Чезюбл.

Чезюбл. Все готово для обряда крещения.

Леди Брэкнелл. Крещения, сэр? Не преждевременно ли?

Чезюбл (*со смущенным видом указывая на Джека и Алджернона*). Оба эти джентльмена выразили желание немедленно подвергнуться крещению.

Леди Брэкнелл. В их возрасте? Это смехотворная и безобная затея. Алджернон, я запрещаю тебе креститься. И слышать не хочу о таких авантюрах. Лорд Брэкнелл был бы весьма недоволен, если бы узнал, на что ты тратишь время и деньги.

Чезюбл. Значит ли это, что сегодня крещения не будет?

Джек. Судя по тому, как обернулись обстоятельства, досточтимый доктор, я не считаю, что это имело бы практическое значение.

Чезюбл. Меня весьма огорчает, что вы это говорите, мистер Уординг. Это отдаст еретическими взглядами анабаптистов, взглядами, которые я полностью опроверг в четырех моих неопубликованных проповедях. Однако, так как вы сейчас, по-видимому, полностью погружены в заботы мира сего, я тотчас же возвращусь в церковь. Меня только что известили, что мисс Призм уже полтора часа дожидается меня в ризнице.

Леди Брэкнелл (*вздрагивая*). Мисс Призм? Вы, кажется, упомянули о мисс Призм?

Чезюбл. Да, леди Брэкнелл. Мне сейчас предстоит встреча с мисс Призм.

Леди Брэкнелл. Позвольте задержать вас на одну минуту. Этот вопрос может оказаться чрезвычайно важным для лорда Брэкнелла и для меня самой. Не является ли упомянутая вами мисс Призм женщиной отталкивающей наружности, но притом выдающей себя за воспитательницу.

Чезюбл (со сдержанным негодованием). Это одна из самых воспитанных леди и само воплощение респектабельности.

Леди Брэкнелл. Ну, значит, это она и есть! Могу ли я осведомиться, какое положение занимает она в вашем доме?

Чезюбл (сурово). Я холост, сударыня.

Джек (вмешиваясь). Мисс Призм, леди Брэкнелл, вот уже три года является высокочтимой гувернанткой и высокоценной компаньонкой мисс Кардю.

Леди Брэкнелл. Несмотря на все ваши отзывы, я должна с ней немедленно повидаться. Пошлите за ней!

Чезюбл (оглядываясь). Она идет; она уже близко.

Поспешно входит мисс Призм.

Мисс Призм. Мне сказали, что вы ждете меня в ризнице, дорогой каноник. Я ожидала вас там почти два часа. (Замечает леди Брэкнелл, которая пронизывает ее взглядом. Мисс Призм бледнеет и вздрагивает. Она боязливо озирается, словно готовясь к бегству.)

Леди Брэкнелл (жестоким прокурорским тоном). Присм!

Мисс Призм смиренно опускает голову.

Сюда, Присм!

Мисс Призм, крадучись, приближается.

Присм! Где ребенок?

Всеобщая растерянность. Доктор Чезюбл в ужасе отступает. Алджернон и Джек заслоняют Сесили и Гвендолен, подчеркнуто стараясь оградить их слух от подробностей ужасающего разоблачения.

Двадцать восемь лет назад, Присм, вы оставили дом лорда Брэкнелла, сто четыре по Гровенор-стрит, имея на попечении детскую коляску, содержащую младенца мужского пола. Вы не вернулись. Через несколько недель усилиями уголовного полиции коляска была обнаружена однажды

ночью в уединенном уголке Бэйсуотера. В ней нашли рукопись трехтомного романа, до тошноты сентиментального.

Мисс Призм негодуяще вздрагивает.

Но ребенка там не было!

Все смотрят на мисс Призм.

Призм, где ребенок?

Пауза.

Мисс Призм. Леди Брэкнелл, я со стыдом признаю, что я не знаю. О! Если бы я знала! Вот как все это произошло. В то утро, навсегда запечатлевшееся в моей памяти, я, по обыкновению, собиралась вывезти дитя в коляске на прогулку. Со мной был довольно старый, объемистый саквояж, куда я намеревалась положить рукопись беллетристического произведения, сочиненного мною в редкие часы досуга. По непостижимой рассеянности, которую я до сих пор не могу себе простить, я положила рукопись в коляску, а ребенка в саквояж.

Джек (слушавший ее с большим вниманием). Но куда же вы дели саквояж?

Мисс Призм. Ах, не спрашивайте, мистер Уординг!

Джек. Мисс Призм, это для меня чрезвычайно важно. Я настаиваю, чтобы вы сказали, куда девался саквояж с ребенком.

Мисс Призм. Я оставила его в камере хранения одного из самых крупных вокзалов Лондона.

Джек. Какого вокзала?

Мисс Призм (в полном изнеможении). Виктория. Брайтонская платформа. (Падает в кресло.)

Джек. Я должен вас на минуту покинуть. Гвендолен, подождите меня.

Гвендолен. Если вы ненадолго, я готова ждать вас всю жизнь.

Джек убегает в крайнем волнении.

Чезюбл. Что все это может означать, как вы думаете, леди Брэкнелл?

Леди Брэкнелл. Боюсь что-нибудь предположить, доктор Чезюбл. Едва ли надо говорить вам, что в аристократических семьях не допускают странных совпадений. Они считаются нереспектабельными.

Над головой у них слышен шум, словно кто-то передвигает сундуки.  
Все смотрят вверх.



С е с и л и. Дядя Джек необычайно взволнован.

Чезюбл. У вашего опекуна очень эмоциональная натура.

Леди Брэкнелл. Весьма неприятный шум. Как будто он там с кем-то дерется. Я ненавижу драки, независимо от повода. Они всегда вульгарны и нередко доказательны.

Чезюбл (*глядя вверх*). Вот, все прекратилось.

Шум раздается с новой силой.

Леди Брэкнелл. Хотела бы я, чтобы он пришел наконец к какому-нибудь выводу.

Гвендолен. Это ожидание ужасно. Я не хочу, чтобы оно кончалось.

Входит Джек. В руках у него черный кожаный саквояж.

Джек (*подбегая к мисс Призм*). Этот, мисс Призм? Поглядите получше, прежде чем ответить. От вашего ответа зависит судьба нескольких человек.

Мисс Призм (*спокойно*). Похоже, что мой. Да. Вот царапина, полученная при катастрофе с omnibusом на Гауэр-стрит в лучшие дни моей юности. А вот на подкладке пятно от лопнувшей бутылки безалкогольного напитка — это случилось со мной в Лимингтоне. А вот на замочке мои инициалы. Я и забыла, что из каких-то экстравагантных побуждений велела выгравировать их на замке. Да, саквояж действительно мой. Очень рада, что он так неожиданно нашелся. Мне все эти годы так его не хватало!

Джек (*торжественно*). Мисс Призм, нашелся не только саквояж. Я — младенец, которого вы в нем потеряли.

Мисс Призм (*пораженная*). Вы?

Джек (*обнимая ее*). Да... мама!

Мисс Призм (*вырываясь и в полном негодовании*). Мистер Уординг! Я девица!

Джек. Девица? Признаюсь, это для меня большой удар. Но в конце концов кто посмеет бросить камень в женщину, которая столько выстрадала? Неужели раскаяние не искупает минуты увлечения? Почему должен быть один закон для мужчин и другой для женщин? Мама, я прощаю тебя. (*Снова пытается обнять ее.*)

Мисс Призм (*еще в большем негодовании*). Мистер Уординг, здесь какое-то недоразумение. (*Указывая на леди Брэкнелл*). Ее сиятельство может сказать вам, кто вы такой на самом деле.

Д ж е к (помолчав). Леди Брэкнелл! Простите, что докучаю вам, но скажите мне, кто я такой?

Л е д и Б р э к н е л л. Боюсь, эти сведения придется вам не по вкусу. Вы сын моей покойной сестры, миссис Монкриф, и, следовательно, старший брат Алджернона.

Д ж е к. Старший брат Алджи! Так, значит, у меня всегда есть брат! Я так и знал, что у меня есть брат. Я всегда говорил, что у меня есть брат. Сесили, как могла ты сомневаться, что у меня есть брат? (*Хватает Алджернона за плечи.*) Доктор Чезюбл,— мой беспутный братец. Мисс Призм,— мой беспутный братец. Гвендолен,— мой беспутный братец. Алджи, негодник, ты теперь обязан относиться ко мне с большим уважением. Ты никогда в жизни не относился ко мне как к старшему брату.

А л д ж е р н о н. Да, каюсь, дружище. Я старался, но у меня не было практики. (*Пожимает руку Джеку.*)

Г в е н д о л е н (*Джеку*). Родной мой! Но кто же вы, если стали кем-то другим? Как вас теперь зовут?

Д ж е к. Силы небесные!.. Про это я совсем забыл. Ваше решение относительно моего имени остается неизменным?

Г в е н д о л е н. Я неизменна во всем, кроме своих чувств.

С е с и л и. Какой у вас благородный характер, Гвендолен.

Д ж е к. С этим вопросом надо покончить сейчас же. Минуточку, тетя Августа. К тому времени, как мисс Призм потеряла меня вместе со своим саквояжем, я, вероятно, был уже крещен?

Л е д и Б р э к н е л л. Все жизненные блага, которые можно приобрести за деньги, были вам предоставлены вашими любящими и заботливыми родителями, в том числе, конечно, и крещение.

Д ж е к. Значит, я был крещен? Это ясно. Но какое же мне дали имя? Я готов к самому худшему.

Л е д и Б р э к н е л л. Как старший сын вы, разумеется, получили имя отца.

Д ж е к (*сердится*). Да, но как звали моего отца?

Л е д и Б р э к н е л л (*задумчиво*). Сейчас не могу припомнить, как звали вашего батюшку, генерала Монкрифа. Не сомневаюсь, однако, что его все же как-нибудь звали. Он был чудак, это правда. Но только в преклонных летах. И под влиянием индийского климата, женитьбы, несварения желудка и прочего в этом роде.

Д ж е к. Алджи, ты-то можешь вспомнить, как звали нашего отца?

А л д ж е р н о н. Дорогой мой, мне ни разу не пришлось беседовать с ним. Он умер, когда мне еще и году не было.

Д ж е к. Его имя, должно быть, в армейских справочниках того времени. Не так ли, тетя Августа?

Л е д и Б р э к н е л л. Генерал был человеком весьма мирного характера во всем, кроме семейной жизни. Но я не сомневаюсь, что имя его значится в любом военном альманахе.

Д ж е к. Армейские списки за последние сорок лет — это украшение моей библиотеки. Мне бы надо было без устали штудировать эти воинские скрижали. (*Бросается к книжным полкам и выхватывает одну книгу за другой*). Значит, М... генералы... Магли, Максбом, Маллам, — какие ужасные фамилии — Маркби, Миксби, Моббз, Монкриф! Лейтенант — в тысяча восемьсот сороковом. Капитан, подполковник, полковник, генерал — в тысяча восемьсот шестьдесят девятом. Зовут — Эрнест-Джон. (*Не торопясь ставит книгу на место; очень спокойно*.) Я всегда говорил вам, Гвендолен, что меня зовут Эрнест, не так ли? Ну, я и на самом деле Эрнест. Как тому и следовало быть!

Л е д и Б р э к н е л л. Да, теперь я припоминаю, что генерала звали Эрнест. Я так и знала, что у меня есть особая причина не любить это имя.

Г в е н д о л е н. Эрнест! Мой Эрнест! Я с самого начала чувствовала, что у вас не может быть другого имени.

Д ж е к. Гвендолен! Как это ужасно для человека — вдруг узнать, что всю свою жизнь он говорил правду, сущую правду. Вы прощаете мне этот грех?

Г в е н д о л е н. Прощаю. Потому что вы непременно изменитесь.

Д ж е к. Милая!

Ч е з ю б л (*к мисс Призм*). Летиция! (*Обнимает ее*.)

М и с с П р и з м (*восторженно*). Фредерик! Наконец-то!

А л д ж е р н о н. Сесили! (*Обнимает ее*.) Наконец-то!

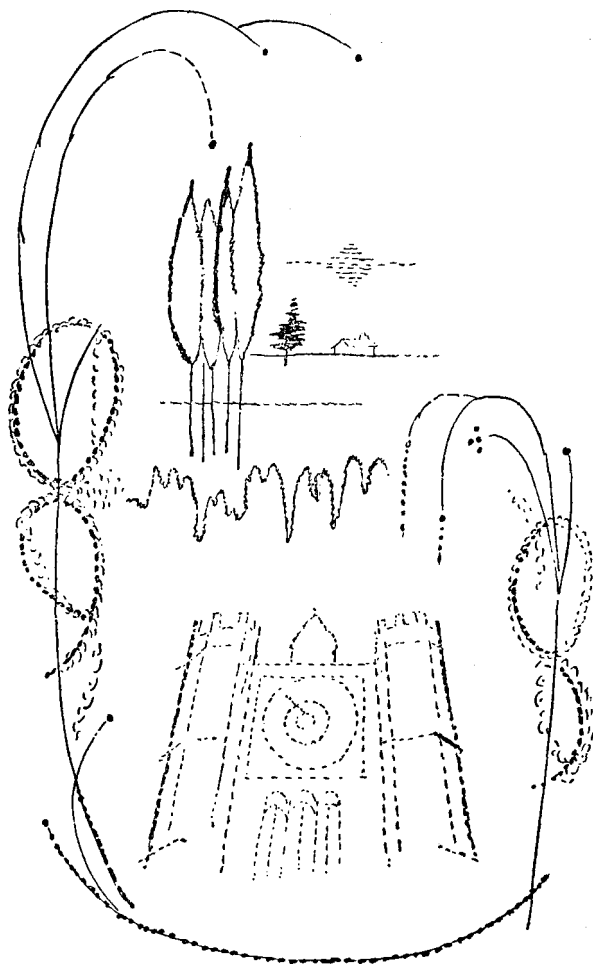
Д ж е к. Гвендолен! (*Обнимает ее*.) Наконец-то!

Л е д и Б р э к н е л л. Дорогой мой племянник, вы, кажется, проявляете признаки легкомыслия.

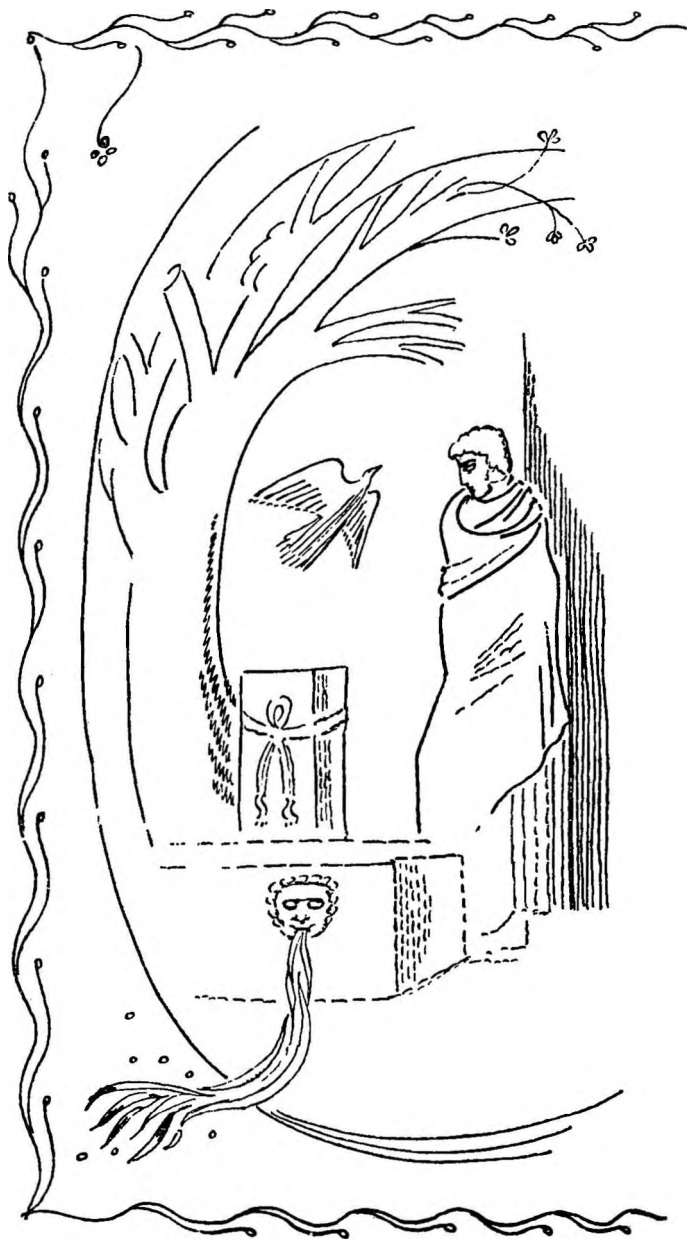
Д ж е к. Что вы, тетя Августа, наоборот, впервые в жизни я понял, как важно Эрнесту быть серьезным!

Немая картина.

*Занавес*



СТИХОТВОРЕНИЯ





## АПОЛОГИЯ

Ты ль хочешь, чтоб я рос и вял без воли,  
Сменял на рубище наряд золотой,  
Ткал, теша взор твой, паутину боли,  
Где что ни волокно — то день пустой?

Ты ль хочешь, о Любовь, что мной любима,  
Чтоб Дом моей Души стал клетью мук,  
Где б злой огонь горел неугасимо,  
Не зная смерти, хищничал паук?

Нет, если б ты хотела, я б смирился,  
И честолюбье продал бы при всех,  
И неудачей б удовлетворился,  
И сердце б отдал скорби для утех.

Так было б лучше, ведь, по крайней мере,  
Не стало б сердце камнем от тщеты,  
И пир добра не стал душе потерей,  
Не стал знаком ей край без Красоты.

Да, поникали многие, управу  
Ища на душу — страничку небес,  
Дорогой пыльной смысл толкал их здравый,  
Хоть рядом пел о вольной жизни лес,

Хоть пестрый сокол, в лёте несборном  
Крылом широким разрезая гладь,  
Летел к отрогам гор, крутым, неторным,  
Где рдела Солнца огненная прядь.

Хоть цвет ромашки их пята тягчила —  
Весь в белом оперенье щит золотой,  
Что оком пристальным следил светило,  
Довольный лаской самую простой.

О да! Так сладко, вопреки преградам,  
Хотя бы миг налюбимым быть,  
Рука в руке, идти с Любовью рядом  
И кожей отсвет алых крыл ловить!

Змей страсти в юности мне грудь сосал,  
И всё ж душа преграды все спалила —  
Я, глянув Красоте в лицо, познал  
Любовь, что движет Солнце и светила.



## REQUIESCAT

Ступай легко: ведь обитает  
Она под снегом там.  
Шепчи нежней: она внимает  
Лесным цветам.

Заржавела коса золотая,  
Потускла, ах!  
Она — прекрасная, молодая —  
Теперь лишь прах!

Белее лилии блистала,  
Росла, любя,  
И женщиной едва сознала  
Сама себя.

Доска тяжелая и камень  
Легли на грудь.  
Мне мучит сердце жгучий пламень, —  
Ей — отдохнуть.

Мир, мир! Не долетит до слуха  
Живой сонет.  
Зарытому с ней в землю глухо  
Мне жизни нет.



### VITA NUOVA<sup>1</sup>

На берегу стоял я в час прилива,  
Дождем летели брызги на меня,  
И рдели блики гаснущего дня  
На западе, и ветер выл тоскливо.

К земле умчались чайки торопливо.  
«Увы! — вскричал я. — Жизнь моя темна.  
Ни колоска не даст мне, ни зерна  
Лежащая в бесплодных корчах нива!»

И был истерзан ветхий невод мой,  
Но снова в море из последних сил  
Его забросил я в душевной муке.

И тут — о, чудо! — вдруг передо мной  
В волнах возникли трепетные руки,  
И я все беды прошлого забыл.

---

<sup>1</sup> Новая жизнь (ит.).





## МОГИЛА КИТСА

Избыв мирское зло и боль от раны,  
Он спит, господней синевою укрыт,  
Угасший до восшествия в зенит,  
Он — мученик, сраженный слишком рано,  
Похожий красотой на Себастьяна.  
Тис хмурый над могилой не грустит,  
Но плакальщиц-фиалок нежный вид  
Хранит надгробный камень от изъяна.  
Твой дух под гнетом нищеты поник!  
Уста твои лишь тем, лесбосским, ровня!  
Наш край восславлен красками твоими!  
Знай, на воде начертанное имя  
Живет: мы прах кропим слезой сыновней,  
Как Изабелла — чудный базилик.



## SILENTIUM AMORIS <sup>1</sup>

Как солнце, слишком яростно светя,  
Торопит месяц медленный и хладный  
Уйти назад, в пучину тьмы, хотя  
В трель не облек певец ночей свой трепет,  
Так пред твоей красотой мой жалок лепет,  
И лад бежит от песни, прежде складной.  
Как в луговину утром, в тихий миг,  
На крыльях буйных ветер вдруг повеет

<sup>1</sup> Молчание любви (лат.).

И в пляске бурной сокрушит тростник,  
Что песнь шального ветра петь бы рад,  
Так пыл чрезмерный горестью чреват:  
Любви столь много, что Любовь немеет.

Но взор мой, верно, даст тебе дознаться,  
Зачем немóту счел я слов уместней;  
А нет — так, значит, лучше нам расстаться,  
Ты б мир нашла в устах медоточивей,  
Я б стал баюкать память, дух счастливя  
Неданным даром и неспетой песней.



## IMPRESSIONS <sup>1</sup>

1

## LES SILHOUETTES <sup>2</sup>

Легли на гладь залива тени,  
Угрюмый ветер рвет волну  
И гонит по небу луну,  
Как невесомый лист осенний.

На гальке черною гравюрой —  
Баркас; отчаянный матрос,  
Вскарабкавшись на самый нос,  
Хочет над стихией хмурой.

А где-то там, где стонет птица  
В невероятной вышине,  
На фоне неба в тишине  
Жнецов проходит вереница.

---

<sup>1</sup> Впечатления (фр.).

<sup>2</sup> Силуэты (фр.).

LA FUITE DE LA LUNE <sup>1</sup>

Над миром властвует дремота,  
 Лежит безмолвие вокруг,  
 Немым покоем скован луг,  
 Затихли рощи и болота.

Лишь коростель, один в округе,  
 Тоскливо стонет и кричит,  
 И над холмом порой звучит  
 Ответный крик его подруги.

Но вот, бледна, как неживая,  
 В испуге, что светлеет ночь,  
 Луна уходит с неба прочь,  
 Лицо в туманной мгле скрывая.



## УТРО

Ноктюрн уснувшей Темзы сине-золотой  
 Аккорды пепельно-жемчужные сменили.  
 Тяжелый бот проплыл над сонною водой,  
 И тени дрогнули — безвольно отступили.

Клубами мутными сползал в реку туман,  
 Домов неясные вставали очертанья.  
 Рассвет задул огни... но чудился обман, —

И медлил бледный день вернуться из изгнанья.  
 Хрипя завыл гудок, медлительно-протяжный,  
 По камням застучали ободы телег.  
 Блеснул соборный купол матовый и влажный.  
 Разросся, в улицах, толпы нестройный бег.

Ночная женщина стояла у панели.  
 На бледных волосах дрожал лучей поток,  
 Как угли жаркие, уста ее адели,  
 Но сердцу камнем быть велел бесстрастный рок.

<sup>1</sup> Бегство луны (фр.).



## ФЕОКРИТ

(Виланель)

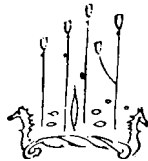
Певец суровой Персефоны!  
В безлюдье сумрачных лугов  
Ты помнишь остров свой зеленый?

В плюще снует пчела бессонно,  
Над Амариллис — листьев кров.  
Певец суровой Персефоны!

Симайта слышит пёсьи стоны,  
К Гекате устремляя зов.  
Певец суровой Персефоны!

И в схватку Дафнис распаленный  
Вступить с соперником готов.  
Ты помнишь остров свой зеленый?

Прими козленка от Лакона,  
Привет — от шумных пастухов!  
Певец суровой Персефоны,  
Ты помнишь остров свой зеленый?



## НА БЕРЕГУ АРНО

Заря, прокравшись невидимкой,  
Багрец на олеандры льет,  
Хоть мрак темнить не устает  
Флоренцию унылой дымкой.

Холмы от рос мягки и волглы,  
Цветы над головой горят,  
Вот только нет в траве дикад,  
Аттическая песня смолкла.

Лишь в листьях ветер набегом шквальным  
На миг тревожный шум родит,  
И голос соловья сладит  
Долину с запахом миндальным.

Любовный лепет соловьиный,  
Через миг тебя прогонит день,  
Но все еще сребрима тень  
Луной, парящей над долиной.

Крадется утро шагом ровным  
В дымке, зеленом, как моря;  
Страша, стремится ко мне заря  
Персты, что длинны и бескровны.

Она завесу тьмы разрушит,  
Настигнет и прикончит ночь,  
Мой пыл грозя прогонит прочь —  
А соловья как будто душат.



## ЕЕ ГОЛОС

Спешит мохнатая пчела,  
Вздымая крыл наряд кисейный —  
Вот сладсть из гиацинта извлекла,  
Вот испила благоговейно  
Из чашечки лилейной;  
Здесь, милый, клятву я, смела,  
Произнесла —

Клялась, что слитность жизней двух  
Крепка, как тяга чайки к морю,  
Подсолнуха влюбленность в солнца круг,  
Что, вопреки беде и горю,  
Я с вечностью поспорю!  
Но верность испустила дух,  
Огонь потух!

Взгляни наверх, где тополей  
Верхи качаются певуче,  
Здесь, на земле, и пух в тени аллей  
Не шевельнется, а над кручей  
Бушует ветер могучий  
Гигантских колдовских морей,  
Где ширь вольней.

Взгляни наверх, где чаек хор.  
Что видно им, а нам незримо?  
Звезда? Корабль, что светлый луч протер,  
Сквозь даль светя неугасимо?  
Здесь счастья не нашли мы.  
Что ж, в мире грез блуждал наш взор?  
Тяжел укор.

Осталось мне последнее сказать:  
Что в нас любовь жива подспудно.  
Бьет прямо в грудь весну зима, как тать,  
Но алость роз убить ей трудно.  
И после бури судно  
Сумеет пристань в бухте отыскать.  
А мы? Как знать.

Осталось нам у роковой черты  
Вложить в прощанье больше чувства!  
К чему жалеть? Мне чары красоты  
Даны, тебе дано Искусство.  
Что ж на душе так пусто?  
Прощай! Вселенной мало для четы,  
Как я и ты.



## CANZONET

Мне нет казны,  
Где стражем — гриф свирепый:  
Как встарь, бедны  
Пастушечьи вертепы,  
И нет камней,  
Чтоб сделать украшеньё,  
Но дев полей  
Мое пленяло пенье.

Моя свирель  
Из тростника речного,  
Пою тебе ль  
Всегда, опять и снова?  
Ведь ты белей,  
Чем лилия; без меры  
Ценней, милей  
И реже амбры серой.

К чему твой страх?  
Ведь Гиацинт скончался,  
И Пан в кустах  
Густых не появлялся,  
И Фавн рогат  
Травы не топчет вялой,  
И бог-закат  
Зари не кажет алой.

И мертв Гилас,  
Он роз не встретит красных  
В вечерний час  
В твоих губах прекрасных.  
Хор нимф лесных  
На горке игр не водит...  
Сребрист и тих  
Осенний день уходит.



## IMPRESSIONS

### 1. LE JARDIN

Увядшей лилии венец  
На стебле тускло-золотом.  
Мелькает голубь над прудом,  
На буках — тлеющий багрец.

Подсолнух львино-золотой  
На пыльном стержне почернел,  
Среди деревьев и омел  
Кружится листьев мертвый рой.

Слетают снегом лепестки  
С молочно-белых бирючин.  
Головки роз и георгин —  
Как шелка алого клочки.

### 2. LA MER

На вантах ледяной покров,  
Морозный прах окутал нас.  
Луна — как злобный львиный глаз  
Под рыжей гривой облаков.

Стоит угрюмый рулевой,  
Как призрак, в сумраке седом,  
А в кочегарке чад и гром,  
Слепит машины блеск стальной.

Свирепый шторм утих везде,  
Но все вздымается простор;  
Как рваный кружевной узор,  
Желтеет пена на воде.





## ПО ПОВОДУ ПРОДАЖИ С АУКЦИОНА ЛЮБОВНЫХ ПИСЕМ ДЖОНА КИТСА

Вот письма, что писал Эндимион, —  
Слова любви и нежные упреки,  
Взволнованные, выцветшие строки,  
Глумясь, распродает аукцион.

Кристалл живого сердца раздроблен  
Для торга без малейшей подоплеки.  
Стук молотка, холодный и жестокий,  
Звучит над ним, как погребальный звон.

Увы! Не так ли было и вначале:  
Придя средь ночи в фарисейский град,  
Хитон делили несколько солдат,

Дрались и жребий яростно метали,  
Не зная ни Того, Кто был распят,  
Ни чуда Божья, ни Его печали.



## СИМФОНИЯ В ЖЕЛТОМ

Ползет, как желтый мотылек,  
Высокий омнибус с моста,  
Кругом прохожих суета —  
Как мошки, вьются вдоль дорог.

Покинув сумрачный причал,  
Баржа уносит желтый стог.  
Как шелка желтого поток,  
Туман дома запеленал.

И с желтых вязов листьев рой  
У Темпла пасмурно шумит,  
Мерцает Темза, как нефрит,  
Зеленоватой желтизной.



## ДЕКОРАТИВНЫЕ ФАНТАЗИИ

*Панно*

Под тенью роз танцующей сокрыта,  
Стоит там девушка, прозрачен лик,  
И обрывает лепестки гвоздик  
Ногтями гладкими, как из нефрита.

Листами красными лужок весь испещрен,  
А белые летят, что волоконца,  
Вдоль чащи голубой, где видно солнце,  
Как сделанный из золота дракон.

И белые плывут, в эфире тая,  
Лениво красные порхают вниз,  
То падая на складки желтых риз,  
То на косы вороньи упадая.

Из амбры лютню девушка берет,  
Поет она о журавлиной стае,  
И птица, красной шеею блистая,  
Вдруг крыльями стальными сильно бьет.

Сияет лютия, дрогнувшая пенъем,  
Влюбленный слышит деву издали,  
Глазами длинными, как миндали,  
Следя с усладой за ее движеньем.

Вот сильный крик лицо ей исказил,  
А на глазах дрожат уж крошки-слезы:  
Она не вынесет шипа занозы,  
Что ранил ухо с сетью красных жил.

И вот опять уж весело смеется:  
Упал от розы лепесточков ряд  
Как раз на желтый шелковый наряд  
И горло нежное, где жилка бьется.

Ногтями гладкими, как из нефрита,  
Все обрывая лепестки гвоздик,  
Стоит там девушка, прозрачен лик,  
Под тенью роз танцующей сокрыта.



## ДОМ БЛУДНИЦЫ

Шум пляски слушая ночной,  
Стоим под ясною луной, —  
Блудницы перед нами дом.  
Das true liebe Herz гремит.  
Оркестр игрою заглушит  
Порою грохот и содом.  
Гротески странные скользят,  
Как дивных арабесков ряд. —  
Вдоль штор бежит за тенью тень.  
Мелькают пары плясунов  
Под звуки скрипки и рогов,  
Как листьев рой в ненастный день.

И пляшет каждый силуэт,  
Как автомат или скелет,  
Кадриль медлительную там.  
И гордо сарабанду вдруг  
Начнут, сцепясь руками в круг,  
И резкий смех их слышен нам.  
Запеть хотят они порой.  
Порою фантом заводной  
Обнимет нежно плясуна.  
Марионетка из дверей  
Бежит, покурит поскорей,  
Вся как живая, но страшна.  
И я возлюбленной сказал:  
— Пришли покойники на бал,  
И пыль там вихри завила. —  
Но звуки скрипки были ей  
Понятнее моих речей;  
Любовь в дом похоти вошла.  
Тогда фальшивым стал мотив,  
Стих вальс, танцоров утомив,  
Исчезла цепь теней ночных.  
Как дева робкая, заря,  
Росой сандалии сребря,  
Вдоль улиц крадется пустых.



## БАЛЛАДА РЕДИНГСКОЙ ТЮРЬМЫ

### I

Гвардейца красит алый цвет,  
Да только не такой.  
Он пролил красное вино,  
И кровь лилась рекой,  
Когда любимую свою  
Убил своей рукой.

Он вышел на тюремный двор,  
Одет в мышинный цвет,  
Легко ступал он, словно шел  
На партию в крикет,  
Но боль была в его глазах,  
Какой не видел свет.

Но боль, какой не видел свет,  
Плыла, как мгла, из глаз,  
Уставленных в клочок небес,  
Оставленный для нас,  
То синий и таинственный,  
То серый без прикрас.

Был час прогулки. Подышать  
Нас вывели во двор.  
Гадал я, глядя на него:  
Вандал? великий вор?  
Вдруг слышу: «Вздернут молодца,  
И кончен разговор».

О боже! стены, задрожав,  
Распались на куски,  
И небо пламенным венцом  
Сдавило мне виски,  
И сгнула моя тоска  
В тени его тоски.

Я понял, как был легок шаг —  
Шаг жертвы — и каким  
Гнеущим страхом он гоним,  
Какой тоской томим:  
Ведь он любимую убил,  
И казнь вершат над ним.

Любимых убивают все,  
Но не кричат о том.  
Издвкой, лестью, злом, добром,  
Бесстыдством и стыдом,  
Трус — поцелуем похитрей,  
Смельчак — простым ножом.

Любимых убивают все,  
Казнят и стар и млад,  
Отравой медленной поят  
И Роскошь, и Разврат,

А Жалость — в ход пускает нож,  
Стремительный, как взгляд.

Любимых убивают все —  
За радость и позор,  
За слишком сильную любовь,  
За равнодушный взор,  
Все убивают — но не всем  
Выносят приговор.

Не всем постыдной смерти срок  
Мученье назовет,  
Не всем мешок закрыл глаза  
И петля шею рвет,  
Не всем — брыкаться в пустоте  
Под барабанный счет.

Не всем молчанье Сторожей —  
Единственный ответ  
На исступленную мольбу,  
На исступленный бред,  
А на свободу умереть —  
Безжалостный запрет.

Не всем, немея, увидеть  
Чудовищный мираж:  
В могильно-белом Капеллан,  
В могильно-черном Страж,  
Судья с пергаментным лицом  
Взошли на твой этаж.

Не всем — тюремного Врача  
Выдерживать осмотр.  
А Врач брезгливо тороплив  
И безразлично бодр,  
И кожаный диван в углу  
Стоит как смертный одр.

Не всем сухой песок тоски  
Иссушит жаждой рот:  
В садовничьих перчатках, прост,  
Палач к тебе войдет,  
Войдет — и поведет в ремнях,  
И жажду изведет.

Не всех при жизни отпоют.  
Не всем при сем стоять.  
Не всем пред тем, как умереть,  
От страха умирать.  
Не всем, на смерть идя, свою  
Могилу увидеть.

Не всех удушье захлестнет  
Багровою волной,  
Не всех предательски казнят  
Под серую стеной,  
Не всех Кайафа омочил  
Отравленной слюной.

II

И шесть недель гвардеец ждал,  
Одет в мышинный цвет,  
Легко ступал он, словно шел  
На партию в крикет,  
Но боль была в его глазах,  
Какой не видел свет.

Но боль, какой не видел свет,  
Плыла, как мгла, из глаз,  
Уставленных в клочок небес,  
Оставленный для нас,  
То розовый и радостный,  
То серый без прикрас.

Рук не ломал он, как иной  
Глупец себя ведет,  
Когда Отчаянье убьет  
Надежды чахлый всход,—  
Он тихим воздухом дышал,  
Глядел на небосвод.

Рук не ломал он, не рыдал,  
Не плакал ни о чем,  
Но воздух пил и свет ловил  
Полураскрытым ртом,  
Как будто луч лился из туч  
Лекарственным вином.

Мы в час прогулки на него  
Смотрели, смущены,  
И забывали, кем и как  
Сюда заключены,  
За что, насколько. Только мысль:  
Его казнить должны.

Мы холодели: он идет,  
Как на игру в крикет.  
Мы холодели: эта боль,  
Какой не видел свет.  
Мы холодели: в пустоту  
Ступить ему чуть свет.

В зеленых листьях дуб и вяз  
Стоят весной, смеясь,  
Но древо есть, где листьев несть,  
И все ж, за разом раз,  
Родится Плод — когда сгниет  
Жизнь одного из нас.

Сынов Земли всегда влекли  
Известность и успех,  
Но нашумевший больше всех,  
Взлетевший выше всех  
Висит в петле — и на Земле  
Прощен не будет Грех.

Весною пляшут на лугу  
Пастушки, пастушкí.  
Порою флейты им поют,  
Порой поют смычки.  
Но кто б из нас пустился в пляс  
Под пение Пеньки?

И мы дрожали за него  
И в яви и во сне:  
Нам жить и жить, ему — застыть  
В тюремной вышине.  
В какую тьму сойти ему?  
В каком гореть огне?

И вот однажды не пришел  
Он на тюремный двор,  
Что означало: утвержден  
Ужасный приговор,



Что означало: мне его  
Не встретить с этих пор.  
Два чёлна в бурю; две судьбы  
Свел на мгновенье Рок.  
Он молча шел, я рядом брел,  
Но что сказать я мог?  
Не в ночь святую мы сошлись,  
А в день срамных тревог.  
Две обреченные души —  
Над нами каркнул вран.  
Бог исцеляющей рукой  
Не тронул наших ран.  
Нас Мир изгнал, нас Грех избрал  
И кинул в свой капкан.

### III

Тут камень тверд, и воздух сперт,  
И в окнах — частый прут.  
Глядел в глухой мешок двора  
И смерти ждал он тут,  
Где неусыпно Сторожа  
Жизнь Смертника блюдут

И лишь молчанье да надзор —  
Единственный ответ  
На исступленную мольбу,  
На исступленный бред,  
А на свободу умереть —  
Безжалостный запрет.

Продумали до мелочей  
Постыдный ритуал.  
«Смерть — натуральнойшейшей вещь», —  
Тюремный врач сказал,  
И для Убийцы капеллан  
Из Библии читал.

А тот курил, и пиво пил,  
И пену с губ стирал,  
И речь о каре и грехе  
Презрением карал,

Как будто, жизнь теряя, он  
Немного терял.

Он смерти ждал. И страж гадал,  
Что происходит с ним.  
Но он сидел, невозмутим,  
И страж — невозмутим:  
Был страж по должности молчун,  
По службе нелюдим.

А может, просто не нашлось  
Ни сердца, ни руки,  
Чтоб хоть чуть-чуть да разогнуть  
Отчаянья тиски?  
Но чья тоска так велика?  
Чьи руки так крепки?

Оравой ряженных во двор,  
Понуясь, вышли мы.  
Глупа, слепа — идет толпа  
Подручных Князя Тьмы.  
Рукой Судьбы обриты лбы  
И лезвием тюрьмы.

Мы тянем, треплем, вьем канат  
И ногти в кровь дерем,  
Проходим двор и коридор  
С мочалом и с ведром,  
Мы моем стекла, чистим жечь  
И дерево скребем.

Таскаем камни и мешки —  
И льется пот ручьем,  
Плетем и шьем, поем псалмы,  
Лудим, паяем, жжем.  
В таких трудах забылся страх,  
Свернулся в нас клубком.

Спал тихо Страх у нас в сердцах,  
Нам было невдомек,  
Что тает Срок и знает Рок,  
Кого на смерть обрек.  
И вдруг — могила во дворе  
У самых наших ног.

Кроваво-желтым жадным ртом  
Разинулась дыра.  
Вопила грязь, что заждалась,  
Что жертву жрать пора.  
И знали мы: дождавшись тьмы,  
Не станут ждать утра.

И в душах вспыхнули слова:  
Страдать. Убить. Распять.  
Палач прошествовал, неся  
Свою простую кладь.  
И каждый, заперт под замок,  
Не мог не зарыдать.

В ту ночь тюрьма сошла с ума,  
В ней выл и веял Страх —  
Визжал в углах, пищал в щелях,  
Орал на этажах  
И за оконным решетом  
Роился в мертвецах.

А он уснул — уснул легко,  
Как путник, утомясь;  
За ним следили Сторожа  
И не смыкали глаз,  
Дивясь, как тот рассвета ждет,  
Кто ждет в последний раз.

Зато не спал, не засыпал  
В ту ночь никто из нас:  
Пройдох, мошенников, бродяг  
Единый ужас тряс,  
Тоска скребла острой сверла:  
Его последний час.

О! есть ли мука тяжелей,  
Чем мука о другом?  
Его вина искуплена  
В страдании твоём.  
Из глаз твоих струится боль  
Расплавленным свинцом...

Неслышно, в войлочных туфлях,  
Вдоль камер крался страж  
И видел, как, упав во мрак,  
Молился весь этаж —

Те, чей язык давно отвык  
От зова «Отче наш».

Один этаж, другой этаж —  
Тюрьма звала Отца,  
А коридор — как черный флер  
У гроба мертвеца,  
И губка с губ Его прожгла  
Раскаяньем сердца.

И Серый Кочет пел во тьме,  
И Красный Кочет пел —  
Заря спала, тюрьма звала,  
Но мрак над ней чернел,  
И духам Дна сам Сатана  
Ворваться к нам велел.

Они, сперва едва-едва  
Видны в лучах луны,  
Облиты злой могильной мглой,  
Из тьмы, из глубины  
Взвились, восстали, понеслись,  
Бледны и зелены.

Парад гримас и выкрутас,  
И танца дикий шквал,  
Ужимок, поз, ухмылок, слез  
Бесовский карнавал,  
Аллюр чудовищных фигур,  
Как ярость, нарастал.

Ужасный шаг звенел в ушах,  
В сердца вселился Страх,  
Плясал народ ночных урод,  
Плясал и пел впотьмах,  
И песнь завыл, и разбудил  
Кладбищ нечистый прах:

«О! мир богат, — глумился Ад, —  
Да запер все добро.  
Рискни, сыграй: поставь свой рай  
На Зло и на Добро!  
Но шулер Грех обставит всех,  
И выпадет Зеро!»

Толпу химер и эфемер  
Дрожь хохота трясла.  
Сам Ад явился в каземат,  
Сама стихия Зла.  
О кровь Христа! ведь неспроста  
Забагровела мгла.

Виясь, виясь — то возле нас,  
То удалясь от нас,  
То в вальс изысканный пустясь,  
То нагло заголясь,  
Дразнили нас, казнили нас —  
И пали мы, молясь.

Рассветный ветер застонал,  
А ночь осталась тут,  
И пряжу черную свою  
Скрутила в черный жгут;  
И думали, молясь: сейчас  
Начнется Страшный суд!

Стеная, ветер пролетал  
Над серою стеной,  
Над изреветшейся тюрьмой,  
Над крышкой гробовой.  
О ветер! вигилии твоей  
Достоин ли живой?

Но вот над койкой в три доски  
Луч утра заиграл,  
Узор решетчатый окна  
На стенах запылал,  
И знал я: где-то в мире встал  
Рассвет — кровав и ал.

Мы в шесть уборкой занялись,  
А в семь порядок был...  
Но в коридорах шорох плыл  
Зальделых белых крыл —  
То Азраил из тьмы могил  
За новой жертвой взмыл.

Палач пошел не в кумаче,  
И в стойле спал Конь Блед;  
Кусок пеньки да две доски —  
И в этом весь секрет;

Но тень Стыда, на день Суда  
Упав, затмила свет...

Мы шли, как те, кто в темноте  
Блуждает вкривь и вкось,  
Мы шли, не плача, не молясь,  
Мы шли и шли, как шлось,  
Но то, что умирало в нас,  
Надеждою звалось.

Ведь Правосудие идет  
По трупам, по живым.  
Идет, не глядя вниз, идет  
Путем, как смерть, прямым;  
Крушит чудовищной пятой  
Простертых ниц пред ним.

Мы ждали с ужасом Восьми.  
Во рту — сухой песок.  
Молились мы Восьми: возьми  
Хоть наши жизни, Рок!  
Но Рок молитвой пренебрег.  
Восьмой удар — в висок.

Нам оставалось лишь одно —  
Лежать и ждать конца.  
Был каждый глух, и каждый дух  
Был тяжелей свинца.  
Безумье било в барабан —  
И лопались сердца.

И пробил час, и нас затряс  
Неслыханный испуг.  
И в тот же миг раздался крик  
И барабанный стук —  
Так, прокаженного прогнав,  
Трепшотки слышат звук.

И мы, не видя ничего,  
Увидели: крепит  
Палач доску и вьет пеньку,  
И вот Ошейник свит.  
Взмахнет рукой, толкнет ногой —  
И жертва захрипит.

Но этот крик и этот хрип  
Звучат в ушах моих,  
И ураганный барабан,  
Затихнув, не затих:  
Кто много жизнью проживет,  
Умрет в любой из них.

#### IV

В день казни церковь заперта,  
Молебен отменен;  
Несчастный, бродит капеллан,  
Людей стыдится он,  
И главное, нет сил взглянуть  
На божий небосклон.

Нас продержали под замком  
До сумерек; потом,  
Как спохватившись, принялись  
Греметь в дверях ключом  
И на прогулку повели  
Унылым чередом.

Мы вышли старцами во двор —  
Как через сотню лет,  
Одеты страхом; на щеках  
Расцвел мышинный цвет,  
И боль была у нас в глазах,  
Какой не видел свет.

Да, боль, какой не видел свет,  
Плыла, как мгла, из глаз,  
Уставленных в клочок небес,  
Оставленный для нас,  
Все видевший воочию —  
И серый без прикрас.

Был час прогулки. Но никто  
Не смел взглянуть на Твердь:  
Все видит совесть, а суды —  
Слепая пустоверть.  
Он жизнь убийством осквернил,  
А мы — притворством — смерть.

Две казни намертво связав,  
Он мертвых разбудил —  
И встали в саванах они,  
И те, кто их убил, —  
И кровь на кровь взглянула вновь,  
Ударив из могил!

Мы — обезьяны и шуты —  
Угрюмо шли двором,  
За кругом круг, за кругом круг  
Мы молча шли кругом,  
За кругом круг, за кругом круг,  
В молчанье гробовом.

Мы шли и шли за кругом круг  
В рыдающих рядах,  
Не в силах Ужаса унять,  
Стряхнуть не в силах Страх;  
Ревела Память в грозный рог,  
Рок волком выл в сердцах.

Мы шли, как стадо, — пастухи  
Пасли овец своих —  
В парадной форме, в орденах,  
В нашивках послужных.  
Замызганные сапоги  
Изобличали их.

Заделан был вчерашний ров,  
Залатан впопыхах —  
Осталась грязь на мостовой  
И грязь на сапогах,  
Да малость извести сырой  
Там, где зарыли прах.

Зарыт он в известь навсегда —  
До Страшного суда,  
Зарыт, раздетый догола  
Для вящего стыда,  
И пламя извести сырой  
Не стихнет никогда!

Пылает пламя, пламя жжет —  
И кость и мясо жрет:  
Жрет мясо нежное с утра,  
А ночью — кость жует,



Жрет мясо летом, кость — зимой,  
А сердце — круглый год!

Три долгих года не расти  
Над известью цветам,  
Три долгих года не закрыть,  
Не спрятать этот срам,  
Три долгих года будет лыс  
Незалечимый шрам.

Решили: землю осквернил  
Убийца и злодей!  
Но божьей милостью Земля  
Мудрее и добрей:  
Здесь алым розам — цвeсть алей,  
А белым — цвeсть белей.

Из уст его — куст алых роз!  
Из сердца — белых роз!  
Когда, к кому, в какую тьму  
Решит сойти Христос,  
Дано ль узнать? — Смотри, опять  
Цвeтами жезл пророс!..

Ни алых роз, ни белых роз  
Не сыщешь днем с огнем  
В тюрьме, где камень и асфальт —  
Посажены кругом,  
Чтоб человека извести  
Неверьем и стыдом.

Ни белых роз, ни алых роз  
Не сыщешь ты окрест;  
Лишь грязь, да известь, да асфальт —  
Растенья здешних мест,  
И непонятно, за кого  
Христос взошел на крест...

Но пусть в геенну брошен он  
И в пламени зарыт,  
И дух больной в ночи святой  
Из тьмы не воспарит,  
И может лишь в глухую тишь  
Кричать, что в скверне спит,—

Он мир обрел — уже обрел  
Иль скоро обретет:  
Туда, где спит, не ступит Стыд  
И Страх не добредет —  
Бессолнечная тьма вокруг,  
Безлунный небосвод...

Как зверя, вешали его,  
Зверьем над ним дыша,  
Не в реквиеме прах почил  
И вознеслась душа.  
Как будто тронули его  
Проказа и парша.

Полуостывший страшный труп  
Швырнули в ров нагим,  
Глумясь над мертвенным лицом,  
Над взором неживым,  
Любуясь жадной суетой  
Мух, вьющихся над ним.

На этой тризне капеллан  
Не спел за упокой,  
Не помахал своим крестом  
Над известью сырой,—  
Но ради грешников взошел  
Христос на крест мирской!

И пусть мучения земли  
Он знает наизусть,  
И пусть он проклят, и забыт,  
И не оплакан — пусть!  
Есть грусть — но не земная грусть,  
А грусть Небес — не грусть.

## V

Есть неизбывная вина  
И муки без вины,—  
И есть Закон, и есть — Загон,  
Где мы заточены,  
Где каждый день длинней, чем год  
Из дней двойной длины.

Но с незапамятных времен  
Гласит любой закон  
(С тех пор, как первый человек  
Был братом умерщвлен),  
Что будут зерна сожжены,  
А плевел пощажен.

Но с незапамятных времен —  
И это навсегда —  
Возводят тюрьмы на земле  
Из кирпичей стыда,  
И брата брат упрятать рад —  
С глаз Господа — туда.

На окна — ставит частый прут,  
На дверь — глухой запор,  
Тут брату брат готовит ад,  
Во тьме тюремных нор,  
Куда ни солнцу заглянуть,  
Ни богу бросить взор.

Здесь ядовитою травой  
Предательство растя,  
А чувства чистого росток —  
Задушат и растлят,  
Здесь Низость царствует, а Страх,  
Как страж, стоит у врат.

Здесь тащат хлеб у тех, кто слеп,  
Здесь мучают детей,  
Здесь кто сильней, тот и вольней,  
Забиты, кто слабей,  
Здесь Разум нем, здесь худо всем —  
В безумье бы скорей!

Любой из нас в тюрьме завяз,  
Как в яме выгребной,  
Здесь бродит Смерть, худа как жердь,  
И душит крик ночной,  
Здесь вечный смрад, здесь и разврат —  
Не тот, что за стеной.

Здесь пахнет плесенью вода  
И слизью лезет в рот,  
Любой глоток, любой кусок  
Известкой отдает,

Здесь, бесноватый, бродит сон  
И кровь людей сосет.

Здесь Голод с Жаждой — две змеи  
В змеилище одном,  
Здесь души режет Хлеборез  
Заржавленным ножом,  
И ночью злобу и тоску  
Мы, как лампаду, жжем.

Здесь мысли — камня тяжелей,  
Который грузим днем;  
Лудим, паяем, жжем, поем  
Унылым чередом;  
Здесь и ночная тишина  
Гремит страшней, чем гром.

Здесь человеческая речь —  
Нечеловечья речь,  
Здесь глаз в глазке и хлыст в руке  
Спешат стеречь и сечь;  
Забывшие, убитые,  
Мы в гроб готовы лечь.

Здесь Жизнь задавлена в цепях,  
Кляп у нее во рту;  
Один кричит, другой молчит —  
И всем невмоготу,  
И не надеется никто  
На божью доброту.

Но божий глас дойдет до нас —  
Бог разобьет сердца:  
Сердца, что камня тяжелей,  
Сердца темней свинца, —  
И прокаженным мертвецам  
Предстанет Лик Творца.

Затем и созданы сердца,  
Что можно их разбить.  
Иначе б как развеять мрак  
И душу сохранить?  
Иначе кто б, сойдя во гроб,  
Мог вечности вкусить?

И вот он, с мертвенным лицом  
И взором неживым,  
Все ждет Того, кто и его  
Простит, склонясь над ним,—  
Того, кем Вор спасен, Того,  
Кем Человек любим.

Он три недели смерти ждал,—  
Так суд постановил,—  
И три недели плакал он,  
И три недели жил,  
И, скверну смыв и грех избыв,  
На эшафот вступил.

Он плакал, кровь смывая с рук,—  
И кровью плакал он —  
Ведь только кровь отмоеет кровь  
И стон искупит стон:  
Над Каина кровавой тьмой  
Христос — как снежный склон.

## VI

Есть яма в Редингской тюрьме —  
И в ней схоронен стыд;  
Там пламя извести горит,  
Там человек лежит,  
В горючей извести зарыт,  
Замучен и забыт.

Пускай до Страшного суда  
Лежит в молчанье он.  
Пускай ни вздохом, ни слезой  
Не будет сон смущен:  
Ведь он любимую убил,  
И суд над ним свершен...

Любимых убивают все,  
Но не кричат о том,—  
Издвкой, лестью, злом, добром,  
Бесстыдством и стыдом,  
Трус — поцелуем похитрей,  
Смельчак — простым ножом.



## КОММЕНТАРИИ

В настоящем издании представлены все жанры, привлекавшие Оскара Уайльда на протяжении его творческого пути, который продолжался около двадцати лет. При жизни подлинный успех сопутствовал лишь драматургии Уайльда; его поэтические опыты, как и проза, не вызывали того интереса, который к ним проявили потомки. Уайльд работал исключительно интенсивно. Помимо произведений, давно приобретших международную известность, ему принадлежат десятки критических статей, эссе, заметок, собранных пока далеко не полностью. Лишь в изданиях последнего времени воспроизведены и некоторые произведения Уайльда студенческой поры, его интервью и другие материалы. Особую ценность представляет вышедший в 1962 году в Нью-Йорке большой том эпистолярного наследия Уайльда, поскольку многие его письма можно без колебаний отнести к памятникам литературного творчества, да он и сам воспринимал письмо как эстетический феномен.

Первые переводы из Уайльда в России относятся еще к концу прошлого века. В предреволюционные годы было выпущено два собрания сочинений английского писателя; четырехтомник под редакцией К. И. Чуковского, изданный в 1912 году приложением к «Ниве», и по сей день является наиболее полным собранием произведений Уайльда на русском языке, как ни устарели помещенные в нем переводы.

Для данного издания выполнены новые переводы ряда поэтических и прозаических произведений Уайльда, давно не переиздававшихся или прежде не переводившихся. С другой стороны, в поэтическом разделе предпринята попытка показать, как осмыслялся Уайльд в русской поэзии начала XX века.

## ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ

В журнальном варианте роман опубликован летом 1890 года. Главы III, V, XV — XVIII добавлены в отдельном издании, появившемся в апреле 1891 года.

Среди литературных источников книги наиболее близким является роман французского прозаика-натуралиста Жориса-Шарля Гюисманса «Наоборот» (1884). Размышления лорда Генри, развивающего свою доктрину «нового гедонизма» (глава VI), почти дословно повторяют декларации героя Гюисманса герцога Дэээссента. О переключках романа с «Фаустом» Гете и «Шагреновой кожей» Бальзака (исследователи добавляют к этому перечню также роман Ч.-Р. Метьюрина «Мельмот Скиталец», 1820, и новеллу Эдгара По «Вильям Вильсон») см. вступительную статью.

В романе нашли дальнейшее развитие идеи, высказанные Уайльдом на страницах таких его эссе, как «Перо, карандаш и отравы», «Упадок лжи», «Критик как художник» (все они вошли в сборник «Замыслы», 1891). И в эссе, и в «Дориане Грее» Уайльд широко прибегает к вольным ассоциациям, в ряде случаев не останавливаясь перед историческими и литературными неточностями во имя создания необходимой ему атмосферы повествования; так, в частности, происходит в главе XI, где описывается круг культурных интересов героя. Парадоксальность суждений и Дориана, и лорда Генри имеет немало общего с характером изложения, знакомым читателям эссе Уайльда.

Критические отклики на роман носили — почти без исключения — крайне резкий характер, вплоть до требований подвергнуть книгу запрету, а автора — судебному наказанию. Уайльд в интервью журналисту «Букмэн» заявил, что «роман, быть может, и аморален, но он совершенен, а совершенство есть единственное стремление художника». Однако такие заявления были только издержками полемики. В письмах Уайльд высказывался о «Портрете Дориана Грея» намного точнее, не отрицая и того, что роман содержит в себе «известное моральное содержание».

С публикацией романа окончательно выявилась непримиримость позиции Уайльда и понятий викторианской Англии — обострился конфликт, через пять лет приведший к драматической развязке.

Стр. 22. *Калибан*. — В «Буре» Шекспира четвероногий Калибан служит символом темного и враждебного человеку начала; его побеждает Просперо, олицетворяющий разум.

Стр. 26. В лице *Бэзила Холлуорда* изображен друг Уайльда живописец Бэзил Уорд, в чьей мастерской писатель видел натурщика, черты которого приданы облику Дориана Грея.

Стр. 26. *Гровенор* — частная галерея, где предпочитали выставляться художники, связанные с импрессионизмом и другими неакадемическими течениями в живописи конца века.

Стр. 52. *Изабелла II* Испанская родилась в 1830 г., была объявлена совершеннолетней и возведена на престол, когда ей исполнилось 13 лет. Речь, таким образом, идет о революции 1834—1843 гг. в Испании. Генерал *Хуан Прим* (1814—1870) — один из ее деятелей.

Стр. 53. *Синими книгами* называются (по цвету обложки) сборники документов, изданные с санкции парламента, в том числе и родовые книги.

Стр. 57. Речь идет о Микеланджело *Буонарроти*; его сонеты были переведены и опубликованы в 1878 г. Джоном Саймондсом.

Стр. 60. *Ист-Энд, Уайтчепл* — районы трущоб.

Стр. 64. *Клодион*.— Так подписывал свои работы Клод Мишель (1738—1814), французский скульптор периода рококо. Под заглавием «*Сто новелл*» в средние века печатался во Франции «Декамерон» Боккаччо. *Маргарита Валуа* (Маргарита Наваррская, 1492—1549) — автор знаменитого сборника новелл «Гептамерон».

Стр. 70. *Розалинда* — героиня комедии Шекспира «Как вам это понравится». *Имоджена* — героиня шекспировского «Димбелина».

Стр. 77. В сочинениях *Джордано Бруно* (1548—1600) «О бесконечности, вселенной и мирах» (1584). «О причине, начале и едином» (1584) и других высказано представление, согласно которому из единой бесконечной субстанции возникает все многообразие мира.

Стр. 92. ...*танагрскую статуэтку*.— Терракотовые статуэтки, найденные в Танагре (Греция); относятся к IV—III вв. до н. э.

Стр. 113. *Патти*.— Имеется в виду итальянская певица Аделина Патти (1843—1919), исполнительница партий в операх Верди и Россини на многих европейских сценах.

Стр. 117. Речь идет о современниках Шекспира *Джоне Уэбстере* (1580?—1625?), *Джоне Форде* (1586—1640?), *Сириле Тернере* (1575?—1626), творцах так называемой «трагедии мести». *Дочь Брандио* — Дездемона.

Стр. 127. ...*на носу корабля императора Адриана*.— Подразумевается римский император Адриан (76—138); его любимцем был прекрасный греческий юноша Антиной, утонувший в Ниле в 130 г. и в мифологии оставшийся символом юности и красоты.

Стр. 131. *Винкельман Иоганн Иоахим* (1717—1768) — немецкий историк античного искусства.

Стр. 136. ...*странная то была книга*...— Дориан читал «Наоборот» Гюисманса.

Стр. 140. *Автор «Сатирикона»* — Гай Петроний (ум. в 66 г.), запечатлевший падение нравов в нероновском Риме.

Стр. 142. ...*в одеянии Страстей господних*...— То есть в черном облачении, обязательном для служб во время великого поста. ...*преломляет гостию над чашей*...— Ритуал разламывания пшеничной облатки в особом сосуде входит в католический обряд причащения.



Стр. 143. Под *немецким дарвинизмом* здесь имеется в виду вульгарно-материалистическое учение Фохта, Бюхнера и других германских философов, пытавшихся физиологическими процессами объяснять явления жизни сознания. *Чампак* — ароматическое масло, получаемое из цветов дерева чампак, встречающегося на юге Азии, где растет и *ховения* — дерево из семейства крушиновых.

Стр. 144. *Джурпарис* — музыкальный инструмент индейцев Рио-Негро. *Альфонсо де Овалле* (1601—1651) — испанский историк-иезуит. *Куцко* (Куско) — столица империи инков. *Бернал Диас* (Диас) — конкистадор XVI в., вместе с Кортесом принимал участие в покорении Мексики и оставил записки.

Стр. 145. *Анн-де-Жуайез*, герцог (1561—1587) — фаворит Генриха III. «*Наставления для клириков*» — сборник дидактических рассказов Альфонсо (XI в.), придворного врача короля Кастилии и Леона Альфонса VI. *Эматия* — древнее название Македонии. *Филострат* — Флавий Филострат Старший (конец II в.), древнегреческий писатель. *Пьер де Бонифас* — итальянский алхимик Пьеро д'Апоно, чьи трактаты (VIII в.) написаны по-французски.

Стр. 146. *Пресвитер Иоанн* — согласно средневековым мифам, глава большого христианского государства, якобы находившегося в глубине Азии. «*Жемчужина Америки*» — роман (1596) Томаса Лоджа (ок. 1558—1625), драматурга и автора пастушеских повестей, одна из которых («*Розалинда*») явилась сюжетным источником комедии Шекспира «Как вам это понравится». *Чипангу* — в книге Марко Поло так именуется Япония. *Король Перозе* — царь Ирана Пероз (V в.), чья гибель в битве с племенами тюрков описана византийским историком *Прокопием Кесарийским*. *Анастасий I* — император Восточной Римской империи с 491 г. *Король малабарский* — правитель области, расположенной вдоль западного побережья Индии. В мемуарах *Брантома* (1540—1614) рассказывается о поездке *Чезаре Борджиа*, сына кардинала Борджиа (будущий папа *Александр VI*) во Францию, к королю Людовику XII, которому Борджиа вручил папскую буллу, аннулирующую брак Людовика с королевой Иоанной; за это Людовик наградил посланца герцогством *Валентинуа*. *Эдуард Холл* (ок. 1498—1547) — английский историк, автор «*Хроники Холла*». *Пирс Гейвстон* — фаворит Эдуарда II, короля Британии с 1307 г.

Стр. 147. *Жрец Солнца* — Гелиогабал, сирийский жрец, в 218 г. ставший римским императором династии Северов. *Хильперик* — франкский король Меровингской династии (VI в.).

Стр. 148. *...турецком лагере под Веной*. — В 1683 г., воспользовавшись междоусобной борьбой в Австрии, турецкая армия вступила в пределы страны, осадив Вену; исход кампании решили действия польской армии Яна Собеского, в 1674 г. ставшего королем под именем Яна III.

Стр. 149. По преданию, святой *Себастьян* (III в.) был приказом

императора Диоклетиана расстрелян лучниками за то, что проповедовал среди римских воинов, своих товарищей, христианство.

Стр. 152. Филипп *Герберт*, граф Монтгомери (1584—1650) — фаворит Якова I; Фрэнсис *Осборн* (1593—1659) — английский писатель и мемуарист. Джованна II *Неаполитанская* (1371—1435) — была известна своим распутством.

Стр. 153. *Принц-регент* Георг, сочетался тайным браком с Мэри Энн Фицгерберт (1756—1837), но впоследствии брак был расторгнут. Эмма *Гамильтон* (ок. 1765—1815) — знаменитая красавица, возлюбленная адмирала Нельсона.

Стр. 154. *Элефантида* (I в. до н. э.) — греческая писательница, автор ряда сочинений эротического характера. Император *Домициан* (51—96 гг.) был убит вольноотпущенниками. Герцог Миланский *Филиппо* (ум. 1447), Пьетро *Барби* (1417—1471), в 1464 г. ставший папой Павлом II, герцог Джованни Мария *Висконти* (убит в 1412 г.) снискали известность своим коварством и жестокостью. *Цезарь* (Чезаре) *Борджиа*, прославившийся своей жестокостью, подозревался в убийстве своего брата Джованни и отравлении гуманиста Никколо Перотто.

Стр. 155. *Ганимед* — в греческих мифах прекрасный юноша, похищенный Зевсом и ставший на Олимпе виночерпием богов; *Гилас* — спутник Геракла, похищенный речной нимфой. *Эзелин* — тиран Вероны и Падуи Эзелино да Романо (1194—1259). Джамбатиста *Чибо*, с 1484 г. папа Иннокентий VIII, учредил таксу за отпущение грехов убийцам и грабителям. *Сиджизмондо Малатеста* (1417—1468) — тиран Римини; женился на Изотте после того, как убил двух своих жен. *Карл VI* — король Франции с 1390 г., был влюблен в жену своего брата Людовика Орлеанского Валентину Висконти. *Грифонетто Бальони* — один из правителей Перуджи, в 1500 г. хитростью расправился со своими родственниками, захватив единоличную власть, но вскоре сам пал жертвой заговора. *Аталанта* — его мать.

Стр. 170. ...на поэме о руке *Ласнера*.— Стихотворение «Этюды рук», входящее в книгу Т. Готье «Эмали и камни», Ласнер — преступник, казненный в 1836 г., его мумифицированная кисть хранилась в частной коллекции.

Стр. 172. Антон *Рубинштейн* (1829—1894) — русский пианист, дирижер и композитор.

Стр. 184. ...просмотрю *Дебретта*...— Лондонский издатель Джон Дебретт (ум. в 1822) выпускал справочные книги об английских аристократических семействах.

Стр. 201. *Парфяне спаслись в пустыню*.— Парфянское царство (на территории современного Ирана) подвергалось постоянным набегам кочевников, опустошавших города.

Стр. 211. *Пердита*, *Флоризель* — персонажи «Зимней сказки» Шекспира.

## РАССКАЗЫ

### КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ

Напечатано в журнале «Корт энд сосайети ревью» в феврале — марте 1887 года, вошло в сборник «Преступление лорда Артура Сэвила и другие рассказы» (1891). Первое произведение Уайльда в прозе. Представляет собой пародию на модные в эпоху романтизма «готические» романы Анны Радклиф и других приверженцев литературы тайн и ужасов. Вместе с тем в рассказе широко отразились впечатления от путешествия Уайльда по США и его мысли о контрастах американской и европейской культуры, высказанные и во многих эссеистских и публицистических произведениях писателя.

Стр. 227. «Звезды и полосы». — Имеется в виду американский флаг.

Стр. 230. *Ф. Майерс* (1843—1901), Э. *Подмор* (1856—1910) — одни из учредителей так называемого «Физического общества», занимавшегося изучением спиритизма. *Фанни Давенпорт* (1850—1898) — американская актриса, пользовавшаяся на родине признанием.

Стр. 231. Гульь (*Галл*) Уильям Уайтли (1816—1890) — английский невропатолог. *Крокфорд* — игорный дом в Лондоне.

Стр. 234. *Кенильворт* — город в Уорикшире, известный развалинами замка XII в.; описан в одноименном романе Вальтера Скотта. *Королева-девственница* — Елизавета I (1533—1603).

Стр. 238. *Гретна-Грин* — местечко в Шотландии на границе с Англией; по шотландским законам, для заключения брака не требовалось особых формальностей, поэтому сюда отовсюду съезжались влюбленные, стремящиеся быстро обвенчаться.

Стр. 239. *Сарони Наполеон* — американский фотограф и литограф.

Стр. 240. *Принц-регент* — Георг, назначенный в 1811 г. регентом в связи с болезнью Георга III, впоследствии Георг IV.

### ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА СЭВИЛА

Опубликовано в «Корт энд сосайети ревью» в мае 1887 года. Вошло в одноименный сборник рассказов Уайльда. Большинство исследователей рассматривается как своего рода подготовительный эскиз к «Портрету Дориана Грея». Об интересе Уайльда к русскому народничеству см. вступительную статью.

Стр. 254. *Дебретт*. — См. примеч. к с. 184.

Стр. 260. *Буланже Жорж* (1837—1891) — французский генерал, военный министр (1886—1887), возглавлял шовинистическое движение «буланжистов».

Стр. 260. *Немезида*, похитив щит Афины, показала ему голову Медузы Горгоны.— Согласно мифу, Персей с помощью супруги Зевса Афины, изображаемой в боевом облачении, победил Медузу Горгону, подарив богине голову, которой Афина украсила свою эгиду.

Стр. 261. *Принц Хэл* — так в «Генрихе IV» Шекспира обращается к принцу Гарри Фальстаф.

Стр. 265. *Танагра*.— См. примеч. к с. 92.

Стр. 266. *Борджиа*.— См. примеч. к с. 154.

Стр. 268. *Справочник Раффа* — ежегодно издающийся (с 1842 г.) справочник для любителей конного спорта.

Стр. 276. *Декан* — старший священник, настоятель собора.

Стр. 277. *Мэнши-Хаус* — резиденция лорд-мэра Лондона.

Стр. 278. *Доркасское общество* — дамская филантропическая организация.

Стр. 280. «*Игла Клеопатры*» — обелиск (примерно XVI в. до н. э.) розового гранита, вывезенный из Египта и установленный на набережной Темзы в 1878 г.

Стр. 281. «*Гейети*» — лондонский мюзик-холл.

## ПОРТРЕТ Г-НА У. Г.

Напечатано в «Блэквуд мэгэзин» (Эдинбург), июль 1889 года. Помимо «Портрета г-на У. Г.», Шекспиру посвящен также этюд Уайльда «Истина масок» (1885).

Первой публикации шекспировских сонетов отдельным изданием в 1609 году издатель книги Томас Торп предпослал посвящение некоему лицу, скрытому за инициалами W. H. Многими поколениями шекспироведов выдвигались и обосновывались различные гипотезы о том, кто имеется в виду под этой анаграммой. Наиболее часто назывались имена графа Саутгемптона и графа Пемброка — оба сыграли заметную роль в биографии Шекспира. Упомянутый Уайльдом немецкий филолог Барншторф в своей книге «Ключ к сонетам Шекспира» (1886) расшифровал посвящение как «to William Himself», т. е. «мистеру Уильяму собственной персоной», на этом основании выдвинув идею лирического двойника как протагониста сонетов. Существуют и иные предположения, ни одно из которых не обладает, впрочем, достаточным фактологическим обоснованием.

О том, что W. H. — это Уилл Гьюз (Will Hughes), юный актер шекспировской труппы «Слуги лорда Камергерера», впервые писал в 1776 году Томас Тируит. Эта гипотеза, державшаяся довольно долго, впоследствии была окончательно признана несостоятельной. Уайльд, однако, был увлечен ею настолько, что заказал живописцу Чарлзу Риккетсу портрет юноши шекспировской эпохи, написанный на изъеденной временем дубовой

доске и окантованный источенной червями рамкой. Этот портрет висел в гостиной писателя. Этюд Уайльда, написанный в форме новеллы, не преследует, конечно, целей доказать верность теории Тирунта, оставаясь художественным произведением.

Стр. 284. Упомянуты знаменитые мистификации, сохранившиеся в анналах английской литературной истории. Джеймс Макферсон (1736—1796) выдал свои обработки кельтских сказаний за подлинные песни легендарного барда Оссиана, издав в 1765 г. сборник «Сочинения Оссиана, сына Фингала». Уильям Генри Айерленд (1777—1835), сын антиквара, изготовил поддельные рукописи Шекспира (контракты с актерами, деловые бумаги, любовное письмо и даже пьесу, которую у него купил для театра «Друри-Лейн» Шеридан), объявив, что эти документы подарил Шекспир его отдаленному предку, спасшему драматурга, когда он тонул в реке. История мистификации раскрылась после провала поставленной в «Друри-Лейн» пьесы; подробности изложил сам Айерленд в своей «Исповеди» (1805). Томас Чаттертон (1752—1770) выдавал свои стихотворения за тексты мифического поэта XV в. Раули.

Стр. 286. Клуэ Франсуа (ок. 1505—1572) — французский придворный художник, фламандец по происхождению; прославился портретами членов королевской семьи.

Стр. 290. Миерс — точнее, Мерес Френсис, автор «Рассуждения о наших английских поэтах в сравнении с греческими, латинскими и итальянскими авторами» (1598), книги, являющейся одним из наиболее ценных биографических источников для историков творчества Шекспира и его времени.

Стр. 294. Чапмен Джордж (1559?—1634) — поэт, переводчик Гомера и драматург, писавший в основном на сюжеты из средневековой французской истории.

Стр. 295. ...аллейновских рукописей...— Имеется в виду ведущий актер труппы лорда Адмирала, игравшей в театре Генсло, Эдуард Аллейн, современник Шекспира; Даллидж — пригород Лондона, здесь расположена старинная мужская школа (открыта в 1360 г.).

Стр. 306. Театр «Блэкфрайерс» открыт в 1576 г. в помещении бывшего доминиканского монастыря, многократно перестраивался в результате пожаров; с 1608 г. здесь находился своего рода «зимний филиал» театра «Глобус», в котором не было крыши.

Стр. 308. ...отцу Сиднеевой Стеллы.— Подразумевается цикл сонетов Филипа Сидни (1554—1586) «Астрофил и Стелла», рассказывающий о любви молодого аристократа к замужней даме. В образе Стеллы современники узнавали Пенелопу Деверикс, дочь лорда Эссекса, скончавшегося в 1576 г. Перед смертью он выразил пожелание, чтобы тринадцатилетняя Стелла вышла замуж за Сидни, однако брак не состоялся. С Пенелопой поэт, как предполагают, познакомился лишь

пятью годами позднее, когда она уже была женой барона Рича, и сделал ее героиней своей любовной лирики.

Стр. 310. С культом бога растительности и покровителя виноградарства и винодела *Диониса* были связаны обряды передевания, от которых ведут свое начало греческий театр, трагедия и комедия. *Вифинский раб* — т. е. Антиной (см. примеч. к с. 127).

Стр. 314. *Уври* Пьер-Жюстен (1806—1879) — французский художник и литограф.

## СКАЗКИ

Уайльду принадлежат два сборника сказок — «Счастливый Принц» (1888) и «Гранатовый домик» (1891). Писатель называл эти свои произведения «этюдами в прозе, для которых избрана форма фантазий с целью добиться романтического звучания». Сказки не мыслились как детское чтение и, за исключением «Мальчика-звезды», им не стали: Уайльд адресовал их тем, «кто в душе остался ребенком, пусть ему восемнадцать, пусть даже восемьдесят лет». Философская проблематика, привлекавшая Уайльда, именно в сказках воплотилась наиболее своеобразно. Особенно важны в этом отношении «Молодой Король», «Рыбак и его Душа», «День рождения Инфанта».

Вместе с тем сказки давали Уайльду прекрасную возможность воплотить свой важнейший эстетический принцип, согласно которому творчество не является «имитацией жизни», ибо оно говорит о том, «чего не существует». Направленный против натуралистов, этот тезис, к которому писатель многократно возвращался в своих эссе, необходимо понимать прежде всего как защиту права художника на субъективное мироощущение и свободу вымысла. Точно так же призывы Уайльда возродить «искусство лжи» отнюдь не означали безразличия к реальной действительности. На деле уайльдовские сказки вовсе не чужды социально-нравственного содержания, актуального для той поры. По справедливому наблюдению К. И. Чуковского, Уайльд в сказках «откачивается от своей гурманской эстетики и требует искусства осердеченного, рожденного любовью и подвигом».

Стр. 322. *Мемнон* — царь Эфиопии, убит Ахиллесом во время Троянской войны. Его мать, богиня утренней зари Эос, вымолила у Зевса бессмертие для Мемнона. В Фивах была статуя, издававшая при восходе солнца звук плача и названная греками именем Мемнона.

Стр. 323. *Баальбеков храм* — развалины огромного храма Юпитера в городе Баальбек (Ливан).

Стр. 361. *Рани* — титул супруги раджи.

Стр. 362. *Joieuse* (Сад радости) — поместье Ланселота в легендах о короле Артуре и рыцарях Круглого стола.

Стр. 363. *Адриан*.— См. примеч. к с. 310.

Стр. 364. *И он спал... и вот что приснилось ему*.— Первый сон короля перекликается со стихотворением Шелли «Песнь людям Англии».

Стр. 367. *Ормуз* — иранский город, основан в глубокой древности. Служил для европейцев символом Востока.

Стр. 368. *Татарией* в старину называли все земли к востоку от Днепра, вплоть до тихоокеанского берега. *Исида* — в египетской мифологии богиня плодородия, воды и ветра, символ семейной верности, покровительница мореплавания; сестра Осириса и его супруга. Осирис, бог производительных сил природы и царь загробного мира, был убит своим братом и вторым мужем Исиды Сетом.

Стр. 376. *Трапписты* — католический орден, основанный в Солинья ля Трапп (Франция) в 1140 г. и отличавшийся крайне суровым уставом.

Стр. 379. *Софонисба* — дочь карфагенского военачальника Гасдрубала (III в. до н. э.). По преданию приняла яд, чтобы не стать добычей римских легионеров после падения Карфагена. *Нуэстра Сеньора дель Пилар* — церковь в Сарагосе, построенная возле столба, где, согласно библейскому сказанию, апостолу Павлу явилась дева Мария. Расписана Веласкесом и Гойей.

Стр. 386. *...о компрачос...*— В средневековой Испании были распространены рассказы о компрачосах, которые похищали детей, уродовали их и продавали в балаганы, где они использовались в качестве шутов.

Стр. 387. *...львы и башни Кастилии*.— Лев изображен на гербе Мадрида, замок — на гербе кастильского королевства. «*Пляска смерти*» (точнее — «*Образы смерти*») — серия из 58 рисунков немецкого художника Ганса Гольбейна Младшего (1497 или 1498—1543); гравирована во Франции в 1538 г.

Стр. 404. *Окс* — древнее название Амударьи.

## ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ

Премьера — 3 января 1895 года в театре «Хеймаркет». Пьеса посвящена литератору и журналисту Фрэнку Гаррису, в своей книге воспоминаний об Уайльде (1930) утверждавшему, что именно он подарил писателю сюжет этой комедии. Однако сходная фабула была использована популярным французским комедиографом Викторьеном Сарду (1831—1908) в пьесе «Дора» (1885). По некоторым свидетельствам, Уайльд заимствовал у Сарду отдельные сюжетные ходы.

В рецензии на спектакль Бернард Шоу отмечал: «По-моему, Уайльд наш единственный настоящий драматург. Он любит игру, и для него все на свете игра,— будь то философские дискуссии, или сочинение пьес, или отношения с актерами, с публикой, со всем тем, что именуется театром».

Стр. 443. *Буше Франсуа (1703—1770)* — французский живописец, мастер пасторалей, выполненных в стиле рококо.

Стр. 457. *Суэцкий канал* строился в 60-е годы прошлого века, открыт в 1869 г. Право на строительство *Панамского канала* оспаривали в 60—70-е годы США, Англия и Франция; канал построен США в 1914 г.

Стр. 486. ...увлекается «Синими книгами». — См. примеч. к с. 53.

Стр. 487. ...клубам на *Сент-Джеймс-стрит*. — На этой улице, где находится бывшая королевская резиденция, располагаются привилегированные клубы для аристократической публики, дипломатов и т. п.

## КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ

Пьеса написана летом 1894 года, премьера — 14 февраля 1895 года в театре «Сент-Джеймс». Спектакль имел огромный успех у публики и признание у критики. Сам Уайльд находил свою «несколько фарсовую комедию» лучшим из всего созданного им для театра. Однако шумные похвалы этому произведению, противопоставляемому другим уайльдовским комедиям, вскоре побудили его заметить в интервью: «Есть два способа отрицать мои пьесы — просто их отрицать или говорить, что «Как важно быть серьезным» лучше всех других». Тем не менее ни одна из комедий Уайльда не пользуется таким признанием, как эта. Возобновление пьесы в сезоне 1909 года стало новым триумфом труппы «Сент-Джеймс» и Дж. Александера, выдающегося комедийного актера, исполнявшего роль Алджернона и на премьере 1895 года, и на своих последующих бенефисах.

## СТИХОТВОРЕНИЯ

После выхода в свет сборника «Стихотворения» (1881) Уайльд сравнительно редко обращался к поэтическому творчеству. Ранние произведения Уайльда-поэта были оценены достаточно высоко: так, за поэму «Равенна» (1878) ему была присуждена Оксфордским университетом Ньюдигейтская премия, которой до него удоставались Джон Рескин и Мэтью Арнольд. Однако поэзия Уайльда 80-х годов (включая и такое хрестоматийное стихотворение, как «Дом блудницы») не привлекла к себе внимания, и лишь «Баллада Редингской тюрьмы» убедила в его творческих возможностях как поэта.

«Апология». — Как и многие стихотворения сборника 1881 г., возникло под впечатлением от поездки в Италию, предпринятой по окончании Оксфорда. Последняя строка — цитата из «Божественной комедии» (перевод М. Лозинского): так Данте завершает все три части своего произведения.



«*Requiescat*». — Посвящено памяти сестры Уайльда Изолы, умершей, когда ей было восемь лет.

«*Могил а Китса*». — Джон Китс (1795—1821) умер и был погребен в Риме. *Лесбос* — родина нескольких выдающихся поэтов античности. *На воде начертанное имя*. — Цитата из эпитафии Китса.

«*Феокрит*». — Представляет собой стилизацию в духе стихотворений древнегреческого поэта Феокрита (конец IV — первая половина III в. до н. э.), основоположника буколической поэзии. *Виланель* — французская поэтическая форма (пять терсетов и заключительный катрен, две сквозные рифмы, повторяющиеся строки). *Персефона* — владычица преисподней в греческих мифах. *Амариллис* — пастушка, героиня третьей идиллии Феокрита. *Симайта* — молодая девушка, воспетая во второй идиллии, где она названа Колдуньей. *Полифем* — киклоп, герой одиннадцатой идиллии. *Дафнис* — молодой пастух, герой восьмой и девятой идиллии, рассказывающих о словесном состязании пастухов. *Лакон* — герой пятой идиллии.

«*Санзонет*». — *Гиацинт* — догреческое божество растительности; его культ впоследствии вытеснен культом Аполлона. *Гилас* — оруженосец Геракла, был похищен нимфами, плененными его красотой.

«*По поводу продажи с аукциона любовных писем Джона Китса*». — «*Эндимион*» — поэма Китса; именем этого прекрасного юноши называли и самого поэта. ...*Хитон делили несколько солдат*. — Подразумеваются легионеры, охранявшие распятого Христа.

## БАЛЛАДА РЕДИНГСКОЙ ТЮРЬМЫ

Закончена в октябре 1897 года, через полгода после освобождения из тюрьмы. В балладе воссоздан эпизод, непосредственным свидетелем которого был Уайльд: летом 1896 года в Редингскую тюрьму был доставлен бывший конногвардеец Чарлз Томас Вулбридж, приговоренный к повешению за совершенное им на почве ревности убийство своей двадцатитрехлетней жены. В июле Вулбридж был казнен, а его тело брошено в яму с негашеной известью, которая «сжигает» останки.

Баллада была напечатана в феврале 1898 года; имя автора на титульном листе отсутствовало, его заменили цифры С. 3. 3. — номер тюремной камеры арестанта Уайльда.

Сам Уайльд не отрицал, что ритмика произведения подсказана ему стихами выдающегося английского поэта того времени Элфреда Эдварда Хаусмена (1859—1936). Однако это ни в коей мере не принижает оригинальности произведения и его необычности для Уайльда. Определяя балладу как произведение, открыто преследующее «цели пропаганды», Уайльд в то же время говорил, что для него эти стихи являются наиболее выношенной декларацией собственного понимания

правды в искусстве. Защищаясь от упреков некоторых своих приверженцев, расценивших балладу как отказ от былых эстетических принципов Уайльда, он писал: «Не уверен, что мне самому нравится то, что получилось. Но катастрофа, происходящая в жизни, всегда влечет за собой и катастрофу в искусстве». Будущее показало, однако, истинное значение такой «катастрофы». Баллада Уайльда имела громкий европейский резонанс, выразившийся и в многочисленных переводах. Из существующих русских переводов баллады отметим переводы К. Бальмонта и В. Брюсова. Примечательно парижское издание «Баллады Редингской тюрьмы» с иллюстрациями Франса Мазереля (1923).

Одновременно с «Балладой Редингской тюрьмы» стали появляться публицистические статьи Уайльда, посвященные тем же темам,— так называемые «Письма из тюрьмы». В них описаны чудовищные порядки, царящие в английских тюрьмах, а Англия названа страной, где жестокость и бесчеловечность почитаются нормой.

В письме Ф. Гаррису Уайльд признавался: «Конечно, я и сам чувствую, что поэма чрезмерно автобиографична, а ведь все доподлинное чуждо творчеству и не должно на него воздействовать, но что поделаешь, ведь это крик боли, которого я не мог сдержать...»

*А. Зверев*



## СОДЕРЖАНИЕ

<i>А. Зверев. Портрет Оскара Уайльда . . . . .</i>	<b>3</b>
<b>ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ. Роман. Перевод М. Абкиной . . . . .</b>	<b>22</b>

### РАССКАЗЫ

<i>Кентервильское привидение. Перевод Ю. Кагарлицкого . . . . .</i>	<b>225</b>
<i>* Преступление лорда Артура Сэвила. Перевод Д. Аграчева . . . . .</i>	<b>253</b>
<i>* Портрет г-на У. Г. Перевод С. Силищва . . . . .</i>	<b>284</b>

### СКАЗКИ

#### СБОРНИК «СЧАСТЛИВЫЙ ПРИНЦ»

<i>Счастливый Принц. Перевод К. Чуковского . . . . .</i>	<b>317</b>
<i>Соловей и Роза. Перевод М. Благовещенской . . . . .</i>	<b>327</b>
<i>Великан-эгоист. Перевод Т. Озерской . . . . .</i>	<b>333</b>
<i>Преданный друг. Перевод Ю. Кагарлицкого . . . . .</i>	<b>338</b>
<i>Замечательная Ракета. Перевод Т. Озерской . . . . .</i>	<b>348</b>

#### СБОРНИК «ГРАНАТОВЫЙ ДОМИК»

<i>* Молодой Король. Перевод В. Орла . . . . .</i>	<b>361</b>
<i>* День рождения Инфанты. Перевод В. Орла . . . . .</i>	<b>374</b>
<i>Рыбак и его Душа. Перевод К. Чуковского . . . . .</i>	<b>391</b>
<i>Мальчик-звезда. Перевод Т. Озерской . . . . .</i>	<b>424</b>

### ПЬЕСЫ

<i>Идеальный муж. Перевод О. Холмской . . . . .</i>	<b>443</b>
<i>Как важно быть серьезным. Перевод И. Кашкина . . . . .</i>	<b>531</b>

## СТИХОТВОРЕНИЯ

* Апология. Перевод А. Парина . . . . .	593
Requiescat. Перевод М. Кузмина . . . . .	594
Vita nuova. Перевод М. Ваксмахера . . . . .	595
* Могила Китса. Перевод А. Парина . . . . .	596
* Silentium amoris. Перевод А. Парина . . . . .	596
Impressions. Перевод М. Ваксмахера	
Les silhouettes . . . . .	597
La fuite de la lune . . . . .	598
Утро. Перевод В. Эльснера . . . . .	598
* Феокрит. Перевод А. Парина . . . . .	599
* На берегу Арно. Перевод А. Парина . . . . .	599
* Ее голос. Перевод А. Парина . . . . .	600
Sanzonet. Перевод М. Кузмина . . . . .	602
Impressions. Перевод И. Копостинской	
Le jardin . . . . .	603
La mer . . . . .	603
По поводу продажи с аукциона любовных писем Джона Китса. Перевод Е. Витковского . . . . .	604
Симфония в желтом. Перевод И. Копостинской . . . . .	604
Декоративные фантазии. Перевод М. Кузмина . . . . .	605
Дом блудницы. Перевод Ф. Сологуба . . . . .	606
Баллада Редингской тюрьмы. Перевод В. Топорова . . . . .	607
Комментарии А. Зверева . . . . .	625

**Уайльд О.**  
У 13 Избранное: Пер. с англ./Вступ. статья и коммент. А. Зверева; Худож. В. Юрлов.— М.: Худож. лит., 1986.— 639 с.

В том известного английского писателя Оскара Уайльда (1854—1900) наряду с его поэтическими сказками войдут остро сюжетные новеллы писателя, роман «Портрет Дориана Грея» (1891), в котором писатель развенчал безнравственное эстетство господствующих классов, а также пьесы «Идеальный муж» (1895), «Как важно быть серьезным» (1899) и стихотворения.

У  $\frac{4703000000-299}{028(01)-86}$  120-86

ББК 84. 4Вл  
И (Англ.)

## Оскар Уайльд

### ИЗБРАННОЕ

Редактор Е. Осенева

Художественный редактор Л. Калитовская

Технические редакторы О. Ярославцева и Л. Платонова

Корректоры Г. Киселева и О. Наренкова

ИБ № 4002

Сдано в набор 05.07.84. Подписано в печать 21.11.85. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Академическая». Печать высокая. Усл. печ. л. 33,6. Усл. кр.-отт. 34,02. Уч.-изд. л. 39,06. Тираж 200 000. Изд. № VI-1757. Зак. № 244. Цена 3 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени  
издательство «Художественная литература»  
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.